

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Лешков В. Н.	Соловьев В. С.
Св. Нил Сорский	Погодин М. П.	Бердяев Н. А.
Св. Иосиф Волоцкий	Беляев И. Д.	Булгаков С. Н.
Иван Грозный	Филиппов Т. И.	Хомяков Д. А.
«Домострой»	Гиляров-Платонов Н. П.	Шарапов С. Ф.
Посошков И. Т.	Страхов Н. Н.	Щербатов А. Г.
Ломоносов М. В.	Данилевский Н. Я.	Розанов В. В.
Болотов А. Т.	Достоевский Ф. М.	Флоровский Г. В.
Пушкин А. С.	Одоевский В. Ф.	Ильин И. А.
Гоголь Н. В.	Григорьев А. А.	Нилус С. А.
Тютчев Ф. И.	Мещерский В. П.	Меньшиков М. О.
Св. Серафим Саровский	Катков М. Н.	Митр. Антоний Храповицкий
Муравьев А. Н.	Леонтьев К. Н.	Поселянин Е. Н.
Киреевский И. В.	Победоносцев К. П.	Солоневич И. Л.
Хомяков А. С.	Фадеев Р. А.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Аксаков И. С.	Киреев А. А.	Башилов Б.
Аксаков К. С.	Черняев М. Г.	Концевич И. М.
Самарин Ю. Ф.	Ламанский В. И.	Зеньковский В. В.
Валуев Д. А.	Астафьев П. Е.	Митр. Иоанн (Снычев)
Черкасский В. А.	Св. Иоанн Кронштадтский	Белов В. И.
Гильфердинг А. Ф.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Распутин В. Г.
Кошелев А. И.	Тихомиров Л. А.	Шафаревич И. Р.
Кавелин К. Д.		

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

**ДНЕВНИК
ПИСАТЕЛЯ**

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2010

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.

В настоящее издание вошла главная идеологическая книга Ф. М. Достоевского «Дневник писателя», в которой великий русский мыслитель размышляет над судьбами России и мира. За десятилетия до XX века он предсказывает грядущие революции и указывает их источник — бунт антихриста против Христа, дьявола и его слуг иудеев против Бога. Социализм и капитализм — выражение общего иудейско-сатанинского идеала «вожделений избранного народа», замаскированных лукавством дьявола, искушавшего в пустыне Христа своими соблазнами хлеба земного и чувственных наслаждений. «Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови».

После 1917 года за чтение этой книги расстреливали. На многие десятилетия она была запрещена.

ISBN 978-5-902725-69-5

© Институт русской цивилизации, 2010.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Творчество великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского посвящено постижению глубины человеческого духа. Писатель анализирует самые потаенные лабиринты сознания, последовательно проводя почти в каждом из своих произведений три ключевые идеи: идею личности как самодовлеющей ценности, одухотворенной Божьим Духом; идею страдания как реальной подоплеки нашего существования; идею Бога как высшего этического критерия и мистической сущности всемирного бытия.

По своему миропониманию Достоевский был близок к славянофилам; труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» писатель считал будущей настольной книгой всех русских.

Достоевский убедительно и беспощадно вскрывает духовное убожество и нравственную нищету людей, не верующих в Бога и противопоставляющих Ему разум.

Подходя к проблеме человеческой личности, Достоевский с неизменной последовательностью указывал на иррациональность ее природы, на невозможность путем одних логических выкладок осмыслить ее значение и место в обществе и государстве. Если бы человек в своем поведении руководствовался соображениями исключительно рассудочными, например выгоды, пользы, гармонии или порядка, если бы конечной целью его стремлений было устройство общества по какому-то раз и навсегда незыблемо установленному образцу — все равно, пчелиного ли улья, муравейника или хрустального дворца, —

тогда, быть может, задача осуществления рая на земле, теоретически по крайней мере, была бы разрешима. Тогда вопрос сводился бы к отысканию каких-то научно-экономических классификаций, какой-то статистической средней равнодействующей или социально-биологической нормы. И коль скоро такая формула была бы найдена, тотчас все бы устроилось и потекли бы молочные реки в кисельных берегах. Равным образом тогда было бы просто определить, что именно лучше — республика Платона, утопическое государство Мура, фаланстер Фурье или коммунистическая казарма Маркса.

Достоевский положительно отрицал возможность подобного решения социальной теоремы не только потому, что искомое является величиной непостоянной, вечно меняющейся в зависимости от бесчисленного множества непредвиденных условий и обстоятельств, но и вследствие того, что сам-то ищущий, т. е. человек, далеко не всегда действует по утилитарной схеме бентамовской пользы. Впервые Достоевский отчетливо выразил эту мысль в 1856 г. в «Записках из подполья». «О, скажите, — восклицает герой этой психологической хроники, — кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает своих собственных интересов, а что если бы его просветить,.. то он тотчас... стал бы добрым и благородным, ибо, будучи просвещенным,.. увидел бы в добре собственную свою выгоду... О, младенец! О, чистое, невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, чтобы человек действовал только из одной своей... выгоды? Что же делать с миллионами примеров, свидетельствующих о том, что люди зазнамо, вполне понимая свои настоящие интересы, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось,.. как будто... не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть ли не в потемках».

Достоевский идет еще дальше. Он рисует картину целесообразно устроенного хрустального дворца, в котором установлены благополучие, гармония и порядок; в котором обеспечены все выгоды и соблюдены все личные интересы, так что человеку остается лишь кататься как сыру в масле. «И

вдруг, — говорит Достоевский, — ни с того ни с сего, среди всеобщего благоразумия, возникает какой-нибудь джентльмен и с насмешливой физиономией упрет руки в боки и скажет нам: “А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и... нам опять по своей глупой воле пожить!..”»

Десять лет спустя Достоевский развил эти иррациональные противоречия в заключительной и воистину пророческой части «Преступления и наказания». Там снова поставлен вопрос о кажущейся непостижимости человеческой природы и о безнадежности устройства судьбы человечества на утилитарных принципах теоретической мысли.

Жуткий сон приснился Раскольникову. «Ему грезилось, что весь мир обречен в жертву какой-то неслыханной... моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселившиеся в тела людей. Но существа эти были духи, одаренные умом и волею. Люди, принявшие их в себя, тотчас становились бесноватыми... Но никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали себя эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем одном заключается истина... Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались. В городах целый день били в набат, созывая всех, но никто не знал, кто и для чего зовет... Оставляя самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться. Остановилось земледелие.

Кое-где люди сбегались в кучи, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое,.. начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары; начался голод. Все погибали. Язва росла и продвигалась все дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек: это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слов и голоса». В этой зловещей картине, особенно знаменательной в дни нашего преступного лихолетья, заключается мистическое провидение будущих судеб человечества, отказавшегося от Бога и надменно, но безумно мечтающего изобрести схему универсального счастья.

В «Бесах» Достоевский дал конкретное изображение того «земного рая», который должен будто бы явиться поправкой к иррациональности человеческой психики, а также завершением социального строительства в царстве мира сего. Автором этого плана представлен некто Шигалев, один из бесчисленных бесенят, которым полвека спустя удалось свалить в бездну величайшую в мире империю. «Объявляю заранее, — говорит на товарищеской сходке Шигалев, — что система моя не окончена. Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей... Исходя из безграничной свободы я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». А смысл этой формулы разъясняет «державный бес» Верховенский в своем разговоре со Ставрогиным. «У Шигалева хорошо в тетради, — у него шпионство. У него каждый член следит за другим и обязан доносить. Каждый принадлежит всем, а все — каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях — клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, науки и талантов. — Не надо высших способностей!.. Высшие способности не могут не быть деспотом. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспира побивают камнями — вот Шигалевщина!..» Именно эти прин-

ципы, гениально разгаданные Достоевским, легли в основание, сделались главою угла власти еврейских большевиков с ее всеобщим рабством и всепроникающим шпионством, в котором потерявшие и разум, и веру, и совесть бездарные поводыри пытаются устроить «хрустальный дворец», «гармонию целого», за счет единственно реальной ценности — пусть иррационального, но неповторимого и духовно-бессмертного «Я».

Этой предвечной дисгармонии между безличной «гармонией целого» и самоутверждением человеческой личности Достоевский посвятил в «Дневнике писателя» замечательный очерк под названием «Приговор». Но мысли, высказанные в нем, непосредственно вводят нас в круг второй главной идеи его мировоззрения — идеи страдания.

В длинной галерее выведенных Достоевским типов тема страдания, повторяясь в бесконечных вариантах, вырастает в универсальную проблему. Разрешение ее, по его убеждению, следует искать не столько в политике и экономике, сколько в религии и этике, в обновлении и очищении нравственной природы человека, ибо страдание неотделимо от зла, все равно извне ли причиняемого или гнездящегося в темных закоулках человеческой души.

Есть что-то жгучее и страстное в той боли, с которой Достоевский останавливается на страдании детей, которому посвящены многие бессмертные, написанные кровью его сердца страницы. Достаточно вспомнить разговор Ставрогина с Кирилловым, когда тот играет мячиком с ребенком; душевраздирающие сцены семейной жизни Мармеладовых; характер и судьбу Нелли в «Униженных и оскорбленных»; Неточку Незванову; мальчика на елке у Христа и, наконец, скорбный образ Илюшечки в «Братьях Карамазовых».

Чем, спрашивается, каким нравственным законом, какой нормой справедливости оправдываются страдания безвинных существ? — На этот вопрос Достоевский не нашел ответа. В самом деле, если в отношении взрослых можно утверждать, что страдание является следствием первородного греха, если их страдание может рассматриваться как неизбежное возмез-

дие за зло, причиняемое человеком своему ближнему, по формуле: «Мне отмщение и Аз воздам», то все эти богословские и догматические рассуждения явно неприменимы к малюткам, никакого яблока не скушавшим; к мальчику, замерзающему в рождественскую ночь где-то на задворках большого города; к грудному младенцу, которому башибузуки, потехи ради, из садизма, раздробляют головку пистолетом; к семилетней девочке, которую родители засекают чуть не до смерти; к шестилетнему парнишке, растерзанному по приказанию крепостника-изверга сворой борзых, — словом, ко всем этим чистым ангельским душам, никакого греха не принявшим, никакого зла не совершившим, которые, однако, по какому-то роковому велению, подвергаются мучениям и обрекаются на незаслуженный ими ад.

В разговоре с Алешей Иван Карамазов переносит проблему страдания в область религиозно-метафизическую: «Понижаю, — говорит он, — каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и все на земле сольется в один хвалебный гимн, и все живое и жившее воскликнет: “Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!” Уж если мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее и все трое возгласят со слезами: “Прав Ты, Господи!”, то, конечно, настанет венец познания и все объяснится... Но вот... этого-то я и не могу принять... Пока еще время... от высшей гармонии совсем отказываюсь. Не стоит она слезинок хотя бы только одного замученного ребенка... Не стоит потому, что слезки его остались неисккупленными... Я не хочу оставаться с неотмщенными страданиями... Да и слишком дорого оценили гармонию — не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю... Я только билет Ему почтительнейше возвращаю». В этих болезненных словах, в этом надрыве сказывается надломленность человеческого сознания, неспособность его продолжать тот путь, по которому, от скрытого начала к скрытому же концу, человек ведется Провидением. Тысячелетиями шел он по этому пути, безропотно вынося все в надежде, что конечное откровение и всепобедное торжество правды-истины и правды-справедливости

утолят когда-нибудь жажду его усталого сердца. Но вот, наконец, страдания возросли до такой степени, а жгучая боль сделалась столь невыносимой, что он не в силах уже идти дальше. Он оглядывается на весь пройденный путь, взвешивает свое бремя и в отчаянии спрашивает себя: «Куда я иду? Не безумием ли была моя надежда и не зло ли в той непонятной мне воле, которая внушила мне эти несбыточные мечты?»

Но в этом «бунте» Ивана слышится и другой мотив, непосредственно связанный с фатальной болезнью нашего лукавомудрствующего века. Иван утверждает, что принимает Бога, но лишь «почтительнейше возвращает» Ему билет на вход в храм гармонии. Так ли это однако? Не есть ли это лишь диалектический прием для оправдания того безнадежного скептицизма, который оказывается порождением гордыни разума? Не знаменует ли это поспешное возвращение билета прямое отрицание Божественного Промысла?

Бунт Ивана так же, как бунт Раскольникова в «Преступлении и наказании», так же, как бунт Кириллова в «Бесах», — бунт разума, тщетно пытающегося найти этический критерий вне религии и устроить судьбы человеческие по рецептам, продиктованным не религиозным сознанием, а эмпирическим познанием. Но Достоевский отрицал возможность автономной морали, т. е. такой, где поведение человека определяется субъективной, произвольной, им самим установленной оценкой понятий *добра* и зла. Вслед за славянофилами Достоевский утверждал, что природа нравственности гетерономна, что живым источником и высшей санкцией этического импульса является правда Божественной *благодати*, нас посещающая, научающая нас отличать дозволенное от недозволенного и побуждающая нас следовать тому, что Кант назвал «категорическим императивом».

В своих произведениях, в этих великих поэмах человеческого духа Достоевский показал, что нравственность, построенная на шатких основаниях личного произвола, неизбежно приводит к принципу: «все дозволено», т. е. к прямому уже отрицанию всякой нравственности. И действительно, на-

полеоновский лозунг «*Tout est permit*» толкает Раскольникова на убийство, Ивана Карамазова — на отцеубийство, и Кириллова — на самоубийство.

Достоевский знал, что человечество, уверовав в безграничную будто бы силу науки и выведя идею Бога за скобки, неудержимо, всей своей 2-миллиардной массой устремляется в зловеще зияющую бездну, в которой ему и суждено погибнуть. В частности, Достоевский указал и на то, что Западная церковь, некогда сплотившая Европу в единый организм под знаменем католического Рима, не в состоянии уже предотвратить надвигающейся катастрофы потому, что она сама, Западная церковь, перестала быть церковью Христовой, подменив идею Христа идеей Его Наместника на земле в лице якобы непогрешимого папы. К этой теме Достоевский возвращался часто. Впервые она была затронута, но как бы мимоходом, в «Идиоте»; более подробно она была разработана в «Дневнике писателя», получив, наконец, полное и гениальное выражение в «Легенде Великого Инквизитора».

В «Легенде» затронуты глубочайшие тайны *эсхатологии* и христианского *богопознания*. Сквозь туман лукавых социальных утопий, которые предлагали человечеству люди, отрeksiеся от Христа и поклонявшиеся *антихристу*, Достоевский ясно различал бездну, в которую ведет мир иудейско-масонская цивилизация.

Действие «Легенды» отнесено к XVI в., когда уже произошло распадение Церкви: Восток, в частности Россия, озарились тихим светом замкнувшегося в себе *Православия*. В Центральной Европе начались бурные и буйные протесты против папской власти: Лютер, Кальвин и гуманисты подвергли сомнению не только церковно-административный, но и религиозно-догматический авторитет Римского Первосвященника. Однако на крайнем Западе, в Испании, *католичество* еще теснее сомкнуло свои ряды, введя железную дисциплину среди пастырей и пасомых и противопоставив шумливой Реформации молчаливо-грозную силу Ордена иезуитов и священной инквизиции. По приказу Великого Инквизитора в темницу

был брошен Сын Божий, по безмерному своему милосердию снизошедший на жаркие стогны южного града и там сотворивший чудо, воскресив мертвого ребенка.

Пятнадцать веков усталое, страждущее человечество ожидало исполнения завещанного ему обетования: «Се грядущее скоро». Только безграничная вера в святыню Божественного Слова поддерживала людей, давая им силы нести возложенное на них непосильное бремя. И вот Слово исполнилось.

Севилья. Тихо спускается вечер на древний город. Дневной труд окончен, и толпы медленно расходятся туда и сюда. И вдруг появляется Он, в том самом образе человеческом, в котором 15 веков назад, ходил между людьми. По внешности Он ничем не отличается от остальных. Но, странное дело, все узнают Его. Неизъяснимой силой народ стремится к Нему, окружает Его, следует за Ним. Молча проходит Он среди них с улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи света струятся из Его очей и, изливаясь на людей, сотрясают их ответной любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от одного прикосновения к Его одежде исходит целующая благодать... Народ плачет и целует землю, по которой Он идет. Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют Ему: «Осанна!» — «Это Он, это Он сам!» — восклицают все. Он останавливается на паперти собора в эту самую минуту, когда в храм вносят детский гробик; в нем семилетняя девочка, единственная дочь знатного гражданина. Мертвый ребенок утопает в цветах. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы рыдающей матери, и она повергается к стопам Его и молит, простирая к Нему руки. «Если это Ты, — воскреси дитя мое!» Процессия останавливается. Гробик опускают к ногам Его. Он глядит с любовью и состраданием, и уста Его произносят: «Талифа куми!» Девочка поднимается в гробе, садится и оглядывается кругом удивленными глазками. В народе смятение, рыдания и крики.

Все это безмолвно наблюдает 90-летний старец, Великий Инквизитор, воплощающий идею католичества, христианства без Христа, идею западной цивилизации.

Кардинал слышит восторженные клики, он видит чудо воскресения. Властным жестом подзывает он стражу и указывает ей на Виновника смятения и торжества. И народ, приученный и покорный, раздвигается; воины подходят к Спасителю, накладывают на Него руки и уводят. Толпа склоняется до земли перед сумрачным служителем Церкви. Он благословляет народ и молча проходит далее. Пленника приводят в темное подземелье Святого Судилища и запирают там.

Бархатной ризой спускается на землю южная, бездыханная ночь. Воздух напоен ароматом цветущего лавра и лимона. Севилья объята и мраком и сном. Тишина. Но вот среди глубокого молчания вдруг закрипели ржавые петли тюремной двери и в темницу с тусклым светильником входит старец-Инквизитор. Он остается с глазу на глаз со своим Пленником. Долго всматривается он в лицо Его, подходит ближе и шепчет: «Это ты?» Но, не получая ответа, он быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи! Да что хоть бы Ты сказал?.. Я слишком знаю, что Ты скажешь, но Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано Тобою... Зачем Ты пришел к нам мешать? Ибо Ты пришел к нам мешать... Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это, или только подобие Его. Но завтра я осужу Тебя и сожгу на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра, по одному моему мановению, бросится подгрести угли к твоему костру». Христос не нужен Инквизитору. Окостеневшие, мертвые формы церковного уклада давно уже утратили живое содержание учения Христова. Ничто не должно посягать на выкованные веками догматы, и новое Божественное Откровение было бы преступлением не только против человеческого стада, покорно бредущего за земным пастырем к неведомой цели, но и против Самого Бога, ибо это дополнение к ранее сказанному явилось бы признанием неполноты, а стало быть, и несовершенства преподанного Спасителем завета. И Великий Инквизитор в своей обвинительной речи против Пленника прямо объявляет, что Истина и нравственная свобода, возвещанная Им для искупления первородного греха и спасения человечества, идут вразрез

с его природой. Не к Истине стремится человек, а к избежанию страдания; не к свободе, а к освобождению от нее. А если так, то земные судьбы его не могут строиться на заветах Спасителя.

Отвергнув в пустыне все три искушения Великого и Страшного Духа, Христос, по мысли Инквизитора, лишил Себя тех средств, которые могли бы побудить людей следовать за Ним.

«Ты хочешь, — говорит кардинал, — идти в мир с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого он в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем не может и осмыслить, которого он страшится, ибо никогда и ничего не было для человека невыносимее свободы. А видишь ли сии камни?.. Обрати их в хлебы, и человечество побежит за Тобой как стадо... Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же это свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не одним хлебом. Но знаешь ли, что во время этого самого хлеба... восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен Зверю сему? — он дал нам огонь с небеси!»

Ныне мы уже присутствуем при восстании Духа Земли, при предсказанном Достоевским торжестве всего земного, когда человек, заглушив в себе возвышенное, горнее и святое, разрушил храмы Истины, воздвигнув вместо него капище Лжи, в котором служатся кошунственные черные мессы не только земному, но и низменному, всему, что будто бы питает тело, но в действительности отравляет душу смертельным ядом безграничного *материализма*.

Инквизитор признается, что католичество, воспользовавшись именем Христа, внесло в учение Его «поправку», выкинув из заповеди Его «НЕ единым хлебом будет жив человек» крошечную частицу «не», превратив ее в мертвящую формулу «Единым хлебом жив будет человек» и заменив завещанную Христом нравственную свободу безнравственным духовным рабством, извне навязанной дисциплиной церковно-административного произвола. И в награду за отказ от свободы

Римская церковь готова санкционировать не только мораль, лишённую Божественного утверждения, но и отрицание морали в форме греха. «Мы разрешим им и грех, — говорит старец. — Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволим им грешить. Мы скажем, что всякий грех будет искуплен, если будет сделан с нашего позволения». Таким образом, все то, что Христос с негодованием отверг в пустыне, все дары Великого и страшного Духа кладутся в основу устройства западной, по сути дела, антихристианской цивилизации.

В чем же спасение? — На это Достоевский с глубоким убеждением ответил, что нет большей мудрости, чем та, которая заключается в учении Спасителя, и нет большего подвига, нежели следовать Его заветам. Ложной и лживой философии Инквизитора он противопоставил тихое, как майское утро, миропонимание другого старца — старца Зосимы (прототипом которого был св. старец *Амвросий* из *Оптиной пустыни*), любовью и состраданием врачующего душевные язвы стекающих к нему со всех сторон страдальцев и грешников. В образе этого великого, но кроткого провидца Достоевский дал поразительное по глубине и тонкости воплощение восточного христианства, сохранившего в чистоте веру в *богочеловечество*, смерть, *воскресение Христа* и в приявшего эту тайну не как закон, канонически навязанный ему извне, а как свободой и любовью созданную нравственную необходимость.

Достоевский знал, что в этой тайне разрешаются все антиномии: безусловность Творца и условность твари; объективная гармония Космоса и субъективное ощущение Хаоса; покой вечности и объемлемое им вечное движение.

Достоевский звал ошалевшее и исподличавшееся человечество смирить гордыню разума и понять, наконец, что в богоотступничестве нет спасения. Он подошел к больным и заблудившимся сынам своего века со словами милосердия и устами старца Зосимы сказал им: «Любите человека и в грехе его, ибо сие уже подобно Божеской любви».

При этом он говорил не о гордой и себялюбивой ницшеанской «любви к дальним», а именно о христианской и Хри-

стовой любви к ближним, о той любви, которая в смирении своем двигает горы и творит чудеса, которая в самых недостойных и грешных сердцах поселяет надежду на оправдание и очищение. И более, чем кто-либо, Достоевский был убежден, что перед мудрым судом Всевышнего скорее осужден будет рассудочный пуританин, лицемерно соблюдающий заповеди, нежели опустившийся в бездну духовного неряшества какой-нибудь Мармеладов, всей силой исстрадавшейся души своей верующий, что Бог всех рассудит, всех простит — добрых и злых, премудрых и смиренных. Верует Мармеладов и веру свою исповедует в молитве, равно которой по детской трогательности едва ли что-либо создано в мировой литературе.

Всех рассудит и всех простит... И когда уже кончит со всеми, тогда возглаголит к ним: «Выходите, — скажет, — и вы! Выходите пьяненькие, выходите соромники! И мы выйдем все, не стыдясь, и станем, и скажет: “Свиньи вы! Образа звериного и печати его, но придите и вы!” И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: “Господи, почто сих приемлеш?” И скажет: “Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным”. И прострет к ним руци свои, и мы припадем и заплачем, и все пойдем. Тогда все пойдем... все поймут... Господи, да придет Царствие Твое!»

Предсказывая еще в 1870-х грядущую еврейскую революцию в России, Достоевский видел в ней войну против христианской цивилизации, конец христианской культуры, всеобщее духовное одичание человечества и установление «жидовского царства».

«Евреи, — писал Достоевский, — всегда живут ожиданием чудесной революции, которая даст им свое “жидовское царство”. Выйди из народов и... знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов обрети, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, — все равно верь

всему тому, что тебе обещано раз и навсегда, верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай».

Явление бесов на Русь Достоевский прямо связывает с «жидами и жидишками», составлявшими идейное ядро революционеров и либеральной интеллигенции. Все они — воплощение сатанизма и антихриста.

Предрекая грядущие потрясения и предсказывая, что «от жидов придет гибель России», Достоевский видел в революции бунт антихриста против Христа, дьявола и его слуг иудеев против Бога.

«Верхушка иудеев, — писал Достоевский, — воцаряется все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть».

Бичуя бесов либерализма и социализма, Достоевский видел в идеях коммунистической революции «начала антихристовы, дух приближения ига князя мира сего, воплощенного в иудейских вождях». Социализм с его соблазном (а фактически обманом) создания земного царства блаженства есть религия антихриста, стремление уничтожить христианскую цивилизацию. И социализм, и капитализм были для Достоевского не противоположными началами, а лишь двумя формами одного и того же — сатанинского — стремления к упоению земными благами.

Социализм и капитализм — выражение общего иудейско-сатанинского идеала «вожделений избранного народа», замаскированных лукавством *дьявола*, искушавшего в пустыне Христа своими соблазнами хлеба земного и чувственных наслаждений.

Б. Бразоль

Достоевский принадлежит столько же литературе, сколько и философии. Ни в чем это не выражается с большей яркостью, как в том, что он доныне вдохновляет философскую мысль. Комментаторы Достоевского продолжают реконструировать его идеи — и само разнообразие этих комментариев за-

висит не от какой-либо неясности у Достоевского в выражении его идеи, а, наоборот, от сложности и глубины их. Конечно, Достоевский не является философом в обычном и банальном смысле слова — у него нет ни одного чисто философского сочинения. Он мыслит как художник — диалектика идей воплощается у него в столкновениях и встречах различных «героев». Высказывания этих героев, часто имеющие самостоятельную идейную ценность, не могут быть отрываемы от их личности — так, Раскольников, независимо от его идеи, сам по себе, как личность, останавливает на себе внимание: его нельзя отделить от его идеи, а идеи нельзя отделить от того, что он переживает... Во всяком случае, Достоевский принадлежит русской — и даже больше — мировой философии.

Творчество Достоевского сосредоточено вокруг вопросов философии духа — это темы антропологии, философии истории, этики, философии религии. В этой области обилие и глубина идей у Достоевского поразительны — он принадлежит к тем творческим умам, которые страдают от изобилия. Ранний социализм Достоевского надо считать очень важным, а отчасти даже решающим, фактором в его духовных исканиях: социализм этот был не чем иным, как тем самым «этическим *имманентизмом*» — вера в основное и «естественное» добро человеческой природы, в «естественную» возможность подлинного и всецелого «счастья», устраиваемого «естественными» же путями. Это есть прямое и решительное отвержение учения о «радикальном зле» человеческой природы, говоря терминами Канта, — отвержение доктрины первородного греха и доктрины искупления и спасения, во Христе принесенного людям. В отношении к духовным исканиям Достоевского весь этот строй мысли следовало бы назвать «христианским натурализмом», возлагающим все надежды на то христианское озарение человека, которое вошло в мир через Боговоплощение и нашло свое высшее выражение в Преображении Спасителя. Это есть христианство без Голгофы, христианство лишь Вифлеема и Фавора. Конечно, это есть своеобразное, христиански отраженное сочетание руссоизма

и шиллеризма — это есть вера в «естество» и признание природного, хотя бы и скрытого под внешними наслоениями благородства, скрытой «святыни» человеческой души или, как выражается Достоевский в статье, посвященной Жорж Санд, признание «совершенства души человеческой».

В основе всей идейной жизни, всех исканий и построений Достоевского были его религиозные искания. Достоевский всю жизнь оставался религиозной натурой, всю жизнь «мучился», по его выражению, мыслью о Боге. Поэтому в лице Достоевского больше, чем в лице какого-либо другого, мы имеем дело с философским творчеством, выраставшим в лоне религиозно-го сознания. Но вся исключительная значительность идейного творчества Достоевского заключалась как раз в том, что он с огромной силой и непревзойденной глубиной вскрывает религиозную проблематику в темах антропологии, этики, эстетики, историософии. Именно в осознании этих проблем с точки зрения религии и состояло то, о чем он говорил, что его «мучил Бог». Достоевский писал: «...и в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Но эти сомнения рождались из глубин самого религиозного сознания; все они связаны с одной и той же темой — о взаимоотношении и связи Бога и мира. У Достоевского никогда не было сомнений в бытии Бога, но перед ним всегда вставал (и в разные периоды по-разному решался) вопрос о том, что следует из бытия Божия для мира, для человека и его исторического действия. Возможно ли религиозное (во Христе) восприятие и участие в ней культуры? Человек, каков он в действительности есть, его деятельность и искания могут ли быть религиозно оправданы и осмыслены? Зло в человеке, зло в истории, мировые страдания могут ли быть религиозно оправданы и приняты? Если угодно, можно все это рассматривать как различные выражения проблемы теодицеи. Не только «Бог мучил» всю жизнь Достоевского, но и он всю жизнь боролся с Богом, — и этот интимный религиозный процесс и лежал в основе диалектики всего духовного процесса в нем.

Достоевский не со стороны, а внутри носил в себе и всю проблематику культуры, все ее мечты и идеалы, ее вдохновения и радости, ее правду и неправду. Внутренней разнородности христианства и культуры Достоевский никогда не утверждал, наоборот, в нем была всегда глубочайшая уверенность в возможности их подлинного сочетания. Поэтому мы не найдем у него нигде той вражды к культуре, какая, напр., была у Толстого. Достоевский отталкивался от секуляризма — от разъединения церкви и культуры, от радикального индивидуализма («обособления», как любил он выражаться), от «атеистической» культуры современности. Секуляризм и был для Достоевского скрытым, а чаще — явным атеизмом.

Когда Достоевский увлекся социализмом, то он «страстно» принял его, но и тогда он не отделял этой «страстной» веры в осуществление правды на земле от веры во Христа. Он потому и ушел вскоре от Белинского (за которым, по его собственному признанию, сначала «страстно» следовал), что Белинский «ругал» Христа. Без преувеличения можно сказать, что увлечение социализмом было связано у Достоевского с его религиозными исканиями. Правда, в дальнейшем мысль Достоевского все время движется в линиях антиномизма, его положительные построения имеют рядом с собой острые и решительные отрицания, но такова уже сила и высота мысли его. Редко кто из русских мыслителей так чувствовал диалектические зигзаги в движении идеи. Но и антиномизм Достоевского коренился в его религиозном же сознании и вне этого религиозного сознания невозможно даже надлежаще оценить антиномизм в его основаниях у Достоевского.

Раннее увлечение социализмом вплотную подвело религиозное сознание Достоевского к основным проблемам культуры, к вере в добро в человеке, в его «естество». В 1877-м Достоевский писал: «Величайшая красота человека... величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству... единственно потому, что всем этим дарам не хватило гения, чтобы управлять этим богатством». В этих словах очень ясно выражен один полюс в основной историософской

антиномии у Достоевского — вера в «естество», его скрытую «святину», но и признание, что для плодотворного действия этой «святини» не хватает умения «управить» ее богатством.

Философское творчество Достоевского имеет не одну, а несколько исходных точек, но наиболее важной и даже определяющей для него была тема о человеке. Вместе со всей русской мыслью Достоевский — антропоцентричен, а его философское мировоззрение есть, прежде всего, персонализм, окрашенный, правда, чисто этически, но зато и достигающий в этой окраске необычайной силы и глубины. Для Достоевского нет ничего дороже и значительнее человека, хотя, быть может, нет и ничего страшнее человека. Человек — загадочен, соткан из противоречий, но он является в то же время — в лице самого даже ничтожного человека — абсолютной ценностью. Достоевский раскрыл «темную» сторону в человеке, силы разрушения и беспредельного эгоизма, его страшный аморализм, таящийся в глубине души. Антропология Достоевского прежде всего посвящена «подполью» в человеке. Достоевский вскрывал и светлые силы души, диалектику добра в ней. В этом отношении Достоевский примыкает к исконной христианской (т. е. свято-отеческой) антропологии. Не только грех, порочность, эгоизм, вообще «демоническая» стихия в человеке вскрыты у Достоевского с небывалой силой, но не менее глубоко вскрыты движения правды и добра в человеческой душе, «ангельское» начало в нем. В том-то и сила, и значительность антропологического антиномизма у Достоевского, что оба члена антиномии даны у него в высшей своей форме.

Персонализм Достоевского является этическим — и это значит, прежде всего, что ценность и неразложимость человеческого существа связаны не с его «цветением», не с его высшими творческими достижениями — они присущи и маленькому ребеночку, еще беспомощному и бессильному, еще не могущему ничем себя проявить. Персонализм Достоевского относится к онтологии, а не к психологии человека — к его существу, а не к эмпирической реальности. Но само восприятие человека у Достоевского внутренне пронизано этической категорией —

он не только описывает борьбу добра и зла в человеке, но он ищет ее в нем. Человек включен в порядок природы, подчинен ее законам, но он может и должен быть независим от природы. В «Записках из подполья» с поразительной силой высказана эта независимость духа человеческого от природы, и там же провозглашается, что подлинная суть человека — в его свободе и только в ней. «Все-то дело человеческое, кажется, действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он — человек, а не штифтик», — пишет Достоевский в «Записках из подполья». Это самоутверждение есть утверждение своей независимости от природы — все достоинство человека в этом как раз и состоит.

Подлинное в человеке состоит лишь в его этической жизни — здесь и только здесь человек есть, по существу, новое, высшее, несравнимое бытие. В этом смысле уже в «Записках из подполья» мы находим такой апофеоз человека, который превращает его если не в центр мира, то в важнейшее и драгоценнейшее явление. Для Достоевского аморализм, скрытый в глубине человека, есть тоже апофеоз человека; этот аморализм — явление духовного порядка, а не связан с биологическими процессами в человеке.

Но чем категоричнее это онтологическое превознесение человека, тем беспощаднее вскрывает Достоевский роковую неустроенность духа человеческого, его темные движения. Основная тайна человека в том и состоит, по Достоевскому, что он есть существо этическое, что он неизменно и непобедимо стоит всегда перед дилеммой добра и зла, от которой он не может никуда уйти: кто не идет путем добра, тот необходимо становится на путь зла. Эта этическая сущность человека, основная его этическая направленность есть не предвзятая идея у Достоевского, а вывод из его наблюдений над людьми.

Достоевский высмеивает тот поверхностный интеллектуализм в понимании человека, который достиг наиболее плохого своего выражения в построениях утилитаризма. «Записки из подполья» говорят о том, что «человек есть существо легкомысленное», действующее менее всего для собственной

выгоды: «Когда во все тысячелетия бывало, чтобы человек действовал из одной своей выгоды?» Представление о человеке как существе рассудочном, а потому и благоразумном, есть чистая фикция, — «так как натура человеческая действует вся целиком, — всем, что в ней есть — сознательно и бессознательно». «Хотенье может, конечно, сходиться с рассудком,.. но очень часто и даже большей частью совершенно и упрямо расходится с рассудком». «Я хочу жить, — говорит человек из подполья, — для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности. Рассудок удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни». Самое дорогое для человека — «свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и дикий, каприз»; самое дорогое и важное для человека — «по своей глупой воле пожить», и потому человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевают ему разум и совесть».

Психологический волюнтаризм переходит у Достоевского незаметно в иррационализм, в признание, что ключ к пониманию человека лежит глубже его сознания, его совести и разума, — в том «подполье», где он «сам». Этический персонализм Достоевского облекается в живую плоть действительности: «ядро» человека, его подлинная суть даны в его свободе, в жажде и возможности его индивидуального самоутверждения («по своей глупой воле пожить»). Онтология человека определяется этой жаждой свободы, жаждой быть «самим собой», — но именно потому, что Достоевский видит в свободе сокровенную суть человека, никто глубже его не заглядывал в тайну свободы, никто ярче его не вскрывал всю ее проблематику, ее «неустроенность». Для Достоевского «в свободе подпольного человека заложено семя смерти». Если свобода дороже всего человеку, если в ней последняя его «суть», то она же оказывается бременем, снести которое слишком трудно. А, с другой стороны, в нашем подполье, — а «подпольный» человек и есть как раз «естественный» человек, освободившийся от всякой

традиции и условности, — в подполье нашем, по выражению Достоевского, ощущается смрад, обнажается внутренний хаос, злые, даже преступные, во всяком случае, постыдные, ничтожные движения. Вот, например, Раскольников: разложив в работе разума все предписания традиционной морали, он стал вплотную перед соблазном, что «все позволено», и пошел на преступление. Мораль оказалась лишенной основания в глубине души, свобода оборачивается аморализмом; напомним, что и на каторге Раскольников долго не чувствовал никакого раскаяния. Поворот пришел позже, когда в нем расцвела любовь к Соне, а до этого в его свободе он не находил никакого вдохновения к моральному раздумью. Это вскрывает загадку в душе человека, вскрывает слепоту нашей свободы, поскольку она соединена только с голым разумом. Путь к добру не определяется одной свободой; он, конечно, иррационален, но только в том смысле, что не разум движет к добру, а воля, сила духа. В свободе, оторванной от живых движений любви, скрывается семя смерти. Человек не может, по существу, отойти от добра, — и если, отдаваясь свободной игре страстей, он отходит от добра, то у него начинается мучительная болезнь души. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов по-разному, но все страдают оттого, что заглушили в себе живое чувство добра (т. е. Бога), что остались сами с собой. Свобода, если она оставляет нас с самими собой, раскрывает лишь хаос в душе, обнажает темные и низшие движения, т. е. превращает нас в рабов страстей, заставляет мучительно страдать. Это значит, что человек создан этическим существом и не может перестать быть им. С особенной силой и болью говорит Достоевский о том, что преступление совсем не означает природной аморальности, а, наоборот, свидетельствует (отрицательно) о том, что, отходя от добра, человек теряет нечто, без чего ему жить нельзя. В «Записках из Мертвого дома» он писал: «Сколько великих сил погубило здесь даром! Ведь надо уже всем сказать: да, это был необыкновенный народ, может быть, самые даровитые, самые сильные из народа». Это были люди, наделенные не только большой силой, но и свободой — и свобода-то

их и сорвала с путей «традиционной» морали и толкнула на преступление. Отсюда семя смерти. В «Дневнике писателя» за последние годы Достоевский писал: «Зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно». Достоевский показывает неустроенность человеческого духа или лучше — расстройство его, а вместе с тем и невозможность для человеческого духа отойти от этической установки. «Семя смерти», заложенное в свободе, означает, что расстройство духа имеет корень не на поверхности, а именно в последней глубине духа, ибо нет ничего в человеке глубже его свободы.

Проблематика свободы в человеке есть вершина идей Достоевского в антропологии; свобода не есть последняя правда о человеке — эта правда определяется этическим началом в человеке, тем, к добру или злу идет человек в своей свободе. В свободе есть «семя смерти» и саморазрушения, но она же может вознести человека на высоты преображения. Свобода открывает простор для демонизма в человеке, но она же может возвысить ангельское начало в нем. Есть диалектика зла в движениях свободы, но есть и диалектика добра в них.

Эта сторона в антропологии Достоевского часто забывается или недостаточно оценивается, — между тем в ней лежит ключ к объяснению той системы идей, которую можно характеризовать как «христианский натурализм». Слова о том, что «красота спасет мир», вскрывают эту своеобразную эстетическую утопию Достоевского. Все его сомнения в человеке, все обнажение хаоса и «семени смерти» в нем нейтрализуются у Достоевского убеждением, что в человеке таится великая сила, спасающая его и мир, — горе лишь в том, что человечество не умеет использовать эту силу. В «Дневнике писателя» (1877) Достоевский написал однажды: «...величайшая красота человека, величайшая чистота его... обращается ни во что, проходит без пользы для человечества... единственно потому, что всем этим... дарам... недоставало... гения, чтоб управлять этим богатством». Значит, ключ к преображению, к устройению человека в нем есть, и мы только не умеем овладеть этим ключом. Старец Зосима высказал такую мысль: «Мы не по-

нимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он предстанет перед нами во всей своей красоте». В замечательных словах Версилова («Подросток») по поводу картины Лоррена выражена та же мысль о том, что свет и правда уже есть в мире, но остаются нами незамеченными. «Ощущение счастья, мне еще неизвестное, прошло сквозь сердце мое даже до боли». В чудной форме это ощущение святости в человеке передано в гениальном «сне смешного человека». В материалах к «Бесам» находим такое место: «Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске, на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале — что это и естественно и возможно».

Диалектика «естественного и возможного» добра предполагает в человеке религиозную жизнь. «Весь закон бытия человеческого лишь в том — говорит в «Бесах» Стефан Трофимович, — чтобы человек мог преклониться перед безмерно великим; Безмерное и Бесконечное так же необходимы человеку, как та малая планета, на которой он живет». Несчастье человечества в том, что в нем «помутилась эстетическая идея»; оттого теперь красота стала «страшная и ужасная вещь», она и «таинственная вещь — тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человеческое». Вот это «помутнение эстетической идеи», в силу которого дьявол овладевает человеком, когда в нем пробуждается эстетический восторг, — и объясняет, почему утеряно людьми «уменье» владеть святостью, открытой его сердцу.

Антропология Достоевского касается последних глубин человеческого духа, вскрывает непобедимую силу этического начала в человеке, но и помутнение человеческого сердца, в силу чего прямой путь к добру закрыт. Свобода вобрала в себя «семя смерти», в глубине души, замутненной грехом, завелся смрад и грех, — но сила добра продолжает жить в человеке. Лишь через страдания и часто через преступление освобождается человек от соблазнов зла и вновь обращается к Богу. Оттого и говорит Алеша о старце Зосиме: «В его сердце тайна обновления для всех, — та мощь, которая наконец уста-

новит правду на земле...» Социалистическая мечта прежних лет, романтическая мечта о «восстановлении» добра в людях держалась, таким образом, до конца жизни у Достоевского, и его антропология стоит посредине между чисто церковной и секулярной идеей о человеке. Для полного соответствия взглядов Достоевского учению церкви ему не хватало поставления на верховное место того центрального учения христианства, которое видит в страданиях и смерти Спасителя необходимое предварение спасительного Его воскресения. В христианском миропонимании Достоевского подчеркнуто то откровение о мире и человеке, которое дано нам в Боговоплощении и Преображении, но нет того, что дано в Голгофе. Вера в человека торжествует у Достоевского над всеми его «открытиями» хаоса и смрадного подполья в человеке, — и в этом моменте антропология Достоевского пронизана лучами пасхальных переживаний, столь существенных для Православия и его основной тональности. Эстетический гуманизм, столь характерный для русских мыслителей, сохраняется и у Достоевского, только сама природа эстетических переживаний трактуется у Достоевского по-новому, в рамках его духовных устремлений о превращении государства, т. е. всего земного порядка, в Церковь.

Мистическая основа морали выражена Достоевским с большой силой и смелостью в предсмертных речах старца Зосимы. «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле... и возшло все... но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего к таинственным мирам иным». «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным». Это все — формулы мистической этики у Достоевского: действительно, живое и подлинное отношение к жизни для нас измеряется лишь любовью, переступающей границы и рассудка, и разума. Любовь становится сверхразумной, подымаясь до ощущения внутренней связи со всем миром, даже мертвым, даже с вещами («Братья, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну постигнешь в вещах»). Этот универсализм любви весь держится живым чувством Бога.

Достоевский много думал о «назначении христианства в искусстве». В этой обращенности его духа к вопросам эстетики нельзя не видеть влияния Шиллера с его культом эстетического начала в человеке и с его глубокой верой в единство добра и красоты. Сильно было и влияние Ап. Григорьева, бывшего сотрудником «Времени». Достоевский писал: «Мы верим, что у искусства — собственная, цельная и органическая жизнь... Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества неразлучна с человеком... человек жаждет красоты, принимает ее без всяких условий, а потому только, что она красота». «Красота присуща всему здоровому... она есть гармония, в ней залог успокоения». «Красота уже в вечности...»

«Если в народе сохраняется идеал красоты, значит в нем есть потребность здоровья, нормы, а следовательно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа». «Без науки можно прожить человечеству — заявляет старик Верховенский («Бесы»), — без хлеба, без одной только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся история тут». Воплотимость идеала, возможность его осуществления в исторической реальности, по Достоевскому, «гарантируется» тем, что в мире есть красота. «Народы движутся — пишет он в «Бесах» — силой, происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это... есть начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как они же отождествляют, — искание Бога, как называю я его проще». Эстетические переживания оказываются по существу мистическими, поскольку они движут нашу душу к Богу. «Дух Святой есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознание гармонии и, стало быть, неуклонное стремление к ней».

Религиозная интерпретация эстетических переживаний побеждает все соблазны мира, ослабляет всю его неправду, придает всему содержанию культуры высший, религиозный смысл. Это не только приятие культуры, это уже ее религиозное освящение, в котором начинается ее преображение. До Достоевского в России так мыслил только архим. Бухарев, но после Достоевского тема религиозного осмысления культуры,

выросшей из «слепого» процесса истории, тема ее освящения станет одной из важнейших тем историософских построений. У Достоевского мы находим типичную для этих исканий черту — признание, что ключ к преобразению культуры дан в ней самой, заключается в ее глубине и лишь закрыт от нас грехом.

Достоевский отмечает, что «эстетическая идея помутилась в человечестве». «Красота, — пишет он, — это страшная и ужасная вещь... тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Страшно то, что то, что уму представляется позором, то сердцу — сплошь красотой». Эта моральная двусмысленность красоты, это отсутствие внутренней связи красоты с добром есть в то же время «таинственная» вещь, ибо тут «дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека». Борьба идет под прикрытием красоты. Уж поистине можно сказать: не красота спасет мир, но красоту в мире нужно спасать.

Религиозные искания Достоевского достигают наибольшей остроты в его историософии. Достоевский пишет о «тайне истории», о том, что народы движутся силой «эстетической» или «нравственной», что в последнем счете это есть «искание Бога». Каждый народ жив именно этим «исканием Бога» (притом «своего» Бога). Каждый народ имеет свою особую «историческую миссию». Тайна этой миссии сокрыта в глубинах народного духа — отсюда тот мотив самобытности, который проводился «молодой редакцией» журнала «Москвитянин» и который был близок Достоевскому через Ап. Григорьева. Почвенничество у Достоевского не пленено эмпирической историей, но идет в глубь народного духа.

Для России предопределена особая задача в истории, и высшей точкой в развитии мыслей Достоевского о России была его знаменитая «Пушкинская речь». Но и через все произведения Достоевского проходит идея всеохватывающего синтеза западного и русского духа, идея о том, что «у нас, русских, две родины — Европа и наша Русь». Вместе с тем Европа была для Достоевского лишь «дорогим кладбищем», критика Европы занимает очень большое место всюду у Достоевского. Россия сильна своим Православием — отсюда историософские темы у

Достоевского сразу поднимаются до религиозного понимания истории. Вершиной его историософских размышлений бесспорно является «Легенда о Великом Инквизиторе». Это есть исключительный опыт вскрытия проблематики истории с христианской точки зрения.

У Достоевского русская историософская мысль возвращается к религиозному пониманию истории, но так, что свобода человека является, по божественному замыслу, как раз основой исторической диалектики. Внесение человеческого смысла в историю представлено в грандиозном замысле Великого Инквизитора; Достоевский здесь с особенной остротой подчеркивает то, что гармонизация исторического процесса непременно включает в себя подавление человеческой свободы, — и это он считает глубочайше связанным со всяким историософским рационализмом. Неприемлемость такого подхода к человеку, глубокая защита христианского благовестия о свободе не бросают Достоевского в объятия христианского иррационализма. Для него выход заключался в свободном движении народов к «оцерковлению» всего земного порядка.

Философское творчество Достоевского в его наиболее глубоких вдохновениях касалось лишь «философии духа», но зато в этой области оно достигало чисто исключительной значительности. Антропология, этика, историософия, проблема теодицеи — все это трактуется Достоевским остро и глубоко. Для русской и мировой мысли Достоевский дал чрезвычайно много — недаром последующие поколения мыслителей в огромном большинстве своем связывали свое творчество с Достоевским. Но особое значение имеет то, что Достоевский с такой силой поставил проблему культуры внутри самого религиозного сознания. То пророческое ожидание «православной культуры», которое зародилось впервые у Гоголя и которое намечало действительно новые пути исторического действия, впервые у Достоевского становится центральной темой исканий и построений. Секуляризм, еще у славянофилов понятый как неизбежный (диалектически) исход религиозного процесса на Западе, у Достоевского оконча-

тельно превращается в вечную установку человеческого духа в его односторонностях, в одну из религиозных установок. Раскольников воплощает радикальный отрыв человеческого духа от религиозного сознания, а Кириллов раскрывает неизбежность религиозного истолкования этого отрыва от Бога в идеологии человекобожества. Возвращение мысли от отвлеченного радикализма к исконному религиозному ее лону не подавляет, не устраняет ни одной глубокой проблемы человеческого духа, но только вставляет всю проблематику в ее основную исходную базу. В Достоевском открывается, в сущности, новый период в истории русской мысли; хотя вся значительность и фундаментальность религиозной установки все время утверждались русскими мыслителями, но только у Достоевского все проблемы человеческого духа становятся проблемами религиозного порядка.

Прот. В. Зеньковский

В своих сочинениях Достоевский высказывает глубочайшие основы русской философии государства и права.

1. Высший идеал общественных отношений есть внутреннее свободное единство всех людей, единство, достигаемое не принуждением и внешним авторитетом, а только Законом Христовым, когда он станет внутренней природой человека.

2. Единственный, подлинный и совершенный путь к идеалу — свободное внутреннее обновление людей и внутреннее осознание их общей друг за друга ответственности и их всепронизывающей солидарности. Поскольку это обновление может быть достигнуто лишь милостью Божией как следствие веры и любви, возникающих в человеке Божией благодатью, — осуществление общественного идеала без Бога невозможно. Обустройство без Бога, без Христа — это попытка, обреченная на слабость и бесплодность. Всюду и всегда, где является действительный нравственный прогресс, имеется также и осуществление дела Божия, которое может состояться и без воли человека и воззвания его к Богу, силой высшей Воли и Божественного провидения.

3. В процессе общественного строительства право и государство представляют собой лишь известные вспомогательные ступени этого развития, которые сами по себе слишком слабы для преобразования жизни. Их задача — возможно ближе подняться к действительному идеалу общественной жизни, воплощенному в Церкви в ее идеальном смысле как месте внутреннего свободного сожития людей, освященном и поддерживаемом Божественной благодатью. Это — не путь к теократии, которая стремится силой и принуждением установить совершенную гармонию при еще не созревших для нее исторических предпосылках.

4. Поскольку Закон Божий, закон любви, есть высшая норма для всех жизненных отношений, право и государство должны черпать свой дух из этой высшей заповеди. Не раскол между правом с одной стороны и нравственностью с другой, как то провозгласила новая философия права, а новая, непосредственная связность права и нравственности и подчинение их более высокому религиозному закону образуют норму социальной жизни.

5. Процесс общественного строительства, развитие права и государства, их стремление к воцерковлению общественной жизни мы не вправе рассматривать с точки зрения земного, человеческого совершенства и земной, человеческой гармонии. Мы не вправе ожидать, что когда-либо на земле настанет такое совершенство и такая гармония, которая преодолела бы все жизненные противоречия в совершенной общественной форме. Для человеческих сил эти противоречия непримиримы и непреодолимы. Личность и общество, равенство и свобода, право и нравственность — поскольку они движутся в рамках исторического развития и человеческих возможностей — находятся в вечном антагонизме и не допускают окончательного примирения. Лишь будучи пронизаны высшим светом Божественной благодати, лишь в последние дни мира как всеобщей гармонии, какой требует евангельски-христианский закон, лишь в конце мира может быть мыслимо подобное примирение. Не естественным развитием человеческих отношений,

а их чудесным перерывом, катастрофой и спасением мира мыслится в русских религиозно-философских инспирациях разрешение социальных противоречий.

6. Если противоречащие друг другу элементы социальной жизни по существу своему непримиримы, то это означает, что никакими усилиями человеческой воли невозможно достичь абсолютной рационализации социальных отношений. «Еще ни один народ в устройении своей жизни не опирался на ум и науку, — говорит Достоевский, — еще не было ни единого такого примера, может быть, по глупости только и лишь на мгновение могло бы это случиться». Ум и наука всегда, от начала и до сего дня, играли в жизни народов лишь вторичную и служебную роль и не будут играть никакой роли до конца света.

7. Точка зрения, с которой рассматривается общественный прогресс, характеризуется не ожиданием грядущего рая на земле, не стремлением достичь беззаботной спокойной жизни и не верой в бесконечный прогресс человечества, а руководится сознанием неизбежного конца света и особенно убеждением в упадке всех дел человеческих, опирающихся на желание добиться земного рая и обустроиться без Бога, только силой человеческого ума.

Таковы основополагающие идеи, образующие суть русского духа в его понимании жизни и истории, права и государства. В основе своей они представляют не что иное, как совершенное признание и утверждение основ христианской религии. С другой стороны, эти принципы означают решительное отрицание всех основ классической западноевропейской философии права, сформировавшейся в XVIII—XIX вв. и сформулированной Руссо, Монтескье, Кантом и Гегелем. Западноевропейская философия, развивая идеи гуманизма и автономии земной культуры и противопоставив эти идеалы церковному господству в Средние века, пришла к тому результату, что высшая цель истории есть осуществление совершенного правового состояния и государственности. Как говорил Гегель, самый решительный представитель этой философии, — государство есть земной бог, осуществление нравственной идеи на земле. Поэтому един-

ственный путь к достижению социального идеала, как и к осуществлению нравственного совершенства индивида, — быть добрым гражданином доброго государства. «Совершенное» государство Нового времени обладает силой и глубиной, обеспечивающей развитие личности, снимающей всякую борьбу в единстве высшей цели, а тем самым осуществляющей гармонию всех элементов общественной жизни. На пути непрерывного прогресса, состоящего в развитии сознания и осуществления свободы, человечество уже на земле достигает счастливого завершения своего существования. Оно вступает в период упокоенной старости духа, который есть не слабость, а зрелость и полнота бытия. Государство, эта высшая форма жизни, становится воплощением и осуществлением разума.

Этот гуманистический, рационалистический, утопический идеал есть в основе своей отрицание самых оснований христианской веры, отречение от них. Когда первые славянофилы, непосредственно чувствуя истину русской идеи, выступили против односторонности западного идеала, они не могли предвидеть, что близко то время, когда на Западе с полной ясностью обнаружится непрочность утопии обустройства сообразно разуму и осуществления рая на земле. Теперь этот крах западного идеала, являющийся одновременно и крахом всех основ западноевропейской культуры, есть факт, и этот факт составляет в связи с углублением и одухотворением славянофильства новый и в высшей степени важный момент в утверждении русской идеи.

Что же самое важное и существенное в этой идее? В чем ее живая суть? Существенное состоит в новой оценке задач жизни и культуры. Западный взгляд пришел при строительстве внешних форм к обожествлению этих форм, признал их божественными и верил в их чудесную всемогущую силу. Это воззрение и эта вера переживают сегодня крах. Русское мировоззрение и русская вера уже с давних времен противопоставляют западному идеалу другой: высшая цель культуры состоит, по русскому воззрению, не в строительстве внешних форм жизни, но в их духовной, внутренней сущности. Не конституции, а религии образуют высший продукт духовного творчества и высшую

цель жизни. Не государство, а Церковь воплощает с величайшей глубиной и полнотой истинную цель истории и культуры.

Значит ли это, что русская идея отрицает западноевропейскую культуру, западные правовые и государственные образования? Нет, в самой чистой, совершенной и исчерпывающей ее форме — у Достоевского и последующего ему Владимира Соловьева — она не только признает право и государство, но и обосновывает эти образования, как и внешние формы культуры вообще, но в своих учениях и пророчествах она придает этим формам лишь второстепенное значение. Русская идея утверждает, во-первых, что не эти формы суть высший цвет культуры, и далее, что, предоставленные сами себе, они не освещены высшим светом религиозной идеи, а скорее обречены на вырождение и упадок.

Это воззрение — каким бы элементарным и непосредственно рождаемым религиозным сознанием оно ни казалось — в западной философии права утрачено, забыто. Когда мы читаем «Дух законов» Монтескье или «Общественный договор» Руссо, «Метафизические основные начала о праве» Канта или «Философию права» Гегеля, то ни в одном из этих классических проявлений западной философско-правовой мысли мы не найдем вышеотмеченного русского воззрения. Все эти труды говорят об осуществлении форм государства и права, «естественных законов», «категорического императива» нравственной идеи и вообще известного автономного внутреннего закона западной культуры. Но что над всеми этими нормами и законами возвышается еще высший трансцендентный закон, высшая заповедь Божия как норма, соответственно которой должна строиться и перестраиваться вся общественная жизнь, — об этом в названных классических трудах не говорится; не потому, чтобы они отрицали эту заповедь, но потому, что они либо отводят ей второстепенное место, как одной из многих целей государственной жизни и человеческой культуры, как у Монтескье, либо приписывают ей роль вспомогательного средства для целей государства, как у Руссо, либо непосредственно связывают ее с имманентным

нравственным законом развития человеческой жизни, как у Канта и Гегеля. Здесь следует особо подчеркнуть следующий факт: западная философия права прекрасно отдает себе отчет в том, что помимо права как опоры и вспомогательного средства живет и действует еще известный внутренний фактор — нравственность, нравы и обычаи, но она еще не знает особой категории более высокого порядка, который один дает им смысл и значение и который в русской философии права особо обозначается как «религиозный склад народа». Под этим обозначением понимается известное отношение народа к высшим тайнам и задачам жизни, и в этом самобытном народном отношении западная философия права до сих пор еще не увидела для себя проблемы. Для этого ей не хватало единственного основополагающего убеждения: что судьба права и государства зависит в первую очередь от того, в какое отношение человек ставит себя к Богу. Основное устремление западной мысли состояло именно в том, чтобы поставить человека и всю его нравственную жизнь на почву автономного закона личности, вне зависимости ее не только от Церкви, но и от религии вообще.

В этом русском понимании жизни и культуры, которое мы попытались выразить здесь в терминах философии права, бесспорно, проявляется особенно высота постижения. На высотах и глубинах, кроме проходимых троп, есть пропасти и ущелья. Упорядоченным, оформленным, организованным западным понятиям русские воззрения покажутся лишенными порядка и формы. Таковы они и есть в своей сути, если рассмотреть их в отношении к стабильности всего земного, и таковы они, кроме того, потому что они представляют собой в первую очередь религиозное и христианское воззрение. Никто лучше Достоевского не описал этой перемены бездн и высот в русской душе. Он рассматривал эти бездны как плод потребности хватить через край, потребности дойти с щемящим чувством до края пропасти; до половины склониться над ней, заглянуть в неизмеримую глубину, а иногда, даже частенько, броситься в нее совершенно отрешенно. Это потребность отрицания в человеке, порой от природы совершенно для отрицания не соз-

данном и почтительном. Тогда он отрицает все: величайшую святыню сердца, совершеннейший свой идеал, святыню народа своего во всем ее величии, перед которой он только что содрогался и которая вдруг стала для него непосильным бременем. Особенно поразительна скорость и напористость, с какой порой утверждается русский человек. Тогда нет порой никакого удержу. Он готов разорвать все узы, все отрицать, отречься от семьи, от всех приличий, от Бога. Но зато с той же силой и напористостью спасается русский человек и весь народ русский, с той же жадой спасения и покаяния, обычно тогда как раз, когда перейдена последняя граница и нет дальше пути.

Жизнь таких народов, каков русский, тяжела и загадочна; она не влечет к подражанию, скорее отталкивает другие народы своими судорожными колебаниями, крайностью своих противоречий, вечной страстностью и неудовлетворенностью своего стремления. Судьба таких народов — более страдать от течения жизни, чем наслаждаться ее плодами, более служить человечеству итогами своих устремлений, взлетов и падений, чем самому получать от них внешнюю практическую выгоду или хотя бы настойчиво и успешно искать ее. Но именно в таких народах живет, и деятельно, непосредственное чувство тайны и величия Божия и от них получают другие народы свои ценнейшие дары, от которых обретает смысл и благодаря которым полна цветения человеческая жизнь.

История духовного развития русского народа представляет собой ряд взлетов и падений в стремлении к высшей истине Бога. Ту же картину развития видим мы и в русской философии права. Высшие достижения в этой области состоят в глубочайших откровениях Достоевского, отношением своим к этому центру, к этому солнцу русской мысли освещаются и оцениваются все прочие явления в области русской философии права.

П. Новгородцев

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1873

Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено и что я редактор «Гражданина»¹. Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление². Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря

и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если бы я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, — мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если бы даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками³. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»⁴, сам же, напротив, стал отлично писать статьи, — так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и — к удивлению — понятно; да и то если принадлежат известному перу⁵. В «Голосе» они пишут-

ся в восемь, в десять, в двенадцать и даже в тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими — наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»⁶, — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседовольное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, — нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же — никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать

свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человека, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. О чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, Боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

— Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, — не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравouchение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение — «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом⁷. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что Ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он Вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я Вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.»⁸. (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоче. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закрычал, смеясь что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал!

Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще⁹, Бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего

барства, gentilhomme russe et citoyen du monde* прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года¹⁰. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше,

* Русский дворянин и гражданин мира (франц.). — Здесь и далее примечания, помеченные звездочкой (*), принадлежат перу Федора Михайловича Достоевского. — Ред.

чем писал) и великолепный рефлектер. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмехаться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном¹¹, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках¹²); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим возванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслышанною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием¹³, — всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только¹⁴, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, — Белинский был вовсе не *gentilhomme*; — о, нет. (Он Бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем¹⁵).

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я несколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка¹⁶ в одном из своих воззваний,

года два тому назад, начала прямо со знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь мурaveйник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмаантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукою и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «*Vie de Jésus*»*, что Христос все-таки есть идеал

* «Жизнь Иисуса» (франц.).

красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем¹⁷.

— Да знаете ли Вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли Вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского¹⁸, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе¹⁹.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный Вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что Ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всех Жорж Занд²⁰, теперь совершенно забытый Кабет²¹, Пьер Леру²² и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность²³. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье²⁴ уже далеко не так уважался.

Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, — Фейербах²⁵. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе²⁶ говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству²⁷. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гегг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований; о, нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви²⁸. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся²⁹). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как заруют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни³⁰ я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов

умолили зрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья³¹. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастливыми», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастливые», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, — все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-

нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалкивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу — в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, sentimentalную, что ли, не разберешь, — но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора noblemen³² и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой униженности и забитости, — не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишняя некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», — разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуман-

ность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенное до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили³³.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином — это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) — но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианской нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство — злодейством и что нравственные основы страны все те же крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, — слышится мне голос, — что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) все те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, — хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

— Конечно, есть правда в вашем замечании, — отвечаю я голосу, несколько повеся нос, — но ведь опять-таки русский народ...

— Русский народ? Позвольте, — слышится мне другой голос, — вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, — и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердость, как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, — мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-

нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», — рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном перед властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно, почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека»³⁴. Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

— Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать — ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроенно, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без

преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

— Ну, вы, однако же, — слышится мне чей-то язвительный голос, — вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят, и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до «среды», то есть сплошь-то всем, — задумываюсь я, — но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»

— Вот на! — хохочет язвительный голос.

— А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть сла-

вянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

* * *

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастными», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не сле-

дует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно* — может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте — может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, «несчастные», гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы — сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастье преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разные лица, но одной категории. Что же если, готовясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет «преступления!»»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге³⁵ и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вызовом, и — «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным

словам их, к их восклицаниям; помню их лица, — о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, — легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде — как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» — вот что он скажет в *конце концов*. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей³⁶. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов³⁷; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-Богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь — там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама:

«Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». — «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и — почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите — и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» — ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения — одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите перед ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове³⁸.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я при-

бавил бы еще — с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду — веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это *мой* хлеб», — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца — поедят, не дадут — сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы

быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»?³⁹ Я ведь не говорю, что была, — и было бы это очень смешно утверждать, — но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальницы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», — кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание по-минутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сушок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится за стол, вздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», — роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но *достойн снисхождения*».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но со «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достойн снисхождения!» И ведь этот приговор дан знакомо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он залется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

— Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целости, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, — согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

— Да подите! — восклицает вдруг давешний язвительный голос. — Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Все напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это мой хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» — это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь *почти* то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», — настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

Нечто личное

Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать; я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайною отчетливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот.

Раз весной поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому⁴⁰. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов⁴¹. Один из этих журналов приобрел впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков, но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование свое; но тогда, в то утро, его издатель еще не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине.

Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная⁴². Может, помнит и он. Тогда еще он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моем из Сибири мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указал на одни стихи — лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да еще из «страдающих». А между тем он один из самых страстных, мрачных и «страдающих» наших поэтов.

— Ну, вот мы Вас обругали, — сказал он мне (то есть в его журнале за «Преступление и наказание»).

— Знаю, — сказал я.

— А знаете почему?

— По принципу, должно быть.

— За Чернышевского.

Я остолбенел от удивления:

— NN, который написал критическую статью, — продолжал издатель, — сказал мне так: «Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю»⁴³.

— Так это все та же глупая сплетня о «Крокодиле»? — вскричал я, сообразив. — Да неужто и Вы верите? Читали Вы эту мою повесть сами, «Крокодила»?

— Нет, не читал.

— Да ведь все это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина, чтобы в этой безделке, повести для смеху, прочитав между строк такую «гражданскую» аллегорию, да еще на Чернышевского!⁴⁴ Если бы Вы знали, как глупа такая натяжка! Никогда, впрочем, не прощу себе, что два года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили!

Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил лет семь тому назад, и вот я до сих пор еще не протестовал против «клеветы» — то пренебрегал, то «не было времени». Между тем эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всем этом хоть одно слово, тем более что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждаю ее.

С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда

встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились.

Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностью явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана.

И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, — мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость: «Зачем у них это так глупо и неумело выходит?» И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. Несмотря на то, что я уже три года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, — эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданным от-

кровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества. Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.

Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.

Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

— Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

— Неужели Вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

— Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным Вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся Вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить Ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

— И однако, всем и всему вредят.

Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение; через несколько дней он подтвердил это, захав ко мне сам. Он присидел у меня

с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушно-го человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка⁴⁵. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор.

Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя «Нос»⁴⁶. Никогда еще не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось, действительно, несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хоть и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге в Пассаже какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник перед поездкой за границу отправляется со своей молодой женой и с неотлучным другом своим в Пассаж, и между прочим все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот — среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, еще молодой, но заеденный самолюбием; прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалев, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах; полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своем департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит все потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг ее как-то раздражил доселе сонного и лежавшего как

колода крокодила: тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения; напротив, по свойственному ему упрямству объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека; но притом, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца-хозяина и его неразлучную муттер⁴⁷. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглотивший «ганц чиновник», может умереть; но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор во всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и, сверх того, чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай и что подобных примеров до сих пор не бывало. «Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно». Подозревает тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных, либеральных тенденций. Супруга между тем стала находить, что положение ее «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. Проглоченный супруг ее между тем объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилем в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники — смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть: «Буду изрекать правду и учить; государственному мужу подам совет, перед министром выкажу способности», — говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга:

«А ну как если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает», — великий человек отвечает, что уже думал об этом; но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль о них: «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» — говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей все более и более нравится. Она входит во вкус; в ней берут участие. К ней ездит начальник ее мужа и играет с ней в свои козыри... Вот первая часть этого шутовского рассказа — он недокончен. Когда-нибудь непременно докончу, хоть я уже и забыл о нем и теперь должен был перечитать, чтобы припомнить.

Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того: «Напрасно, дескать, автор «Крокодила» вступает на такой путь; это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне; из читателей все равно никто бы его не понял, так же как и я; но вдруг неделю спустя Н. Н. С<трахов> сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что Ваш «Крокодил» — аллегория, история ссылки Чернышевского, и что Вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился; мало ли каких не бывает догадок? Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтоб оно возымело ход, и я почел совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход. *Calomniez, il en restera toujours quelque chose**.

* Клевещите, всегда что-нибудь да останется (франц.).

Я, впрочем, убежден и теперь, что тут вовсе и не было клеветы, — да и за что, для чего? Я почти ни с кем в литературе не поссорился, по крайней мере очень не ссорился. Теперь, в эту минуту, я всего во второй раз, в двадцать семь лет моей литературной деятельности, говорю о себе лично. Просто тут была тупость, угрюмая, мнительная тупость, засевшая в какую-нибудь голову «с направлением». Я убежден, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убежден даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляда ее в свою пользу даже и теперь. Но ведь на то она и многодумная голова. (Я, разумеется, не об Андрее Александровиче⁴⁸ говорю; в качестве редактора и издателя своей газеты, он тут, как и всегда, в стороне.)

В чем же аллегория? Ну конечно — крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник — Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это... Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение аллегории. (А между тем ведь она укрепилась, и именно, может быть, последний-то намек и укрепился; я имею несомненные доказательства.)

Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого «несчастливого»; мало того — написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательства; в аллегории? Но принесите мне что хотите... «Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи Фета⁴⁹ — что хотите — и я берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне⁵⁰ или пашквиль на актера Горбунова⁵¹, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. Вспомните, как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали рукописи и транспаранты: не было строчки, не было точки, в которых бы не подо-

зревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представят хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквильанта и что от меня можно ожидать таких аллегорий.

Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствует, напротив, о некоторой изменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самое простодушие догадки не извинительно; что ж? Можно быть и простодушно низменным, и только.

Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут — этого мало и что я питал затаенную ненависть. Но пусть же выставят и предлоги к этой ненависти, если имеют что выставить. Их не было. С другой стороны, я убежден, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его. И дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я так же тепло и горячо желаю того, как искренно сожалел и сожалею о его несчастье.

Но ненависть из-за убеждений, быть может?

Почему же? Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним во мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?» Эта статья замечательная и принадлежит известному перу⁵². И что же? В ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно о романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им ав-

тора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой.

Может быть, я, печатая ядовитую аллегория, надеялся выиграть где-нибудь *en haut lieu*?* Но когда и кто может сказать про меня, что я заигрывал или выигрывал в этом смысле в каком-нибудь *lieu*, то есть продавал свое перо. Я думаю даже, что сам автор догадки не имел такой мысли, несмотря на все свое простодушие. Да и не укрепились бы она ни за что в литературном мире, если бы только в этом состояло обвинение.

Что же касается до возможности обвинения в пашквильной аллегории насчет иных каких-нибудь домашних обстоятельств Николая Гавриловича, то опять-таки повторю, что не хочу даже и прикасаться с этой точки к моему «оправданию», чтобы не вымараться...

Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит писать литературные воспоминания; никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моем «Крокодиле».

На днях один из самых уважаемых мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне:

— Я только что прочел статью Вашу о «Среде» и о приговорах наших присяжных («Гражданин», № 2). Я с Вами совершенно согласен, но статья Ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что Вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки...

Я был горестно изумлен. Это был голос человека в высшей степени беспристрастного и стоящего вне всяких литературных партий и «аллегорий».

— Неужели так можно истолковать мою статью! После этого ни о чем нельзя говорить. Экономическое и нравствен-

* В высших сферах (*франц.*).

ное состояние народа по освобождении от крепостного ига — ужасно. Несомненные и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой — все это несомненные факты, и все растет, растет. Ну что ж? Если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмет перо и напишет, — что же неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян?

— Во всяком случае, надо желать, чтобы народ имел полную свободу сам выйти из грустного своего положения, безо всякой опеки и поворотов назад.

— Да непременно же так, и это именно моя мысль! И если бы даже от упадка народного (сами же они, оглядываясь иногда на себя, говорят теперь по местам: «Ослабели, ослабели!»), — если бы даже, говорю я, произошло какое-нибудь уже настоящее, несомненное несчастье народное, какое-нибудь огромное падение, большая беда — то и тут народ спасет себя сам, себя и нас, как уже неоднократно бывало с ним, о чем свидетельствует вся его история. Вот моя мысль. Именно — довольно вмешательств!.. Но как, однако же, могут быть поняты и перетолкованы слова. Пожалуй, и еще натолкнешься на аллегорию!

Влас

Помните ли вы Власа⁵³? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на Божий храм...

У этого Власа, как известно, прежде «Бога не было»;

...побоями

В гроб жену свою вогнал,
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал.

Даже и конокрадов, — пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,
Видел грешников в аду:

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза,
Ефиопы — видом черные
И как углие глаза.

.....
Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...

Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», — продолжает поэт.

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать.

О поэт! (к несчастью, истинный поэт наш) если бы Вы не подходили к народу с Вашими восторгами, про которые

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать, —

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабьих пустяков

Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою Влас, но серьезность его страдания Вы все-таки поняли; все же Вас поразила величавая фигура его. (Да ведь и поэт же Вы; не могло быть иначе.)

Сила вся души великая
В дело Божие ушла, –

великолепно говорите Вы. Хочу, впрочем, верить, что Вы вставили Вашу насмешку невольно, страха ради либерального, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смирения Власова, эта потребность самоспасения, эта страстная жажда страдания поразила и Вас, общечеловека и русского *gentilhomme*'а, и величавый образ народный вырвал восторг и уважение и из Вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас свое имя,
Сам остался бос и гол
И собирать на построение
Храма Божьего пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро *тридцать* лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.
.....
Полон скорбью неутешною
Смуглолиц, высок и прям,

(Чудо как хорошо!)

Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.
.....

Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не Вы писали; точно это не Вы, а другой кто заместо Вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни⁵⁴. А впрочем — не кривлялись Вы и «на Волге», разве только немножко: Вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общебурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека — значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (в его целом, уж извините меня) стихотворении Вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи — исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно их — про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так как мы живем в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нем зиждется рассказ. Эти монахи-советодатели бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере, повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности, тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раз-

давленной отчаянием душою, которая уже и не ждет себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит о нем своему священнику-духовнику, — не от страха или недоверия, а просто в совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг про какого-нибудь такого монаха-советодателя и пойдет к нему.

«И вот, — говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, — выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаенными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь необходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности...»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

— Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал — все одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

— Собрались мы в деревне несколько парней, — начал он говорить, — и стали промежду себя спорить: «Кто кого дерзостнее сделает?» Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз:

— Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

— Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

— Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдешь к причастью — причастье⁵⁵ прими, но не проглоти. Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! я положил на жердь.

— Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес.

— Заряди.

Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый⁵⁶. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Происходило это еще за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя — старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз». Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора. Я все того мнения, что ведь последнее слово скажут они же вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, *новая* черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

* * *

Во-первых, мне именно удивительно — удивительно всего более — самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: «Кто кого дерзостнее делает?» Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельству-

ет о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, — может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговееющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдастся почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же

жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения, то есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы — народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой

пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буйнит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовет «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет «караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй, и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до края, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «Кто сделает дерзостнее?» — и какими причинами сложилась возможность подобного состязания — осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали — один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

— Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

— Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода — разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет, и искуситель его знал, что на этот раз серьезно говорено, впрямь пойдет.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже, и ружье и огород, и держал только в страшной тайне — в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проникало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но — «был же и я на таком верху!..».

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит Его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истин-

ное представление о Нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своем. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было еще нечто совсем особенное — мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противоположностей.

Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но еще продлил борьбу, и, наверно, он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепenea от страху до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненною злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, — начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте еще, что искушитель не открыл своей жертве всей тайны: она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать со святыней, до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, — и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что зарядание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс зарядания ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри⁵⁷ кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!»*, в двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если бы ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что зарядание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «encore un moment», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к свое-

* «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» (франц.)

му ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент — вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения — все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему... все кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным проявлением ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искуситель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, неверующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, — черт знает, может быть, из ученого наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время все возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии

«Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, — если только в ней есть интерес, — лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутеж» еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклеиваются и теперь даже факты... Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае, наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова»⁵⁸ в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории⁵⁹, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

Бобок

На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия.

ЗАПИСКИ ОДНОГО ЛИЦА

Семен Ардальонович третьего дня мне как раз:

— Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость?

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо».

Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное; идеалов надо, а тут...

Скажи, по крайней мере, косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают, и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти. Написал повесть — не напечатали. Написал фельетон — отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у Вас нет».

— Какой же тебе соли, — спрашиваю с насмешкою, — аттической?⁶⁰

Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: «Редкость! Красенький, дескать, чай, с собственных плантаций. За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо⁶¹ хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повывили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за мою полную подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за

два года послал; четыре рубля на одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что.

Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удалась мои бородавки, — живые! Это они реализмом зовут.

А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... впрочем, давно уже надо было предвидеть...» Это еще довольно хитро; так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умней воротились. То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали.

Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, — способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали.

Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: «Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные». Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные». Нет, еще не значит.

Впрочем, черт... и что я со своим умом развожился: брюзжу, брюзжу. Даже служанке надоел. Вчера заходил приятель: «У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь — и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь...»

Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!»

Какой такой бобок? Надо развлечься.

* * *

Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется! Покойник добывал, ну а теперь — пенсионишка. Подождут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно. Да и не пошел бы я и теперь, если бы не экстренный такой случай. Провожал до кладбища в числе других; сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот еще местечко!

Во-первых, дух. Мертвецов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом.

В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю; снятся.

За обедней вышел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается. В третьем разряде за этот раз хоронили человек шесть, в том числе генерала и барыню.

Заглянул в могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной ресторанчик: и закусить и все. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.

Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим... или какой-то вздор в этом роде; противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности; а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии.

На литию не поехал. Я горд, и если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище; сел на памятник и соответственно задумался.

Начал с московской выставки⁶², а кончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об «удивлении» я вот что вывел:

«Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».

— Да я прежде всего желаю уважать. Я жажду уважать, — сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый.

Жаждет он уважать! И Боже, подумал я, что бы с тобой было, если бы ты это дерзнул теперь напечатать!

Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей; вечно то же. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд: глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина⁶³.

Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако,

разговор продолжался. Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у Вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

— Что же значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

— Нельзя, Ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

— Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если бы не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:

«Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова... таких-то и таких орденов кавалера». Гм. «Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра!»⁶⁴

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков. По голосу надворный советник.

— Ох-хо-хо-хо! — послышался совсем уже новый голос, сажень в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, — голос мужской и простонародный, но ослабленный на благоговейно-умиленный манер.

— Ох-хо-хо-хо!

— Ах, опять он икает! — раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света. — Наказание мне подле этого лавочника!

— Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь это мое естество. И все-то Вы, барыня, от Ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.

— Так зачем Вы сюда легли?

— Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле Вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.

— Накопил; людей обсчитывал?

— Чем Вас обсчиташь-то, коли с января почитай никакой Вашей уплаты к нам не было. Счетец на Вас в лавке имеется.

— Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.

— Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и перед судом Божиим во гресех равны.

— Во гресех! — презрительно передразнила покойница. — И не смейте совсем со мной говорить!

— Ох-хо-хо-хо!

— Однако лавочник-то барыни слушается, Ваше превосходительство.

— Почему же бы ему не слушаться?

— Ну да известно, Ваше превосходительство, так как здесь новый порядок.

— Какой же это новый порядок?

— Да ведь мы, так сказать, умерли, Ваше превосходительство.

— Ах, да! Ну все же порядок...

Ну, одолжили; нечего сказать, утешили! Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки! Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.

* * *

— Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... Я бы пожил! — раздался вдруг чей-то новый голос, где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

— Слышите, Ваше превосходительство, наш опять за то же. По три дня молчит-молчит, и вдруг: «Я бы пожил, нет, я бы пожил!» И с таким, знаете, аппетитом, хи-хи!

— И с легкомыслием.

— Пронимает его, Ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: «Я бы пожил!»

— Скучновато, однако, — заметил его превосходительство.

— Скучновато, Ваше превосходительство, разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить, хи-хи?

— Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы⁶⁵.

— А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, — брезгливо откликнулась крикса. — Оба вы самые прескучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про Вас, Ваше превосходительство, — не чваньтесь, пожалуйста, — одну историйку знаю, как Вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.

— Скверная женщина! — сквозь зубы проворчал генерал.

— Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопил вдруг опять лавочник, — барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..

— Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!

— Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот Вы, барынька, так уж тронулись, — потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу.

— Ах, скверный обидчик! От самого так и разит, а он на меня.

— Ох-хо-хо-хо! Хоша бы сороковинки наши скорее пристигли: слезные гласы их над собою услышу, супруги вопль и детей тихий плач!..

— Ну, вот об чем плачет: нажрутся кутьи⁶⁶ и уедут. Ах, хоть бы кто проснулся!

— Авдотья Игнатъевна, — заговорил льстивый чиновник. — Подождите капельку, новенькие заговорят.

— А молодые люди есть между ними?

— И молодые есть, Авдотья Игнатъевна. Юноши даже есть.

— Ах, как бы кстати!

— А что, не начинали еще? — осведомился его превосходительство.

— Даже и третьеводнишние еще не очнулись, Ваше превосходительство, сами изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли. А то ведь кругом сажан на десять почти все у нас прошлогодние.

— Да, интересно.

— Вот, Ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.

— Гм, где же он тут?

— Да шагах в пяти от Вас, Ваше превосходительство, влево. Почти в самых Ваших ногах-с... Вот бы Вам, Ваше превосходительство, познакомиться.

— Гм, нет уж... мне что же первому.

— Да он сам начнет, Ваше превосходительство. Он будет даже польщен, поручите мне, Ваше превосходительство, и я...

— Ах, ах... ах, что же это со мной? — закричал вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

— Новенький, Ваше превосходительство, новенький, слава Богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

— Ах, кажется, молодой человек! — взвизгнула Авдотья Игнатъевна.

— Я... я... Я от осложнения, и так внезапно! — залепетал опять юноша. — Мне Шульц еще накануне: у Вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

— Ну, нечего делать, молодой человек, — милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал, — надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову⁶⁷.

Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов, к Вашим услугам.

— Ах, нет! нет, нет, это я никак! я у Шульца; у меня, знаете, осложнение вышло, сначала грудь захватило и кашель, а потом простудился: грудь и грипп... и вот вдруг совсем неожиданно... главное, совсем неожиданно.

— Вы говорите, сначала грудь, — мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.

— Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу... и, знаете...

— Знаю, знаю. Но если грудь, Вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.

— А я, знаете, все собирался к Боткину... и вдруг...

— Ну, Боткин кусается, — заметил генерал.

— Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и все предскажет вперед.

— Его превосходительство заметил насчет цены, — поправил чиновник.

— Ах, что Вы, всего три целковых, и он так осматривает, и рецепт... и я непременно хотел, потому что мне говорили... Что же господа, как же мне, к Эку или к Боткину?

— Что? Куда? — приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.

— Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. — Вот если бы такого подле положили!

Нет, этого уж я не могу допустить! и это современный мертвец! Однако послушать еще и не спешить заключениями. Этот сопляк новичок — я его давеча в гробу помню — выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире! Однако что далее.

* * *

Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся

чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве — дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотноядно хихикавшая.

— Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! — возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.

— А? что? — брезгливо и сюсюкающим голосом প্রশামкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче — соблазнительное и тревожное в высшей степени.

— Это я-с, Ваше превосходительство, покамест всего только я-с.

— Чего просите и что Вам угодно?

— Единственно осведомиться о здоровье Вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с... Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с Вашим превосходительством и надеются...

— Не слышал.

— Помилуйте, Ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич...

— Вы генерал Первоедов?

— Нет-с, Ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к Вашим услугам, а генерал Первоедов...

— Вздор! И прошу Вас оставить меня в покое.

— Оставьте, — с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.

— Не проснулись еще, Ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с.

— Оставьте, — повторил генерал.

* * *

— Василий Васильевич! Эй Вы, Ваше превосходительство! — вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос — голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальной его скандировкою, — я Вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; Вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда Вас, не знаю почему, тоже пускали.

— Как, граф Петр Петрович... да неужели же Вы... и в таких молодых годах... Как сожалею!

— Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отовсюду извлечь все возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном»⁶⁸. Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu*. Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой

* В высших сферах (франц.).

Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был помолвлен — Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати не доставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как Вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом⁶⁹, развратили?..

— Ах, это ты, негодяй, ну хоть тебя Бог послал, а то здесь.

— Вы напрасно Вашего соседа негодянта заподозрили в дурном запахе... Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.

— Ах, какой мерзкий! Только я все-таки рада; Вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.

— Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, — я не Вас, Первоедов, — Ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который Вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?

— Я Вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверьте...

— Ни на грош не верю, и наплевать. Я Вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава Богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père* сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и — и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты — да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой, и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять ты-

* Дедушка (франц.).

сяч, не то завтра обреvizуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите?

— Сег Клиневич, я совершенно с Вами согласен, и напрасно Вы... пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия... Я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда все...

— Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катишь Берестову!

— Какую?.. Какую Катишь? — плотоядно задрожал голос старца.

— А-а, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от Вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если бы Вы знали, grand-père, что это за мерзавочка... хорошего дома, воспитанна и — монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я и знал... Катишь, откликнись!

— Хи-хи-хи! — откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иглой. — Хи-хи-хи!

— И блон-ди-ночка? — обрывисто в три звука пролепетал grand-père.

— Хи-хи-хи!

— Мне... мне давно уже, — залепетал, задыхаясь, старец, — нравилась мечта о блондиночке... лет пятнадцати... и именно при такой обстановке...

— Ах, чудовище! — воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Довольно! — порешил Клиневич, — я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, Вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что Вас так звали!

— Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к Вашим услугам и очень-очень-очень рад.

— Наплевать, что Вы рады, а только Вы, кажется, здесь все знаете. Скажите, во-первых (я еще со вчерашнего дня удив-

ляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?

— Это, если бы Вы пожелали, барон, мог бы Вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.

— Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.

— Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по несколько слов, не идущих к делу.

— К делу, к делу!..

— Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею Вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг бормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой...

— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

— Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...

— Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для

того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — слышались многие голоса, и, странно, слышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться...

— Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!

— Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что Вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.

— Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Кудярова, вчера принесли. Проснется и Вам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас все само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса.

— Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — взвизгивала Авдотья Игнатьевна.

— Ах... ах... Ах, я вижу, что здесь будет весело; я не хочу к Эку!

— Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!

— Хи-хи-хи! — хихикала Катишь.

— Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Grand-père, вы согласны?

— Я совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катишь начнет первая свою би-о-графию.

— Протестую! протестую изо всех сил, — с твердостью произнес генерал Первоедов.

— Ваше превосходительство! — в торопливом волнении и понизив голос лепетал и убеждал негодяй Лебезятников. — Ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка... и, наконец, все эти разные штучки...

— Положим, девочка, но...

— Выгоднее, Ваше превосходительство, ей-Богу бы выгоднее! Ну хоть для примерчика, ну хоть попробуем...

— Даже и в могиле не дадут успокоиться!

— Во-первых, генерал, Вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на Вас на-пле-вать, — проскандировал Клиневич.

— Милостивый государь, прошу, однако, не забываться.

— Что? Да ведь Вы меня не достанете, а я Вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!

— Нет, не пшик... Я и здесь...

— Здесь Вы сгниете в гробу, и от Вас останется шесть медных пуговиц.

— Bravo, Клиневич, ха-ха-ха! — заревели голоса.

— Я служил государю моему... Я имею шпагу...

— Шпагой Вашей мышей колоть, и к тому же Вы ее никогда не вынимали.

— Все равно-с; я составлял часть целого.

— Мало ли какие есть части целого.

— Браво, Клиневич, браво, ха-ха-ха!

— Я не понимаю, что такое шпага, — провозгласил инженер.

— Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух! — прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывавшийся от восторга.

— Шпага, сударь, есть честь! — крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны.

— Да поскорей же поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться!

— Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! — раздался было голос простолюдина, и...

И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: все смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились: решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и — ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доноса в полицию; ибо что может тут сделать полиция? Закрываю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному и которую они тщательно скрывают от всякого смертного.

«Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу» — и с сим словом оставил кладбище.

* * *

Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!).

Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...

Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь края, чтобы составить понятие. А вот наткнулся и на утешительное.

А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести!

Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. А вот напечатает.

«Смятенный вид»

Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но — какой я критик? Я действительно хотел было написать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь «по поводу». Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова⁷⁰, поэму Некрасова и статью г-на Щедрина. Прочел я тоже статьи г-д Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках»⁷¹. Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением; когда-нибудь непременно надо поговорить о них. А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела».

Это рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли. Действительно, оно того стоит: и характерно и занимательно. Это повесть, рассказанная одним бывшим раскольников на станции в рождественскую ночь, о том, как все они, раскольники, человек сто пятьдесят, целою артелью перешли в православие вследствие чуда. Эта артель работников строила мост в одном большом русском городе и года три жила в отдельных бараках на берегу реки. Была у них своя часовня, а в ней множество древних образов, освященных еще до времен патриарха Никона⁷². Очень занимательно рассказано, как одному господину, не совершенно маловажному чиновнику, захотелось сорвать с артели взятку, тысяч в пят-

надцать. Наехав вдруг в часовню со властью, он потребовал по ста рублей с иконы выкупа. Дать не могли. Тогда он арестовал образа. В них просверлили дырья, нанизали их на железные спицы, как бублики, и унесли куда-то в подвал. Но тут была икона ангела, древняя и особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновник, раздраженный упорством неплатящих раскольников, взял сургуч и в виду всего собрания накапал его на лик образа и приложил казенную печать. Местный архиерей, увидав запечатленный лик святыни, изрек: «Смятенный вид» — и распорядился поставить поруганную икону в соборе на окно. Г-н Лесков уверяет, что слова архиерея и распоряжение отнести поруганную икону в собор, а не в подвал, будто бы очень понравились раскольникам.

Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден этот «Ангел» из собора. С раскольниками связался англичанин, барин и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту, полюбил их и, так как с ним они были откровенны, то взялся им помогать. Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьезно хорошо, лучшее во всем рассказе. Все кончается тем, что за всеобщей икону наконец выкрали из собора, ангела распечатлели, подменили иконою новою, еще не освященною, которую взялась «запечатлеть», наподобие первой, жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо: от новой запечатленной иконы видели свет (правда, видел один только человек), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатленною, то есть без сургуча на лице. Это так поразило принесшего ее раскольника, что он тут же отправился в собор к архиерею и во всем ему покался, причем владыко простил и изрек: «Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, говорит, плутовством со своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел».

Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью, сто пятьдесят или около человек, перешли в православие.

Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (К этим неловкостям г-н Лесков способен; вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборях».) Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, «весело» у него сознается, что на другой день после их обращения в православие доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик хотя и не освященной иконы, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разъяснение чуда? Конечно, от умиления и от ласки простившего их архиерея? Но взяв в соображение твердость и чистоту их прежних верований, взяв в соображение посрамление их святыни и надругание над святынею их собственных чувств, взяв в соображение, наконец, вообще характер нашего раскола, вряд ли можно объяснить обращение раскольников одним умилением, — да и к чему, к кому? В благодарность за одно только *прощение* архиерея? Ведь понимали же они — даже лучше других, — что именно на самом деле должна бы означать власть архиерея в церкви, а потому и не могли бы умилиться чувством к той церкви, где архиерей после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе взяточник-чиновник, касающегося как раскольников, так равно и *всех православных*, ограничивается лишь тем, что говорит с вздыханием: «Смятенный вид!» — и не в силах остановить даже второстепенного чиновника от таких зверских и ругательных для религии действий.

И вообще в этом смысле повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это все правда? Неужели это все у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте⁷³. Вообразим

только такой случай: положим, где-нибудь теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников, целым скопом, выкрадывает эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей моленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через десять какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку; они такой суммы дать не в силах, и вот он берет сургуч и капает его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели оттого только, что икона побывала некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древле освященною православною иконою, чтимою до раскола всем православием? И неужели при сем местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с воздыханием проговорил: «Смятенный вид». Мои *тревожные* вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными; но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. Неужели раскольникам не пришла в голову мысль: «Что же как бы сей православный владыко защитил церковь, если бы обидчиком было еще более важное лицо?» Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? Ибо чем же объяснить поступок архиерея, как не малою властью его? Неужели равнодушием и леностью и неслышанным предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? Ведь если уж такая нелепость зайдет в головы духовных чад его, то уж это всего хуже: православные дети его постепенно потеряют всякую энергию в деле веры, умиление и преданность к церкви, а раскол будет смотреть на православную церковь с презрением. Ведь значит же что-нибудь пастырь? Ведь понимают же это раскольники?

Итак, вот какие мысли приходят в голову после чтения прекрасного рассказа г-на Лескова; так что мы, повторяем, наклонны считать этот рассказ, в некоторых подробностях, почти неправдоподобным. Между тем в одном из недавних №№ «Голоса» прочел я следующее известие:

«Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету «Современность»: «Занимаясь обучением детей своих прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше д-ское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872—73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем селе, решился изъявить свое желание занять должность наставника и обратился в училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что «я тогда буду утвержден в должности наставника, когда на то изъявит свое согласие общество». Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волостное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря М. С. и во всем послушного ему старшину, не восхотело засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. высказал мне в глаза следующие достопримечательные слова: *«Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства»*. «Почему бы так?» — спрашиваю я. «Потому, — отвечает посредник, — что *духовенство проводит суеверие»*.

Как вам нравится, господа, это сообщение? Ведь оно, конечно в косвенном смысле, почти восстанавливает правдоподобность рассказа г-на Лескова, в которой мы так усомнились и упорно продолжаем сомневаться. Тут важно не то, что случился такой посредник: что за нужда, что какой-нибудь глупец скажет с ветру глупое слово? И какое нам дело до его убеждений? Тут важно то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою беспокоящею бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое

убеждение уже прямо и не обинуясь, в *глаза* и, кроме того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить *от лица* правительства.

Ну, осмелился бы это сказать не то что какой-то посредник, а в десять раз высшее его по власти лицо какому-нибудь хоть, например, остзейскому⁷⁴ пастору? Господи, какой бы этот пастор затеял крик и какой бы в самом деле поднялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзкого путем гласности. Но приходит мысль: если бы это лицо было по-выше посредника (что ведь очень может быть, потому что у нас все может случиться), то ведь, может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет один лишь «смятенный вид» и ничего более. Да и нельзя же требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще склонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу; но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа.

* * *

Очень странное явление случилось недавно в одном углу России — немецкое протестантство в среде православия, новая секта штундистов⁷⁵. «Гражданин» о ней сообщал своевременно. Явление почти уродливое, но в нем как бы слышится нечто пророческое.

В Херсонской губернии какой-то пастор Бонекетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ, видя его непросвещенным и духовно оставленным, и стал проповедовать ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его от православия не отступать. Но случилось иначе: проповедь имела полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали от православия, поставили

себе это первым и неперменным условием, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански и петь псалмы по книжке; иные выучились даже немецкому языку. Секта распространяется с фанатической быстротой, переходит в другие уезды и губернии. Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, рассуждают:

— У них (то есть у немецких, лютеранских штундистов), — у них потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет постов...

Логика мизерная, но какой-то есть смысл, как хотите, особенно если смотреть на пост как на один лишь обряд. А откудова бедный человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд.

Значит, против обряда и протестовал.

Это, положим, понятно. Но почему он так вдруг схватился протестовать? Где причина, его подвигнувшая?

Причина, может быть, очень общая — та, что воссиял ему свет новой жизни с 19 февраля. Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути; но очнуться надо было непременно, а очнувшись, он вдруг увидел, как он «жалок и беден, и слеп, и нищ, и наг»⁷⁶. Главное, правды захотелось, правды во что бы ни стало, даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято. Потому что никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замретишь и не искоренишь в сердце народа нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Он может страшно упасть; но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, что он всего только безобразник и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего.

Вот явление. Явление это, может быть, пока единичное, с краю, но вряд ли случайное. Оно может затихнуть и зачерстветь в самом начале и опять-таки преобразиться в какую-нибудь обрядность, подобно большинству русских сект, особенно если их не трогать. Но, как хотите, в явлении этом,

повторяю, может все-таки заключаться как бы нечто пророческое. В настоящее время, когда все будущее так загадочно, позволительно иногда даже верить в пророчества.

Ну что, если нечто подобное развернется уже по всей Руси? Не это самое, не штундисты (тем более что, говорят, уже приняты надлежащие меры), а только нечто подобное? Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха Божьего, а главное правды, правды, прежде всего».

Что возжадет он правды — в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у штундистов.

Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается ли все, все, чего ищет он, в православии? Не в нем ли одном и правда, и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? Не в православии ли одном сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои!

Да, но покамест это все сбудется, пастор-то вот встал пораньше, с первыми птицами, да и пришел к народу, чтобы сказать ему правду — православную правду, он был очень совестлив. Но народ пошел за ним, а не за православием, — не из благодарности только, а за то, что от него первую правду увидел. Ну и вышло, что «у него потому хорошо, что постов нет». Заключение очень понятное, коли замешалась личность.

Ну а кстати: что же наши священники? Что о них-то слышно?

А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Духовное наше сословие, говорят, давно уже начало обнаружи-

вать признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык по церквам своим о проповедничестве и благообразном житии. Наши пастыри, по всем известиям, решительно принимаются за сочинение проповедей и готовятся произвести их.

Поспеют ли только вовремя? Поспеют ли проснуться с первыми птицами? Пастор все-таки птица иная, залетная, да и гарантирован иначе. Ну да и служба совсем другая, начальство и проч. Так-то так, да ведь не чиновник же в самом деле, и наш священник! И не проповедник ли он единой великой Истины, имеющей обновить весь мир?

Пастор поспел раньше него, это все правда; но что же и делать, однако, было священнику в случае, например, хоть штундистов? Мы вот все склонны обвинять наших священников, а вникнем, однако: неужели ограничиться лишь доносом начальству? О, конечно, нет, добрых пастырей у нас много, — может быть, более даже, чем мы можем надеяться или сами того заслуживаем. Но все-таки, что же он стал бы тут проповедовать? (приходит мне иногда в голову как светскому человеку, с делом незнакомому). О преимуществе православия перед лютеранством? Но ведь мужики люди темные: ничего не поймут и, пожалуй, не убедятся. Доброе поведение и добрые нравы, говоря вообще и не слишком пускаясь в подробности? Но какие же тут «добрые нравы», когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя тоже не слишком пускаясь в подробности, ибо... ибо все-таки надо иметь в соображении величие России как великой державы, которое так дорого стоит... Ну а ведь уж это в некотором роде почти то же что и «смятенный вид-с». Остается, стало быть, проповедовать, чтобы народ пил *немножко только поменьше...*

Ну а пастору какое дело до величия России как великой европейской державы? И не боится он никакого «смятенного вида», и служба у него совсем другая. А потому дело и осталось за ним.

Полписьма «одного лица»

Ниже я помещаю письмо, или, лучше сказать, полписьма «одного лица», в редакцию «Гражданина»; все письмо напечатать было никак невозможно. Это все то же «лицо», вот тот самый, который уже отличился раз в «Гражданине» насчет «могилок». Признаюсь, печатаю, единственно чтобы от него отвязаться. Редакция буквально задавлена его статьями. Во-первых, это «лицо» решительно выступает моим защитником против литературных «врагов» моих⁷⁷. Он написал уже за меня и в пользу мою три «антикритики», две «заметки», три «случайные заметки», одно «по поводу» и, наконец, «наставление как вести себя». В этом последнем полемическом сочинении своем он под видом наставления «врагам» моим нападает уже на меня самого и нападает в таком даже тоне, что я ничего подобного по энергии и ярости не встречал даже и у «врагов» моих. Он хочет, чтобы я это все напечатал! я решительно заявил ему, что, во-первых, «врагов моих» никаких не имею и что все это только так и призраки; во-вторых, что и время уже прошло, ибо весь этот гам журналистов, раздавшийся с появления первого № «Гражданина» сего 1873 года с такою неслыханною литературною яростью, беспардонностью и простодушием приемов атаки, теперь, недели две, даже три тому назад, вдруг и неизвестно почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался. Наконец, что если бы я и вздумал кому отвечать, то сумел бы это сделать сам, без его помощи.

Он рассердился и, поспорив со мною, вышел. Я даже был рад тому. Это человек болезненный... Он в напечатанной у нас еще прежде статье уже сообщил отчасти некоторые черты из своей биографии: человек огорченный и ежедневно себя «огорчающий». Но, главное, меня пугает эта непомерная сила «гражданской энергии» сего сотрудника. Представьте, он с первых слов заявил мне, что не требует ни малейшего гонора-

рия, а пишет единственно из «гражданского долга». Даже признался мне с гордою, но вредящею себе откровенностью, что писал вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно чтобы провести при сем случае свои мысли, так как их ни в одной редакции не принимают. Он просто-запросто питал сладкую надежду отмежевать себе, хоть задаром, постоянный уголок в нашем журнале, чтобы иметь возможность постоянно излагать свои мысли. Какие же это мысли? Пишет он обо всем, отзывается на все с горечью, с яростью, с ядом и со «слезой умиления». «Девяносто процентов на яд и один процент на слезу умиления!» — объявляет он сам в одной своей рукописи. Начнется новый журнал или новая газета, и он уже немедленно тут: поучает и дает наставления. Это совершенная правда, что в одну газету он отослал до сорока писем с наставлениями, то есть как издавать, как вести себя, об чем писать и на что обращать внимание. В нашей редакции накопилось его писем, в два с половиною месяца, до двадцати восьми штук. Пишет он всегда за своею полною подписью, так что его везде уже знают, и мало того, что тратит последние копейки на франкировку, но еще в письма же вкладывает свежие марки, предполагая, что добьется-таки своего и затеет гражданскую переписку с редакциями. Всего более удивляет меня, что я никак не мог, даже из двадцати восьми его писем, открыть, какого он направления и чего, собственно, так добивается? Это какой-то сумбур... Рядом с грубостью приемов, с цинизмом красного носа и «огорченного запаха» исступленного слога и разорванных сапогов мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту, Sehnsucht* по чему-то утраченному, и все это выходит как-то до крайности в нем отвратительно. И вообще он мне надоел. Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благородное; но Бог с ним и с его благородством! Не далее как три дня после нашей ссоры он явился опять, с «последнею уже попыткой», и принес вот это «Письмо “одного лица”». Нечего делать, я взял и должен теперь напечатать.

* Томление, тоска (нем.).

Первую половину письма решительно нельзя напечатать. Это одни только личности и ругательства чуть не всем петербургским и московским изданиям, выходящие из всякой мерки. Ни одно из упрекаемых им изданий не возвышалось до такого цинизма в ругательствах. И главное, сам-то он их ругает единственно за цинизм и за дурной тон их полемики. Я просто отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему. Заключительную же часть печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, — увещание даже пригодное для фельетонистов всех веков и народов, до того оно общее. Слог возвышенный, причем сила слога равняется лишь наивности изложенных мыслей. Обращаясь с увещанием к фельетонисту, он говорит ему *ты*, как в одах старого времени. Он ни за что не хотел, чтобы я начал с точки, и настоял на том, чтобы печатание полуписьма его началось с полужафры, именно так, как отрезалось ножницами: пусть, дескать, увидят, как меня исказили! Он же отстоял и заглавие: я хотел все-таки написать «Письмо “одного лица”»; он непременно потребовал, чтобы озаглавлено было «Полписьма «одного лица»».

Итак, вот эти полписьма:

ПОЛПИСЬМА «ОДНОГО ЛИЦА»

... и неужели в слове «свинья» заключается столь магический и заманчивый смысл, что ты тотчас же и несомненно принимаешь его на свой счет? Я давно уже стал замечать, что в русской литературе это словцо постоянно имеет некоторый особенный и даже как бы мистический смысл. Даже дедушка Крылов⁷⁸, понимая это, употреблял с особою любовью «свинью» в своих апологах. Читающий литератор, даже в уединении и про себя, встретившись со словом сим, немедленно вздрагивает и тотчас же начинает задумываться: «Не я ли это? Не про меня ли написано?» Согласен, что словцо энергическое, но зачем же подразумевать непременно себя и даже себя одно-

го? Есть и другие кроме тебя. Уж не имеешь ли тайных причин к сему? Ибо чем иначе могу объяснить твою мнительность?*

Второе, что замечу тебе, о друг мой фельетонист, это то, что ты неводержан в планировке своих фельетонов. Ты напихиваешь в столбцы свои столько генералов, акционеров, князей, в тебе и в острых словах твоих имеющих нужду, что поневоле заключаю, читая, что за обилием многих не имеешь ни одного. Здесь ты присутствуешь на значительном заседании совета и изрекаешь бойко, свысока и небрежно, но тем бросаешь луч света, и совет немедленно и торопливо переменяется к лучшему. Там в глаза осмеял одного богатого князя, за что он немедленно зовет тебя на обед, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально от обеда отказываешься. Там заезжому милорду, в интимном разговоре в салоне, в шутку открываешь всю тайную подкладку России: он в страхе и в восхищении тут же телеграфирует в Лондон и на другой же день министерство Виктории⁷⁹ падает. Там, на Невском, на прогулке от двух до четырех ты разрешаешь государственную задачу трем отставным, но бегущим за тобою министрам; встречаешь проигравшегося гвардейского ротмистра и бросаешь ему двести рублей займа; с ним едешь к Фифине для благородного (будто бы?) негодования... Одним словом, ты тут, ты там, ты везде; ты рассыпан в обществе, тебя рвут нарасхват; глотаешь трюфели, ешь конфеты, разъезжаешь на извозчиках, в дружбе с половыми у Палкина⁸⁰ — словом, без тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконец, подозрительною. Тихий читатель провинции сочтет тебя, может быть, и вправду

* Это несомненно преувеличено, но отчасти и верно. Тут намек собственно на то, что в первом № «Гражданина» я имел несчастье привести одну древнейшую индийскую басню о дуэли льва и свиньи, причем ловко отклонил даже самую возможность предположения, что слово «лев» нескромно отношу на свой счет. И что же? Действительно многие выказали чрезвычайную и поспешную мнительность. Даже было нечто вроде феномена: в редакцию пришло письмо одного подписчика из одной далекой окраины России; подписчик дерзко и азартно укоряет редакцию за то, что под словом «свинья» она будто бы несомненно подразумевает своих подписчиков — предположение до того нелепое, что даже иные и петербургские фельетонисты не решились им воспользоваться в своих обвинениях... и это уже мера всему.

за обойденного наградой или по крайней мере за отставного министра, желающего вновь путем свободной, но оппозиционной печати вернуть свою должность. Но опытный житель обеих столиц знает иное: ибо знает он, что ты не более как нанятой борзописец у антрепренера-издателя; ты нанят и обязан его защищать. Он же (но никто другой) натравливает тебя на кого ему вздумается.

Итак, весь этот гнев и азарт в тебе, весь этот лай твой — все это лишь наемное и натравленное чужою рукой. И добро бы ты сам за себя стоял! Напротив, чему всего более удивляюсь в тебе — это тому, что ты, наконец, горячишься действительно, принимаешь к сердцу как будто в самом деле свое, ругаешься с фельетонистом-соперником как бы из-за какой-то любимой идеи, из-за дорогого тебе убеждения. Между тем знаешь сам, что своих идей не имеешь, а убеждений и подавно. Или, может быть, вследствие многолетней горячки и упоения смрадным успехом своим ты возмечтал наконец, что у тебя есть идея, что и ты способен иметь убеждение? Если так, то как же рассчитываешь после сего на мое уважение?

Некогда ты был честным и благообразным юношей... О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, с персидского: почтенный старец говорит рвущемуся срзиться юноше:

Я боюсь, среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда⁸¹.

Увы, ты все это и давно уже навсегда утратил! Смотри сам, как ты споришь с фельетонным врагом твоим, и пойми, до чего вы наконец доругались! Ибо вовсе вы уже не так подлы, как друг друга рисуете. Вспомни, что в детском возрасте дети дерутся наиболее потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же седое дитя, за неимением мыслей бранишься всеми словами разом, — худой прием! Именно за неимением убеждений и настоящей учености ты

стараешься более вникнуть в частную жизнь своего соперника; с жадностью узнаешь проступки его, искажаешь их и предаешь их благодетельной гласности. Не жалеешь жены и детей его. Предполагая друг друга умершими, пишете каждый и обоюдно один другому, в виде пашквиля, по надгробному слову. Скажи же кто поверит тебе, наконец? Читая фельетон твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно склонен подумать, что ты не прав, что в фельетоне твоём особый и секретный смысл, что вы, верно, где-нибудь подрались на даче и не можете позабыть сего. Невольно заключаю в пользу твоего соперника, и эффект твой манкирован. А к тому ли стремился ты?

И какая детская неумелость в тебе? Обругав соперника, ты заключаешь свой фельетон словами: «Вижу вас, господин NN, как вы, прочитав эти строки, бегаєте вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на вбежавшую в испуге жену свою, гоните прочь детей и, скрежеща зубами, колотите в стену кулаком от бессильного бешенства...»

Друг мой, простодушный, но иступленный страдалец своего фиктивного, напускного в пользу антрепренера бешенства, о друг мой, фельетонист! Скажи: прочитав в твоём фельетоне подобные строки будто бы о твоём сопернике, неужели я не догадаюсь, что это ты, ты сам, а не соперник твой, бегаешь по своей комнате, рвешь свои волосы, бьешь вбежавшего в испуге лакея, если он есть у тебя и с 19 февраля еще не утратил первобытной невинности; с визгом и скрежетом кидаешься ты на стену и отбиваешь в кровь кулаки свои! Ибо кто поверит, что можно послать такие строки сопернику, не отбив в кровь своих собственных кулаков предварительно? Таким образом, сам выдаешь себя.

Очнись же и приобрети стыд. Приобретя стыд, приобретешь и умение писать фельетоны — вот выгода.

Представлю тебе аллегория. Ты вдруг публикуешь в афишке, что на будущей неделе в четверг или в пятницу (словом, представь себе день, в который пишешь свои фельетоны) в театре Берга⁸² или в особо устроенном для того помещении

будешь показывать себя нагишом и даже в совершенной подробности. Верю, что найдутся любители; такие зрелища особенно привлекают современное общество. Верю, что съедутся и даже во множестве, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если так, то в чем же твое торжество?

Теперь рассуди, если можешь: не то ли самое изображают твои фельетоны? Не выходишь ли каждую неделю, в такой-то именно день, нагишом и со всеми подробностями перед публикой? И для чего, для кого ты стараешься?

Тут смешнее всего, что вся публика знает весь секрет войны вашей, знает и знать не хочет, проходит мимо вас равнодушно; вы же рветесь из себя и думаете, что все берут в вас участие. Человек простодушный! Публике слишком известно, что антрепренер столичной газеты, когда по примеру его основалась другая газета, в испуге сказал себе, схватясь за карман: «Эта новооснованная негодница может лишить меня двух или двух с половиною тысяч подписчиков. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу». Кудлашка — ведь это ты!

Антрепренер тобою доволен; он гладит свои бакенбарды и после завтрака с улыбкою думает: «Как я, однако же, натравил его!»

Помнишь ли ты Антропку в Тургеневе⁸³? Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная. Антропка есть провинциальный мальчишка, или, вернее, брат другого провинциального мальчишки, и уже Антропки (а первый, положим, Нефед), скрывшегося из избы в темную летнюю ночь по поводу сделанной шалости. Строгий отец послал старшего мальчика привести нашалившего братишку домой. И вот над обрывом оврага раздаются раздирательные вопли:

— Антропка! Антропка!

Долго не откликается виноватый шалун, но наконец «как бы с того света» раздается дрожащий и робкий голосенок его с другой стороны оврага:

— Чиво-о?

— А тебя тятенька выси-ичь хочи-ит! — с злобною и торопливою радостью подхватывает старший братишка.

Голос «с того света», разумеется, затихает. Но вот с надрывом и с бессильным, самоскребущим озлоблением все еще слышатся в темную ночь бесконечные, но бессильные вопли:

— Антропка-а! Антропка-а-а!

Сей гениальный возглас к Антропке и — что главное — бессильный, но злобный надрыв его может повториться не только среди провинциальных мальчишек, но и между взрослыми, дошедшими до почтенных седин, членами современного, но взволнованного реформами общества. И не напоминает ли тебе хотя бы что-либо сих Антропок в столице? Ибо между сими двумя антрепренерами столичных изданий не замечаешь ли нечто антропочное? Ты и соперник твой — не высланы ли вы оба своими хозяевами для отыскания Антропок? Антропки — не те ли это из предполагаемых вами новых подписчиков, которые могли бы поверить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрыв и старания ваши останутся втуне, что не отзовется Антропка, что не отобьете вы друг у друга ни одного подписчика, что у каждого будет довольно и без того; но вы уже так въелись в игру сию и так нравятся вам этот скребущий сердца ваши до крови фельетонный бессильный надрыв, что вы уже не можете удержаться! И вот еженедельно и в известные дни среди темной ночи, объявшей нашу литературу, с надрывом и с яростью раздается: «Антропка-а! Антропка-а!» И мы это слушаем.

Позволю себе и еще аллегию.

Представь, что тебя пригласили в порядочное общество; ибо предполагаю, что едешь и ты в порядочные круги общества. Ты прибыл на званую вечеринку к статскому даже советнику в день его именин. Гости уже заранее предуведомлены хозяином о твоём остроумии. Тыходишь с приличием, одет хорошо, расшаркиваешься с хозяйкою и говоришь ей любезности. С удовольствием ощущаешь, что на тебя смотрят, и готовишься отличиться. И вдруг, о ужас! замечаешь в углу залы литературного твоего соперника, прибывшего раньше тебя и которого даже и знакомым в сем месте не предполагал до последней минуты. Ты изменился в лице; но хозяин, относя сие

к минутному твоему нездоровью, спешит, по наивности, познакомиться тебя с литературным врагом твоим. Вы мычите и тотчас же повертываетесь друг к другу спинами. Хозяин в смущении, но ободряется, полагая, что это лишь новый литературный прием, неизвестный ему за делами службы. Между тем спешат картами, и хозяйка приглашает тебя в ералаш со свойственной ей любезностью. Чтоб избавиться от соперника, ты берешь карту с радостью; новый ужас: оказывается, что вы за одним столом. Отказаться уже нельзя, ибо причиной тому обе развязные и любезные светские дамы, ваши партнерки. Обе садятся спеша, а кругом них несколько родственниц и знакомых, и все жаждут слушать двух литераторов, все смотрят на ваши рты, все ловят ваше первое слово, не спуская с вас глаз своих. Соперник твой обращается к даме со спокойствием и говорит ей: «Кажется, сдача за вами, сударыня». Все улыбаются, все переглядываются, остроумное слово получает успех, и сердце твое сжимается завистью. Но следует сдача. Открываешь свои карты: тройки, двойки, шестерки и самая старшая — валет. Ты скрежещешь зубами, а соперник твой улыбается. К нему пришли карты, и он с гордостью объявляет коронку. Взор твой тускнеет. Схватываешь бронзовый веский фамильный подсвечник, которым гордится хозяин, хранящийся весь год у хозяйки в шкафу и выставленный на вид лишь единственно во дни ангелов, — схватываешь и стремительно пускаешь его в лоб своему сопернику. Крик и недоумение! Все вскакивают, но вы уже бросились и с пеной ярости вцепились друг другу в волосы*. Ибо, судя по твоему нетерпению в литературе и неумению сдержаться, имею право заключить и о нетерпении твоём в частных обществах. Партнерка твоя, молодая дама, ожидавшая от тебя столько остроумия, с криком спасается под крыло своего супруга, значительного инженер-подполковника. Тот, указывая на вас обоих, крутящихся за волосы, говорит ей: «Я предвещал тебя, миленькая, чего можно ожидать от современной беллетристики!» Но вас уже стащили вон с лестницы и выпихнули на

* Редакция находит эту картину немного преувеличенной.

улицу. Именинник хозяин, чувствуя вину свою перед созванным обществом, просит у всех извинения, рекомендуя забыть о русской литературе и продолжать ералаш. Ты же лишил себя светского вечера, приятных, хотя и невинных минут с петербургскою дамой и ужина. Но вам обоим не до того: вы схватываете по легковому извозчику и несетесь по зловонным петербургским улицам каждый в квартиру свою, чтобы тотчас же сесть за фельетон. Ты погоняешь извозчика, мимоходом завидуя его невинности, но уже обдумываешь статью свою. Ты прилетел, схватываешь перо свое и рассказываешь точь-в-точь и в малейшей подробности все, что случилось с тобой у советника!

Ты обличаешь именинника, ты обличаешь жену его, угощение их, восстаешь против обычая именин, против инженер-подполковника, против дамы, своей партнерки, и наконец-то добираешься до соперника. О, тут уже все до последней подробности, по известной нынешней общей манере вашей выставлять подноготную. Ты рассказываешь, как он бил тебя и как ты его бил, обещаешь, что будешь бить, и как он обещался бить. Ты хочешь приложить к статье своей пачку вырванных у него волос. Но вот уже утро... Ты бегаешь по комнате и ждешь редакционного часа. Являешься к редактору, и вдруг тот со спокойным видом объявляет тебе, что он еще накануне примирился с антрепренером-соперником, прекратившим издание и сдавшим ему подписчиков, сам же запил с ним мир у Дюесота⁸⁴ бутылкой шампанского. Затем благодарит тебя за услуги и объявляет, что ты ему больше не нужен. Скажи, каково положение твое!

Всего более не люблю я последних дней масленицы, когда черный народ допивается до последней степени своего безобразия. Оступелые рожи пьяниц, в рваных халатах и сюртучишках, толпятся у кабаков. Вот двое остановились на улице: один уверяет, что он генерал, а другой ему: «Врешь!» Тот бесится и ругается, а этот: «Вр-решь!» Тот еще пуще, а этот все то же: «Вр-решь!» — и так далее до двухсот даже раз! Оба именно находят красоту в бессильном и в бесконечном повто-

рении одного и того же слова, так сказать, погрязая в услаждении бессилием своего унижения.

Читая фельетоны твои, невольно воображаю себе слишком уже долго продолжающуюся в литературе нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу. Ибо не то же ли и у вас, как и у этих двух остановившихся у перекрестка бестолковых пьяных халатников? Не уверяет ли твой соперник в каждом фельетоне своем, что он генерал; и не отвечаешь ли ты ему, как халатник на перекрестке: «Вр-решь!» И все это такое бесконечное число раз, без малейшего даже предчувствия, как все это, наконец, надоело. Воображаю вас именно как на масленице, обезумевших и упившихся, в последний (прощеный!) день; воображаю, как вы валяетесь каждый перед окнами своей редакции и, копошась в грязном столичном буром снегу, кричите изо всей мочи друг на друга сиплыми голосами:

— Караул! кар-раул! кар-раул!

Но молчу и поспешаю мимо...

Молчаливый наблюдатель.

NB. «Молчаливый наблюдатель» — это псевдоним «одного лица»; я забыл о том предупредить.

По поводу выставки

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе⁸⁵. Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди — сочтемся», или даже любую, — и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, — и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно,

поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева⁸⁶. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща. (NB. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное.) Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь — посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни), зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, — все это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения, тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о

г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык — и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемой. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса⁸⁷, я уверен, почти так же как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских перед европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное... Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были⁸⁸), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Все это намекает

на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую склонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебности к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скучная природа»⁸⁹, вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем — лес; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто пронизает всего, вы почти ее чувствуете, и на середине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.

Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, — не могу судить) не произведет, по-моему, за границею слишком сильного впечатления. Но жанр, наш жанр — в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и если есть

нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения»⁹⁰, кажется; не знаю, как она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами и, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем оба они, видимо, уже раскисли от наслаждения — самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель... Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазванный их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, со строгостью (нельзя же-с)... Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж очень хорош у него соловей!». Чай кончится, и начнется торг... Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец... Может, кто и растолкует, в

чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее — это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, поймем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.

Ну вот в эстонской или лифляндской каюте игра в карты — это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна⁹¹; но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников»⁹². Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, о чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы все только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-

таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского⁹³. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Все это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен!», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предположить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен!» Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так... что тут что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», — поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для *его же целей*, чем,

например, все песни о рубашке (не Гуда⁹⁴, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, пришедшая, чтобы свидетельствовать с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая» (что, впрочем, совсем уже невозможно), — знает

те ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно⁹⁵. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться... Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блестит... Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина⁹⁶, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народа могла хоть когда-

нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонки... и — и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, — именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какою любовью!) к этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не любя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские. Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла. Вот это какие иногда субъекты. Но все же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравне-

нии с достоинством и независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-н Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внуку» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. Повидимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять

с него портрет, готовится, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова⁹⁷: иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.

Что такое, в сущности, жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю *nota bene*: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многообразии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности.) Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно, не та, что текущая (жанр), — именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если вообразить прошедшее событие и особенно давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не вообразать о прошлом нельзя), то событие *непременно* представится в законченном его виде, то есть с

прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали) смешать обе действительности — историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр⁹⁸. Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились Его друзья утешать Его; но спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же все происходит совсем несоизмеренно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил Его в известной картине своей «Кесарево кесареви»⁹⁹; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.

* * *

Однако я и забыл о выставке. Впрочем... Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.

Ряженный

Кто тебя!

В «Русском мире» (№ 103) появилась на меня ругательная заметка¹⁰⁰. Ни на одну ругательную статью я не отвечаю; на эту ответчу — по некоторым соображениям, а по каким — выяснится в продолжение ответа.

И во-первых, дело в том, что ругатель мой духовное лицо, — с этой стороны менее всего ждал нападения. «Заметка» подписана «Свящ. П. Касторский». Что такое: «Свящ.»? Священник? Что может означать это сокращение, кроме «священник»? Тем более что и речь о церковном предмете. В 15—16 № «Гражданина» напечатана была повесть г-на Недолина «Дьячок». Ну вот о ней-то и дело.

Вот эта «заметка».

«ХОЛОСТЫЕ ПОНЯТИЯ О ЖЕНАТОМ МОНАХЕ»

Священнослужители и церковники весьма нередко в наше время бывают избираемы нашими повествователями и романистами в герои своих повествований; еще чаще они появляются там в качестве вводных, так сказать, аксессуарных лиц. Это и прекрасно, что их описывают: в духовном быту очень много типических лиц, и почему их не изображать с их добрыми и худыми сторонами? Недавний успех «Записок

причетника» в «Отечественных записках» и потом еще больший успех «Соборян» в «Русском вестнике»¹⁰¹ показывают, как много интереса могут возбуждать в обществе художественные изображения бытовой среды нашего клира. Оба названные произведения представляли наших клировых людей с разных точек зрения, и оба они прочитаны со вниманием и с удовольствием. А почему? — потому что они написаны хорошо, художественно и с знанием дела. Но совсем не то выходит, когда по подражательности или по чему-нибудь другому, — например по самонадеянности или по легкомыслию, — за это дело берутся люди, которые не имеют о нем никакого понятия. Они только конфузят себя и вредят делу, устанавливая на него ложные взгляды, а потому проходить такие вредные покушения — карикатурить быт нашего духовенства — невозможно, и я вслед за *псаломщиком*, недавно заметившим в «Русском мире» невежество писателя Достоевского насчет певчих, не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, обличенном опять в том же журнале «Гражданин», под которым подписывается редактором тот же г-н Достоевский».

Остановимся пока тут. Что значит «вслед за *псаломщиком*, обличившим в «Русском мире» невежество писателя Достоевского»? Не читал. (И опять «Русский мир»!) Отыскиваю (№ 87), действительно есть обличение, подписано «Псаломщик». Посмотрим, что такое:

«О ПЕВЧЕСКОЙ ЛИВРЕЕ
(Письмо в редакцию)

В № 13 журнала «Гражданин» (26 марта) мне случилось прочесть статью г-на Ф. Достоевского по поводу академической художественной выставки. Г-н Достоевский, трактуя в этой статье о псаломщиках, изображенных художником Маковским, написал такие строки: «Все это господа в *официальных костюмах* с гладко-гладко выбритыми подбородками. Правда, и *все певчие надевают такие костюмы* лишь по службе и *искони надевают такие костюмы и искони так велось с патриархальных времен...»*»

Прервем на минуту: во-первых, такой глупой фразы у меня совсем нет. У меня написано: «Правда, и все певчие на-

девают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен...» — а это совсем другое.

Продолжаем выписку:

«Это неосновательно: ни *искони*, ни с *патриархальных* времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов, в каких мы видим их ныне и в каких псаломщики изображены в картине г-на Маковского. Эта ливрея есть позднейшее позаимствование, взятое с Запада, или, точнее сказать, из Польши, и в числе достопочтенных иерархов нашей церкви было и есть немало таких, которые находят этот ливрейный маскарад неуместным, и певцы состоящих при них хоров поют в обыкновенных черных сюртуках, что, конечно, гораздо скромнее и пристойнее польского контуша. «Искони» же во времена «*патриархальные*», певцы пели стоя в длинных черных азиях и непременно с лестовками в руке; так же точно стоят певцы и ныне в церквах единоверцев и в моленных раскольников».

NB. Выходит, пожалуй, что у нас, в теперешних православных храмах, певчие поют сидя. Сведущего человека всегда полезно выслушать.

«Опасаясь (есть чего!), дабы через неведующее слово г-на Достоевского не укреплялось неосновательное мнение насчет этих ливрей (землетрясение будет от этого, что ли?), которые давно бы пора перекроить на русский лад, я имею честь просить редакцию «Русского мира» дать место этим кратким строкам моим.

Псаломщик».

Вот эта заметка Псаломщика, на которую ссылается Свящ. Касторский. Прежде чем будем продолжать Касторского, кончим с Псаломщиком.

Чего вы рассердились, г-н Псаломщик? Вы указываете ошибку и учитесь, а между тем ошибаетесь сами. Вы говорите: «Это неосновательно: ни *искони*, ни с *патриархальных* времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов...» Как так? Почему «это неосновательно»? Почему нельзя сказать: *искони* и с *патриархальных* времен?

Что же они вчера, что ли, так оделись? Ведь по крайней мере при пра-пра-прадедах? С насупившимся видом глубокого историка Вы являетесь нас поправлять, а между тем сами ничего не говорите точного? Ждешь, что глубокий историк с точностью определит время, год, а пожалуй, и день, когда клир в первый раз оделся в эти костюмы, а Вы после всего, что натрубили, довольствуетесь вялой догадкой: «Это-де у нас с польского» — и только! А звону-то, звону-то!

Вы только ответьте, г-н Псаломщик, как по-Вашему: польское влияние, отразившееся одновременно у нас на очень многом и даже вот на клире, — давно оно было, по-Вашему, или всего только третьего дня? Так почему же ради всего сколько-нибудь толкового, нельзя выразиться, что *искони* так велось, с *патриархальных* времен? Не только с патриархальных, но почти с *патриаршими* временами это соприкасается.

Эти костюмы (или подобные им) появились с Петра Великого, стало быть, почти соприкасались со временами патриаршими, немногого недостало. Разве это недавно? Нельзя, что ли, сказать *искони*! или с «патриархальных времен»? Если же я в статье моей и сам не определил с исторической точностью, с какого именно времени наши певчие в эти костюмы одеваются, то потому что и намерения сего не питал, и цели такой не имел, а единственно хотел выразить, что заведено это очень давно, — так давно, что всегда можно выразиться «*искони*», и это всякий поймет, кто прочтет статью мою. Не про Дмитрия Донского время я говорил и не про Ярославово¹⁰². Я хотел сказать, что «очень давно», и ничего больше.

Но довольно с ученым Псаломщиком. Выскочил, намахал руками, и — ничего не вышло. По крайней мере, этот выразился вежливо: «Опасаясь, дескать, дабы через *неведующее* слово г-на Достоевского» и т. д. Но Свящ. Касторский разом переоскакивает пределы, поставленные Псаломщиком. Резвый человек!.. «Невежество писателя Достоевского насчет певчих»... «Не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, обличенном опять в том же журнале «Гражданин», под которым подписывается редактором тот же

г-н Достоевский». Подумаешь, что за страшные преступления натворил этот Достоевский: *простить* даже невозможно! Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не в состоянии!.. Но, однако, какое же это «невежество»? В чем дело? Нечего делать, выпишем всего Касторского, угостим читателей. Зачем «хорошего понемножку»? Чем больше его, тем лучше, — вот моя мысль.

«В 15—16 № журнала «Гражданин», вышедшем 16 сего апреля, напечатан «Дьячок. Рассказ в приятельском кругу г-на Недолина». Рассказ этот имеет самое ложное и невозможное основание: в нем представлен голосистый дьячок, которого *бьет* его жена, и *бьет* его так усердно и жестоко, что он от ее побоев сбегает в монастырь, где и «обрек себя Господу и не должен больше ни о чем земном думать». Он остается в монастырской ограде, а долго бившая его жена его дьячиха стоит за оградой; он там звонко распевает переложение псалма:

И свят, о Боже, твой избранник!
Мечом ли руку ополчит,
Велений Господа посланник,
Он исполина сокрушит.

А покинутая жена опять «стоит у монастырской ограды и, приложив свою пылавшую голову к монастырской стене, плачет» и просит выманить к ней определившегося в монастырь мужа, с тем что она «будет ему рабой и собакой». Но муж не вышел и так и умер в монастыре.

Какая жалкая, невозможная и смешная небылица! Кто этот г-н Недолин, мы не знаем; но всеконечно это человек совсем не знающий ни русского законодательства, ни русской жизни, — не знающий их до того, что он полагает, будто в России можно женатому человеку определиться в монастырь и будто его там станут держать; но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так странно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве, может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, — тогда это другое дело; но всякий мало-мальски знающий законы и уставы своей церкви может легко убедить г-на Достоевского,

что даже такое чудо у нас невозможно, потому что оно строго запрещено и преследуется нашими положительными законами, которых никакое монастырское начальство преступить не может и человека, имеющего живую жену, в монастырь не примет.

Крайне бедная и неискусно сконпонованная фабула рассказа «Дьячок», конечно, все-таки могла бы кое-что выиграть, если бы ей была дана вероподобная развязка, а таковая вполне возможна была для писателя или для редактора, хотя немножечко знакомого с бытом изображаемой среды. Рассказ, например, мог быть доведен до того весьма знакомого драматического положения, что дьячок, чтобы скрыться от сварливой жены, бежит в монастыри, но из одних его выгоняет начальство, потому что он женат, а из других сама жена его вытребовывает и, пожалуй, опять его бьет... Тогда, не видя нигде в отечестве спасения от жены и в то же время стремясь к монастырской жизни, злополучный дьячок мог бы, например, бежать на Афон, где под мусульманским управлением турецкого султана православная церковь действует во многом самостоятельнее, чем в России. Там, как известно, в монастырях иногда не боятся принимать и женатых людей, ищущих иночества, и там-то немилосердно побиваемый женою русский дьячок мог бы приютиться и молиться и петь, но во всяком случае только петь отнюдь не то стихотворное переложение, которое поет дьячок «Гражданина», потому что, *во-первых*, как основательно известно, это переложение у лиц духовного звания вниманием не пользуется; *во-вторых*, оно на голос не положено и не поется, а, *в-третьих*, никаких светских стихотворных переложений в стенах православных монастырей распевать не дозволяется, и запрещением этим никто, живущий в монастыре, манкировать не смеет, дабы не нарушать тишины, подобающей месту.

Свящ. П. Касторский».

Теперь ответим по пунктам и, *во-первых*, успокоим взволнованного священника Касторского в самом главном пункте, объяснив ему, что повесть «Дьячок» вовсе не бытовая. Почтенному автору ее г-ну Недолину¹⁰³ (не псевдоним), часть своей жизни проведшему на самой деятельной государственной службе, никакого дела не было в настоящем случае до церковного быта. Его герой «*дьячок*» мог безо всякой потери для себя и для рассказа быть каким-нибудь, например, почтамтским чиновником, и если остался в рассказе дьяч-

ком, то единственно потому, что происшествие это истинное. Поэма эта исключительная, почти фантастическая. Знаете ли вы, священник Касторский, что истинные происшествия, описанные со всею исключительностью их случайности, почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный? Задача искусства — не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многообразия однородных жизненных явлений. В рассказе г-на Недолина обобщено совсем другое явление человеческого духа. Если бы, напротив, он имел претензию на бытовое изображение, то, с этой точки зрения и с одним своим анекдотом, непременно бы попал в исключительность. Недавно, то есть несколько месяцев тому назад, в одном из наших знатнейших монастырей случилось, говорят, что один глупый и злой монах убил в школе десятилетнего мальчика жестокими побоями, да еще при свидетелях. Ну не фантастическое ли это приключение на первый взгляд? А между тем оно, кажется, вполне истинное. Ну опиши его кто-нибудь — мигом закричат, что это невероятно, исключительно, изображено с намерением предумышленным, — и будут правы, если судить с точки зрения одной бытовой верности изображения наших монастырей. Верности не было бы и с одним таким анекдотом; и поныне найдется в монастырях наших ангельское житие, во славу Божию и церкви, и приключение с злым монахом останется навсегда исключительным. Но для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны; есть общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого. А уж Вам так и кажется, что уж если написано «дьячок», так уж непременно специальное описание быта; а уж коли описание быта, так уж непременно отмежеванные и патентованные писатели для изображения его, и не смей, дескать, соваться на нашу ниву; это наш угол, наша эксплуатация, наша доходная статья. Не правда ли, ведь это Вас взволновало, священник Касторский? Помилуйте, можно написать пером слово «дьячок» совсем без намерения отбивать что-нибудь у г-на Лескова. И потому успокойтесь.

Успокоив Вас, попрошу Вас обратить внимание на заглавие Вашей полемической статьи: «Холостые понятия о женатом монахе».

И мимоходом спрошу: к чему тут «холостые»? Насколько изменятся понятия, если они будут женатые? И разве есть холостые понятия и женатые понятия? Ну да Вы не литератор, и все это вздор; Вы — взволнованный священник Касторский, и с Вас слогу нечего спрашивать, особенно в таком состоянии. Главное дело вот в чем: кто Вам сказал, что наш дьячок поступил в монахи? Где, во всей повести г-на Недолина, нашли Вы, что он постригся? Между тем это очень важно; озаглавив таким образом, Вы читателя, незнакомого с повестью г-на Недолина, прямо вводите в недоумение: «Да, действительно, — подумает он, — женатый дьячок не мог поступить в монахи! Как же этого не знает «Гражданин»?» Таким образом, отведя словом «монах» глаза читателю, Вы уже победоносно восклицаете в середине Вашей статьи:

«Какая жалкая, невозможная и смешная небылица!.. Как же не знать того редактору г-ну Достоевскому, который» и т. д....

А между тем Вы просто-запросто подтасовали дело, и я преспокойно ловлю Вас на плутне. Но Вы немножко ошиблись, батюшка, и рассчитали без хозяина. Женатого в монахи *не постригут*, это так; но почему «никакое монастырское начальство имеющего живую жену в монастырь не примет», как утверждаете Вы с азартом? Это откудава почерпнули Вы такое известие? Кто-нибудь, например, имел бы намерение поселиться в монастыре (где есть, например, удобное помещение), но он женат, жена его где-нибудь в столице или за границей, и вот, потому только, что он женат, его гонят вон из монастыря? Так ли это? Не знаете дела, батюшка, а еще духовное лицо. Я Вам даже смог бы указать на некоторые известные всему петербургскому обществу лица, памятные в обществе до сих пор и которые кончили тем, что поселились жить под конец жизни в монастырях и вот уже живут там

очень долго, а между тем женаты и жены их живы до сих пор. Все произошло с обоюдного согласия. Так точно *поселился жить* в монастыре и дьячок г-на Недолина. Уничтожьте только подтасовку пострижения в монахи, с умыслом Вами придуманную и чего совсем нет во всей повести г-на Недолина, и Вам тотчас же все объяснится. Тут даже лучше, чем с «обоюдного согласия», произошло; тут прямо произошло с соизволения начальства. Я Вас, батюшка, имею средства на этот счет в высшей степени успокоить. Предположите, что я навел справки и вот какие получил сведения:

Во-первых, артист-дьячок еще за полгода до *поступления* в монастырь, когда при прощании с помещиком открылся ему в первый раз, что намерен уйти *жить* в монастырь, уже и тогда знал, что говорил. Именно потому, что уже сообщил о намерении своем отцу Иоанну, игумену монастыря, который его очень любил, то есть более любил его пение, потому что был чрезвычайный любитель музыки и Софрону изо всех сил покровительствовал; даже сам, кажется, и переманивал его *жить* в монастыре. Дьячок поколебался на предложение помещика ехать за границу и вот почему прождал еще с полгода; но когда кончилось его терпение, ушел в монастырь. Устроить же это было очень легко: отец Иоанн состоял в теснейшей дружбе с епархиальным начальником, а когда два такие лица согласились, то и предлогов не надо. Но наверно был отыскан и предлог, по которому дьячок был, так сказать, «откомандирован» в монастырь. Обет же, данный дьячком, «посвятить себя Господу» (на что Вы так особенно сердитесь) был совершенно свободный, внутренний, неофициальный, дело его совести, дан самому себе. Мало того, в рассказе г-на Недолина есть совершенно ясное указание на то, что дьячок только *проживал* в монастыре, а отнюдь не был пострижен в монахи, как Вы с такою бесцеремонностью присочинили, батюшка. Именно: воротившийся помещик все еще уговаривает Софрона выйти из монастыря и отправиться за границу, и дьячок в первый день переговоров даже колеблется. Ну могло ли бы это быть, если бы Софрон был уже пострижен? Не маскируйте, наконец, и того,

что ведь это был артист неслыханный, по крайней мере одаренный неслыханно, и таким он заявляется в повести с самого начала. А если так, то понятно и такое пристрастие к нему отца Иоанна, страстного любителя музыки...

«Но ведь это не объяснено в повести!» — воскликнете Вы в чрезвычайном гневе. Нет, отчасти объяснено; очень о многом можно догадаться из рассказа, хотя он быстр и краток. Но, положим, и не все объяснено, — зачем объяснять? Было бы только вероятно; а уничтожьте подтасовку пострижения в монахи, и все станет вероятно. Да, рассказ г-на Недолина несколько сжат, но знаете, батюшка, Вы вот человек не литературный, что и доказали, а между тем я Вам прямо скажу, что ужасно много современных повестей и романов выиграли бы, если бы их сократить. Ну что толку, что автор тянет Вас в продолжение тридцати листов и вдруг на тридцатом листе ни с того ни с сего бросает свой рассказ в Петербурге или в Москве, а сам тащит Вас куда-нибудь в Молдо-Валахию, единственно с тою целью, чтоб рассказать Вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдо-валахской крыши, и, рассказав, вдруг опять бросает и ворон и Молдо-Валахию, как будто их не бывало вовсе, и уже ни разу более не возвращается к ним в остальном рассказе; так что читатель остается, наконец, в совершенном недоумении¹⁰⁴. Из-за денег пишут, чтобы только больше страниц написать! Г-н Недолин написал иначе и хорошо, может быть, сделал.

«Но жена, жена! — восклицаете Вы, вращая глазами. — Как же жена позволила и не жаловалась, как «не вытребовала» она его законом, силой!» А вот тут-то Вы, и именно на женском-то этом пункте, всего больше и спасовали, батюшка. Вы ведь до того разыгрались в Вашей статье, что даже сами принялись сочинять роман, а именно как жена своего дьячка наконец воротила и опять начала колотить, как он «сбежал» в другой монастырь, как из другого воротила, как он сбежал наконец на Афон и там уже успокоился под «мусульманским» управлением султана (представьте, а ведь я до сих пор думал, что султан христианин!).

Шутки в сторону; знайте, батюшка, что хоть Вам бы и следовало, уже по одному сану Вашему, немножко знать сердце человеческое, но Вы его вовсе не знаете. Вы хоть и плохой сочинитель, но, может быть, если бы взяли за перо, действительно описали бы бытовую сторону духовенства вернее г-на Недолина; но в сердце человеческом г-н Недолин знает более Вашего. Женщина, которая целые дни выстаивает у монастырской стены и плачет, не пойдет подавать просьбы и не станет уже действовать силой. Довольно силы! У Вас вот все битье да битье; в порыве авторского увлечения Вы продолжаете роман, и опять у Вас битье. Нет, уж довольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя в «Женитьбе», в последней сцене, после того как Подколесин выпрыгнул в окошко, Кочкарев кричит: «Воротить его, воротить!», воображая, что выпрыгнувший в окошко жених все еще пригоден для свадьбы. Ну вот точно так же рассуждаете и вы. Кочкарева останавливает сваха словами: «Эх, дела ты свадебного не знаешь; добро бы в дверь вышел; а уж коли в окно махнул, так уж тут мое почтение». Облагородьте случай с Подколесиным, и он как раз придется к положению бедной, оставленной мужем дьячихи. Нет, батюшка, битье кончилось! Эта женщина, — этот исключительный характер, страстное и сильное существо, гораздо высшее, между прочим, по душевным силам, чем артист, ее муж, — эта женщина под влиянием среды, привычек, необразованности могла действительно начать битьем. Толковому, понимающему человеку тут именно реализм события понравится, и г-н Недолин мастерски поступил, что не смягчил действительности. Слишком сильные духом и характером женщины, особенно если страстны, иначе и не могут любить, как деспотически, и имеют даже особенную склонность к таким слабым, «ребяческим» характерам, как у артиста-дьячка. И за что она так полюбила его? разве она знает это! Он плачет, она не может не презирать его слез, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается его слезами. Она ревнива: «Не смей петь при господах!» Она бы, кажется, проглотила его живьем из любви. Но вот он бежал от нее, и —

никогда бы она тому не поверила! Она горда и самонадеянна, она знает, что красавица, и — странная психологическая задача, — поверите ли, ведь она все время была убеждена, что он точно так же ее без памяти любит, как и она его, без нее жить не может, несмотря на битье! Ведь в этом состояла вся ее вера; мало того, тут и сомнений для нее не существовало, и вдруг ей все открывается: этот ребенок, артист ее нисколько не любит, давно уже перестал любить, может быть, никогда не любил и прежде! Она вдруг смирилась, поникла, раздавлена, а отказаться от него все-таки не в силах, безумно любит, еще безумнее, чем прежде. Но так как характер сильный, благородный и необыкновенный, то и вырастает вдруг неизмеримо и над прежним бытом, и над прежней средой своей. Нет, уж теперь она его не потребует силой. Силой ей его теперь и даром не надо; она все еще неизмеримо горда, но гордость эта уже другого рода, уже облагородилась: она скорее умрет с горя тут же в траве у ограды, а не захочет употребить насилие, писать просьбы, доказывать права свои. Ах, батюшка, да ведь в этом и вся повесть, а вовсе не в бытовой стороне церковников! Нет, батюшка, этот крошечный рассказик гораздо значительнее, чем Вам кажется, и поглубже. Повторяю, Вы так не напишете, даже не поймете в чем дело. У Вас отчасти душа кочкаревская (в литературном отношении, разумеется, — далее я не иду), как и имел я Вам честь заметить...

Что же касается до сочинительства Вашего и до понимания художественного, то к Вам в этом отношении вполне, я думаю, можно приложить известную эпиграмму Пушкина¹⁰⁵:

Картину раз высматривал сапожник,
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
«Вот», подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»
Но Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

.....

Вы, батюшка, точь-в-точь как этот сапожник, с тою только разницею, что даже и в обуви не сумели указать г-ну Не долину, что, надеюсь, я Вам и доказал основательно. А подтасовкой ничего не возьмете. Тут, видите ли, чтобы понимать что-нибудь в душе человеческой и «судить повыше сапога», надо бы побольше развития в другую сторону, поменьше этого цинизма, этого «духовного» материализма; поменьше этого презрения к людям, поменьше этого неуважения к ним, этого равнодушия. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше веры, надежды, любви! Посмотрите, например, с каким грубым цинизмом обращаетесь Вы со мной лично, с каким совсем несвойственным Вашему сану неприличием говорите о чудесах. Верить не хотел, когда прочел у Вас следующее про себя:

!!«...но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве, может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, — тогда это другое дело...»

Во-первых, батюшка, Вы и тут сочинили (экая ведь страсть у Вас к сочинительству!). Никогда и нигде не объявлял я о себе *лично* ничего о вере моей в чудеса. Все это Вы выдумали, и я Вас вызываю указать: где Вы это нашли? Позвольте еще: если бы я, Ф. Достоевский, где-нибудь и объявил это о себе (чего не было), то уж, поверьте, не отказался бы от слов моих ни из-за какого либерального страху или страху ради касторского. Просто-запросто ничего подобного не было, и я только констатирую факт. Но если бы и было — что Вам-то до веры моей в чудеса? Чем они подходят к делу? И что такое мудреные чудеса и немудреные? Как уживаетесь Вы с подобными разделениями сами? Вообще же желаю, чтобы в этом отношении Вы оставили меня в покое — уже хоть по тому одному, что приставать ко мне с этим вовсе к Вам не идет, несмотря на все современное просвещение Ваше. Духовное лицо, а так раздражительны! Стыдно, г-н Касторский.

* * *

А знаете, ведь Вы вовсе не г-н Касторский, а уж тем более не священник Касторский, и все это подделка и вздор. Вы *ряженный*. Вот точь-в-точь такой, как на святках. И, знаете, что еще? Ни единой-то самой маленькой минутки я не пробыл в обмане; тотчас же узнал ряженого и вменяю себе это в удовольствие, ибо вижу отсюда Ваш длинный нос: Вы вполне были уверены, что я шутовскую маску вывесочной работы приму за лицо настоящее. Знайте тоже, что я и отвечал Вам немного уже слишком развязно единственно потому, что сейчас же узнал переряженного. Если бы Вы были в самом деле священником, я, несмотря на все Ваши грубости, которые в конце вашей статьи доходят до какого-то победоносно-семинарского ржання, все-таки ответил бы Вам «с соблюдением», — не из личного к Вам уважения, а из уважения к Вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается. Но так как Вы всего только ряженный, то и должны понести наказание. Наказание начну с того, что объясню Вам подробно, почему Вас узнал (между нами, я даже предугадал, кто именно под маской скрывается; но имя вслух не объявлю, а оставлю при себе до времени), и это Вам, естественно, будет очень досадно...

— А если предугадали, то почему же отвечали как священнику, — спросите Вы, — к чему написали предварительно столько лишнего?

— А по платью встречают, — отвечаю я Вам, — и если написал что-нибудь неприятное г-ну «священнику», то уж пусть возьмет это на свою совесть тот господин, который выдумал и употребил недостойный прием перерядиться в священника. Да, недостойный прием, и он сам это чувствовал. Мало того, он, сколько мог, оберег себя. Он не подписался «Священник П. Касторский», а подписался сокращенно: «Свящ. П. Касторский». *Свящ.* все-таки не священник, если уж крепко обличат. Всегда можно сказать, что подразумевался «*священнолюбец*» или что-нибудь в таком роде.

Я узнал Вас, г-н ряженный, по слогу. Видите ли, в чем тут главная штука: в том, что современные критики и хвалят, пожалуй, иногда современных писателей-художников, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконец, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большею частью, смахивают на вывескных маляров, а не на живописцев. Не все, конечно. Есть некоторые и с талантом, но большая часть самозванцы. Во-первых, г-н ряженный, у Вас пересолено. Знаете ли Вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я Вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с природы записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят *эссенциями*, *то есть* как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную Вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характеристиками сплошь, по записанному, — и выходит неправда. Выведенный тип говорит *как по книге*. Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете.

И большею частью работа вывескная, малярная. Между тем «художник» считает себя под конец за Рафаэля; и не разверишь его! Записывать словечки хорошо и полезно и без этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять их совсем механически. Правда, есть оттенки и между «художниками-записывателями»; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой,

с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все-таки избежать не может. Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников. Мало веры. Чувство меры уже совсем исчезает. Взять и то, наконец, что наши художники (как и всякая ординарность) начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда большею частью он проходит и исчезает, вырождается в другой, сообразно с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти старое подают нам на стол за новое. И сами верят тому, что это новое, а не преходящее. Впрочем, подобное замечание для нашего писателя-художника несколько тонко; пожалуй, и не поймет. Но я все-таки выскажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип *современно* и подает его *своевременно*; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски и работая по заготовленным уже шаблонам.

Я, например, не встречал еще ни одного священника во всю мою жизнь, даже самого высокообразованного, совершенно без всяких характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тем если бы дословно стенографировать его разговор и потом напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованного и долго бывшего в обществе священника и не заметите никакой особенной характерности. Нашему «художнику» этого, естественно, мало, да и публика к другому приучена. Простонародье, например, в повестях Пушкина, по мнению большинства читателей, наверно говорит хуже, чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков. Я думаю, и по мнению многих художников тоже. Не вытерпит он, что священник, например, говорит почти безо всякой характерности, зависящей от сословия, от среды его, а потому и не поместит его в свою повесть, а поместит характернейшего. Таким образом, современного священника,

при известных обстоятельствах и в известной среде, заставит говорить иногда как священника начала столетия и тоже при известных обстоятельствах и известной среде.

Священник Касторский начинает, как и все, некоторое время почти совсем не напоминая собою известной среды.

Пока он хвалит художественность писателя Лескова, он говорит, *как и все*, безо всякой характерности словечек и мыслей, обличающих сословие. Но так было надо автору: надо было его оставить в покое, чтобы литературная похвала вышла серьезнее, а порицание г-ну Недолину строже, ибо смешная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдруг автор, сообразив, что ведь, пожалуй, читатель и не поверит, что священник писал, пугается и разом бросается в типичности, и уже тут их целый воз. Что ни слово, то типичность! Из такой суматохи, естественно, выходит типичность фальшивая и непропорциональная.

Главный признак человека необразованного, но почему-нибудь принужденного заговорить языком и понятиями не своей среды, — это некоторая неточность в употреблении слов, которых он значение, положим, и знает, но не знает всех оттенков его употребления в сфере понятий другого сословия. «...А потому *проходить* такие *вредные* покушения...», «... невежестве, *обличенном* опять в том же журнале...», «... в нем представлен *голосистый* дьячок...» и т. д. Последнее словцо *голосистый* уже слишком грубо, и именно тем, что Свящ. Касторский, желая выразить понятие о лице, одаренном прекрасным голосом певца, думает, что выражает это понятие словом «голосистый». Автор-специалист забыл, что хотя в священнической среде и теперь, конечно, встречаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой уж степени не понимающих значения слов. Это годится для романа, г-н ряженный, а действительности не выдерживает. Такое ошибочное выражение прилично было бы разве пономарю, а все же не священнику. Не слежу за всеми выражениями далее; повторяю, их там целый воз, чрезвычайно грубо натасканный из тетрадки. Но хуже всего то, что типичник-

автор (если говорят о художнике-авторе, то возможно понятие и о *ремесленнике-авторе*, а слово *типичник* определяет ремесло или мастерство), что типичник-автор выставил свой тип в таком непривлекательном нравственном виде. Надо бы выставить все-таки в Свящ. Касторском — человека с достоинством, добродетельного, и типичность ничему бы тут не помешала. Но типичник был сам поставлен в затруднительное положение, из которого и не сумел вывернуться: ему непременно надо было обругать своего собрата-автора, наглумиться над ним, и вот свои прекрасные побуждения он, перереженный, поневоле должен был навязать своему священнику. А уж насчет чудес — типичник совсем не сдержал себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо — да еще глумится над чудесами и делит их на мудреные и немудреные! Плохо, г-н типичник.

Я даже думаю, что и «Псаломщик» — произведение того же пера: очень уж перенаивничал неумелый мастеровой в окончании, именно в «опасениях» Псаломщика, которые слишком уж не блистают умом. Одним словом, господа, вся эта вывесочная работа, положим, еще и сойдет в повестях, но, повторяю Вам, не выдержит столкновения с действительностью и тотчас же обличит себя. Не вам, господа-художники, надуть старого литератора.

Что же это, шутки, что ли, с их стороны? И, нет — нет, вовсе не шутки. Это — это, так сказать, дарвинизм, борьба за существование. Не смей, дескать, заходить на нашу ниву. И чем мог вам повредить, господа, г-н Недолин? Уверяю же вас, что он вовсе не имеет намерения описывать бытовую сторону духовенства, можете вполне успокоиться. Правда, смутило меня на одно мгновение одно странное обстоятельство: ведь если ряженный типичник напал на г-на Недолина, то, ругая его, в противоположность ему должен бы был хвалить самого себя. (На этот счет у этих людей нет ни малейшего самолюбия: с полнейшим бесстыдством готовы они писать и печатать похвалы себе сами и собственноручно.) А между тем, к величайшему моему удивлению, типичник выставляет и

хвалит талантливую г-на Лескова, а не себя. Тут что-нибудь другое, и, наверное, выяснится. Но *ряженный* не подвержен ни малейшему сомнению.

А причем же тут сам «Русский мир»? Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с «Русским миром» и не предполагал иметь. Бог знает с чего вскочут люди.

Мечты и грезы

Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы все-народного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени — *après moi le déluge**. Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «...все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т.д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Спешу, однако, оговориться:

* После меня хоть потоп (*франц.*).

я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился¹⁰⁶. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже — что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению — обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, — в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому,

впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какую-нибудь всеожигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, — взяв и то, что время уже

слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Все это мои мечты, разумеется; но... повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники — это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торже-

ством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни уменья; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, — и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности — один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностью.

Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат¹⁰⁷, — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение — дешевку и жида. Народ закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки?

Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того — для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака¹⁰⁸: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным — вот чем они окупаются!

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли¹⁰⁹; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай Боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но... если в текущие десять, пятнадцать лет склонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то — не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь, целиком, в самое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут никакая община его не спасет: будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею общиной, а жида и кулаки будут выплачивать за них бюджет. Явятся

мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа и бесконечное множество закабаленных им нищих рабов — вот картина! Жидки будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо будет поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная, и — слава Богу, что это только лишь сон! Сон титулярного советника Поприщина, я с ним согласен. Но не сбывься ему! Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, — вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..

И, слава Богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мере, есть признаки; мы уже упоминали об обществах трезвости¹¹⁰. Правда, они едва начинаются; попытки слабые, едва заметные, но — но только бы не помешали им развернуться вследствие каких-нибудь особенных поводов! Напротив — о, если бы их поддержать! Что, если б, со своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестью своего долга народу. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель! Я знаю, что я человек не практический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича¹¹¹, в этом даже лестно признаться), но мне — представьте себе — мне воображается, что даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной лишь своей инициативой, захоти только сделать! В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. На учительское место у нас большею частью приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и благородных, усилий быстро утомляется,

смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом — или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Это случилось и, говорят, случается и теперь. Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом восклицает про себя в умилении: «Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагородны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще так ему будет казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям! Но оставим его в Америке; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль — напомним ее — в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести, и, может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести...

По поводу новой драмы

Эта новая драма — драма г-на Кишенского «Пить до дна — не видать добра»¹¹², которой три последние акта мы решились поместить в этом 25-м номере «Гражданина» разом, несмотря на то что она заняла у нас чуть не половину места. Но нам хотелось не дробить впечатления, и, может быть, читатели согласятся, что драма стоит даже особого их внимания. Она написана для народного театра и написана со знанием дела, с отчетливостью и с несомненным талантом — а это главное, особенно теперь, когда почти не является новых талантов.

Это все типы фабричного быта, «фабричного села» — чрезвычайно разнообразные и твердо очерченные. Сюжет налицо, и мы его подробно излагать не будем. Мысль серьезная

и глубокая. Это вполне трагедия, и *fatum* ее — водка; водка все связала, заполонила, направила и погубила. Правда, автор, как истинный художник, не мог не взглянуть еще шире на мир, им рисуемый, хотя и провозгласил в названии своей драмы, что тема его — «пить до дна — не видать добра». Тут, кроме того, отзывается и все чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение после огромной реформы нынешнего царствования. Прежний мир, прежний порядок — очень худой, но все же порядок — отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось. Все это отозвалось и в картине г-на Кишенского, по крайней мере как мы ее понимаем. Тут все переходное, все шатающееся и — увы — даже и не намекающее на лучшее будущее.

Автор с энергией указывает на образование как на спасение, как на единственный выход; а покамест — все захватила водка, все отравила и направила к худшему, заполонила и поработила народ. Мрачную, ужасную картину этого нового рабства, в которое вдруг впал русский крестьянин, выйдя из прежнего рабства, и рисует г-н Кишенский.

Тут два сорта типов — людей отживающих и новых, молодого поколения.

Молодое поколение знакомо автору. Типы, изблюбленные им, указываемые им как на надежду будущего, составляющие сияние мрачной картины, вышли довольно удачны (что очень странно, ибо «положительные» типы почти совсем не удаются нашим поэтам). По крайней мере, Марья вышла безукоризненна. Иван, жених ее, удался несколько менее, несмотря на всю верность его изображения. Это парень молодой, красивый, смелый, грамотный, довольно видевший и узнавший нового, добрый и честный. Весь недостаток его в том, что автор немного слишком полюбил его, слишком

положительно его выставил. Отнесись он к нему поотрицательнее — и впечатление читателя вышло бы более в пользу излюбленного им героя. Правда, как тонкий художник, автор не миновал и самых невыгодных черт характера своего Ивана. Иван с сильной энергией и с сильными умственными способностями, но молод и заносчив. Он великодушно верует в правду и в правый путь, но правду смешивает с людьми и несправедливо требует от них невозможного. Он, например, знает иные законы, так что писарь «Леванид Игнатьич» побаивается прямо нападать на него, но слишком простодушно верует в свое знание, а потому не вооружен перед злом и не только не понимает опасности, но и не предполагает ее. Все это так натурально и вышло бы прекрасно, потому что так и должно ему быть. Мало того, автор не упустил множества самых симпатических подробностей: Ваня, понимая всю мерзость негодяев (вдобавок еще враждебных ему), как молодой человек, свежий, сильный и которому все так еще любо на свете, недостаточно гнушается ими, с ними водится, с ними *песни поет*. Эта молодая черта привлекает к нему читателя чрезвычайно. Но, повторяем, автор слишком его полюбил и не решается ни разу посмотреть на него свысока. Нам кажется, что мало еще выставить верно все данные свойства лица; надо решительно осветить его собственным художническим взглядом. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом, довольствуясь одною его реальною правдой: правды в впечатлении не выйдет. Немного бы, капельку лишь иронии автора над самоуверенностью и молодою заносчивостью героя — и читателю он стал бы милее. А то думаешь, что автор так и желал изобразить его совершенно правым во всем обрушившемся на него несчастии.

Другие лица молодого поколения — лица, погибшие чуть не с детства, «поколение пожертвованное», — вышли еще вернее «положительных» типов. Их два сорта: невиноватые и виновные. Тут, например, есть одна девочка (Матреша) — создание пожертвованное и несчастное, и, что ужас-

нее всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что таких «несчастных» на Руси у нас сколько хотите, все деревни полны, бездна. Верность этого изображения заставит человека с сердцем и смотрящего в наше будущее сознательно — ужаснуться. Это поколение, поднявшееся уже после реформы. В первом детстве оно застало семью уже разлагающуюся и циническое, поголовное пьянство, а затем попало прямо на фабрику. Бедная девочка! она развратничает, может быть, уже с двенадцатилетнего возраста и — почти не знает сама, что развратна. На рождество она с фабрики приехала на побывку в село и искренно удивляется, как может прежняя товарка ее, деревенская девушка Маша, предпочитать честь нарядам: «Во, Степан Захарыч, и видна необразованность! — говорит она. — Велика беда, што купец аль господин с девкой поиграет». Это говорит она с совершенным убеждением в истине и правоте своей, мало того: жалея Машу и деревенских; когда Маша отталкивает подлеца купчишку, она говорит прямо: «Охота тебе с эвтим народом толковать! сипы! На ее таперича месте другая порадовалась бы! так бы их облистила, приняла б, и себе-то припент принесла и брату угодила!» И наконец, когда эта несчастная подсыпает сонного зелья Маше, сговорясь с купчишкой, чтоб в бесчувствии изнасиловать бедную честную Машу, и потом, когда лезет на печь смотреть, заснула ли жертва, она делает все это злодейство не только без сознания зла, но вполне убежденная, что делает этой Маше, прежней подруге своей, добро, благодеяние, за которое та, спустя, благодарить будет. В пятом акте, в последней ужасной катастрофе — ни отчаяние Маши, отца ее, жениха, ни убийство, готовое совершиться, — ничто не смущает ее; да и сердца совсем у ней нет, — где же было развиться ему? Она пожимает плечами и говорит свое любимое слово: «необразованность!» Автор не забыл этого восклицания, доканчивая последнюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба! человеческое существо обращено в какого-то гнилого червячка и совершенно довольно собой и жалким своим кругозором.

Тут среда, тут *fatum*, эта несчастная не виновата, и вы понимаете это, но вот другой тип — самый полный в драме — тип развратного, испитого, плюгавого фабричного парня, брата Маши, продающего потом сестру купчишке за триста рублей и за бархатную поддевку, — это, о, это уже тип из виновных «пожертвованного» поколения. Тут уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этот не простодушно, как Матреша, уверовал в разврат. Он не простодушно подл, как она, а с любовью, он в подлость привнес своего. Он понимает, что разврат есть разврат, и знает, что такое неразврат; но разврат он полюбил сознательно, а честь презирает. Он уже сознательно отрицает старый порядок семьи и обычая; он глуп и туп, это правда, но в нем какой-то энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого цинического материализма. Это уже не просто червячок, как Матреша, в которой все такое маленькое и иссохшее. Он стоит на деревенской мирской сходке, и вы чувствуете, что он ничего уже в ней не понимает и не может понимать, что он уже не от «мира сего» и с ним разорвал окончательно. Он продает сестру безо всякого угрызения совести и наутро является в отцовскую избу, на сцену отчаяния, в бархатной поддевке и с новой гармонией в руках. Есть пункт, в который он верит как во всемогущество; это — водка. С самой тупой, но верной ухваткой он перед всяким начинанием выставляет водку — горькую мужикам и сладкую бабам, уверенный, что все по его сделается и что водка все может. В нем, к полноте иронии, в изображении его, рядом с полным цинизмом уживается потребность прежних вежливых манер, исконной деревенской «учливости». Прибыв в село и еще не повидавшись с матерью, а засев в кабаке, он вежливо посылает ей из кабака сладкой водки. Когда он и Матреша привлекают мать в кабак, чтоб на свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу на изнасилование, он вежливо выставляет прежде всего сладкой водки и, указывая на место, говорит: «Пыжалте, мамынька-с», и та очень довольна «учливостью». Нашего автора упрекали иные, чи-

тавшие первый акт, за слишком уж *натуральный* мужицкий язык, утверждая, что он мог бы быть более литературным. Этой *натуральностью* языка и мы недовольны; все должно быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя другой раз драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было изменить язык, в иных ее местах по крайней мере, не ослабив ее характерности. Это «пыжалте, мамынька-с» не могло быть изменено: вышло бы не так подло. И заметьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху, свою «мамыньку» сынок уважает столько же, сколько свою подошву.

Вот трагические слова отца этой семьи, пьющего старика, про это «пожертвованное поколение»:

«Захар (*выпивает стакан водки*). Пьяницы! Вы таперь подумайте, други: сидит этта фабришный целую неделю за станом, ноги-то, руки-то занемеют, в голове словно туману напущено! словно шальные все! и виду-то чельчьего-то нет! в хоромине-то духота, стены голые — не глядел бы! солнышко в ино место не заглянет! только и видишь его што по праздникам! Ну, други, придет этта праздник: ты, дед, писание станешь читать, другой в поле хлеб поглядеть пойдет, аль в лес, аль к пчелам, аль с суседами толковать — земство, значит, аль сходка, аль о ценах хлебных — скажи, куда фабришному-то идтить? о чем ему говорить-то? у него все отмеряно, да взвешено! Разве о том, что штрафы пишет незнамо за што, да провизию отпускает гнилую, да за рублевый чай берет два с полтиной, за ворота не пушает, штоб провизию у него брали да штоб разврату боле было! об эвтом разве! ну, значит, одна и дорога в кабак! один разговор-от о водке да распутстве.

Василий. Это точно!

Захар. Вы подумайте, други, ведь тоже отдохнуть хоцца! тоже молодость! соберется хоровод, песни, смех — хожалый разгонит! ну все гурьбой и в кабак да трахтир! И пойдут толки о девках да кто кого перепьет! И глянь-ка, што творится на фабриках-то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищут! шпульники водку хлыщут что воду! на фабрике-то матершинничество, ахальничество — стон стоит, ад кромешный! дети от больших займаются! На пагубу ребят своих мы туда отдаем! Есть ли хоша одна девка без распутства, один парень не пьяница — на фабриках-то?»

* * *

Но самая характерная из всех сцен этой народной драмы — это третий акт, мирская сходка. Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эта сходка — это *все*, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его, — и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулись — пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми.

На этой сходке происходит возмутительная неправда: вопреки обычаю и закону единственного сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников, и, что хуже всего, это делается сознательно, с сознательным неуважением к правде и обычаю, делается за вино, за деньги¹³. Тут даже и не подкуп; подкуп бы еще ничего; подкуп может быть преступлением единичным и исправимым. Нет, тут все почти выходит именно из сознательного неуважения к себе, к своему же суду, стало быть, и к собственному бытовому строю своему. Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку: «С угарцем-то будет лучше судить», — зубоскаля говорят предводители сходки. Половина этих собравшихся граждан давно уже не верит в силу мирского решения, а стало быть, и в необходимость его; почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет, и вы чувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за одну лишь глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого захочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой. Так уж лучше вместо пустой формалистики прямо и

перейти под власть этого мироеда. А он еще вдобавок и водкой будет поить. Вы видите, что у большинства этих самоуправляющихся членов даже и предположение утратилось, что решение их могло бы быть произнесено вопреки воле сильного человека; все «ослабели»; ожирели сердца; всем хочется сладенького, материальной выгоды. Все рабы уже по существу своему и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколение тут присутствует и смотрит на дело отцов не только без уважения, не только с насмешкою, но как на устарелую дичь, именно как на глупую, ненужную форму, которая и держится-то всего лишь упрямством двух-трех глупых стариков, которых вдобавок всегда купить можно. Так стоит и так ведет себя на сходке Степан, тот испитой, плюгавый, пропившийся паренек, который потом продает сестру свою. Все эти эпизоды этой мирской сходки удались автору. И главное, Степан почти прав в том, что не только не понимает ничего в мирской сходке, но что и нужным не считает ее понимать. Не мог же он не видеть, что на сходку уже допущено постороннее влияние купчишки, который положил себе погубить Ваньку и отбить у него девку-невесту. Мир выпил его вино и допустил купчишкина приказчика сказать себе вслух, что без него, без купца-фабриканта, который фабричной работой им хлеб дает, «вся бы волость ваша по папертям церковным нищенствовала, а что если приговорят по его, то за это его степенство, купец, много штрафов народу простит». Дело, разумеется, разрешается в пользу купца, и Ваньку отдают в солдаты.

Тут на сходке (весьма разнообразной лицами и характерами) являются два почти трагические лица; один — Наум Егоров, старик, уже двадцать лет сидящий на первом месте на сходке и заправляющий ею, и Степанида, мать Ивана. Наум Егорыч — старик разумный, твердый, честный, с высокой душой. На мирской приговор он смотрит с высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяев в таком-то селе; нет, чувством он возвысился до понятия самого широкого:

приговор хотя бы только сходки села его для него как бы часть приговора всей крестьянской России, которая лишь миром и его приговором вся держится и стоит. Но, увы, он слишком разумен и не может не видеть наступившего мирского шатания и куда с некоторого времени мир потянул. Не правда, злодейства, конечно, бывали и на прежних сходках, двадцать лет назад; но неуважения к сходке самих членов ее, неуважения к собственному делу не было, по крайней мере, не возводимо было в принцип. Делали подлое, но знали, что делают подлое, а что есть хорошее; теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его. Но все-таки Наум, этот своего рода последний могикан¹¹⁴, продолжает верить в правду мирскую во что бы ни стало, чуть не *насильно*, — и в этом трагизм его. Он формалист; чувствуя, что содержание ускользает, он стоит тем крепче за форму. Видя, что мир пьян, он попросил было отложить сходку, но когда закричали, что с «угарцем лучше судить», он покоряется: «Мир решил, против мира нельзя идти». Он слишком хорошо и со страданием понимает про себя, что в сущности наемный их писаришка Леванид Игнатьич значит все и что купцов приказчик как прикажет сходке решить, так она и решит. Но старик все еще, пока время, хоть насильно да обманывает себя; он прогоняет Леванида с первого места и, как председатель сходки, читает приказчику наставление за невежливые слова его против мира.

За Ваньку подымается несколько правдивых голосов, хвалят его, говорят, что парень хороший, толковый, миру нужный, что такого бы приберечь, и вот вдруг между друзьями раздается голос одной старой, хмельной головы: «Ну, он лучше всех — во его и в рекруты!» Это уже насмешка над правдой сознательная, щегольство неправдой, игра... Сам над собою шутит судья, да еще в таком деле, как судьба человеческая! Наум слышит и, конечно, понимает, что кончается его «мир». Тут стоит мать Ивана. Это баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже осталась она молодой вдовой. Как вдову, ее притесняли, ее мир обижал. Но она выдержала

все, поправила домишко, подняла своего единственного ненаглядного Ваню на радость, на утеху себе и вот — слушает теперь, как мир отнимает у нее последнюю надежду, последнюю радость ее, сына. Наум Егорыч, предчувствуя хмельное, буйное решение мира, говорит поскорей Степаниде: «Эхма, а делать неча! мир сила! Проси, Степанида, проси мир-от!» Но та не хочет просить. Та строптиво укоряет мир в неправде, в подкупе, в пьяном решении, в зависти к ее Ване. «Ты, Степанида, хуже мир-от злобишь!» — тревожно восклицает Наум. «Аль ты думаешь, Наум Егорыч, — отвечает ему Степанида, — кали б я видела, што тут закон да совесть, — тут водка! Кали б я знала, што тут умолить можно, да я колени свои стерла бы о сырую землю, пол-от вымыла б в избе слезьми своими, голову б расшибла б, миру кланяючись! Да тут не упросишь, не умолишь! Разе ты не видишь — тут все подстроено да подлажено! сгубят они, вороны, ясного сокола, заклюют! За водку продаете вы души-то свои — во кому вы молитесь — водке! Кто больше поднес — тот вас и купил. Обидел вишь ты, Ваня, купчину, а иль вы не знаете, што купчина-то пьяный лез порочить невесту Ванюхину! Да вы эвто знаете! Водка-то купчины хороша! страмники вы, кровопивцы, и то в вину поставили, что сироту бесприютного во двор взяла! Да не быть по-вашему! не быть! посредственник Ванюшу знает — в обиду не даст! (*быстро уходит*)».

Эта гордая женщина — одно из очень удавшихся нашему поэту лицо. Как хотите, господа, а это сильное место. Это, конечно, русская деревня, а лицо — простая баба, которая грамотно и говорить не умеет, но, ей-Богу, этот монолог о стертых коленках, «если б тут умолить было можно», стоит многих высоких мест в иных трагедиях в этом роде. Тут нет классических фраз, красивого языка, белого покрывала, черных горящих глаз Рашели¹¹⁵, но, уверяю вас, если б у нас была наша Рашель, вы содрогнулись бы в театре от этой сцены материнского проклятия мирскому суду, от всей этой неприкрашенной правды ее. Сцена кончается многозначительным движением — бегством за правдой к

«посредственнику»¹¹⁶, с жалобой ему на мирской приговор, а это тяжелое пророчество.

Указывать далее на все лучшие сцены этого произведения почти излишне. Но не могу не поделиться впечатлением и прямо скажу: редко что читал я сильнее и трагичнее финала четвертого акта.

Жертва, запроданная матерью и братом купцу, уже опоена зельем и заснула в бесчувствии на печи. Матреша, эта невинная преступница, лезет на печь поглядеть и почти с радостью, почти убежденная, что теперь осчастливила Машу, возвещает купчишке: «Готова! не пошевельнется, хоть на куски изрежь!» Писаришка Леванид, товарищ купчишки, встает и уходит: «Жизнь вам, купцам-то!» — говорит он завистливо. И вот купчишка, перед тем как лезть к своей жертве, приходит в какой-то поэтический пафос: «Потому мы теперь сила! — восклицает он плотоядно-пророчески. — Што хотим, то и можем сделать! Если теперь купец чево вздумал — то и сделал — потому сила!» «Сила — чаго и толковать!» — поддакивает брат жертвы. Затем лишние выходят из избы, негодяй лезет к Маше, а пьяная мать, продавшая свою невинную дочь, невесту несчастного Вани, в пьяном бесчувствии тут же валится на пол и засыпает в ногах пьяного без просыпу отца этого счастливого семейства... «Пить до дна — не видать добра!»

Не указываю на все эти поражающие своею дальнейшей правдой черты ужасной картины, — на этих преступников, почти не понимающих своего преступления; на понимающих, но уже не имеющих права проклясть его, как пьяный отец семьи, например, которому дочь трагически бросает в глаза обвинение и дочернее свое проклятие... Есть черты, чрезвычайно тонко замеченные: эта очнувшаяся Маша, в первые минуты хотевшая убить себя, надевает, однако, оставленный ей у матери купчишкой шелковый сарафан, но надевает из злорадства, *для мучения*, для того чтоб истерзать себя еще больше: вот, дескать, сама теперь потаскухой стала! Вот разговор «невинной» матери и «невинной» Матрешы на другой день после беды:

«Матрешка (*входит*). Здорово, тетка Арина! Што у вас тут детсяя? Вчера-то я, признаться, и побоялась прийти-то к вам!

Арина. И-и-и, девынька, што страхов-от натерпелись! страсти! Как поутру-то узнала девка, схватила нож да нас-то маненько не перерезала, а потом себя! Уж насили, насили мы с ней сладили! Степку теперь на глаза не пускает!

Матрешка. Сказывал он мне!

Арина. Ну, к вечеру-то, знашь, отпустило ее, — стала она теперь словно камень! Бог, говорит, меня, говорит, наказал за Матрешку, таперь — говорит — сама така ж! Ноне, девынька, дала я ей сарахванот, што Силантий Савельич у тебя ей-то купил, она надела, — Матрешкой, говорит, стала, ее и сарафан надеть! во што!

Матрешка. Где ж она теперь?

Арина. И-и-и, девынька, уйдет в сарай, *зароется в солому да ничком и лежит!*

Матрешка. Как бы рук на себя не наложила стгоряча-то!»

Но жертва не наложила на себя рук: «страшно стало» потом-то, говорит она сама. Наш поэт богат психологическим знанием народа. Вот и Ваня, являющийся внезапно от посредника, к которому на сутки отлучился. Поэт не пощадил своего героя для реальной правды: Иван в первое мгновение, в бестиальной ярости, обвиняет одну Машу, он несправедлив и отвратителен, но, поняв, наконец, как было дело, он как бы невольно предложил было Маше идти за него и *так*. Но автору слишком хорошо известно, что в нашем народном быту это почти немислимо, если только дело носит честный характер. Обесчещенная девушка, хоть и обманом, хоть и без вины, считается все-таки уже нечистою, если не совсем бесчестною. Да и сама Маша горда: «Не марайся об меня, Ваня! — кричит она. — Уйди!» «Прощай, Ваня!» — и затем, в последнем монологе, быстро подходит к столу, наливает стакан водки, обводит всех горячим взглядом и с отчаянным, злорадным вывертом кричит: «Ну, што же приуныли? Радуйтесь, ваше дело! Матушка! батюшка! пить давайте, гулять! Не один ты, батюшка, будешь по кабакам-то шляться! с дочкой! Скучно, матушка,

пить одной-то было, вдвоем теперь, с дочкой! Заливай вино!
потопи ты мое горе, мою совесть!»

И подносит стакан к губам. Тем кончается драма.

* * *

Не говорю, что тут совсем нет ошибок; но в этом произведении так много истинных достоинств, что ошибки эти почти ничтожны. Например, тон Маши в монологе четвертого акта, который заканчивает она прелестным, высоким душевным движением: «Теперь легко таково стало!» — этот тон немного уж слишком певуч. Правда, это почти не монолог, а дума, чувство, — те самые думы и чувства, под влиянием которых у русских людей с сердцем и поэзией сложились и все песни русского народа. Поэтому и дума Маши, по существу в высшей степени верная и натуральная, могла выйти по форме своей несколько как бы лиричною. Но у искусства есть пределы и правила, и монолог мог бы быть покороче. Может быть, не совсем верен и тон Маши в конце драмы, уже после катастрофы: лучше было бы, если б она говорила капельку менее. Ужасные слова ее отцу гораздо бы сильнее выдались, если б тоже были покороче и не так певучи. Но все это поправимо, автор очень может исправить это во втором издании, и, повторяем, сравнительно с бесспорными достоинствами его произведения все это почти мелочи. Хорошо еще, если б автор выбросил из своей драмы совсем появление в конце ее (и вовсе ненужное) добродетельного старика фабриканта, толкующего чуть ли не о наших «долгах народу». Появление его тем более нелепо, что это тот самый фабрикант, который закабалил весь окрестный люд, замучил произвольными штрафами и кормит работников гнилою пищею. Наконец, сам хозяин дома, Захар, вышел несколько неясен. В собственном объяснении его, отчего он запил, есть как бы какая-то фальшь, что-то необъясненное и натянутое; меж тем дело могло быть выставлено гораздо проще и натуральнее.

Впрочем, это только мое мнение, и я могу ошибиться, но уверен, что не ошибаюсь в твердых достоинствах этого

серьезного произведения. Мне слишком приятно было поделиться моим впечатлением с читателями. Серьезнее ничего, по крайней мере, не появилось в нашей литературе за последнее и, может быть, довольно длинное время...

Маленькие картинки

1

Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъехались. На днях принялся было за перечитывание накопившихся в редакции рукописей... Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха, воли, свободы; но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и известкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным — право, ощущение как будто похожее. Известно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватого в нем перед вами, и тем досаднее, если подыскать решительно некого...

На днях переходил Невский проспект с солнечной стороны на теньевую. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят, — лавируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, прежде чем пуститься в опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось от несущихся один за другим, в два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня перед Рождеством, например, переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если белый морозный туман с рассвета опустится на город, так что в трех шагах едва различаешь прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и извозчиков, несущихся в сторону Полицейского моста¹⁷, и радуешься, что уже не боишься их; топот и грохот и сиплые окрики кучеров остались за вами, но, однако, и некогда радоваться: вы только достигли середины опасного перехода, а дальше — риск и полная неизвестность. Вы быстро и тре-

можно осматриваетесь и наскоро придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже в сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что и думать уж некогда, и к тому же этот адский туман: слышны лишь топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту. «Куда деваться? Вперед или назад? Успею или нет?» И — благо вам, что остались: из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда — пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный окрик кучера, и — все мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и рубка, и крики — все исчезло опять, как видение. Подлинно петербургское видение! Вы креститесь и, уже почти презирая второй ряд экипажей, так пугавший вас за минуту, быстро достигаете желанного тротуара, еще весь дрожа от перенесенного впечатления и — странно — ощущая в то же время неизвестно почему и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствие ретроградное, я не спорю, и к тому же в наш век бесполезное, тем более что надо бы было, напротив, протестовать, а не ощущать удовольствие, ибо рысак в высшей степени не либерален, напоминает гусара или кутящего купчика, а стало быть, неравенство, нахальство, la tygannie* и т.д. Знаю и не спорю, но теперь я хочу лишь докончить. Итак, на днях с привычною зимнею осторожностью стал было я переходить через Невский проспект и вдруг, очнувшись от задумчивости, в удивлении остановился на самой середине перехода: никого-то нет, ни одного экипажа, хоть бы какие-нибудь дребезжащие извозчичьи дрожки!

* Деспотизм (франц.).

Место пусто сажен на пятьдесят в обе стороны, хоть остановитесь рассуждать с приятелем о русской литературе — до того безопасно! Даже обидно. Когда это бывало?

Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Все больше отделяют фасады со старого на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мне эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, — именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд словно куча дров возле мраморного палатца. Что же касается до палатцов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он; в архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идей, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церковей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения и отысканный будто бы архитектором Тоном в прошлое царствование тип древнего византийского стиля¹¹⁸. Вот затем несколько зданий — больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия, — это стиль времени Наполеона Первого — огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность¹¹⁹. Вот потом дома, или почти дворцы,

иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи¹²⁰. Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свою целые поколения древних фамилий, одно за другим, в течение столетий. У нас же поставили наши палаццо всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян... Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццох прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы — это уже деловитость, американизм, сотни номеров, огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми. А теперь, теперь... право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительною архитектурою фасадов: тут и Растрелли¹²¹, тут и позднейшее рококо¹²², дожевские балконы¹²³ и окна, непременно оль-де-бефы и непременно пять этажей¹²⁴, и все это в одном и том же фасаде. «Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать; окно окном, а этажи чтобы этажами; не могу же я из-за игрушек всего нашего капитала решиться». Впрочем, я не петербургский фельетонист и не об том совсем заговорил. Начал об редакционных рукописях, а свел на чужое дело.

Пыль и жар. Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто несколько садов и увеселительных заведений, где можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем подышать, но я нигде еще не был. В Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созерцаешь, один-одинешенек — это лучше, чем свежий воздух увеселительных петербургских садов. К тому же и в городе открылось вдруг множество садов, там, где их вовсе не подозревали. Почти на каждой улице встретите теперь, при входе в какие-нибудь ворота, иногда заваленные известкой и кирпичом, надпись «Вход в сад трактира». Там, на дворе, где-нибудь перед старым флигельком был лет сорок назад отгорожен какой-нибудь палисадник, шагов десяти длиною и пяти шириною; ну вот это-то и есть теперь «сад трактира». Скажите, отчего в Петербурге гораздо грустнее по воскресениям, чем в будни? От водки? От пьянства? Оттого что пьяные мужики валяются и спят на Невском проспекте среди белого... вечера, как я сам это видел? Не думаю. Гуляки из рабочего люда мне не мешают, и я к ним, оставшись теперь в Петербурге, совсем привык, хотя прежде терпеть не мог, даже до ненависти. Они ходят по праздникам пьяные, иногда толпами, давят и натываются на людей — не от буянства, а так, потому что пьяному нельзя не наткаться и не давить; сквернословят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, — не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно это язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было — *il faudrait l'inventer**. Я вовсе не шутя говорю. Рассудите. Известно, что во хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во

* Его следовало бы выдумать (*франц.*).

рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятерятся. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого. Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить о чем-то, о чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать! И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге приподымая руку, кричит... Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существитель-

ное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это не «показалось», и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом... да все то же самое запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерешь!» Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем. «Помилуйте! — закричал я им вдруг, ни с того ни с сего (я был в самой середине толпы). — Всего только десять шагов прошли, а шесть раз (имя рек) повторили! Ведь это срамеж! Ну, не стыдно ли вам?»

Все вдруг на меня уставились, как смотрят на нечто совсем неожиданное, и на миг замолчали; я думал, выругают, но не выругали, а только молоденький паренек, пройдя уже шагов десять, вдруг повернулся ко мне и на ходу закричал:

— А ты что же сам-то семей раз *его* поминаешь, коли на нас шесть разов насчитал?

Раздался взрыв хохота, и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне.

3

Нет, я не про этих гуляк говорю, и не от них мне так особенно грустно по воскресениям. Я недавно с большим удивлением открыл, что есть в Петербурге мужики, мещане и мастеровые совершенно трезвые, совсем ничего не «употребляющие» даже и по воскресениям; и не это собственно меня удивило, а то, что их несравненно, кажется, больше, чем я предполагал до сих пор. Ну вот на этих-то мне смотреть еще грустнее, чем на пьяных гуляк, и не то чтоб от сострадания к ним; вовсе нет и причины им сострадать; а так приходит в голову все какая-то странная мысль... По воскресениям к ве-

черу (по будням их совсем не видать) очень много этого всю неделю занятого работою, но совершенно трезвого люда выходит на улицы. Выходит именно погулять. Я заметил, что на Невский они никогда не заходят, а так все больше прохаживаются около своих же домов или идут «прохладно», возвращаясь с семействами откудова-нибудь из гостей. (Семейных мастеровых тоже, кажется, очень в Петербурге много.) Идут они степенно и с ужасно серьезными лицами, точно и не на прогулке, очень мало разговаривая друг с другом, особенно мужья с женами, почти совсем молча, но всегда разодетые по-праздничному. Наряды плохи и стары, на женщинах пестры, но все вычищено и вымыто к празднику, нарочно, может быть, к этому часу. Есть которые и в русских платьях, но много и в немецких и бреющих бороду. Досаднее всего, что они, кажется, действительно и серьезно воображают, что, этак прохаживаясь, доставляют себе несомненное воскресное удовольствие. Ну какое бы, кажется, удовольствие на этой широкой, оголенной, пыльной улице, пыльной еще после заката солнца? То-то и есть, что им и это кажется раем; всякому, значит, свое.

Очень часто они с детьми; детей тоже очень много в Петербурге, а еще говорят, что они в нем ужасно как мрут. Все эти дети, как я заметил, большею частью всегда почти маленькие, первого возраста, едва ходят или совсем еще не умеют ходить; не потому ли и так мало детей постарше, что не доживают и умирают? Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребенком, с мальчиком, — одинокие оба, и вид у них у обоих такой одинокий. Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному: немецкий сюртук, истертый по швам, потертые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука; панталоны «случайные», из третьих рук с толкучего рынка, но все вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстух, шляпа цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти злое. Ребенка

он держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Это мальчик лет двух с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик, в сапожках с красной оторочкой и с павлиньим перышком на шляпе. Он устал; отец ему что-то сказал, может быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли еще шагов пять, и отец нагнулся, бережно поднял ребенка, взял на руки и понес. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему, обхватил его шею правой ручкой и с детским удивлением стал пристально смотреть на меня: чего, дескать, я иду за ними и так смотрю? Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и еще крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие.

Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует. Про мастерового с мальчиком мне пришлось тогда в голову, что у него, всего только с месяц тому, умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сироткой-мальчиком (отец всю неделю работает в мастерской) пока присматривает какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку, а может быть, всего только угол. Теперь же, в воскресенье, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы, к которой не очень-то часто ходили прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-офицером с нашивкой и живет непременно в каком-нибудь огромнейшем казенном доме, и тоже в подвальном этаже, но особнячком. Та, может быть, повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверно, тоже не очень вздыхал во время визита, но все время был угрюм, говорил редко и мало, непременно свернул на какой-нибудь деловой специальный пункт, но и о нем скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпили вприкуску чайку. Мальчик все время сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец задремал. И тетка и

муж ее мало обращали на него внимания, но молочка с хлебцем наконец-таки дали, причем хозяин унтер-офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь сострил про ребенка в виде ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без крику и с серьезным видом вынес его на минутку из комнаты... Простились так же угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий. Отец сгреб на руки мальчика и понес домой, с Выборгской на Литейную. Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке. И вот ходишь-ходишь и все этикие пустые картинки и придумываешь для своего развлечения. Никакого в этом нет толку, и «ничего поучительного нельзя извлечь». Оттого и берет хандра по воскресениям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах. Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!

Правда, и в будни выносят детей во множестве, но по воскресениям к вечеру их является на улицах чуть не вдесятеро более. Какие все испитые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у них угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а те, которые уже ходят, — все с кривыми ножками и все на ходу сильно колыхаются из стороны в сторону. Почти все, впрочем, тщательно приодеты. Но, Боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся весною на дереве: ему надо свету, воздуху, воли, свежей пищи, и вот вместо всего этого душный подвал с каким-нибудь квасным или капустным запахом, страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе — пыль, кирпич и известка.

Но они любят своих бледных и худосочных детей. Вот маленькая трехлетняя девочка, хорошенькая и в свежем платьице, спешит к матери, которая сидит у ворот в большом об-

ществе, сошедшемся со всего дома часок-другой поболтать. Мать болтает, но глазом наблюдает ребенка, играющего от нее в десяти шагах. Девочка нагнулась что-то поднять, какой-то камушек, и неосторожно наступила на свой подол ножками и вот никак распрямиться не может, раза два попробовала, упала и заплакала. Мать приподнялась было к ней на помощь, но я поднял девочку раньше. Она выпрямилась, быстро и любопытно на меня посмотрела, еще со слезинками на глазах, и вдруг бросилась, немного в испуге и в детском смущении, к матери. Я подошел и учтиво осведомился, сколько девочке лет; мать приветливо, но очень сдержанно мне ответила. Я сказал, что и у меня такая же девочка¹²⁵; на это уже не последовало ответа: «Может, ты и хороший человек, — молча глядела на меня мать, — да только что ж тебе тут стоять, проходил бы мимо». Вся разговорившаяся публика тоже затихла и тоже как будто это же самое думала. Я притронулся к шляпе и прошел мимо.

Вот другая девочка на бойком перекрестке отстала от матери, которая до сих пор ее вела за руку. Правда, бабенка вдруг увидела шагах в пятнадцати от себя товарку, пришедшую ее навестить, и, надеясь, что ребенок знает дорогу, бросила его ручку и пустилась бегом встречать гостью, но ребенок, оставшийся вдруг один, испугался и закричал, в слезах догоняя мать.

Седой и совсем незнакомый прохожий мещанин с бородой вдруг останавливает на дороге незнакомую ему бегущую женщину и схватывает ее за руку:

— Чего разбежалась! Вишь, ребенок сзади кричит; так нельзя; испужаться может.

Бабенка хотела что-то бойко ему возразить, но не возразила, одумалась; безо всякой досады и нетерпения взяла на руки добежавшую к ней девочку и уже чинно пошла к своей гостье. Мещанин строго выждал до конца и направился своей дорожкой.

Пустые, самые пустые картинки, которые даже совестно вносить в дневник. Впредь постараюсь быть гораздо серьезнее.

Учителю

За прошлые мои три маленькие картинки («Гражданин», № 29) московский фельетонист обругал меня в нашем петербургском «Голосе» (№ 210), кажется из целомудрия, за то, что я в картинке № 2, заговорив о сквернословном языке нашего хмельного народа, упомянул, уж конечно не называя прямо, об одном неприличном предмете... «Мне и в голову не могло прийти, до чего может дописаться фельетонист, когда у него нет под рукой подходящего матерьяла», — говорит обо мне московский мой обличитель. Итак, выходит, что я прибегнул к неприличному предмету единственно для оживления моего фельетона, для сока, для кайенского перца...¹²⁶

Вот это мне грустно; а я-то даже думал, что заключат из моего фельетона именно противоположное, то есть что из огромного материала я вывел мало. Я думал, что название спасет меня: маленькие картинки, а не большие, с маленьких не так спросят. Я и набросал лишь несколько грустных мыслей о праздничном времяпрепровождении чернорабочего петербургского люда. Скучность их радостей, забав, скучность их духовной жизни, подвалы, где возрастают их бледные, золотушные дети, скучная, вытянутая в струнку широкая петербургская улица как место их прогулки, этот молодой мастеровой-вдовец с ребенком на руках (картинка истинная) — все это мне показалось матерьялом для фельетона достаточным, так что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно в обратном смысле, то есть что я мало из такого богатого матерьяла сделал. Меня утешало, что я хоть намекнул на мой главный вывод, то есть что в огромном большинстве народа нашего, даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скучной духовной обстановке, есть все-таки стремление к достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуважению; сохраняется *любовь к семье, к детям*. Меня особенно поразило, что они так действительно и

даже с нежностью любят своих болезненных детей; я именно обрадовался мысли, что беспорядки и бесчинства в семейном быту народа, даже среди такой обстановки, как в Петербурге, все же пока исключения, хотя, быть может, и многочисленные, и думал поделиться этим свежим впечатлением с читателями. Я как раз прочел перед тем в одном фельетоне¹²⁷ преоткровенное признание одного, уж конечно, умного человека по поводу вышедшей одной официального характера книги — именно что заниматься вопросом о том: полезна или не полезна была народу реформа? — есть в сущности вопрос праздный; что если б даже и не полезна она оказалась народу, то все равно, проваливайся все, а реформа должна была совершиться (и в этом, пожалуй, много правды, на основании *regere mundus*,* несмотря на постановку вопроса). И наконец, что касается собственно до народа, до мужиков, то — признался фельетонист весьма явственно — «это ведь и правда, что собственно народ наш не стоил реформы» «и что если мы до реформы в литературе и публицистике венчали лаврами и розами с г-дами Марко Вовч-ком и Григоровичем¹²⁸ мужиков, то ведь мы очень хорошо знаем, что венчали только вшивые головы... Но нужно было это тогда для подживления дела» и т.д. и т.д. Вот сущность мысли (изложение мое не буквальное), выраженной в фельетоне с такою откровенностью и уже без малейшей прежней церемонии. Признаюсь, эта слишком уже откровенная мысль, эта обнаженность ее, почти впервые обнаружившаяся с таким удовольствием, привела меня тогда в прелюбопытное настроение духа, и помню, я тогда заключил, что мы, ну например в «Гражданине», хоть и разделяем первую часть этой мысли, то есть реформа, даже несмотря ни на какие последствия, но все же не разделим ни за что второй части этой роковой мысли и твердо уверены, что вшивые головы все-таки были достойны реформы и даже совсем не ниже ее. Я думаю, подобное убеждение может составлять именно одну из характерных сторон собственно нашего направления; вот почему я об этом теперь и упоминаю.

* Во что бы то ни стало (буквально: да погибнет мир) (*лат.*).

Что же касается до моего фельетона... А кстати, московский фельетонист, мой собрат по перу, неизвестно почему, думает, что я стыжусь названия фельетониста, и уверяет на французском языке, что я «plus feuilletoniste que Jules Janin, plus catholique que le pape»*. Этот французский язык из Москвы, конечно, тут для того, чтоб подумали, что автор хорошего тона, но все-таки не понимаю, к чему тут приписываемое мне исповедание католической религии и к чему понадобился тут бедный папа? А что до меня, то я лишь выразился, что я не «петербургский» фельетонист, и хотел лишь этим сказать на всякий случай для будущего, что в моем «Дневнике» не об одной собственно петербургской жизни пишу и намерен писать, а стало быть, и спрашивать с меня слишком подробных отчетов о петербургской жизни, когда я заговорю о ней по необходимости, нечего. Если же московскому моему учителю непременно хочется назвать мой «Дневник» фельетоном, то пусть; я этим очень доволен.

Московский учитель мой уверяет, что фельетон мой произвел фурор в Москве — «в рядах и в Зарядье», и называет его гостинодворским фельетоном. Очень рад, что доставил такое удовольствие читателям из этих мест нашей древней столицы. Но яд в том, что будто я нарочно и бил на эффект; за неимением читателей высших искал читателей в Зарядье и с этою целью и заговорил «о нем», а стало быть, я — «самый находчивый из всех фельетонистов»...

«То-ись ума не приберу (пишет учитель, рассказывая об эффекте моего фельетона в Москве), — ума не приберу, что это за диковинка такая, какой спрос на этого «Гражданина» вышел», — удивлялся один из газетных разносчиков на мой вопрос о спросе на «Гражданин». Когда я объяснил ему в чем дело, разносчик побегал к Мекленбургу и Живареву — нашим оптовым торговцам газетами, чтобы взять оставшиеся номера; но их и там расхватили: «Все-то из рядов да из Зарядья спрашивают...» Дело в том, что до Гостиного двора дошло сведение, что в «Гражданине» написана целая статья

* «В большей мере фельетонист, чем Жюль Жанен, в большей мере католик, чем папа» (франц.)¹²⁹.

о нем, и вот гостинодворцы, вместо того чтоб покупать «Развлечение», кинулись на «Гражданина»».

Да ведь это вовсе недурно, послушайте, это известие, и напрасно Вы стыдите меня гостинодворскими читателями. Напротив, очень бы желал приобрести их расположение, ибо вовсе не так худо о них думаю, как Вы о них думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для смеху и из того, что скандал вышел. На скандал всякий человек набрасывается, это уже свойство всякого человека, преимущественно в России (Вы, например, вот набросились же); так что гостинодворцев за это, я думаю, нельзя презирать слишком-то специально. Что же до забавы, до смеху — то есть разные забавы и разный смех, даже в самых соблазнительных случаях. Учитель мой, впрочем, оговаривается; он прибавляет: «Я уверен, что пером автора «картинки о нем» руководили самые добрые намерения, когда он писал этот гостинодворский фельетон», то есть учитель делает мне честь, допуская, что я не имел непосредственно и главную целью, упоминая о нем, развратить народ. Благодарим хоть за это; так как автор пишет в «Голосе», то великодушная оговорка эта, пожалуй, и не лишняя, ибо знаю по опыту, что Андрею Александровичу¹³⁰ ничего не стоит обвинить меня в чем угодно, даже в развратительных целях против народа и общества русского. (Обвинял же меня в крепостничестве.) Андрей Александрович сказался тоже под Вашим пером и в удивительной обратной догадке: «...и если подобные «картинки» Ваши ничего не сделают для исправления гуляк из рабочего люда...» — говорите Вы. Такая догадка как раз из головы Андрея Александровича! Ведь придет же в голову, что я писал, имея непосредственно и ближайшею целью исправить (от сквернословия) наш ругающийся рабочий народ! Да ведь они не только про нас с Вами, но даже и про Андрея-то Александровича никогда не слыхивали — эти из рабочего-то люда, которых я описывал в моем фельетоне!

Нет, я писал с другим направлением — о сем «существительном», «при дамах к произнесению неудобном», «а

между пьяными наиболее употребительном», — и настаиваю, что имел довольно серьезную и извинительную цель, и это вам докажу. Мысль моя была доказать целомудренность народа русского, указать, что народ наш в пьяном виде (ибо в трезвом сквернословят несравненно реже) если и сквернословит, то делает это не из любви к скверному слову, не из удовольствия сквернословить, а просто по гадкой привычке, перешедшей чуть не в необходимость, так что даже самые далекие от сквернословия мысли и ощущения выражает в сквернословных же словах. Я указывал дальше, что главную причину этой сквернословной привычки искать надо в пьянстве. Про догадку мою о потребности в пьяном виде, когда туго ворочается язык и между тем сильное желание говорить, прибегать к словам кратким, условным и выразительным, — про эту догадку мою можете думать что угодно; но что народ наш целомудрен, даже и сквернословя, — на это стоило указать. Я даже имею дерзость утверждать, что эстетически и умственно развитые слои нашего общества несравненно развратнее в этом смысле нашего грубого и столь неразвитого простого народа. В мужских обществах, даже самого высшего круга, случается иногда после ужина, иной раз даже между седыми и звездноносными старичками, когда уже переговоят обо всех важных и даже иногда государственных материях, — перейти мало-помалу на эстетически-каскадные темы. Эти каскадные темы быстро в свою очередь переходят в такой разврат, в такое сквернословие, в такое скверномыслие, что никогда воображению народному даже и не представить себе ничего подобного. Это случается ужасно часто между всеми оттенками этого столь возвышенного над народом круга людей. Мужья, известные самыми идеальными добродетелями, даже богомольцы, даже самые романтические поэты с жадностью участвуют в сих разговорах. Тут всего важнее именно то, что иные из сих мужей почтенны бесспорно и делают много и хороших поступков. Нравится им именно пакость и утонченность пакости, не столько скверное слово, сколько идея,

в нем заключающаяся; нравится низость падения, нравится именно вонь, словно лимбургский сыр¹³¹ (неизвестный народу) утонченному гастроному; тут именно потребность размазать и понюхать и упиться запахом. Они смеются, они об этой пакости, конечно, говорят свысока, но видно, что она им нравится и что без нее они уже обойтись не могут, хоть на словах. Совсем иной смех у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я уверен, что у вас в Зарядье смеялись не для пакости, не из любви к *нему* и к *искусству*, а смехом в высшей степени простодушным, не развратным, здоровым, хотя и грубоватым, — совсем не таким, каким смеются иные размазыватели в нашем обществе или в нашей литературе. Народ сквернословит зря, и часто не о том совсем говоря. Народ наш не развратен, а *очень даже целомудрен*, несмотря на то, что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире, — и об этой противоположности, право, стоит хоть немножко подумать.

Московский учитель мой оканчивает обо мне в своем фельетоне с чрезмерною, почти сатанинскою гордостью.

«Я воспользуюсь примером почтенного коллеги (то есть моим), — говорит он, — когда мне случится писать фельетон, а матерьяла никакого не будет, и постараюсь тогда заняться тоже «картинками» (какое презренье!), — но в данный момент мне нет надобности пользоваться преподанным мне примером (то есть у умного человека и без *него*) всегда много мыслей), потому что хоть у нас в Москве тоже «жар и пыль», «пыль и жар» (начальные слова моего фельетона — для того чтоб еще раз устыдить меня) — но из этой пыли (а-а! вот тут-то теперь и пойдет, вот он покажет нам сейчас, что может умная московская фельетонная голова вывести даже из «этой пыли» — сравнительно с петербургскими), но из этой пыли и из-под этого жара (это что же такое «из-под жара»?) можно при известной внимательности усмотреть (слушайте! слушайте!), что жизненный пульс нашей белокаменной, значительно слабеющий летом, начинает, так сказать, оживляться, с тем чтобы, оживляясь все более и более, достигнуть в зимние месяцы той интенсивности, дальше которой уже не может идти пульс московской жизни».

Вот так мысль! Вон оно как у нас в Москве-то! А мне-то, мне-то какой урок! А знаете что, учитель? Мне-то вот и кажется, что Вы нарочно подхватили у меня *о нем*, именно чтоб сделать и Ваш фельетон занимательнее (а то что интенсивность-то!), может быть, даже позавидовали моему успеху в Зарядье? Это очень и очень может быть. Не стали бы Вы так копаться и размазывать и столько раз поминать об этом; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали...

«...все же мы доросли до того по крайней мере, чтоб разнюхать, когда нам подносят что-нибудь уже очень бьющее в нос, и умеем ценить это помимо намерений автора...»

Ну так чем же пахнет?¹³²

Нечто о вранье

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже,

так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно — не случилось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. ну а охотничьи собаки, или о том, как Вам в Париже вставляли зубы, или о том, как Вас вылечил здесь Боткин?¹³³ Не рассказывали ли Вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, Вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли Вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли Вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидях и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли Вы анекдота, будто бы с Вами случившегося, тому же самому лицу, которое Вам же его про себя и рассказывало? Неужели Вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде Вашего слушателя, упорно на Вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего Вашего юмора, Вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать Вашу повесть

и, кончив поскорее с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда Вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбежавшему по ней Вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях Ваших мучительнее всего из всего этого с Вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит: *нет, то есть* что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал о жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего подобного с ним никогда не случилось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно, так что просто можно было совсем не заметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не поверить.

«Э, вздор! — скажут мне опять. — Лганье, невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если Вас слушали, когда Вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступает в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных Вами верст или в чудесах, сделанных с Вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что

уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего, боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сто лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и ко-

мическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреоборимое; но, в сознании, русские — хотя бы и самые полные самоотрицатели из них — все-таки с ничтожностью своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, — рассуждает русский, — стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под непререваемым, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя — и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

* * *

«Невинности, старина, говорено уже тысячу раз», — скажут опять. Пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. (Другое дело у себя дома и сам про себя.) Пункт этот — ум, желанье показаться

умнее, чем есть, и — замечательно это — отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь *не глупее никого*. «Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей никого». Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе все еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился перед гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, перед которым сам сейчас преклонился, будь он разьевропейский. «Ну Гете¹³⁴, ну Либих, ну Бисмарк, ну положим... А все-таки и я тоже», — представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то непрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства — то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его, — русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может прийти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим «парадоксом». Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса и, уж конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит — но все-таки его будет дергать, даже при Либихе... Другое дело, если б, например,

он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но — кто знает — в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка — почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, *лишь только она почувствует себя в публике*, сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения...

Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит... Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров не знакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством» — впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил; тон его взят был слишком высоко и не позволял ему горячиться, из одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь три-

надцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», и проч. и проч. — в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя.

Теперь у нас в публике (в вагонах ли, в другом ли месте) разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей — на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят — в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смиренно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить; тогда и Вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами Вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провести: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном

стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабее, чем могла бы представить Вам самая яркая Ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более разливающееся из фельетонов образования) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, — об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждой слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова: он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и всякая другая, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все», — порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный

успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили, расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и с милым хихиканьем объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее «один только пар». Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе.

Вот это-то уважение к себе и сбивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, — конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, о чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику — а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?»

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, не смотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они хоть вскользь, а побывали в его голове. Но *ему не было стыдно, ему не было совестно!* Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека — решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к

себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, — эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и со своим собственным, твердо установленным мнением. Дома, про себя, — «Э, черт ли во мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как Вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что перед этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как Вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего

только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как Вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано — вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее*, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб *казаться*. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?

Одна из современных фальшей

Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела¹³⁵; но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории у меня нет; что взято явление и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая. Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. До известного Нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?

И вот недавно — впрочем, уже с месяц назад — прочел я в «Русском мире» следующие любопытные строки:

«...нам кажется, что нечаевское дело могло убедить, что *учащаяся* молодежь в подобных безумствах не бывает у нас замешана. Идиотический фанатик, вроде Нечаева, мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи».

И далее:

«...тем более что еще на днях министр народного просвещения (в Киеве) заявил, что после осмотра учебных заведений в 7 округах он может сказать, что *«в последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает»*¹³⁶.

Сами по себе, то есть судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (автор, надеюсь, извинит меня). Но в них есть выверт и старая приевшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что Нечаевы если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики, а если им и удастся найти себе прозелитов, то непременно «только среди праздной, недоразвитой и *вовсе* не учащейся молодежи». Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом собственно автор статейки «Русского мира»: хотел ли он польстить учащейся молодежи? Или, напротив, хитрым маневром и, так сказать, в виде ласкательства думал ее же поднадуть немного, но только с самыми почтенными целями, — то есть для ее же пользы, — и для достижения цели употребил столь известный прием гувернанток и нянюшек с маленькими ребятками: вот, дескать, милые дети, видите, какие *те* нехорошие буяны, кричат и дерутся, и их непременно высекут за то, что они такие «недоразвитки»; вы же вот такие милые хваленые паиньки, за столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам за это непременно гостинцу дадут. Или, наконец, просто-запросто автору захотелось «защитить» нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для

сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким?

Прямо скажу: хотя я поставил все эти вопросы, но личные цели автора статейки «Русского мира» не возбуждают во мне ни малейшего любопытства. И даже, чтоб оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый приевшийся выверт выраженной «Русским миром» мысли я склонен считать в настоящем случае чем-то неумышленным и нечаянным, то есть что сам автор статейки совершенно поверил словам своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей беззащитности во всяком другом случае. Но кроме того, что ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид (несмотря даже на то, что является в «Русском мире»), — кроме того, бросается в глаза и то, что никогда еще не являлась она в столь обнаженном, точном и безыскусственном виде, как в этой статейке. Подлинно, заставь иного человека молиться Богу, и он лоб расшибет. Вот в этом-то виде и любопытно проследить эту ложь и вывести ее на свет по возможности, ибо когда-то еще дождешься в другой раз такой безыскусственной откровенности!

Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен в нашей газетной прессе принято за правило «защищать молодежь», — против кого? против чего? — это иногда остается во мраке неизвестности и таким образом часто принимает пребестолковый и даже прекомический вид, особенно при нападениях на другие органы печати в том смысле, что «вот, дескать, мы либеральные, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, вы ретрограднее». Замечу в скобках, что в той же статейке «Русского мира» есть обвинение, прямо направленное на «Гражданина», в том, что в нем будто бы сплошь обвиняют нашу учащуюся молодежь в Петербурге, Москве и в Харькове. Не говоря уже о том, что автор статейки сам *отлично хорошо знает*, что ничего подобного этому поголовному и сплошному обвинению у нас нет и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значит обвинять молодежь поголовно? я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значит сплошь

почему-то не любить всю молодежь, — и не столько даже молодежь, сколько известный возраст наших молодых людей! Что за сумбур? Кто может поверить такому обвинению? Ясно, что и обвинение и защита сделаны сплеча, даже не думавши много. Стоит, дескать, об этом задумываться: показал, что сам либерален, что хвалю молодежь, что ругаю тех, которые ее не хвалят, ну и довольно для подписки, и с плеч долой! Именно с плеч долой — ибо только самый злейший враг нашей молодежи мог бы решиться защищать ее *таким образом* и наткнуться на такой удивительный выверт, на какой наткнулся (нечаянно — я убежден в этом теперь более, чем когда-нибудь) простодушный автор статейки «Русского мира».

В том-то и вся важность, что прием этот не выдумка одного только «Русского мира», а прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы, и там, может быть, он делается уже не столь простодушно. Сущность его, *во-первых*, в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых нападках на всех тех, которые при случае позволяют себе отнестись даже и к молодежи критически. Прием этот основан на смешном предположении, что молодежь настолько еще не доросла и так любит лесть, что не разберет и примет все за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многие из молодежи (мы твердо верим, что далеко не все) действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных случаях. Впрочем, тут пока еще вред всего только временный; с опытом и с возрастом и взгляды молодежи изменятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечет уже непосредственный и вещественный вред.

Эта другая сторона приема «защиты нашей молодежи перед обществом и перед правительством» состоит в простом *отрицании факта*, иногда самом грубом и нахальном; нет, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клеветает на молодежь, значит, враг нашей молодежи!

Вот прием. Повторяю, самый злейший враг нашей молодежи не выдумал бы ничего вреднее для прямых ее интересов. Мне непременно хочется доказать это.

Отрицанием факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатов.

Ну что вы тем докажете, господа, и чем облегчите дело, если начнете удостоверять (и, главное, Бог знает для чего), что «увлекающаяся» молодежь, то есть те, которые могут «увлечься» (пусть даже и Нечаевым), непременно должны состоять из одних только «праздных недоразвитков», из тех, которые *вовсе* не учатся, — одним словом, из шалопаев с самыми дурными наклонностями? Таким образом, уединяя дело, выводя его из сферы учащихся и сводя непременно лишь на «праздных недоразвитков», вы тем самым уже заранее обвиняете этих несчастных и отказываетесь от них окончательно: «Сами виноваты, буяны и ленивцы, и смирно за столом не умели сидеть». Уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым (а в этом-то и состоит единственная возможная защита несчастных «заблудшихся!»), вы тем самым не только как бы подписываете им окончательный приговор, но даже удаляете от них самое милосердие, ибо прямо удостоверяете, что сами заблуждения их произошли единственно от отвратительных качеств их и что эти юноши, даже и без всякого преступления, должны возбуждать к себе презрение и отвращение.

С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь *деле* оказались бы замешанными *вовсе* не недоразвитки, *вовсе* не буяны, болтающие ногами под столом, *вовсе* не одни ленивцы, а, напротив, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная? (Поймите это слово: *направленная*. Где, в какой Европе найдете вы теперь более шаткости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время!) И вот, по вашей теории «лентяев и недоразвитков», эти новые «несчастные» окажутся уже *втрое* виновнее: «Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, — нет у них

оправданий! Они втрое менее, чем праздные недоразвитки, могут заслуживать милосердия!» Вот результат, прямо выходящий из Вашей теории.

* * *

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному только сотруднику «Русского мира»), вы, на основании «отрицания факта», утверждаете, что Нечаевы непременно должны быть идиотами, «идиотическими фанатиками». Так ли это опять? Справедливо ли? Устраняю в настоящем случае Нечаева, а говорю «Нечаевы», во множественном числе. Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, со страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность, но — почему же они «идиоты»? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знания, «научки», школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков? Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, по-вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих прегрешению.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам

старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже все прошло*, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении со стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в *случае если б так обернулось дело*? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло *так обернуться дело*? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности.

Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном. *Дело же петрашевцев* — это такое давнопрошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более в таком скользком и отвлеченном смысле.

«Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, — это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные — против этого, как

я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его¹³⁷.

Луи Блана¹³⁸ напрасно били по щекам и таскали за волосы (как нарочно, густейшие длинные и черные волосы) члены-товарищи его Национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых вырвал его тогда Араго¹³⁹ (астроном, член правительства, теперь уже умерший), в то несчастное утро в мае месяце 48-го года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников. Бедный Луи Блан, некоторое время член временного правительства, вовсе не возмущал их: он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям, вследствие революции и республики разом потерявшим работу, об их «праве на работу». Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны и, конечно, смешны. Журнал же Консидерана¹⁴⁰, равно как статьи и брошюры Прудона¹⁴¹, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет». (Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось, — и вот пока вся формула политического социализма.) Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже

некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства, о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч. — все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий — а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением¹⁴²?

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и *великого* дела»¹⁴³. Иначе по-

нять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шаткости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!

Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы, господа защитники ее, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете от нее такой стойкости и такой зрелости убеждений, какой не было даже у их отцов, а теперь менее чем когда-нибудь есть. Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в последнее время, — тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла: в предании, в преемстве идей, в вековом национальном подавлении в себе

всякой независимости мысли, в понятии о сани европейца под неперменным условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!

* * *

Но вы этим слишком общим указанием, кажется, не поверите. «Образование, — твердите вы, — прилежание»; «праздные недоразвитки», — повторяете вы. Заметьте, господа, что все эти европейские высшие учителя наши, свет и надежда наша, все эти Милли, Дарвины и Штраусы¹⁴⁴ преудивительно смотрят иногда на нравственные обязанности современного человека. А между тем это уже не лентяи, ничему не учившиеся, и не буяны, болтающие ногами под столом. Вы засмеетесь и спросите: к чему вздумалось мне заговорить непременно об этих именах? А потому, что трудно и представить себе, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтоб эти имена, например, миновали ее при первых шагах ее в жизни. Разве может русский юноша остаться индифферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о «русской стороне их учений» пусть мне простят, единственно потому что эта русская сторона этих учений существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подзреваема. Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству; что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим

учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе.

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем... разумеется опять-таки, если попадет на Нечаева; это уже *sine qua non*...*

Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя

* Непременное условие (буквально: без чего нет) (*лат.*).

и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши (я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его.

Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Не гордость, не самолюбие мешали сознаться. А между тем я был, может быть, одним из тех (я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, большею частью, выносит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь? И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропу-

стить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, — если и мне, говорю я, было так трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то как-во же другим, еще глубже разорвавшим с народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов?..

Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно; да и не идет как-то к фельетонной статье.....

* * *

Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконец, ту среду, то общество, в котором она возрастает, и спросите себя: может ли быть в наше время что-нибудь менее защищено от *известных влияний*?

Прежде всего поставьте вопрос: если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями, если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большую частью) отрицание; если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях «общечеловеческих»; если еще в детстве их прогоняли их няnek за то, что те над колыбельками их читали «Богородицу», — то скажите: что можно требовать от этих детей и — гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделяться одним лишь отрицанием факта? Недавно я наткнулся в газетах на следующее *entrefilet**:

«Камско-Волжская газета» сообщает, что на днях три гимназиста 2-й казанской гимназии, 3-го класса, *привлечены к ответственности*

* Заметка (франц.).

ности по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с их предполагавшимся бегством в Америку» («С.-Пет<ербургские> ведомости», 13 ноября).

Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром. Но уж в одном том обстоятельстве, что *теперь* это не кажется мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, я *понимаю*, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание!

Оправдание! Боже мой, возможно ли так сказать!

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике¹⁴⁵, бежавшем *пешком* через Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком? Помните рассказ самого Герцена о том *кадете*, который отправился, кажется, на Филиппинские острова заводить коммуну и оставил ему 20 000 франков на будущих эмигрантов¹⁴⁶? А между тем все это уже древняя история! С тех пор бежали в Америку изведать «свободный труд в свободном государстве» старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры... разве только что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели *великие идеи* о «свободном труде в свободном государстве» и о коммуне и об общевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству — добродетелью? А если винить, то в какой же степени — вот вопрос.

Автор статейки «Русского мира» в подкрепление своей идеи, что в «подобных безумствах» замешаны у нас лишь *одни* лентяи и праздношатающиеся недоразвитки, приводит столь известные и отрадные слова министра народного просвещения, недавно высказанные им в Киеве, о том, что он имел случай убедиться после осмотра учебных заведений в 7 учебных округах, что *«последние годы молодежь несрав-*

ненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает».

Да, это, конечно, слова отрадные, слова, в которых, может быть, *единственная* надежда наша. В учебной реформе нынешнего царствования — чуть не вся наша будущность, и мы знаем это. Но сам же министр просвещения, помнится, заявил в той же речи своей, что еще долго ждать окончательных результатов реформы. Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцов и матерей этой молодежи, принимает все более и более такой странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств — самим быть менее бессердечными, не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет гражданином, и... хоть иногда сказать правду, если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1876

Я н в а р ь

**Вместо предисловия.
О Большой и Малой медведицах,
о молитве великого Гете
и вообще о дурных привычках**

...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономию: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слышали ли вы про такие записочки:

«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал¹; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил покончить с жизнью...»

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил»². Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального. И при этом ни одного гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...³

И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие. Ну, не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется я и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слышал о том ровно ничего. И, однако, он вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно веровать в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших — полное *tabula rasa*⁴, да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он осознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть,

равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому*.

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне»⁵.

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не вздумает попроситься, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно будет.

— О чем это Вы заговорили? — спросит меня удивленный читатель.

— Я хотел было написать предисловие, потому что нельзя же совсем без предисловия.

— В таком случае лучше объясните Ваше направление, Ваши убеждения, объясните: что Вы за человек и как осмелились объявить «Дневник писателя»?

Но это очень трудно, и я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие, может быть, так же трудно написать, как и письмо. Что же до либерализма (вместо слова «направление» я уже прямо буду употреблять слово: «либерализм»), что до либерализма, то всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих⁶, говоря о том, как встретила пресса наша новый 1876 год, упоминает, между прочим, не без едкости, что все обошлось достаточно либерально. Я рад, что он проявил тут едкость. Действительно, либерализм наш обратился в последнее время повсеместно — или в ремесло, или в дурную привычку. То есть сама по себе это была бы вовсе не дурная привычка, но у нас все это как-то так устроилось. И даже странно: либерализм наш, казалось бы, принадлежит к разряду успокоенных либерализмов; успокоенных и успокоившихся, что, по-моему, очень уж скверно, ибо квиетизм⁷ всего бы меньше, кажется, мог ладить с либерализмом. И что же, несмотря на такой покой, повсеместно являются несомненные признаки, что в обществе нашем мало-помалу совершен-

но исчезает понимание о том, что либерально, а что вовсе нет, и в этом смысле начинают сильно сбиваться; есть примеры даже чрезвычайных случаев сбивчивости. Короче, либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее, связали себя либерализмом как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться. Ну вот и довольно об этом. Что же касается до того, какой я человек, то я бы так о себе выразился: «Je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content», то есть по-русски: «Я человек счастливый, но — кое-чем недовольный»...

На этом я кончаю предисловие. Да и написал-то его лишь для формы.

Будущий роман. Опять «случайное семейство»

В клубе художников была елка и детский бал, и я отправился посмотреть на детей. Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страш-

ною возможностью разврата, раннюю ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит его еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Все это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей.

В газетах все недавно прочли об убийстве мещанки Перовой и о самоубийстве ее убийцы⁸. Она с ним жила, он был работником в типографии, но потерял место, она же снимала квартиру и пускала жильцов. Началось несогласие. Перова просила его ее оставить. Характер убийцы был из новейших: «Не мне, так никому». Он дал ей слово, что «оставит ее», и варварски зарезал ее ночью, обдуманно и преднамеренно, а затем зарезался сам. Перова оставила двух детей, мальчиков 12 и 9 лет, прижитых ею незаконно, но не от убийцы, а еще прежде знакомства с ним. Она их любила. Оба они были свидетелями, как с вечера он, в страшной сцене, измучил их мать попреками и довел до обморока, и просили ее не ходить к нему в комнату, но она пошла.

Газета «Голос» взывает к публике о помощи «несчастливым сиротам», из коих один, старший, воспитывался в 5-й гимназии, а другой пока жил дома. Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней,

...когда нам новы
Все впечатленья бытия⁹,

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век. Да благословит Господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они любить во всю жизнь свою их бедную мать, без

упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. На этот счет общество наше отзывчиво и благородно. Неужели им оставить гимназию, если уж они начали с гимназии? Старший, говорят, не оставит, и его судьба будто уж устроена, а младший? Неужто соберут рублей семьдесят или сто, а там и забудут про них? Спасибо и «Голосу», что напоминает нам о несчастных.

**Елка в клубе художников.
Дети мыслящие и дети облегчаемые.
«Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся
подростки. Поторопившийся московский капитан**

Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать: все это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.

Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества — непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы. Конечно, на словах не выразят; но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.

Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с неко-

торою дерзостью. Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая середина и бездарность, это уже общий закон: середина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непрременной повадкой вести за собою других и командовать. Жаль еще тоже, что детям теперь так все облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже, выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать...¹⁰

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!

Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия (но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков? Девочки особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной будущую «Вуйку», которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на все желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон. Зато есть

и такие, которые, о сю пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают.

Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право, нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители.

Но мне все чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то все обошлось бы к полному удовольствию. В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. Тем не менее мне все нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев.

Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскараде и проч. Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома. Мысль нелепая и фантастическая, — и как я стыдился и упрекал себя за эту мысль еще в детстве! Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были и всегда были, это тип неумирающий; но все же они более боялись и скрывали чувства, а теперь нет-нет и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который

считает себя совсем уже в новом праве. И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где все кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, — свистнуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» Это приятно. Но все же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Кто выведет? Полицейская сила? Нет-с, совсем не полицейская сила, а вот именно такие же самые дикари, как и этот дикарь! Вот она где сила. Объяснюсь.

Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно Сквозникам-Дмухановским, Чичиковым и даже, может быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей — в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там, у себя дома, но они их не ценят и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, о котором слыхали от Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. Вот почему ему и дороги европейские формы, хотя он твердо знает, что сам, лично, он не раскается и вернется с европейского бала домой все тем же самым кулачником; но он утешен, ибо хоть в идеале да почтил добродетель. О, он совершенно знает, что все это мираж; но все же он, побывав на бале, удостоверился, что этот мираж продолжается, чем-то все еще держится, какою-то невидимую, но чрезвычайно силою, и что вот он сам даже не посмел выйти на середину и что-нибудь гаркнуть на национальном наречии, — и мысль о том, что ему этого не позволили, да

и впредь не позволят, чрезвычайно ему приятна. Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу; все же он тем как бы тоже участвует в культе. Без сомнения, он часто и определить не в силах, в чем состоит этот культ. Хлестаков, например, полагал, что этот культ заключается в том арбузе в сто рублей, который подают на балах высшего общества. Может быть, Сквозник-Дмухановский так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз, хотя Хлестакова и раскусил, и презирает его, но он рад хоть и в арбузе почтить добродетель. И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того — потребность. Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели¹¹, — мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью. О, порок ужасно любит платить дань добродетели, и это очень хорошо; пока ведь для нас и того достаточно, не правда ли? А потому и гаркнувший среди залы в Москве капитан продолжает быть лишь исключением и потропившимся человеком, ну, по крайней мере, пока; но ведь и «пока» даже утешительно в наше зыбучее время.

Таким образом, бал есть решительно консервативная вещь, в лучшем смысле слова, и я совсем не шучу, говоря это.

Золотой век в кармане

А впрочем, мне было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился детский бал и начался бал отцов, и Боже, какая, однако, бездарность! Все в новых костюмах, и никто не умеет носить костюм; все веселятся, и никто не весел; все самолюбивы, и никто не умеет себя показать; все завистливы, и все молчат и сторонятся. Даже танцевать не умеют. Взгляните на этого вертящегося офицера очень маленького роста (такого, очень маленького ростом и зверски вертящегося офицера вы встретите непременно на всех балах среднего

общества). Весь танец его, весь прием его состоит лишь в том, что он с каким-то почти зверством, какими-то саккадами¹² вертит свою даму и в состоянии перевертеть тридцать-сорок дам сряду и гордится этим; но какая же тут красота! Танец — это ведь почти объяснение в любви (вспомните менуэт), а он точно дерется. И пришла мне в голову одна фантастическая и донельзя дикая мысль: «Ну что, — подумал я, — если б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, — во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что, если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямотушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого сообщительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульетт и Беатричей!¹³ Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?

Не хмурьтесь, Ваше превосходительство, при слове *золотой век*: честное слово даю, что Вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят Вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверю Вас, что в золо-

той век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, Ваше превосходительство, хотя бы сейчас, — Вы же старший по чину, Вам инициатива, — и вот увидите сами, какое пиროновское, так сказать, остроумие¹⁴ могли бы Вы вдруг проявить, совсем для Вас неожиданно. Вы смеетесь, Вам невероятно? Рад, что Вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда... А беда Ваша вся в том, что Вам это невероятно».

Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, — значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмуца: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрал копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву

и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекающимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол.

...и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал...¹⁵

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан принести к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают о них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, все факты.

Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо

рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят о камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так

хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюстителъ порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла скорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал

сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, — но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых

там нет своей елки... — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении¹⁶, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода¹⁷), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду¹⁸, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забжавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господина Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества

На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети — в

том нет сомнения. Кем оскорбленные? Как и чем и кто виноват? — все это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу.

Я был в колонии малолетних преступников, что за Пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались все показать. Мы отправились в теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и колония. Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно. Тут до пятисот десятин лесу пожертвовано колонии, и вся она состоит из нескольких деревянных, красиво выстроенных домов, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Все это выстроено на пожертвованные деньги, каждый дом обошелся тысячи в три, в каждом доме живет «семья». Семья — это группа мальчиков от двенадцати до семнадцати человек, и в каждой семье по воспитателю¹⁹. Мальчиков положено пока иметь до семидесяти, судя по размерам колонии, но в настоящее время, почему-то, всего лишь до пятидесяти воспитанников. Надобно сознаться, что средства употреблены широкие, и каждый маленький преступник обходится в год недешево. Странно и то, что санитарное состояние колонии, как извещали еще недавно в газетах, не совсем удовлетворительно: в последнее время было много больных, а уж как, кажется, хороши бы и воздух и содержание детей! Мы провели в колонии несколько часов, с одиннадцати утра до полных сумерек, но я убедился, что в одно посещение во все не вникнешь и всего не поймешь. Директор заведения приглашал меня приехать пожить дня два с ними; это очень заманчиво.

Директор П. А-ч Р-ский²⁰ известен в литературе; его статьи появляются иногда в «Вестнике Европы». Я встретил от него самый приветливый прием, полный предупредительности. В конторе заведена книга, в которую посетители, если хотят, вписывают свои имена. Между записавшимися я заметил много известных имен; значит, колония известна, и ею интересуются. Но при всей предупредительности почтенный

директор, кажется, человек очень сдержанный, хотя он почти с восторгом выставлял перед нами отрядные черты колонии, в то же время, однако, несколько смягчая все неприятное и еще не налаженное. Спешу прибавить, что сдержанность эта, как мне показалось, происходит от самой ревливой любви к колонии и к начатому делу.

Все четыре воспитателя (кажется, их четверо, по числу семей) все люди не старые, даже молодые, получают по триста рублей жалованья и почти все вышли из семинарии. Они живут с воспитанниками совсем вместе, даже носят с ними почти одинаковый костюм — нечто вроде блузы, подпоясанной ремнем. Когда мы обходили камеры, они были пусты; дело праздничное, и дети где-то играли, но тем удобнее было осмотреть помещения. Никакой ненужной роскоши, ничего слишком излишнего, навеянного излишнею добротою или гуманностью жертвователей и учредителей заведения, — а это очень могло бы случиться, и вышла бы значительная ошибка. Койки, например, самые простые, железные, складные, белье на них из довольно грубого холста, одеяла тоже весьма нещегольские, но теплые. Воспитанники встают рано и сами, все вместе, убираются, чистят камеры и, когда надо, моют полы. Близ иных коек слышался некоторый запах, и я узнал почти невероятную вещь, что иные из воспитанников (немногие, но, однако, человек восемь или девять) и не очень маленькие, лет даже двенадцати и тринадцати, — так и делают свою нужду во сне, не вставая с койки. На вопрос мой: не особая ли тут какая болезнь — мне ответили, что совсем нет, а просто от того, что они дикие, — до того приходят дикими, что даже и понять не могут, что можно и надо вести себя иначе. Но где же они были в таком случае до того, в каких трущобах выросли и кого видели! Нет почти такой самой бедной мужицкой семьи, где бы ребенка не научили в этом случае, как надо держать себя, и где бы даже самый маленький мальчик не знал того. Значит, каковы же люди, с которыми он сталкивался, и до чего зверски равнодушно относились они к существованию его! Этот факт, однако же, точный, и я считаю его большой важности; пусть

не смеются, что я этот грязненький фактик «вздуваю» до таких размеров: он гораздо серьезнее, чем может показаться. Он свидетельствует, что есть же, стало быть, до того мрачные и страшные особи людей, в которых исчезают даже всякие следы человечности и гражданственности. Понятно также после того, во что обращается, наконец, эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности из людей. Да, эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые; задача большая.

— Вы не поверите, какими сюда являются дикими иными из них, — сказал мне П. А-ч, — ничего иной не знает ни о себе, ни о социальном своем положении. Он бродяжил почти бессознательно, и единственное, что он знает на свете и что он мог осмыслить, — это его свобода, свобода бродяжить, умирать с холоду и с голоду, но только бродяжить. Здесь есть один маленький мальчик, лет десяти, не больше, и он до сих пор никак, ни за что не может пробыть, чтобы не украсть. Он ворует даже безо всякой цели и выгоды, единственно чтобы украсть, машинально.

— Как же Вы надеетесь перевоспитать таких детей?

— Труд, совершенно иной образ жизни и справедливость в обращении с ними; наконец, и надежда, что в три года, сами собою, временем, забудутся ими старые их страсти и привычки.

Я осведомился: нет ли между мальчиками еще и других, известных детских порочных привычек? — Кстати напомню, что мальчики здесь от десяти и даже до семнадцатилетнего возраста, хотя принимаются на исправление никак не старше четырнадцати лет.

— О, нет, этих скверных привычек не может и быть, — поспешил ответить П. А-ч, — воспитатели при них неотлучно и беспрестанно наблюдают за этим.

Но мне показалось это невероятным. В колонии есть некоторые из бывшего отделения малолетних преступников еще в Литовском замке²¹, теперь там уничтоженного. Я был в этой тюрьме еще третьего года и видел этих мальчиков. Потом я узнал с совершенною достоверностью, что разврат между ними в замке был необычайный, что те из поступивших в замок бродяг, которые еще не заражены были этим развратом и сначала гнушались им, подчинялись ему почти потом поневоле, из-за насмешек товарищей над их целомудрием.

— А много ли было рецидивистов? — осведомился я.

— Не так много; из всех выпущенных из колонии было всего до восьми человек (цифра, однако, не маленькая²²).

Замечу, что воспитанники выпускаются по преимуществу ремесленниками и им приискивается «предварительно» помещение. Прежде паспорта, выдаваемые от колонии, им очень вредили. Теперь же нашли средство выдавать им такие паспорта, из которых нельзя, с первого взгляда по крайней мере, увидеть, что предъявитель его из колонии преступников.

— Зато, — прибавил поспешно П. А-ч., — у нас есть и такие выпущенные, которые до сих пор не могут забыть о колонии и чуть праздник — непременно приходят к нам побывать и погостить с нами.

Итак, самое сильное средство перевоспитания, перделки оскорбленной и опороченной души в ясную и честную — есть труд. Трудом начинается день в камере, а затем воспитанники идут в мастерские. В мастерских: в слесарной, в столярной, мне показывали их изделия. Поделки, по возможности, хороши, но, конечно, будут и гораздо лучше, когда более наладится дело. Они продаются в пользу воспитанников, и у каждого таким образом скопляется что-нибудь к выходу из колонии. Работою дети заняты и утром, и после обеда, — но без утомления, и, кажется, труд действительно оказывает довольно сильное впечатление на их нравственную сторону: они стараются сделать лучше один перед другим и гордятся успехами.

Другое средство их духовного развития — это, конечно, самосуд, введенный между ними. Всякий провинившийся из

них поступает на суд всей «семьи», к которой принадлежит, и мальчики или оправдывают его, или присуждают к наказанию. Единственное наказание — отлучение от игр. Не подчиняющихся суду товарищей наказывают уже совершенным отлучением от всей колонии. На то есть у них Петропавловка²³ — так прозвана мальчиками особая, более удаленная изба, в которой имеются каморки для временно удаленных. Впрочем, заключение в Петропавловку зависит, кажется, единственно от директора. Мы ходили в эту Петропавловку; там было тогда всего двое заключенных, и замечу, что заключают осторожно и осмотрительно за что-нибудь слишком уж важное и закоренелое. Эти двое заключенных помещались каждый в особой маленькой комнатке и взаперти, но нам их лично не показали.

Этот самосуд, в сущности, конечно, дело хорошее, но отзывается как бы чем-то книжным. Есть много гордых детей, и гордых в хорошую сторону, которые могут быть оскорблены этою вечевой властью таких же, как они, мальчиков и преступников, так что могут и не понять эту власть настоящим образом. Могут случиться личности гораздо талантливее и умнее всех прочих в «семье», и их может укусить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти и всегда середина. Да и судящие мальчики понимают ли и сами-то хорошо свое дело? Не явятся ли, напротив, и между ними их детские партии каких-нибудь тоже соперничающих мальчиков, посильнее и побойчее прочих, которые всегда и непременно являются между детьми во всех школах, дают тон и ведут за собою остальных как на веревке? Все же ведь это дети, а не взрослые. Наконец, осужденные и потерпевшие наказание будут ли смотреть потом так же просто и братски на своих бывших судей и не нарушается ли этим самосудом товарищество? Конечно, это развивающее воспитательное средство основано и придумано в той идее, что эти, прежде преступные дети таким правом самосуда как бы приучаются к закону, к самосдержанию, к правде, о которой прежде вовсе не ведали, разовьют, наконец, в себе чувство долга. Все это мысли прекрасные и тонкие, но несколько как бы обоюдоострые. Насчет же наказания, конеч-

но, выбрано самое действительное из самых сдерживающих наказаний, то есть лишение свободы.

Кстати, верну сюда одно странное нотабене²⁴. Мне нечаянно удалось услышать на днях одно весьма неожиданное замечание насчет отмененного у нас повсеместно в школах телесного наказания: «Отменили везде в школах телесное наказание, и прекрасно сделали; но чего же, *между прочим*, достигли? Того, что в нашем юношестве явилось чрезвычайно много трусов, сравнительно с прежним. Они стали бояться малейшей физической боли, всякого страдания, лишения, всякой даже обиды, всякого уязвления их самолюбия, и до того, что некоторые из них, как показывают примеры, при весьма незначительной даже угрозе, даже от каких-нибудь трудных уроков или экзаменов, — вешаются или застреливаются». Действительно, всего вернее объяснить несколько подобных и в самом деле происшедших случаев единственно трусостью юношей перед чем-нибудь грозящим или неприятным; но странная, однако, точка зрения на предмет, и *наблюдение* это по меньшей мере оригинально. Вношу его для памяти.

Я видел их всех за обедом; обед самый простой, но здоровый, сытный и превосходно приготовленный. Мы его с большим удовольствием попробовали еще до прихода воспитанников; и, однако, еда каждого мальчика обходится ежедневно всего лишь в пятнадцать копеек. Подают суп или щи с говядиной и второе блюдо — каша или картофель. Поутру, вставши, чай с хлебом, а между обедом и ужином хлеб с квасом. Мальчики очень сыты; за столом прислуживают очередные дежурные. Садясь за стол, все превосходно пропели молитву: «Рождество Твое, Христе Боже наш». Петь молитвы обучает один из воспитателей.

Тут, за обедом, в сборе, мне всего интереснее было всмотреться в их лица. Лица не то чтобы слишком смелые или дерзкие, но лишь ничем не конфузящиеся. Почти ни одного лица глупого (хотя глупые, говорили мне, между ними водятся; всего более отличаются этим бывшие питомцы воспитательного дома); напротив, есть даже очень интеллигентные лица.

Дурных лиц довольно, но не физически; чертами лица все почти недурны; но что-то в иных лицах есть как бы уж слишком сокрытое про себя. Смеющихся лиц тоже мало, а между тем воспитанники очень развязны перед начальством и перед кем бы то ни было, хотя несколько и не в том роде, как бывают развязны другие дети с более открытым сердцем. И, должно быть, ужасно многим из них хотелось бы сейчас улизнуть из колонии. Многие из них, очевидно, желают не проговариваться, это по лицам видно.

Гуманное и до тонкости предупредительное обращение с мальчиками воспитателей (хотя, впрочем, они и умеют быть строгими, когда надо), — мне кажется, не совсем достигает в некоторых случаях до сердца этих мальчиков и уж конечно, и до их понятия. Им говорят *Вы*, даже самым маленьким. Это *Вы* показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним. Может быть, мальчики, попав сюда, сочтут это лишь за господскую затею. Одним словом, это *Вы*, может быть, ошибка и даже несколько серьезная. Мне кажется, что оно как бы отдаляет от детей воспитателя; в *Вы* заключается как бы нечто формальное и казенное, и нехорошо, если иной мальчик примет его за нечто как бы к нему презрительное. Ведь не поверит же он в самом деле, что он, видевший такие непомерные виды и выслушивавший самую неестественную брань, наконец, проворовавшийся до потери удержу, так вдруг заслужил такое господское обращение. Одним словом, *Ты*, по моему, было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяются. Ведь гораздо же лучше, если дети наконец осмыслят, что воспитатели их не гувернеры, а отцы их, а что сами они — всего только лишь дурные дети, которых надобно исправлять. Впрочем, может быть, это *Вы* и не испортит мальчика; а если его и скорчит потом от *Ты* или даже от брани, которую он услышит опять неминуемо, в тот же самый день, как его выпустят из заведения, то еще с большим умилением вздохнет по своей колонии.

Из неналаженных вещей особенно замечается чтение. Мне говорили, что дети очень любят читать, то есть слушать,

когда им читают, по праздникам или когда есть время, и что между ними есть хорошие чтецы; я слышал лишь одного из чтецов, он читал хорошо и, говорят, очень любит читать всем вслух и чтоб все его слушали; но есть между ними и совсем малограмотные, есть и совсем неграмотные. Но что, однако, у них читают! лежит на столе — я видел это в одной семье после обеда — какой-то том, какого-то автора, и они читают, как Владимир разговаривал с какой-то Ольгой о разных глубоких и странных вещах и как потом неизбежная среда «разбила их существование». Я видел их «библиотеку» — это шкаф, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д., есть несколько полезных путешествий и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтение, если уж оно допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что если б и все наши просветительные силы в России, со всеми педагогическими советами во главе, захотели установить или указать: что именно принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах, то, разумеется, разошлись бы, ничего не выдумав, ибо дело это очень трудное и решается окончательно не в заседании только. С другой стороны, в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни «Севастопольские рассказы», ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, Бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если б они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не ценя, потому что все это богатство им упало бы как с неба; они же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно

детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей.

Школа тоже находится в совершенном младенчестве, но ее тоже собираются наладить в самом ближайшем будущем. Черчению и рисованию почти совсем не учат. Закона Божия вовсе нет: нет священника. Но он будет у них свой, когда у них выстроится церковь. Церковь эта деревянная, теперь строится. Начальство и строители гордятся ею. Архитектура действительно недурна, в несколько, впрочем, казенном, усиленно русском стиле, очень приевшемся. Кстати, замечу: без сомнения, преподавание Закона Божия в школах — преступников или в других наших первоначальных школах — не может быть поручено никому другому, кроме священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые рассказы из священной истории? Бесспорно, из великого множества народных учителей могут встретиться действительно дурные люди; но ведь если он захочет учить мальчика атеизму, то может сделать это и не уча священной истории, а просто рассказывая лишь об утке и «чем она покрыта». С другой стороны, что слышно о духовенстве нашем? О! я вовсе не хочу никого обижать и уверен, что в школе преступников будет превосходнейший из «батюшек», но, однако же, что общали в последнее время, с особенною ревностью, почти все наши газеты? Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно — «трудящийся достоин платы», но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я, конечно, тоже; но как-то все мечтается притом о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья. О, я не идеалист, я слишком понимаю, что ныне времена наступили не те; но не отрадно ли было бы услышать, что духовным просветителям

нашим прибавилось хоть капельку доброго духу еще и до прибавки жалованья? Повторяю, пусть не обижаются; все отлично знают, что в среде нашего священства не иссякает дух и есть горячие деятели. И я заранее уверен, что такой именно и будет в колонии; но всего бы лучше, если б им — просто рассказывали священные истории, без особой казенной морали и тем ограничили бы пока законоучение. Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души...

Впрочем, я простился с колонией с отрадным впечатлением в душе. Если что и не «налажено», но есть, однако же, факты самого серьезного достижения цели. Расскажу из них два, чтоб закончить ими. В Петропавловке, в заключении, в наше время сидел один из воспитанников, лет уже пятнадцати; прежде он содержался некоторое время в тюрьме Литовского замка, когда там еще было отделение малолетних преступников. Присужденный поступить в колонию, он из нее бежал, бежал, кажется, дважды; оба раза его изловили, один раз уже вне заведения. Наконец, он прямо объявил, что не хочет повиноваться, за это его и удалили в одиночное заключение. К Рождеству родственники принесли ему гостинцев, но гостинцев к нему не допустили как к заключенному, и их конфисковал воспитатель. Это страшно обидело и поразило мальчика, и в посещение директора он стал ему горько жаловаться, ожесточенно обвиняя воспитателя в том, что тот посылку и гостинцы конфисковал себе, в свою пользу; тут же со злобой и насмешкой выражался о колонии и о товарищах, он всех винил. «Я с ним сел и серьезно поговорил, — рассказывал мне П. А-ч. — Он все время мрачно молчал. Через два часа он вдруг посылает за мною опять, умоляет прийти к нему — и что же: бросился ко мне со слезами, весь потрясенный и преобразившийся, стал каяться, упрекать себя, стал мне рассказывать такие вещи, которые от всех доселе таил, случившиеся с ним прежде; рассказал за тайну, что он давно уже предан одной постыднейшей привычке, от которой не может отвязаться, и что это его мучит, — одним словом, это была полная исповедь. Я с ним провел часа два, — прибавил

П. А-ч. — Мы поговорили; я посоветовал некоторые средства, чтоб побороть привычку, ну там и проч. и проч.»

П. А-ч, передавая это, усиленно умолчал, о чем они там между собою переговаривали; но, согласитесь, есть же умение проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе правды молодого преступника. Признаюсь, я бы очень желал узнать в подробности этот разговор. Вот другой факт: каждый воспитатель, в каждой семье, не только наблюдает за тем, чтобы воспитанники убирали камеру, мыли и чистили ее, но и участвует вместе с ними в работе. Там моют полы по субботам; воспитатель не только показывает, как надо мыть, но сам вместе с ними принимается мыть и вымывает пол. Это уже самое полное понимание своего призвания и своего человеческого достоинства. Где вы, в чиновничестве например, встретите такое отношение к делу? И если в самом деле, вправду, эти люди решились соединить задачи колонии со своею собственною целью жизни, то дело, конечно, будет «налажено», несмотря даже ни на какие теоретические ошибки, если б таковые и случились вначале.

«Герои, — вы, господа романисты, все ищите героев, — сказал мне на днях один выдавший виды человек, — и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, — вот, по видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, — в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это

герой: это «идеалист сороковых годов» и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подорожее к России и не бросать в нее за все про все грязью».

Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Вот такого типа человек пригодился бы, может быть, и в колонии малолетних преступников... о, разумеется, под руководством более просвещенных и, так сказать, высших руководителей...

Впрочем, я в колонии провел всего лишь несколько часов и мог многое напредставить себе, недоглядеть и ошибиться. Во всяком случае, средства к переделке порочных душ в непорочные нахожу пока недостаточными.

Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала?

В № 359 «Голоса» мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова²⁵, председателя Общества:

«И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают

из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными».

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги «Обществу», а и человек, русский человек, которого надо образить* и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хоть я и очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому «Обществу» дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! Всякое просветительное средство дорого, и желательно лишь, чтобы идея «Общества» стала и в самом деле одним из просветительных средств. Наши дети воспитываются и взрослеют, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. Эта картинка, я уверен, никого даже и не возмутила на улице: «все-де равно их резать везут»; но такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей. Правда, на почтенное «Общество» были и нападки; я слышал не раз и насмешки. Упоминалось, например, что когда-то, лет пять тому, одного извозчика «Общество» привлекло к ответственности за дурное обращение с лошастью и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это уж, конечно, было неловкостью, потому что, действительно, после такого приговора многие не знали кого пожалеть: извозчика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону, не более десяти рублей. Потом я слышал будто бы

* Образить — слово народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных.

о слишком излишних хлопотах «Общества», чтобы бродяжих и, стало быть, вредных собак, потерявших хозяев, умерщвлять хлороформом. Замечали на это, что, пока у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям, такие нежные заботы о собачках несколько как бы режут ухо. Но все подобные возражения не выдерживают никакой критики. Цель «Общества» вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать. Тем не менее, смотря и с другой точки, чрезвычайно бы желательно, чтобы действия «Общества» и вышесказанные «временные случайности» вошли, так сказать, во взаимное равновесие; тогда, конечно, яснее бы определился тот спасительный и благодетельный путь, которым «Общество» может прийти к обильным и, главное, к практическим уже результатам, к результатам действительного достижения цели... Может быть, я неясно выражаюсь; расскажу один анекдот, одно действительное происшествие, и надеюсь, что наглядным изложением его яснее передам то, что мне хотелось выразить.

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали с покойным отцом нашим в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался

Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назади, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья), фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угоре-

лые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают; что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет «все на этот самый манер», безо всякой вины, бьет ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, Бог пронесет; зато уж всегда подымается опять, как подъезжать опять к станции: начнет примерно за версту и пойдет подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь тебе фельдъегерь шею наkostenял», а парень, может, в тот же день прибудет молодую жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»...

Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к ответственности за бесчеловечное обращение со своими лошадаками, ведь не правда ли?

Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять, уж конечно, слишком односторонне. Вы поймете, что дело идет лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьет, удержав розги на своем

суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдгегера, зато есть «зелено-вино»²⁶. Каким образом зелено-вино может походить на фельдгегера? — Очень может, — тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не знавшая, чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. И напрасно я рассказал о ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелена-вина с фельдгегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей.

Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей, могущих иметь влияние. Ну что, если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, глухнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд

разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, — все вздор. Беда, если он укрепитя в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек²⁷, — неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают», — и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проникает все мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч верст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором²⁸ этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственно властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, — и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры прорываются в народ непрерывным соблазном, он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым²⁹. Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да еще с описанием всех душевных его движе-

ний. Но теперь я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьев виноват. Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьева, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели тому, молоденький паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннoletний, вез ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул *перочинный ножичек* и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинулся: «Не знаю, как и случилось и как ножичек очутился в руках»³⁰. И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватило и затащило, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; — даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.

«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея» — вот эту самую фразу я слышал, но глубоко ее отвергаю. Не будучи сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание мое о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, понимая человеческую и очелове-

чивающую цель Общества, все же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самим верхним сословием, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, еще раз, приветствую Общество покровительства животным от горячего сердца; а хотел я лишь только высказать мысль, что желалось бы действовать не все с конца, а хоть отчасти бы и с начала.

Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти

Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, — указание впредь. Кстати, словечко о декабристах, чтобы не забыть: извещая о недавней смерти одного из них³¹, в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; — это не совсем точно. Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков³², тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец, в известном романе своем

«Les Mémoires d'un maître d'armes»*. Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол, родной брат казненного³³. Живы Свистунов³⁴ и Назимов³⁵; может быть, есть и еще в живых.

Одним словом — многое приходится отложить до февральского номера. Но заключить настоящий январский дневник мне хотелось бы чем-нибудь повеселее. Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это — черти, тема о чертах, о спиритизме³⁶. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, — и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди³⁷. Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света³⁸ утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его. Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей... Если ночью тебя начнет мучить нервическая бессонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку, твори молитву». Подымаются голоса пастырей, и те даже самой науке советуют не связываться с волшебством, не исследовать «волшебство сие»³⁹. Коли заговорили даже пастыри, значит, дело разрастается не на шутку. Но вся беда в том: черти ли это? Вот бы составившейся в Петербурге ревизионной над спиритизмом комиссии решить этот вопрос! Потому что если решат окончательно, что это не черти, а так какое-нибудь там электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, — то мигом наступит полное разочарование: «Вот, скажут, невидальщина, какая скука!» — и тотчас же все забросят и забудут спиритизм, а займутся по-прежнему делом. Но чтобы исследовать: черти ли это? нужно чтобы хоть кто-нибудь из ученых составившейся комиссии был в силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли между ними найдется

* «Записки учителя фехтования» (франц.).

хоть один, в черта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в Бога, верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетентна. Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория моя уничтожается сама собой. Вот эту-то теорию я и намерен, в завершение, сообщить читателю. Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать.

Во-первых, пишут, что духи глупы⁴⁰ (то есть черти, нечистая сила: какие же тут могут быть другие духи, кроме чертей?), — что когда их зовут и спрашивают (столоверчением), то они отвечают все пустячки, не знают грамматики, не сообщили ни одной новой мысли, ни одного открытия. Так судить — чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, например, если б черти сразу показали свое могущество и подавили бы человека открытиями? Вдруг бы, например, открыли электрический телеграф (т. е. в случае, если б он еще не был открыт⁴¹), сообщили бы человеку разные секреты: «Рой там-то — найдешь клад или найдешь залежи каменного угля» (а кстати, дрова так дороги), — да что, это еще все пустяки! — Вы, конечно, понимаете, что наука человеческая еще в младенчестве, почти только что начинает дело и если есть за ней что-либо обеспеченное, так это покамест лишь то, что она твердо стала на ноги; и вот вдруг посыпался бы ряд открытий вроде таких, что Солнце стоит, а Земля вокруг него обращается (потому что наверно есть еще много таких же точно, по размерам, открытий, которые теперь еще не открыты, да и не сняты мудрецам нашим); вдруг бы все знания так и свалились на человечество и, главное, совершенно даром, в виде подарка? Я спрашиваю: что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг по-

чувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы⁴², и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, — словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, — закричали бы все филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей «среды», бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» И какие, может, умные и хорошие люди это закричали бы в один голос и, может быть, всех увлекли бы за собою с новинки, и завопили бы, наконец, в общем гимне: «Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!»

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках⁴³, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы»⁴⁴. Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижении*. Настанет скука и тоска: все сделано и нечего более делать, все известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь

новым способом, открытым ими вместе со всеми открытиями. И тогда, может быть, и возопиют остальные к Богу: «Прав ты, Господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и бросят волхвование... О, никогда Бог не послал бы такой муки человечеству! И провалится царство чертей! Нет, черти такой важной политической ошибки не сделают. Политики они глубокие и идут к цели самым тонким и здравым путем (опять-таки, если в самом деле тут черти!).

Идея их царства — раздор, то есть на раздоре они хотят основать его. Для чего же им раздор именно тут понадобился? А как же: взять уже то, что раздор страшная сила и сам по себе; раздор, после долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до затмения и извращения ума и чувств. В раздоре обидчик, сознав, что он обидел, не идет мириться с обиженным, а говорит: «Я обидел его, стало быть, я должен ему отомстить». Но главное в том, что черти превосходно знают всемирную историю и особенно помнят про все, что на раздоре было основано. Им известно, например, что если стоят секты Европы, оторвавшиеся от католичества, и держатся до сих пор как религии, то единственно потому, что из-за них пролита была в свое время кровь. Кончилось бы, например, католичество, и непременно затем разрушились бы и протестантские секты: против чего же бы им осталось тогда протестовать? Они уж и теперь почти все склонны перейти в какую-нибудь там «гуманность» или даже просто в атеизм, что в них, впрочем, уже давно замечалось, и если все еще лепятся как религии, то потому, что еще до сих пор протестуют. Они еще прошлого года протестовали, да еще как: до самого папы добирались.

О, разумеется, черти в конце концов возьмут свое и раздавят человека «камнями, обращенными в хлебы», как муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство свое от бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека? Разумеется: «*divide et impera*» (разъедини противника и восторжествуешь). А для того надобен раздор. С другой стороны, люди соскучатся от камней, обращенных в хлебы, а по-

тому надо приискать им занятие, чтоб не скучали. А раздор ли не занятие для людей!

Теперь проследите, как черти у нас вводят раздор и, так сказать, с первого шагу начинают у нас спиритизм с раздора. Как раз этому способствует наше мечущееся время. Вот уже сколько у нас обидели людей из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследовать свое дело, несмотря на раздор. Да и как им перестать исследовать: черти начинают с краю, возбуждают любопытство, но сбивают, а не разъясняют, путают и явно смеются в глаза. Умный и достойный всякого постороннего уважения человек стоит, хмурит лоб и долго добивается: «Что же это такое?» Наконец махает рукой и уже готов отойти, но в публике хохот пуще, и дело расширяется так, что адепт поневоле остается из самолюбия.

Перед нами ревизионная над спиритизмом комиссия во всеоружии науки. Ожидание в публике, и что же: черти и не думают сопротивляться, напротив, как раз постыднейшим образом пасуют: сеансы не удаются, обман и фокусы явно выходят наружу. Раздается злобный хохот со всех сторон; комиссия удаляется с презрительными взглядами, адепты спиритизма погружаются в стыд, чувство мести закрадывается в сердца обеих сторон. И вот, кажется бы, погибать чертям, так вот нет же. Чуть отвернутся ученые и строгие люди, они мигом и покажут опять какую-нибудь штучку посверхъестественнее своим прежним адептам, и вот те опять уверены пуще прежнего. Опять соблазн, опять раздор! В Париже, прошлым летом, судили одного фотографа за спиритские плутни; он вызывал покойников и снимал с них фотографии; заказов получал пропасть⁴⁵. Но его накрыли, и на суде он во всем сознался, даже представил и ту даму, которая помогала ему и представляла вызванные тени. Что же вы думаете, те, которых обманул фотограф, поверили? Ничуть; один из них, говорят, сказал так: «У меня умерло трое детей, а портретов их не осталось; и вот фотограф мне снял с них карточки, все похожи, я всех узнал.

Какое мне теперь дело, что он сознался вам в плутовстве? На то у него свой расчет, а у меня в руках факт, и оставьте меня в покое». Это было в газетах; не знаю, так ли я передал подробности, но сущность верна. Ну что, например, если у нас произойдет такое событие: только что ученая комиссия, кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернется, как черти схватят кого-нибудь из упорнейших членов ее, ну хоть самого г-на Менделеева, обличившего спиритизм на публичных лекциях, и вдруг разом уловят его в свои сети, как уловили в свое время Крукса и Олькота⁴⁶, — отведут его в сторонку, подымут его на пять минут на воздух, о материализуют ему знакомых покойников, и все в таком виде, что уже нельзя усомниться, — ну, что тогда произойдет? Как истинный ученый, он должен будет признать совершившийся факт — и это он, читавший лекции! Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! Это, конечно, лишь шутка, и я уверен, что с г-ном Менделеевым ничего подобного не случится, хотя в Англии и в Америке черти поступали, кажется, точь-в-точь по этому плану. Ну, а что, если черти, приготовив поле и уже достаточно насадив раздор, вдруг захотят безмерно расширить действие и перейдут уже к настоящему, к серьезному? Это народ насмешливый и неожиданный, и от них станется. Ну что, например, если они вдруг прорвутся в народ, ну хоть вместе с грамотностью? А народ наш так незащищен, так предан мраку и разврату, и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям со страстью (верит же он Иванам Филипповичам⁴⁷), и тогда — какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое идольское поклонение материализму и какой раздор, раздор: в сто, в тысячу раз больше прежнего, а того-то и надо чертям. А раздор несомненно начнется, особенно если спиритизм добьется стеснения, преследования (а оно может даже неминуемо последовать от остального же народа, не уверовавшего спиритизму) — тогда он мигом разольется, как зажженный керосин, и все запылает. Мистические идеи любят преследование, они им созидаются. Каждая такая преследуемая мысль подобна

тому самому петролею, которым обливали полы и стены Тюльери⁴⁸ зажигатели перед пожаром и который, в свое время, лишь усилит пожар в охраняемом здании. О, черти знают силу запрещенного верования, и, может быть, они уже много веков ждали человечество, когда оно споткнется о столы! Ими, конечно, управляет какой-нибудь огромный нечистый дух, страшной силы и поумнее Мефистофеля, прославившего Гете, по уверению Якова Петровича Полонского⁴⁹.

Без всякого сомнения, я шутил и смеялся с первого до последнего слова, но вот что, однако, хотелось бы мне выразить в заключение: если взглянуть на спиритизм как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже самые трезвые из спиритов наклонны капельку к такому взгляду), то кое-что из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку. А потому дай Бог поскорей успеха свободному исследованию с обеих сторон; только это одно и поможет как можно скорее искоренить распространяющийся скверный дух, а может быть, и обогатит науку новым открытием. А кричать друг на друга, позорить и изгонять друг друга за спиритизм из общества — это, по-моему, значит лишь укреплять и распространять идею спиритизма в самом дурном ее смысле. Это начало нетерпимости и преследования. Чертям того и надо!

Одно слово по поводу моей биографии

На днях мне показали мою биографию, помещенную в «Русском энциклопедическом словаре», издаваемом профессором С.-Петербургского университета И. Н. Березиным (год второй, выпуск V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г-ном В. З.⁵⁰. Трудно представить, чтоб на одной полстранице можно было наделать столько ошибок. Я родился не в 1818-м году, а в 1821-м. Покойный брат мой, Михаил Михайлович, издатель журналов «Время» и «Эпоха», был моим старшим братом, а не младшим четырьмя годами. После срока моей ка-

торги, в которую я сослан был в 1849-м году *как государствен-
ный преступник* (о характере преступления ни слова не упо-
мянуто у г-на В. З., а сказано лишь, что «замешан был в дело
Петрашевского», то есть в Бог знает какое, потому что никто
не обязан знать и помнить про дело Петрашевского, а «Энци-
клопедический словарь» назначается для всеобщих справок,
и могут подумать, что я сослан был за грабеж); после каторги
я прямо, по воле покойного государя, поступил в рядовые и че-
рез три года службы был произведен в офицеры; водворен же
на поселении (поселен) в Сибири, как рассказывает г-н В. З.,
я никогда не был.

Порядок сочинений моих перемешан: повести, принадле-
жащие к самому первому периоду моей литературной деятель-
ности, отнесены в биографии как к последнему. Таких ошибок
множество, и я их не перечисляю, чтоб не утомить читателя,
в случае же вызова все укажу. Но есть уже чистые выдумки.
Г-н В. З. уверяет, что я был редактором газеты «Русский мир»;
объявляю на это, что редактором газеты «Русский мир» я ни-
когда не бывал, мало того, не напечатал в этом уважаемом
издании никогда ни единой строки. Бесспорно, г-н В. З. (г-н
Владимир Зотов?) может иметь свою точку зрения и считать
самым последним делом, в биографическом сведении о писа-
теле, верное указание на то, когда он родился, какие именно
испытал приключения, где, когда и в каком порядке печатал
свои произведения, какие труды его считать первоначальны-
ми, а какие заключительными, какие издания издавал, какие
редактировал и в каких был только сотрудником; тем не ме-
нее, хоть для аккуратности, желалось бы побольше толку. Не
то, пожалуй, читатели подумают, что и все статьи в словаре
г-на Березина составлены так же неряшливо.

Одна турецкая пословица

Кстати и на всякий случай, верну здесь одну турецкую
пословицу (настоящую турецкую, не сочиненную): «Если ты

направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели»⁵¹.

По возможности буду следовать в «Дневнике» моем этой премудрой пословице, хотя, впрочем, и не желал бы связывать себя заранее обещаниями.

Ф е в р а л ь

О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном¹

Первый № «Дневника писателя» был принят приветливо; почти никто не бранил, то есть в литературе, а там дальше я не знаю. Если и была литературная брань, то незаметная. «Петербургская газета» поспешила напомнить публике в передовой статье, что я не люблю детей, подростков и молодое поколение, и в том же № внизу, в своем фельетоне, перепечатала из моего «Дневника» целый рассказ: «Мальчик у Христа на елке», по крайней мере, свидетельствующий о том, что я не совсем ненавижу детей. Впрочем, это все пустяки, а занимателен для меня лишь вопрос: хорошо или не хорошо, что я всем угодил? Дурной или хороший это признак? Может быть, ведь и дурной? А впрочем, нет, зачем же, пусть лучше это будет хороший, а не дурной признак, на том и остановлюсь.

Да и в самом деле: ведь мы все хорошие люди, ну, разумеется, кроме дурных. Но вот что замечу к слову: у нас, может быть, дурных-то людей и совсем нет, а есть разве только дрянные. До дурных мы не доросли. Не смейтесь надо мной, а подумайте: мы ведь до того доходили, что за неимением своих дурных людей (опять-таки при обилии всяких дрянных) готовы были, например, чрезвычайно ценить, в свое время, разных дурных человечков, появлявшихся в литературных наших

типах и заимствованных большею частью с иностранного. Мало того, что ценили, — рабски старались подражать им в действительной жизни, копировали их и в этом смысле даже из кожи лезли. Вспомните: мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении «Героя нашего времени». Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести «Выстрел», взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил Грушницкого потому только, что был не совсем казист собой в своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге, мало походил на молодца в глазах дамского пола. Если же мы так в свое время ценили и уважали этих злых человечков, то единственно потому, что они являлись как люди будто бы *прочной* ненависти, в противоположность нам, русским, как известно, людям весьма непрочной ненависти, а эту черту мы всегда и особенно презирали в себе. Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют, и не только людей, но даже пороки, мрак невежества, деспотизм, обскурантизм, ну и все эти прочие ретроградные вещи. У нас сейчас готовы помириться, даже при первом случае, ведь не правда ли? В самом деле, подумайте: за что нам ненавидеть друг друга? За дурные поступки? Но ведь это тема прескользящая, прещекотливая и пренесправедливая, — одним словом: обоюдоострая; по крайней мере, в настоящее время за нее лучше не приниматься. Остается ненависть из-за убеждений; но тут-то уж я в высшей степени не верю в серьезность наших ненавистей. Были, например, у нас когда-то славянофилы и западники и очень воевали. Но теперь, с уничтожением крепостного права, закончилась реформа Петра, и наступил всеобщий *saute qui peut**. И вот, славянофилы и западники вдруг сходятся в одной и той же мысли, что теперь нужно всего ожидать от народа, что он встал, идет и что он, и только он один, скажет у нас последнее слово. На этом, казалось бы, славянофилам и западникам можно было и примириться; но случилось не так: славянофилы верят в народ, потому что допускают в нем свои

* Спасайся, кто может! (франц.).

собственные, ему свойственные начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал. Ну вот драка и продолжается; что же бы вы думали? Я даже и в самую драку не верю: драка дракой, а любовь любовью. И почему дерущиеся не могли бы в то же время любить друг друга? Напротив, это даже очень часто у нас случается, в тех случаях, когда подерутся уж слишком хорошие люди. А почему мы не хорошие люди (опять-таки кроме дрянных)? Ведь деремса-то мы главное и единственно из-за того, что теперь вдруг настало время уже не теорий, не журнальных ошибок, а дела и практического решения. Вдруг потребовалось высказать слово положительное — по воспитанию, по педагогике, по железным дорогам, по земству, по медицинской части и т. д. и т. д., на сотни тем, и, главное, все это сейчас и как можно скорее, чтобы не задерживать дела; а так как все мы, за двухсотлетней отвычкой от всякого дела, оказались совершенно неспособными даже на малейшее дело, то естественно, что все вдруг и вцепились друг другу в волосы, и даже так, что чем более кто почувствовал себя неспособным, тем пуще и полез в драку. Что же тут нехорошего, я спрошу вас. Это только трогательно, и более ничего. Взгляните на детей: дети дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать свои мысли, ну вот точь-в-точь так и мы. Ну и что же, тут вовсе нет ничего безотрадного; напротив, это отчасти доказывает лишь нашу свежесть и, так сказать, непочатость. Положим, у нас, в литературе например, за неимением мыслей, бранятся всеми словами разом: прием невозможный, наивный, у первобытных народов лишь замечающийся, но ведь, ей-Богу, даже и в этом есть опять нечто почти трогательное: именно эта неопытность, эта детская неумелость даже и выбраться как следует. Я вовсе не смеюсь и не глумлюсь: есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра (это уж как хотите, а это так), желание общего дела и общего блага, и это прежде всякого эгоизма, желание самое наивное и полное веры и при этом ничего обособленного, кастового, а если и встречается в маленьких и редких явлениях, то как нечто неприметное и все-

ми презираемое. Это очень важно, знаете чем: тем, что это не только не мало, но даже и очень много. Ну вот и довольно бы с нас: зачем нам еще какой-то там «прочной ненависти». Честность, искренность нашего общества не только не подвержены сомнению, но даже бьют в глаза. Вглядитесь и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом. О, дрянные людишки успевают и у нас обделывать свои дела, даже в самом противоположном смысле, и, кажется, в наше время даже несравненно больше, чем когда-либо прежде; но зато эти дрянные людишки никогда у нас не владеют мнением и не предводительствуют, а, напротив, даже будучи наверху честей, бывали не раз принуждаемы рабски подлаживаться под тон людей идеальных, молодых, отвлеченных, смешных для них и бедных. В этом смысле наше общество сходно с народом, тоже ценящим свою веру и свой идеал выше всего мирского и текущего, и в этом даже его главный пункт соединения с народом. Идеализм-то этот приятен и там и тут: утрать его, ведь никакими деньгами потом не купишь. Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначалия, и никогда даже самый подлец в народе не говорил: «Так и надо делать, как я делаю», а, напротив, всегда верил и воздыхал, что делает он скверно, а что есть нечто гораздо лучшее, чем он и дела его. А идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятельства, улучшится дело, и разврат, может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся незыблее и святее, чем когда-либо прежде. Юношество наше ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете, судьбою и жизнью; но ведь все это единственно потому, что считает свой парадокс за истину. Тут лишь непросвещение: подоспеет свет, и сами собою явятся другие точки зрения, а парадоксы исчезнут, но зато не исчезнет в нем чистота сердца, жажда жертв и подвигов, которая в нем так светится теперь — а вот это-то и всего лучше. О, другое дело и другой вопрос: в чем

именно мы все, ищущие общего блага и сходящиеся повсеместно в желании успеха общему делу, — в чем именно мы полагаем средства к тому? Надо признаться, что у нас в этом отношении совсем не спелись, и даже так, что наше современное общество весьма похоже в этом смысле на маршала Мак-Магона. В одну из поездок своих, весьма недавних, по Франции, почтенный маршал в одной из торжественных ответных речей своих какому-то мэру (а французы такие любители всяких встречных и ответных речей) объявил, что, по его мнению, вся политика заключается для него лишь в слове: «Любовь к Отечеству». Мнение это было изречено, когда вся Франция, так сказать, напрягалась в ожидании того, что он скажет. Мнение странное, бесспорно похвальное, но удивительно неопределенное, ибо тот же мэр мог бы возразить Его превосходительству, что иною любовью можно и утопить Отечество. Но мэр не возразил ничего, конечно, испугавшись получить в ответ: «J'y suis et j'y reste!»* — фразу, дальше которой почтенный маршал, кажется, не пойдет. Но хотя бы и так, а все-таки это точь-в-точь как и в нашем обществе: все мы сходимся в любви если не к Отечеству, то к общему делу (слова ничего не значат) — но в чем мы понимаем средства к тому, и не только средства, но и самое-то общее дело, — вот в этом у нас такая же неясность, как и у маршала Мак-Магона. И потому, хоть я и угодил иным и ценю, что мне протянули руку, ценю очень, но все-таки предчувствую чрезвычайные размолвки в дальнейших подробностях, ибо не могу же я во всем и со всеми быть согласным, каким бы складным человеком я ни был.

О любви к народу. Необходимый контракт с народом

Я вот, например, написал в январском номере «Дневника», что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, «варвар, ждущий света». А между тем я только что прочел

* «Я так сказал, и баста!» (франц.).

в «Братской помочи» (сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), — в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова², что русский народ — давно уже просвещен и «образован». Что же? Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько, я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается l'Ordre* и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и ши-

* Порядок (франц.).

роким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. Я не буду вспоминать про его исторические идеалы, про его Сергиев³, Феодосиев Печерских⁴ и даже про Тихона Задонского⁵. А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи. Но обращаюсь лучше к нашей литературе: все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная со смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас все ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорил вдруг о русской литературе. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем

добрая воля. Но о литературе пока довольно, да и заговорил я о ней по поводу лишь народа.

Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И, однако же, народ для нас всех — все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, давно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех. Что до меня, то я не потаю моих убеждений, именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой «Дневник», во избежание недоумений, так что всякий уже будет знать заранее: стоит ли мне протягивать литературную руку или нет? Я думаю так: вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтоб могли поставить самих себя в идеал народу и потребовать от него, чтоб он стал непременно таким же, как мы. Не дивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: «Что лучше — мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?» — вот что теперь все говорят, из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться перед правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи⁶. Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sine qua non**: чтоб на-

* Обязательно (*лат.*).

род и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть останется при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем врознь. Да противного случая и не будет вовсе; я же совершенно убежден, что это *нечто*, что мы принесли с собой, существует действительно, — не мираж, а имеет и образ и форму, и вес. Тем не менее, опять повторяю, многое впереди загадка и до того, что даже страшно и ждать. Предсказывают, например, что цивилизация испортит народ: это будто бы такой ход дела, при котором, рядом со спасением и светом, вторгается столько ложного и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколениях впереди, опять-таки, пожалуй, через двести лет, взрастут хорошие семена, а детей наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это, повашему, господи? Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новый фазис разврата и лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации? (Я думаю, никто ведь не заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата?)⁷ Я бы желал услышать на этот счет что-нибудь утешительное. Я очень склонен уверовать, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку; давайте способствовать вместе, каждый «микроскопическим» своим действием, чтоб дело обошлось прямее и безошибочнее. Правда, мы сами-то не умеем тут ничего, а только «любим Отечество», в средствах не согласимся и еще много раз поссоримся; но ведь если уж решено, что мы люди хорошие, то что бы там ни вышло, а ведь дело-то, под конец, наладится. Вот моя вера. Повторяю: тут двухсотлетняя отвычка от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш «культурный период» тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно, я говорю лишь о серьезных и искренних людях, — это они только

не понимают друг друга; А спекулянты дело другое: те друг друга всегда понимали...

Мужик Марей⁸

Но все эти professions de foi*, я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы⁹ с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, — все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись. «Je hais ces brigands!»**, — про-

* Исповедания веры (франц.).

** «Ненавижу этих разбойников!» (франц.).

скрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина умирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати, прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незамет-

ное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, — мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветренный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!». Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, — мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслу-

шав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»... — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, рódный. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай. — И он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял со своей кобы-

ленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

— Ну-ну! — послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марее, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и о Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни о чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень

маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь во встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни о каких Марях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!». Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!

[...]

М а р т

Верна ли мысль, что «лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»?

В «Листке» г-на Гаммы¹ («Голос», № 67) я прочел такой отзыв на мои слова, в февральском «Дневнике», о народе:

«Как бы то ни было, у одного и того же писателя, на расстоянии одного месяца, мы встречаемся с двумя, резко противоположными

ми друг другу мнениями по поводу народа. А ведь это не водевиль, а картинка передвижной выставки: ведь это приговор над живым организмом; это все равно что вертеть ножом в теле человека. Из своего действительного или мнимого противоречия г-н Достоевский выгораживается тем, что приглашает нас судить народ «не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать». Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. Идеалы эти «сильны и святы», и они-то «спасали его в века мучений». Не поздоровится от таких выгораживаний! Ведь и сам ад вымощен добрыми намерениями, и г-ну Достоевскому известно, что «вера без дел мертва». Да откуда же стали известны эти идеалы? Какой пророк или сердцевед в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостойна этих идеалов? Г-н Достоевский оправдывает наш народ в том смысле, что «они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут»². Но ведь отсюда недалеко и до нравоучения: пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша.

В этой выписке всего важнее вопрос г-на Гаммы: «Да откуда же стали известны эти идеалы?» (то есть народные). Положительно отказываюсь отвечать на такой вопрос, ибо, сколько бы мы ни проговорили на эту тему с г-ном Гаммой, мы никогда ни до чего не договоримся. Это спор длиннейший, а для нас важнейший. Есть у народа идеалы или совсем их нет — вот вопрос нашей жизни или смерти. Спор этот ведется слишком уж давно и остановился на том, что одним эти идеалы выяснились как солнце, другие же совсем их не замечают и окончательно отказались замечать. Кто прав — решим не мы, но решится это, может быть, довольно скоро. В последнее время раздалось несколько голосов в том смысле, что у нас не может быть ничего охранительного, потому что у нас «ничего охранять»³. В самом деле, если нет своих идеалов, то стоит ли тут заботиться и что-нибудь охранять? Что ж, если эта мысль приносит такое спокойствие, то и на здоровье.

«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь, но только идеалы у него хороши». Эту фразу или эту мысль я никогда не высказывал. Единственно, чтоб оговориться в этом, я и отвечаю г-ну Гамме. Напротив, я именно заметил, что и в на-

роде — «есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают». Они есть, почтенный публицист, есть в самом деле, и блажен — кто может их разглядеть. Думаю, что у меня тут, то есть собственно в этих словах, нет ни малейшей неясности. К тому же неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противоположных причин...

Что же касается до нравоучения, которым Вы кончаете Вашу заметку: «Пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша», — то замечу вам, что это желание совершенно невозможное: без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пушей мерзости. У меня же, по крайней мере, хоть шанс оставлен: если теперь неприглядно, то, при ясно сознаваемом желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего), можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими. По крайней мере, это вовсе не столь невозможно, как Ваше предположение стать лучшими при «дурных» идеалах, то есть при дурных желаниях.

Надеюсь, что на мои несколько слов вы не рассердитесь, г-н Гамма. Останемся каждый при нашем мнении и будем ждать развязки; уверяю Вас, что развязка, может быть, вовсе не так отдаленна.

Столетняя⁴

«В это утро я слишком запоздала, — рассказывала мне на днях одна дама, — и вышла из дому почти уже в полдень, а у меня, как нарочно, скопилось много дела. Как раз в Николаевской улице надо было зайти в два места, одно от другого недалеко. Во-первых, в контору, и у самых ворот дома встречаю эту самую старушку, и такая она мне показалась старенькая, согнутая, с палочкой, только все же я не угадала ее лет; до-

шла она до ворот и тут в уголку у ворот присела на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочем, я прошла мимо, а она мне только так мелькнула.

Минут через десять я из конторы выхожу, а тут через два дома магазин, и в нем у меня еще с прошлой недели заказаны для Сони ботинки, я и пошла их захватить кстати, только смотрю, а та старушка теперь уж у этого дома сидит, и опять на скамеечке у ворот, сидит, да на меня и смотрит; я на нее улыбнулась, зашла, взяла ботинки. Ну, пока минуты три-четыре прошло — пошла дальше к Невскому, ан смотрю — моя старушка уже у третьего дома, тоже у ворот, только не на скамеечке, а на выступе приютилась, а скамейки в этих воротах не было. Я вдруг перед ней остановилась невольно: что это, думаю, она у всякого дома садится?

— Устала, — говорю, — старушка?

— Устаю, родненькая, все устаю. Думаю: тепло, солнышко светит, дай пойду к внукам пообедать.

— Это ты, бабушка, пообедать идешь?

— Пообедать, милая, пообедать.

— Да ты этак не дойдешь.

— Нет, дойду, вот пройду сколь и отдохну, а там опять встану да пойду.

Смотрю я на нее, и ужасно мне стало любопытно. Старушка маленькая, чистенькая, одежда ветхая, должно быть из мещанства, с палочкой, лицо бледное, желтое, к костям присохшее, губы бесцветные, — мумия какая-то, а сидит — улыбается, солнышко прямо на нее светит.

— Ты, должно быть, бабушка, очень стара, — спрашиваю я, шутя разумеется.

— Сто четыре года, милая, сто четыре мне годика, *только всего* (это она пошутила)... А ты-то сама куда идешь?

И глядит на меня — смеется, обрадовалась она, что ли, поговорить с кем, только странно мне показалась у столетней такая забота — куда я иду, точно ей это так уж надо.

— Да вот, бабушка, — смеюсь и я, — ботиночки девочке моей в магазине взяла, домой несу.

— Ишь махонькие, башмачки-то, маленькая девочка-то у тебя? Это хорошо у тебя. И другие детки есть?

И опять все смеется, глядит. Глаза тусклые, почти мертвые, а как будто луч какой-то из них светит теплый.

— Бабушка, хочешь, возьми у меня пяточок, купи себе булочку, — и подаю я ей этот пяточок.

— Чтой-то ты мне пяточок? Что ж, спасибо, я и возьму твой пяточок.

— Так на, бабушка, не взыщи. — Она взяла. Видно, что не просит, не доведена до того, но взяла она у меня так хорошо, совсем не как милостыню, а так, как будто из вежливости или из доброты своего сердца. А впрочем, может, ей и очень понравилось это, потому что кто же с ней, со старушкой, заговорит, а тут еще с ней не только говорят, да еще о ней с любовью заботятся.

— Ну, прощай, — говорю, — бабушка. Дойди на здоровье.

— Дойду, роденькая, дойду. Я дойду. А ты к своей внучке ступай, — сбилась старушка, забыв, что у меня дочка, а не внучка, думала, видно, что уж и у всех внучки. Пошла я и оглянулась на нее в последний раз, вижу, она поднялась, медленно, с трудом, стукнула палочкой и поплелась по улице. Может, еще раз десять отдохнет дорогой, пока дойдет к своим «пообедать». И куда это она ходит обедать? Странная такая старушка».

Выслушал я в то же утро этот рассказ, — да, правда, и не рассказ, а так, какое-то впечатление при встрече со столетней (в самом деле, когда встретишь столетнюю, да еще такую полную душевной жизни?), — и позабыл о нем совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим пообедать: вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка.

Внучки ее, а может, и правнучки, да уж так зовет их она заодно внучками, вероятно, какие-нибудь цеховые, семейные,

разумеется, люди, не то она не ходила бы к ним обедать, живут в подвале, а может, и цирюльню какую-нибудь снимают, люди, конечно, бедные, но все же, может, питаются и наблюдают порядок. Добрела она к ним, вероятно, уже часу во втором. Ее и не ждали, но встретили, может быть, довольно приветливо.

— А вот и она, Марья Максимовна, входи, входи, милости просим, раба Божия!

Старушка входит, посмеиваясь, колокольчик у входа еще долго, резко и тонко звенит. Внучка-то ее, должно быть, жена этого цирюльника, а сам он еще человек нестарый, лет этак тридцати пяти, по ремеслу своему степенен, хотя ремесло и легкомысленное, и, уж разумеется, в засаленном, как блин, сюртуке, от помады, что ль, не знаю, но иначе я никогда не видал «цирюльников», равно как воротник на сюртуке всегда у них точно в муке вывалян. Трое маленьких деточек — мальчик и две девочки — мигом подбежали к прабабушке. Обыкновенно такие уж слишком старенькие старушки всегда как-то очень сходятся с детьми: сами-то уж очень они похожи на детей становятся душевно, иногда даже точь-в-точь. Села старушка; у хозяина не то гость, не то по делу, один тоже, лет сорока, знакомый его, уже уходить собирался. Да племянник к тому же гостит, сын сестры его, парень лет семнадцати, в типографию хочет определиться. Старушка перекрестилась и садится, глядит на гостя:

— Ох, устала! Это кто же такой у Вас?

— Это я-то? — отвечает гость, посмеиваясь, — что ж, Марья Максимовна, неужто нас не признали? Третьего-то года по опенки в лес все собирались вместе с Вами сходить.

— Ох, уж ты, знаю тебя, надсмешник. Помню тебя, вот только назвать как тебя не припомню, кто ты таков, а помню. Ох, устала я чтой-то.

— Да что ж Вы, Марья Максимовна, старушка почтенная, не растете нимало, вот что я тебя спросить хотел, — шутит гость.

— И, ну тебя, — смеется бабушка, видимо, впрочем, довольная.

— Я, Марья Максимовна, человек добрый.

— А с добрым и поговорить любопытно. Ох, все-то я задыхаюсь, мать. Пальцецо-то Сереженьке видно уж состроили?

Она указывает на племянника.

Племянник, бутузоватый и здоровый паренек, улыбается во весь рот и надвигается ближе; на нем новенькое серое пальцецо, и он еще не может равнодушно надевать его. Равнодушие придет разве только еще через неделю, а теперь он поминутно смотрит себе на обшлага, на лацканы и вообще на всего себя в зеркало и чувствует к себе особенное уважение.

— Да ты поди, повернись, — стрекочет жена цирюльница. — Смотри-ка, Максимовна, какое построили; ведь шесть рублей как одна копейка, дешевле, говорят нам у Прохорыча, теперь и начинать не стоит, сами, говорят, потом слезьми заплачете, а уж эдакому износу нет. Вишь материя-то! Да ты повернись! Подкладка-то какая, крепость-то, крепость-то, да ты повернись! Так-то вот и уходят денюжки, Максимовна, умылась наша копейка.

— Ах, мать, уж так теперь дорого стало на свете, что и ни с чем не совместно, лучше б и не говорила ты мне и не расстраивала меня, — с чувством замечает Максимовна, а все еще дух не может перевести.

— Ну, да и довольно, — замечает хозяин, — закусить бы надо. Что это ты, должно быть, уж очень, вижу я это, пристала, Марья Максимовна?

— Ох, умник, устала, денек-то теплый, солнышко; дай, думаю, их проведу... что лежать-то. Ох! А дорогой барыньку встретила, молодую, башмачки деткам купила: «Что это ты, старушка, говорит, устала? на-ка тебе пяточок: купи себе булочку...» А я, знаешь, и взяла пяточок-то...

— Да ты, бабушка, все же отдохни маленечко сперва-наперво, что это сегодня так задыхаешься? — как-то вдруг особенно заботливо проговорил хозяин.

Все на нее смотрят; уж очень бледна она вдруг стала, губы совсем побелели. Она тоже всех оглядывает, но как-то тускло.

— Вот, думаю... пряничков деткам... пяточок-то...

И опять остановилась, опять переводит дух. Все вдруг примолкли, секунд этак на пять.

— Что, бабушка? — склонился к ней хозяин.

Но бабушка не ответила; опять молчание, и опять секунд на пять. Старушка еще как бы белее стала, а лицо как бы вдруг все осунулось. Глаза остановились, улыбка застыла на губах; смотрит прямо, а как будто уж и не видит.

— За попом бы!.. — как-то вдруг и торопливо проговорил сзади вполголоса гость.

— Да... не... поздно ли... — бормочет хозяин.

— Бабушка, а бабушка? — окликает старушку жена цирюльника, вдруг вся всполохнувшись; но бабушка неподвижна, только голова клонится набок; в правой руке, что на столе лежит, держит свой пяточок, а левая так и осталась на плече старшего правнучка Миши, мальчика лет шести. Он стоит не шелохнется и большими удивленными глазами разглядывает прабабушку.

— Отошла! — мерно и важно произносит, восклонившись, хозяин и слегка крестится.

— Ведь вот оно! То-то, я вижу, вся клонится, — умиленно и отрывисто произносит гость; он ужасно поражен и на всех оглядывается.

— Ах, господи! Вот ведь! Как же теперь быть-то, Макарыч? Туда, что ль, ее? — щебечет хозяйка торопливо и вся растерявшись.

— Куда туды? — степенно откликается хозяин, — сами здесь справим; родная ты ей аль нет? А пойтить дать знать надо.

— Сто четыре годика, а! — толчется на месте гость, умиляясь все больше и больше. Он даже весь покраснел как-то.

— Да, забывать стала жисть-то в последние годы, — еще важнее и степеннее замечает хозяин, ища фуражку и снимая шинель.

— А ведь за минуту смеялась, как веселилась! Ишь пяточок-то в руке! Пряничков, говорит, о-ох, жисть-то наша!

— Ну, пойдем, что ли, Петр Степаныч, — прерывает гостя хозяин, и оба выходят. По такой, конечно, не плачут. Сто

четыре года, «отошла без болезни и непостыдно». Хозяйка послала к соседкам за подмогой. Те прибежали мигом, почти с удовольствием выслушав весть, охая и вскрикивая. Первым делом поставили, разумеется, самоварчик. Дети с удивленным видом забились в угол и издали смотрят на мертвую бабушку. Миша, сколько ни проживет, все запомнит старушку, как умерла, забыв руку у него на плече, ну а когда он умрет, никто-то на всей земле не вспомнит и не узнает, что жила-была когда-то такая старушка и прожила сто четыре года, для чего и как — неизвестно. Да и зачем помнить: ведь все равно. Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно. Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умиленное и тихое, как бы нечто даже важное и миротворное: сто лет как-то странно действуют до сих пор на человека. Благослови Бог жизнь и смерть простых добрых людей!

А впрочем, так, легкая и бессюжетная картинка. Право, наметишь пересказать из слышанного за месяц что-нибудь позанимательнее, а как приступишь, то как раз или нельзя, или нейдет к делу, или «не все то говори, что знаешь», а в конце концов остаются все только самые бессюжетные вещи...

«Обособление»

А между тем я пишу «о виденном, слышанном и прочитанном». Хорошо еще, что не стеснил себя обещанием писать обо всем «виденном, слышанном и прочитанном». Да и слышишь-то все больше странности. Как передавать их, когда все это само собою лезет врозь и ни за что не хочет сложиться в один пучок! Право, мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления»⁵. Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает со своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать

с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но все же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом. Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, т. е. Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев, новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшь положения и составляет все назидание. Во всем этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе, и обособился и, разумеется, этим очень доволен. Этот примерчик, впрочем, старый и маленький, но слышал я и еще на днях рассказ об одном новом слове: был некто «нигилистом», отрицал, пострадал и, после долгих передрыг и даже заточений, обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство. Что ж, вы думаете, он тотчас сделал? Он мигом «уединился и обособился», нашу христианскую веру тотчас же и тщательно обошел, все это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но зато «свою собственную». У него жена и дети. С женой он не живет, а дети в чужих руках. Он на днях бежал в Америку, очень

может быть, чтоб проповедовать там новую веру. Одним словом, каждый сам по себе и каждый по-своему, и неужто они только оригинальничают, представляются? Вовсе нет. Нынче у нас момент скорее правдивый, чем рефлекторный. Многие, и, может быть, очень многие, действительно тоскуют и страдают; они в самом деле и серьезнейшим образом порвали все прежние связи и *принуждены* начинать сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только им поддакивают, иные страха ради иудейского (как-де не пустить его в Америку: в Америку бежать все-таки либерально), а иные так просто наживаются на их счет. Так и гибнут свежие силы. Мне скажут, что это всего два-три факта, которые ничего не означают, что, напротив, все несомненно тверже прежнего обобщается и соединяется, что являются банки, общества, ассоциации. Но неужели вы и вправду укажете мне на эту толпу бросившихся на Россию восторжествовавших жидов и жидишек? Восторжествовавших и восторженных, потому что появились теперь даже и восторженные жида, иудейского и православного исповедания. И что же, даже и о них теперь пишут в наших газетах, что они уединяются и что, например, над съездами представителей наших русских поземельных банков смеется вдоволь заграничная пресса по поводу

«...тайных заседаний первых двух съездов, не без иронии спрашивая: каким образом и по какому праву русские поземельно-кредитные учреждения имеют смелость претендовать на доверие публики, когда они своими тайными заседаниями, проходящими за тщательно охраняющими их китайскими стенами, скрывают все от публики, давая этим ей даже понять, что у них действительно творится что-то недоброе...»

Вот, стало быть, даже и эти господа обособляются и заворачиваются и замышляют что-то свое и по-своему, а не так, как во всем свете это делается. Впрочем, я о банках вдвинул шутя: не мое пока дело, а я только об обособлении. Как бы мне объяснить эту мысль получше? Кстати, приведу несколько мыслей о наших корпорациях и ассоциациях из одной рукописи,

не моей, а мне присланной и нигде не напечатанной⁶. Автор обращается к своим оппонентам в провинции:

«Вы говорите, что артели, ассоциации, корпорации, кооперации, торговые и другие всякие товарищества основаны на врожденном человеку чувстве общительности? Выгораживая русскую артель, которая еще слишком мало исследована, чтобы говорить о ней что-либо положительное, мы думаем, что все эти ассоциации, корпорации и проч. — все это лишь союзы одних против других, союзы, основанные на чувстве самоохранения, вызванные борьбою за существование; и это мнение наше подтверждается историею возникновения этих союзов, которые заключались сначала бедными и слабыми против богатых и сильных, а потом и эти последние стали пользоваться оружием своих противников. Да, история несомненно свидетельствует, что все эти союзы возникли из братской вражды, основаны не на потребности общения, как вы полагаете, а на чувстве страха за свое существование или же на желании получить барыш, выгоду, пользу, хотя бы и на счет ближнего. Всматриваясь же в устройство всех этих детищ утилитаризма, мы видим, что главная их забота — это устройство надежного контроля каждого за всеми и всех за каждым, — попросту, поголовно шпионства из боязни, как бы кто не надул кого. Все эти ассоциации с их контролем внутри и завистливою ко всему постороннему внешней деятельностью представляют поразительную параллель с тем, что творится в политическом мире, где взаимные отношения народов характеризуются вооруженным миром, прерываемым кровопролитными схватками, внутренняя же их жизнь — бесконечною борьбою партий. О каком же общении, о какой любви тут может быть речь! Не потому ли все эти учреждения так плохо и прививаются у нас, что мы еще слишком просторно живем, что нам нет еще основания слишком вооружаться друг против друга, что в нас слишком еще много расположения, веры друг к другу, и эти чувства мешают нам устроить такой контроль, такое шпионство друг за другом, как это необходимо при устройстве всех этих ассоциаций, коопераций, торговых и других товариществ, при недостаточности же контроля они идти не могут, они непременно лопаются.

Уж не будем ли мы сокрушаться о таких наших недостатках, сравнительно с нашими более образованными западными соседями?! Нет, мы, по крайней мере, в этих наших недостатках видим наше богатство, видим, что в нас еще действует с некоторой силой то чувство единения, без которого человеческие общества существовать не мо-

гут; хотя оно, действуя в людях бессознательно, приводит их как к великим подвигам, так, весьма часто, и к великим порокам. Но в ком это чувство еще не убито, для того все возможно, лишь бы оно, это чувство, из бессознательного, из инстинкта, обратилось в силу сознательную, в такую, которая не бросала бы нас в ту или другую сторону, по слепому капризу случая, а направлялась бы нами к достижению разумных целей; без этого же чувства единения, взаимной любви, общения людей между собою, немислимо ничто великое, потому что немислимо и само общество».

То есть автор, видите ли, может быть, и не совсем уж так прокликает ассоциации и корпорации, а он только утверждает, что их *теперешний* главный принцип состоит всего лишь только в утилитаризме да еще в шпионстве и что это вовсе не есть *единение людей*. Все это молодо, свежо, теоретично, непрактично, но в принципе совершенно верно и написано не только искренно, но со страданием и болением. И заметьте всеобщую черту: все дело у нас теперь в первом шаге, в практике, а все, все до единого, кричат и заботятся лишь о принципах... История рукописи, из которой взял я вышеприведенную выдержку, следующая. Почтенный автор ее (не знаю только, молодой ли человек или из молодых стариков) напечатал одну небольшую заметку в одном губернском издании, а редакция губернского издания, поместив его заметку, сделала рядом и свою оговорку, отчасти с ним не согласную. Затем, когда автор заметки написал в опровержение этой, с ним не согласной, оговорки уже целую статью (впрочем, не очень большую), то редакция губернского издания отказалась поместить у себя эту статью под предлогом, что это «скорее проповедь, чем статья». Тогда автор обратился ко мне письмом и, посылая мне эту отказанную статью, просил меня, чтоб я ее прочел, вникнул и сказал о ней в «Дневнике» мое мнение. Во-первых, я благодарю за доверие к моему мнению, а во-вторых — благодарю за статью, потому что она доставила мне чрезвычайное удовольствие: я редко читал что-нибудь *логичнее*, и хоть я всю статью поместить не могу, но предыдущую выдержку сделал с намерением, которого и не

потаю: дело в том, что у автора ее, хлопчущего об истинном единении людей, я нашел чрезвычайно тоже «обособленный» в своем роде размах, и именно в тех частях рукописи, которые я не рискну приводить, до того обособленный, что даже редко и встречается; так что не статья одна, а и сам уже автор ее как бы подтверждает мою мысль об «обособлении» единиц и чрезвычайном, так сказать, химическом разложении нашего общества на составные его начала, наступившем вдруг в наше время.

Прибавлю, однако, что если все теперь «сами от себя и сами по себе», то не без связи же, однако, и с предыдущим. Напротив, связь эта должна существовать непременно, хотя бы и все казалось разрозненным и друг друга не понимающим, и проследить эту связь всего бы любопытнее. Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучок разлетится на множество слабых былинки, которые разнесет первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался. Что ж, неужели не правда, что правительство наше, за все время двадцатилетних реформ своих, не нашло у нас *всей* поддержки интеллигентных сил наших? Напротив, не ушла ли огромная часть молодых, свежих и драгоценных сил в какую-то странную сторону, в обособление с глумлением и угрозой, и именно опять-таки из-за того, чтоб вместо первых девяти шагов ступить прямо десятый, забывая притом, что десятый-то шаг, без предшествовавших девяти, уж *во всяком случае* обратится в фантазию, даже если б он и значил что-нибудь сам по себе. Всего обиднее, что понимает что-нибудь в этом десятом шаге, может быть, всего только один из тысячи отщепенцев, а остальные слышали, как в колокола звонят. В результате пусто: курица болтуна снесла. Видали ль вы в знойное лето лесной пожар? Как жалко смотреть и какая тоска! сколько напрасно гибнет ценного материала, сколько сил, огня и тепла уходит даром, бесследно и бесполезно.

Мечты о Европе

«А в Европе, а везде, разве не то же, разве не обратились в грустный мираж все соединяющие тамошние силы, на которые и мы так надеялись; разве не хуже еще нашего тамошнее разложение и обособление?» Вот вопрос, который не может миновать русского человека. Да и какой истинный русский не думает прежде всего о Европе?

Да, на вид там, пожалуй, еще хуже нашего; разве только историческая причинность обособлений виднее; но тем, пожалуй, там и безотраднее. Именно в том, что у нас труднее всего добраться до какой-нибудь толковой причины и выследить все концы наших порванных нитей, — именно в этом и заключается для нас как бы некоторое утешение: разберут под конец, что растрата сил незрелая и ни с чем несообразная, наполовину искусственная и вызванная, и, в конце концов, может быть, и захотят согласиться. Так что все же есть надежда, что пучок опять соберется. Там же, в Европе, уже никакой пучок не свяжется более; там все обособилось не по-нашему, а зрело, ясно и отчетливо, там группы и единицы доживают последние сроки и сами знают про то; уступить же друг другу не хотят ничего и скорее умрут, чем уступят.

Кстати, у нас все теперь говорят о мире. Все предрекают мир долгий, всюду видят горизонт ясный, союзы и новые силы. Даже в том, что установилась в Париже республика, видят мир; даже в том, что республику эту устанавливал Бисмарк, — и в том видят мир. В согласии великих восточных держав бесспорно видят великие залогов мира, а иные из газет наших так даже и в герцеговинской теперешней смуте, вдруг, вместо недавних своих же тревог, стали замечать несомненные признаки прочности европейского мира (уже не потому ли, кстати, что ключ и к герцеговинскому вопросу очутился тоже в Берлине и тоже в шкапулке у князя Бисмарка?⁷). Но больше всего у нас рады французской республике. Кстати, почему Франция все

еще продолжает стоять на первом плане в Европе, несмотря на победивший ее Берлин? Самое малейшее событие во Франции возбуждает в Европе до сих пор более симпатии и внимания, чем иногда даже крупное берлинское. Бесспорно потому, что страна эта — есть страна всегдашнего первого шага, первой пробы и первого почина идей. Вот почему все оттуда ждут несомненно и «начала конца»: кто же прежде всех шагнет этот роковой и конечный шаг, как не Франция?

Вот почему, может быть, в этой «передовой» стране и определилось всего более самых непримиримых «обособлений». Мир там совсем невозможен, до самого «конца». Приветствуя республику, все в Европе утверждали, что она уже тем одним необходима для Франции и для Европы, что только при ней невозможна будет «война возмездия» с Германией и что только одна республика, из всех еще недавно претендовавших на Францию правительств⁸, не рискнет и не захочет предпринять его. А между тем это все мираж — и республика провозглашена именно для войны, если не с Германией, то с еще более опасным соперником, — соперником и врагом всей Европы, — коммунизмом, и этот соперник теперь, при республике, восстанет гораздо раньше, чем было бы при всяком другом правительстве! Всякое другое правительство вошло бы с ним в соглашение и тем отдалило бы развязку, а республика ничего не уступит ему и даже сама вызовет и принудит его на бой первая. Итак, пусть не утверждают, что «республика — это мир». В самом деле, кто провозгласил в этот раз республику? Все буржуа и мелкие собственники. Давно ль они сделались такими республиканцами, и не они ль доселе более всего боялись республики, видя в ней лишь одну неурядицу и один шаг к страшному для них коммунизму? Конвент, в первую революцию, раздробил во Франции крупную собственность эмигрантов и церкви на мелкие участки и стал продавать их, ввиду непрерывного тогдашнего финансового кризиса. Эта мера обогатила огромную часть французов и дала ей возможность уплатить, через восемьдесят лет, пять миллиардов контрибуции, почти не поморщившись. Но, способствовал вре-

менному благосостоянию, мера эта на страшно долгое время парализовала стремления демократические, безмерно умножив армию собственников и предав Францию безграничному владычеству буржуазии — первого врага демоса. Без этой меры не удержалась бы ни за что буржуазия столь долго во главе Франции, заместив собою прежних повелителей Франции — дворян. Но вследствие того ожесточился и демос уже непримиримо; сама же буржуазия извратила естественный ход стремлений демократических и обратила их в жажду мести и ненависти. Обособление партий дошло до такой степени, что весь организм страны разрушился окончательно, даже до устранения всякой возможности восстановить его. Если еще держится до сих пор Франция как бы в целом виде, то единственно по тому закону природы, по которому даже и горсть снега не может растаять раньше определенного на то срока. Вот этот-то призрак целостности несчастные буржуа, а с ними и множество простодушных людей в Европе, продолжают еще принимать за живую силу организма, обманывая себя надеждой и в то же время трепеща от страха и ненависти. Но в сущности единение исчезло окончательно. Олигархи имеют в виду лишь пользу богатых, демократия лишь пользу бедных, а об общественной пользе, пользе всех и о будущем всей Франции там уж никто теперь не заботится, кроме мечтателей социалистов и мечтателей позитивистов, выставляющих вперед науку и ждущих от нее всего, то есть нового единения людей и новых начал общественного организма, уже математически твердых и незыблемых. Но наука, на которую столь надеются, вряд ли в состоянии взяться за это дело сейчас. Трудно представить, чтоб она уже настолько знала природу человеческую, чтоб безошибочно установить новые законы общественного организма; а так как это дело не может колебаться и ждать, то представляется сам собою вопрос: готова ли наука к такой задаче *сейчас*, если б даже эта задача и не превышала сил ее в дальнейшем будущем ее развитии? (О том, что задача эта несомненно превышает силы науки человеческой, даже и во всем будущем ее развитии, — мы пока утверждать уклонимся.)

Так как наука сама наверно отвечать на такой призыв откажется, то отсюда ясно, что всем движением демоса управляют во Франции (да и везде во всем мире) пока лишь мечтатели, а мечтателями — всевозможные спекулянты. Да и в самой науке разве нет мечтателей? Правда, мечтатели овладели движением даже по праву, ибо они одни во всей Франции заботятся о единении всех и о будущем, а стало быть, к ним как бы нравственно и переходит преимущество во Франции, несмотря на всю их видимую слабость и фантастичность, и это все чувствуют. Но ужаснее всего то, что тут, помимо всего фантастичного, явилось рядом и стремление самое жестокое и бесчеловечное и уже не фантастическое, а реальное и исторически неминуемое. Все оно выражается в поговорке: «Ote toi de là, que je m'y mette» (Прочь с места, я стану вместо тебя!). У миллионов демоса (кроме слишком немногих исключений) на первом месте, во главе всех желаний, стоит грабеж собственников. Но нельзя винить нищих: олигархи сами держали их в этой тьме и до такой степени, что, кроме самых ничтожных исключений, все эти миллионы несчастных и слепых людей, без сомнения, в самом деле и наивнейшим образом думают, что именно через этот-то грабеж они и разбогатеют и что в том-то и состоит вся социальная идея, о которой им толкуют их вожаки. Да и где им понять их предводителей мечтателей или какие-либо там пророчества о науке? Тем не менее они победят несомненно, и если богатые не уступят вовремя, то выйдут страшные дела. Но никто не уступит вовремя, — может быть и от того, впрочем, что уже прошло время уступок. Да нищие и не захотят их сами, не пойдут ни на какое теперь соглашение, даже если б им все отдавали: они все будут думать, что их обманывают и обсчитывают. Они хотят расправиться сами.

Бонапарты тем и держались, что обещали возможность соглашения с ними и делали даже микроскопические к тому попытки, всегда, однако, коварные и неискренние. Но олигархи в них разуверились, да и демос им не верит ни капли. Что же до правительства королей (старшей линии)⁹, то те могут выставить пролетариям, как спасение, в сущности лишь

одну римско-католическую веру, которую не только демос, но и огромное большинство Франции давно уже не знает, да и знать не хочет. Говорят даже, что между пролетариями с чрезвычайною силою развивается в последнее время спиритизм, по крайней мере в Париже. Младшая же линия королей (орлеанская)¹⁰ стала ненавистна даже самой буржуазии, хотя некоторое время эту фамилию и считали как бы естественною предводительницею французских собственников. Но неспособность их стала для всех очевидною. Тем не менее собственникам надо было спасать себя, им надо было непременно и как можно скорее приискать себе предводителя для великой и последней битвы со страшным грядущим врагом. Сознание и инстинкт шепнули им на этот раз верный секрет, и они выбрали республику.

Есть такой политический, а пожалуй, и естественный, закон природы, который состоит в том, что два сильные и ближайшие друг к другу соседа, как бы ни были дружны, всегда кончат желанием истребить один другого и, рано ли, поздно ли, приведут это желание в действие. (Об этом правиле сильного соседства можно бы было и нам, русским, поболее подумать.) «От красной республики прямой переход к коммунизму» — вот эта-то мысль и устрашала до сих пор французов-собственников, и столько времени должно было пройти, пока они вдруг, в огромном большинстве, теперь догадались, что ближайшие-то соседи и будут самыми ожесточенными врагами, уже из одного только принципа самосохранения. В самом деле, несмотря на столь близкое соседство красной республики с коммунизмом, — что, на деле, может быть враждебнее и радикально-противоположное коммунизму, как не республика, даже хотя бы кровавая республика 93 года? В республике прежде всего республиканская форма и «la république avant tout, avant la France»*. В республике вся надежда лишь на форму: пусть будет «Мак-Магония» вместо Франции, но пусть только она называется республикой, — вот характеристика теперешней «победы» республи-

* «Республика прежде всего, прежде Франции» (франц.).

канцев во Франции. Итак, в форме ищут спасения. С другой стороны, какое дело коммунизму до республиканской формы, когда он в основе своей отрицает не только всякую форму правления, но и само государство, но и все современное общество? Эту прямую противоположность, этот взаимный антитез двух сил нужно было восемьдесят лет сознать массе французов, но наконец-то она сознала его и — утвердила республику: врагу выставила наконец самого опаснейшего и самого естественного ему соперника. Не захочет ни за что республика, перейдя в коммунизм, уничтожиться. В сущности республика есть самое естественное выражение и форма буржуазной идеи, да и вся буржуазия-то французская есть дитя республики, создалась и организовалась лишь республикой, в первую революцию. Таким образом, обособление совершилось окончательно. Скажут, что война еще далеко. Вряд ли так далеко. Может быть, даже и лучше не желать отдаления развязки. Уж и теперь социализм проел Европу, а к тому времени уже подточит все окончательно. Князь Бисмарк про это знает, но слишком по-немецки надеется на кровь и железо¹¹. Но что тут сделаешь кровью и железом?

Сила мертвая и силы грядущие

Скажут: но все-таки теперь, сейчас, нет ни малейшей причины тревожиться, все ясно, все светло: во Франции «Мак-Магония», на Востоке великое соглашение держав, военные бюджеты увеличиваются непомерно и повсеместно, — как же не мир?

А папа¹²? Ведь он сегодня-завтра умрет и — что тогда будет? Неужели римское католичество согласится умереть с ним вместе для компании? О, никогда оно так не жаждало жить как теперь! Впрочем, наши пророки разве могут не смеяться над папой? Вопрос о папе у нас даже и не ставится вовсе и обращен ни во что. А между тем это «обособление» слишком огромное и слишком полное самых необъятных и

невместимых желаний, чтоб согласиться отказаться от них ради мира всего мира. Да и для чего, в угоду чему отказаться? Ради человечества, что ли? Оно давно уже считает себя выше всего человечества. До сих пор оно блудодействовало лишь с сильными земли и надеялось на них до последнего срока. Но срок этот пришел теперь, кажется, окончательно, и римское католичество несомненно бросит властителей земных, которые, впрочем, сами ему изменили и давно уже в Европе затеяли на него всеобщую травлю, а теперь, в наши дни, уже окончательно организовавшуюся. Что ж, римское католичество и не такие повороты проделывало: раз, когда надо было, оно, не задумавшись, продало Христа за земное владение. Провозгласив как догмат, «что христианство на земле удержаться не может без земного владения папы», оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье дьяволово искушение, на царства земные: «Все сие отдам тебе, поклонися мне!» О, я слышал горячие возражения на эту мысль; мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно. К тому же Рим слишком еще недавно провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение в виде твердого догмата, а потому всех прямых последствий этого огромного решения нам еще заметить нельзя было. Замечательно, что провозглашение этого догмата, это открытие «всего секрета», произошло именно в то самое мгновение, когда объединенная Италия стучалась уже в ворота Рима. У нас многие тогда над этим смеялись: «Сердит, да не силен...» Только навряд ли не силен. Нет, такие люди, способные на такие решения и повороты, не могут умереть без боя. Возразят, что это и всегда так было в католичестве, по крайней мере подразумевалось, и что, стало быть, вовсе не было никакого переворота. Да, но всегда был секрет: папа много веков делал вид, что доволен крошечным владеньицем своим, Папскою областью¹³, но все это лишь единственно для аллегории; главное же в том, что в этой ал-

легории неизменно таилось зерно главной мысли, с несомненной и всегдашней надеждой папства, что зерно это разовьется в будущем в пышное дерево и осенит им всю землю. И вот, в самое последнее мгновение, когда отнимали от него последнюю десятину его земного владения, владыка католичества, видя смерть свою, вдруг восстает и изрекает всю правду о себе всему миру: «Это вы думали, что я только титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал себя владыкой всего мира и всех царей земных, и не духовным только, а земным, настоящим их господином, властителем и императором. Это я — царь над царями и господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена и сроки; и вот я всемирно объявляю это теперь в догмате моей непогрешимости». Нет, тут сила; это величаво, а не смешно; это — воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве; это Рим Юлиана Отступника¹⁴, но не побежденного, а как бы победившего Христа в новой и последней битве. Таким образом продажа истинного Христа за царства земные совершилась.

И в римском католичестве она совершится и закончится и на деле. Повторяю, у этой страшной армии слишком острые глаза, чтобы не разглядеть наконец, где теперь настоящая сила, на которую бы ей опереться. Потеряв союзников царей, католичество несомненно бросится к демосу. У него десятки тысяч соблазнительей, премудрых, ловких, сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников, а народ всегда и везде был прямодушен и добр. К тому же во Франции, а теперь так даже и во многих местах Европы, народ хоть и ненавидит веру и презирает ее, но все же Евангелия не знает совсем, по крайней мере во Франции. Все эти сердцеведы и психологи бросятся в народ и понесут ему Христа нового, уже на все согласившегося, Христа, объявленного на последнем римском нечестивом соборе. «Да, друзья и братья наши, — скажут они, — все, о чем вы хлопчете, — все это есть у нас для вас в этой книге давно уже, и ваши предводители все это украли

у нас. Если же до сих пор мы говорили вам немного не так, то это потому лишь, что до сих пор вы были еще как малые дети и вам рано было узнавать истину, но теперь пришло время и вашей правды. Знайте же, что у папы есть ключи святого Петра и что вера в Бога есть лишь вера в папу, который на земле самим Богом поставлен вам вместо Бога¹⁵. Он непогрешим, и дана ему власть Божеская, и он владыка времен и сроков; он решил теперь, что настал и ваш срок. Прежде главная сила веры состояла в смирении, но теперь пришел срок смирению, и папа имеет власть отменить его, ибо ему дана всякая власть. Да, вы все братья, и сам Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой. Христос долго ждал, что развратные старшие братья ваши покаются, а теперь он сам разрешает вам провозгласить: «*Fraternite ou la mort*» (Будь мне братом или голову долой)! Если брат твой не хочет разделить с тобой пополам свое имение, то возьми у него все, ибо Христос долго ждал его покаяния, а теперь пришел срок гнева и мщениия. Знайте тоже, что вы безвинны во всех бывших и будущих грехах ваших, ибо все грехи ваши происходили лишь от вашей бедности. И если вам уже возвещали про это, еще прежде, ваши бывшие предводители и учителя, то знайте, что хоть они и правду вам говорили, но власти не имели вам возвещать ее раньше срока, ибо власть эту имеет только один папа от самого Бога, а доказательство в том, что эти учителя ваши ни до чего вас путного не довели, кроме казней и пущих бедствий, и что всякое начинание их погибало само собой; да к тому же они все мошенничали, чтоб, опираясь на вас, показаться сильными и потом продать себя подороже врагам вашим. А папа вас не продаст, потому что над ним нет сильнеешего, и сам он первый из первых, только веруйте, да и не в Бога, а только в папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны исчезнуть, ибо и им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все

ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу». Слова эти льстивые, но без сомнения демос примет предложение: он разглядит в неожиданном союзнике объединяющую великую силу, на все соглашающуюся и ничему не мешающую, силу действительную и историческую, вместо предводителей, мечтателей и спекулянтов, в практические способности которых, а иногда и в честность, он и теперь сплошь да рядом не верует. Тут же вдруг и точка приложения силы готова, и рычаг дают в руки, стоит лишь налечь всей массой и повернуть. А народ ли не повернет, он ли не масса? А в довершение ему дают опять веру и успокаивают тем сердца слишком многих, ибо слишком многие из них давно уже чувствовали тоску без Бога...

Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе¹⁶. Пусть мне простят мою самонадеянность, но я уверен, что все это несомненно осуществится в Западной Европе, в той или другой форме, то есть католичество бросится в демократию, в народ и оставит царей земных за то, что те сами его оставили. Все власти в Европе тоже его презирают, потому что оно на вид теперь слишком бедно и слишком побеждено, но все же не представляют его себе в таком комическом виде и положении, в каком столь простодушно представляется оно нашим политическим публицистам. А, однако, не стал бы, например, Бисмарк так преследовать его, если б не почувствовал в нем страшного, ближайшего и скорого врага в будущем. Князь Бисмарк человек слишком гордый, чтоб напрасно тратить столько силы с комически бессильным врагом. Но папа сильнее его. Повторяю: теперь папство есть, может быть, самое страшное «обособление» из всех грозящих миру всего мира. А грозит миру многое. И никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. Точно все подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры...

«Да нам-то что? Это все там в Европе, а не у нас?» А нам-то что, к нам же ведь и застучится Европа и закричит, чтоб мы шли спасать ее, когда пробьет последний час ее «теперешнему порядку вещей». И она потребует нашей помощи как бы

по праву, потребует с вызовом и приказанием; она скажет нам, что и мы Европа, что и у нас, стало быть, такой же точно «порядок вещей», как и у них, что недаром же мы подражали им двести лет и хвастались, что мы европейцы, и что, спасая ее, мы, стало быть, спасем и себя. Конечно, мы, может быть, и не расположены бы были решить дело единственно в пользу одной стороны, но под силу ли нам будет такая задача и не отвыкли ль мы давно от всякой мысли о том, в чем заключается наше настоящее «обособление» как нации и в чем настоящая наша роль в Европе? Мы не только не понимаем теперь подобных вещей, но и вопросов таких не допускаем, и слушать о них считаем за глупость и за отсталость нашу. И если действительно Европа постучится к нам за тем, чтоб мы вставали и шли спасать ее l'Ordre, то, может быть, тогда-то лишь в первый раз мы и пойдем, все вдруг разом, до какой степени мы все время не похожи были на Европу, несмотря на все двухсотлетнее желание и мечты наши стать Европой, доходившие у нас до таких страстных порывов. А пожалуй, не пойдем и тогда, ибо будет поздно. А если так, то уж, конечно, не пойдем и того, чего Европе от нас надо, чего она у нас просит и чем действительно мы могли бы помочь ей? И не пойдем ли мы, напротив, усмирять врага Европы и ее порядка тем же самым железом и кровью, как и князь Бисмарк? О, тогда, в случае такого подвига, мы уже смело могли бы поздравить себя *вполне европейцами*.

Но все это впереди, все это такие фантазии, а теперь все так ясно, ясно!

[...]

Словцо об отчете ученой комиссии о спиритических явлениях

«Обособление» ли спириты? Я думаю, что да. Наш возникающий спиритизм, по-моему, грозит в будущем чрезвычайно опасным и скверным «обособлением». «Обособление» есть ведь

разъединение; я в этом смысле и говорю, что в нашем молодом спиритизме заметны сильные элементы к восполнению и без того уже все сильнее и прогрессивнее идущего разъединения русских людей. Ужасно мне нелепо и досадно читать иногда, у некоторых мыслителей наших, о том, что наше общество спит, дремлет, лениво и равнодушно; напротив, никогда не замечалось столько беспокойства, столько метания в разные стороны и столько искания чего-нибудь такого, на что бы можно было нравственно опереться, как теперь. Каждая самая беспутная даже идея, если только в ней предчувствуется хоть малейшая надежда что-нибудь разрешить, может надеяться на несомненный успех. Успех же всегда ограничивается «обособлением» какой-нибудь новой кучки. Вот так и со спиритизмом. И каково же было мое разочарование, когда я прочел наконец в «Голосе» отчет известной комиссии, о которой так все кричали и возвещали, о спиритических явлениях, наблюдавшихся всю зиму в доме г-на Аксакова¹⁷. А я-то так ждал и надеялся, что этот отчет раздавит и раздробит это непотребное (в его мистическом значении) новое учение. Правда, у нас, по-видимому, еще не замечается никаких *учений*, а идут лишь пока одни «наблюдения»; но так ли это на самом деле? Жаль, что в эту минуту я не имею ни времени, ни места подробнее изложить мою мысль; но в следующем, апрельском моем «Дневнике» я, может быть, и решусь заговорить опять о спиритах. Впрочем, может быть, я обвиняю отчет комиссии напрасно: не она, конечно, виновата в том, что я так сильно на нее надеялся и что ожидал от нее, может быть, совсем невозможного, чего она никогда и не могла дать. Но во всяком случае «Отчет» грешит изложением, редакцией. Изложение это такого свойства, что в нем противники отчета непременно отыщут «предвзятое» отношение к делу (стало быть, весьма ненаучное), хотя, может быть, в комиссии вовсе не было столько этой «предвзятости», чтоб можно было за то обвинить ее. (Немного-то предвзятости было, без этого у нас уж никак нельзя.) Но редакция грешит несомненно: комиссия позволяет, например, себе заключать о таких явлениях спиритизма (о материализации духов, например), которые она,

по собственному ее признанию, не наблюдала вовсе. Положим, она сделала это в виде, так сказать, нравоучения, в нравоучительном и предупредительном смысле, забегая вперед явлений, для пользы общества, чтоб спасти легкомысленных людей от соблазна. Идея благородная, но вряд ли уместная в настоящем случае. Впрочем, что же: неужели сама комиссия, состоящая из стольких ученых людей, могла серьезно надеяться затушить нелепую идею в самом начале? Увы, если б комиссия представила даже самые явные и прямые доказательства «подлогов», даже если б она изловила и изобличила «плутующих» на деле и, так сказать, поймав их за руки (чего, впрочем, отнюдь не случилось), то и тогда бы ей никто не поверил из увлекшихся спиритизмом, даже из желающих только увлечься, по тому вековечному закону человеческой природы, по которому, в мистических идеях, даже самые математические доказательства — ровно ничего не значат. А тут, в этом-то, в нашем возникающем спиритизме, — клянусь, на первом плане лишь идея мистическая, и — что же вы с нею можете сделать? Вера и математические доказательства — две вещи несовместимые. Кто захочет поверить — того не остановите. А тут вдобавок и доказательства далеко не математические.

Тем не менее отчет все бы мог быть полезен. Он мог быть несомненно полезен для всех еще не соvrащенных и пока еще равнодушных к спиритизму. А теперь, при «хотении верить», хотению может быть дано новое оружие в руки. Да и слишком презрительно-высокомерный тон отчета можно бы было смягчить; право, можно подумать, читая его, что обе почтенные стороны, во время наблюдений, почему-либо лично поссорились. На массу это подействует не в пользу «Отчета».

Единичные явления

Но является и другой разряд явлений, довольно любопытный, особенно между молодежью. Правда, явления пока единичные. Рядом с рассказами о нескольких несчастных

молодых людях, «идуших в народ», начинают рассказывать и о другой совсем молодежи. Эти новые молодые люди тоже беспокоятся, пишут к вам письма или сами приходят со своими недоумениями, статьями и с неожиданными мыслями, но совсем не похожими на те, которые мы до сих пор в молодежи встречать привыкли. Так что есть некоторый повод предположить, что в молодежи нашей начинается некоторое движение, совершенно обратное прежнему. Что же, этого, может быть, и должно было ожидать. В самом деле: чьи они дети? Они именно дети тех «либеральных» отцов, которые, в начале возрождения России, в нынешнее царствование, как бы отторгнулись всей массой от общего дела, вообразив, что в том-то и прогресс и либерализм. А между тем — так как все это отчасти прошедшее, — много ли было тогда воистину либералов, много ли было действительно страдающих, чистых и искренних людей, таких, как, например, недавний еще тогда покойник Белинский (не говоря уже об уме его)? Напротив, в большинстве это все-таки была лишь грубая масса мелких безбожников и крупных бесстыдников, в сущности тех же хапуг и «мелких тиранов», но фанфаронов либерализма, в котором они ухитрились разглядеть лишь право на бесчестье. И чего тогда не говорилось и не утверждалось, какие нередко мерзости выставлялись за честь и доблесть. В сущности, это была грубая улица, и честная идея попала на улицу. А тут как раз подоспело освобождение крестьян, а с ним вместе — разложение и «обособление» нашего интеллигентного общества во всех возможных смыслах. Люди не узнавали друг друга, и либералы не узнавали своих же либералов. И сколько было потом грустных недоумений, тяжелых разочарований! Бесстыднейшие ретрограды вылетали иногда вдруг вперед, как прогрессисты и руководители, и имели успех. Что же могли видеть многие тогдашние дети в своих отцах, какие воспоминания могли сохраниться в них от их детства и отрочества? Цинизм, глумление, безжалостные посягновения на первые нежные святыне верования детей; затем нередко открытый разврат отцов и матерей, с уверением и *научением*, что так и следует, что это-то и истинные «трезвые»

отношения. Прибавьте множество расстроившихся состояний, а вследствие того нетерпеливое недовольство, громкие слова, прикрывающие лишь эгоистическую, мелкую злобу за материальные неудачи, — о, юноши могли это наконец разобрать и осмыслить! А так как юность чиста, светла и великодушна, то, конечно, могло случиться, что иные из юношей не захотели пойти за такими отцами и отвергли их «трезвые» наставления. Таким образом, подобное «либеральное» воспитание и могло произвести совсем обратные следствия, по крайней мере в некоторых примерах. Вот эти-то, может быть, юноши и подростки и ищут теперь новых путей и прямо начинают с отпора тому ненавистному им циклу идей, который встретили они в детстве, в своих жалких родных гнездах.

О Юрие Самарине

А твердые и убежденные люди уходят: умер Юрий Самарин¹⁸, даровитейший человек, с неколебавшимися убеждениями, полезнейший деятель. Есть люди, заставляющие всех уважать себя, даже не согласных с их убеждениями. «Новое время» сообщило о нем один чрезвычайно характеристический рассказ. Еще так недавно, в конце февраля, в проезд через Петербург, Самарин успел прочесть в февральском № «Отечественных записок» статью князя Васильчикова «Чернозем и его будущность»¹⁹. Эта статья так подействовала на него, что он не спал всю ночь: «Это очень хорошая и верная статья (сказал Самарин наутро своему приятелю). Я ее читал вчера вечером, и она произвела на меня такое впечатление, что я не мог заснуть; всю ночь так и мерещилась страшная картина безводной и безлесной пустыни, в которую превращается наша средняя черноземная полоса России от постоянного, ничем не останавливаемого уничтожения лесов».

«Много ли у нас найдется людей, которые теряют сон в заботах о своей Родине?» — прибавляет к этому «Новое время». Я думаю, что еще найдутся, и, кто знает, может быть,

теперь, судя по тревожному положению нашему, еще больше, чем прежде. Беспокоящихся людей, в самых многообразных смыслах, у нас всегда бывало довольно, и мы вовсе уж не так спим, как про нас утверждают; но не в том дело, что есть беспokoящиеся, а в том, как они судят, а с Юрием Самариним мы лишились твердого и глубокого мыслителя, и вот в чем утрата. Старые силы отходят, а на новых, на грядущих людей пока еще только разбегаются глаза...

А п р е л ь

Идеалы растительной стоячей жизни. Кулаки и мироеды. Высшие господа, подгоняющие Россию

В мартовском № «Русского вестника» сего года помещена на меня «критика», г-на А., т. е. г-на Авсеенко¹. Отвечать г-ну Авсеенко нет никакой выгоды: трудно представить писателя, менее вникающего в то, что он пишет. А впрочем, если б он и вникал, то вышло бы то же самое. Все, что в статье его касается до меня, написано им на тему, что не мы, культурные люди, должны преклониться перед народом, ибо «идеалы народные суть по преимуществу идеалы растительной стоячей жизни», — а что, напротив, народ должен просветиться от нас, культурных людей, и усвоить нашу мысль и наш образ. Одним словом, г-ну Авсеенко очень не понравились мои слова в февральском «Дневнике» о народе. Я полагаю, что тут лишь одна неясность, в которой я сам виноват. Неясность и надо разъяснить, отвечать же г-ну Авсеенко буквально нельзя. Что вы будете иметь общего с человеком, который вдруг говорит о народе, например, такие слова:

«На его плечах (т. е. на плечах народа), на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном

презрению к собственным интересам — создалась независимость России, ее сила и способность к историческому призванию. Он сохранил нам чистоту христианского идеала, высокий и смиренный в своем величии героизм и те прекрасные черты славянской природы, которые, отразившись в бодрых звуках пушкинской поэзии, *постоянно питали потом живую струю нашей литературы...*»

И вот, только что это написалось (то есть переписалось из славянофилов), на следующей же странице г-н Авсеенко сообщает про тот же русский народ совершенно противоположное:

«Дело в том, что народ наш не дал нам идеала деятельной личности. Все прекрасное, что мы замечаем в нем и что наша литература, к ее великой чести, приучила нас любить в нем, является только на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического (?) быта или пассивной жизни. Как скоро выделяется из народа *деятельная, энергическая* личность, очарование по большей части исчезает, и чаще всего индивидуальность является в непривлекательной форме мироеда, кулака, самодура. Активных идеалов в народе до сих пор нет, и надеяться на них — значит отправляться от неизвестной и, может быть, мнимой величины».

И все это сказать сейчас же после того, как на предыдущей странице было объявлено, что на «плечах народа, на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам — создалась независимость России!». Да ведь, чтоб выказать живучую силу, нельзя быть *только* пассивным! А чтобы создать Россию, нельзя было не проявить силы! Чтобы выказать *великодушное презрение* к собственным интересам, непременно надо было проявить великодушную и активную *деятельность* в интересе других, то есть в интересе общем, братском. Чтобы «вынести на плечах своих» независимость России, никак нельзя было сидеть *пассивно* на месте, а непременно надо было хоть встать с места и хоть раз шагнуть; по крайней мере хоть что-нибудь сделать, а между тем сейчас же и прибавляется, что чуть народ начнет что-нибудь делать, то тот-

час заявляет себя «в непривлекательных формах мироеда, кулака или самодура». Выходит, стало быть, что кулаки, мироеды и самодуры и вынесли на плечах Россию. Значит, все эти наши святые митрополиты (стоятели за народ и строители земли русской), все благочестивые князья наши, все бояре и земские люди из тех, которые работали и служили России до жертвования жизнью и имена которых благоговейно сохранила история, — все это были только мироеды, кулаки и самодуры! Может быть, скажут, что г-н Авсеенко не про тогдашних говорил, а про теперешних, — а история это там сама по себе, и что все то было при царе Горохе. Но в таком случае выходит, что народ наш переродился? И про какой же теперешний народ говорит г-н Авсеенко? Откуда он его начинает? С реформы Петра? С культурного периода? С окончательного закрепощения? Но в таком случае культурный г-н Авсеенко сам себя выдает; всякий скажет ему тогда: стоило вас культивировать, чтоб взамен того развратить народ и обратить его в одних кулаков и мошенников. Да неужели Вы до такой степени «имеете дар одно худое видеть»², г-н Авсеенко? Неужели ж народ наш, закрепощенный именно ради Вашей же культуры (по крайней мере, по учению генерала Фадеева³), после двухсотлетнего рабства своего заслужил от Вас, от окультурившегося человека, вместо благодарности или даже жалости, лишь один только этот высокомерный плевок про кулаков и мошенников. (То, что Вы похвалили его выше, я ни во что не считаю, ибо Вы уничтожили это на другой же странице.) За Вас же он был двести лет связан по рукам и по ногам, чтобы Вам ума из Европы прибыло, и вот Вы, когда Вам прибыло из Европы ума (?), избоченившись перед связанным и оглядывая его с культурной высоты своей, вдруг заключаете о нем, что «плох и пассивен и мало выказал деятельности (это связанный-то), а проявил лишь некоторые пассивные добродетели, которые хоть и питали литературу живыми соками, но в сущности не стоят медного гроша, потому что чуть только народ начнет действовать, как тотчас же является кулаком и мошенником». Нет, не следовало бы отвечать г-ну Авсеенко, и если я отве-

чаю, то единственно признавая за собою собственный промах, который и объясню ниже. Тем не менее, так как уж пришлось к слову, все-таки считаю не лишним дать некоторое понятие читателю и о г-не Авсеенко. Он представляет собою, как писатель, весьма интересный для наблюдения маленький культурный тип своего рода, имеющий некоторое общее значение, что весьма даже нехорошо.

Культурные типики. Повредившиеся люди

Г-н Авсеенко давно пишет критики, несколько лет уже, и я, каюсь в том, все еще возлагал на него некоторые надежды: выпишется, думал я, и что-нибудь скажет; но я мало знал его. Заблуждение мое продолжалось вплоть до октябрьского № «Русского вестника» 1874 года, в котором г-н Авсеенко в статье своей по поводу комедий и драм Писемского вдруг произнес следующее: «...Гоголь заставил наших писателей слишком небрежно относиться к внутреннему содержанию произведений и слишком полагаться на одну только художественность. Такой взгляд на задачу беллетристики разделялся весьма многими в нашей литературе сороковых годов, и в нем отчасти лежит причина: почему *эта литература была бедна внутренним содержанием (!)*».

Это литература-то сороковых годов была бедна внутренним содержанием! Такого странного известия я не ожидал во всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя, его комедию «Женитьба» (бедную внутренним содержанием, ух!), дала нам потом его «Мертвые души» (бедные внутренним содержанием — да хоть бы что другое сказал человек, ну первое слово, которое на ум пришло, все бы лучше вышло). Затем вывела Тургенева с его «Записками охотника» (и эти бедны внутренним содержанием?), затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах «Обломова» и напечатавшего тогда же лучший из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением прочла вся Россия!

Это та литература, которая дала нам, наконец, Островского, — но именно про типы-то Островского и разражается г-н Авсеенко в этой же статье самыми презрительными плевками:

«Мир чиновников оказался, вследствие внешних причин, не вполне доступен для театральной сатиры; зато с тем большим усердием и пристрастием устремилась наша комедия в мир замоскворецкого и апраксинского купечества⁴, в мир странниц и свах, пьяных приказных, бурмистров⁵, причетников⁶, питерщиков⁷. Задача комедии сузилась непостижимым образом до копирования пьяного и безграмотного жаргона, воспроизведения диких ухваток, грубых и оскорбительных для человеческого чувства типов и характеров. На сцене безраздельно воцарился жанр⁸, не тот теплый, веселый, буржуазный (?) жанр, который порою так пленителен на французской сцене (это водевильчик-то: один залез под стол, а другой вытащил его за ногу?), а жанр грубый, нечистоплотный и отталкивающий. Некоторые писатели, как, например, г-н Островский, внесли в эту литературу много таланта, сердца и юмора, но в общем театр наш пришел к крайнему понижению внутреннего уровня, и весьма скоро оказалось, что ему *нечего сказать* образованной части общества, что он и дела не имеет с этой частью общества».

Итак, Островский понизил уровень сцены. Островский ничего не сказал «образованной» части общества! Стало быть, необразованное общество восхищалось Островским в театре и зачитывалось его произведениями? О да, образованное общество, видите ли, ездило тогда в Михайловский театр⁹, где был тот «теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». А Любим Торцов¹⁰ «груб, нечистоплотен». Про какое же это образованное общество говорит г-н Авсеенко, любопытно бы узнать? Грязь не в Любиме Торцове: «он душою чист», а грязь именно, может быть, там, где царствует этот «теплый буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». И что за мысль, что художественность исключает *внутреннее содержание*? Напротив, дает его в высшей степени: Гоголь в своей «Переписке» слаб, хотя и характерен. Гоголь же в тех местах «Мертвых душ», где, переставая быть художником, начинает рассуждать

прямо от себя, просто слаб и даже не характерен, а между тем его создания, его «Женитьба», его «Мертвые души» — самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь? А г-н Авсеенко кричит, что в «Мертвых душах» нет внутреннего содержания! Но вот вам «Горе от ума», — ведь оно только и сильно своими яркими художественными типами и характерами, и лишь один художественный труд дает все внутреннее содержание этому произведению; чуть же Грибоедов, оставляя роль художника, начинает рассуждать сам от себя, от своего личного ума (устами Чацкого, самого слабого типа в комедии), то тотчас же понижается до весьма незавидного уровня, несравненно низшего даже и тогдашних представителей нашей интеллигенции. Нравоучения Чацкого несравненно ниже самой комедии и частью состоят из чистого вздора. Вся глубина, все содержание художественного произведения заключается, стало быть, только в типах и характерах. Да и всегда почти так бывает.

Таким образом, читатель видит, с каким критиком имеет дело, и уже отсюда слышу вопросы: да зачем же Вы с ним связываетесь? Повторяю еще раз, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно г-ном Авсеенко занимаюсь в эту минуту, как и сказал выше, не как критиком, а как отдельным и любопытным литературным явлением. Тут своего рода тип, мне полезный. Я очень долго не понимал г-на Авсеенко, — то есть не статей его, я статей его и всегда не понимал, да и нечего в них понимать или не понимать, — с этой же статьи в октябрьском № «Русского вестника» 1874 года я прямо уже махнул рукой, впрочем, постоянно и глубоко недоумеваю; каким это образом статьи такого сбивчивого писателя появляются в таком серьезном журнале, как «Русский вестник»? Но вот вдруг случилось одно комическое

происшествие — и я вдруг понял г-на Авсеенко: он вдруг начал печатать в начале зимы свой роман «Млечный путь»¹¹. (И зачем этот роман перестал печататься!) Этот роман мне вдруг разъяснил весь тип писателя Авсеенко. Собственно про роман мне даже и нейдет говорить: я сам романист, и мне не годится критиковать собрата. А потому я и не буду критиковать роман, нисколько, тем более, что он доставил мне несколько искренне веселых минут. Там, например, молодой герой, князь, в опере, в ложе, всенародно хнычет, расчувствовавшись от музыки, а великосветская дама пристает к нему в умилении: «Вы плачете? Вы плачете?» Но не в том совсем дело, а в том, что я сущность писателя понял: г-н Авсеенко изображает собою, как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы. Он пишет обо всем этом непрерывно, благоговейно, молебнo и молитвенно, одним словом, совершает как будто какое-то даже богослужение. Я слышал (не знаю, может быть, в насмешку), что этот роман предпринят с тем, чтоб поправить Льва Толстого, который слишком объективно отнесся к высшему свету в своей «Анне Карениной», тогда как надо было отнестись молитвеннее, коленопреклоненнее, и, уж конечно, не стоило бы об этом обо всем говорить вовсе, если б, повторяю, не разъяснился совсем новый культурный тип. Оказывается ведь, что в каретах-то, в помаде-то и в особеннoсти в том, как лакеи встречают барыню, — критик Авсеенко и видит всю задачу культуры, все достижение цели, все завершение двухсотлетнего периода нашего разврата и наших страданий, и видит совсем не смеясь, а любуясь этим. Серьезность и искренность этого любования составляет одно из самых любопытных явлений. Главное в том, что г-н Авсеенко, как писатель, не один; и до него были «коленкоровых манишек беспощадные Ювеналы»¹², но никогда в такой молитвенной степени. Положим, что не все они таковы, но в

том-то и беда моя, что я мало-помалу наконец убедился, что таких представителей культуры даже чрезвычайное множество в литературе и в жизни, хотя бы и не в таком строгом и чистом типе. Признаюсь, меня как бы светом озарило: после этого, конечно, понятны пасквильные слова на Островского и тот «теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». Э, тут вовсе даже и не Островский, и не Гоголь, и не сороковые года (очень их надо!), тут просто Михайловский петербургский театр, посещаемый высшим обществом и к которому подъезжают в каретах, — вот это и все, вот это-то и увлекло, вот это-то и захватило писателя с беспощадною силой, и прельстило, закружив и замотав его ум навеки. Повторяю опять, это не надо смотреть с одной лишь комической точки, это гораздо любопытнее. Тут, одним словом, многое происходит от особого рода мании, почти болезненной, так сказать, слабости, которую надо бы шадить. Карета высшего света едет, например, в театр: Вы только посмотрите, как она едет и как свет от фонарей, врываясь в окошки кареты, веселит в ней сидящую даму: это уже не перо, это молитва, и этому надобно сострадать! Конечно, многие из них тщеславятся перед народом как бы чем-то и высшим перчаток; между ними много чрезвычайно даже либеральных людей, почти республиканцев, а между тем нет-нет и скажется вдруг перчаточник. Эта слабость, эта мания к красотам высшего света с его устрицами и сторублевыми арбузами на балах, эта мания, — как ни невинна, но она породила, например у нас, даже крепостников особого рода между такими личностями, которые и душ-то своих никогда не имели; но, раз признав кареты и Михайловский театр за завершение культурного периода Российской истории, они вдруг стали совсем крепостниками по убеждению, и хотя вовсе не мыслят ничего закрепить вновь, но, по крайней мере плюют на народ со всею откровенностью и с видом самого полного культурного права. Вот они-то и сыплют на него удивительнейшие обвинения: связанного двести лет сряду дразнят пассивностью, бедного, с которого драли оброк, обвиняют в нечистоплотности,

не наученного ничему обвиняют в ненаученности, а битого палками — в грубости нравов, а подчас готовы обвинить даже за то, что он не напомажен и не причесан у парикмахера из Большой Морской. Это вовсе не преувеличение, это буквально так, и вот в том-то все и дело, что не преувеличение. У них отвращение от народа остервенелое, и если когда и похвалят народ, — ну, из политики, то наберут лишь громких фраз, для приличия, в которых сами не понимают ни слова, потому что сами себе через несколько строк и противоречат. Кстати, припоминаю теперь один случай, бывший со мною два с половиною года назад. Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим подле меня одним помещиком. Сколько я мог разглядеть в темноте, это был сухенький человечек, лет пятидесяти, с красным и как несколько распухшим носом и, кажется, с больными ногами. Был он чрезвычайно порядочно-го типа — в манерах, в разговоре, в суждениях и говорил даже очень толково. Он говорил про тяжелое и неопределенное положение дворянства, про удивительную дезорганизацию в хозяйстве по всей России, говорил почти без злобы, но со строгим взглядом на дело и ужасно заинтересовал меня. И что же вы думаете: вдруг, как-то к слову, совершенно не заметив того, он изрек, что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика и что это уж, конечно, бесспорно.

— То есть, Вы хотите сказать, как тип нравственно развитого и образованного человека? — пояснил было я.

— Нет, совсем нет, совсем не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужичкой; я телом выше и лучше мужика, и это произошло от того, что в течение множества поколений мы перевоспитали себя в высший тип.

Спорить тут было нечего: этот слабый человечек, с золотушным красным носом и с больными ногами (в подагре, может быть, — дворянская болезнь) совершенно добросовестно считал себя физически, телом, выше и прекраснее мужика! Повторяю, в нем не было никакой злобы, но согласитесь, что этот беззлобный человек, даже и в беззлобии своем, может вдруг, при случае, сделать страшную несправедливость перед наро-

дом, совершенно невинно, спокойно и добросовестно, именно вследствие презрительного взгляда его на народ, — взгляда почти бессознательного, почти от него не зависящего.

Тем не менее собственную оплошность мою мне поправить необходимо. Я написал тогда об идеалах народа и о том, что мы, «как блудные дети, возвратясь домой, должны преклоняться перед правдой народной и ждать от нее лишь одной мысли и образа. Но что, с другой стороны, и народ должен взять у нас нечто из того, что мы принесли с собой, что это нечто существует действительно, не мираж, имеет образ, форму и вес, и что, в противном случае, если не согласимся, то пусть уже лучше разойдемся и погибнем врознь». Вот это-то всем, как вижу теперь, и показалось ясным. Во-первых, стали спрашивать: что за такие идеалы у народа, перед которыми надо преклоняться; а во-вторых: что я подразумеваю под тою драгоценностью, которую мы принесли с собою и которую должен народ принять от нас *sine qua non*? И что не короче ли, наконец, не нам, а народу преклониться перед нами, единственно потому одному, что мы Европа и культурные люди, а он лишь Россия и *пассивен*? Г-н Авсеенко положительно решает вопрос в этом смысле, но я уже не одному г-ну Авсеенко хочу теперь отвечать, а всем, не понявшим меня «культурным» людям, начиная с «коленкоровых манишек беспощадных Ювеналов» до недавних еще господ, провозгласивших, что у нас и *сохранять совсем нечего*. Итак, к делу; если б я не погнался тогда за краткостью и разъяснил подробнее, то, конечно, можно бы было не согласиться со мной, но зато не искажать меня и не обвинять в неясности.

Сбивчивость и неточность спорных пунктов

Нам прямо объявляют, что у народа нет вовсе никакой правды, а правда лишь в культуре и сохраняется верхним слоем культурных людей. Чтоб быть добросовестным вполне, я эту дорогую европейскую нашу культуру приму в самом

высшем ее смысле, а не в смысле лишь карет и лакеев, именно в том смысле, что мы, сравнительно с народом, развились духовно и нравственно, очеловечились, отуманились и что тем самым, к чести нашей, совсем уже отличаемся от народа. Сделав такое беспристрастное заявление, я уже прямо поставлю перед собой вопрос: «Точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И, наконец, что именно мы принесли с собой из Европы народу?»

Но прежде, чем отвечать на такой вопрос, для порядку устраним всякую речь, например, о науке, промышленности и проч., чем Европа справедливо может гордиться перед нашим Отечеством. Такое устранение будет совершенно правильным, ибо вовсе не о том идет *теперь* дело; тем более, что и наука-то эта там в Европе, а мы-то сами, то есть верхние слои культурных людей в России, еще не очень блистаем наукой, несмотря на двухсотлетнюю школу, и что поклоняться нам, культурному слою, за науку во всяком случае еще рано. Так что наука вовсе не составляет какого-нибудь существенного и непримиримого различия между обоими классами русских людей, то есть между простонародьем и верхним культурным слоем, и выставлять науку как главное существенное различие наше от народа, повторяю, совсем неверно и было бы ошибкою, а различие надо искать совсем в другом. К тому же наука есть дело всеобщее, и не один какой-нибудь народ в Европе изобрел ее, а все народы, начиная с древнего мира, и это дело преемственное. Со своей стороны русский народ никогда и не был врагом науки, мало того, она уже проникала к нам еще и до Петра. Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтоб завоевать Балтийское побережье, лет сто тридцать раньше Петра¹³. Если б завоевал его и завладел его гаванями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Петр, а так как без науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре. Наши Потугины бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар, но вряд ли европейцы примкнут к хору Потугиных.

Слишком ясно и понятно, что все делается по известным законам природы и истории и что не скудоумие, не низость способностей русского народа и не позорная лень причиною того, что мы так мало произвели в науке и в промышленности. Такое-то дерево вырастает в столько-то лет, а другое вдвое позже его. Тут все зависит от того, как был поставлен народ природой, обстоятельствами и что ему прежде всего надо было сделать. Тут причины географические, этнографические, политические, тысячи причин, и все ясных и точных. Никто из здравых умом не станет укорять и стыдить тринадцатилетнего за то, что ему не двадцать пять лет. «Европа, дескать, деятельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет». Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и *сознательно* создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собою свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а, напротив, пожалуй, еще их расшатываем. К концу концов, после тысячи лет — у нас явилось царство и политическое единство беспримерное еще в мире, до того, что Англия и Соединенные Штаты, единственные теперь оставшиеся два государства, в которых политическое единство крепко и своеобразно, может быть, в этом нам далеко уступят. Ну, а взамен того в Европе, при других обстоятельствах политических и географических, возросла наука. Но зато, вместе с ростом и укреплением ее, расшаталось нравственное и политическое состояние Европы почти повсеместно. Стало быть, у всякого свое, и еще неизвестно, кому придется завидовать. Мы-то науку во всяком случае приобретем, ну а неизвестно еще, что станет с политическим единством Европы? Может быть, немцы, всего еще лет пятнадцать тому назад, согласились бы променять половину своей научной славы на такую силу политического единства, которая была у нас уже очень давно. И немцы теперь

достигли крепкого политического единства, по крайней мере по своим понятиям, но тогда у них еще не было Германской империи, и, уж конечно, они нам завидовали про себя, несмотря на все их презрение к нам. Итак, не о науке и не о промышленности надо поставить вопрос, а собственно о том, чем мы, культурные люди, возвратясь из Европы, стали *нравственно, существенно* выше народа и какую такую недосыгаемую драгоценность принесли мы ему в форме нашей европейской культуры? Почему мы люди чистые, а народ все еще человек черный, почему мы все, а народ ничего? Я утверждаю, что в этом между нами, культурными людьми, чрезвычайная неясность и что мало кто из «культурных» на это ответит правильно. Напротив, тут — кто в лес, кто по дрова, а насмешки над тем, зачем сосна не выросла в семь лет, а требует всемеро больше для росту лет, — еще до того обыденны и обыкновенны, что не редкость их услышать даже и не от одних Потугиных, а и от людей гораздо повыше их по развитию. О г-не Авсеенко уж и не упоминаю. А затем прямо обращаюсь к вопросу, поставленному вверху главы: точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И если мы и несем что с собой, то что именно? На это прямо отвечаю, что мы гораздо хуже народа, и почти во всех отношениях.

Нам говорят, что в народе чуть деятель, то тотчас кулак и мошенник. (Это не один г-н Авсеенко утверждает, да и вообще г-н Авсеенко никогда и ничего не скажет нового.) Во-первых, это неправда, а во-вторых, разве между культурными русскими не такие же кулаки и мошенники поминутно? Да чуть ли не больше еще, и это тем стыднее, потому что они окультурены, а народ нет. Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ, что чуть в нем объявится деятель, то в большинстве выйдет кулак и мошенник. Не знаю, где выросли утверждающие это, я же с детства и во всю жизнь мою видел совсем другое. Мне было всего еще девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в шестом, все наше семейство, отец и мать, братья и сестры, сидели за

круглым столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге. — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев.

Описывать не стану, что за тем последовало; отец и мать были люди небогатые и трудящиеся — и вот такой подарок к светлому дню! Оказалось, что все сгорело, все дотла: и избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, вырастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится» — и вот она вдруг шепчет маме:

— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...

Денег у ней не взяли, обошлись и без того. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились. Ведь, я думаю, таких нельзя причислить к кулакам и мошенникам, а если нельзя, то как определить ее поступок: явилась ли она с ним лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни», — или проявила что-нибудь

познергичнее пассивности? Очень любопытно бы послушать, как разрешил бы это г-н Авсеенко. Мне с презрением ответят, что это единичный случай; но я и один успел вот заметить в жизни моей таких случаев многие сотни в нашем простонародье, а между тем я твердо знаю, что есть и другие наблюдатели, тоже умеющие смотреть на народ без плевка. Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова¹⁴ мать умолила в слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весною, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, изломавшийся и прошедший всего только несколько часов спустя по переходе. Помните ли вы прелестное описание этого перехода, и как потом, когда перешли, мужики и денег брать не хотели, понимая, что сделали все из-за слез матери и для Христа Бога нашего. Происходило же это в самое темное время крепостного права! Что же, все это единичные факты? А если и похвальные, — то лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни»? Да так ли? единичные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственной жизнью из сострадания к горю матери — можно ли считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, народной, не *из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного* произошло это, да еще в самое варварское время крепостного права? Да народ и веры не знает, скажете вы, он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Фрола и Лавра. На это отвечу вам, что вот эти-то мысли и явились у нас из продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице. Если б г-н Авсеенко действительно понимал то, что он написал о вере народной, спасшей Россию, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его

чуть не сплошь «кулаком и мироедом». Но в том и дело, что эти люди ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда и в народе нашем. Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, — потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней слыхивал о этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованны гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении о них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису.

Благодетельный швейцар¹⁵, освобождающий русского мужика

Вот что пишет г-н Авсеенко в мартовской статье своей. Мне хочется быть совершенно беспристрастным, а потому позволю себе эту очень большую выписку, чтоб не сказали, что я лишь надергал фраз. К тому же эти именно слова г-на Авсеенко я считаю теперь общим западническим мнением о русском народе, а потому очень рад случаю ответить:

«...Для нас важно, при каких условиях образованное меньшинство у нас впервые внимательно заглянуло через стену, отделявшую его от народа. Несомненно, что открывшееся его глазам должно было поразить его и во многих отношениях удовлетворить внутренним потребностям, в нем связавшимся. Люди, недовольные ролью приемшей западной цивилизации, нашли там идеалы совершенно отличные от европейских и тем не менее прекрасные. Люди, разочарованные и, по тогдашнему выражению, раздвоенные заимствованною культурой, нашли там простые, цельные натуры, силу веры, напоминавшую первые века христианства, суровую свежесть патриархального быта. Контраст между двумя жизнями, как мы сказали уже, должен был произ-

водить эффект чрезвычайный, неотразимый. Захотелось освежиться в невозмущенных волнах этого стихийного существования, подышать чистым воздухом полей и лесов. Лучшие люди были поражены тем, что в этом стоячем быту, чуждом не только образованности, но и простой грамотности, являются черты такого душевного величия, перед которыми должно преклониться просвещенное меньшинство. Все эти впечатления создали огромный запрос на сближение с народом.

Но что именно понималось под этим сближением с народом? Народные идеалы только потому и были ясны, что народная жизнь текла бесконечно далеко от жизни образованного круга, что условия и содержание этих двух жизней были совершенно различны. Вспомним, что люди малообразованные, жившие очень близко к народу, давно уже практически и материально удовлетворившие этому запросу на сближение, совсем не замечали прекрасных народных идеалов и твердо верили, что мужик — собака и каналья. Это очень важно потому, что свидетельствует, до какой степени на практике слабо воспитательное значение народных идеалов и как мудрено ожидать от них спасения. Чтобы понять эти идеалы и возвести их в перл создания, необходима известная высота культурного уровня; поэтому мы считаем себя вправе сказать, что самое поклонение народным идеалам было у нас продуктом усвоенной европейской культуры и что без нее мужик в наших глазах до сих пор оставался бы собакой и канальей. Стало быть, главное зло, общее зло для нас и для народа, заключалось не в «культуре», а в слабости культурных начал, в недостаточности нашей «культуры».

Какое удивительное и неожиданное заключение! Тут, в этом хитреньком подборе слов, всего важнее вывод, что народные начала (и православие вместе с ними, потому что, в сущности, все народные начала у нас сплошь вышли из православия) не имеют никакой культурной силы, ни малейшего воспитательного значения, так что за всем этим нам необходимо было отправляться в Европу. Не оттого, видите ли, «малообразованные люди, жившие очень близко к народу», все еще не замечали «прекрасных народных идеалов» и твердо продолжали верить, что мужик «собака и каналья», — не оттого, что они уже были развращены культурой до конца ногтей, несмотря на малообразованность свою, и уже оторвались от

народа, хотя и жили к нему близко, но потому, что культуры, видите ли, было еще недостаточно. Тут, главное, — злостная инсинуация на слабость воспитательного значения народных начал и вывод, что, стало быть, они ни к чему и не ведут, а ведет ко всему культура. Что до меня, я уже давно заявил, что мы начали нашу европейскую культуру с разврата. Но вот что при этом надо заметить особенно: вот эти-то малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, — вот эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его, иногда даже до ненависти. Так случается с иными высшими «графскими лакеями», маленькими, выскочившими в дворянство чиновничками и проч., и проч. Они еще сильнее презирают народ, чем «большие господа», гораздо уже правильнее их окультуренные, и удивляться этому, как делает г-н Авсеенко, вовсе нечего. В первом январском выпуске моего «Дневника» я припомнил одно мое еще детское впечатление: картинку фельдъегеря, бывшего мужика. Фельдъегерь этот, без сомнения, был близок к народу, он всю жизнь провел на большой дороге, а между тем презирал и бил его, — почему? Потому что был уже ужасно отдален от народа, хотя и жил к нему близко. Без всякого сомнения, он не получил ни малейшей высшей культуры, но зато получил фельдъегерский мундир с фалдочками, который давал ему право бить без контроля и «сколько влезет». И он гордился своим мундиром и считал себя безмерно выше мужика. Почти так поставлен бывал и помещик, усадьба которого была каких-нибудь в ста шагах от мужицких изб; но не в ста шагах было дело, а в том, что человек вкусил уже от разврата цивилизации. Он и близок к народу, всего в ста шагах; но на этом пространстве ста шагов уместилась целая пропасть. Окультурен этот помещик мог быть действительно всего только капельку, ну а возвращен этой капелькой был уже окончательно. Так должно было быть именно в начале реформы и в большинстве. Но замечу

твердо, что и тут г-н Авсеенко несведущ, как младенец: не все, вовсе не все малообразованные люди были развращены и презирали народ даже и в то время, но бывали, напротив, и такие из них, на которых начала народные не переставали производить чрезвычайное воспитательное значение. Такой слой уцелел и велся даже с самой реформы Петра, вплоть до нашего времени. Было множество, великое даже множество, вкусивших от культуры и воротившихся опять к народу и к идеалам народным, не теряя своей культуры. Впоследствии из этого слоя «верных» и выделился слой славянофилов, людей, уже высоко окультуренных европейской цивилизацией. Но не высокая европейская цивилизация славянофилов была причиной того, что они остались верны народу и народным началам, вовсе нет, а, напротив, неиссякаемое, непрестанное воспитательное действие народных начал на ум и развитие того слоя истинно русских людей, который, силою природных свойств своих, в состоянии был противостать силе цивилизации, не уничтожаясь лично до нуля, слоя, шедшего, повторяю это, с самого начала реформы. Я полагаю, что для многих славянофилов наши — как с неба упали, а не ведут свой род еще с реформы Петра, как протест всему, что в ней было неверного и фанатически исключительного. Но, повторяю опять, бывали и мало окультуренные люди, никогда не считавшие народ за собаку и каналью. Они не потеряли своего христианства и смотрели на народ как на младшего брата, а не как на собаку. Но наши культурные люди вряд ли про это знают, а если и знают, то факты эти презирают и в соображение не берут и не возьмут ни за что, потому что эти, не потерявшие своего христианства мало окультуренные люди прямо бы противоречили основному и победоносному их тезису о малой воспитательности народных начал. Им бы пришлось согласиться тогда, что не народные начала были так слабы и невоспитательны, а, напротив, культура была уже слишком развратна, хотя только что еще начиналась, а потому и успела погубить такое множество *нетвердых* людей. (Нетвердых людей ведь всегда большинство). Г-н Авсеенко потому и за-

ключает прямо, что «зло, главное зло, общее зло для нас и для народа, заключалось не в культуре, а в слабости культурных начал», а потому надо было поскорее бежать в Европу, чтоб там докультуриться уж до того, чтобы уж не считать мужика за собаку и каналью.

Так у нас и делали: и сами в Европу ездили, и оттуда учителей к себе привозили. Перед революцией французской, во времена Руссо и переписки императрицы с Вольтером, была у нас мода на учителей швейцарцев

...И просвещение несущий всем швейцар*.

«Приезжай, бери деньги, только огумань и очеловечь», — действительно была тогда такая мода. У Тургенева в «Дворянском гнезде» великолепно выведен мельком один портрет тогдашнего окультурившегося в Европе дворянчика, воротившегося к отцу в поместье. Он хвастал своею гуманностью и образованностью. Отец стал его укорять за то, что он сманил дворовую невинную девушку и обесчестил, а тот ему: «А что ж, я и женюсь». Помните эту картинку, как отец схватил палку, да за сыном, а тот в английском синем фраке, в сапогах с кисточками и в лосинных панталонах в обтяжку — от него через сад, через гумно, да во все лопатки! И что же хоть и убежал, а через несколько дней взял да и женился, во имя идей Руссо, носившихся тогда в воздухе, а пуще всего из блажи, из шатости понятий, воли и чувств и из раздраженного самолюбия: «Вот, дескать, посмотрите все, каков я есть!» Жену свою потом он не уважал, забросил, измучил в разлуке и третировал ее с глубочайшим презрением, дожил до старо-

* Стих, кажется, графа Хвостова. Я помню даже четверостишие, в котором поэт перечисляет все народы Европы:

Турк, Перс, Прусс, Франк и мстительный Гишпанец,
Италий сын и сын наук Германец,
Меркантилизма сын, стрегущий свой товар,
(то есть Англичанин)
И просвещение несущий всем Швейцар...

сти и умер в полном цинизме, злобным, мелким, дрянным старичишкой, ругаясь в последнюю минуту и крича сестре: «Глашка, Глашка, дура, бульонцу, бульонцу!» Какая прелесть этот рассказ у Тургенева и какая правда! А между тем этот был уже значительно окультурен; но г-н Авсеенко не про то говорит: он требует настоящей культуры, то есть нашего уже времени, вот той самой, которая наконец до того докультурила наших петербургских помещиков, что они рыдали, читая «Антон Горемыку»¹⁶, а потом взяли да и освободили крестьян с землей и прежним собакам и канальям положили говорить теперь *Вы*. Какой в самом деле прогресс! Рассмотрели, впрочем, потом, что эти, рыдавшие над Антоном Горемыкой помещики до того, по ближайшем изучении их, оказались не понимающими ни народа, ни жизни его, ни народных начал, что почти принимали русских мужиков за каких-то французских поселян или за пастушков с фарфоровых чашек, а когда началась долгая и трудная работа правительства по освобождению крестьян, то некоторые из мнений сих высоких даже помещиков поразили почти анекдотическим неведением предмета, деревни, жизни народной и всего прочего, относящегося до народных начал. А между тем г-н Авсеенко именно утверждает, что европейская-то культура и способствовала постижению народных идеалов, а сами народные начала лишены всякого воспитательно-го значения. Надо полагать, что для постижения народных идеалов надо было ездить в Париж или, по крайней мере, в водевильчик в Михайловский театр, к которому подъезжают кареты. Но пусть, пусть прогресс и понимание русских начал досталось нам единственно лишь из Европы, пусть: хвала культуре! Вот она, настоящая-то культура, до чего доводит людей, восклицает сонм г-д Авсеенок! И что такое перед нею какие-то там народные началашки, с православием во главе, — никакой воспитательной силы не имеют, долой их!

Положим. Но вот на что ответьте, однако же, господа, всего только на один вопрос: эти учителя-то наши, европейцы-то, швейцары-то эти все благодетельные, научившие нас освобо-

дить крестьян с землею, они-то почему там у себя в Европе никого не освободили, да не только с землей, а и просто в чем мать родила, и это повсеместно. Почему в Европе освобождение произошло не от владетелей, не от баронов, не от помещиков, а восстанием и бунтом, огнем и мечом и реками крови? А если и освободили где без рек крови, то везде и повсеместно на пролетарских началах, в виде совершенных рабов. А мы-то кричим, что научились освобождать у европейцев! «Окультуривались, дескать, и перестали считать мужика за собаку и каналью». Ну, а почему же во Франции, да и повсеместно в Европе, всякого пролетария, всякого ничего не имеющего работника — до сих пор считают за собаку и каналью, — и уж в этом, конечно, вы не заспорите. Прямо по закону ему, конечно, нельзя сказать, что он собака и каналья; но зато сделать все можно с ним именно как с собакой и канальей, а хитрый закон требует только, чтобы соблюдена была при этом надлежащая учтивость. «Учтив буду, а хлеба не дам, — хоть умри сейчас с голоду, как собака», — вот как теперь в Европе. Как же это так? Что за противоречие? Как же это они нас-то научили прямо противоположному? Нет, господа, тут у нас, видно, что-то произошло совсем другое, да и совсем не так, как вы говорите. Ведь рассудите: если б мы через культуру только перестали считать мужика за собаку и каналью, то уж наверно и освободили бы его на культурных основаниях, то есть на пролетарских началах, как в Европе учителя наши: «Ступай, дескать, милый брат наш, на свободу, в чем мать родила, да еще за честь почитай». Вот в Остзейском крае точь-в-точь ведь так освобожден был народ¹⁷, а почему? А потому, что остзейцы — европейцы, а мы всего только русские. Выходит, стало быть, что мы и сделали это дело как русские, а совсем уж не как культурные европейцы, и освободили народ с землей лишь на удивление и ужас европейских учителей наших и всех благодетельных швейцаров. Да, на ужас: там раздались тревожные голоса, не помните, что ли? Закричали даже про коммунизм. Помните словечко теперь уже умершего Гизо¹⁸ об освобождении народа нашего: «Как же вы хотите после того, чтоб мы

нас не боялись», — сказал он тогда одному русскому. Нет-с, освободили мы народ с землей не потому, что стали культурными европейцами, а потому, что сознали в себе русских людей с царем во главе, точь-в-точь как мечтал сорок лет тому помещик Пушкин, проклявший в ту именно эпоху свое европейское воспитание и обратившийся к народным началам¹⁹. *Во имя этих-то народных начал* и освобожден был русский народ с землею, а не потому, что так научила Европа; напротив, именно потому, что все мы вдруг, в первый раз, решились преклониться перед народной правдой. Это был не только великий момент русской жизни, в который русские культурные люди в первый раз решились поступить своеобразно, но и пророческий момент русской жизни, И, может быть, очень скоро начнет сбываться пророчество...

* * *

Но... но здесь я пока перерву. Я вижу, что эта статья займет в «Дневнике» все место. Итак, до следующего, майского «Дневника» моего. И, конечно, я оставляю на майский № самую существенную часть моего объяснения. Перечислю, для памяти, что в нее войдет. Я хочу указать на совершенную несостоятельность и даже ничтожность именно *той стороны* нашей культуры, которую иные господа считают, напротив, нашим светом, единственным спасением и славой нашей перед народом, с высоты которой плюют они на народ и считают себя в полном праве плевать. Ибо хвалить «народные начала», восхищаться ими и тут же уверять, что в них нет никакой силы, никакого воспитательного значения и что все это лишь одна «пассивность», — значит плевать на эти начала. Утверждать, например, как г-н Авсеенко, что народ есть не более как «странник, который сам еще не выбрал себе дороги», и что «ждать мысли и образа от этой загадки, от этого сфинкса, не нашедшего еще для себя самого ни мысли, ни образа, — есть ирония», — утверждать это, говорю я, значит лишь совершенно не знать того предмета, о котором толку-

ешь, то есть вовсе не знать народа. Я хочу именно указать, что народ вовсе не так безнадежен, вовсе не так подвержен шаткости и неопределенности, как, напротив, подвержен тому и заражен тем наш русский культурный слой, которым эти все господа гордятся как драгоценнейшим, двухсотлетним приобретением России. Я хотел бы, наконец, указать, что в народе нашем вполне сохранилась та твердая сердцевина, которая спасет его от излишеств и уклонений нашей культуры и выдержит грядущее к народу образование, без ущерба лику и образу народа русского. Если же я и сказал, что «народ загадка», то совсем не в том смысле, в каком поняли меня эти господа. В конце концов, я хочу разъяснить вполне, как сам понимаю, тот сбивчивый вопрос, который сам собою представляется после всех этих препирательств: «Что же, если мы, окультуренный русский слой, так уже слабы и шатки перед народом, то что в таком случае можем мы принести ему такого драгоценного, перед чем бы он должен преклониться и принять эту драгоценность от нас *sine qua pop*», как сам я выразился в февральском моем «Дневнике»? Вот эту сторону нашей культуры, которую и надо считать за драгоценность и на которую, напротив, все эти господа *до сих пор еще* не обратили ни малейшего внимания, я и хочу указать и разъяснить. Итак — до майского номера. Что до меня, занимательнее и *настоятельнее* этих вопросов я ничего не могу и представить себе, не знаю, как читатель. Но обещаюсь из всех сил написать покороче, а о г-не Авсеенко постараюсь даже совсем не упоминать больше.

Нечто о политических вопросах

Все говорят о политических текущих вопросах²⁰ и все чрезвычайно интересуются; да как и не интересоваться? Меня вдруг, ужасно серьезно, спросил один очень серьезный человек, встретясь со мной нечаянно: «Что, будет война или нет?» Я был очень удивлен: хоть я и горячо слежу за собы-

тиями, как и все мы теперь, но о неминуемости войны даже и вопроса не ставил. И, кажется, я был прав: в газетах возвещают о предстоящем и весьма близком свидании в Берлине трех канцлеров, и, уж конечно, это бесконечное герцеговинское дело будет тогда улажено и, вероятнее всего, весьма удовлетворительным для русского чувства образом. Признаюсь, меня не очень-то смутили и слова этого барона Родича, еще месяц назад, и, право, только позабавили, когда я первый раз читал о них. Потом из-за этих слов подняли шум. А между тем мне кажется, что барон Родич не только не хотел никого уколоть, но даже и «политики» тут никакой в словах его не было, а просто он обмолвился, сболтнул, брякнул о бессилии России вздор. Мне даже кажется, что он, перед тем как выразиться о нашем бессилии, сам про себя думал так: «Уж если мы сильнее России, стало быть, Россия совсем бессильна. А мы действительно сильнее, потому что Берлин нас никогда не отдаст России. О, Берлин допустит, может быть, чтоб мы подрались с Россией, но единственно для своего удовольствия и чтоб получше высмотреть: кто кого и какие у каждого из нас средства? Но если нас Россия победит и сильно припрет к стене, то Берлин скажет ей: «Стой, Россия!» — и в большую, то есть в очень большую, обиду нас ни за что не даст, а так разве в маленькую. А так как Россия не решится идти на нас и на Берлин вместе, то дело и кончится для нас без большого вреда; но зато у нас шанс, что если мы побьем Россию, то можем вдруг много выиграть. Итак, шанс выиграть с одной стороны очень много и, в случае если нас победит Россия, проиграть очень мало — это очень хорошо, очень политично! А Берлин нам друг: он очень нас любит, потому что хочет взять у нас наши немецкие владения и возьмет их непременно, и, может быть, довольно скоро; но так как он очень нас за это любит, то непременно и вознаградит нас за отнятые у нас им немецкие наши владения и отдаст нам за них право на турецких славян. Это он непременно сделает, потому что ему будет очень выгодно это сделать, ибо мы, если и вознаградимся славянами, все-таки совсем перед ним не усилимся,

ну, а если Россия вознаградится славянами, то Россия даже и перед Берлином усилится. Вот почему славяне и достанутся нам, а не России; вот почему я и не утерпел и сказал это в речи моей славянским вождям. Надо же их готовить к хорошим идеям...»

Мысли эти очень могут быть не только у Родича, но и вообще у австрийцев. И, уж конечно, тут много хаоса. Представить только себе, что славяне подпадут под власть Австрии, и она, первым делом, начнет их онемечивать, и даже потеряв уже свои немецкие владения! Верно, однако же, то, что в Европе и не одна Австрия склонна верить в бессилие России, а во-вторых — в неприменную жажду России захватить как можно скорее славян в свою власть. Самый полный переворот в политической жизни России наступит именно тогда, когда Европа убедится, что Россия вовсе ничего не хочет захватывать. Тогда наступит новая эра и для нас, и для всей Европы. Убеждение в бескорыстии России если придет когда-нибудь, то разом обновит и изменит весь лик Европы. Убеждение это непременно наконец воцарится, но не вследствие наших уверений: Европа не станет верить никаким уверениям нашим до самого конца и все будет смотреть на нас враждебно. Трудно представить себе, до какой степени она нас боится. А если боится, то должна и ненавидеть. Нас замечательно не любит Европа и никогда не любила; никогда не считала она нас за своих, за европейцев, а всегда лишь за досадных пришельцев. Вот потому-то она очень любит утешать себя иногда мыслию, что Россия будто бы «пока бессильна».

И это хорошо, что она так склонна думать. Я убежден, что самая страшная беда сразила бы Россию, если б мы победили, например, в Крымскую кампанию²¹ и вообще одержали бы тогда верх над союзниками! Увидав, что мы так сильны, все в Европе восстало бы на нас тогда тотчас же, с фанатической ненавистью. Они подписали бы, конечно, невыгодный для себя мир, если б были побеждены, но никогда никакой мир не мог бы состояться на самом деле. Они тотчас же бы стали готовиться к новой войне, имеющей целью уже истребление

России, и, главное, за них стал бы весь свет. 63-й год, например, не обошелся бы нам тогда одним обменом едких дипломатических нот²²: напротив, осуществился бы всеобщий крестовый поход на Россию. Мало того, этим крестовым походом некоторые европейские правительства непременно поправили бы тогда свои внутренние дела, так что он во всех отношениях был бы им выгоден. Революционные партии и все недовольные тогдашним правительством во Франции, например, немедленно примкнули бы к правительству, ввиду «священной цели» — изгнания России из Европы, и война явилась бы народной. Но нас тогда сберегла судьба, доставив перевес союзникам, а вместе с тем и сохранив всю нашу военную честь и даже еще возвеличив ее, так что поражение еще можно было перенести. Одним словом, поражение мы перенесли, но время победы над Европой ни за что бы не перенесли, несмотря на всю нашу живучесть и силу. Нас точно так же спасла уже раз судьба, в начале столетия, когда мы свергли с Европы иго Наполеона I, — спасла именно тем, что дала нам тогда в союзники Пруссию и Австрию²³. Если б мы тогда одни победили, то Европа, чуть только бы оправилась после Наполеона I, тотчас, и без Наполеона, бросилась бы опять на нас. Но, слава Богу, случилось иначе: Пруссия и Австрия, которых мы же освободили, немедленно приписали себе всю честь побед, а впоследствии, теперь то есть, уже прямо утверждают, что тогда победили они одни, а Россия только мешала.

И вообще мы так поставлены нашей европейской судьбой, что нам никак нельзя побеждать в Европе, если б даже мы и могли победить: в высшей степени невыгодно и опасно. Так, разве какие-нибудь частные, так сказать, домашние победы нам они еще могут «простить», — завоевание Кавказа, например. Первая же война с Турцией, при покойном государе, и вскоре после того последовавшая тогда разделка наша с Польшей чуть было не произвели взрыва во всей Европе. Они теперь «простили» нам, по-видимому, наши недавние приобретения в Средней Азии, а, однако, как ведь квакают там у себя, успокоиться не могут.

Тем не менее ход событий, кажется, должен изменить отношения к России европейских народов в весьма недалеком будущем. В прошлом мартовском «Дневнике» моем я изложил несколько мечтаний моих о близком будущем Европы. Но уже не мечтательно, а почти с уверенностью можно сказать, что даже в скором, может быть ближайшем, будущем Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это от того, что в Европе уничтожатся все великие державы, и по весьма простой причине: они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворен, ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием. А потому и останется один только колосс на континенте Европы — Россия. Это случится, может быть, даже гораздо ближе, чем думают. Будущность Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе? Какую роль играть в ней? Готова ли она к этой роли?

Парадоксалист

Кстати, насчет войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. Это человек совершенно никому не известный и характер странный: он мечтатель. О нем я непременно поговорю подробнее. Но теперь мне припомнилось, как однажды, впрочем уже несколько лет тому, он раз заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы. Замечу, что он «статский» и самый мирный и незлобивый человек, какой только может быть на свете и у нас в Петербурге.

— Дикая мысль, — говорил он, между прочим, — что война есть бич для человечества. Напротив, самая полезная вещь. Один только вид войны ненавистен и действительно пагубен: это война междоусобная, братоубийственная. Она

мертвит и разлагает государство, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия. Но политическая, международная война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому совершенно необходима.

— Помилуйте, народ идет на народ, люди идут убивать друг друга, что тут необходимого?

— Все и в высшей степени. Но, во-первых, ложь, что люди идут убивать друг друга: никогда этого не бывает на первом плане, а, напротив, идут жертвовать собственной жизнью — вот что должно стоять на первом плане. Это же совсем другое. Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое Отечество или даже просто отстаивая интересы своего Отечества. Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной идее. Тут потребность.

— Да разве человечество любит войну?

— А как же? Кто унывает во время войны? Напротив, все тотчас же ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или скуке, как в мирное время. А потом, когда война кончится, как любят вспоминать о ней, даже в случае поражения! И не верьте, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу, качая головами: «Вот несчастье, вот дожили!» Это лишь одно приличие. Напротив, у всякого праздник в душе. Знаете, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут, — зверь, ретроград, осудят; этого боятся. Хвалить войну никто не решится.

— Но Вы говорите о великодушных идеях, об очеловечении. Разве не найдется великодушных идей без войны? Напротив, во время мира им еще удобнее развиваться.

— Совершенно напротив, совершенно обратно. Великодушные гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука и много-много что злобная насмешка, да и то почти для праздной забавы, а не для дела. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на

сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, — главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир — все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают все. Остается под конец лишь одно лицемерие — лицемерие чести, самопожертвования, долга, так что, пожалуй, их еще и будут продолжать уважать, несмотря на весь цинизм, но только лишь на красных словах для формы. Настоящей чести не будет, а останутся формулы. Формулы чести — это смерть чести. Долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скромных, более близких к делу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Сластолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость. Вы никак не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта: что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству.

— Но наука, искусства — разве в продолжение войны они могут развиваться; а это великие и великодушные идеи.

— Тут-то я Вас и ловлю. Наука и искусства именно развиваются всегда в первый период после войны. Война их обновляет, освежает, вызывает, крепит мысли и дает толчок. Напротив, в долгий мир и наука глохнет. Без сомнения, занятие наукой требует великодушия, даже самоотвержения. Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей сущности, в блеске. Что значит перед торжеством богатства торжество какого-нибудь научного открытия, если только оно не будет так эффектно, как, например, открытие планеты Нептун. Много ли останется истинных

тружеников, как Вы думаете? Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще и то утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какую-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей. Мало-помалу утратится чувство меры и гармонии; явятся искривления чувств и страстей, так называемые утонченности чувства, которые в сущности только их огрубелость. Вот этому-то всему подчиняется всегда искусство в конце долгого мира. Если б не было на свете войны, искусство бы заглохло окончательно. Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. Подите в трагедию, смотрите на статуи: вот Гораций Корнеля²⁴, вот Аполлон Бельведерский²⁵, поражающий чудовище...

— А Мадонны, а христианство?

— Христианство само признает факт войны и пророчес-твует, что меч не пройдет до кончины мира: это очень замечательно и поражает. О, без сомнения, в высшем, в нравственном смысле оно отвергает войны и требует братолюбия. Я сам первый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала. Но вопрос: когда это может случиться? И стоит ли расковывать теперь мечи на орала? Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять. Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. Чтоб удержать рабов в рабском состоянии, надо отнять от них свободную волю и возможность просвещения. Ведь Вы же не можете не нуждаться в рабе, кто бы Вы ни были, даже если Вы самый гуманный человек? Замечу еще, что в период мира укореняется трусливость и бесчестность. Человек по природе своей страшно наклонен к трусливости и бесстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он так и жаждет войны и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. Война развивает братолюбие и соединяет народы.

— Как соединяет народы?

— Заставляя их взаимно уважать друг друга. Война освежает людей. Человеколюбие всего более развивается лишь на поле битвы. Это даже странный факт, что война менее обозляет, чем мир. В самом деле, какая-нибудь политическая обида в мирное время, какой-нибудь нахальный договор, политическое давление, высокомерный запрос — вроде как делала нам Европа в 63-м году — гораздо более обозляют, чем откровенный бой. Вспомните, ненавидели ли мы французов и англичан во время Крымской кампании? Напротив, как будто ближе сошлись с ними, как будто породнились даже. Мы интересовались их мнением о нашей храбрости, ласкали их пленных; наши солдаты и офицеры выходили на аванпосты во время перемирий и чуть не обнимались с врагами, даже пили водку вместе. Россия читала про это с наслаждением в газетах, что не мешало, однако же, великолепно драться. Развивался рыцарский дух. А про материальные бедствия войны я и говорить не стану: кто не знает закона, по которому после войны все как бы воскресает силами. Экономические силы страны возбуждаются в десять раз, как будто грозовая туча пролилась обильным дождем над иссохшею почвой. Пострадавшим от войны сейчас же и все помогают, тогда как во время мира целые области могут вымирать с голоду, прежде чем мы почешемся или дадим три целковых.

— Но разве народ не страдает в войну больше всех, не несет разорения и тягостей, неминуемых и несравненно больших, чем высшие слои общества?

— Может быть, но временно; а зато выигрывает гораздо больше, чем теряет. Именно для народа война оставляет самые лучшие и высшие последствия. Как хотите, будьте самым гуманным человеком, но Вы все-таки считаете себя выше простолюдина. Кто меряет в наше время душу на душу, христианской меркой? Меряют карманом, властью, силой, — и простолюдин это отлично знает всей своей массой. Тут не то что зависть, — тут является какое-то невыносимое чувство нравственного неравенства, слишком язвительного для про-

стонародья. Как ни освобождайте и какие ни пишете законы, неравенство людей не уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство — война. Пальятивное²⁶, моментальное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства — в жертве жизнью за общее дело, за всех, за Отечество. Неужели Вы думаете, что масса, самая даже темная масса мужиков и нищих, не нуждается в потребности *дейтельного* проявления великодушных чувств? А во время мира чем масса может заявить свое великодушие и человеческое достоинство? Мы и на единичные-то проявления великодушия в простонародье смотрим, едва достаивая замечать их, иногда с улыбкою недоверчивости, иногда просто не веря, а иногда так и подозрительно. Когда же поверим героизму какой-нибудь единицы, то тотчас же наделаем шуму, как перед чем-то необыкновенным; и что же выходит: наше удивление и наши похвалы похожи на презрение. Во время войны все это исчезает само собой, и наступает полное равенство героизма. Пролитая кровь важная вещь. Взаимный подвиг великодушия порождает самую твердую связь неравенств и сословий. Помещик и мужик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были ближе друг к другу, чем у себя в деревне, в мирной усадьбе. Война есть повод массе уважать себя, а потому народ и любит войну: он слагает про войну песни, он долго потом заслушивается легенд и рассказов о ней... пролитая кровь важная вещь! Нет, война в *наше время* необходима; без войны провалился бы мир или, по крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами...

Я, конечно, перестал спорить. С мечтателями спорить нельзя. Но есть, однако же, престранный факт: теперь начинают спорить и поднимают рассуждения о таких вещах, которые, казалось бы, давным-давно решены и сданы в архив. Теперь это все выкапывается опять. Главное в том, что это повсеместно.

Опять только одно слово о спиритизме

Опять у меня не остается места для «статьи» о спиритизме, опять отлагаю до другого №. И, однако же, я был еще в феврале на этом спиритском сеансе, с «настоящим» медиумом — сеансе, который произвел на меня довольно сильное впечатление. Об этом сеансе другие, присутствовавшие на нем, уже сказали печатно, так что мне, конечно, ничего не остается сообщить, кроме этого собственного моего впечатления. Но до сих пор, в целые эти два месяца, я не хотел ничего писать об этом и — *скрыл* мое впечатление от читателя. Вперед скажу, что оно было совершенно особого рода и почти не касалось спиритизма. Это было впечатление чего-то другого и лишь проявившегося по поводу спиритизма. Мне очень жаль, что я принужден опять отложить, тем более, что теперь нажил охоту поговорить об этом, тогда как доселе чувствовал к тому как бы некоторое отвращение. Отвращение произошло от мнительности. Некоторым из друзей моих я тогда же сообщил об этом сеансе; один человек, суждением которого я глубоко дорожу²⁷, выслушав, спросил меня, намерен ли я описать это в «Дневнике»? Я ответил, что еще не знаю. И вдруг он заметил: «Не пишите». Он ничего не прибавил, и я не настаивал, но я понял смысл: ему, очевидно, было бы неприятно, если бы я хоть чем-нибудь поспособствовал распространению спиритизма. Это меня тогда поразило потому особенно, что я, напротив, передавая об этом февральском сеансе, с искренним убеждением отрицал спиритизм. Стало быть, подметил же в моем рассказе этот человек, ненавидящий спиритизм, *нечто* как бы благоприятное спиритизму, несмотря на все мое отрицание. Вот почему я и воздерживался до сих пор говорить печатно, именно из мнительности и недоверчивости к самому себе. Но теперь я, кажется, себе уже вполне доверяю и всю эту мнительность себе разъяснил. Кроме того, я убедился, что никакими статьями моими не могу способствовать ни поддер-

жанию спиритизма, ни искоренению его. Г-н Менделеев, читающий в самую сию минуту, как я пишу это, свою лекцию в Соляном городке²⁸, вероятно, смотрит на дело иначе и читает с благородною целью «раздавить спиритизм». Лекции с такими прекрасными тенденциями всегда приятно слушать; но я думаю, что кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями, а неверующего, если только он вполне *не желает* поверить, — ничем не соблазнишь. Вот именно это-то убеждение я и выжил на февральском сеансе у А. Н. Аксакова, по крайней мере тогда в виде первого сильного впечатления. До тех пор я *просто* отрицал спиритизм, то есть, в сущности, был возмущен лишь мистическим смыслом его учения (явлений же спиритских, с которыми я и до сеанса с медиумом был несколько знаком, я не в состоянии был *вовне* отрицать никогда, даже и теперь, и особенно теперь — после того как прочел отчет учрежденной над спиритизмом ученой комиссии). Но после того замечательного сеанса я вдруг догадался или, лучше, вдруг узнал, что я мало того что не верю в спиритизм, но, кроме того, и вполне *не желаю* верить, — так что никакие доказательства меня уже не поколеблют более *никогда*. Вот что я вынес из того сеанса и потом уяснил себе. И, признаюсь, впечатление это было почти отрадное, потому что я несколько боялся, идя на сеанс. Прибавлю еще, что тут не одно только личное: мне кажется, в этом наблюдении моем есть и нечто общее. Тут мерещится мне какой-то особенный закон человеческой природы, общий всем и касающийся именно веры и неверия вообще. Мне как-то выяснилось тогда, именно через опыт, именно через этот сеанс, — какую силу неверие может найти и развить в самом себе, в данный момент, совершенно помимо вашей воли, хотя и согласно с вашим тайным желанием... Равно, вероятно, и вера. Вот об этом-то я и хотел бы сказать.

Итак, до следующего №, но теперь, однако, прибавлю еще несколько слов в дополнение сказанного уже в мартовском №, собственно по поводу все того же отчета столь известной уже теперь «Комиссии».

* * *

Я тогда сказал несколько слов о неудовлетворительности этого отчета и о том, что даже он может быть вреден своему собственному делу. Но я не сказал главного. Постараюсь теперь добавить в коротких словах, тем более что тут дело очень простое. Комиссия не захотела снизойти до главной потребности в этом деле, до потребности общества, ожидавшего ее решения. Она, кажется, так мало заботилась об общественной потребности (в противном случае пришлось бы предположить, что она просто и не сумела понять ее), что не сообразила даже того, что какими-то «мелькнувшими в темноте кринолинными пружинками» никого у нас не разуверишь и ничего не докажешь, если уже люди повреждены. Читая отчет, решительно начинает казаться, что эти наши ученые предполагали спиритизм существующим в Петербурге единственно лишь в квартире А. Н. Аксакова и ничего ровно не знали о жажде, проявившейся в обществе к спиритизму, и на каких основаниях спиритизм собственно у нас, у русских, начал распространяться. Но они все это знали, а только пренебрегли. По всему видно, что они отнеслись ко всему этому совершенно как те частные лица, которые выслушивают о пагубных увлечениях нашего общества спиритизмом, лишь глумясь и хихикая над ними, да и то мимоходом, едва достаивая вникнуть. Но, организовавшись в комиссию, эти ученые стали уже общественными деятелями, а не частными лицами. Они получили миссию, и вот этого-то они, кажется, не пожелали принять в соображение, а подсели к спиритскому столу, совершенно продолжая по-прежнему быть частными лицами, то есть смеясь, глумясь и хихикая и разве только, кроме того, немножко сердясь на то, что им серьезно пришлось заняться такую глупостью.

Пусть, однако же, весь этот дом, вся квартира А. Н. Аксакова обтянута пружинами и проволоками, а у медиума, сверх того, какая-то машинка, щелкающая между ног (об этой хитрой догадке комиссии сообщил потом печатно Н. П. Вагнер)²⁹.

Но ведь всякий «серьезный» спирт (о, не смейтесь над этим словом, право, это очень серьезно) спросит, прочтя отчет: «Как же у меня-то дома, где я всех знаю по пальцам — моих детей, жену, родных и знакомых, — как же у меня-то происходят те же самые явления: стол качается, подымается, слышатся звуки, получаются интеллигентные ответы? Ведь уж я-то наверно знаю и вполне убежден, что в доме моем нет машинок и проволочек, а жена моя и дети мои меня не станут обманывать?» Главное то, что таких, которые скажут или подумают это, в Петербурге, в Москве и в России уже накопилось слишком довольно, чересчур даже, и вот об этом надо было бы подумать, даже снизойдя с ученой высоты; ведь это зараза, ведь этим людям надо помочь. Но высокомерие комиссии не допускает ее ни до какого раздумья: «Просто все легкомысленные малообразованные люди, а потому и верят». «Пусть, положим, — продолжает настаивать серьезный и тревожно убежденный спирт (ибо они еще все теперь в первом удивлении и в первой тревоге, — дело ведь такое новое и необычайное), — пусть я легкомыслен и малообразован, но ведь машинки-то этой, которая щелкает, все-таки у меня нет в доме, я ведь это наверно знаю, да и средств я не имею выписывать такие забавные инструменты, да и откуда, кто их продает, все это, ей-Богу, нам неизвестно. Так как же у нас-то щелкает, как же эти стуки-то происходят? Вот вы говорите, что мы сами как-то надавливаем на стол бессознательно; уверяю же вас, что мы не до такой степени дети и следим за собой, именно следим: не надавливаем ли сами, — опыты делаем, с любопытством, с беспристрастием...»

— Нечего вам отвечать, — заключает комиссия уже с сердцем, — вас тоже и так же обманывают, как и всех; всех обманывают, все колпаки; так должно быть, так наука говорит, мы наука.

Ну, это не объяснение. «Нет, видно, тут что-нибудь другое, — заключает «серьезно» убежденный спирт, — не может быть, чтоб одни только фокусы. Пусть там мадам Клайр, а я свою семью знаю: некому у меня делать фокусы». И спиритизм держится.

* * *

Вот сейчас я прочитал в «Новом времени» отчет о первой лекции г-на Менделеева в Соляном городке³⁰. Г-н Менделеев делает твердое положение, в виде твердого факта, что

«...на спиритических сеансах столы двигаются и издают стуки, как при наложении на них рук, так и без него. Из этих стуков, при условной азбуке, образуются целые слова, фразы, изречения, носящие всегда на себе оттенок умственного развития того медиума, при помощи которого производится сеанс. Это факт. Теперь надо разъяснить, кто стучит и обо что? Для разъяснения существуют следующие 6 гипотез».

Вот это-то и главное: «Кто стучит и обо что?» И затем выставляется шесть существующих уже об этом в Европе гипотез, целых шесть, кажется, можно бы разубедить даже самого «серьезного» спирита. Но ведь любопытнее всего для добросовестного и *желающего* разъяснить дело спирита не то, что есть шесть гипотез, а то, какой гипотезы держится сам г-н Менделеев, что, собственно, говорит и на чем установилась именно наша комиссия? Свое-то нам ближе, авторитетнее, а что там в Европе или в Американских Штатах, так это все дело темное! И вот из дальнейшего изложения лекции видно, что комиссия, все-таки и опять-таки, остановилась на гипотезе фокусов, да и не простых, а именно с предвзятыми плутнями и щелкающими между ног машинками (повторяю, — по свидетельству Н. П. Вагнера). Но этого мало, мало этого ученого «высокомерия» для наших спиритов, мало даже и в том случае, *если б комиссия была и права*, и вот в чем беда. Да и кто еще знает, может быть, «серьезно» убежденный спирит и прав, заключая, что если спиритизм и вздор, то все-таки тут что-то другое, кроме одних грубых плутней, к которому и надо бы отнестись понежнее и, так сказать, поделикатнее, потому ведь, что «жена его, дети его, знакомые его не станут его обманывать» и т. д. и т. д. Поверьте, что он стал на своем,

и вы его с этого не собьете. Он твердо знает, что тут «не все одни плутни». В этом-то уж он убедился.

В самом деле, все другие положения комиссии почти точно такого же высокомерного характера: «Легкомысленны, дескать, сами надавливают бессознательно на стол, оттого стол и качается; сами обмануть себя желают, стол и стучит; нервы расстроены, во мраке сидят, гармония играет, крючочки в рубашечных рукавчиках устроены (это, впрочем, предположение г-на Рачинского³¹), кончиком ноги стол подымают» и т. д. и т. д. И все-таки это никого не убедит из *желающих со-
вернуться*. «Помилосердуйте, у меня стол в два пуда, я ни за что его не сдвину концом ноги и уж никак не подыму на воздух, да этого и нельзя совсем сделать, разве какой-нибудь факир или фокусник это сделает, или там ваша мистрисс Клэйр своей кринолиновой машинкой, а у меня в семействе нет таких фокусников и эквилибристов». Одним словом, спиритизм — без сомнения, великое, необычайное и глупейшее заблуждение, блудное учение и тьма, но беда в том, что не так просто все это, может быть, происходит за столом, как предписывает верить комиссия, и нельзя тоже всех спиритов сплошь обозвать рохлями и глупцами. Этим только переоскорбишь всех лично и тем скорее ничего не достигнешь. К этому заблуждению надо бы было отнестись, кажется, именно в некоторой связи с текущими общественными обстоятельствами нашими, а поэтому и тон, и прием изменить на другие. Особенно надо бы было принять во внимание мистическое значение спиритизма, эту вреднейшую вещь, какая только может быть; но комиссия именно над этим-то значением и не задумывалась. Конечно, она не в силах бы была раздавить это зло, ни в каком случае, но, по крайней мере, другими, не столь наивными и гордыми приемами могла бы вселить и в спиритах даже уважение к своим выводам, а на шатких еще последователей так и сильное бы могла иметь влияние. Но комиссия, очевидно, считала всякий другой подход к делу, кроме как к фокусничеству, и не простому, а с плутнями, — унижительным для своего ученого достоинства. Всякое предположение, что

спиритизм есть нечто, а не просто грубый обман и фокус, — для комиссии было немыслимо. Да и что сказали бы тогда о наших ученых в Европе? Таким образом, прямо задавшись убеждением, что всего-то тут только надо изловить плутню и ничего больше, — ученые тем самым сами дали решению своему вид предвзятого решения. Поверьте, что иной умный спирит (уверяю вас, что есть и умные люди, задумывающиеся над спиритизмом, не все глупцы), — иной умный спирит, прочитав в газетах отчет о публичной лекции г-на Менделеева, а в нем такую фразу:

«Из этих стуков, при условной азбуке, образуются целые слова, фразы, изречения, *носящие всегда на себе оттенок умственного развития того медиума, при помощи которого производится сеанс. Это факт*»,

прочитав такую фразу, пожалуй, вдруг подумает: да ведь этот «всегдашний оттенок умственного развития того медиума» и т.д. — ведь это, пожалуй, чуть не самое существенное дело в исследовании о спиритизме, и вывод должен быть сделан на основании самых тщательных опытов, и вот наша комиссия только лишь подседа к делу (долго ль она занималась-то!) как тотчас же и определила, что *это факт*. Уж и факт! Может быть, она руководствовалась в этом случае каким-нибудь немецким или французским мнением, но ведь в таком случае где же собственный-то ее опыт? Тут лишь мнение, а не вывод из собственного опыта. По одной мистрисс Клэйр они не могли заключить об ответах столов, «соответственных умственному развитию медиумов», как о всеобщем факте. Да и мистрисс-то Клэйр вряд ли они исследовали с ее умственной, верхней, головной стороны, а нашли лишь щелкающую машинку, но уже совсем в другом месте. Г-н Менделеев был членом комиссии и, читая лекцию, говорил как бы от лица комиссии. Нет, такое скорое и поспешное решение комиссии, в *таком важном пункте исследования* и при таких ничтожных опытах — слишком высокомерно, да и вряд ли вполне научно...

Право, это могут подумать. Вот подобная-то высокомерная легкость *иных* заключений и даст обществу, а пуще всего всем этим убежденным уже спиритам, повод еще пуще утвердиться в своих заблуждениях: «Высокомерие, дескать, гордость, предвзятость, преднамеренность. Брюзгливы уж слишком!..» И спиритизм удержится.

* * *

P.S. Сейчас прочел отчет и о второй лекции г-на Менделеева о спиритизме³². Г-н Менделеев уже приписывает отчету комиссии врачебное действие на писателей: «Суворин не так уже верит в спиритизм, Боборыкин³³ тоже, видимо, исцелился, по крайней мере поправляется. Наконец, в «Дневнике» своем и Достоевский поправился: в январе он был склонен к спиритизму, а в марте уже бранит его: стало быть, тут «отчет». Так, стало быть, почтенный г-н Менделеев подумал, что я в январе хвалил спиритизм? Уж не за чертей ли?

Г-н Менделеев, должно быть, необыкновенно доброй души. Раздавив двумя лекциями спиритизм, представьте себе, ведь он в заключение второй лекции похвалил его. И за что, как вы думаете: «Честь и слава спиритам» (ух! до чести и славы дошло; да за что же так вдруг?). «Честь и слава спиритам, — сказал он, — что они вышли честными и смелыми борцами того, что им казалось истиною, не боясь предрассудков!» Очевидно, что это сказано из жалости и, так сказать, из деликатности, происшедшей от собственного пресыщения своим успехом, только не знаю — деликатно ли вышло. Это точь-в-точь как содержатели благородных пансионов аттестуют иной раз своих воспитанников перед их родителями: «Ну, а этот хотя умственными способностями, подобно старшему своему брату, похвалиться не может и далеко не пойдет, но зато чистосердечен и поведения благонадежного»: каково это младшему-то брату выслушивать! Также похвалил спиритов (и опять с «честь и славой») за то, что они в наш материальный век интересуются о душе. Хоть не в науках,

так в вере, дескать, тверды, в Бога веруют. Почтенный профессор, должно быть, большой насмешник. Ну, а если он это наивно, не в насмешку, то, стало быть, обратное: большой не насмешник...

За умершего

С тяжелым чувством прочел я в «Новом времени» перепечатанный этою газетою из журнала «Дело» анекдот³⁴, позорный для памяти моего брата Михаила Михайловича, основателя и издателя журналов «Время» и «Эпоха» и умершего двенадцать лет тому назад. Привожу этот анекдот буквально:

«В 1862 году, когда Щапов³⁵ не захотел более уже иметь дело с тогдашними «Отеч. зап.», а другие журналы были временно прекращены, он отдал своих «Бегунов» во «Время»³⁶. Осенью он сильно нуждался, но покойный редактор «Времени», Михаил Достоевский, очень долго затягивал уплату следующих ему денег. Настали холода, а у Щапова не было даже теплого платья. Наконец он вышел из себя, попросил к себе Достоевского, и при сем произошла у них следующая сцена. — Подождите-с³⁷, Афанасий Прокопьевич, — через неделю я Вам привезу все деньги, — говорил Достоевский. — «Да поймите же Вы наконец, что мне деньги сейчас нужны!» — «На что же сейчас?» — «Теплого пальто вон у меня нет, платья нет». — «А знаете ли, что у меня знакомый портной есть; у него все это в кредит можно купить, я после заплачу ему из Ваших денег». — И Достоевский повез Щапова к портному еврею, который снабдил историка каким-то пальто, сюртучком, жилетом и штанами весьма сомнительного свойства и поставленными в счет очень дорого, на что потом жаловался даже непрактический Щапов».

Это из некролога Щапова в «Деле». Не знаю, кто писал, я еще не справлялся в «Деле» и не читал некролога. Перепечатаваю же, как сказал выше, из «Нового времени».

Брат мой умер уже давно: дело, стало быть, старое, темное, защищать трудно, и — никого свидетелей рассказанного происшествия. Обвинение, стало быть, голословное. Но

я твердо уверяю, что весь этот анекдот лишь одна нелепость, и если некоторые обстоятельства в нем не выдумка, то, по крайней мере, все факты извращены, и правда в высшей степени пострадала. Докажу это — сколько возможно.

Прежде всего объявляю, что в денежных делах брата по журналу и в его прежних коммерческих оборотах я никогда не участвовал. Сотрудничая брату по редакции «Времени», я не касался ни до каких денежных расчетов. Тем не менее мне совершенно известно, что журнал «Время» имел блестящий по-тогдашнему успех. Известно мне тоже, что расчеты с писателями не только не производились в долг, но, напротив, постоянно выдавались весьма значительные суммы вперед сотрудникам³⁸. Про это-то уж я знаю и много раз бывал свидетелем. И в сотрудниках журнал не нуждался: они сами приходили и присылали статьи во множестве, еще с первого года издания; стоит просмотреть №№ «Времени» за все 2½-ю года издания, чтоб убедиться, что в нем участвовало огромное большинство тогдашнейших представителей литературы. Так не могло бы быть, если б брат не платил сотрудникам или, вернее, — неблагородно бы вел себя с сотрудниками. Впрочем, о раздаче вперед значительных сумм могут многие и теперь засвидетельствовать. Дело это не в углу происходило. Многие из бывших и даже близких сотрудников и теперь еще живы и, конечно, не откажутся засвидетельствовать: как на их взгляд и память велись братом дела в журнале. Короче: брат не мог «затягивать уплату Щапову», да еще тогда, когда у того не было платя. Если же Щапов попросил брата к себе, то не «выведенный из терпения» за неуплату, а именно *прося денег вперед* подобно многим другим. После покойного брата сохранились многие письма и записки в редакцию сотрудников, и я не теряю надежды, что между ними отыщутся и записки Щапова. Тогда и уяснятся отношения. Но и, кроме этого, то обстоятельство, что Щапов вероятнее всего просил тогда денег вперед, — без сомнения, согласнее с истиною и со всеми воспоминаниями, со всеми еще возможными теперь свидетельствами о том, как велось и издавалось

«Время», — свидетельствами, которых, повторяю, и теперь можно набрать довольно, несмотря на 14-летний минувший срок. Несмотря на свою «деловитость», брат бывал довольно слаб к просьбам и не умел отказывать: он выдавал вперед, иногда даже и без надежды получить статью для журнала от писателя. Этому я свидетелем и мог бы кой на кого указать. Но с ним и не такие случаи бывали. Один из *постоянных* сотрудников выпросил у брата шестьсот рублей вперед и на другое же утро уехал служить в Западный край, куда тогда набирали чиновников, и там и остался, и ни статей, ни денег брат от него не получил. Но замечательнее всего, что и шагу не сделал, чтоб вытребовать деньги обратно, несмотря на то, что имел в руках документ, и уже долго спустя, по смерти его, его семейство вытребовало с этого сотрудника (человека, имевшего средства) деньги судом³⁹. Суд был гласный, и обо всем этом деле можно получить самые точные сведения. Я только хотел заявить, с какою легкостью и готовностью брат выдавал иногда деньги вперед и что не такой человек стал бы оттягивать уплату нуждающемуся литератору. Некрологист Щапова, вслушиваясь в разговор брата со Щаповым, мог просто не знать, о каких, собственно, деньгах идет дело: о должных ли братом или о просимых вперед? Весьма возможно и то, что брат предложил Щапову сделать ему, у знакомого портного, в кредит платье, и все это очень просто: не желая отказать Щапову в помощи, он мог, по некоторым соображениям, предпочесть этот способ помощи выдаче денег Щапову прямо в руки...

Наконец — в приведенном анекдоте я не узнаю разговора моего брата: *таким тоном* он никогда не говаривал. Это вовсе не то лицо, не тот человек. Брат мой никогда ни у кого не заискивал: он не мог кружиться около человека со сладенькими фразами, пересыпая свою речь *слово-ер-сами*. И уж, конечно, никогда бы не допустил сказать себе: «Да поймите же Вы наконец, что мне деньги сейчас нужны». Все эти фразы как-нибудь переделались и пересочинились, под известным взглядом, за четырнадцать лет, у автора анекдота в воспомин-

нании. Пусть все, помнящие брата (а таких много), припомнят — говорил ли он таким слогом? Брат мой был человек высоко порядочного тона, вел и держал себя как джентльмен, которым и был на самом деле. Это был человек весьма образованный, даровитый литератор, знаток европейских литератур, поэт и известный переводчик Шиллера и Гете. Я не могу представить себе, чтоб такой человек мог так лебезить перед Щаповым, как передано в «анекдоте».

Приведу еще одно обстоятельство о покойном брате моем, кажется, очень мало кому известное. В сорок девятом году он был арестован по делу Петрашевского и посажен в крепость, где и высидел два месяца⁴⁰. По прошествии двух месяцев их освободили несколько человек (довольно многих), как невинных и неприкосновенных к возникшему делу. И действительно: брат не участвовал ни в организованном тайном обществе у Петрашевского, ни у Дурова. Тем не менее он бывал на вечерах Петрашевского и пользовался из тайной, общей библиотеки, склад которой находился в доме Петрашевского, книгами. Он был тогда фурьеристом и со страстью изучал Фурье. Таким образом, в эти два месяца в крепости он вовсе не мог считать себя безопасным и рассчитывать с уверенностью, что его отпустят. То, что он был фурьеристом и пользовался библиотекой, — открылось, и, конечно, он мог ожидать если не Сибири, то отдаленной ссылки как подозрительный человек. И многие из освобожденных через два месяца подверглись бы ей непременно (говорю утвердительно), если б не были все освобождены по воле покойного государя, о чем я узнал тогда же от князя Гагарина⁴¹, ведшего все следствие по делу Петрашевского. По крайней мере, узнал тогда то, что касалось освобождения моего брата, о котором сообщил мне князь Гагарин, нарочно вызвав меня для того из каземата в комендантский дом, в котором производилось дело, чтоб обрадовать меня. Но я был один, холостой, без детей; брат же, попав в крепость, оставил на квартире испуганную жену свою и трех детей, из которых старшему тогда было всего 7 лет, и вдобавок без копейки денег. Брат мой нежно и горя-

чо любил детей своих, и воображаю, что перенес он в эти два месяца! Между тем он не дал *никаких показаний*, которые бы могли компрометировать других, с целью облегчить тем собственную участь, тогда как мог бы кое-что сказать, ибо хоть сам ни в чем не участвовал, но *знал о многом*. Я спрошу: многие ли так поступили бы на его месте? я твердо ставлю такой вопрос, потому что знаю — о чем говорю. Я знаю и видел, какими оказываются люди в подобных несчастьях, и не отвлеченно об этом сужу. Пусть как угодно посмотрят на этот поступок моего брата, но все же он не захотел, даже для своего спасения, сделать то, что считал противным своему убеждению. Замечу, что это не голословное мое показание: все это я в состоянии теперь подкрепить точнейшими данными. А между тем брат в эти два месяца, каждый день и каждый час, мучился мыслью, что он погубил семью, и страдал, вспоминая об этих трех маленьких дорогих ему существах и о том, что их ожидает... И вот такого человека хотят теперь представить в стачке с каким-то евреем портным, чтоб, обманув Щапова, поделить с портным барыш и положить в карман несколько рублей! Фу, какой вздор!

[...]

М а й

Одна несоответственная идея

...«Независимость»? Но любят ли у нас независимость — вот вопрос. И что такое у нас независимость? Есть ли два человека, которые бы понимали ее одинаково; да и не знаю, есть ли у нас хоть одна такая идея, в которую хоть кто-нибудь серьезно верит? Рутинка наша, и богатая и бедная, любит ни о чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы

есть и не скучно. Люди получше рутины «обособляются» в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат. Есть и особые люди, взявшие за формулу: «Чем хуже, тем лучше» и разрабатывающие эту формулу. Есть, наконец, и парадоксалисты, иногда очень честные, но, большею частью, довольно бездарные; те, особенно если честны, кончают непрерывными самоубийствами. И право, самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уж и не говорит о них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей. И сколько в ней несомненно честных людей и особенно честных женщин! Женщины у нас подымаются и, может быть, многое спасут, об этом я еще буду говорить. Женщины — наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самую роковую минуту; но вот в чем беда: честных-то у нас много, очень много, то есть, видите ли: скорее добрых, чем честных, но никто из них не знает, в чем честь, решительно не верит ни в какую формулу чести, даже отрицает самые ясные прежние ее формулы, и это почти везде и у всех, что за чудо? А так называемая «живая сила», живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может и земля не стоит, — решительно Бог знает куда уходит... Вот уж несоответственная-то идея.

Несоответственных идей у нас много, и они-то и придавливают. Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполовину, — и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет. Иной соглашается жить и придавленный, а другой не согласен и убивает себя. Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубийцы, девицы, приведенное в «Новом времени»¹, длинное письмо. Ей было двадцать пять лет. Фамилия — Писарева. Была она дочь достаточных когда-то помещиков, но приехала в Петербург и отдала долг прогрессу, поступила в акушерки. Ей удалось, она выдержала экзамен и нашла место земской акушерки; сама свидетельствует, что не нуждалась вовсе и могла слишком довольно заработать, но она *устала*, она очень «устала», так устала, что ей захотелось отдохнуть. «Где же лучше отдох-

хнешь, как не в могиле?» Но устала она действительно ужасно! все письмо этой бедной дышит усталостью. Письмо даже сварливо, нетерпеливо: отстаньте только, я устала, устала. «Не забудьте велеть стащить с меня новую рубашку и чулки, у меня на столике есть старая рубашка и чулки. Эти пусть наденут на меня». Она не пишет *снять*, а *стащить*, — и все так, то есть во всем страшное нетерпение. Все эти резкие слова от нетерпения, а нетерпение от усталости; она даже бранится: «Неужели вы верили, что я домой поеду? Ну, на кой черт я туда поеду?» Или: «Теперь, Липарева, простите Вы меня и пусть простит Петрова (у которой на квартире она отравилась), в особенности Петрова. Я делаю свинство, пакость...» Родных своих она, видимо, любит, но пишет: «Не давайте знать Лизаньке, а то она скажет сестре, и та приедет выть сюда. Я не хочу, чтобы надо мной выли, а родственники все без исключения воют над своими родными». *Воят*, а не *плачут*, — все это, видимо, от брюзгливой и нетерпеливой усталости: поскорей, поскорей бы только — и дайте покой!.. Брезгливого и цинического неверия в ней страшно, мучительно много; она и в Липареву, и в Петрову, которых так любит, не верит. Вот слова, которыми начинается письмо: «Не теряйте головы, не ахайте, сделайте над собой усилие и прочтите до конца; а потом рассудите, как лучше сделать. Петрову не пугайте. Может быть, ничего не выйдет, кроме смеха. Мой вид на жительство в чемоданной крышке».

Кроме смеха! Эта мысль, что над нею, над бедным телом ее будут смеяться, и кто же — Липарева и Петрова — эта мысль скользнула в ней в такую минуту! Это ужасно!

До странности занимают ее денежные распоряжения той крошечной суммой, которая после нее осталась: «те-то деньги чтоб не взяли родные, те-то Петровой, двадцать пять рублей, которые дали мне Чечоткины на дорогу, отвезите им». Эта важность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни «о камнях, обращенных в хлебы». Одним словом, проглядывает руководящее убеждение всей жизни, то есть «были бы все обеспечены, были бы все

и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений. Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды» и т. д. и т. д. В этом-то и состоит весь этот маленький, обиходный и ужасно характерный и законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жизни с такою верою (и несмотря на то так скоро все наскучивают и своей верою и жизнью), которыми они заменяют все, живую жизнь, связь с землей, веру в правду; все, все. Она устала, очевидно, от скуки жить и утратив всякую веру в правду, утратив всякую веру в какой-нибудь долг; одним словом, полная потеря высшего идеала существования.

И умерла бедная девушка. Я не вою над тобой, бедная, но дай хоть пожалеть о тебе, позволь это; дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась. Милые, добрые, честные (все это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши. Ну как не *выть* над вами матерям вашим, которые вас растили и так любовались на вас, когда еще вы были младенцами? А в младенце столько надежд! Вот я смотрю, вот эти здешние «вышвырки», — ведь как они хотят жить, как они заявляют о своем праве жить! Так и ты была младенцем, и хотела жить, и твоя мать это помнит, и как сравнит теперь твое мертвое лицо с тем смехом и радостью, которые видела и помнит на твоём младенческом личике, то как же ей не «взвыть», как же упрекать их за то, что они воют? Вот мне показали сейчас девочку Дуню: она родилась с искривленной ножкой, то есть совсем без ноги; вместо ноги у нее что-то вроде какой-то тесемки. Ей всего только полтора года, она здоровенькая и замечательно хороша собой; ее все ласкают, и она всякому-то кивнет головкой, всякому-то улыбнется, всякому-то пощелкает языком. Она еще ничего не знает про свою ножку, не знает, что она урод и калека, но неужели и этой тоже суждено возненавидеть жизнь? «Мы ей вставим ножку, дадим костыль и выучим ходить, и не заметит», — го-

ворил доктор, лаская ее. Ну и дай Бог, чтоб *не заметила*. Нет, устать, возненавидеть жизнь, возненавидеть, значит, и всех, о, нет, нет, пройдет это жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчащихся под свалившимися на них камнями, засветит как солнце новая великая мысль, и укрепится шатающийся ум, и скажут все: «Жизнь хороша, а мы были гадки». Не виню ведь я, говоря, что гадки. Вон я вижу эта баба, эта грубая кормилица, это «нанятое молоко» вдруг поцеловала ребенка, — этого-то ребенка, «вышвырка-то»! Я и не думал, что здесь кормилицы целуют этих ребят; да ведь за этим только, чтоб это увидеть, стоило бы сюда съездить! А она поцеловала и не заметила и не видела, что я смотрел. За деньги, что ли, они их любят? Их нанимают, чтоб ребят кормить, и не требуют, чтоб целовали. У чухонки по деревням детям, рассказывают, хуже, но некоторые из них до того привыкают к своим выкормкам, что, передавали мне, сдают их опять в Дом, плача, приходят потом нарочно их повидать издалека, из деревень приносят гостинца, «воют над ними». Нет, тут не деньги: «родные ведь все воют», — как решила Писарева в своей предсмертной записке, вот и эти приходят выть, и целуют, и гостинца своего деревенского бедного тащут. Это не одни только наемные груди, заменившие груди матерей, это *материнство*, это та «живая жизнь», от которой так устала Писарева. Да правда ли, что русская земля перестает на себе держать русских людей? Отчего же жизнь рядом, тут же, бьет таким горячим ключом? И, уж конечно, тут много тоже младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у себя на ступеньках дач и точат бритвы на своих соперниц...

Несомненный демократизм. Женщины

Чувствую, что надо бы ответить и еще на одно письмо одного корреспондента. В прошлом, апрельском № «Дневника», говоря о политических вопросах, я, между прочим, включил одну, положим, фантазию:

«...Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это от того, что в Европе уничтожатся все великие державы по весьма простой причине: они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворен, ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием. А потому и останется один только колосс на континенте Европы — Россия».

Мой корреспондент в ответ на это мнение приводит один любопытнейший и назидательный факт и выставляет его как причину сомнения в том, что «наш демос доволен и удовлетворен». Почтенный корреспондент слишком хорошо поймет (если ему попадутся эти строки), почему я не могу теперь поднять этот сообщенный им факт и ответить на него, хотя и не теряю надежды в возможность поговорить именно об этом факте в самом непродолжительном будущем. Но теперь я хочу лишь сказать одно слово в объяснение о демосе, тем более что получил уже сведение и о некоторых других мнениях, тоже не согласных с моим убеждением о довольстве нашего «демоса». Я хочу лишь обратить внимание моих оппонентов на одну строчку выписанного выше места из апрельского номера: «.. ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием». В самом деле, если б этого общего *настроения* или, лучше, *согласия* не было даже в самых моих оппонентах, то они пропустили бы мои слова без возражения. И потому настроение это несомненно существует, несомненно демократическое и несомненно бескорыстное; мало того, оно всеобщее. Правда, много в теперешних демократических заявлениях и фальши, много и журнального плутовства; много увлечения, например, в преувеличении нападок на противников демократизма, которых, к слову сказать, у нас теперь очень мало. Тем не менее честность, бескорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подвержены уже никакому сомнению. В этом отношении мы, может быть, пред-

ставили или начинаем представлять собою явление, еще не объявлявшееся в Европе, где демократизм до сих пор и повсеместно заявил себя еще только снизу, еще только воюет, а побежденный (будто бы) верх до сих пор дает страшный отпор. Наш верх побежден не был, наш верх сам стал демократичен или, вернее, народен, и — кто же может отрицать это? А если так, то согласитесь сами, что наш демос ожидает счастливая будущность. И если в настоящем еще многое неприглядно, то, по крайней мере, позволительно питать большую надежду, что временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и непрерывным влиянием впредь таких огромных начал (ибо иначе и назвать нельзя), *как всеобщее демократическое настроение и всеобщее согласие* на то всех русских людей, начиная с самого верху. Вот в этом-то смысле я и выразился, что наш демос доволен и «чем далее, тем более будет удовлетворен». Что же в это трудно не верить.

А в заключение мне хочется добавить еще одно слово о русской женщине. Я сказал уже, что в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления. Возрождение русской женщины в последние двадцать лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, открытый и безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение, по крайней мере заставил задуматься, невзирая на несколько паразитных неправильностей, обнаружившихся в этом движении. Теперь, однако, уже можно свести счеты и сделать безбоязненный вывод. Русская женщина целомудренно пренебрегла препятствиями, насмешками. Она твердо объявила свое желание участвовать в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно. Русский человек, в эти последние десятилетия, страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее. В жажде высшего образования она проявила серьезность, терпение и представила пример величайшего мужества. «Дневник писателя» дал мне средство ближе видеть русскую женщину; я получил несколько замечательных писем; меня, неумелого,

спрашивают они: «что делать?» Я ценю эти вопросы и недостаток умения в ответах стараюсь искупить искренностью. Я сожалею, что многого не могу и права не имею здесь сообщить. Вижу, впрочем, и некоторые недостатки современной женщины и главный из них — чрезвычайную зависимость ее от некоторых собственно мужских идей, способность принимать их на слово и верить в них без контроля. Говорю далеко не обо всех женщинах, но недостаток этот свидетельствует и о прекрасных чертах сердца: ценят они более всего свежее чувство, живое слово, но главное, и выше всего, искренность, а поверив искренности, иногда даже фальшивой, увлекаются и мнениями, и вот это иногда слишком. Высшее образование впереди могло бы этому очень помочь. Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые дает оно, Россия еще раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества. Дай Бог тоже русской женщине менее «уставать», менее разочаровываться, как «устала», например, Писарева. Но скорее пусть, как жена Щапова, она утолит тогда свою грусть самопожертвованием и любовью². Но и та и другая одинаково мучительные и незабвенные явления, — одна по своей мало-вознагражденной высокой женственной энергии, другая — как бедная усталая, уединившаяся, поддавшаяся, побежденная...

[...]

И ю н ь

Мой парадокс

Вновь сшибка с Европой (о, не война еще: до войны нам, то есть России, говорят, все еще далеко), вновь на сцене бесконечный Восточный вопрос, вновь на русских смотрят в Ев-

ропе недоверчиво... Но, однако, чего нам гоняться за доверчивостью Европы? Разве смотрела когда Европа на русских доверчиво, разве может она смотреть на нас когда-нибудь доверчиво и не враждебно? О, разумеется, *когда-нибудь* этот взгляд переменится, когда-нибудь и нас разглядит и раскусит Европа получше, и об этом *когда-нибудь* очень и очень стоит поговорить, но пока — пока мне пришел на ум как бы посторонний и боковой вопрос, и недавно я очень занят был его разрешением. Пусть со мной будет никто не согласен, но мне кажется, что я хоть отчасти, а прав.

Я сказал, что русских не любят в Европе. Что не любят — об этом, я думаю, никто не заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе, всех русских, почти поголовно, что мы страшные либералы, мало того — революционеры и всегда, с какою-то даже любовью, склонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к консервативным элементам Европы. За это смотрят на нас многие европейцы насмешливо и свысока — ненавистно: им непонятно, с чего это нам быть в *чужом деле* отрицателями, они положительно отнимают у нас право европейского отрицания — на том основании, что не признают нас принадлежащими к «цивилизации». Они видят в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить, — разрушить лишь для разрушения, для удовольствия лишь поглядеть, как все это развалится, подобно орде дикарей, подобно гуннам, готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню, даже без всякого понятия о том, какую драгоценность они истребляют¹. Что русские действительно в большинстве своем заявили себя в Европе либералами, — это правда, и даже это странно. Задавал ли себе кто когда вопрос: почему это так? Почему чуть не девять десятых русских, во все наше столетие, культуриясь в Европе, всегда примыкали к тому слою европейцев, который был либерален, к «левой стороне», то есть всегда к той стороне, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или менее конечно (то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская коммуна 71-го

года, — чрезвычайно различно²). Так же «более или менее» и так же многообразно либеральны и русские в Европе, но все же, однако, повторю это, они склоннее европейцев примкнуть прямо к крайней левой с самого начала, чем витать сперва в нижних степенях либерализма, — одним словом, Тьеров из русских гораздо менее найдешь, чем коммунаров. И, заметьте, это вовсе не какие-нибудь подбитые ветром люди, по крайней мере — не все одни подбитые ветром, а и имеющие даже и очень солидный и цивилизованный вид, иногда даже чуть не министры. Но виду-то этому европейцы и не верят: «Grattez le russe et vous verrez le tartare», — говорят они (поскоблите русского, и окажется татарин). Все это, может быть, справедливо, но вот что мне пришло на ум: потому ли русский в общении своем с Европой примыкает, в большинстве своем, к крайней левой, что он татарин и любит разрушение, как дикий, или, может быть, двигают его другие причины, — вот вопрос!.. и согласитесь, что он довольно любопытен. Сшибки наши с Европой близятся к концу; роль прорубленного окна в Европу кончилась, и наступает что-то другое, должно наступить по крайней мере, и это теперь всяк сознает, кто хоть сколько-нибудь в состоянии мыслить. Одним словом, мы все более и более начинаем чувствовать, что должны быть к чему-то готовы, к какой-то новой и уже гораздо более оригинальной встрече с Европой, чем было это доселе, — в Восточном ли вопросе это будет или в чем другом, кто это знает!.. А потому всякие подобные вопросы, изучения, даже догадки, даже парадоксы, и те могут быть любопытны хоть тем одним, что могут навести на мысль. А как же не любопытно такое явление, что те-то именно русские, которые наиболее считают себя европейцами, называются у нас «западниками», которые тщеславятся и гордятся этим прозвищем и до сих пор еще дразнят другую половину русских квасниками и зипунниками, — как же не любопытно, говорю я, что те-то скорее всех и примыкают к отрицателям цивилизации, к разрушителям ее, к «крайней левой», и что это вовсе никого в России не удивляет, даже вопроса никогда не составляло? Как же это не любопытно?

Я прямо скажу: у меня ответ составился, но я доказывать мою идею не буду, а лишь изложу ее слегка, попробую развить лишь факт. Да и нельзя доказывать уже по одному тому, что всего не докажешь.

Вот что мне кажется: не сказалась ли в этом факте (то есть в примыкании к крайней левой, а в сущности, к отрицателям Европы даже самых яростных наших западников), — не сказалась ли в этом протестующая русская душа, которой европейская культура была всегда, с самого Петра, ненавистна и во многом, слишком во многом, сказывалась чуждой русской душе? Я именно так думаю. О, конечно, этот протест происходил почти все время бессознательно, но дорого то, что чутье русское не умирало: русская душа хоть и бессознательно, а протестовала именно во имя своего русизма, во имя своего русского и подавленного начала! Конечно, скажут, что тут нечему радоваться, если б и было так: «все же отрицатель — гунн, варвар и татарин — отрицал не во имя чего-нибудь высшего, а во имя того, что сам был до того низок, что даже и в два века не мог разглядеть европейскую высоту».

Вот что несомненно скажут. Я согласен, что это вопрос, но на него-то я отвечать и не стану, а лишь объявлю голословно, что предположение о татарине отрицаю из всех сил. О, конечно, кто теперь из всех русских, и особенно когда все прошло (потому что период этот и впрямь прошел), кто из всех даже русских будет спорить против дела Петрова, против прорубленного окошка, восставать на него и мечтать о древнем Московском царстве? Не в том вовсе и дело и не о том завел я мою речь, а о том, что как это все ни было хорошо и полезно, то есть все то, что мы в окошко увидели, но все-таки в нем было и столько дурного и вредного, что чутье русское не переставало этим возмущаться, не переставало протестовать (хотя до того заблудилось, что и само, в огромном большинстве, не понимало, что делало) и протестовало не от татарства своего, а и в самом деле, может быть, от того, что хранило в себе нечто высшее и лучшее, чем то, что видело в окошке... (Ну, разумеется, не против всего протестовало: мы получили множество

прекрасных вещей и неблагодарными быть не желаем, ну, а уж против половины-то, по крайней мере, могло протестовать.)

Повторяю, все это происходило чрезвычайно оригинально: именно самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформу и становились в то же время отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой... И что же: вышло так, что тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русский дух, чему, конечно, если б им в свое время разъяснить эта, — или рассмеялись бы, или ужаснулись. Сомнения нет, что они не сознавали в себе никакой высоты протеста, напротив, все время, все два века отрицали свою высоту и не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе (были ведь и такие любители!) и до того, что тем дивили даже Европу; а выходит, что они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим парадоксом.

Белинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, чуть не из первых русских прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал со славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противоположное. Как удивился бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор, — и именно потому, что в Европе он социалист и революционер? Да и в самом деле оно ведь почти так и было. Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон, и прежде всего та, что все эти тогдашние западники Россию смешали с Европой, приняли за Европу серьезно и — отрицая Европу и порядок ее, думали, что то же самое отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия вовсе была не Европа, а только ходила в европейском мундире, но под мундиром было совсем другое существо. Разглядеть, что это не Европа, а другое существо, и приглашали славянофилы,

прямо указывая, что западники уравнивают нечто непохожее и несоизмеримое и что заключение, которое пригодно для Европы, неприменимо вовсе к России, отчасти и потому уже, что все то, чего они желают в Европе, — все это давно уже есть в России, по крайней мере в зародыше и в возможности, и даже составляет сущность ее, только не в революционном виде, а в том, в каком и должны эти идеи всемирного человеческого обновления явиться: в виде Божеской правды, в виде Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на земле и которая всецело сохраняется в православии. Они приглашали сперва поучиться России, а потом уже делать выводы; но учиться тогда нельзя было, да, по правде, и средств не было. Да и кто тогда мог что-нибудь знать о России? Славянофилы, конечно, знали во сто раз более западников (и это *minimum*), но и они действовали почти что ошупью, умозрительно и отвлеченно, опираясь более на чрезвычайное чутье свое. Научиться чему-нибудь стало возможным лишь в последнее двадцатилетие: но кто и теперь-то что-нибудь знает о России? Много-много, что начало положено изучению, а чуть явится вдруг важный вопрос — и все у нас тотчас же в разноголосицу. Ну вот, зачинается вновь теперь Восточный вопрос; ну, сознайтесь, много ли у нас, и кто именно — способны согласиться по этому вопросу на какое-нибудь одно общее решение? И это в таком важном, великом, в таком роковом и национальном нашем вопросе! Да что Восточный вопрос! Куда брать такие большие вопросы! Посмотрите на сотни, на тысячи наших внутренних и обыденных текущих вопросов — и что за всеобщая шаткость, что за неустановившийся взгляд, что за непривычка к делу! Вот Россию безлесят, помещики и мужики сводят лес с каким-то остервенением. Положительно можно сказать, что он идет за десятую долю цены, ибо — долго ли протянется предложение? Дети наши не успеют подрасти, как на рынке будет уже в десять раз меньше леса. Что же выйдет, — может быть гибель. А между тем, подите, попробуйте сказать что-нибудь о сокращении прав на истребление леса, и что услышите? С одной стороны, государственная и национальная необходи-

мость, а с другой — нарушение прав собственности, две идеи противоположные³. Тотчас же явятся два лагеря, и неизвестно еще, к чему примкнет либеральное, все решающее мнение. Да два ли, полно, лагеря? И дело станет надолго. Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и что если и сведут весь русский лес, то все же останется хотя та выгода, что окончательно уничтожится телесное наказание розгами, потому что волостным судам нечем уж будет пороть провинившихся мужиков и баб. Конечно, это утешение, но и этому как-то не верится: хоть не будет совсем леса, а на порку всегда хватит, из-за границы привозить станут. Вон жида становятся помещиками, — и вот, повсеместно, кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, иссушает все силы и средства купленной земли⁴. Но попробуйте сказать что-нибудь против этого — и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической вольности и гражданской равноправности. Но какая же тут равноправность, если тут явный и талмудный *Status in Statu*⁵ прежде всего и на первом плане, если тут не только истощение почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, освободясь от помещиков, несомненно и очень скоро попадет теперь, всей своей общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам — к тем самым новым помещикам, которые уже высосали соки из западнорусского мужика, к тем самым, которые не только поместья и мужиков теперь закупают, но и мнение либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно. Почему это все у нас? Почему такая нерешимость и несогласие на всякое решение, на какое бы ни было даже решение (и заметьте: ведь это правда)? По-моему, вовсе не от бездарности нашей и не от неспособности нашей к делу, а от продолжающегося нашего незнания России, ее сути и особи, ее смысла и духа, несмотря на то, что сравнительно со времен Белинского и славянофилов у нас уже прошло теперь двадцать лет школы. И даже вот что, в эти двадцать лет школы изучение России фактически даже очень продвинулось, а чутье русское,

кажется, уменьшилось сравнительно с прежним. Что за причина? Но если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что «если б Белинский прожил долее, то наверно бы примкнул к славянофилам». В этой фразе была мысль.

Вывод из парадокса

Итак, скажут мне, Вы утверждаете, что «всякий русский, обращаясь в европейского коммунара, тотчас же и тем самым становится русским консерватором»? Ну нет, это было бы уж слишком рискованно заключить. Я только хотел заметить, что в этой идее, даже и буквально взятой, есть капельку правды. Тут, главное, много бессознательного, а с моей стороны, может быть, слишком сильная вера в непрерывающееся русское чутье и в живучесть русского духа. Но пусть, пусть я и сам знаю, что тут парадокс, но вот что, однако, мне хотелось бы представить на вид в заключение: это тоже один факт и один вывод из факта. Я сказал выше, что русские отличаются в Европе либерализмом и что, по крайней мере, девять десятых примыкает к левой, и к крайней левой, чуть только они соприкоснутся с Европой... На цифре я не настаиваю, может быть, их и не девять десятых, но настаиваю лишь на том, что либеральных русских даже несравненно больше, чем нелиберальных. Но есть и нелиберальные русские. Да, действительно есть и всегда были такие русские (имена многих из них известны), которые не только не отрицали европейской цивилизации, но, напротив, до того преклонялись перед нею, что уже теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою, теряли язык свой, меняли Родину и если не переходили в иностранные подданства, то, по крайней мере, оставались в Европе целыми поколениями. Но факт тот, что все эти, в противоположность либеральным

русским, в противоположность их атеизму и коммунарству, немедленно примыкали к правой, и крайней правой, и становились страшными и уже европейскими консерваторами.

Многие из них меняли свою веру и переходили в католицизм. Это ли уж не консерваторы, это ли уж не крайняя правая? Но позвольте: консерваторы в Европе и, напротив, совершенные отрицатели России. Они становились разрушителями России, врагами России! Итак, вот что значило перемолотся из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации, — замечательный факт, полученный за двести лет опыта. Вывод тот, что русскому, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России. Того ли желали те, кто прорубал окно? Это ли имели в виду? Итак, получилось два типа цивилизованных русских: европейец Белинский, отрицавший в то же время Европу, оказался в высшей степени русским, несмотря на все провозглашенные им о России заблуждения, а коренной и древнейший русский князь Гагарин, став европейцем, нашел необходимым не только перейти в католичество, но уже прямо перескочить в иезуиты⁶. Кто же, скажите теперь, из них больше друг России? Кто из них остался более русским? И не подтверждает ли этот второй пример (с крайней правой) мой первоначальный парадокс, состоящий в том, что русские европейские социалисты и коммунары — прежде всего не европейцы и кончат-таки тем, что станут опять коренными и славными русскими, когда рассеется недоумение и когда они выучатся России, и — второе, что русскому ни за что нельзя обратиться в европейца серьезного, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем непохожее и само по себе серьезное. Да и сама Европа, может быть, вовсе несправедлива, осуждая русских и смеясь над ними за революционерство: мы, стало быть, революционеры не для разрушения только, там, где не строили, не как гунны и татары, а для чего-то другого, чего мы пока, правда, и сами не знаем (а те, кто знает, те про себя таят). Одним словом, мы — революционеры, так сказать, по собственной какой-то не-

обходимости, так сказать, даже из консерватизма... Но все это переходное, все это, как я сказал уже, постороннее и боковое, а теперь на сцене вечно неразрешимый Восточный вопрос.

Восточный вопрос

Восточный вопрос! Кто из нас в этот месяц не переживал довольно необыкновенных ощущений, и сколько было толков в газетах! И какое смущение в иных головах, какой цинизм в иных приговорах, какой добрый честный трепет в иных сердцах, какой гвалд в иных жидях! Одно верно, бояться нечего, хотя и много было пугающих. Да и трудно представить, чтоб в России было уж так много трусов. В ней есть *умышленно* трусливые, это правда, но они, кажется, ошиблись сроком, и теперь даже и им уже поздно трусить и не расчет: успеха не приобретут. Но и умышленно трусливые, конечно, знают себе предел и все же не потребуют от России бесчестия, подобно тому как в старину, отправляя послов к королю Стефану Баторию, царь Иван Васильевич Грозный потребовал от них, чтоб переносили, буде надо, и побои, лишь бы мир выпросили. Одним словом, мнение общества, кажется, обозначилось и на побои ни для какого мира не согласно⁷.

Князь Милан Сербский и князь Николай Черногорский, надеясь на Бога и на право свое, выступили против султана⁸, и, когда будут читать эти строки, то уже, может быть, будет известно о какой-нибудь значительной встрече или даже о решительном сражении. Дело пойдет теперь быстро. Нерешительность и медленность великих держав, дипломатический выверт Англии, отказавшейся примкнуть к заключениям берлинских конференций⁹, и вдруг затем последовавшая революция в Константинополе и вспышка мусульманского фанатизма, а наконец, ужасное избиение башибузуками¹⁰ и черкесами шестидесяти тысяч мирных болгар, стариков, женщин и детей — все это разом зажгло и двинуло войну. У славян много надежд. У них, если сосчитать все их силы, до ста пятидесяти тысяч бой-

цов, из которых более трех четвертей порядочного регулярного войска. Но главное — дух: они идут, веря в свое право, веря в свою победу, тогда как у турок, несмотря на фанатизм, большое безначалие и большое смущение, и — не диво будет, если смущение это, после самых первых встреч, обратится в панический страх. Кажется, можно уже предсказать, что если вмешательства Европы не воспоследует, то славяне победят наверно. Невмешательство Европы, по-видимому, решено, но трудно сказать, чтобы в европейской политике в настоящую минуту было что-нибудь твердое и законченное. Ввиду огромного и вдруг восставшего вопроса все как бы положили про себя ждать и медлить последним решением. Слышно, однако же, что союз трех великих восточных держав продолжается, продолжают и личные свидания трех монархов, так что невмешательство в борьбу славян с этой стороны пока верно, единившаяся Англия ищет союзников: найдет ли их — это вопрос. Если и найдет, то, кажется, не во Франции. Одним словом, вся Европа будет глядеть на борьбу христиан и султана, не вмешиваясь в нее, но... пока только, до времени... до дележа наследства. Но возможно ли будет это наследство? Еще будет ли какое наследство? Если Бог пошлет славянам успех, то до какого предела в успехе допустит их Европа? Позволит ли стащить с постели больного человека совсем долой?¹¹ Последнее очень трудно предположить. Не решат ли, напротив, после нового и торжественного консилиума, опять лечить его?.. Так что усилия славян, даже и в случае очень большого успеха, могут быть вознаграждены лишь довольно слабыми пальятивами. Сербия вышла в поле, надеясь на свою силу, но, уж разумеется, она знает, что окончательная судьба ее зависит вполне от России; она знает, что только Россия сохранит ее от гибели в случае большого несчастья — и что Россия же, могущественным влиянием своим, поможет ей сохранить за собою, в случае удачи, возможный maximum выгоды. Она знает про это и надеется на Россию, но знает тоже и то, что вся Европа смотрит теперь на Россию с затаенною недоверчивостью и что положение России озабоченное. Одним словом, все в будущем, но как же, однако, поступит Россия?

Вопрос ли это? Для всякого русского это не может и не должно составлять вопроса. Россия поступит *честно* — вот и весь ответ на вопрос. Пусть в Англии первый министр¹² изворачивает правду перед парламентом из политики и сообщает ему официально, что истребление шестидесяти тысяч болгар произошло не турками, не башибузуками, а славянскими выходцами, — и пусть весь парламент из политики верит ему и безмолвно одобряет его ложь: в России ничего подобного быть не может и не должно. Скажут иные: не может же Россия идти во всяком случае навстречу явной своей невыгоде? Но, однако, в чем выгода России? Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости. Не может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала она до сих пор неуклонно. Эта идея есть, между прочим, и всеединение славян; но всеединение это — не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству. Да и когда, часто ли Россия действовала в политике из прямой своей выгоды? Не служила ли она, напротив, в продолжение всей петербургской своей истории всего чаще чужим интересам с бескорыстием, которое могло бы удивить Европу, если б та могла глядеть ясно, а не глядела бы, напротив, на нас всегда недоверчиво, подозрительно и ненавистно. Да бескорыстию в Европе и вообще никто и ни в чем не поверит, не только русскому бескорыстию, — поверят скорее плутовству или глупости. Но нам нечего бояться их приговоров: в этом самоотверженном бескорыстии России — вся ее сила, так сказать, вся ее личность и все будущее русского назначения. Жаль только, что сила эта иногда довольно-таки ошибочно направлялась.

Утопическое понимание истории

Все эти полтора века после Петра мы только и делали, что выживали общение со всеми цивилизациями человеческими, роднение с их историей, с их идеалами. Мы учились и приучали

себя любить французов и немцев и всех, как будто те были нашими братьями, и несмотря на то, что те никогда не любили нас, да и решили нас не любить никогда. Но в этом состояла наша реформа, все Петрово дело: мы вынесли из нее, в полтора века, *расширение* взгляда, еще не повторявшееся, может быть, ни у одного народа ни в древнем, ни в новом мире. Допетровская Россия была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически; она выработала себе единство и готовилась закрепить свои окраины; про себя же понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, что она — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах. Эта драгоценность, эта вечная, присущая России и доставшаяся ей на хранение истина, по взгляду лучших тогдашних русских людей, как бы избавляла их совесть от обязанности всякого иного просвещения. Мало того, в Москве дошли до понятия, что всякое более близкое общение с Европой даже может вредно и развратительно повлиять на русский ум и на русскую *идею*, извратить самое православие и совлечь Россию на путь гибели, «по примеру всех других народов». Таким образом, древняя Россия в замкнутости своей *готовилась быть неправа*, — неправа перед человечеством, решив бездейтельно оставить драгоценность свою, свое православие, при себе и замкнуться от Европы, то есть от человечества, вроде иных раскольников, которые не станут есть из одной с вами посуды и считают за святость каждый завести свою чашку и ложку. Это сравнение верно, потому что перед пришествием Петра у нас именно выработались почти точно такие же политические и духовные отношения к Европе. С Петровской реформой явилось расширение взгляда беспрецедентное, — и вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра. Это-то и есть та самая драгоценность, про которую я говорил уже в одном из предыдущих № «Дневника», — драгоценность, которую мы, верхний культурный слой русский, несем народу после полуторавекового отсутствия из России и которую народ, после того как мы сами преклонимся

перед правдой его, должен принять от нас *sine qua non*^{*}, «без чего соединение обоих слоев окажется невозможным, и все погибнет». Что же это за «расширение взгляда», в чем оно и что означает? Это не просвещение в собственном смысле слова и не наука, это и не измена тоже народным русским нравственным началам во имя европейской цивилизации; нет, это именно нечто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигде никогда и не было. Это, действительно и на самом деле, почти братская любовь наша к другим народам, выжитая нами в полтора века общения с ними; это потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам; это примирение наше с их цивилизациями, познание и *извинение* их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими; это нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций или, вернее, — в каждой из европейских личностей открывать и находить заключающуюся в ней истину, несмотря даже на многое, с чем нельзя согласиться. Это, наконец, потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины. Одним словом, это, может быть, и есть начало, первый шаг того деятельного приложения нашей драгоценности, нашего православия, к всеслужению человечеству, — к чему оно и предназначено и что, собственно, и составляет настоящую сущность его. Таким образом, через реформу Петра произошло расширение *прежней же* нашей идеи, русской московской идеи, получилось умножившееся и усиленное понимание ее: мы сознали тем самым всемирное назначение наше, личность и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии Божием — стань всем слугой. Вот как

* Непременно (*лат.*).

я понимаю русское предназначение в *его идеале*. Сам собою после Петра обозначился и первый шаг нашей новой политики: этот первый шаг должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом России. И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий; собраться с духом и, ощутив свою новую силу, принести и свою лепту в сокровищницу духа человеческого, сказать и свое слово в цивилизации. О, конечно, вы можете смеяться над всеми предыдущими «мечтаниями» о предназначении русском, но вот скажите, однако же: не все ли русские желают воскресения славян именно на этих основаниях, именно для их полной личной свободы и воскрешения их духа, а вовсе не для того, чтобы приобрести их России политически и усилить ими политическую мощь России, в чем, однако, подозревает нас Европа? Ведь это же так, не правда ли? А стало быть, и оправдывается уже тем самым хотя часть предыдущих «мечтаний»? Само собою и для этой же цели Константинополь — рано ли, поздно ли, должен быть наш...

Боже, какая насмешливая улыбка явилась бы у какого-нибудь австрийца или англичанина, если б он имел возможность прочесть все эти вышеписанные *мечтания* и дочитался бы вдруг до такого *положительного* заключения: «Константинополь, Золотой Рог, первая политическая точка в мире — это ли не захват?»

Да, Золотой Рог и Константинополь — все это будет наше, но не для захвата и не для насилия, отвечу я. И, во-первых, это случится само собой, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то действительно время близко, все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело еще время. В Европе верят какому-то «Завещанию Петра Великого». Это больше ничего

как подложная бумага¹³, написанная поляками. Но если б Петру и пришла тогда мысль, вместо основания Петербурга, захватить Константинополь, то, мне кажется, он, по некотором размышлении, оставил бы эту мысль тогда же, если б даже и имел настолько силы, чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дело это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель России.

Уж когда в чухонском Петербурге мы не избегли влияния соседних немцев, хотя и бывших полезными, но зато и весьма парализовавших русское развитие, прежде чем выяснилась его настоящая дорога, то как в Константинополе, огромном и своеобразном, с остатками могущественной и древнейшей цивилизации, могли бы мы избежать влияния греков, людей несравненно более тонких, чем грубые немцы, людей, имеющих несравненно более общих точек соприкосновения с нами, чем совершенно непохожие на нас немцы, людей многочисленных и царедворных, которые тотчас же бы окружили трон и прежде русских стали бы и учены, и образованны, которые и Петра самого очаровали бы в его слабой струне уже одним своим знанием и умением в мореходстве, а не только его ближайших преемников. Одним словом, они овладели бы Россией политически, они стащили бы ее немедленно на какую-нибудь новую азиатскую дорогу, на какую-нибудь опять замкнутость, и, уж конечно, этого не вынесла бы тогдашняя Россия. Ее русская сила и ее национальность были бы остановлены в своем ходе. Мощный великорус остался бы в отдалении на своем мрачном снежном севере, служа не более как материалом для обновления Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть, совершилось бы распадение самого православия на два мира: на обновленный царьградский и старый русский... Одним словом, дело было в высшей степени несвоевременное. Теперь же совсем иное.

Теперь Россия уже побывала в Европе и уже сама образованна. Главное же — узнала всю свою силу и действительно стала сильна; узнала тоже, и чем именно она будет всего

сильнее. Теперь она понимает, что Царьград может быть наш вовсе не как столица России; а два века назад, Петр, захватив Царьград, не мог бы не перенести в него столицу свою, что и было бы погибелью, ибо Царьград не в России и *не мог* стать Россией. Если б Петр и удержался от этой ошибки, то ни за что не удержались бы его ближайшие преемники. Если же теперь Царьград может быть нашим и не как столица России, то равно и не как столица Всеславянства, как мечтают некоторые¹⁴. Всеславянство, без России, истощится там в борьбе с греками, если бы даже и могло составить из своих частей какое-нибудь политическое целое. Наследовать же Константинополь одним грекам теперь уже совсем невозможно: нельзя отдать им такую важную точку земного шара, слишком уж было бы им не по мерке. Всеславянство же с Россией во главе — о, конечно, это дело совсем другое, но хорошее ли оно, опять вопрос? И не похоже ли бы это было как бы на политический захват славян Россией, чего не надо нам вовсе? Итак, во имя чего же, во имя какого *нравственного* права могла бы искать Россия Константинополя? Опираясь на какие высшие цели, могла бы требовать его от Европы? А вот именно — как предводительница православия, как покровительница и охранительница его, — роль, предназначенная ей еще с Ивана III, поставившего в знак ее царьградского двуглавого орла выше древнего герба России¹⁵, но обозначившаяся уже несомненно лишь после Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже и стала действительной и единственной покровительницей и православия, и народов, его исповедующих. Вот эта причина, вот это *право* на древний Царьград, и было бы понятно и не обидно даже самым ревнивым к своей независимости славянам или даже самим грекам. Да и тем самым обозначилась бы и настоящая сущность тех политических отношений, которые и должны неминуемо наступить у России ко всем прочим православным народам — славянам ли, грекам ли, все равно: она — покровительница их и даже, может быть, предводительница, но не владычица; мать их, а не госпожа. Если даже и государыня их,

когда-нибудь, то лишь по собственному их провозглашению, с сохранением всего того, чем сами они определили бы независимость и личность свою. Так что к такому союзу могли бы примкнуть наконец и когда-нибудь даже и не православные европейские славяне, ибо увидали бы сами, что всеединение под покровительством России есть только упрочение каждому его независимой личности, тогда как, без этой огромной единящей силы, они, может быть, опять истощились бы во взаимных раздорах и несогласиях, даже если бы и стали когда-нибудь политически независимыми от мусульман и европейцев, которым теперь принадлежат они.

К чему играть в слова, скажут мне: что такое это «православие»? И в чем тут особенная такая идея, особенное право на единение народностей? И не тот же ли это чисто политический союз, как и все прочие подобные ему, хотя бы и на самых широких основаниях, вроде как Соединенные Американские Штаты или, пожалуй, даже еще шире? Вот вопрос, который может быть задан; отвечу и на него. Нет, это будет не то, и это не игра в слова, а тут действительно будет нечто особое и неслыханное; это будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия, — как и представить не может иначе Европа; и не во имя лишь торгашества, личных выгод и вечных и все тех же обоготворенных пороков, под видом официального христианства, которому на деле никто, кроме черни, не верит. Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия. Это будет именно соблазн для всех сильных мира сего и торжествовавших в мире доселе, всегда смотревших на все подобные «ожидания» с презрением и насмешкою и даже не понимающих, что можно серьезно верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз, основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец, на самое обновление людей на истинных началах Христовых. И если верить в это «новое слово», которое может сказать во главе

объединенного православия миру Россия, — есть «утопия», достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим утопистам, а смешное я оставляю при себе.

«Да уж одно то утопия, — возразят, пожалуй, еще, — что России когда-нибудь *позволят* стать во главе славян и войти в Константинополь. Мечтать можно, но все же это мечты!»

Так ли, полно? Но кроме того, что Россия сильна и, может быть, даже гораздо сильнее, чем сама о себе полагает, кроме того — не на наших ли глазах, и не в последние ли недавние десятилетия, воздвигались огромные могущества, царившие в Европе, из коих одно исчезло как пыль и прах, сметенное в один день вихрем Божиим, а на место его воздвигнулась новая империя, какой по силе, казалось бы, еще не было на земле. И кто бы мог предсказать это заблаговременно? Если же возможны такие перевероты, уже случившиеся в наше время и на наших глазах, то может ли ум человеческий вполне безошибочно предсказать и судьбу Восточного вопроса? Где действительные основания отчаиваться в воскресении и в единении славян? Кто знает пути Божии?

Опять о женщинах

В газетах почти уже все перешли к сочувствию восставшим на освобождение братьев своих сербам и черногорцам, а в обществе и даже уже в народе с жаром следят за успехами их оружия. Но славяне нуждаются в помощи. Получены известия и, кажется, весьма точные, что туркам, хотя и анонимно, весьма деятельно помогают австрийцы и англичане. Впрочем, почти и не анонимно. Помогают деньгами, оружием, снарядами и — людьми. В турецкой армии множество иностранных офицеров. Огромный английский флот стоит у Константинополя... из политических соображений, а вернее — на всякий случай. У Австрии уже готова огромная армия — тоже на всякий случай. Австрийская пресса раздражительно относится к восставшим сербам и — к России. Надо заметить, что если

Европа смотрит на славян в настоящее время так *бесчувственно*, то уже, конечно, потому, что и русские — славяне. Иначе австрийские газеты не боялись бы так сербов, слишком ничтожных военной силой перед австрийским могуществом, и не сравнивали бы их с Пиемонтом¹⁶...

А потому русскому обществу надо опять помочь славянам, разумеется, хотя лишь деньгами и кое-какими средствами. Генерал Черняев¹⁷ уже сообщал в Петербург, что санитарная часть всей сербской армии чрезвычайно слаба: нет докторов, лекарств, мало ухода за ранеными. В Москве славянский комитет¹⁸ объявил энергическое воззвание на всю Россию о помощи восставшим братьям нашим и присутствовал во всем составе своем, при многочисленном стечении народа, на торжественном молебствии в церкви сербского подворья¹⁹ — о даровании победы сербскому и черногорскому оружию. В Петербурге начинаются в газетах заявления публики с присылкою пожертвований. Движение это, очевидно, разрастается, несмотря даже на так называемый «мертвый летний сезон». Но ведь он только в Петербурге мертвый.

Я уже хотел было заключить мой «Дневник» и уже просматривал корректуру, как вдруг ко мне позвонила одна девушка²⁰. Она познакомилась со мной еще зимою, уже после того, как я начал издание «Дневника». Она хочет держать один довольно трудный экзамен, энергически готовится к нему и, конечно, его выдержит. Из дому она даже богатого и в средствах не нуждается, но очень заботится о своем образовании и приходила спрашивать у меня советов: что ей читать, на что именно обратить наиболее внимания. Она посещала меня не более раза в месяц, оставалась всегда не более десяти минут, говорила лишь о своем деле, но не многоречиво, скромно, почти застенчиво, с чрезвычайной ко мне доверчивостью. Но нельзя было не разглядеть в ней весьма решительного характера, и я не ошибся. В этот раз она вошла и прямо сказала:

— В Сербии нуждаются в уходе за больными. Я решилась пока отложить мой экзамен и хочу ехать ходить за ранеными. Что бы Вы мне сказали?

И она почти робко посмотрела на меня, а между тем я уже ясно прочел в ее взгляде, что она уже решила и что решение ее неизменно. Но ей надо было и мое напутствие. Я не могу передать наш разговор в полной подробности, чтобы какою-нибудь хотя малейшей чертой не нарушить анонима, и передаю лишь одно общее.

Мне вдруг стало очень жаль ее, — она так молода. Пугать ее трудностями, войной, тифом в лазаретах — было совсем лишнее: это значило бы подливать масла в огонь. Тут была единственно лишь жажда жертвы, подвига, доброго дела и главное, что всего было дороже, — никакого тщеславия, никакого самопоения, а просто желание — «ходить за ранеными», принести пользу.

— Но ведь Вы не умеете ходить за ранеными?

— Да, но я уже справляюсь и была в комитете. Поступающим дают срок в две недели, и я, конечно, приготовлюсь.

И конечно, приготовится; тут слово с делом не разнится.

— Слушайте, — сказал я ей, — я не пугать Вас хочу и не отговаривать, но сообразите мои слова и постарайтесь взвесить их по совести. Вы росли совсем не в той обстановке, Вы видели лишь хорошее общество и никогда не видали людей иначе как в их спокойном состоянии, в котором они не могли нарушать хорошего тона. Но те же люди на войне, в тесноте, в тяготе, в трудах становятся иногда совсем другие. Вдруг вы всю ночь ходили за больными, служили им, измучились, едва стоите на ногах, и вот доктор, может быть, очень хороший сам по себе человек, но усталый, надорванный, только что отрезавший несколько рук и ног, вдруг, в раздражении, обращается к Вам и говорит: «Вы только портите, ничего не делаете! Коли взялись, надо служить» и проч., и проч. Не тяжело ли Вам будет вынести? А между тем это непременно надо предположить, и я подымаю перед Вами лишь самый крошечный уголок. Действительность иногда очень неожиданна. И наконец, перенесете ли Вы, уверены ли Вы, что перенесете, несмотря на всю твердость решения Вашего, самый этот уход? Не упадете ли в обморок

в виду иной смерти, раны, операции? Это происходит мимо воли, бессознательно...

— Если мне скажут, что я порчу дело, а не служу, то я очень пойму, что этот доктор сам раздражен и устал, а мне довольно лишь знать про себя, что я не виновата и исполнила все как надо.

— Но Вы так еще молоды, как можете Вы ручаться за себя?

— Почему Вы думаете, что я так молода? *Мне уже восемнадцать лет, я совсем не так молода...*

Одним словом, уговаривать было невозможно: ведь все равно она бы завтра же уехала, но только с грустью, что я ее не одобрил.

— Ну Бог с Вами, — сказал я, — ступайте. Но кончится дело, приезжайте скорей назад.

— О, разумеется, мне надо сдать экзамен. Но Вы не поверите, как Вы меня обрадовали.

Она ушла с сияющим лицом и, уж конечно, через неделю будет *там*.

...это ...именно тот же самый прямой, честный, но неопытный юный женский характер, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено даже от соприкосновения с пороком. Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой, и безо всяких отговорок, все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, — убеждение в высшей степени верное и нравственное, но, увы, всего чаще свойственное лишь отроческой чистоте и невинности. А главное, повторю это, тут одно дело и для дела и ни малейшего тщеславия, ни малейшего самомнения и самоупоения собственным подвигом, — что, напротив, очень часто видим в современных молодых людях, даже еще только в подростках.

По уходе ее мне опять невольно пришла на мысль потребность у нас высшего образования для женщин, — потребность самая настоящая и именно теперь, ввиду серьезного запроса деятельности в современной женщине, запроса на образование, на участие в общем деле. Я думаю, отцы и матери этих

дочерей сами бы должны были настаивать на этом, для себя же, если любят детей своих. В самом деле, только лишь высшая наука имеет в себе столько серьезности, столько обаяния и силы, чтоб умирить это почти волнение, начавшееся среди наших женщин. Только наука может дать ответ на их вопросы, укрепить ум, взять, так сказать, в опеку расхोлившуюся мысль. Что же до этой девушки, то хоть и жалка мне ее молодость, но остановить ее я, кроме того что не мог, но отчасти думаю, что, может быть, это путешествие будет ей, с одной стороны, даже и полезно: все же это не книжный мир, не отвлеченное убеждение, а предстоящий огромный опыт, который, может быть, в неизмеримой благодати своей, судил ей сам Бог, чтоб спасти ее. Тут — готовящийся ей урок живой жизни, тут предстоящее расширение ее мысли и взгляда, тут будущее воспоминание на всю жизнь о чем-то дорогом и прекрасном, в чем она участвовала и что заставит ее дорожить жизнью, а не устать от нее — не живши, как устала несчастная самоубийца Писарева, о которой я говорил в прошлом, майском «Дневнике» моем.

[...]

И ю л ь — а в г у с т

Самое последнее слово цивилизации

Да, в Европе собирается нечто как бы уж неминуемое. Вопрос о Востоке растет, подымается, как волны прилива, и действительно, может быть, кончится тем, что захватит *все*, так что уж никакое миролюбие, никакое благоразумие, никакое твердое решение не зажигать войны не устоит против напора обстоятельств. Но важнее всего то, что уже и теперь выразился ясно страшный факт и что этот факт — есть *последнее слово* цивилизации. Это последнее слово сказалось, выяснилось; оно

теперь известно и оно есть результат всего восемнадцативекового развития, всего очеловечения человеческого. Вся Европа, по крайней мере первейшие представители ее, вот те самые люди и нации, которые кричали против невольничества, уничтожили торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизм, провозгласили права человечества, создали науку и изумили мир ее силой, одухотворили и восхитили душу человеческую искусством и его святыми идеалами, зажигали восторг и веру в сердцах людей, обещая им уже в близком будущем справедливость и истину, — вот те самые народы и нации вдруг, все (почти все) в данный момент разом отвертываются от миллионов несчастных существ — христиан, человек, братьев своих, гибнущих, опозоренных, и ждут, ждут с надеждою, с нетерпением — когда передавят их всех, как гадюк, как клопов, и когда умолкнут наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, вопли — Европе досаждающие, ее тревожащие. Именно за гадюк и клопов, хуже даже: десятки, сотни тысяч христиан избиваются как вредная парша, сводятся с лица земли с корнем, дотла. В глазах умирающих братьев бесчестятся их сестры, в глазах матерей бросают вверх их детей-младенцев и подхватывают на ружейный штык; селения истребляются, церкви, разбираются в щепы, все *сводится* поголовно — и это дикой, гнусной мусульманской ордой, заклятой противницей цивилизации. Это уничтожение систематическое; это не шайка разбойников, выпрыгнувших случайно, во время смуты и беспорядка войны, и боящаяся, однако, закона. Нет, тут система, это метод войны огромной империи. Разбойники действуют по указу, по распоряжениям министров и правителей государства, самого султана. А Европа, христианская Европа, великая цивилизация, смотрит с нетерпением... «когда же это передавят этих клопов!» Мало того, в Европе оспаривают факты, отрицают их в народных парламентах, не верят, делают вид, что не верят. Всякий из этих вожаков народа знает про себя, что все это правда, и все наперерыв отводят друг другу глаза: «это неправда, этого не было, это преувеличено, это они сами избили шестьдесят тысяч своих же болгар, чтоб сказать на турок». «Ваше превосходительство, она

сама себя высекла!»¹ Хлестаковы, Сквозники-Дмухановские в беде! Но отчего же это все, чего боятся эти люди, отчего не хотят ни видеть, ни слышать, а лгут сами себе и позорят сами себя? А тут, видите ли, Россия: «Россия усилится, овладеет Востоком, Константинополем, Средиземным морем, портами, торговлей. Россия низринется варварской ордой на Европу и «уничтожит цивилизацию» (вот ту самую цивилизацию, которая допускает такие варварства!). Вот что кричат теперь в Англии, в Германии, и опять-таки лгут поголовно, сами не верят ни в одно слово из этих обвинений и опасений. Все это лишь слова для возбуждения масс народа к ненависти. Нет человека теперь в Европе, чуть-чуть мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может и в силах истребить цивилизацию. Пусть они не верят нашему бескорыстью и приписывают нам все дурные намерения: это понятно; но невероятно то, чтоб они, после стольких примеров и опытов, еще верили тому, что мы сильнее всей соединенной Европы вместе. Невероятно, чтоб не знали они, что Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих. Что Россия сильна чрезвычайно только у себя дома, когда сама защищает свою землю от нашествия, но вчетверо того слабее при нападении. О, все это они знают отлично, но морочат и продолжают морочить всех и себя самих единственно потому, что там у них, в Англии, есть несколько купцов и фабрикантов, болезненно мнительных и болезненно жадных к своим интересам. Но ведь и эти знают отлично, что Россия, даже при самых благоприятных для себя обстоятельствах, все-таки не осилит их промышленности и торговли и что это еще вопрос веков; но даже малейшее развитие чьей-нибудь торговли, малейшее чье-нибудь усиление на море, — и вот уже у них тревога, паника, тоска за барыш: вот из-за этого-то вся «цивилизация» вдруг и оказывается пуфом. Ну, а немцам что, пресса-то их чего всполошилась? А этим то, что Россия стоит у них за спиною и связывает им руки, что из-за нее они упустили *своевременный* момент свести с лица земли Францию уже окончательно, чтобы уж не беспокоиться с нею вовеки². «Россия мешает, Россию надо во-

гнать в пределы, а как ее вгонишь в пределы, когда, с другого бока, еще *цела* Франция?» Да Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские, то есть славяне: ненавистно славянское племя Европе, *les esclaves*, дескать, рабы³, а у немцев столько этих рабов: пожалуй, взбунтуются. И вот восемнадцать веков христианства, очеловечения, науки, развития — оказываются вдруг вздором, чуть лишь коснулось до слабого места, басней для школьников, азбучным нравоучением. Но в том-то и беда, в том-то и ужас, что это — «последнее слово цивилизации» и что слово это выговорилось, не постыдилось выговориться. О, не выставляйте на вид, что и в Европе, что и в самой Англии подымалось общественное мнение протестом⁴, просьбой, денежными пожертвованиями избиваемому человечеству: но ведь тем еще грустнее; все это частные случаи; они только доказали, как бессильны они у себя против всеобщего, государственного, своего национального направления. Вопрошающий человек останавливается в недоумении: «Где же правда, неужели и вправду мир еще так далеко от нее? Когда же пресечется рознь, и соберется ли когда человек вместе, и что мешает тому? Будет ли когда-нибудь так сильна правда, чтоб совладать с развратом, цинизмом и эгоизмом людей? Где выработанные, добытые с таким мучением — истины, где чело-веколюбие? Да и истины ли уж это, полно? И не одно ли они упражнение для «высших» чувств, для ораторских речей или для школьников, чтоб держать их в руках, — а чуть дело, *настоящее* дело, *практическое* уже дело — и все побоку, к черту идеалы! Идеалы вздор, поэзия, стишки! И неужели правда, что жид опять везде воцарился, да и не только «опять воцарился», а и не переставал никогда царить?»*

Идеалисты-циники

А помнит ли кто статью незабвенного профессора и незабвенного русского человека — Тимофея Николаевича Гра-

* Статья эта написана еще в июле.

новского о Восточном вопросе⁵, писанную им, если только правда это, в 1855 году, в самый разгар войны нашей с Европой и когда уже началась осада Севастополя? Я взял ее с собою в вагон⁶ и перечел именно ввиду теперь поднимающегося вновь Восточного вопроса, и эта старая почтенная статья вдруг показалась мне необыкновенно любопытною, несравненно любопытнее, чем когда я читал ее в первый раз и когда остался в высшей степени с нею согласен. В этот раз поразило меня одно особенное соображение: во-первых, взгляд тогдашнего западника на народ, а во-вторых, и главное — так сказать, психологическое значение статьи. Не могу не поделиться моим впечатлением с читателем.

Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто безупречное и прекрасное. Идеалист сороковых годов в высшем смысле, и, бесспорно, он имел свой собственный и чрезвычайно оригинальный оттенок в ряду тогдашних передовых людей наших, известного закала. Это был один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей (тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе «Бесы» и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его) — и, может быть, без малейшей комической черты, довольно свойственной этому типу. Но я сказал, что меня поразило *психологическое* значение статьи, и эта мысль показалась мне весьма забавною. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но когда наш русский идеалист, заведомый идеалист, знающий, что все его и считают лишь за идеалиста, так сказать «патентованным» проповедником «прекрасного и высокого», вдруг по какому-нибудь случаю увидит необходимость подать или заявить свое мнение в каком-нибудь деле (но уже «настоящем» деле, практическом, текущем, а не то что там в какой-нибудь поэзии, в деле уже важном и *серьезном*, так сказать, в гражданском почти деле), и заявить не как-нибудь, не мимоходом, а с тем, чтобы высказать решающее и судящее слово, и с тем, чтоб непременно иметь влияние, — то вдруг обращается весь, каким-то чудом, не только в завязтого реалиста и прозаика, но даже в циника. Мало

того: цинизмом-то, прозой-то этой он, главное, и гордится. Подает мнение и сам чуть не щелкает себе языком. Идеалы побобку, идеалы вздор, поэзия, стишки; наместо них одна «реальная правда», но вместо реальной правды всегда пересолит до цинизма. В цинизме-то и ищет ее, в цинизме-то и предполагает ее. Чем грубее, чем суше, чем бессердечнее, тем, по его, и реальнее. Отчего это так? А потому, что наш идеалист, в подобном случае, непременно устыдится своего идеализма. Устыдится и убоится, что ему скажут: «ну, Вы идеалист, что Вы в «делах» понимаете; проповедуйте там у себя *прекрасное*, а «дела» решать предоставьте нам». Даже в Пушкине была эта черта: великий поэт не раз стыдился того, что он *только* поэт. Может быть, эта черта встречается и в других народностях, но, однако, вряд ли. Вряд ли, по крайней мере, в такой степени, как у нас. Там, от давнишней привычки к делу всех и каждого, успели рассортироваться веками занятия и значения людей, и почти каждый там знает, понимает и уважает себя — и в своем занятии, и в своем значении. У нас же при двухсотлетней отвычке от всякого дела — несколько иначе. Затаенное глубоко внутреннее неуважение к себе не минует даже таких людей, как Пушкин и Грановский. И действительно, найдя необходимым вдруг превратиться из профессора истории в дипломата, этот невиннейший и правдивейший человек дошел до удивительных вещей в своих приговорах. Он, например, совершенно отрицает даже возможность благодарности к нам Австрии за то, что мы ей помогли в ее споре с венгерцами⁷ и буквально спасли ее от распада. И не потому отрицает, что Австрия «коварна» и что это нам следовало предугадать; нет, он не видит никакого коварства и прямо выводит, что Австрия не могла поступить иначе. Но этого ему мало: он прямо выводит, что она и *не должна* была поступить иначе, что она, напротив, должна была поступить именно так, как поступила, — и что, стало быть, надежды наши на ее благодарность составляют лишь непростительный и смешной промах нашей политики. Частный-де человек одно, а государство — другое; у государства свои высшие, текущие цели, свои собственные выгоды, и требовать

благодарности даже до жертвы собственным интересам — просто смешно. «У нас коварство и неблагодарность Австрии, — говорит Грановский, — сделались общим ходячим местом. Но говорить о неблагодарности или благодарности в политических делах показывает только их непонимание. Государство не частное лицо; ему нельзя из благодарности жертвовать своими интересами, тем более что в политических делах самое великодушие *никогда не бывает бескорыстное*» (то есть и не должно быть, что ли? мысль именно та); одним словом, почтенный идеалист наговорил чрезвычайно умных вещей, но главное — *реальных*: не все, дескать, мы стишки пишем!.. Умно-то это умно, это правда, тем более что и не ново, а живет с тех пор, как на свете живут дипломаты, но все же оправдывать с таким жаром поступок Австрии, и не то что оправдывать, а прямо доказывать, что и *не должна* была она поступить иначе, — воля Ваша, это как-то режет ум пополам. Что-то есть тут такое, с чем никак нельзя согласиться, с чем претит согласиться, несмотря даже на необычайный практический и политический ум, столь вдруг и столь неожиданно выказанный нашим историком — поэтом и жрецом прекрасного. Ведь с этим признанием святости текущей выгоды непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, — ведь с этим можно очень далеко зайти. Ведь с этим, пожалуй, можно оправдать политику Меттерниха⁸ из высших и *реальных* государственных целей. Да и практические ли только выгоды, текущие ли только барыши составляют настоящую выгоду нации, а потому и «высшую» ее политику, в противоположность всей этой «шиллеровщине» чувств, идеалов и проч.? Тут ведь вопрос. Напротив, не лучшая ли политика для *великой* нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб ее интересам (а на деле никогда не в ущерб)? Неужели наш историк не знал, что вот эти-то великие и честные идеи (а не один барыш и шерсти клок) и торжествуют наконец в народах и нациях, несмотря на всю, казалось бы, смешную непрактичность этих идей и на весь их идеализм, столь унижительный

в глазах дипломатов и Меттернихов, что политика чести и бескорыстия есть не только высшая, но, может быть, и самая *выгодная* политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и непрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и *насушной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали. А если не кончали тем, то кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди. Когда уничтожалась торговля неграми, разве не было глубоких и высокоумных возражений, что это «уничтожение» непрактично, что оно повредит самым насущным и необходимейшим интересам народов и государств? Доходили до того, что торговлю неграми выставляли даже нравственно необходимым делом, оправдывали ее естественным различием племен и заключали, что негр почти не человек... Когда Северо-Американские колонии Англии взбунтовались против нее, не кричали ли в практической Англии столько лет сряду, что освобождение колоний от автономии Англии будет гибелью английских интересов, потрясением, бедой. Когда у нас освобождали крестьян, не раздавались ли и у нас такие же крики по местам, не говорили ли «глубокие и практические умы», что государство вступает на дурную дорогу, неведомую и ужасную, на потрясение всей державы и что не такова должна быть политика высшая, наблюдающая интересы реальные, а не основанные лишь на модных экономических соображениях и теориях, опытом не проверенных, да на «чувствительности». Да чего далеко идти! Вот перед нами славянский вопрос: вот бы нам бросить теперь славян совсем! Хотя Грановский и настаивает на том, что мы хотим славянами только усилиться и действуем только для нашей практической выгоды, но, по-моему, он и тут обмолвился. Ну, какая с ними практическая выгода, даже в будущем-то, и чем тут усилишься? Средиземное-то море когда-нибудь или Константинополь, «которого нам никогда не дадут»? Так ведь это только журавль в небе, да хоть и

поймать его, так еще больше хлопот наживем. На 1000 лет наживем. Это ли благоденствие, это ли взгляд мудреца, это ли настоящий практический интерес? Со славянами только возня и хлопоты; особенно теперь, когда они еще не наши. Из-за них на нас уже сто лет косится Европа, а теперь и не косится только, а — при малейшем нашем шевелении — тотчас же выхватывает меч и наводит на нас пушку. Просто — бросить их, да и навсегда, чтоб успокоить раз навсегда Европу. Да и не просто бросить их: Европа-то, пожалуй, и не поверит теперь, что мы бросили, стало быть, бросить надо с доказательствами: надо нам же самим наброситься на славян и передавить их побратски, чтоб поддержать Турцию: «Вот-де, милые братцы славяне, государство не частное лицо, ему нельзя из великодушия жертвовать своими интересами, а вы и не знали этого?» И сколько выгод, практических, настоящих и уже немедленных выгод, а не мечтательных каких-то в будущем, получила бы тотчас Россия! Тотчас же бы кончился Восточный вопрос, Европа возвратила бы нам хоть на время свою доверенность, а вследствие того военный наш бюджет убавляется, наш кредит восстанавливается, наш рубль входит в свою настоящую цену, — да это ли только: ведь журавль-то никуда не улетит, он все летать будет! Теперь-то мы покривим, переждем: «Государство не частное лицо, ему нельзя жертвовать своими интересами», — ну, а со временем... Что ж, ведь уж если суждено славянам не обойтись без нас, то они сами примкнут к нам, когда придет время, вот мы тогда к ним и опять примажемся с любовью и братством. А впрочем, Грановский именно это-то и находит в нашей политике. Он именно уверяет, что наша политика только и делала, что весь последний век давила славян, «доносила на них и выдавала их туркам», что славянская политика наша и всегда была политикой захвата и насилия, да и не могло быть иначе. (То есть и должна была быть такою? Ведь оправдывает же он других за такую политику, вот бы и нас оправдать.) Но так ли это, неужто, в самом деле, такова была наша всегдашняя политика в славянском вопросе, и неужто она и теперь даже не выяснилась, — вот вопрос!

Постыдно ли быть идеалистом?

Грановский был, конечно, самолюбив, но самолюбие, и даже иногда раздраженное, мне кажется, должно было быть и у всех тогдашних наших способных людей, — именно по неимению дела, по невозможности приискать себе дело, так сказать, из тоски по делу. Доходило до того, что и имевшие, казалось бы, занятие (иной профессор, например, литератор, поэт, даже великий поэт) мало ценили свою профессию, и не по одному только стеснению, в котором видели себя и свою профессию, а и потому еще, что почти каждый из них был склонен предполагать в себе зачатки другого дела, более, по его понятиям, высшего, более полезного, более гражданского, чем то, которым он занимался. Раздраженность самолюбия в лучших передовых и способных наших людях (иных, разумеется) поразительна и теперь, и все от той же причины. (Впрочем, я об одних только способных и даровитых людях и говорю, а о безобразном, непозволительно раздраженном самомнении и тщеславии столь многих бездарных и пустых современных «деятелей», воображающих себя гениями, я пока пропускаю, хотя это явление, именно в настоящее время, очень бьет в глаза). Эта тоска по делу, это вечное искание дела, происходящее единственно от нашего двухвекового безделья, дошедшего до того, что мы теперь не умеем даже и подойти к делу, мало того — даже узнать, где дело и в чем оно состоит, — страшно раздражает у нас людей. Является самомнение, иногда даже неприличное, судя по нравственной высоте лица, делает его чуть не смешным; но все это именно потому, что этот высокий нравственный человек сам иногда не в силах определить себя, своих сил и значения, узнать, так сказать, свой собственный удельный вес и настоящую свою стоимость на практике, на деле. Узнав это, он, как высокоодухотворенный человек, конечно, не почел бы для себя низостью сознаться в том, в чем он чувствует себя неспособным; в настоящую же пору он обидчив и в раздражительности

берется часто не за свое дело. Статья Грановского, повторяю, написана очень умно, хотя есть и политические ошибки, подтвердившиеся потом в Европе фактами, — и, уж конечно, их можно бы было указать; но я не о этих ошибках хочу говорить, да и не берусь судить в этом Грановского. Меня поразила лишь, в этот раз, чрезвычайная раздражительность статьи. О, не самолюбую его приписываю я ее раздражительность и не на известную тенденциозность статьи *нападаю* я; я слишком понимаю «злобу дня», отразившуюся в этом сочинении, чувство гражданина, скорбь гражданина. Есть, наконец, моменты, когда и справедливейший человек не может быть беспристрастным (увы, Грановский не дожил до освобождения крестьян и даже не воображал этого тогда и в мечтах своих!)... нет, не на это я нападаю, но зачем же он так презрительно в этом Восточном вопросе взглянул на народ и не отдал ему должного? Участия народа, мысли народной он не хочет замечать в этом деле вовсе. Он положительно утверждает, что народ, в деле славян и в тогдашнюю войну, не имел никакого мнения вовсе, а только чувствовал тяготу повинностей и наборов⁹. По-видимому, и не должен иметь мнения, — Грановский пишет:

«Прежде всего надо устранить мысль, что эта война (то есть 53—54 и 55 годов) — священная; правительство старалось уверить народ, что оно идет на защиту прав единоверцев и христианской церкви. Защитники православия и славянской народности *с радостью подняли это знамя* и проповедовали крестовый поход против мусульман. *Но век крестовых походов прошел; в наше время никто не подвинется на защиту гроба Господня* (и на защиту славян тоже?), *никто не смотрит на магометан как на вечных врагов христианства*; ключи Вифлеемского храма¹⁰ служат только предлогом для достижения целей политических (в другом месте прямо говорится это и насчет славян¹¹)».

Конечно, и мы готовы согласиться, что русская политика в славянском вопросе, в это последнее столетие, может, и бывала порою небезупречна; моментами она могла быть слишком уж сдержанною и осторожною и потому, на иной нетерпеливый взгляд, казалась неискреннею. Может быть, и

бывала излишняя боязнь за текущие интересы, двусмыслие, вследствие иных внешних дипломатических внушений, полумеры, приостановки, но в сущности, в целом, вряд ли политика России хлопотала *только* об одном лишь захвате славян под свою власть, об умножении тем своей силы и политического значения. Нет, конечно, это было не так, и в *сущности* своей политика наша, даже во весь петербургский период нашей истории, вряд ли рознилась в славянском, то есть Восточном вопросе от древнейших исторических заветов и преданий наших и воззрения народного. И правительство наше всегда твердо знало, что чуть народ наш слышит призыв его в этом деле, то всегда отзовется на него всецело, а потому Восточный вопрос в высшей сущности своей всегда был у нас народным вопросом. Но Грановский не признает этого вовсе. О, Грановский глубоко любил народ! В статье своей он скорбит и плачет о страданиях его в войну и о тягостях, им вынесенных. Да такие люди, как Грановский, разве могут не любить народа? В этом сострадании, в этой любви высказалась вся прекрасная душа его, но в то же время высказался невольно и взгляд на народ наш заклятого западника, готового всегда признать в народе прекрасные зачатки, но лишь в «пассивном виде» и на степени «замкнутого идиллического быта», а о настоящей и возможной деятельности народа — «лучше уж и не говорить». Для него народ наш, даже во всяком случае, лишь косная и безгласная масса, — и что же: мы все почти ведь тогда ему и поверили. Вот почему я и не смею «нападать» на Грановского и обличаю лишь время, а не его. Статья эта ходила тогда по рукам и имела влияние... То-то и есть, что меня всего более поразила параллель этой замечательной статьи и замечательного взгляда ее с настоящей, теперешней нашей минутой. Нет, теперь даже западник Грановский мог бы изумиться, а пожалуй, и поверить. Эти добровольные жертвы и приношения народные для православных славян, эти жертвы старообрядцев, посылающих от обществ своих санитарные отряды¹², эти жертвы артельных рабочих из последних грошей или целыми деревнями, по мирским приговорам, жертвы, наконец, солдат

и матросов из их жалованья, наконец — русские люди всех сословий, едущие сражаться за угнетенных православных братьев, проливать за них кровь, — нет, это нечто уже обозначившееся и нельзя сказать чтоб пассивное, нечто, с чем нельзя не считаться. Движение обозначилось, и уже оспорить его нельзя. Дамы, знатные барыни ходят по улицам с кружками, собирая милостыню на братьев славян, и он важно и умилительно смотрит на совсем новое для него явление: «значит, все опять собираются вместе, значит, — не всегда же рознь, значит, мы такие же христиане», — вот что непременно чувствует народ, а может, уже и думает. И, уж конечно, до него доходят и сведения: он слушает газеты и сам уже начинает читать их. И, уж конечно, слышал, да и в церкви молился за упокой души Николая Алексеевича Киреева¹³, положившего жизнь свою за народное дело, и кто знает, может быть, сложит об этой смерти и жертве свою народную песню —

И хоть падет, но будет жив
В сердцах и памяти народной
И он, и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной;
Славна кончина за народ!

Да, это была «кончина за народ», и не за один лишь славянский народ, а и за дело всеобщее, православное и русское дело, и народ всегда это хорошо поймет. Нет, народ наш не материалист и не развращен еще духом настолько, чтоб думать об одних только насущных выгодах и о положительной интересе. Он рад духовно, если предстанет великая цель, и примет ее как хлеб духовный. И неужели народ теперь, в настоящую минуту, не знает и не смекает, что дальнейшее развитие этого «дела о славянах» может даже и нам грозить войной, зажечь войну? Ведь тогда ему опять, как и в восточную войну, двадцать лет назад, выпадут на долю повинности и тяготы; взгляните же на него теперь: боится ли он чего-нибудь? Нет, в народе нашем видно побольше духовных и деятельных сил, чем предполагают о нем иные его «знатоки». Предоставил бы лучше Гра-

новский взгляд этот другим, вот тому самому множеству этих наших «знатоков народа» и даже, пожалуй, иным нашим писателям о народе, которые так и остались, во весь свой век, лишь обучившимися русскому мужику иностранцами.

Повторю в заключение: у нас идеалист часто забывает, что идеализм есть дело вовсе не стыдное. У идеалиста и реалиста, если только они честны и великодушны, одна и та же сущность — любовь к человечеству и один и тот же объект — человек, только лишь одни *формы* представления объекта различные. Стыдиться своего идеализма нечего: это тот же путь и к той же цели. Так что идеализм, в сущности, точно так же реален, как и реализм, и никогда не может исчезнуть из мира. Не Грановским стыдиться, что они являются именно затем, чтоб проповедовать «прекрасное и высокое». А если устыдятся уж и Грановские и, убоясь насмешливых и высокомерных мудрецов ареопага, примкнут чуть не к Меттерниху, то кто же будут тогда нашими пророками? И не *историку бы Грановскому* не знать, что народам дороже всего — иметь идеалы и сохранить их и что иная святая идея, как бы ни казалась вначале слабою, непрактичною, идеальною и смешною в глазах мудрецов, но всегда найдется такой член ареопага и «женщина именем Фамарь», которые еще изначала поверят проповеднику и примкнут к светлому делу, не боясь разрыва со своими мудрецами. И вот маленькая, несовременная и непрактическая «смешная идеяка» растет и множится и под конец побеждает мир, а мудрецы ареопага умолкают.

[...]

Русский или французский язык?

Какая бездна русских на всех этих немецких водах, тем более на модных, как в Эмсе¹⁴. Вообще русские очень любят лечиться. Даже у Вундерфрау¹⁵, в лечебнице близ Мюнхена, где нет, впрочем, вод, главный контингент больных, как рас-

сказывают, добывается из России. К этой фрау ездят, впрочем, все более лица солидные и, так сказать, генеральские, предвзвительно высылая ей из Петербурга свои пузыри¹⁶ и выпрашивая себе, еще с зимы, место в ее заведении. Женщина эта грозная и строптивая. В Эмсе же вы различаете русских, разумеется, прежде всего по говору, то есть по тому русскому-французскому говору, который свойствен только одной России и который даже иностранцев начал уже повергать в изумление. Я говорю: «уже начал», но доселе нам за это слышались лишь одни похвалы. Я знаю, скажут, что ужасно старо нападать на русских за французский язык, что и тема, и нравочение слишком изношенные. Но для меня вовсе не то удивительно, что русские между собою говорят не по-русски (и даже было бы странно, если б они говорили по-русски), а то удивительно, что они воображают, что хорошо говорят по-французски. Кто вбил нам в голову этот глупый предрассудок? Безо всякого сомнения, он держится лишь нашим невежеством. Русские, говорящие по-французски (то есть огромная масса интеллигентных русских), разделяются на два разряда: на тех, которые уже бесспорно плохо говорят по-французски, и на тех, которые воображают про себя, что говорят как настоящие парижане (все наше высшее общество), а между тем говорят так же бесспорно плохо, как и первый разряд. Русские первого разряда доходят до нелепостей. Я сам, например, встретил в одну уединенную вечернюю прогулку мою по берегу Ланна¹⁷ двух русских — мужчину и даму, людей пожилых и разговаривающих с самым озабоченным видом о каком-то, по-видимому, очень важном для них семейном обстоятельстве, очень их занимавшем и даже беспокоившем. Они говорили в волнении, но объяснялись по-французски и очень плохо, книжно, мертвыми, неуклюжими фразами и ужасно затрудняясь иногда выразить мысль или оттенок мысли, подсказывали, но никак не могли догадаться взять и начать объясняться по-русски; напротив, предпочли объясниться плохо и даже рискуя не быть понятыми, но только чтоб было по-французски. Это меня вдруг поразило и показалось мне невероятною нелепостью, а между тем я встречал это

уже сто раз в жизни. Главное в том, что тут наверно не бывает предпочтения, — хоть я и сказал сейчас «предпочли говорить», — или выбора языка: просто говорят на скверном французском по привычке и по обычаю, не ставя даже и вопроса, на каком языке говорить удобнее. Отвратительно тоже в этом неумелом мертвом языке это грубое, неумелое, мертвое тоже произношение. Русский французский язык второго разряда, то есть язык высшего общества, отличается опять-таки прежде всего произношением, то есть действительно говорит как будто парижанин, а между тем это вовсе не так — и фальшь выдает себя с первого звука, и прежде всего именно этой усиленной надорванной выделкой произношения, грубостью подделки. Усиленностью картавки и грассейемана, неприличием произношения буквы *p* и, наконец, в нравственном отношении — тем нахальным самодовольством, с которым они выговаривают эти картавые буквы, тою детскою хвастливостью, не скрываемою даже и друг от друга, с которою они щеголяют один перед другим подделкой под язык петербургского парикмахерского гарсона¹⁸. Тут самодовольство всем этим лакейством отвратительно. Как хотите, хоть все это и старо, но это все продолжает быть удивительным, именно потому, что живые люди, в цвете здоровья и сил, решаются говорить языком тощим, чахлым, болезненным. Разумеется, они сами не понимают всей дрянности и нищеты этого языка (то есть не французского, а того, на котором они говорят) и, по неразвитости, короткости и скудости своих мыслей ужасно пока довольны тем материалом, который предпочли для выражения этих коротеньких своих мыслей. Они не в силах рассудить, что выродиться совершенно во французов им все-таки нельзя, если они родились и выросли в России, несмотря на то, что самые первые слова свои лепечут уже по-французски от бонн, а потом практикуются от гувернеров и в обществе; и что потому язык этот выходит у них непременно мертвый, а не живой, язык не натуральный, а сделанный, язык фантастический и сумасшедший, — именно потому, что так упорно принимается за настоящий, одним словом, язык совсем не французский, потому что русские, как и

никто, никогда не в силах усвоить себе всех основных родовых стихий живого французского языка, если только не родились совсем французами, а усваивают лишь прежде данный чужой жаргон, и много что парикмахерское нахальство фразы, а затем, пожалуй, и мысли. Язык этот как бы краденый, а потому ни один из русских парижан не в силах породить во всю жизнь свою на этом краденом языке ни одного своего собственного выражения, ни одного нового оригинального слова, которое бы могло быть подхвачено и пойти в ход на улицу, что в состоянии, однако, сделать каждый парикмахерский гарсон. Тургенев рассказывает в одном своем романе¹⁹ анекдот, как один из таких русских, войдя в Париже в Café de Paris²⁰, крикнул: «*garçon, befték aux pommes de terre*»*, а другой русский, уже успевший перенять, как заказывают бифштекс по-новому, пришел и крикнул: «*garçon, befték-pommes*». Русский, крикнувший по-старому «*aux pommes de terre*», был в отчаянии, как это он не знал и пропустил это новое выражение — «*befték-pommes*», и в страхе, что теперь, пожалуй, гарсоны могут посмотреть на него с презрением. Рассказ этот, очевидно, взят автором с истинного происшествия. Ползая рабски перед формами языка и перед мнением гарсонов, русские парижане естественно также рабы и перед французскою мыслью. Таким образом сами осуждают свои бедные головы на печальный жребий не иметь во всю жизнь ни одной своей мысли.

Да, рассуждения о вреде усвоения чужого языка, вместо своего родного, с самого первого детства — бесспорно смешная и старомодная тема, наивная до неприличия, но, мне кажется, вовсе еще не до того износившаяся, чтоб нельзя было попытаться сказать на эту тему и свое словцо. Да и нет такой старой темы, на которую нельзя бы было сказать что-нибудь новое. Я, конечно, не претендую на *новое* (где мне!), но рискну хоть для очистки совести: все-таки скажу. Мне бы ужасно тоже хотелось как-нибудь изложить мои аргументы попопулярнее, в надежде, что какая-нибудь маменька высшего света прочтет меня.

* «Официант, бифштекс с картофелем!» (франц.).

На каком языке говорить отцу Отечества?

Я спросил бы маменьку так: знает ли она, что такое язык, и как она представляет себе, для чего дано слово? Язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка мысли (не объясняя уже, что такое мысль), так сказать, последнее и заключительное слово органического развития. Отсюда ясно, что чем богаче тот материал, те формы для мысли, которые я усваиваю себе для их выражения, тем буду я счастливее в жизни, отчетнее и для себя и для других, понятнее себе и другим, владычнее и победительнее; тем скорее скажу себе то, что хочу сказать, тем глубже скажу это и тем глубже сам пойму то, что хотел сказать, тем буду крепче и спокойнее духом — и, уж конечно, тем буду умнее. Опять-таки: знает ли маменька, что человек хоть и может мыслить с быстротою электричества, но никогда не мыслит с такою быстротою, а все-таки несравненно медленнее, хотя и несравненно скорее, чем, например, говорит. Отчего это? Оттого, что он все-таки мыслит непременно на каком-нибудь языке. И действительно, мы можем не примечать, что мы мыслим на каком-нибудь языке, но это так, и если не мыслим словами, то есть произнося слова хотя бы мысленно, то все же, так сказать, мыслим «стихийной основной силой того языка», на котором предпочли мыслить, если возможно так выразиться. Понятно, что чем гибче, чем богаче, чем многообразнее мы усвоим себе тот язык, на котором предпочли мыслить, тем легче, тем многообразнее и тем богаче выразим на нем нашу мысль. В сущности, ведь для чего мы учимся языкам европейским, французскому например? Во-первых, попросту, чтоб читать по-французски, а во-вторых, чтоб говорить с французами, когда столкнемся с ними; но уж отнюдь не между собой и не сами с собой. На высшую жизнь, на глубину мысли заимствованного, чужого языка не достанет, именно потому, что он нам все-таки будет оставаться чужим; для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся. Но вот тут-то и запятая: рус-

ские, по крайней мере высших классов русские, в большинстве своем, давным-давно уж не рождаются с живым языком, а только впоследствии приобретают какой-то искусственный и русский язык узнают почти что в школе, по грамматике. О, разумеется, при большом желании и прилежании, можно наконец перевоспитать себя, научиться даже до некоторой степени и живому русскому языку, родившись с мертвым. Я знал одного русского писателя, составившего себе имя, который не только русскому языку выучился, не зная его вовсе, но даже и мужику русскому обучился — и писал потом романы из крестьянского быта²¹. Этот комический случай повторялся у нас нередко, а иногда так даже в весьма серьезных размерах: великий Пушкин, по собственному своему признанию, тоже принужден был перевоспитать себя и обучался и языку, и духу народному, между прочим, у няни своей Арины Родионовны. Выражение *«обучиться языку»* особенно идет к нам, русским, потому что мы, высший класс, уже достаточно оторваны от народа, то есть от живого языка (язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль!). Но скажут: уж если пришлось *«обучаться»* живому языку, то ведь все равно, что русскому, что французскому, — но в том-то и дело, что русский язык русскому все-таки легче, несмотря ни на бонн, ни на обстановку, и этою легкостью непременно, пока время есть, надо воспользоваться. Чтоб усвоить себе этот русский язык натуральнее, без особой надсидки и не по одной только науке (под наукой я, конечно, не одну школьную грамматику здесь разумею), надо непременно еще с детства перенимать его от русских нянек, по примеру Арины Родионовны, не боясь того, что она сообщит ребенку разные предрассудки — о трех китах, например (господи! ну, как киты-то у него на всю жизнь останутся!); сверх того, не бояться простонародья и даже слуг, от которых так предостерегают родителей иные деятели. Затем уже в школе непременно заучивать наизусть памятники нашего слова, с наших древних времен — из летописей, из былин и даже с церковнославянского языка, — и именно наизусть, невзирая даже на ретроградство заучивания наизусть. Усвоив

себе таким образом родной язык, то есть язык, на котором мы мыслим, по возможности, то есть хоть настолько хорошо, чтоб хоть походило на что-нибудь живое, и приучив себя непременно на этом языке мыслить, мы тем самым извлечем тогда пользу из нашей оригинальной русской способности европейского языкознания и многоязычия. В самом деле, только лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде. Из иностранного языка мы невидимо возьмем тогда несколько чуждых нашему языку форм и согласим их, тоже невидимо и невольно, с формами нашей мысли — и тем расширим ее. Существует один знаменательный факт: мы, на нашем еще неустроенном и молодом языке, можем передавать глубочайшие формы духа и мысли европейских языков: европейские поэты и мыслители все переводимы и передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве. Между тем на европейские языки, преимущественно на французский, чрезвычайно много из русского народного языка и из художественных литературных наших произведений до сих пор совершенно непереводаемо и непередаваемо. Я не могу без смеха вспомнить один перевод (теперь очень редкий) Гоголя на французский язык, сделанный в середине 40-х годов, в Петербурге, г-м Виардо, мужем известной певицы, в сообществе с одним русским²², теперь по праву знаменитым, но тогда лишь начинавшим молодым писателем. Вышла просто какая-то галиматья, вместо Гоголя. Пушкин тоже во многом непереводаем. Я думаю, если б перевести такую вещь, как сказание протопопа Аввакума²³, то вышла бы тоже галиматья, или, лучше сказать, ровно ничего бы не вышло. Почему это так? Ведь страшно сказать, что европейский дух, может быть, не так многообразен и более замкнуто-своеобразен, чем наш, несмотря даже на то, что уже несомненно законченнее и отчетливее выразился, чем наш. Но если это страшно сказать, то, по крайней мере, нельзя не признать, с надеждой и с веселием духа, что нашего-то языка дух — бесспорно многообразен, богат, всесторонен и всеобъемлющ, ибо в неустроенных еще

формах своих, а уже мог передать драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуем, что переданы они точно и верно. И вот этакого «материала» мы сами лишаем своих детей, — для чего? Чтоб сделать их несчастными, бесспорно. Мы презираем этот материал, считаем грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль.

Кстати, ровно пять лет назад произошла у нас так называемая классическая реформа обучения²⁴. Математика и два древних языка, латинский и греческий, признаны наиболее развивающим средством, умственным и даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: это факт, и факт бесспорный, выжитый на опыте всею Европою в продолжение веков, а нами только перенятый. Но вот в чем дело: рядом со страшно усиленным преподаванием этих двух древних великих языков и математики, почти совсем подавлено у нас преподавание языка русского. Спрашивается: как, каким средством и через какой материал наши дети усвоят себе формы этих двух древних языков, если русский язык в упадке. Неужели только один механизм преподавания этих двух языков (да еще учителями чехами) и составляет всю развивающую их силу. Да и с механизмом нельзя справиться, не ведя в параллель самое усиленное и углубленное преподавание *живого* языка. Вся нравственно-развивающая сила этих двух древних языков, этих двух наиболее законченных форм человеческой мысли и уже поднявших, веками, весь бывший варварский Запад до высочайшей степени развития и цивилизации, — вся эта сила, естественно, минует нашу новую школу, именно из-за упадка в ней русского языка. Или, может быть, реформаторы наши считали, что русскому языку у нас не надо учиться вовсе, кроме разве того, где ставить букву ъ, потому что с ним родятся? Но то-то и есть, что мы, в высших классах общества, уже перестаем родиться с живым русским языком — и давно уже. Живой же язык явится у нас не раньше, как когда мы совсем соединимся с народом. Но я увлекся, ведь я заговорил было с маменькой, а перешел на классическую реформу и на соединение с народом.

Маменьке, конечно, скучно все это слушать; маменька в негодовании махает ручкой и с насмешкой отвертывается. Маменьке все равно, на каком бы языке сынок ни мыслит, а коль на парижском, так тем даже лучше: «и изящнее, и умнее, и больше вкуса». Но она даже и того не знает, что для этого нужно переродиться во француза совсем, а с боннами и гувернерами этого счастья все-таки никак не достигнешь, а сделаешь разве лишь одну первую станцию по этой дороге, то есть перестанешь быть русским. О, маменька не знает, каким ядом она отравляет свое детище еще с двухлетнего возраста, приглашая к нему бонну. Всякая мать и всякий отец знают, например, об одной ужасной детской физической привычке, начинающейся у иных несчастных детей чуть ли еще не с десятилетнего возраста и, при недосмотре за ними, могущей переродить их иногда в идиотов, в дряблых, хилых стариков еще в юношестве. Прямо осмелюсь сказать, что бонна, то есть французский язык с первого детства, с первого детского лепета, есть все равно — в нравственном смысле, что та ужасная привычка в физическом. Хорошо еще, если он от природы глуп или благонадежно-ограничен; тогда он проживет свою жизнь и на французском языке, шутя, с коротенькими идейками и с парикмахерским развитием, а умрет, совсем не заметив, что всю жизнь был дураком. Но что, если это человек со способностями, человек с мыслью в голове и с порывами великодушия в сердце, — разве он может быть счастлив? Не владея матерьялом, чтоб организовать на нем всю глубину своей мысли и своих душевных запросов, владея всю жизнь языком мертвым, болезненным, краденым, с формами робкими, заученными, для него не раздвигающимися и грубыми, — он будет вечно томиться непрерывным усилием и надрывом, умственным и нравственным, при выражении себя и души своей (господи, да неужели так трудно понять, что это язык неживой и ненатуральный!). Он сам заметит с мучением, что мысль его коротка, легковесна, цинична — цинична именно по своей короткости, вследствие ничтожных, мелочных форм, в которые всю жизнь облечена была; заметит, наконец, что даже и сердце его раз-

вратно. Разврат придет и от тоски. О, конечно, карьера его не пострадает: все эти — родящиеся с боннами предназначаются своими маменьками непременно в будущие отцы отечества и имеют претензию думать, что без них нельзя обойтись. Он будет блистать, повелевать и «подгонять»; будет вводить порядки и сумеет распорядиться, — одним словом, очень даже часто будет собою доволен, особенно когда будет говорить длинные речи чужими мыслями и чужими фразами и в которых будет *plus de noblesse, que de sincérité**. А между тем если он чуть-чуть человек, то в целом он будет несчастен. Он будет вечно тосковать как бы от какого-то бессилия, именно как те старцы-юноши, страдающие преждевременным истощением сил от скверной привычки. Но, увы, какая маменька поверит мне, что все эти бедствия могут произойти от французского языка и от бонны! Предчувствую, что и не одна маменька скажет мне, что я преувеличил; а между тем, в строгом смысле, я сказал правду без преувеличения. Возразят, напротив, что тем даже и лучше, что живешь на чужом языке, что тем проживешь легче, легковеснее, приятнее, и что вот именно этих вопросов и запросов жизни и надо избегать, и что всему этому именно способствует французский язык, не как французский язык, а как чужой язык, усвоенный вместо родного. Как? Этот блестящий молодой человек, этот салонный очарователь и бонмотист²⁵ будет несчастен? Он так одет, так причесан, так здоров, с таким аристократическим цветом лица и с такой прелестной розой в бутоньерке?²⁶ Маменька надменно усмехается. А между тем и без того уже (то есть и без французского воспитания) интеллигентный русский, даже и теперь еще, в огромном числе экземпляров — есть не что иное, как умственный пролетарий, нечто без земли под собою, без почвы и начала, международный межеумок, носимый всеми ветрами Европы. А уж этот-то прошедший через бонн и гувернеров, даже в самых лучших случаях, даже если он о чем-нибудь и мыслит и что-нибудь чувствует, — в сущности все-таки не более как превосходно гантированный²⁷ молодой человек, может быть уже прогло-

* Больше благородства, чем искренности (*франц.*).

тивший несколько модных увражей²⁸, но ум которого бродит в вечных тенебрах²⁹, а сердце жаждет одних аржанов³⁰. Отцом отечества он, повторяю, будет, конечно, ему ли не дослужиться, да и кому же быть, как не ему (отцы отечества начинаются у нас с чина тайного советника), — ну, вот маменьке пока и довольно; но ведь только маменьке!..

[...]

Post scriptum

«Русский народ бывает иногда ужасно *неправдоподобен*» — словцо это удалось мне услышать тоже нынешним летом и, опять-таки, конечно, потому, что и для произнесшего это словцо многое, случившееся нынешним летом, было делом неожиданным, а может быть, и в самом деле «неправдоподобным». Но что же, однако, случилось такого нового, и не лежало ли, напротив, все, что вышло наружу, давно уже и даже всегда в сердце народа русского?

Поднялась, во-первых, народная идея и сказалось народное чувство: чувство — бескорыстной любви к несчастным и угнетенным братьям своим, а идея — «Православное дело». И действительно, уже в этом одном сказалось нечто как бы и неожиданное. Неожиданного (впрочем, далеко не для всех) было то, что народ не забыл свою великую идею, свое «Православное дело» — не забыл в течение двухвекового рабства, мрачного невежества, а в последнее время — гнусного разврата, материализма, жидовства и сивухи. Во-вторых, неожиданным было то, что с народной идеей, «Православным делом» — соединились вдруг почти все оттенки мнений самой высшей интеллигенции русского общества — вот тех самых людей, которых считали мы уже совсем оторвавшимися от народа. Заметьте при этом необычайное у нас одушевление и единодушие почти всей нашей печати... Старушка Божия подает свою копеечку на славян и прибавляет: «на Православное дело». Журналист под-

хватывает это словцо и передает его в газете с благоговением истинным, и вы видите, что он сам всем сердцем своим за то же самое «Православное дело»: вы это чувствуете, читая статью. Даже, может быть, и ничему не верующие поняли теперь у нас наконец, что значит, в сущности, для русского народа его Православие и «Православное дело»? Они поняли, что это вовсе не какая-нибудь лишь обрядная церковность, а с другой стороны, вовсе не какой-нибудь *fanatisme religieux** (как уже и начинают выражаться об этом всеобщем теперешнем движении русском в Европе), а что это именно есть прогресс человеческий и всеочеловечение человеческое, так именно понимаемое русским народом, ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во Христовой истине и не могущим и представить себя без Христа. Либералы, отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, — все вдруг оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве. Что ж, они, стало быть, ими и были; но можем ли мы утверждать, что доселе мы про это знали, и не раздавалось ли до сих пор, напротив, чрезвычайно много горьких взаимных упреков, оказавшихся теперь во многом напрасными? Русских, истинных русских, оказалось у нас вдруг несравненно более, чем полагали до сих пор многие, тоже истинные русские. Что же соединило этих людей воедино или, вернее, — что указало им, что они, во всем главном и существенном, и прежде не разъединялись? Но в том-то и дело, что Славянская идея, в высшем смысле ее, перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем сознании, а в *живом* чувстве совпала с движением народным. Но что же такое эта «Славянская идея в высшем смысле ее»? Всем стало ясно, что это такое: это, прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и проч., — есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с тем, чтоб, уравнив его

* Религиозный фанатизм (*франц.*).

с собою в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире. И это вовсе не теория, напротив, в самом теперешнем движении русском, братском и бескорыстном, до сознательной готовности пожертвовать даже самыми важнейшими своими интересами, даже хотя бы миром с Европой, — это обозначилось уже как факт, а в дальнейшем — всеединение славян разве может произойти с иною целью, как на защиту слабых и на служение человечеству? Это уже потому так должно быть, что славянские племена, в большинстве своем, сами воспитались и развились лишь страданием. Мы вот написали выше, что дивимся, как русский народ не забыл, в крепостном рабстве, в невежестве и в угнетении, своего великого «Православного дела», своей великой православной обязанности, не озверел окончательно и не стал, напротив, мрачным замкнувшимся эгоистом, заботящимся лишь об одной собственной выгоде? Но, вероятно, таково именно свойство его, как славянина, то есть — подыматься духом в страдании, укрепляться политически в угнетении и, среди рабства и унижения, соединяться взаимно в любви и в Христовой истине.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя!³¹

Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, — потому-то он и не забыл своего «Православного дела» и страдающих братьев своих, и поднялся духом и сердцем, с совершенной готовностью помочь всячески угнетенным. Вот это-то и поняла высшая интеллигенция наша и всем сердцем своим примкнула к желанию народа, а примкнув, вдруг всецело, ощутила себя в единении с ним. Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное. Всякая вьющая и единящая мысль и всякое верное единящее

всех чувство — есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений, усилившегося самосознания нашего. Обнаружилась вдруг, ясно сознаваемая обществом и народом, политическая мысль. Чуткая Европа тотчас же это разглядела и следит теперь за русским движением с чрезвычайным вниманием. Сознательная политическая мысль в нашем народе — для нее совершенная неожиданность. Она предчувствует нечто новое, с чем надо считаться; в ее уважении мы выросли. Самые слухи и толки о политическом и социальном разложении русского общества, как национальности, давно уже крепившиеся в Европе, несомненно должны получить теперь, в глазах ее, сильное опровержение: оказалось, что, когда надо, русские умеют и соединяться. Да и самые разлагающие силы наши, — буде она существованию таковых продолжает верить, естественно должны теперь, в ее убеждении, принять сами собою другое направление и другой исход. Да, много взглядов с этой эпохи должно впредь измениться. Одним словом, это всеобщее и согласное русское движение свидетельствует уже и о зрелости национальной в некоторой значительной даже степени и не может не вызывать к себе уважения.

Русские офицеры едут в Сербию и слагают там свои головы. Движение русских офицеров и отставных русских солдат в армию Черняева все время возрастало и продолжает возрастать прогрессивно. Могут сказать: «Это потерянные люди, которым дома было нечего делать, поехавшие, чтоб куда-нибудь поехать, карьеристы и авантюристы». Но, кроме того, что (по многим и точным данным) эти «авантюристы» не получили никаких денежных выгод, а в большинстве даже едва доехали, кроме того, некоторые из них, еще бывшие на службе, несомненно должны были проиграть по службе своим, хотя бы и временным, выходом в отставку. Но — кто бы они ни были, что, однако, мы слышим и читаем о них? Они умирают в сражениях десятками и выполняют свое дело геройски; на них уже начинает твердо опираться юная армия восставших сла-

вян, созданная Черняевым. Они славят русское имя в Европе и кровью своею единят нас с братьями. Эта геройски пролитая их кровь не забудется и зачтется. Нет, это не авантюристы: они начинают новую эпоху сознательно. Это пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европою.

Обозначилась и еще одна русская личность, обозначилась строго, спокойно и даже величаво, — это генерал Черняев. Военные действия его шли доселе с переменным счастьем, но в целом — до сих пор пока еще с очевидным перевесом в его сторону. Он создал в Сербии армию, он выказал строгий, твердый, неуклонный характер. Кроме того, отправляясь в Сербию, он рисковал всей своей военной славой, уже приобретенной в России, а стало быть, и своим будущим. В Сербии, как обозначилось лишь недавно, он согласился принять начальство лишь над отдельным отрядом и лишь недавно только был утвержден в звании главнокомандующего. Армия, с которою он выступил, состояла из милиции, из новобранцев, никогда не видавших ружья, из мирных граждан — прямо от сохи. Риск был чрезвычайный, успех сомнительный: это была воистину жертва для великой цели. Создав армию, обучив ее, устроив и направив по возможности, генерал Черняев стал оперировать тверже, смелее. Ему удалось одержать весьма значительную победу. В последнее время он должен был отступить перед напором втрое сильнеешего неприятеля. Но он отступил, сохранив армию, не разбитый, сильный, вовремя, и занял крепкую позицию, которую не осмелились атаковать «победители». Если судить по настоящему, генерал Черняев едва только лишь начинает свои главные действия. Армия его, впрочем, не может уже более ждать ниоткуда поддержки, тогда как неприятельская может чрезвычайно еще возрасти в силах. К тому же политические соображения сербского правительства могут сильно помешать ему довести свое дело до конца. Тем не менее это лицо уже обозначилось твердо и ясно: военный талант его бесспорен, а характером своим и высоким порывом души он, без сомнения, стоит на высоте русских стремлений и целей. Но о генерале

Черняеве еще вся речь впереди. Замечательно, что с отъезда своего в Сербию он в России приобрел чрезвычайную популярность, его имя стало народным. И немудрено: Россия понимает, что он начал и повел дело, совпадающее с самыми лучшими и сердечными ее желаниями, — и поступком своим заявил ее желания Европе. Что бы ни вышло потом, он может уже гордиться своим делом, а Россия не забудет его и будет любить его.

[...]

С е н т я б р ь

Застарелые люди

«Всякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство — есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений, усилившегося самосознания нашего».

Вот что высказал я в заключительной статье прошлого августовского моего «Дневника», — и верую, что не ошибся. Верное единящее чувство в жизни наций — есть действительно счастье. Если в чем я и ошибся, так это в том разве, что, может быть, несколько преувеличил степень нашего «умножившегося согласия и самосознания». Но и в этом я еще не готов уступить. Кто любит Россию, у того давно уже болело сердце за то разъединение высших слоев русских людей с низшими, с народом и с народной жизнью, которое, как существующий факт, не подвержено теперь ничьему сомнению. Вот это-то разъединение отчасти подалось и ослабело, по моему взгляду, с настоящим всерусским движением нынешнего года по поводу славянского дела. Конечно, возможности нет представить себе, чтоб разрыв наш с народом был бы уже совершенно по-

кончен и излечен. Он продолжается и будет долго еще продолжаться, но такие исторические минуты, как пережитые нами в нынешнем году, без сомнения, способствуют и «умножившемуся согласию, и разъяснению недоумений», — одним словом, способствуют нашему более ясному пониманию народа и русской жизни, с одной стороны, а с другой — более близкому знакомству и самого народа со странными, как бы чужими людьми для него, как будто и не русскими, — с «господами», как называет он нас и доселе.

Надо признаться, что народ и теперь, во всем этом общерусском движении этого года, выказал себя с более здоровой, точной и ясной стороны, чем многие из интеллигентного нашего класса. У народа высказалось чувство прямое, простое и сильное, воззрение твердое и — главное, с удивительною общностью и согласием. Там даже и спора не возникало о том, «за что именно помогать славянам? Надо ли помогать? Кому лучше и больше помогать, а кому не помогать совсем? Не испортим ли мы каким-нибудь случаем нашей нравственности и не повредим ли нашему гражданскому развитию тем, что слишком уж будем помогать? С кем, наконец, нам воевать, да и нужно ли воевать?» и пр. и пр. Одним словом, тысяча недоумений, которые посетили, однако же, нашу интеллигенцию. Особенно в иных отделениях нашей высшей интеллигенции, именно там, где на народ до сих пор смотрят еще свысока, презирая его с высоты европейского образования (иногда совсем мнимого), там, в этих высших «отдельностях», обнаружилось довольно необычайных диссонансов, нетвердость взгляда, странное непонимание иногда самых простых вещей, почти смешное колебание в том, что делать и чего не делать, и пр. и пр. «Помогать или не помогать славянам? А если помогать, то за что именно помогать — и за что будет нравственнее и красивее помогать: за то или за это?» Все эти черты, иногда до странности поразившие, проявились действительно, слышались в разговорах, выказались в фактах, отразились в литературе. Но ни одной статьи в этом роде не читал я удивительнее статьи «Вестника Европы», за сентябрь месяц сего года, в отделе «Внутреннего

обозрения»¹. Статья именно трактует о настоящем текущем русском движении, по поводу братской помощи угнетенным славянам, и тщится бросить на этот предмет взгляд как можно глубокомысленнее. Это место статьи, касающееся русского народа и общества, невелико — четыре или пять страничек, а потому я и позволю себе проследить эти странички, так сказать, по порядку, разумеется, не все выписывая. По-моему, эти странички чрезвычайно любопытны и составляют, так сказать, в своем роде документ. Цель моего поступка определится сама собой в конце этой предпринятой мною работы, так что, я думаю, даже и не надо будет выводить особого нравоучения.

Впрочем, в виде самого краткого предупреждения замечу лишь то, что автор статьи принадлежит, как это слишком ясно, к тому устаревшему теоретическому западничеству, которое, четверть века тому назад, составляло в нашем обществе, так сказать, зенит интеллигентных сил наших; теперь же до того устарело, что в чистом, первобытном своем состоянии встречается в виде большой уже редкости. Это, так сказать, обломки, последние могикане² теоретического, оторвавшегося от народа и жизни русского европейничанья, которое, хотя и имело в свою очередь когда-то свою необходимую причину существования, тем не менее оставило по себе, мимо, однако же, и своего рода пользы, чрезвычайно много самого вредного, предрассудочного вздора, продолжающего вредить и до сих пор. Главная историческая польза этих людей была отрицательная и состояла в крайности их выводов и окончательных приговоров (ибо были они столь надменны, что приговаривали не иначе как окончательно), в тех последних столпах, до которых доходили они в исступленных своих теориях. Эта крайность невольно способствовала отрезвлению умов и повороту к народу, к соединению с народом. Теперь, после всей этой четверти века и после множества новых, прежде неслыханных фактов, добытых уже практическим изучением русской жизни, — эти «последние могикане» старых теорий невольно представляются в комическом виде, несмотря даже на их усиленно почтенную осанку. Главная же смешная черта

их в том, что они все еще продолжают считать себя молодыми и единственными хранителями и, так сказать, «носителями указаний» тех путей, по которым следовало бы, по их мнению, идти настоящей русской жизни. Но от жизни этой они до того уже отстали, что решительно перестают узнавать ее; а потому и живут в совершенно фантастическом мире. Вот почему чрезвычайно любопытно и назидательно, в минуту какого-нибудь сильного общественного одушевления, проследить, до какой степени этот теоретический европеизм фальшиво разъединился с народом и обществом, до какой степени взгляды его и решения, в иную чрезвычайную минуту общественной жизни хотя и по-прежнему надменны и высокомерны, в сущности — слабы, шатки, темны и ошибочны, сравнительно с ясными, простыми, твердыми и непоколебимыми выводами народного чувства и разума. Но обратимся, однако, к статье.

Надо, впрочем, отдать справедливость автору статьи; он признает, то есть соглашается признать, и народное, и общественное движение в пользу славян, признает его даже достаточно искренним. Конечно, еще бы он не признал его!.. но все же для такого застарелого «европейца», как наш автор, это заслуга немалая. А между тем он все как бы чем-то недоволен, ему почему-то не нравится, что это движение началось. Правда, он прямо не высказывается, что недоволен тем, что движение началось, но зато брюзжит и придирается к подробностям. Мне кажется, Грановский, один из самых чистейших и первоначальных представителей теоретического западничества нашего, тоже писавший в свое время о Восточном вопросе и о тогдашнем, впрочем лишь несколько подобном настоящему, народном движении в войну 54—56 годов (см. мою статью о Грановском в августовском моем «Дневнике»), — Грановский, говорю я, мне кажется, был бы тоже недоволен нашим теперешним народным движением и, уж конечно, предпочел бы видеть скорее народ наш по-прежнему в виде неподвижной косной массы, чем проявляющимся в таких отчасти даже неразвитых и, так сказать, первобытных формах, не подходящих к нашему европейскому веку. И вообще, все эти прежние ста-

рые теоретики хоть и любили народ (хотя, впрочем, нам это не очень известно), но любили его до того лишь в теории, то есть до того в тех мечтательных представлениях и формах, в которых желали бы его видеть, что, в сущности, как бы даже и не любили его вовсе. Впрочем, в оправдание их, надо признаться, что они никогда и не знали народа вовсе, да и не находили нужным знать его и с ним знаться. Они не то что *извращали факты*, а просто не понимали их совсем, так что много, слишком много раз чистейшее золото народного духа, смысла и глубокого, чистейшего чувства причислялось ими прямо к пошлости, невежеству и тупому народному русскому бессмыслию. Проявись народ перед ними чуть-чуть не в тех видах и образах, в которых им нравилось (большею частью в виде французской парижской черни), и они, может, отказались бы от него вовсе. «Прежде всего надо устранить всякую мысль, что война эта священная, — восклицает Грановский в своей брошюре о Восточном вопросе, — ныне-де на крестовый поход никого не подымешь, не тот век нынче, никто не двинется на освобождение гроба Господня» и т. д. и т. д. Точь-в-точь и теоретик «Вестника Европы»: ему тоже не нравятся рубрики, он придирается к ним. Ему очень не нравится, например, что народ наш и общество жертвуют не под той рубрикой, как бы ему хотелось. Он хочет взгляда более, так сказать, подходящего к нашему веку, более просвещенного. Но мы опять отступили в сторону.

Пропускаем начало этого места статьи о русском движении в пользу славян — начало очень характерное в своем роде, но мы не можем останавливаться на каждой строчке. Вот что говорит автор далее.

Кифомокиевщина

«Нельзя, впрочем, отрицать, что среди многочисленных заявлений, появившихся по этому делу в наших газетах, были некоторые странные и бестактные; не говоря уже о тех, в которых виднелось желание слишком выставить свою личность, так как это не важно, мы

должны указать на те, в которых обнаруживался сыск по части чувств русских граждан невеликорусов. Эта нехорошая привычка, к сожалению, все еще не оставила нас, а по самой сущности дела, о котором говорилось, требовалась особая осторожность в отношении всех национальностей, входящих в общую русскую народность. Заметим еще, что вообще движению в пользу славян не следует придавать слишком вероисповедный характер, беспрестанно упоминая о «наших единоверцах». Для возбуждения русского общества к оказанию славянам помощи совершенно достаточны те мотивы, которые могут соединять всех русских граждан, — и излишни те мотивы, которые могут разъединять их. Если мы будем объяснять себе наше сочувствие к славянам главным образом тем, что они наши единоверцы, то как же мы должны будем относиться к тем из наших мусульман, которые стали бы собирать пожертвования в пользу турок или заявили бы желание ехать в турецкую армию... Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа, должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России».

Довольно было бы и одного этого места, чтоб указать, до какого разрыва с общественным смыслом и до какой праздной «кифомокиевщины»³ может договориться в наше время застарелый в своем упорстве теоретический европеизм иного прежнего «носителя указаний». Автор задает нам, и его самого мучат вопросы, удивляющие своею придуманностью и деланностью, самую фантастическою теоретичностью и, главное, совершенною их бесцельностью. «Если-де мы будем жертвовать из единоверия, то как же мы будем относиться к тем из наших мусульман, которые стали бы собирать пожертвования в пользу турок или заявили бы желание ехать в турецкую армию?» Ну, возможен ли тут какой-нибудь вопрос и возможно ли тут хоть какое-нибудь колебание в ответе? Всякий простой, неизломанный русский человек тотчас же даст Вам самый точный ответ. Да и не один русский человек, а и всякий европеец, всякий североамериканец Вам даст на это самый ясный ответ; разве только что европеец оглядит Вас, прежде ответа, с крайним удивлением. Заметим, кстати и вообще, что наше русское западничество, то есть европейничанье, укрепляясь на русской земле, принимает мало-помалу, и весьма часто, далеко

не европейский оттенок, так что иную европейскую идею, занесенную к нам иными «хранителями указаний», иногда даже и узнать нельзя вовсе — до того изменится она, перемалываясь в русских теориях и в приложении к русской жизни, которую, вдобавок, теоретик не знает вовсе, да и знать ее не находит нужным. «Как будем мы, видите ли, относиться к тем из наших мусульман, которые» и т. д. Да очень просто: во-первых, если уж мы будем в войне с турками, а наши татары, например, начнут помогать туркам деньгами или пойдут в их ряды, то еще прежде того, как отнесется к ним общество, само правительство, думаю, отнесется к ним как к государственным изменникам и, уж конечно, сумеет их остановить вовремя. Во-вторых, если война еще не будет объявлена, а турки начнут резать славян, которым все русские равно сочувствуют, то, в случае, если начались бы пожертвования, деньгами или людьми, русских мусульман в пользу турок, — неужели Вы думаете, что кто-нибудь из русских мог бы отнестись к такому факту без оскорбленного чувства и без негодования?.. По-вашему, вся беда в вероисповедном характере жертвований, то есть если уж русский стал помогать славянину, *как единоверцу*, то как же может он, не нарушая гражданской равноправности и справедливости, запретить такое же жертвование и русскому татарину в пользу единоверца своего — турка? Напротив, очень может и имеет на то самое полное право, потому что русский, помогая славянину против турок, даже и в мысли не имеет стать врагом татарина и пойти на него войной, тогда как татарин, помогая турке, разрывает с Россией, становится изменником России и, становясь в ряды турок, идет прямо на нее войной. Кроме того, ведь если я, русский, жертвую в пользу славянина, воюющего с турком, хотя бы даже и из единоверия, то ведь победы ему желаю над турком вовсе не потому, что тот мусульманин, а потому лишь, что тот режет славянина, тогда как татарин, переходя к турке, может это сделать единственно лишь из той причины, что я христианин и что будто бы хочу истребить мусульманство, тогда как я вовсе не хочу истреблять мусульманства, а лишь единоверца своего защитить...

Помогая славянину, я не только не нападаю на веру татарина, но мне и до мусульманства-то самого турки нет дела: оставайся он мусульманином сколько хочет, лишь бы славян не трогал. Тут скажут, пожалуй: «Если ты помогаешь единоверцу против турок, то уж тем самым и идешь против русского татарина и против веры его, потому что у них шариат⁴, а султан есть калиф⁵ всех мусульман. Райя же, уже по самому Корану, не может быть свободен и не может быть равноправен мусульманину; помогая же ему стать равноправным, русский тем самым, в глазах всякого мусульманина, идет уже не на турок, а и на все мусульманство». Но в таком случае зачинщик религиозной войны уже татарин, а не я, и, согласитесь, что это уже совсем другого рода возражение и что тут уж никакими хитростями и никакими рубриками не поможешь... Вы вот думаете, что вся беда от единоверия и что если б я скрыл от татарина, что помогаю славянину как единоверцу, а, напротив, выставил бы на вид, что помогаю славянину под какую-нибудь другую рубрикой, ну, например, из-за того, что тот угнетен туркой, лишен свободы — «сего первого блага людей», то татарин мне и поверит? Напротив, смею Вас заверить, что в глазах какого бы то ни было мусульманина помогать райе против мусульман, под каким бы то ни было предлогом, — есть совершенно все одно, как бы я пошел помогать райе за веру. Неужели вы этого не знали? А между тем Вы именно пишете: «Для возбуждения русского общества к оказанию славянам помощи совершенно достаточны те мотивы, которые могут соединять всех русских граждан, и излишни те мотивы, которые могут разъединять их»... Это Вы написали именно про единоверие, как про разъединяющий мотив, и про русских мусульман — и тут же сейчас это и разъяснили. Вы предлагаете «борьбу за свободу» как лучший и высший предлог или «мотив», как Вы выражаетесь, для русских пожертвований в пользу славян и, по-видимому, совершенно убеждены, что «борьба славян за свободу» очень понравится татарину и в высшей степени его успокоит. Но, опять-таки, уверяю Вас, что для русского мусульманина, если уж он такой, что решится пойти помогать туркам, — все мотивы

равны, и что, под какой бы рубрикой ни началась война, в его глазах она все-таки будет религиозная. Но ведь русский не виноват, что татарин так понимает...

Продолжение предыдущего

Мне даже очень досадно, что я должен был так распространиться. Если б возможна была когда-нибудь война Франции с Турцией и при этом заволновались бы принадлежащие Франции мусульмане, алжирские арабы, то неужели Вы думаете, что французы не усмирили бы их тотчас же самым энергическим образом? И стали бы они деликатничать и позорно прятать свои лучшие и благороднейшие «мотивы» из опасения, чтоб мусульмане их как-нибудь не обиделись и не оскорбились! Вы пишете самым величавым образом нравочение для всей России: «Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа (NB кстати, сами, стало быть, заявляете, что беспокойство было), должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Положим, что это величаво сказано, но что ж, однако, великорусу-то делать в том случае, если б действительно кавказцы заволновались? Чем виноват этот старший сын в семье, что мусульманин-кавказец, этот младший сын в семье, так восприимчив насчет своей веры и с такими понятиями, что, идя против турок, старший сын идет уже и против него и всего мусульманства?.. Вы тревожитесь, чтобы «старший брат в семье» (великорус) не оскорбил как-нибудь сердца младшего брата (татарина или кавказца). Какая, в самом деле, гуманная и полная просвещенного взгляда тревога! Вы напираете на то, что православный великорус не «единственный, хотя и старший сын России». Позвольте, что ж это такое? Русская земля принадлежит русским, *одним* русским, и есть земля русская, и *ни клочка в ней нет татарской земли*. Татары, бывшие мучители земли русской, на этой земле пришлецы. Но, усмирив их, отвоевав у них

назад свою землю и завоевав их самих, русские не отомстили татарину за двухвековое мучительство, не унизили его, подобно как мусульманин-турка измучил и унизил райю, ничем и прежде его не обидевшего, — а, напротив, дал ему с собой такое полное гражданское равноправие, которого Вы, может быть, не встретите в самых цивилизованных землях, столь просвещенного, по Вашему, Запада. Даже, может быть, русский мусульманин пользовался иногда и высшими льготами против самого русского, против самого владельца и хозяина русской земли... Веру татарина никогда тоже не унижал русский, никогда не притеснял и не гнал, и — поверьте, что нигде на Западе и даже в целом мире не найдете Вы такой широкой, такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского человека. Поверьте тоже, что скорей уж татарин любит сторониться от русского (именно вследствие своего мусульманства), а не русский от татарина. В этом всякий Вас уверит, кто жил подле татар. Тем не менее хозяин земли русской — есть один лишь русский (великорус, малорус, белорус — это все одно) — и так будет навсегда, и уж если православному русскому придет нужда воевать с мусульманами-турками, то верьте, что никогда русский не позволит кому бы то ни было сказать себе на своей земле *veto*! Деликатничать же с татарами до такой степени, что бояться сметь обнаружить перед ними самые великодушные и невольные чувства, вовсе никому не обидные, — чувства сострадания к измученному славянину, хотя бы как и к единоверцу, — кроме того, всячески прятать от татарина все то, что составляет назначение, будущность и, главное, задачу русского, — ведь это есть требование смешное и унижительное для русского... Чем я оскорбляю татарина, что сочувствую моей вере и единоверцам, чем гоню его веру? И чем я виноват, что, в его понятиях, всякая наша война с турками принимает непременно характер вероисповедный? Не может же русский изменить основные понятия всего мусульманства. Вы говорите: «ну, так деликатничай, секретничай, старайся не оскорбить»... Но, позвольте, если уж он так чувствителен, то ведь он, пожалуй, может вдруг оскорбиться

и тем, что на той же улице, где стоит его мечеть, стоит и наша православная церковь, — так уж не снести ли ее с места, чтобы он не оскорбился? Ведь не бежать же русскому из своей земли? Не залезть же куда-нибудь под стол, чтоб было не слышно и не видно, из-за того, что в русской земле младший брат-татарин живет!..

Вы что-то заговорили про «*сыск*». «Мы должны-де указать на те (статьи в русских газетах), в которых обнаружился *сыск* по части чувств русских граждан невеликоросов. Эта нехорошая привычка, к сожалению, все еще не оставила нас, а по самой сущности дела, о котором говорилось, требовалась особая осторожность в отношении всех национальностей, входящих в общую русскую народность». Какая же это наша привычка? Смею Вас уверить, что это лишь фальшивая нота старого теоретического либеральничанья, не умеющего и приложить-то с толком вывезенной из Европы либеральной идеи. Нет-с, не нам с Вами учить народ веротерпимости или читать ему лекции о свободе совести. В этом отношении он и Вас, и всю Европу поучит. Впрочем, Вы говорите о газетах, о русской журналистике. Так что ж это за *сыск*? И какую *нашу привычку*, столь укоренившуюся, Вы так оплакиваете? Привычку *сыска* в нашей литературе? Но это тоже фантазия теоретического либерализма, не оправдывающаяся действительностью. Уверяю Вас, что у нас никогда и ни на кого не доносили в литературе ни за веру, ни даже за какие-нибудь местно-патриотические чувства. Если же и были когда-нибудь частные случаи, то они до того уединенны и исключительны, что грешно и стыдно возводить их в общее правило: «*дескать, привычка эта все еще нас не оставила*». Да и что такое донос или *сыск*? Есть факты, про которые уж нельзя не говорить. Не знаю, про какие статьи Вы говорите и на что намекаете. Помню, читал я кое-что про волнения начинавшегося фанатизма на Кавказе; так ведь Вы и сами сейчас же написали об этих волнениях в смысле *действительно совершившегося факта*. Заезжали тоже, говорят, из Турции проповедники фанатизма и в Крым; но были ли эти волнения в самом деле или вовсе не

были, я, в настоящем случае, разбирать не буду, да, по правде, и сам не знаю наверно. Я только спрошу Вас: неужели же, если б какая-нибудь из газет сообщила про подобный слух или уже факт, так уж это могло бы назваться «сыском по части чувств наших иноверцев»? Ну, положим, что эти факты волнений случились бы действительно, как же о них умолчать, да еще газете, которая и вообще на том стоит, чтоб извещать о фактах? Ведь она тем предупреждает опасность. Ведь если молчать и дать развиваться делу, то есть фанатизму, то ведь пострадают и фанатики, и те из русских, которые живут подле них. Вот если газета *умышленно* приведет фальшивые факты, чтоб *донести* правительству и возбудить преследования, то тогда, конечно, был бы сыск и донос, но ведь если факты верны, то о них молчать, что ли? Да и кто гнал у нас когда инородцев за их веру и даже за их иные «вероисповедные чувства» или даже просто за чувства, хотя бы и в самом широком смысле слова? Напротив, на этот счет у нас почти всегда бывало даже и очень слабенько, совсем, например, не так, как в иных просвещеннейших государствах Европы. Что же до вероисповедных чувств, то у нас и раскольников-то уж теперь почти никто не гонит, а не то что инородцев, и если было в последнее время несколько редких, совсем единичных, случаев преследования штундистов⁶, то эти случаи тотчас же и резко осуждались всей нашей прессой. Кстати, уж не согласиться ли нам с иными германскими газетами, обвинявшими нас и обвиняющими даже теперь в том, что мы терзаем и преследуем наших остзейских немцев — за их веру и *чувства*... Очень, очень жаль, что Вы не указали статьи и не привели факта, чтоб уж было точно известно, про какие именно сыски Вы говорите. Надо знать и понимать употребление слов и не шутить такими словами, как «сыск».

Главное, Вам не нравится эта рубрика: «единоверие». Помогай, дескать, из других мотивов, а не из единоверия. Но уж, во-первых, то, что это «мотив» не сочиненный, не подысканный, а сам явившийся, сам сказавшийся и сказавшийся всеми разом. Это мотив исторический, и *история* эта тянется до сих пор. «*Не надо*-де движению в пользу славян придавать

вероисповедный характер, беспрерывно упоминая о «наших единоверцах», — пишете Вы. Но что же делать с историей и с живой жизнью: надо или не надо придавать, а оно само собою так выходит. Сообразите: турок режет славянина за то, что тот, будучи христианином, райей, осмеливается домогаться с ним равноправия. Перейди болгарин в магометанство — и турок тотчас же перестанет мучить его, напротив, тотчас же признает его за своего, — так по Корану. Следственно, если болгаре терпят такие лютые муки, то, уж конечно, за свое христианство, это ясно как день. Так как же тут русскому, жертвуя на славянина, избежать «вопроса вероисповедности»? Да русскому и в голову не придет избегать! Да и кроме исторической и текущей необходимости, русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал христианством, «крестьянством». Вникните в православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней мере, это главное. В Европе давно уже и по праву смотрят на клерикализм и церковность с опасением: там они, особенно в иных местах, мешают течению живой жизни, всякому преуспеянию жизни, и, уж конечно, мешают самой религии. Но похоже ли наше тихое, смиренное православие на предрассудочный, мрачный, заговорный, пронырливый и жестокий клерикализм Европы? Как же может оно не быть близким народу? Народные стремления создаются всем народом, а не сочиняются в редакциях журналов: «Надо иль не надо», а будет так, как есть в самом деле. Вы пишете, например, далее: «Благородное дело свободы увидало в рядах своих защитников — русских людей. Уже с этой точки зрения, еще более возвышенной, чем сочувствие по единоверию и даже единству племени, дело славян — священное дело». Ваша правда, это очень высокий мотив, но ведь что, однако же, говорит мотив единоверия? Единоверие тут именно

означает несчастного, измученного, распятого на кресте и за угнетение которого я восстаю и негодую. Это значит: «положи живот свой за угнетенного, за ближнего, выше нет подвига» — вот что говорит мотив единоверия! Кроме того, я осмелюсь заметить, впрочем лишь вообще, что искать «рубрик» для добрых дел опасно. Если я, например, помогаю славянину как единоверцу, то ведь это вовсе не рубрика, это только обозначение его исторического положения в данный момент: «он единоверец, стало быть, — христианин, и за это угнетен и мучим». Но если я скажу, что помогаю из-за «благородного дела свободы», то тем самым как бы выставляю причину моей помощи. А уж если искать причину помощи, то черногорцы, например, и герцеговинцы, выказавшие всех больше благородного искания свободы, выйдут и всех достойнее помощи; сербы уж немного поменьше, а болгары и болгарки даже ведь совсем и не подымались за свободу, разве где-нибудь вначале, по горам, ничтожными кучками. Они просто выли, когда их маленьким ребятишкам мучители отрезывали в каждые пять минут по пальчику, чтоб продлить их мучения в глазах отцов и матерей, а те и не защищались, а лишь целовали, вопя и терзаясь, как бы в безумии, ноги мучителям, чтоб они перестали мучить и отдали им назад бедных деточек. Ну, так ведь этим, пожалуй, пришлось бы всех меньше помочь, потому что они всего только страдали, а не возвысились до благородного дела свободы — «сего первого блага людей». Положим, Вы так дрянно не помыслите, но сознайтесь, что, вводя причины и «мотивы» для человеколюбия, почти всегда приходишь до несколько подобных рассуждений и выводов. Лучше всего — помогать просто потому, что человек несчастен. Помощь единоверцу это именно и означает; повторяю Вам, у нас слово «единоверец» вовсе не клерикальная рубрика, а лишь историческое обозначение. Поверьте, что и «единоверие» слишком любит и ценит благородное и великое дело свободы, мало того: умеет и сумеет умереть за него всегда, когда надо будет. А теперь я только против неправильного приложения европейских идей к русской действительности...

Страхи и опасения

Всего забавнее то, что почтенный теоретик прозревает в современном увлечении в пользу славян серьезную для нас опасность и изо всех сил спешит предупредить нас. Он думает, что мы, в минуту самообольщения, выдадим себе «аттестат зрелости» и полезем спать на печку. Вот что он пишет:

«В этом смысле опасны все часто читаемые нами, по поводу жертв в пользу славян, рассуждения на тему: «факты эти обнаруживают в русском обществе отрадное оживление, они доказывают, что русское общество дозрело до...» и т. д. Склонность любоваться собою в зеркало по поводу международных вопросов и заявлений сочувствия национальностям, а затем засыпать сном труженика, исполнившего свой долг, в нас так велика, что все подобные рассуждения, хотя верные до известной степени, положительно опасны. Ведь мы уже торжествовали свою готовность к жертвам при начале Крымской войны, праздновали свою общественную зрелость по поводу депеш нашего канцлера в 1863 году, и по поводу сочувственной встречи, оказанной у нас офицерам североамериканского броненосца⁷, и по поводу сбора в пользу кандидотов⁸, и по поводу оваций славянским литераторам в Петербурге и Москве⁹. Прочтите, что писалось в то время газетами, и убедитесь, что иные фразы ныне буквально повторяются... Спросим себя, что вышло из всех тех «зрелостей», которые мы поочередно праздновали, и подвинули ли нас вперед те моменты, в которые мы их праздновали?.. Но мы должны помнить, что, следуя влечению, мы не вправе еще претендовать на выдачу нам «аттестата зрелости»...»

Во-первых, тут все, с первого до последнего слова, не верно действительности. «Склонность-де засыпать сном труженика, исполнившего свой долг, в нас так велика» и т. д. Эта «склонность к засыпанию» есть одно из самых предрассудочных и неверных обвинений устарелого теоретизма, очень любившего много болтать и ничего не делать, именно всегда лежавшего на печке и читавшего нравоучения с печки и именно, в самоупоении своей красотой, бесперывно заглядывавшего

на себя в зеркало. Это предрассудочное, а теперь до невероятности оказавшееся обвинение зародилось именно тогда, когда русский человек, если и лежал на печи или только и делал, что играл в карты, то единственно потому, что ему и не давали ничего делать, не пускали его делать, запрещали ему делать. Но чуть лишь у нас раздвинулись заборы, то русский человек тотчас же обнаружил скорее лихорадочное беспокойство и нетерпение в стремлении к делу и даже неустанность в деле, чем желание лезть на печку. Если же и до сих пор не совсем ладится дело, так ведь это вовсе не потому, что оно не делается, а потому, что при двухсотлетней отвычке от всякого дела нельзя так сразу приобрести способность понимать дело, верно подходить к нему и суметь за него взяться. Вам бы только наставления читать и бранить русского человека, по старой памяти. Я говорю это старым теоретикам, никогда не удостаивавшим, с высоты своего величия, вникнуть в русскую жизнь и хоть что-нибудь изучить в ней, ну, хоть чтобы проверить и поправить свои предрассудочные взгляды старинных давнишних годов.

Но опасение вполне достойное Кифы Мокиевича — это об «аттестате зрелости». Дескать, выдадим себе аттестат зрелости, да и успокоимся, и заснем. Напротив, это лишь старый теоретизм, столь давно уже выдавший себе аттестат зрелости, склонен к самоупоению, к чтению наставлений и к сладкой полудремоте, а такие молодые, прекрасные, единящие движения всем обществом, как в нынешнем году, способны лишь побудить к дальнейшему преуспеянию и совершенствованию. Такие моменты оставляют лишь благотворный след. И откуда только Вы могли вывести, что русское общество так склонно к самокрасованию и к смотрению на себя в зеркало? Все факты тому противоречат. Напротив, это самое недоверчивое к себе, самое самобичующее общество в целом мире!.. Мы не только славянам сочувствовали, мы и крестьян освободили, а посмотрите, был ли когда в истории русского народа более скептический, более самопроверяющий себя момент, как в эти последние двадцать лет русской жизни? В недоверии к себе мы доходили, в эти годы, до болезненных крайностей, до невозво-

лительной насмешки над собою, до незаслуженного презрения к себе и уж слишком, слишком далеки были от самоупоения нашими совершенствами. Вы говорите, что мы и критянам сочувствовали, и броненосец встречали, и каждый раз писали о своей зрелости и что ничего не вышло из этой зрелости. Да Вы даже самые обыденные явления жизни, не только русской, но и всеобщей, перестаете понимать после этого. Ведь если мы и порадовались тогда на себя и на свои успехи, с некоторым преувеличением, то ведь это так естественно в молодом и стремящемся жить обществе, еще слишком верящем в жизнь и смотрящем на назначение свое серьезно! Это везде, всегда и с каждым народом случается. Возьмите какую-нибудь из древнейших книг в мире — и увидите, что такой точно *первый*, молодой восторг над своим успехом бывал свойствен даже самым древнейшим народам в мире, а стало быть, существовал с самого начала мира, конечно, под тем условием, если эти народы молоды, полны жизни и будущности. У нас могла быть слишком преждевременная радость на свои успехи и на то, что мы вот бросили же наконец карты и начали тоже заниматься делом, — но опасно ли это хоть сколько-нибудь, как тревожно возвещает нам предостерегатель? Напротив, вот эти-то люди, принимающие настоящую живую жизнь серьезно и радостно, с таким чувством и сердцем, — вот эти-то и не дадут себе заснуть от самовосхваления. Поверьте, что раз возбужденная и забившая горячим ключом жизнь не остановится, самоупоение пройдет мигом, и чем сильнее оно было, тем вернее настанет спасительное отрезвление, с движением вперед и вперед. Но хоть и отрезвимся, а все-таки будем уважать спасительный, молодой, благородный и невинный недавний восторг наш. Вы спрашиваете: А что вышло из этих «зрелостей»? Как что: да вот нынешний момент, может быть, вышел. А не было бы одушевления с критянами и при приеме славянских гостей — не вышло бы и теперь ничего. Общество стало серьезнее, познакомилось с известным циклом идей и воззрений. Помилуйте, все делается постепенно на свете, да и народы формируются постепенно, а не рождаются так прямо маленькими рассуди-

тельными педантиками. И на что Вы сердитесь: «слишком-де увлекаемся движением»; но преждевременное благоразумие, педантизм юношей, играющих роль стариков, опаснее. Вы не любите никакого живого движения, любите больше резонанс, ну что ж — это Ваш вкус. О, Вы, конечно, ссылаетесь сейчас на Европу: «Франция-де и не то сделала для Италии, что мы, пока, делаем для славян, но разве французское общество, по освобождении Италии, стало считать себя более зрелым, чем прежде?» Вот что Вы пишете. Но это уж из рук вон! И нашли кого поставить нам в пример скромности — Францию? Да когда француз не смотрел на себя в зеркало, не красовался самим собою? При Наполеоне I, например, они возбудили к себе всеобщую европейскую ненависть своим нестерпимым гордым видом, своим вседозволением и всеблаженством. Таковы же были они по-настоящему и всегда, до самого 1871 года. Но Франция теперь слишком разъединенная внутренне нация, а потому и наблюдать ее с этой точки довольно трудно. Но как Вы скажете, например, насчет англичан или, особенно, немцев? Вот уж не любят-то смотреть на себя в зеркало, вот уж не любят-то хвалиться, особенно немцы! И как верны у Вас исторические выводы: «Франция-де и не то сделала для Италии, что мы пока делаем для славян...» Уверяю Вас, что собственно сама Франция ровно ничего не сделала для Италии. Освободил северную Италию лишь Наполеон III, по своим политическим соображениям, и вовсе даже неизвестно, освободил ли бы французский народ Италию *сам*, без Наполеона III и без его политических соображений. По крайней мере, очень трудно решить, произошло ли бы это освобождение итальянцев лишь для их освобождения, а не для некоторого рода политического захвата... Нам вот кажется до сих пор, что и Наполеон III, и сама Франция совсем-таки без большого восторга взирали потом на подвиги несколько обманувшего их Кавура, а когда раздалось столь громкое: «Jamais!»* французского правительства насчет всякого дальнейшего поползновения итальянцев на Рим, то французский народ, может быть, даже и сочувственно

* «Никогда!» (франц.).

выслушал это jamais. О, конечно правда, что Франция все-таки больше сделала для Италии, чем пока русские для славян; дело это еще не кончено, и дальнейшие результаты его только Богу и известны; но трудно все же допустить, чтобы столь искреннее, полное любви и уже подкрепленное подвигами высочайшего самоотвержения движение русских за славян нуждалось в таких высших назидательных примерах доблести, как освобождение Северной Италии Наполеоном III... А, впрочем, что ж, Вы даже и венгерцев ставите русскому народу в пример великодушия. Особенно теперь красивы и великодушны венгерцы, не правда ли? Какая узкая в них ненависть ко всякой мысли об облегчении участи славян! Какая ненависть к России! Как это Вам пришел на ум такой пример и такой народ?..

Post scriptum

Повторяю, — я очень сожалею, что так распространился, но в этих, впрочем весьма невинных, словах беспорно умного и доброго, но несколько старого автора, в этом тоне, в котором высказаны эти слова, как бы послышались мне голоса, может быть, уже очень близкого и нехорошего будущего, а потому я и не мог удержаться... О, конечно, эти будущие и возможные голоса не имеют ничего общего с голосом из «Вестника Европы», но они мне почему-то послышались. В самом деле, случись так, что все это доброе, благородное русское движение в пользу славян, силою обстоятельств, обратится ни во что, что не удастся это дело, что все воротятся и замолкнут — о, какие мы тогда уже новые крики услышим и в каком торжествующем и победном тоне, и уже не невинные, а насмешливые, язвительные, победу празднующие! Тогда-то раздадутся вволю голоса, теперь на время было примолкшие или даже уж запевшие в унисон «благородному порыву». Раздастся хохот в глаза этому благородному порыву, и люди благородного порыва опять сконфузятся, присмирят, а очень многие так даже и поверят: «да, дескать, это надо было предвидеть», — подумают бед-

ненькие. «Ну что, взяли, верующие! — завопят победившие, — что вышло из вашего единения, из вашей «единящей мысли»? Остались с носом, богатыри! «Умные люди вперед знали, чем кончится; разве и могло быть что-нибудь? Да и дело-то выеденного яйца не стоило. Аттестат зрелости себе написали. Зрелее ли вы теперь, господа? Нет, брат, сторонись в свой угол да хихикай в руку по-прежнему — дело складнее выйдет!» Вот что послышится, да и много, много еще другого, чего не упишешь. И сколько опять, сразу, увидим цинизма, сколько опять неверия в свои силы, неверия в самую Россию. Опять начнут отпевать ее! А сколько явится червонных валетов! А сколько самой чистой сердцем молодежи побежит опять вон из общества! Опять разъединение, опять шатание! Кстати, ведь, уж конечно, виконт Биконсфильд, говоря про наши разрушительные элементы, сам знал, что лжет. Даже предчувствовал, может быть, что разрушительные элементы если и есть у нас, то теперь, с новым порывом России, должны будут принять направление иное, — и, уж конечно, такое соображение было очень досадно виконту тарантулу. Теперь же, то есть в случае неудачи «порыва», тарантул очень возрадуется, — он уж знает чему! Но... но разве это похоже на правду? Разве это сбудется? Какой дурной сон! Сон и не больше...

[...]

О к т я б р ь

Лучшие люди

Лучшие люди, — эта тема стоит того, чтоб сказать о ней несколько слов. Это те люди, без которых не живет и не стоит никакое общество и никакая нация, при самом даже широком равенстве прав. *Лучшие люди* бывают, естественно, двух родов:

1) перед которыми и сам народ и сама нация добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть, и 2) перед которыми все или очень многие, из народа или нации, преклоняют себя по некоторому, так сказать, уже принуждению, и если и считают их «лучшими людьми», то уже несколько условно, а не то чтобы вполне в самом деле. На существование этого «условного» разряда лучших людей, так сказать, официально признанных лучшими для высших целей порядка и твердости управления, — роптать нельзя: ибо происходят этого сорта «лучшие люди» по закону историческому и существовали доселе во всех нациях и государствах с начала мира, так что никакое даже общество не могло устроиться и связать себя в целое без некоторого в этом роде добровольного над собою насилия. Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо кого-нибудь и что-нибудь уважать непременно, и, главное, всем обществом, а не то чтобы каждому как он хочет про себя. Так как лучшие люди первого разряда, то есть истинно доблестные и перед которыми все или величайшее большинство нации преклоняются сердечно и несомненно, — отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы, отличаются странностями и своеобразностью, а снаружи так и весьма нередко имеют несколько даже неприличный вид, то взамен их и устанавливаются лучшие люди уже *условно*, в виде, так сказать, касты лучших людей, под официальным покровительством: «Вот, дескать, сих уважайте». Если же при этом эти «условные» и действительно совпадают с лучшими людьми первого разряда (потому что не все же и в первом разряде имеют неприличный вид) и тоже истинно доблестны, то цель не только вполне, но и вдвойне достигается. Таковыми лучшими людьми были у нас с изначала княжеская дружина, потом бояре, священство (но лишь высшее), даже иные именитые купцы, — но последних было весьма немного. Надо заметить, что эти лучшие люди и у нас, и везде, то есть и в Европе, всегда вырабатывали себе под конец довольно стройный кодекс правил доблести и чести, и хоть этот кодекс в целом всегда бывал, конечно, довольно условен и с идеалами народными иногда даже сильно

разнился, но в некоторых пунктах и он бывал довольно высок. «Лучший» человек обязательно должен был умереть, например, за Отечество, если жертва эта от него требовалась, и он умирал действительно по долгу чести, «потому-де поруха роду моему будет большая», — и, уж конечно, все-таки это было несравненно лучше, чем право на бесчестье, при котором человек бросает все и всех в минуту опасности и бежит прятаться: «пропадай, дескать, все на свете, был бы я и животы мои целы». Так велось у нас весьма долго, и надо заметить еще раз, что у нас, в России, эти условные лучшие люди, очень и очень часто и очень во многом, сходились в своих идеалах с лучшими людьми безусловными, то есть народными. Ну, конечно, не во всем и даже далеко, но, по крайней мере, смело можно сказать, что несравненно больше было тогда нравственного сближения между русскими боярами и русским народом, чем в Европе почти повсеместно в то же самое время между победителями тиранами — рыцарями и побежденными рабами — народом.

Но вдруг в организации наших лучших людей явилась и у нас некоторая радикальная даже перемена: лучшие люди, все, по государеву указу, рассортированы были на четырнадцать разрядов¹, один другого выше, в виде как бы лестницы, под именем классов, так что получилось ровно четырнадцать разрядов человеческой доблести с немецкими именами. Изменение это в дальнейшем развитии своем отчасти и не достигло первоначальной цели, с которою было устроено, ибо прежние «лучшие люди» тотчас же сами заняли и наполнили все эти четырнадцать новых разрядов, и вместо бояр стали только называться дворянством, но отчасти изменение это и достигло цели, потому что оно, даже и очень сильно, раздвинуло старый забор. Явился прилив новых сил снизу общества, по нашей терминологии, демократических уже сил, — и особенно из семинаристов. Прилив этот привнес много живительного и плодотворного в отдел лучших людей, ибо явились люди со способностями и с новыми воззрениями, с образованием, еще неслыханным по тогдашнему времени, хотя в то же время и чрезвычайно презиравшие свое прежнее происхождение

и с жадностью спешившие преобразиться, посредством чинов, поскорее в чистокровных дворян. Надо заметить, что кроме семинаристов, из народа и из купцов например, лишь весьма немногие пробились в разряд «лучших людей», и дворянство продолжало стоять во главе нации. Разряд этот был весьма сильно организован, и тогда как деньги, собственность, золотой мешок уже царили во всей Европе и считались там уже от искреннего сердца всем, что есть доблестного, всем, что есть лучшего в людях и между людьми, у нас в России, — и это на памяти еще нашей, генерал, например, до того ценился, что и самый богатый купец считал за великую честь залучить его к себе на обед. Еще недавно я читал один анекдот, которому бы не поверил, если б не знал, что он совершенная правда, про одну петербургскую даму, из верхнеклассного круга, которая всенародно согнала в одном концерте одну десятиmillionную купчиху с кресел и заняла ее место, да еще выбрала ее публично, — и это всего каких-нибудь тридцать лет назад! Впрочем, надо сказать и то, что эти «лучшие» люди, столь окрепнув на своем месте, усвоили себе и несколько весьма даже хороших правил, например почти *обязательность* для себя хоть какого-нибудь образования, так что вся эта каста лучших людей была в то же время и по преимуществу образованным в России словом, хранителем и носителем русского просвещения, каково бы оно ни было. Нечего уж и говорить, что оно было тоже и единственным хранителем и носителем правил чести, но уже совершенно по европейскому шаблону, так что буква и форма правил совершенно осилили под конец искренность содержания: чести было много, ну, а честных людей под конец-то стало уж и не так много. В этот период, и особенно в конце его, сословие «лучших» очень уже отделилось от народа в своих идеалах «лучшего человека», так что над всеми почти народными представлениями о «лучшем» даже вслух смеялось. Но вдруг произошел один из самых колоссальных переворотов, которые когда-либо переживала Россия: уничтожилось крепостное право и прошла глубокая перемена во всем. Правда, все четырнадцать классов остались как были, но «лучшие люди» как будто

поколебались. Вдруг как бы утратилось прежнее обаяние в массе общества, как будто изменились в чем-то взгляды на «лучшее». Правда, изменились частью и не к лучшему; мало того, началось что-то до крайности уже сбивчивое и неопределенное в понимании лучшего; тем не менее прежний взгляд уже не удовлетворял, так что очень у многих начался в сознании чрезвычайно серьезный вопрос: «кого же теперь считать будут *лучшими*, и главное, откуда их ждать, где взять, кто возьмет на себя провозгласить их лучшими и на каких основаниях? И надобно ль кому-нибудь это брать на себя? Известны ли, наконец, хоть новые основания-то эти, и кто поверит, что они именно те самые, на которых надо столь многое вновь воздвигнуть»? Право, эти вопросы начались было уже очень у многих...

О том же

Все дело заключалось в том, что от прежних «лучших людей» как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность. Таким образом, на первый случай, хоть то утешало, что прежняя кастовая форма «лучших людей» если и не разрушилась окончательно, то, по крайней мере, сильно подалась и раздвинулась, так что всякий из них, если б пожелал удержать за собой прежнее значение, то, волей-неволей, из «условных лучших людей» должен был перейти в натуральные. Являлась прекрасная надежда, что «натуральные-то» и займут таким образом, мало-помалу, все места прежних «лучших». Но как это совершится, — разумеется, оставалось загадкой. Для многих, впрочем, весьма почтенных людей, но горячих и либеральных, тут не было никакой загадки. У них все было уже решено как по писанному, а иные так даже думали, что уже все достигнуто и что «натуральный» человек если и не стал еще на первое место сегодня, то завтра, только лишь чуть-чуть рассветет, непременно и станет. Между тем более задумчивые люди не переставали задавать вопросы на прежнюю тему: «да кто они,

натуральные-то? знает ли кто-нибудь, как они теперь называются? Не потерял ли, напротив, у нас их идеал окончательно? Где теперь общепризнанный «лучший человек»? Что и кого чтить всем обществом и кому подражать?»

Все это, может быть, и не раздавалось буквально в этих выражениях и именно в форме этих вопросов, но несомненно, однако же, что все это «волнение» пережилось нашим обществом в той или другой форме. Люди пламенные и восторженные кричали скептикам, что «новый человек» есть, найден, определен, дан. Решили наконец, что этот новый и «лучший» человек есть просто человек просвещенный, «человек» науки и *без прежних предрассудков*. Мнение это не могло, однако, быть принято очень многими по самому простому соображению: что человек образованный — не всегда человек честный и что наука еще не гарантирует в человеке доблести. В эту минуту общей шаткости и неопределенности иные попробовали предложить: не обратиться ли, дескать, к народу или к народным началам? Но уж одно слово «народные начала» ужасно многим было давно уже противно и ненавистно; притом же и народ, по освобождению своем, как-то не особенно поспешил заявить себя со своей доблестной стороны, так что искать в нем разрешения таких вопросов было уже сомнительно. Напротив, доходили слухи о беспорядочности, распущенности, страшной сивухе, неудающемся самоуправлении, о кулаках и мироедах, занимающих место прежних помещиков, и, наконец, — о жиде. «Умнейшие» даже писатели провозгласили, что кулак и мироед в народе царствуют, да и вдобавок сам народ принимает их за настоящих «лучших» людей своих. Явилось, наконец, даже одно, совершенно либеральное в высшем смысле, воззрение, что народ наш даже и *не может быть* теперь компетентен в создании идеала лучшего человека, да и не то что сам компетентен, а и участвовать в этом подвиге даже не в силах, что его нужно самого обучить сперва грамоте, образить его, развить его, настроить школ и проч. и проч. Надо признаться, что очень многие из скептиков стали в тупик и не знали, что на это ответить...

А между тем находила новая гроза, наступала новая беда — «золотой мешок»! На место прежних «условных» лучших людей являлась новая *условность*, которая почти вдруг получила у нас страшное значение. О, конечно, золотой мешок был и прежде: он всегда существовал в виде прежнего купца-миллионера; но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время. Прежний купец наш, несмотря на ту роль, которую уже повсеместно играл в Европе миллион и капитал, — имел у нас, говоря сравнительно, довольно невысокое место в общественной иерархии. Надо правду сказать — он и не стоил большего. Оговорюсь вперед: я говорю лишь про богатых купцов; большинство же их, не развратившееся еще богатством, жило в виде типов Островского и, может быть, было очень многих не хуже, если только говорить сравнительно, а низшее и самое многочисленное купечество — так даже почти вполне совпадало с народом. Но чем более богател прежний купец, тем становился хуже. В сущности это был тот же мужик, но лишь развращенный. Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда — на тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно и физически. Самое еще лучшее, что в них было, — это их любовь к колоколам и к голосистым диаконам. Но, несмотря на эту любовь, они уже нравственно совсем разрывали с народом. Трудно представить себе что-нибудь менее сходящееся нравственно, как народ и иной миллионер-фабрикант. Овсянников², когда его везли недавно в Сибирь через Казань, вышвыривал, говорят, ногами подаянные копейки, которые ему наивно кидал народ в экипаж: это уже последняя степень нравственной разорванности с народом, полная потеря самого малейшего понимания народного смысла и духа. И никогда народ не бывал в такой кабале, как на фабриках у иных из этих господ! Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и ан-

глийском языках с фортепианами, нередко орденом за большие пожертвования, нестерпимым чванством над всем, что его ниже, презрением к обыкновенному «обеденному» генералу и в то же время самую низкую приниженность перед высшим сановником, особенно если случалось, когда Бог знает какими происками и стараниями, залучить такого к себе на бал или обед, разумеется для него же устроенный. Эти старания дать обед особе обращались в программу жизни. Это жаждалось: почти ведь для того и жил миллионер на свете. Само собою, что этот прежний богач купец молился своему миллиону как Богу: миллион был в глазах его все, миллион вытащил его из ничтожества, дал ему все значение. В грубой душе этого «развращенного мужика» (так как он продолжал быть им, несмотря на все свои фраки) никогда не могло зародиться ни одной мысли и ни одного чувства, которые хотя бы на мгновение возвысили его в сознании над собственным миллионом. Само собою, несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца вырастала безо всякого образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал в этом случае главною причиною невежества: станет сын такого миллионщика учиться в университете, когда и безо всякого ученья можно все получить, тем более что все эти миллиончики, достигая миллиона, весьма часто заручались правами дворянскими. Кроме разврата с самых юных лет и самых извращенных понятий о мире, Отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило в души этого юношества, плотоядного и наглого. А извращенность мирозерцания была чудовищная, ибо надо всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: «Деньгами все куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь». Трудно представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах. Из чванства и чтобы не отстать от других, такой миллионер, пожалуй, и жертвовал иногда огромные суммы на Отечество, в случае, например, опасности (хотя случай такой был лишь раз в двенадцатом году), — но пожертвования он делал ввиду награды и всегда готов был, в каждую остальную минуту своего

существования, соединиться хоть с первым жидом, чтобы предать всех и все, если того требовал его барыш; патриотизма, чувства гражданского не бывает в этих сердцах.

О, разумеется, я говорю про наш русский торговый миллион лишь в значении касты. Исключения же бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов, отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами; но из миллионеров их все-таки было крайне немного, даже все наперечет; каста не теряет свой характер от исключений.

И вот, прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С ним вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде неведомый, и биржевой игрок. Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» и давать ей балы; он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке; он уже теперь сам лицо, сам особа. Главное, он вдруг увидел себя решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и официально и искренно, отведено миллиону, и — уж разумеется, не усомнился сам в себе, что он и впрямь достоин этого места. Одним словом, он все более и более убеждается теперь сам, от самого чистого сердца, что он-то и есть теперь «лучший» человек на земле взамен даже всех бывших прежде него. Но грозящая беда не в том, что он думает такие глупости, а в том, что и другие (и уже очень многие), кажется, начинают точно так же думать. Мешок у *страшного* большинства несомненно считается теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь фактическое теперешнее преклонение перед мешком у нас не только уже бесспорно, но, по внезапным размерам своим, и беспримерно. Повторю еще: силу мешка понимали все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что есть на земле. В официальной же рассортировке русских людей прежний купеческий мешок даже чиновника не мог пересечь в общественной иерархии. А теперь даже и прежняя иерархия, без всякого даже принуждения со сто-

роны, как будто сама собою готова отодвинуться на второй план перед столь любезным и прекрасным новым «условием» лучшего человека, «столь долго и столь ошибочно не входившего в настоящие права свои». Теперешний биржевик нанимает для услуг своих литераторов, около него увивается адвокат: «эта юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здравого чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений бесстрашных и безнаказанных, постоянно и неустанно, по мере спроса и требования» — эта юная школа сильно уже попала в тон современному биржевику и запела ему хвалебную песнь. О, не подумайте, что я намекаю на «дело Струсберга»³: адвокаты, провозгласившие в этом деле своих «попавшихся» клиентов идеалами людей, пропевшие им гимн как «лучшим людям всей Москвы» (именно в этом роде), — лишь дали маху. Они показали, что сами-то они — не только люди без малейших серьезных убеждений, но даже без всякой выдержки и без чувства меры, и если и играют у нас роли «европейских талантов», то единственно на безрыбье. В самом деле, они, как дипломаты, запросили сколь возможно больше, чтоб добиться наибольшего *minimum*'а: «не только правы — святы!» Говорят, в публике раздалось даже однажды шиканье. Но адвокат прежде всего не дипломат; сравнение это не верно в самой сущности. Вернее, гораздо вернее было бы, указав на клиента, спросить по-евангельски: «Господа присяжные, кто из вас без греха?» О, я не против приговора говорю: приговор прав — и я преклоняюсь; он должен был быть произнесен хотя бы над одним только банком. Именно дело было такого характера, что осудить «общественною совестью» этот «попавшийся» несчастный московский ссудный банк — значило тут же осудить и все наши банки, и всю биржу, и всех биржевиков, хотя бы те еще не попались, да ведь не все ли равно? Кто без греха, без того же самого греха, ну-тка, по совести? Кто-то уж напечатал, что наказали их слабо. Оговорюсь, я не на Ляндау⁴ указываю: этот виноват действительно в чем-то необыкновенном, а я и разбирать-то этого не хочу, но Данила

Шумахер⁵, приговоренный «за мошенничество», ей-Богу, наказан ужасно. Взглянем в сердца свои: многие ли из нас не сделали бы того же самого? Вслух не надо признаваться, а так про себя бы только это подумать. Но да здравствует юстиция, мы их все-таки упекли! «Вот, дескать, вам за наше биржевое и развращенное время, вот вам за то, что мы все эгоисты, за то, что мы таких подлых материальных понятий о счастье в жизни и о ее наслаждениях, за наше сухое и предательское чувство самосохранения!» Нет, осудить хоть один банк полезно за наши собственные грехи...

Но, Боже, куда я забрался? Неужели и я пишу «о деле Струсберга»? Довольно, и поспешу сократить. Я ведь говорил про «лучшего человека» и хотел лишь вывести, что идеал настоящего лучшего человека, даже «натурального», сильно уже грозил у нас помутиться. Старое разбилось и износилось, новое еще летало в фантазиях, а в действительности и в очах наших появилось нечто отвратительное с неслышанным еще на Руси развитием. Обаяние, которое придано было этой новой силе, золотому мешку, начинало зарождать даже страх в иных сердцах, слишком мнительных, хотя бы за народ, например. О, мы, верхнее общество, положим, хоть и могли бы соблазниться новым идолом, но все же не пропали бы бесследно: недаром двести лет сиял над нами светоч образования. Мы во всеоружии просвещения, мы можем отразить чудовище. В минуту самого грязного биржевого разврата упекли же мы вот хоть бы ссудный московский банк! Но народ, стомиллионный народ наш, эта «косная, развратная, бесчувственная масса» и в которую уже прорвался жид — что он противопоставит идущему на него чудовищу материализма в виде золотого мешка? Свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку? Мы боялись, что он сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком и что не пройдет поколения, как закрепостится ему весь хуже прежнего. И не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что он-то и скажет прежде всех: «Вот где главное, вот она где сила, вот где спо-

кой, вот где счастье! Сему поклонюсь и за сим пойду». Вот чего можно было очень и очень опасаться, по крайней мере, на долгое время. Многие задумывались, — и вдруг...

* * *

Но что *вдруг* случилось нынешним летом, о том речь я оставлю до будущего «Дневника». Мне хочется поговорить об этом уже без «юмора», а от всего сердца и *попроше*. Что случилось нынешним летом, то — до того умирительно и радостно, что даже невероятно. Невероятно, потому что мы уже махали рукой на этот народ и признавали его грубо-некомпетентным сказать свое слово о том: каков должен быть русский «лучший человек». Мы думали, что весь организм этого народа уже заражен материальным и духовным развратом; мы думали, что народ уже забыл свои духовные начала, не уберег их в сердце своем; в нужде, в разврате потерял или искажил свои идеалы. И вдруг, вся эта «единообразная и косная масса» (то есть на взгляд иных наших умников, конечно), разлегшаяся в стомиллионном составе своем на многих тысячах верст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии и в вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать, в виде чего-то вечно стихийного и послушного, — вдруг вся эта Россия просыпается, встает и смиренно, но твердо выговаривает всенародно прекрасное свое слово... Мало того, русские люди берут свои посохи и идут сотенными толпами, провожаемые тысячами людей, в какой-то новый крестовый поход (именно так и называют уже это движение; это англичане первые сравнили это русское движение наше с крестовым походом) — в Сербию, за каких-то братьев, потому что прослышали, что те там замучены и угнетены. Отец, старик солдат, чем бы жить на спокойное, вдруг ополчается и идет пешком, спрашивая дорогу, за тысячи верст, подрасться с турком за бранию, и с собою ведет девятилетнюю дочку (это факт): «дочку найдутся из христиан, что поберегут, пока я хожу», отвечает он на вопросы, «а уж я пойду, послужу делу Божию». И идет... И этикие

примеры — тысячами! Ну, скажи кто заранее, еще зимой например, что это у нас случится, и мы не поверили бы, — не поверили бы этому «крестовому походу», въявь начавшемуся (но далеко еще не завершившемуся). Даже и теперь, хоть и въявь видишь, но невольно спрашиваешь себя в иную минуту: «Да как же оно могло случиться, как же могло совершиться такое неожиданное никем дело?» Заявлено вслух землей русской все, что читает она и чему верует, указано ею то, что она считает «лучшим» и каких людей почитает «лучшими». Вот о том: какие это люди и какие обозначились идеалы — я и отлагаю до следующего «Дневника». В сущности, эти идеалы, эти «лучшие люди» ясны и видны с первого взгляда: «лучший человек» по представлению народному — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью. Мне именно хотелось бы вывести, почему мы, образованные можем смело и твердо теперь надеяться, что не только не утерян у нас на Руси образ «лучшего человека», но, напротив, воссиял светлее, чем когда-нибудь, и податель его, хранитель и носитель его, есть именно теперь простой народ русский, которого мы, в просвещенном высокомерии нашем, а вместе и в простодушном неведении нашем, считали столь «некомпетентным». Мне бы хотелось особенно вывести, каким образом запросы и требования нашей «образованности» могли бы и теперь даже, в вопросе о «лучшем человеке», сойтись вполне с указанием народным, несмотря даже на столь явно наивные и простодушные формы, в которых народ «лучшего человека» указывает. Важна не форма, а содержание ее (хотя и форма прекрасная). Содержание же неоспоримо. Вот почему мы можем в радости предаться новой надежде: слишком очистился горизонт наш, слишком ярко всходит новое солнце наше... И если б только возможно было, чтоб мы все согласились и сошлись с народом в понимании: кого отселе считать человеком «лучшим», то с нынешнего лета, может быть, зачался бы новый период истории русской.

Н о я б р ь

Глава первая

КРОТКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

От автора

Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз вместо «Дневника» в обычной его форме даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Во всяком случае прошу снисхождения читателей.

Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.

Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, *уясняет* себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно *уясняет* себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к

правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.

Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил почти такой же прием и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения — самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.

Кто был я и кто была она

...Вот пока она здесь — еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных¹, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль², а впрочем, не про то... Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу... Это вот как было. Я просто расскажу

по порядку. (Порядок!) Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю!

Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтоб оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч. и проч. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средне-высокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был все равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтоб больше дали; эта нет, что дадут... Мне кажется, я все путаюсь... Да; меня прежде всего поразили ее серебряные позолоченные сережки, дрянненький медальончик — вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность — и действительно, это все, что оставалось у ней от папашы и мамы, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. «Строго, строго и строго». Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, — и я не удержался и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроумия. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но — как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои «остатки» и — вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз *особенно* и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да; помню и еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать.

А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. На-завтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) — и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль о ней тогда была, это я помню.

В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук — вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы — только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего *бунта*, то я встретил ее строго. Строгость у меня — это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: «Я ведь это только для Вас, а такую вещь у Вас Мозер не примет». Слово «для Вас» я особенно подчеркнул, и именно в *некотором смысле*. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это «для Вас», но смолчала, не бросила денег, приняла, — то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколел. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе-хе-хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: «Стоит ли? стоит ли?» И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья *особенная* моя мысль о ней.

...Ну вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайною вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупно, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам

надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про «Голос» и про все я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: «Дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах», а потом: «Согласна на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею», и т. д., и т. д., все известное! Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и «без жалованья, из хлеба». Нет, не нашла места! я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний «Голос» и показываю ей объявление: «Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве».

— Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, — я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)... Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я все путался... Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать и — не могу, а вот эти черточки, черточки...

Образ богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.

— А разве Вам запрещено?

— Нет, не то что запрещено, а так, может быть, Вам самим...

— Ну, снимите.

— Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда в киот, — сказал я, подумав, — с другими образами, под лампадкой (у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела), и просто-запросто возьмите десять рублей.

— Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю.

— А десять не хотите? Образ стоит, — прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынес ей пять рублей.

— Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с и если теперь Вы видите меня за таким занятием... то ведь это после всего, что я вынес...

— Вы мстите обществу? Да? — перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой, в которой было, впрочем, много невинного (то есть общего, потому что меня она решительно тогда от других не отличала, так что почти безобидно сказала). «Ага! — подумал я, — вот ты какая, характер объявляется, нового направления».

— Видите, — заметил я тотчас же полушутливо-полутаинственно. — «Я — я емь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро...»

Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня:

— Пойдите... Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала...

— Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. «Фауста» читали?

— Не... невнимательно.

— То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на Ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться Вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. Знаем-с.

— Вы какой-то странный... Я вовсе не хотела Вам сказать что-нибудь такое...

Ей хотелось сказать: я не ожидала, что Вы человек образованный, но она не сказала, зато я знал, что она это подумала; ужасно я угодил ей.

— Видите, — заметил я, — на всяком поприще можно делать хорошее. Я конечно не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но...

— Конечно можно делать и на всяком месте хорошее, — сказала она, быстрым и проникнутым взглядом смотря на меня. — Именно на всяком месте, — вдруг прибавила она. О, я помню, я все эти мгновения помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг слишком искренно и наивно покажет лицом, что «вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое», — и не то чтоб из тщеславия, как наш брат, а так видишь, что она сама ужасно ценит все это, и верует, и уважает, и думает, что и Вы все это точно так же, как она, уважаете. О искренность! Вот тем-то и побеждают. А в ней как было прелестно!

Помню, ничего не забыл! Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал о ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи, которая тогда служила у них и которую я уже несколько дней тому подкупил. Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча, и любопытствовать о словах Мефистофеля, сама будучи под таким ужасом. Но — молодежь! Именно это подумал тогда о ней с гордостью и с радостью, потому что тут ведь и великодушные: дескать, хоть и на краю гибели, а великие слова Гете сияют. Молодость всегда хоть капельку и хоть в кривую сторону да великодушна. то есть я ведь про нее, про нее одну. И главное, я тогда смотрел уж на нее как на *мою* и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная это мысль, когда уж не сомневаешься-то.

Но что со мной? Если я так буду, то когда я соберу все в точку? Скорей, скорей — дело совсем не в том, о Боже!

Брачное предложение

«Подноготную», которую я узнал о ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человек детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. Отец ее был чиновник, но из писарей, и всего лишь личный дворянин — одним словом: все мне на руку. Я являлся как бы из высшего мира: все же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, — успела выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, — а это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны! Я ведь для чего хотел жениться? А впрочем, обо мне наплевать, это потом... И в этом ли дело! Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, а, с ее грудью, и полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потом она мне все подробно передала. Все это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, но не простой лавочник, а с двумя бакалейными. Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и наглядел ее: «Тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь». Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же — пятьдесят лет ему; она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикаций в «Голосе». Наконец, стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели: «Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта». Я уж это

все знал, а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет и полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен.

Тут же у ворот ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь... Во-вторых, чтоб не удивлялась моей манере и что у ворот: «Человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела». И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить *pro* и *contra*^{*}, и говорю. Я и после вспоминал про то с наслаждением, хоть это и глупо: я прямо объявил тогда, без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть, даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист (я помню это выражение, я его, дорогой идя, тогда сочинил и остался доволен) и что — очень, очень может быть — заключаю в себе много неприятного и в других отношениях. Все это сказано было с особенного рода гордостью, — известно, как это говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: «Но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то». Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил: прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов — этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил, и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то есть держу эту кассу, то имею одну лишь цель, есть, дескать, такое одно обстоятельство... Но ведь я имел право так говорить: я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Поймите, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд первый,

* За и против (*лат.*).

но ведь, в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь «мстил же обществу», действительно, действительно, действительно! Так что острота ее утром насчет того, что я «мщу», была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами: «Да, я мщу обществу», и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно. Ну а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся: я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже?

Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова; напротив, о, напротив: «Это я, дескать, остаюсь облагодетельствован, а не *Вы*. Так что я это даже словами выразил, не удержался, и вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но в целом решительно выиграл. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свинство: я стоял, а в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан и — и наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она тут же у ворот сказала мне «да». Но... но я должен прибавить: она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала «да». Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: «Ну что ж?» — и даже не удержался, с таким шиком спросил: «Ну что же-с?» — со словоерсом.

— Подождите, я думаю.

И такое у ней было серьезное личико, такое — что уж тогда бы я мог прочесть! А я-то обижался: «Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?» О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня не понимал! Помню, Лукерья выбежала за мною вслед, когда я уже уходил, остановила на дороге и сказала впопыхах: «Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая».

Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда... ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, чтоб сказать мне «да», а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль: «Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!» А? Как вы думаете, могла быть такая мысль?

Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль: что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца? А кто был для нее тогда хуже — я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь «вопрос»! Да и наплевать на меня! Не во мне совсем дело... А кстати, что для меня теперь — во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит...

Благороднейший из людей, но сам же и не верю

Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.

Я, например, хотел сделать свадьбу à l'anglaise*, то есть решительно вдвоем, при двух разве свидетелях, из коих одна Лукерья, и потом тотчас в вагон, например хоть в Москву (там у меня кстати же случилось дело), в гостиницу, недели на две. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужден был ездить к теткам с почтением, как к родственницам, от которых

* По-английски (франц.).

беру ее. Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчас же стали шелковые. Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотела. Мне, однако же, удалось доказать ей, что совсем ничего — нельзя, и приданое сделал я, потому что кто же бы ей что сделал? Ну, да наплевать обо мне. Разные мои идеи, однако же, я ей все-таки успел тогда передать, чтобы знала по крайней мере. Поспешил даже, может быть. Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать. Но я все это упоение тут же обдал сразу холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. На восторги я отвечал молчанием, благосклонным, конечно... но все же она быстро увидала, что мы разница и что я — загадка. А я, главное, и бил на загадку! Ведь для того, чтобы загадать загадку, я, может быть, и всю эту глупость сделал! Во-первых, строгость, — так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, ходя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я должен был создать эту систему по неотразимому обстоятельству, — что ж я, в самом деле, клевету-то на себя! Система была истинная. Нет, послушайте, если уж судить человека, то судить, зная дело... Слушайте.

Как бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться — вот и трудно. Видите ли: молодежь презирает, например, деньги, — я тотчас же налег на деньги; я напер на деньги. И так налег, что она все больше и больше начала умолкать. Раскрывала большие глаза, слушала, смотрела и умолкала. Видите ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости, чуть что не так — и презрение. А я хотел широкости, я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? Возьму пошлый пример: как бы я, напри-

мер, объяснил мою кассу ссуд такому характеру? Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча. О, ведь и я же был несчастлив! Я был выброшен всеми, выброшен и забыт, и никто-то, никто-то этого не знает! И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что все знает, а сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека! Я все молчал, и особенно, особенно с ней молчал, до самого вчерашнего дня, — почему молчал? А как гордый человек. Я хотел, чтоб она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы *сама догадалась* об этом человеке и постигла его! Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла передо мной в мольбе за мои страдания — и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего! Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел, — именно потому я и вынужден был так поступить тогда: «Дескать, сама догадайся и оцени!» Потому что, согласитесь, ведь если б я сам начал ей объяснять и подсказывать, вилять и уважения просить, — так ведь я все равно что просил бы милостыни... А впрочем... А впрочем, что ж я об этом говорю!

Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я назираю на то, что безжалостно) объяснил ей тогда, в двух словах, что великодушие молодежи прелестно, но — гроша не стоит. Почему не стоит? Потому что дешево ей достается, получилось не живши, все это, так сказать, «первые впечатления бытия»³, а вот посмотрим-ка Вас на труде! Дешевое великодушие всегда легко, и даже отдать жизнь — и это дешево, потому что тут только кровь кипит и сил избыток⁴, красоты страстно хочется! Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, — где Вы, сияющий человек, перед всеми выставлены подлецом, тогда как Вы честнее всех людей на земле, — ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откаже-

тешь! А я — я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, со всем даже, только глаза ужасно открывала, слушая, большие, большие такие глаза, внимательные. И... и кроме того, я вдруг увидел улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти...

Все планы и планы

Кто у нас тогда первый начал?

Никто. Само началось с первого шага. Я сказал, что я ввел ее в дом под строгостью, однако с первого же шага смягчил. Еще невесте ей было объяснено, что она займется приемом вкладов и выдачей денег, и она ведь тогда ничего не сказала (это заметьте). Мало того, — принялась за дело даже с усердием. Ну, конечно, квартира, мебель — все осталось по-прежнему. Квартира — две комнаты: одна — большая зала, где отгорожена и касса, другая, тоже большая, — наша комната, общая, тут и спальня. Мебель у меня скудная; даже у теток была лучше. Киот мой с лампадкой — это в зале, где касса; у меня же в комнате мой шкаф, и в нем несколько книг, и укладка, ключи у меня; ну, там постель, столы, стулья. Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: «Мне, дескать, нужно тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь». Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на тридцать копеек. Тоже и театр. Я сказал невесте, что не будет театра, и, однако ж, положил раз в месяц театру быть, и прилично, в креслах. Ходили вместе, были три раза, смотрели «Погоню за счастьем» и «Птицы певчие»⁵, кажется. (О, наплевать, наплевать!) Молча ходили и молча возвращались. Почему, почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она все как-то, помню, тогда исподтишка на меня глядела; я, как заметил это,

и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня; но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял холодно. Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день была ссора.

То есть ссор не было, опять-таки, но было молчание и — все больше и больше дерзкий вид с ее стороны. «Бунт и независимость» — вот что было, только она не умела. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Верите ли, я ей становился поган, я ведь изучил это. А в том, что она выходила порывами из себя, в этом не было сомнения. Ну как, например, выйдя из такой грязи и нищеты, после мытья-то полов, начать вдруг фыркать на нашу бедность! Видите-с: была не бедность, а была экономия, а в чем надо — так и роскошь, в белье например, в чистоте. Я всегда и прежде мечтал, что чистота в муже прельщает жену. Впрочем, она не на бедность, а на мое будущее бы скаредство в экономии: «Цели, дескать, имеет, твердый характер показывает». От театра вдруг сама отказалась. И все пуще и пуще насмешливая складка... А я усиливаю молчание, а я усиливаю молчание.

Не оправдываться же? Тут главное — эта касса ссуд. Позвольте-с: я знал, что женщина, да еще шестнадцати лет, не может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности⁶, это — это аксиома, даже и теперь, даже и теперь для меня аксиома! Что ж такое, что там в зале лежит: истина есть истина, и тут сам Милль ничего не поделает! А женщина любящая, о, женщина любящая — даже пороки, даже злодейства любимого существа обоготворит. Он сам не подыщет своим злодействам таких оправданий, какие она ему найдет. Это великодушно, но не оригинально. Женщин погубила одна лишь неоригинальность. И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о!

Слушайте: в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее — желала любить. Да, вот так это и было: желала любить, искала

любить. А главное ведь в том, что тут и злодейств никаких таких не было, которым бы ей пришлось подыскивать оправдания. Вы говорите «закладчик», и все говорят. А что ж что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идеи... то есть, видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдет ужасно глупо. Выйдет стыдно самому. А почему? Нипочему. Потому, что мы все дрянь и правды не выносим, или уж я не знаю. Я сказал сейчас «великодушнейший из людей». Это смешно, а между тем ведь это так и было. Ведь это правда, то есть самая, самая правденская правда! Да, я имел право захотеть себя тогда обеспечить и открыть эту кассу: «Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня с презрительным молчанием. На мой страстный порыв к вам вы ответили мне обидой на всю мою жизнь. Теперь я, стало быть, вправе был оградиться от вас стеной, собрать эти тридцать тысяч рублей и окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти тридцать тысяч, а главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если Бог пошлет, и — помогая окрестным поселянам». Разумеется, хорошо, что я это сам теперь про себя говорю, а то что могло быть глупее, если б я тогда ей это вслух расписал? Вот почему и гордое молчание, вот почему и сидели молча. Потому, что ж бы она поняла? Шестнадцать-то лет, первая-то молодость, — да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепота куриная «прекрасных сердец», а главное тут — касса ссуд и — баста (а разве я был злодей в кассе ссуд, разве не видела она, как я поступал и брал ли я лишнее?! О, как ужасна правда на земле! Эта прелесть, эта кроткая, это небо — она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель! Ведь я наклевещу на себя, если этого не скажу! Вы думаете, я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли: тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в част-

ности!) я ведь понимаю же теперь, что я в чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так. Все было ясно, план мой был ясен как небо: «Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча». Так оно и было, не лгал, не лгал! «Увидит потом сама, что тут было великодушие, но только она не сумела заметить, — и как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки». Вот план. Но тут я что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то тут сделать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Кончено так кончено. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..

Что ж, я скажу правду, я не побоюсь стать перед правдой лицом к лицу: *она* виновата, *она* виновата!..

Кроткая бунтует

Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша.

Пришла старуха капитанша с медальоном — покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь, — разумеется, сохраним. Ну, одним словом, вдруг через пять дней приходит обменять на браслет, который не стоил и восьми рублей; я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены, но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон.

Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, шелкая правым носком по коврику (ее жест); дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги *мои*, что я имею право смотреть на жизнь *моими* глазами, и — что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее.

Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась и — что бы вы думали — вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления: такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры.

Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась; я ни слова.

Назавтра тоже с утра ушла, напоследавтра опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я с самой свадьбы прервал — ни их к себе, ни сами к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза: «Так Вам, говорят, и надо». Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за сто рублей подкупил и двадцать пять дал вперед. Через два дня она приходит ко мне: «Тут, говорит, офицер, Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан». Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку, а с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов и, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтоб он не осмеливался ко мне приходиться, вспомня наши отношения; но и мысли о чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница, — «к ней-то, дескать, Ваша супруга и ходит теперь».

Эту картину я сокращу. Всего мне стоило это дело рублей до трехсот, но в двое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате, за притворенными дверями, и слышать первый rendez-vous* наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же, накануне, произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена.

* Свидание (франц.).

Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц, или, лучше, две последние перед сим недели, она была совсем не в своем характере, можно даже сказать — в обратном характере: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятения. Напрашивающееся на смятение. Кротость, однако же, мешала. Когда этакая забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а все видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то такие и выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над Вами же имеет претензию превосходствовать.

— А правда, что Вас из полка выгнали за то, что Вы на дуэль выйти струсили? — вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали.

— Правда; меня, по приговору офицеров, попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку.

— Выгнали как труса?

— Да, они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знайте, — не удержался я тут, — что восстать действием против такой тирании и принять все последствия — значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли.

Я не сдержался, я этой фразой как бы пустился в оправдание себя; а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения. Она злобно рассмеялась.

— А правда, что Вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили, и по гривеннику просили, и под миллиардами ночевали?

— Я и на Сенной в доме Вяземского ночевывал⁷. Да, правда; моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло...

— О, теперь Вы лицо — финансист!

То есть это намек на кассу ссуд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унижительных для меня объяснений и не дал их. Кстати же позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась передо мной и сказала:

— Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы?

Я не ответил, и она ушла.

Итак, назавтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж: вышло то (я к чести моей говорю это), вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь.

Вот что вышло. Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей и возвышенной со светской развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знает все это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках; какая острота в быстрых ответах, какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней

просто кокетство — «кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить». Но нет, правда засияла как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание, но как дошло до дела — то у ней тотчас открылись глаза. Просто менялось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех. Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю: к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шел затем, чтоб это встретить. Я шел, ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман, — вот правда! И мог разве я вообразить ее другою? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего ж женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался:

— О, против священных супружеских прав я не возражаю, уводите, уводите! И знаете, — крикнул он мне вслед, — хоть с Вами и нельзя драться порядочному человеку, но, из уважения к Вашей даме, я к Вашим услугам... Если Вы, впрочем, сами рискнете...

— Слышите! — остановил я ее на секунду на пороге.

Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна; губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже

с торжественным и суровым вызовом и, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. (Заметьте: револьвер этот был ей уже знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителям отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишиться себя, на всякий случай, самозащиты, и я завел заряженный револьвер. Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил даже ей устройство и систему, кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте все это). Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Я был очень обессилен; было уже около одиннадцати часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа, затем потушила свечу и легла, тоже одетая, у стены, на диване. В первый раз не легла со мной, — это тоже заметьте...

Страшное воспоминание

Теперь это страшное воспоминание...

Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала надвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал все; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение — и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела прямо на меня, мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения.

Я с силой закрыл глаза опять и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня.

В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем, через мгновение, без сознания кладет опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня. Когда я, встретившись с ее взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, — она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в *такое* мгновение опять глаза.

Да, невероятно. Но она все-таки могла угадать и правду, — это-то и блеснуло в уме моем вдруг, все в то же мгновение. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронесся менее чем в мгновение в уме моем, и да здравствует электричество человеческой мысли! В таком случае (почувствовалось мне), если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее мою готовностью принять смерть и у ней теперь может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну. Я думаю, много самоубийств и убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатошь в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и Вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я все видел, все знаю и жду от нее смерти молча, — могло удержать ее на покатоши.

Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу Вам, как перед Богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный по-

единок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю.

Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это все же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни.

Но Вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос — каждый раз, когда, с холодом в спине, припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии: я погибал, я сам погибал, так кого ж бы я мог спасти? И почему Вы знаете, хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почему знать, что я тогда мог чувствовать?

Сознание, однако ж, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной, — и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, — и она была навеки побеждена!

Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. «Стало быть, все еще сомневается и спрашивает себя: знает он или не знает, видел он или не видел?» Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я «все видел и все знаю» и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер как всегда на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель: брак был расторгнут, «побеждена, но не прощена». Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель.

Глава вторая

Сон гордости

Лукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет и, как похоронят барыню, — сойдет. Молился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но все думаю, думаю, и все больные мысли, и больная голова, — чего ж тут молиться — один грех! Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь⁸. Да так и надо, это по природе, а то силы бы не вынесли... Я лег на диван, но не заснул...

...Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь — я, Лукерья и ученая сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что ж я описываю. Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время... Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали даже потом говорить, но — все обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны: «Она слишком потрясена и слишком побеждена, — думал я, — и, уж конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть». Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготавливался про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: о чем именно она теперь про себя думает?

Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стеная над ней в ее болезни. Но я стонал про себя и стоны давил в груди даже от Лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил *отложить наше будущее* как можно на долгое время, а оставить пока все в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать: я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму.

Видите: в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно — потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах: была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для Вас, сокровенное и чтимое Вами в то же время смешит почему-то толпу Ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерья не может любить. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погнубить от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унижительно. Случай был следующий.

В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А-в, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике заговорил с двумя своими же гусарами о том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу «и, кажется, пьяный». Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кон-

чилося, но назавтра анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один и когда гусар А—в дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А—ву и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего ж ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка, а так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры, не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А—м. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку, — вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял: после блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. Итак — стыд так стыд, позор так позор, падение так падение, и чем хуже, тем лучше, — вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила и мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу ссуд, не прося у людей прощения: деньги, затем угол и — новая жизнь вдали от прежних воспоминаний, — вот план. Тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет — не знаю. Но вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я,

без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела кстати. Выдержав револьвер, я отмстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала *она*, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня, вся надежда моего будущего в мечтах моих! Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, — и вот она все узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась: странность не порок, напротив, иногда привлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку: того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и материала для мечтаний моих. В том-то и скверность, что я мечтатель: с меня хватило материала, а о ней я думал, что *подождет*.

Так прошла вся зима, в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион, но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я, необходимо «дать время». Конечно странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот исподтишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе! Я думал, что в ней это робость. К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди и — «и она вдруг сама подойдет к тебе...»

Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно: иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой дух и ум до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по несколько времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее, с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась...

Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благодарить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием.

Но надвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз и я вдруг прозрел и все понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в пять, после обеда...

Пелена вдруг упала

Два слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость, не то что молчание, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, — меня все это, в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фраппировало⁹. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши.

Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня.

— Да я здорова, — сказала она, неопределенно усмехнувшись.

Шредер ее не очень осматривал (эти медики бывают иногда свысока небрежны), а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной недурно куда-нибудь съездить к морю или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня:

— Я совсем, совсем здорова.

Но сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо, от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще *муж ее*, забочусь о ней, все еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению. (Пелена!)

И вот, месяц после того, в пятом часу, в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, в нашей комнате, за своим столом, за работой, тихо-тихо... запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти ни-

когда не слышал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая — о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался, — такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела...

Моим волнениям засмеются, но никогда никто не поймет, почему я заволновался! Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: «Поет, и при мне! *Забыла она про меня, что ли?*»

Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто.

— Она поет? — сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать; впрочем, я был действительно непонятен.

— Это она в первый раз поет?

— Нет, без Вас иногда поет, — ответила Лукерья.

Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный:

— Это за то, что тебя потревожил, — сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг.

Я повернул домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, — вот что было ясно

и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх.

О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе всю зиму, кроме этого же восторга, но я сам-то где был всю зиму? был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь.

Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помещанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись: я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задышался.

— Поговорим... знаешь... скажи что-нибудь! — вдруг пролепетал я что-то глупое, — о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг — *строгое удивление* выразилось в глазах ее. Да, удивление и *строгое*. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и разможжили меня: «Так тебе еще любви? любви?» — как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я все прочел, все. Все во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайною силою удержал ее за обе руки.

И я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал! Но, верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже,

она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда смеются от стыда). Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, — я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, «дай мне целовать твое платье... так всю жизнь на тебя молиться...» Не знаю, не помню, — и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее.

Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она со страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: «Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!» — и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море¹⁰, теперь, сейчас, через две недели, что у ней такой надтреснутый голосок, я слышал давеча, что я закрою кассу, продам Добронравову, что начнется все новое, а главное, в Булонь, в Булонь! Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне все более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и — «больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, — повторял я поминутно, — не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку...» Она плакала.

— А я думала, что Вы меня оставите так, — вдруг вырвалось у ней невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала, а между тем — о, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу! Все оно объяснило мне, все, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас же переделаю. Наконец к ночи она совсем обессиленна, я уговорил ее заснуть, и

она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо на этой бедной коечке, железной кроватке, которую я ей купил тогда за три рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ее-то воли!). Я становился молиться Богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне и все выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнется «со всем другим».

И я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, — о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она была тут же передо мной, а я перед ней. «Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидит». Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг! Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то все думал, что Булонь — это все, что в Булони что-то заключается окончательное. «В Булонь, в Булонь!..» Я с безумием ждал утра.

Слишком понимаю

А ведь это было всего только несколько дней назад, пять дней, всего только пять дней, в прошлый вторник! Нет, нет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала и — и я бы развеял мрак! Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкою, несмотря на замешательство... Главное, все это время, все пять дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противоречить, подобно безумному: страх был, но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды, так отучились один от

другого, и вдруг все это... Но я не смотрел на ее страх, сияло новое!.. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. И даже было, может быть, много ошибок. Я, и как проснулись на другой день, еще с утра (это в среду было) тотчас вдруг сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил, слишком, слишком, но исповедь была нужна, необходима — куда, более чем исповедь! Я не скрыл даже того, что и от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса ссуд была лишь падением моей воли и ума, личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил, от моего характера, от мнительности: поразила обстановка, буфет порастил; поразило то: как это я вдруг выйду, и не выйдет ли глупо? Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо... А потом уж не хотел сознаться, и мучил всех, и ее за то мучил, и на ней затем и женился, чтобы ее за то мучить. Вообще я говорил большею частью как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать: «Вы преувеличиваете... Вы себя мучаете», — и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она все просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал.

Я не смотрел на просьбы или мало смотрел: весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце, я только это и говорил! Я запер кассу, дела передал Добронравову. Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных трех тысяч, полученных от крестной матери, на которые и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала... она только улыбнулась. И, кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость, не думайте, что я был так глуп и такой эгоист, что этого не видел. Я все видел, все до последней черты, видел и знал лучше всех; все мое отчаяние стояло на виду!

Я ей все про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал... О, я ведь и переменял разговор, я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. И

даже ведь она оживилась, раз или два, ведь я помню, помню! Зачем Вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? И если бы только *это* не случилось, то все бы воскресло. Ведь рассказывала же она мне еще третьего дня, когда разговор зашел о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала, — ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену Жиль Блаза с архиепископом Гренадским¹¹. И каким детским смехом, милым, точно как прежде в невестах (миг! миг!); как я был рад! Меня это ужасно поразило, впрочем, про архиепископа: ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокаиваться, вполне начала уже верить, что я оставляю ее *так*. «Я думала, что Вы меня оставите *так*», — вот ведь что она произнесла тогда во вторник! О, десятилетней девочки мысль! И ведь верила, верила, что и в самом деле все останется *так*: она за своим столом, а я за своим, и так мы оба, до шестидесяти лет. И вдруг — я тут подхожу, муж, и мужу надо любви! О недоразумение, о слепота моя!

Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом; надо было скрепитесь, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я, я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что... ну, что я муж, — о, и в уме моем этого не было, я только молился! Но ведь нельзя же было совсем молчать, ведь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдруг высказал, что наслаждаюсь ее разговором и что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитее меня. Она очень покраснела и конфузясь сказала, что я преувеличиваю. Тут я, сдуру-то, не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок, поединок невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю, но вдруг все лицо ее омрачилось, она закрылась руками и зарыдала... Тут уж и я не выдержал: опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком, так же как во вторник. Это было вчера вечером, а наутро...

Наутро?! Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: ведь когда мы сошлись давеча у саговара (это после вчерашнего-то припадка), то она даже сама поразила меня своим спокойствием, вот ведь что было! А я-то всю ночь трепетал от страха за вчерашнее. Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки (давеча, давеча!), начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь... что она слишком ценит мое великодушие... «я буду Вашей верной женой, я Вас буду уважать...» Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее, целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа... наши заграничные паспорта... О Боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться!.. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня... о Господи!

Лукерья говорит (о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она все знает, она всю зиму была, она мне все рассказывать будет), она говорит, что, когда я вышел из дому, и всего-то минут за двадцать каких-нибудь до моего прихода, — она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидела, что образ ее (тот самый образ богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. «Что вы, барыня?» — «Ничего, Лукерья, ступай... Пойди, Лукерья», — подошла к ней и поцеловала ее. «Счастливы Вы, говорю, барыня?» — «Да, Лукерья» — «Давно, барыня, следовало бы барину к Вам прийти прощения попросить... Слава Богу, что вы помирились» — «Хорошо, говорит, Лукерья, уйди, Лукерья» — и улыбнулась этак, да странно так. Так странно, что Лукерья вдруг через десять минут воротилась посмотреть на нее: «Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко.

Я тотчас пошла сказать, что «свежо, барыня, не простудились бы Вы», и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: «Барыня, барыня!» Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и — и бросилась из окошка!»

Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все передо мной расступаются и... и она лежит с образом. Я помню, как во мраке, что я подошел молча и долго глядел, и все обступили и что-то говорят мне. Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной. Помню только того мещанина: он все кричал мне, что «с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!», и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне все: «С горстку, с горстку!»

— Да что такое «с горстку»? — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него...

О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможность!

Всего только пять минут опоздал

А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла эта женщина?

О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла — все-таки вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, — ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только *так*, если б ей захотелось, чтоб осталось *так*. Она тому не

поверила, вот что! Нет, нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно: любить так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью под видом любви или четвертьлюбовью. Честны уж очень, вот что-с! Широкошь сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль.

Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня или нет? Не думаю, чтоб презирала. Странно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда со *строгим удивлением*. Со *строгим* именно. Тут-то я сразу и понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно, навеки! Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но — пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! И как бы мог я предположить даже за пять минут? Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!

О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга, но разве нельзя было опять приучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтись и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже — вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня, не больше, и она бы все поняла.

Главное, обидно то, что все это случай — простой, варварский, косный случай. Вот обида! Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять минут — и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы все поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого — вот беда!

Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: Вам смешно, что я жалуясь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она даже записки не оста-

вила, что вот, дескать, «не вините никого в моей смерти», как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут потревожить даже Лукерью: «Одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее». По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из окошек из флигеля и со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Но ведь и это тоже случай, что люди стояли и видели. Нет, все это — мгновение, одно лишь безотчетное мгновение. Внезапность и фантазия! Что ж такое, что перед образом молилась? Это не значит, что перед смертью. Все мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь десять минут, все решение — именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась и — и не могла устоять перед нею.

Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии? Устала она в зиму, вот что...

Опоздал!!!

Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала — ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта «горстка крови». Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то... о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, — но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! Измучил я ее — вот что!

Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите, офицер!» А я закричу ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделеюсь». О, мне все равно!

Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы посадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила, — и пусть, ну что же? Все и было бы *так*, все бы и оставалось *так*. Рассказывала бы только мне как другу, — вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила, — ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы... О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде все поняла!

Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живет вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы¹². Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! «Люди, любите друг друга» — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?

[...]

Д е к а б р ь

Анекдот из детской жизни¹

Расскажу, чтоб не забыть.

Живут на краю Петербурга, и даже подальше, чем на краю, одна мать с двенадцатилетней дочкой. Семья небогатая, но мать имеет занятие и добывает средства трудом,

а дочка посещает в Петербурге школу и каждый раз, когда уезжает в школу или возвращается из школы домой, ездит в общественной карете, отправляющейся от Гостиного двора до того места, где они живут, и обратно по нескольку раз в день, в известные сроки.

И вот однажды, недавно, месяца два назад, как раз когда у нас вдруг и так быстро установилась зима и начался первопут с целой неделей тихих, светлых дней, в два-три градуса морозу, однажды вечером мать, смотря на дочку, сказала ей:

— Саша, я вижу, ты никаких уроков не твердишь, вот столько уже вечеров замечаю. Знаешь ли ты уроки-то?

— Ах, мамочка, не беспокойся, я все приготовила; на всю даже неделю вперед приготовила.

— Хорошо, коли так.

Назавтра отправилась Саша в школу, а в шестом часу кондуктор общественной кареты, в которой должна была воротиться Саша, соскочив мимоходом у их ворот, подал «мамочке» от нее записку следующего содержания:

«Милая мамочка, я всю неделю была очень дурной девочкой. Я получила три нуля и все тебя обманывала. Воротиться мне к тебе стыдно, и я уж больше к тебе не вернусь. Прощай, милая мамочка, прости меня, твоя Саша».

Можно представить, что случилось с матерью. Разумеется, тотчас же хотела бросить занятия и лететь в город разыскивать Сашу хоть по каким-нибудь следам. Но где? Как? Случился тут один близкий знакомый, принявший горячее участие и вызвавшийся тотчас же отправиться в Петербург и там, справившись в школе, искать и искать по всем знакомым и хоть целую ночь. Главное, представившееся соображение, что Саша может воротиться тем временем сама, раскаившись в прежнем решении, и если матери дома не застанет, то, пожалуй, опять уйдет, заставило мать остаться и довериться горячему участию доброго человека. В случае же, если Саша не отыщется к утру, положили чем свет заявить полиции. Оставшись дома, мать провела несколько тяжелых часов, и я их не описываю, так как можно и так понять.

«И вот, — рассказывает мать, — уже около десяти часов вдруг слышу знакомые маленькие скорые шаги во дворе по снегу и потом по лесенке. Отворяется дверь и — вот Саша.

— Мапочка, ах, мамочка, как я рада, что пришла к тебе, ах!

Сложила руки перед собой ладошками, потом закрыла себе ими лицо и села на кровать. Такая усталая, измученная. Ну, тут, разумеется, первые восклицания, первые вопросы; мать осторожна, упрекать пока не смеет.

— Ах, мамочка, как только я вчера тебе солгала про уроки, так вчера же и решила: в школу больше не ходить и к тебе не возвращаться; потому что как же я в школу ходить не буду, а тебя каждый день буду обманывать, что хожу?

— Да как же ты с собой-то быть хотела? Коль не в школе и не у меня, так где же?

— А я думала, что на улице. Как день, я бы все по улицам ходила. Шубка на мне теплая, я прозябну — в Пассаж зайду, а вместо обеда каждый день по булке покупать, ну а пить — так как уж nibудь, теперь снег. Одной булки мне довольно. У меня 15 копеек, по три копейки на булку, вот и пять дней.

— А там?

— А там не знаю, дальше я не подумала.

— Ну а ночевать-то, ночевать-то где?

— А ночевать, я это обдумала. Как уж темно и как уж поздно, я думала всякий день ходить на железную дорогу, туда дальше, за воксал, где никого уж нет и где ужасно много вагонов стоит. Влезть в какой-нибудь этот вагон, который уж видно, что не пойдет, и ночевать до утра. Я и пошла. И далеко зашла, туда за воксал, и никого там нет, и вижу совсем в стороне вагоны стоят и совсем не такие, в которых все ездят. Вот, думаю, влезу в какой-нибудь этот вагон, и никто не увидит. Только я начала влезать, а вдруг сторож мне и закричал:

— Куда лезешь? В этих вагонах мертвых возят.

Услышала я это, соскочила, а он уж, вижу, ко мне подходит: «Вам чего, говорит, здесь надо?» Я от него бежать, бежать, он что-то закричал, только я убежала. Иду я, так

испугалась. Воротилась на улицы, хожу и вдруг вижу дом, большой дом, каменный, строится, еще только кирпичный, стекол, дверей нет и забиты досками, а кругом забор. Вот, думаю, если б пройти как-нибудь туда в дом, то там ведь никто не увидит, темно. Зашла я с переулка и сыскала такое место, что хоть и заколочено досками, а можно пролезть. Я и пролезла, прямо как в яму, там еще земля; я пошла ощупью по стене в угол, а в углу доски, кирпичи. Вот, думаю, тут и ночую на досках. Так и легла. Только вдруг слышу, точно кто тихо очень говорит. Я приподнялась, а в самом углу, слышу, говорят, тихо, и точно на меня оттуда глаза смотрят. Тут я уж очень испугалась, побежала как раз в ту самую дверь опять на улицу, а они меня, слышу, зовут. Успела выскочить. А я-то думала, что дом пустой.

Тут как вышла я опять, то очень вдруг устала. Так устала, так устала. Иду по улицам, народ ходит, который час, не знаю. Вышла я на Невский проспект, иду около Гостиного и совсем плачу. «Вот, думаю, прошел бы какой добрый человек, пожалел бы бедную девочку, которой ночевать негде. Я уж призналась бы ему, а он бы мне сказал: пойдите к нам ночевать». Думаю я все об этом, иду и — вдруг гляжу, стоит наш дилижанс и последний раз сюда отправляться хочет, а я-то думала, что он уже давно ушел. «Ах, думаю, поеду к маме!» Села я, и так теперь, мамочка, рада, что к тебе воротилась! Никогда я тебя больше обманывать не буду и учиться буду хорошо, ах, мамочка! ах, мамочка!

— Спрашиваю ее, — рассказывает мать дальше, — Саша, да неужель ты все это сама выдумала — и в школу чтоб не ходить и на улице жить?

— Видишь, мамочка, тут я давно уже познакомилась с одной девочкой, такая же как и я, только она в другую школу ходит. Только, веришь ли, она никогда почти не ходит, а дома всем говорит каждый день, что ходит. А мне она сказала, что учиться ей скучно, а на улице очень весело. «Я, говорит, как выйду из дому, все хожу, все хожу, а в школу вот уж две недели не показывалась, в окна в магазины смотрю, в Пассаж хожу,

булку съем — до самого вечера, как домой идти». Я как узнала про это от нее, тогда же подумала: «Вот бы мне так же», и стало мне скучно в школе. Только я и намерения не имела до самого вчерашнего дня, а вчера как солгала тебе, и решилась...»

Анекдот этот — правда. Теперь, уж разумеется, матерью приняты меры. Когда мне рассказали его, я думал, что очень нелишнее напечатать его в «Дневнике». Мне позволили, конечно с полным incognito. Мне, разумеется, возразят сейчас же: «Единичный случай, и просто потому, что девочка очень глупа». Но я знаю наверно, что девочка очень не глупа. Знаю тоже, что в этих юных душах, уже вышедших из первого детства, но еще далеко не дозревших какой-нибудь хоть самой первоначальной возмужалости, могут порою зарождаться удивительные фантастические представления, мечты и решения. Этот возраст (двенадцати- или тринадцатилетний) необычайно интересен в девочке еще больше, чем в мальчике. Кстати о мальчиках: помните вы года четыре назад напечатанное в газетах известие о том, как из одной гимназии бежали три чрезвычайно юные гимназиста в Америку и что их поймали уже довольно далеко от их города, а вместе захватили и бывший с ними пистолет. Вообще и прежде, поколение или два назад, в головах этого очень юного народа тоже могли бродить мечты и фантазии, совершенно так же как у теперешних, но теперешний юный народ как-то решительнее и гораздо короче на сомнения и размышления. Прежние, надумав проект (ну хоть бежать в Венецию, начитавшись о Венеции в повестях Гофмана и Жорж Занда, — я знал одного такого), все же проектов своих не исполняли и много что поверяли их под клятвою какому-нибудь товарищу, а теперешние надумают да и выполняют. Впрочем, прежних связывало и чувство их долга, ощущение обязанности, — к отцам, к матерям, к известным верованиям и принципам. Нынче же, бесспорно, связи эти и ощущения стали несколько слабее. Меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося. Оттого, может быть, одностороннее и голова работает, и, уж разумеется, все это от чего-нибудь.

А главное, это вовсе не единичные случаи, происходящие от глупости. Повторяю, этот чрезвычайно интересный возраст вполне нуждается в особенном внимании столь занятых у нас педагогией педагогов и столь занятых теперь «делами» и не делами родителей. И как легко может все это случиться, то есть все самое ужасное, да еще с кем: с нашими родными детьми! Подумать только о том месте в этом рассказе матери, когда девочка *«вдруг устала*, идет и плачет и мечтает, что встретится добрый человек, сжалится, что бедной девочке негде ночевать, и пригласит ее с собою». Подумать, что ведь это желание ее, свидетельствующее о ее столь младенческой невинности и незрелости, так легко могло тут же сбыться и что у нас везде, и на улице и в богатейших домах, так и кишит вот именно этими «добрыми человечками»? Ну а потом, наутро? Или прорубь, или *стыд признаться*, а за стыдом признаться и грядущая способность, все затаив про себя, *с воспоминанием ужиться*, а потом о нем задуматься, уже с другой точки зрения, и все думать и думать, но уже с чрезвычайным разнообразием представлений, и все это мало-помалу и само собой; ну а под конец, пожалуй, и желание повторить случай, а затем все остальное. И это с двенадцати-то лет! И все шито-крыто. Ведь шито-крыто в полном смысле слова! А эта другая девочка, которая вместо школы в магазины заглядывает и в Пассаж заходит, и нашу девочку научила? Я прежде слыхивал в этом роде про мальчиков, которым учиться скучно, а *бродяжить* весело. (NB. Бродяжничество есть привычка, болезненная и отчасти наша национальная, одно из различий наших с Европой, — привычка, обращающаяся потом в болезненную страсть и весьма нередко зарождающаяся с самого детства. Об этой национальной страсти нашей я потом непременно поговорю.) Но вот, стало быть, возможны и *бродячие* девочки. И, положим, тут полная пока *невинность*; но будь невинна как самое первобытное существо в раю, а все не избегнет «познания добра и зла», ну хоть с краюшку, хоть в воображении только, мечтательно. Улица ведь такая бойкая школа. А главное, повторяю еще и еще: тут этот интересней-

ший возраст, возраст, вполне еще сохранивший самую младенческую, трогательную невинность и незрелость, с одной стороны, а с другой — уже приобретший скорую до жадности способность восприятия и быстрого ознакомления с такими идеями и представлениями, о которых, по убеждению чрезвычайно многих родителей и педагогов, этот возраст даже и представить себе будто бы ничего еще не может. Это-то вот раздвоение, эти-то две столь несходные половины юного существа в своем соединении представляют чрезвычайно много опасного и критического в жизни этих юных существ.

[..]

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1877

Я н в а р ь

Фома Данилов, замученный русский герой

В прошлом году, весной, было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском инвалиде», о мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утонченнейших истязаний, 21 ноября 1875 года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может и, как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность¹. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его батырем, то есть по-русски богатырем. Тогда это известие, хотя и сообщенное всеми газетами, прошло как-то без особенного разговора в обществе, да и газеты, сообщив его в виде обыкновенного газетного *entrefilet*^{*}, не сочли нужным особенно распространиться о нем. Одним словом, с Фомой Даниловым «было тихо», как говорят на бирже. Потом, как известно, насту-

^{*} Сообщения (франц.)².

пило славянское движение, явились Черняев, сербы, Киреев, пожертвования, добровольцы, и о Фоме замученном позабыли совсем (то есть в газетах), и вот недавно только получились к прежнему известию дополнительные подробности. Сообщают опять, что самарский губернатор навел справки о семействе Данилова, происходившего из крестьян села Кирсановки, Самарской губернии, Бугурусланского уезда, и оказалось, что у него остались в живых жена Евфросинья 27 лет и дочь Улита шести лет, находившиеся в бедственном положении. Им помогли по благородному почину самарского губернатора, обратившегося к некоторым людям с просьбою помочь вдове и дочери замученного русского героя и к самарскому губернскому земскому собранию с предложением, не пожелает ли оно поместить дочь Данилова стипендиаткой в одно из учебных заведений. Затем собрали 1320 рублей и из них шестьсот отложили дочери до совершеннолетия, а остальную сумму выдали самой вдове на руки, а дочь Данилова приняли в учебное заведение. Кроме того, начальник Главного штаба уведомил губернатора о всемилостивейше назначенной вдове Данилова пожизненной пенсии из государственного казначейства, по сто двадцати рублей в год. Затем — затем дело, вероятно, опять будет забыто ввиду текущих тревог, политических опасений, огромных вопросов, ждущих разрешения, крахов и проч. и проч.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось к этому поразительному поступку равнодушно, как к не стоящему внимания. Факт лишь тот, что немного говорили или, лучше, почти никто не говорил об этом *особенно*. Впрочем, может быть, и говорили где-нибудь про себя, у купцов, у духовных, например, но не в обществе, не в интеллигенции нашей. В народе, конечно, эта великая смерть не забудется: этот герой принял муки за Христа и есть великий русский; народ это оценит и не забудет, да и никогда он таких дел не забывает. И вот я как будто уже слышу некоторые столь известные мне голоса: «Сила-то, конечно, сила, и мы признаем это, но ведь все же — темная, проявившаяся слишком уж, так сказать, в допотопных, оказавшихся формах, а потому — что же нам *особенно-то*

говорить? Не нашего это мира; другое бы дело сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другие страдальцы, и другие силы, есть и идеи безмерно высшие — идея общечеловечности, например...»

Несмотря на эти разумные и интеллигентные голоса, мне все же кажется позволительным и вполне извинительным сказать нечто *особенное* и о Данилове; мало того, я даже думаю, что и самая интеллигенция наша вовсе бы себя не столь унизила, если б отнеслась к этому факту повнимательнее. Меня, например, прежде всего удивляет, что не обнаружилось никакого удивления; именно удивления. Я не про народ говорю: там удивления и не надо, в нем удивления и не будет; поступок Фомы ему не может казаться необыкновенным, уже по одной великой вере народа в себя и в душу свою. Он отзовется на этот подвиг лишь великим чувством и великим умилением. Но случись подобный факт в Европе, то есть подобный факт проявления великого духа, у англичан, у французов, у немцев, и они наверно прокричали бы о нем на весь мир. Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, — эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства. Послушайте, ведь вы все же не эти циники, вы всего только люди интеллигентно-европействующие, то есть в сущности предобрейшие: ведь не отрицаете же и вы, что летом народ наш проявил местами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и детей и шли умирать за веру, за угнетенных, Бог знает куда и Бог знает с какими средствами, точь-в-точь как первые крестоносцы девять столетий тому назад в Европе, — те самые крестоносцы, которых появление вновь Грановский, например, считал бы чуть ли не смешным и обидным «в наш век положительных задач, прогресса» и проч. и проч. Пусть это летнее движение наше, по-вашему, было слепое и даже как бы неразумное, так сказать «крестоносное»,

но ведь твердое же и великодушное, в этом нельзя не сознаться, если чуть-чуть пошире посмотреть. Просыпалась великая идея, вознесшая, может быть, сотни тысяч и миллионов душ разом над косностью, цинизмом, развратом и безобразием, в которые купались до того эти души. Ведь вы знаете, народ наш считают до сих пор хоть и добродушным и даже очень умственно способным, но все же темной стихийной массой, без сознания, преданной поголовно порокам и предрассудкам, и почти сплошь безобразником. Но, видите ли, я осмелюсь высказать одну даже, так сказать, аксиому, а именно: чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загроубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа.

Фома Данилов с виду, может, был одним из самых обыкновенных и неприметных экземпляров народа русского, неприметных, как сам народ русский. (О, он для многих еще совсем неприметен!) Может быть, в свое время не прочь был погулять, выпить, может быть, даже не очень молился, хотя, конечно, Бога всегда помнил. И вот вдруг велят ему переменить веру, а не то — мученическая смерть. При этом надо вспомнить, что такое бывают эти муки, эти азиатские муки! Перед ним сам хан, который обещает ему свою милость, и Данилов отлично понимает, что отказ его непременно раздражит хана, раздражит и самолюбие кипчаков тем, «что смеет, дескать, христианская собака так презирать ислам». Но, несмотря на все, что его ожидает, тот неприметный русский человек принимает жесточайшие муки и умирает, удивив истязателей. Знаете что,

господа, ведь из нас никто бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но ведь тут дело произошло в совершенной безвестности, в глухом углу; никто-то не смотрел на него; да и сам Фома не мог думать и наверно не предполагал, что его подвиг огласится по всей земле русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первых веков христианских, отчасти все же были утешены и облегчены, принимая свои муки, тем убеждением, что смерть их послужит примером для робких и колеблющихся и еще больших привлечет к Христу. Для Фомы даже и этого великого утешения быть не могло: кто узнает, он был один среди мучителей. Был он еще молод, там где-то у него молодая жена и дочь, никогда-то он их теперь не увидит, но пусть: «Где бы я ни был, против совести моей не поступлю и мучения приму», — подлинно уж правда для правды, а не для красоты! И никакой кривды, никакого софизма с совестью: «Приму-де ислам для виду, соблазна не сделаю, никто ведь не увидит, потом отмолюсь, жизнь велика, в церковь пожертвую, добрых дел наделаю». Ничего этого не было, честность изумительная, первоначальная, стихийная. Нет, господа, вряд ли мы так поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторю, подвиг Данилова, может быть, даже и не удивителен. В том-то и дело, что тут именно — как бы портрет, как бы всецелое изображение народа русского, тем-то все это и дорого для меня, и для вас, разумеется. Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красоты. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти. И все это он сделает и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь: «Во что верую, то и исповедую». Тут даже самые ожесточенные спорщики насчет «ретроградства» идеалов народных не могут иметь никакого слова, ибо дело вовсе уже не в том: ретрограден идеал или нет? А лишь в способности

проявления величайшей воли ради подвига великодушия. (Эту смешную идейку о «ретроградстве» идеалов я ввел здесь ради полного беспристрастия.)

Знаете, господа, надо ставить дело прямо: я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить такой народ. Это софизм, разумеется, но он иногда приходит на ум. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научим его — вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания, — этому и немцы заезжие по найму научат, если мы не научим, нет, а мы-то чему? Мы ведь русские, братья этому народу, а стало быть, обязаны *просветить* его. Нравственное-то, высшее-то что ему передадим, что разъясним и чем осветим эти «темные» души? Просвещение народа — это, господа, наше право и наша обязанность, право это в высшем христианском смысле: кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, блуждающему во тьме брату своему, так по Евангелию. Ну и что же мы сообщим блуждающему, чего бы он сам не знал лучше нашего? Прежде всего, конечно, что учение полезно и что надо учиться, так ли? Но народ еще прежде нашего сказал, что «ученье — свет, неученье — тьма». Уничтожению предрассудков, например, низвержению идолов? Но ведь в нас самих такая бездна предрассудков, а идолов мы столько себе наставили, что народ прямо скажет нам: «Врачу — исцелися сам»³. (А идолов наших он отлично умеет уже разглядывать!) Что же, самоуважению, собственному достоинству? Но народ наш, весь, в целом своем, гораздо более нашего уважает себя, гораздо глубже нашего чтит и понимает свое достоинство. В самом деле, мы самолюбивы ужасно, но ведь мы совсем не уважаем себя, и собственного достоинства в нас вовсе нет никакого и даже ни в чем. Ну нам ли, например, научить народ уважению к чужим убеждениям? Народ наш доказал еще с Петра Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что, кто так легко склонен те-

рять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя. Ну нам ли учить народ вере в себя самого и в свои силы? У народа есть Фомы Даниловы, и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну чему же, наконец, мы научить можем? Мы гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и чтит народ наш и к чему рвется его сердце. Ну какие же мы народолюбцы? Возразят, что тем больше, стало быть, любим народ, коли гнушаемся его невежеством, желая ему лучшего. О нет, господа, совсем нет: если б мы вправду и на деле любили народ, а не в статейках и книжках, то мы бы поближе подошли к нему и озаботились бы изучить то, что теперь совсем наобум, по европейским шаблонам, желаем в нем истребить: тогда, может, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можем.

Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж.

Но что же это за пункт примирения?

Примирительная мечта вне науки

И прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положение и с него начинаю:

«Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб

стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной».

Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, иметь, в свои сроки, огромное мировое влияние на судьбы человечества. Так, бесспорно, было с древним Римом, так потом было с Римом в католическое время его существования. Когда католическую идею его унаследовала Франция, то то же самое случилось и с Францией, и, в продолжение почти двух веков, Франция, вплоть до самого недавнего погрома уныния своего, все время и бесспорно — считала себя во главе мира, по крайней мере нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущего. Но о том же мечтала всегда и Германия, выставившая против мировой католической идеи и ее авторитета знаменем своим протестантизм и бесконечную свободу совести и исследования. Повторяю, то же бывает и со всеми великими нациями, *более или менее*, в зените развития их. Мне скажут, что все это неверно, что это ошибка, и укажут, например, на собственное *сознание* этих же самых народов, на сознание их ученых и мыслителей, писавших именно о совокупном значении европейских наций, участвовавших купно в создании и завершении европейской цивилизации, и я, разумеется, отрицать такого сознания не буду. Но не говоря уже о том, что такие окончательные выводы сознания и вообще составляют как бы уже конец живой жизни народов, укажу хотя бы лишь на то, что самые-то эти мыслители и сознаватели, как бы там ни писали о мировой гармонии наций, все же, в то же самое время, и чаще всего, непосредственным, живым и искренним чувством *продолжали веровать*, точь-в-точь как и массы народа их, что в этом хоре наций, составляющих мировую гармонию и выработанную уже сообща цивилизацию, — они (то есть французы, например) и есть голова всего единения, самые передовые, те самые, которым предназначено вести, а те только следуют за ними. Что они, положим, если и позаимству-

ют у тех народов что-нибудь, то все же немножко; но зато те народы, напротив, возьмут у них все, все главнейшее, и только их духом и их идеей жить могут, да и не могут иначе сделать, как сопричаститься их духу в конце концов и слиться с ним рано или поздно. Вот и в теперешней Франции, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь еще одна из таких идей, представляющая новый, но, по-нашему, совершенно естественный фазис ее же прежней мировой католической идеи и развития ее, и чуть не половина французов верит и теперь, что в ней-то и кроется спасение, не только их, но и мира, — это именно их французский социализм. Идея эта, то есть ихний социализм, конечно, ложная и отчаянная, но не в качестве ее теперь дело, а в том, что она теперь существует, живет живой жизнью и что в исповедующих ее нет сомнения и уныния, как в остальной огромной части Франции. С другой стороны, взгляните на каждого почти англичанина, высшего или низшего типа, лорда или работника, ученого или необразованного, и вы убедитесь, что каждый англичанин прежде всего старается быть англичанином, сохраниться в виде англичанина во всех фазисах своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловеческой, и даже любить человечество старается не иначе, как в виде англичанина. Мне скажут, что если б даже и так, если б и было все это как я утверждаю, то все-таки такое самообольщение и самомнение было бы даже унижительно для тех великих народов, умалило бы значение их эгоизмом, нелепым шовинизмом и не то чтобы придало им жизненной силы, а, напротив, повредило бы и растлило бы их жизнь в самом начале. Скажут, что подобные безумные и гордые идеи достойны не подражания, а, напротив, искоренения светом разума, уничтожающего предрассудки. Положим, что с одной стороны это очень правда; но все же тут надо непременно посмотреть и с другой стороны, и тогда выйдет не только не унижительно, а даже совсем напротив. Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем? Поверьте, что такие, пожалуй, гордые и заносчивые мечты могут быть гораздо живительнее и полезнее этому юноше, чем иное благоразумие

того отрока, который уже в шестнадцать лет верит премудрому правилу, что «счастье лучше богатства». Поверьте, что жизнь этого юноши даже после прожитых уже бедствий и неудач, в целом, будет все-таки краше, чем успокоенная жизнь мудрого товарища детства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Так точно и в народах: пусть есть народы благоразумные, честные и умеренные, спокойные, без всяких порывов, торговцы и кораблестроители⁴, живущие богато и с чрезвычайною опрятностью; ну и Бог с ними, все же далеко они не пойдут; это непременно выйдет средина, которая ничем не сослужит человечеству: этой энергии в них нет, великого самомнения этого в них нет, трех этих шевелящихся китов под ними нет, на которых стоят все великие народы. Вера в то, что хочешь и *можешь* сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь. Древний легендарный рыцарь верил, что перед ним падут все препятствия, все призраки и чудовища и что он победит все и всех и всего достигнет, если только верно сохранит свой обет «справедливости, целомудрия и нищеты». Вы скажете, что все это легенды и песни, которым может верить один Дон-Кихот, и что совсем не таковы законы действительной жизни нации. Ну, так я вас, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такие же Дон-Кихоты, что у вас самих есть такая же идея, которой вы верите и через которую хотите обновить человечество!

В самом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрас-

судки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей? И главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни у какого, например, народа в Европе, где личности наций чрезвычайно резко очерчены, где если есть эта вера, то не иначе как на степени какого-нибудь еще умозрительного только сознания, положим, пылкого пламенного, но все же не более как кабинетного. А у вас, господа, то есть не то что у вас, а у нас, у нас всех, русских, — эта вера есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому верят и сознательно и просто, и в интеллигентном мире и живым чутьем в простом народе, которому и религия его повелевает этому самому верить. Да, господа, вы думали, что вы только одни «общечеловеки» из всей интеллигенции русской, а остальные только славянофилы да националисты? Так вот нет же: славянофилы-то и националисты верят точь-в-точь тому же самому, как и вы, да еще крепче вашего!

Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали они устами своих передовых деятелей, основателей и представителей своего учения? Они прямо, в ясных и точных выводах, заявляли, что Россия, вкуче со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения Европе. Вы скажете мне, что вы вовсе не тому верите, что все это кабинетные умозрения. Но дело тут

вовсе не в вопросе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разногласицу, все же сходятся и сводятся к этой одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт, не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная национальная идея; именно *национальная*. Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. Все спасение наше лишь в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу.

Но вот тут-то и пункт.

Мы в Европе лишь стрючкие⁵

Ведь вы как переходили к делу? Вы ведь давно начали, очень давно, но что, однако, вы сделали для общечеловечности, то есть для торжества вашей идеи? Вы начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только. Целое восемнадцатое столетие мы только и делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: «Вот, дескать, какой я англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу». Вы думаете, я издеваюсь? Ничуть. Я слишком понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московских еще царях и патриархах, один тогдашний молодой московский франт, из передовых, надел французский костюм и к боку прицепил европейскую шпагу⁶. Мы именно должны были начать с презрения к своему и к своим, и если пробыли целые два века на этой точке, не двигаясь ни

взад ни вперед, то, вероятно, таков уж был наш срок от природы. Правда, мы и двигались: презрение к своему и к своим все более и более возрастало, особенно когда мы посерьезнее начали понимать Европу. В Европе нас, впрочем, никогда не смущали резкие разъединения национальностей и резко определившиеся типы народных характеров. Мы с того и начали, что прямо «сняли все противоположности» и получили общечеловеческий тип «европейца» — то есть с самого начала подметили *общее*, всех их связующее, — это очень характерно. Затем, с течением времени поумнев еще более, мы прямо ухватились за цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человечество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на нас, на чужих и пришельцев, этой восторженной вере нашей, тем более что сами они, увы, стали уж и тогда помаленьку терять эту веру в себя. Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера⁷, мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созванию «Национальных Штатов» в 89-м году⁸, и если мы и приходили потом в отчаяние, в конце первой четверти уже нынешнего века, вместе с передовыми европейцами над их погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то веры нашей все-таки не потеряли и даже самих европейцев утешали. Даже самые «белые» из русских у себя в Отечестве становились в Европе тотчас же «красными» — чрезвычайно характерная тоже черта. Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму и приняли его, без малейших колебаний, за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас доселе мечты нашей. Таким образом, за достижение цели мы приняли то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничтожения всякой свободы людей, но это нас не смущало нисколько. Напротив, видя грустное недоумение иных глубоких европейских мыслителей, мы с совершенною развяз-

ностью немедленно обозвали их подлецами и тупицами. Мы вполне поверили, да и теперь еще верим, что положительная наука вполне способна определить нравственные границы между личностями единиц и наций (как будто наука, — если б и могла это она сделать, — может открыть эти тайны раньше *завершения* опыта, то есть раньше завершения всех судеб человека на земле). Наши помещики продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы⁹, а наши Рудины умирали на баррикадах. Тем временем мы до того уже оторвались от своей земли русской, что уже утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение рознится с душой народа русского. Впрочем, русский народный характер мы не только считали ни во что, но и не признавали в народе никакого характера. Мы забыли и думать о нем и с полным деспотическим спокойствием были убеждены (не ставя и вопроса), что народ наш тотчас примет все, что мы ему укажем, то есть в сущности прикажем. На этот счет у нас всегда ходило несколько смешнейших анекдотов о народе. Наши общечеловеки пребыли к своему народу вполне помещиками, и даже после крестьянской реформы.

* * *

И чего же мы достигли? Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: *Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare**, и так и доселе. Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли перед ними, мы подобострастно исповедовали им наши «ев-

* Поскребите русского, и вы увидите татарина (*франц.*).

ропейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это все у них «не так поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (*les tartares*), никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотим, чего-то им страшного и опасного; поняли, что нас много, восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем все европейские идеи, а что они наших русских идей не знают, а если и узнают, то не поймут; что мы говорим на всех языках, а что они говорят лишь на одних своих, — ну и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тем, что они прямо обзвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе Отечество, — я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам *почти* так же *всем* дорога, как Россия; в ней все Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама¹⁰. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским — значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвергивались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не

обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем, есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, — единение любви, *гарантированное* уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов...

А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но — слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...

Старина о «петрашевцах»

В настоящую минуту, как всем известно, производится суд над участниками в казанской истории 6-го декабря. О ходе процесса мои читатели, вероятно, уже знают из газет¹¹. Но в одной газете меня поразило одно замечание о бывших когда-то петрашевцах — известном преступном обществе в конце сороковых годов, в котором и мне привелось участвовать, за что я и заплатил десятилетней ссылкой в Сибирь и четырехлетней каторгой. Замечание это сделала «Петербургская газета» в горячей передовой статье о казанской истории¹². Между прочим, в статье этой выписаны были из

сочинений г-на Стронина¹³ «Политика как наука» несколько превосходных строк, которые я приведу здесь целиком. Это совет молодежи, идущей «в народ»:

«Вместо того, чтоб идти в народ, пользуйтесь случаем, он сам придет к вам. У вас есть прислуга, есть кухарка, есть горничная, кучер, лакей, дворник. Если вам хочется быть демократом, посадите их с собою за свой стол, за свой чай, введите их в семейную жизнь вашу. Вместо того, чтобы говорить им, что нет Бога и что есть прокламация, как начинает поучать всякий глупый либерал, скажите им лучше, что есть сложение и вычитание, что есть грамота и азбука. А между тем будьте с вашими учениками честны, внимательны, серьезны и не фамильярны, и вообще подайте пример добрых или по крайней мере лучших нравов».

Теперь собственно о петрашевцах. Вот что говорит автор передовой статьи:

«Другая мысль, на которую невольно наводит «казанская история», представляет в общественном сознании еще более утешительную сторону, а именно, что герои всех подобных печальных историй раз от раза становятся все мизернее, незанимательнее даже для пылких умов. Когда-то, 50 лет назад, субъектами политических преступлений в России были люди, выходящие из среды высшего интеллигентного общества (декабристы); в 40-х годах тип русского политического преступника значительно стал мельче («петрашевцы»); в начале 60-х годов он уже измельчал до так называемого мыслящего пролетариата («чернышевцы»); в начале 70-х годов он пал до неразвитых, школьных недоучек и низкопробных нигилистов («нечаевцы»); в долгушинской истории¹⁴ на поприще пропагандистов фигурирует уже полуграмотный сброд; наконец, в «казанской истории» остается не только еще полуграмотный сброд, но с большим оттенком еврейского элемента и фабричного забудыги. Такое постепенное мельчание лучшее доказательство, что преступная политическая пропаганда после всех либеральных реформ нынешнего царствования никак уже не может рассчитывать на увлечение ею со стороны сколько-нибудь развитых элементов общества, а на народную массу она тем менее может влиять, потому что народная масса показала, как она встречает своих непрошенных пророков...»

Мысль автора о ничтожности у нас революционной пропаганды без сомнения верная, хотя и выражена неясно; тут многое надо было гораздо точнее определить ради пользы дела. Но я замечу лишь о петрашевцах, что вряд ли прав автор, указывая на их примере об измелечании политического преступника сравнительно с декабристами. Прибавлю, что мысль эту об «измелечании» я уже давно слышал; она не раз уже повторялась в печати, вот почему я и останавливаюсь на ней теперь, повстречав ее кстати. По-моему, коренное изменение типа политического преступника произошло у нас лишь за последние двадцать лет; но петрашевцы были совершенно еще одного типа с декабристами, по крайней мере по тем существенным признакам типа, на которые указывает сам автор статьи. Автор говорит, что декабристы были люди, «выходившие из среды высшего интеллигентного общества». Но чем же иным были петрашевцы? В составе декабристов действительно, может быть, было более лиц в связях с высшим и богатейшим обществом; но ведь декабристов было и несравненно более числом, чем петрашевцев, между которыми было тоже немало лиц в связях и в родстве с лучшим обществом, а вместе с тем и богатых¹⁵. К тому же высшее общество нисколько ведь не сочувствовало замыслу декабристов и в нем не участвовало даже и косвенно, так что с этой стороны не могло им придать никакого особого значения. Тип декабристов был более военный, чем у петрашевцев, но военных было довольно и между петрашевцами¹⁶. Одним словом, я не знаю, в чем видит различие автор. И те и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же *господскому*, «*барскому*», так сказать, обществу, и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, то есть декабристов и петрашевцев, решительно не было никакого различия. Если же между петрашевцами и было несколько разночинцев (крайне немного), то лишь в качестве людей образованных¹⁷, и в этом качестве они могли явиться и у декабристов. Вообще же говоря, мещане и разночинцы не могли быть ни у декабристов, ни у петрашевцев в значительном числе, но лишь потому, что они

тогда и не являлись в числе. Что же до «интеллигентности» как высшего качества декабристов над петрашевцами, то в этом автор совсем уже ошибся: общество декабристов состояло из людей, несравненно менее образованных, чем петрашевцы. Между петрашевцами были, в большинстве, люди, вышедшие из самых высших учебных заведений — из университетов, из Александровского лицея, из училища правоведения и из самых высших специальных заведений. Было много преподающих и специально занимающихся наукой¹⁸. Впоследствии, после помилования их, многие из них заявили себя весьма заметно, и если брать всех петрашевцев, то есть не одних сосланных в Сибирь, а и наказанных в России ссылкой по крепостям и на Кавказе, или удалением на службу в отдаленные города, или, наконец, просто оставшихся под надзором, то весьма и весьма многие из них заявили себя потом с большою честью в науке, как профессора, как естествоиспытатели, как секретари ученых обществ¹⁹, как авторы замечательных ученых сочинений, как издатели журналов, как весьма заметные беллетристы, поэты и вообще как полезные и интеллигентные деятели²⁰. Повторяю, по отношению к образованию петрашевцы представляли тип высший перед декабристами.

Разумеется, наблюдателям об «измельчании» типа многое могло представиться неверно и потому еще, что петрашевцы были несравненно малочисленнее декабристов, существовали самый короткий срок и заключали в составе своем в большинстве людей более молодых, чем декабристы.

Чтоб заключить, скажу, что вообще тип русского революционера, во все наше столетие, представляет собою лишь наяснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтоб действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их. Революционеры наши говорят не то и не про то, и это

целое уже столетие. Ныне же, от многих и сложных причин, о которых мы непременно скажем слово в одном из будущих выпусков «Дневника», — ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа, что оба они друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженнейшей уверенности, что их непременно поймет народ. Эта каша может кончиться лишь сама собою, но тогда только, когда восполнится и заключится цикл нашего европейничанья и мы все воротимся на родную почву всецело.

С реформами нынешнего царствования естественно началось изучение и познание нужд народных уже деятельно, в живой жизни, а не закрыто и отвлеченно, как прежде. Таким образом получается новый, еще неслыханный слой русской интеллигенции, уже понимающей народ и почву свою. Новый слой этот нарастает и укрепляется все шире и тверже, и это несомненно. На этих-то новых людей и вся надежда наша...

Русская сатира. «Новь». **«Последние песни». Старые воспоминания**

Занимался я в этот месяц и литературой, то есть беллетристикой, «изящной литературой», и кое-что прочел с увлечением. Кстати, недавно прочел я одно иностранное мнение о русской сатире, то есть о современной нашей сатире, теперешней²¹. Оно высказано было во Франции. Замечателен тут один вывод, — забыл подлинные слова, но вот смысл: «Русская сатира как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор, пока не приищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обрадуется

и закричит: «Это вовсе не хороший поступок, радоваться совсем нечему, видите сами, тут тоже подлец сидит!»

Справедливо ли это мнение? Не верю, чтоб было справедливо. Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. Публика очень любит сатиру, и, однако, мое убеждение, по крайней мере, что та же самая публика несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее. Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков.

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает некоторою неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней у самой нет никакой подкладки, но может ли это быть? Чему она сама-то верит, во имя чего обличает — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать, что сама она считает хорошим.

И вот над вопросом этим странно задумываешься.

Прочел «Новь» Тургенева и жду второй части. Кстати: вот уже тридцать лет как я пишу, и во все эти тридцать лет мне постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчеты за весь истекший год), — то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «В наше время, когда русская литература в таком застое», «В наше литературное безвременье», «Странствуя в пустынях русской словесности» и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в

одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности»²². Впрочем, это только забавное наблюдение мое; да и вещь-то совершенно невинная и не имеющая никакого значения. А так, усмехнуться можно.

О «Нови» я, разумеется, ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. Замечу лишь одно: на 92-й странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок»²³. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались²⁴, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит о тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет.

Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник²⁵. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись» (сам он еще не читал ее); «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел со своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих «Бедных людей!»» — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их со страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Не-

красов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про Вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало общительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитую из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу Вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот Вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, трясая меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не на-

писал такого размера, как удалось ему вскоре, через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцать, совершенно один. Писал он тоже чуть не с 16-ти лет²⁶. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У Вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да Вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это Вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли Вы сами-то всю эту страшную правду, на которую Вы нам указали? Не может быть, чтобы Вы в Ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот Ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почести от приниженности и почти за вольнодумство считает

малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у Вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! в этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а Вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же Ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома²⁷, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России,

они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!»

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об Вас тогда написал», — сказал он мне. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей²⁸:

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен²⁹.

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..

Именинник

Помните ли вы «Детство и отрочество» графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы³⁰. Но это не простой мальчик, не как другие дети, не как брат его Володя. Ему всего каких-нибудь лет двенадцать, а в голову и в сердце его уже входят мысли и чувства не такие, как у его сверстников. Мечтам и чувствам своим он уже отдается страстно и уже знает, что их

лучше хранить ему про себя. Обнаруживать их уже мешает ему стыдливое целомудрие и высшая гордость. Он завидует брату и считает его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красоте лица, а между тем он втайне предчувствует, что брат гораздо ниже его во всех отношениях, но он гонит свою мысль и считает ее низостью. Он смотрит на себя в зеркало слишком часто и решает, что он уродливо нехорош собою. У него мелькают мечты, что его никто не любит, что его презирают... Одним словом, это мальчик довольно необыкновенный, а между тем именно принадлежащий к этому типу семейства средне-высшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой. И вот в их доме, в большом семейном московском доме, собираются гости; именинница сестра; съезжаются с большими и дети, тоже мальчики и девочки. Начались игры, танцы. Наш герой мешковат, танцует хуже всех, хочет отличаться остроумием, но ему не удается, — а тут как раз столько хорошеньких девочек и — вечная мысль его, вечное подозрение, что он хуже всех. В отчаянии он решается на все, чтоб всех поразить. При всех девочках и при всех этих гордых, старших мальчиках, считавших его ни во что, он вдруг, вне себя, с тем чувством, с которым бросаются в раскрывшуюся под ногами бездну, выставляет гувернеру язык и ударяет его изо всех сил кулаком! «Теперь все узнали, каков он, он показал себя!» Его позорно тащат и запирают в чулан. Чувствуя себя погибшим, и уже навеки, мальчик начинает мечтать: вот он бежал из дому, вот он поступает в армию, на сражении он убивает множество турок и падает от ран. Победа! где наш спаситель, кричат все, целуют и обнимают его. Вот он уже в Москве, он идет по Тверскому бульвару с подвязанной рукой, его встречает государь... И вдруг мысль, что дверь отворится и войдет гувернер с розгами, рассеивает эти мечты, как пыль. Начинаются другие. Он вдруг выдумывает причину, почему его «все так не любят»: вероятно, он подкидыш, и от него это скрывают... Вихрь разрастается: вот он умирает, входят в чулан и находят его труп: «Бедный мальчик!», его все жалеют.

«Он добрый мальчик! Это вы его погубили», — говорит отец гувернеру... и вот слезы душат мечтателя... Вся эта история кончается болезнью ребенка, лихорадкой, бредом. Чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный.

* * *

Я нарочно припомнил этот этюд в такой подробности, получил письмо из К-ва³¹, в котором мне описывают смерть одного ребенка, тоже двенадцатилетнего мальчика, и — и очень может быть, что тут нечто похожее. Впрочем, выпишу местами письмо, не изменяя в выписываемом ни слова. Сюжет любопытен.

8-го ноября, после обеда, разнеслась по городу весть, что случилось *самоубийство* — повесился 12—13-летний *отрок*, воспитанник прогимназии. Обстоятельства дела таковы. Классный наставник, по предмету которого не знал в этот день урока погибший мальчик, наказал его тем, что оставил в заведении до 5 часов вечера. Походил, походил ученик, отвязал от попавшегося на глаза блока бечевку, привязал ее к гвоздю, на котором обыкновенно висит так называемая золотая или красная доска, для чего-то в этот день вынесенная, и удавился. Сторож, мывший в соседних комнатах полы, увидел несчастного, побежал к инспектору; прибежал инспектор, сняли с петли самоубийцу, но возвратить его к жизни не могли... Где причина самоубийства? Мальчик буйства и зверонравства не проявлял, учился вообще хорошо, только у своего классного наставника в последнее время получил несколько неудовлетворительных отметок, за что и был наказываем... Говорят, и отец мальчика, человек очень строгий, и сам он были в этот день именинником. Быть может, с детским восторгом мечтал молодой именинник о том, как его встретят дома — мать, отец, братишки, сестренки... И вот, сиди один-одинешенек, голодный в пустом доме и раздумывай о страшном гневе отца, который придется встретить, об унижении, стыде, а быть может, и наказании, которое предстоит перенести. О возможности покончить самому с собою он знал (да и кто из детей нашего времени не знает этого). Страшно жаль погибшего, жаль инспектора, человека и педагога прекраснейшего, которого воспитанники обожают, страшно за школу,

которая в стенах своих видит подобные явления. Что почувствовали товарищи погибшего и другие дети, обучающиеся там, между которыми в приготовительных классах есть совершенные крошки, когда они узнали о случившемся? Не слишком ли сильна такая наука? Не слишком ли много придается значения двойкам, единицам, золотым и красным доскам, на гвоздях от которых вешаются воспитанники? Не слишком ли много формализма и сухой бессердечности вносится у нас в дело воспитания?

Конечно, страшно жаль бедного маленького именинника, но я не стану распространяться о вероятных причинах этого горестного *случая*, и в особенности на тему «о двойках, о баллах, об излишней строгости» и проч. Все это и прежде было и обходилось без самоубийств, и причина, очевидно, не тут. Эпизод из «Отрочества» графа Толстого я взял из сходства обоих случаев, но есть и огромная разница. Без сомнения, именинник Миша убил себя не от злости и не от страху только. Оба чувства эти — и злость, и болезненная трусливость — слишком просты и скорее всего нашли бы *исход сами в себе*. Впрочем, действительно мог повлиять и страх наказания, особенно при болезненной мнительности, но все же чувство могло быть и при этом гораздо сложнее, и опять-таки очень может быть, что происходило нечто вроде того, что описал граф Толстой, то есть подавленные, еще не сознательные детские вопросы, сильное ощущение какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущение собственной ничтожности, болезненно развившийся вопрос: «Почему меня так все не любят», страстное желание заставить жалеть о себе, то есть то же, что страстное желание любви от *них всех*, — и множество, множество других усложнений и оттенков. Дело в том, что те или другие из этих оттенков непременно были, но — есть и черты какой-то новой действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средне-высшего круга, *историком* которого явился у нас граф Лев Толстой, и как раз кажется, в ту пору, когда для прежнего русского дворянского строя,

утверждавшегося на прежних помещичьих основаниях, пришел какой-то новый, еще неизвестный, но радикальный перелом, по крайней мере, огромное перерождение в новые и еще грядущие, почти совсем неизвестные формы. Есть тут, в этом случае с именинником, одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как *они* войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь *мечтать*: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы его *мечту* до дела, а тут — *помечтал, да и сделал*. Я, впрочем, замечая это, не об одной только теперешней эпидемии самоубийств говорю. Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без *историка*. По крайней мере, ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет *историком* остальных уголков, кажется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников. У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то все ли было отмечено?

[...]

Ф е в р а л ь

Один из главнейших современных вопросов

Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой «Дневник писателя», стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем в этом добровольном воздержании моем — какая неправда! Я — писатель, и пишу «Дневник писателя», — да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе; как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления? «Сам, дескать, литератор-беллетрист, а стало быть, всякое суждение твое о беллетристической литературе кроме безусловной похвалы, почтется пристрастным; разве говорить лишь о давно прошедших явлениях» — вот соображение, меня останавливавшее.

И все же я рискну на этот раз нарушить это соображение. Правда, в чисто беллетристическом и критическом смысле я и не буду говорить ни о чем, а разве лишь, в случае нужды, «по поводу». Повод вышел и теперь. Дело в том, что месяц назад я попал на одну до того серьезную и характерную в текущей литературе вещь, что прочел ее даже с удивлением, потому что давно уже ни на что подобное в таких размерах не рассчитывал в беллетристике. У писателя — художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочел три-четыре страницы настоящей «злости дня», — все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку. И главное, — со всем характернейшим оттенком настоящей нашей минуты, именно так, как ставится у нас этот вопрос в данный момент, ставится

и оставляется неразрешенным... Я говорю про несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого, в январском № «Русского вестника».

Собственно обо всем этом романе скажу лишь полслова, и то лишь в виде самого необходимого предисловия. Начал я читать его, как и все мы, очень давно. Сначала мне очень понравилось; потом, хоть и продолжали нравиться подробности, так что не мог оторваться от них, но в целом стало нравиться менее. Все казалось мне, что я это где-то уже читал, и именно в «Детстве» и «Отрочестве» того же графа Толстого и в «Воине и мире» его же, и что там даже свежее было. Все та же история барского русского семейства, хотя, конечно, сюжет не тот. Лица, как Вронский например (один из героев романа), которые и говорить не могут между собою иначе как о лошадях, и даже не в состоянии найти о чем говорить, кроме как о лошадях, — были, конечно, любопытны, чтоб знать их тип, но очень однообразны и сословны. Казалось, например, что любовь этого «жеребца в мундире», как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в ироническом тоне. Но когда автор стал вводить меня во внутренний мир своего героя серьезно, а не иронически, то мне показалось это даже скучным. И вот вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) — и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековая жизненная правда и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сослов-

ность и исключительность вдруг исчезли и стали немислимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, — все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни так и никогда даже. Момент этот был отыскан и нам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходимо и воочию. Кажется, именно это-то и хотел доказать нам поэт, начиная свою поэму. Русско-му читателю об этой вековечной правде слишком надо было напомнить: многие стали у нас о ней забывать. Этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник.

Затем опять потянулся роман, и вот, к некоторому удивлению моему, я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей «злобе дня» и, главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа. Тем не менее, повторяю это, для меня это было неожиданно и несколько меня удивило: такой «злобы дня» я все-таки не ожидал. Я почему-то не думал, что автор решится довести своих героев в их развитии до таких «столпов». Правда, в столпах-то этих, в этой крайности вывода и весь смысл действительности, а без того роман имел бы вид даже неопределенный, далеко не соответствующий ни текущим, ни существенным интересам русским: был бы нарисован какой-то уголок жизни, с намеренным игнорированием самого главного и самого тревожного в этой же жизни. Впрочем, я, кажется, пускаюсь решительно в критику, а это не мое дело.

Я только хотел указать на одну сцену. Больше ничего как обозначились два лица с той именно стороны, с которой они наиболее для нас теперь могут быть характерны, и, тем самым, тот тип людей, к которому принадлежат эти два лица, поставлен автором на самую любопытнейшую точку в наших глазах в их современном социальном значении.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помещики, оба взяты после крестьянской реформы. Оба были «крепостными помещиками», и теперь вопрос: что остается от этих дворян, в смысле дворянском, после крестьянской реформы? Так как тип этих двух помещиков чрезвычайно общ и распространен, то вопрос отчасти и разрешен автором. Один из них Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член Английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуиров, приятных эгоистов, никому не мешающих, остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает часто и многочисленное семейство; с женой и детьми они ласковы, но мало о них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованы они мало, но любят изящное, искусства, и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформы этот дворянин тотчас же понял в чем дело: он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться незачем и — *Après moi le déluge* (После меня хоть потоп). О судьбе жены и детей он не заботится думать. Остатками состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета; но если б состояние его рушилось и нельзя бы было получать даром жалованья, то, может быть, он и стал бы валетом, разумеется, употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и великосветским. В старину, конечно, для уплаты карточного долга или любовнице ему случалось отдавать людей в солдаты; но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе. Хоть он и аристократ, но дворянство свое он всегда считал ни во что, а по устранении крепостных отношений — так даже исчезнувшим: для него из людей остались лишь человек в случае, затем чиновник с из-

вестного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношения и дружбу. Да и разговор начался с упрека ему Левиным, родственником его и помещиком (но уже совершенно обратного типа и живущим в своем поместье), за то, что он ездит к железнодорожникам, на их обеды и праздники, к людям двусмысленным, по убеждению Левина, вредным. Облонский опровергает его с едкостью. Да и вообще между ними, с тех пор как они породнились, установились довольно едкие отношения. Притом в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. Разговор происходит на охоте, в летнюю ночь. Охотники на ночлеге, в крестьянской риге, и ночуют на сене. Облонский доказывает, что презрение к железнодорожникам, к их интригам, к их скорой наживе, вымаливанью концессий, перепродажам — не имеет смысла, что это такие же люди, действуют трудом и умом, как и все, а в результате — дают дорогу.

— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, — не честно, — говорит Левин.

— Да кто ж определит соответствие? — продолжает Облонский. — Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

— Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника...

.....
— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини меня, это парадокс...

.....
Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, *как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.*

— Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.*

«Злоба дня»

Вот разговор. И уж согласитесь, что это «злоба дня», даже все что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто русских черт! Во-первых, лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны Сен-Симон и Фурье — первоначальные «идеальные» толковники этих идей, а у нас — у нас знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России¹. И вдруг теперь толкуют об этих «вопросах» помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что по крайней мере отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно. Правда, это помещики высшего света, говорят в Английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из других источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень

признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, — эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов. Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. «Я, дескать, с этим совершенно согласен». Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок, личность, семейство, — о, это ему ничего не стоит. Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки и что они начали говорить об этом всего лишь вчера, и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта: этот господин прямо говорит: «Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием». То есть в сущности он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: «Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. «Après moi le déluge». Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать валетом, — самая прямая дорога. Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек — какая характернейшая чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидели мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое

отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме *après moi le déluge* (после меня потоп).

Но всего любопытнее то, что рядом с этим, многочисленнейшим и владычествующим, типом стоит другой, — другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно противоположный тому, — все что есть противоположного. Это Левин, но Левиных в России — тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват*».

И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то в противоположность Стиве, который говорит: «Хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие», — он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха

И собирать на построение
Храма Божьего пошел.

И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью. Заметь-

те, опять повторяю и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда*, одна правда без условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только-то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде неколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю — обратится во Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столько честности и искания честности. Я именно провозглашаю, что есть, рядом со страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву со своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст все, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных. Но самая характернейшая, самая русская черта этой «злобы дня»,

указанной автором, состоит в том, что его новый человек, его Левин, *не умеет* решить смутивший его вопрос. То есть он уже и решил его *почти*, в сердце своем, и не в свою пользу, *подозревая*, что он *виноват*, но что-то твердое, прямое и реальное возникает из всей его природы и удерживает его пока от последнего приговора. Напротив, Стива, которому все равно, виноват он или нет, — решает без малейшего колебания, это ему даже на руку: «Коли все нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно все делать, а с меня еще времени хватит, не сейчас ведь придет страшный суд». Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина и поставила его в тупик, и это чисто по-русски и совершенно верно отмечено автором: все дело в том, что все эти мысли и вопросы у нас в России — одна лишь теория, все к нам занесенные с чужого строя и с чужого порядка вещей, из Европы, где они имеют давно уже свою историческую и практическую сторону. Что ж делать: оба наши дворянина — европейцы, и от европейского авторитета освободиться им нелегко, надо и тут отдать дань Европе. И вот Левин, русское сердце, смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим «правом». Представим, для ясности, себе такую картинку:

Стоит Левин, стоит, задумавшись после ночного разговора своего на охоте со Стивой, и мучительно, как честная душа, желает разрешить смутивший и уже прежде, стало быть, смущавший его вопрос.

— Да, — думает он, полурешая, — да, если по-настоящему, то за что мы, как сказал давеча Весловский, «едим пьем, охотимся, ничего не делаем, а бедный вечно, вечно в труде»? Да, Стива прав, я *должен* разделить мое имение бедным и пойти работать на них.

Стоит подле Левина «бедный» и говорит:

— Да, ты действительно должен и обязан отдать свое имение нам, бедным, и пойти работать на нас.

Левин выйдет совершенно прав, а «бедный» совершенно не прав, разумеется, решая дело, так сказать, в высшем смысле.

Но в том-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное решение его нельзя смешивать с историческим; не то — безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в теоретических русских головах — и в головах негодяев Стив, и в головах чистых сердцем Левиных. В Европе жизнь и практика уже поставили вопрос — хоть и абсурдно в идеале его исхода, но все же реально в его текущем ходе, и уже не смешивая двух разнородных взглядов, нравственного и исторического, по крайней мере, по возможности. Разъясним нашу мысль еще, хоть двумя словами.

Злоба дня в Европе

В Европе был феодализм и были рыцари. Но в тысячу с лишком лет усилилась буржуазия и наконец задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и — стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: «Ote-toi de là que je m'y mette» (Убирайся, а я на твое место). Но, став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска хлеба. Наш русский Стива решает про себя, что он не прав, но сознательно хочет оставаться негодяем, потому что ему жирно и хорошо; заграничный Стива с нашим не согласен и признает себя совершенно правым, и, уж конечно, он в этом по-своему логичнее, ибо, по его мнению, тут вовсе и нет никакого *права*, а есть только *история*, исторический ход вещей. Он стал на место рыцаря, потому что победил рыцаря силой, и он отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший во время борьбы его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот совсем усилится, то скovyрнет его с места, как он когда-то рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему: «Убирайся, а я на твое место». Где же тут право, тут одна история. О, он бы готов был на компромисс,

как-нибудь поладить с врагом, и даже пробовал. Но так как он отлично догадался, да и на опыте знает, что враг ни за что не расположен мириться, делиться не хочет, а хочет *всего*; кроме того: что если он и уступит что, то только себя ослабит, — то и решил не уступать ничего и — готовиться к битве. Положение его, может быть, безнадежно, но по свойству человеческой природы укрепляться духом перед борьбою, — он не отчаивается, напротив, укрепляется на бой все более и более, пускает все средства в ход, изо всей силы, пока сила есть; ослабляет противника и пока только это и делает.

Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже, была и там *нравственная* постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были споры, споры и дебаты о разных, весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария все это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе: «А там, после победы, все само собою устроится практически, хотя, очень может быть, что после рек пролитой крови». Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом и что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И, однако, между и теперешними даже предводителями случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов собственно для красоты, чтоб скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих «нравственных» коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве и им прямо ставит на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение — палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе: «Братство-де

образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества». Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство — бредни и что будущее человечество устроится на основаниях научных². Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество, на основаниях научных, чистая фантазия, что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа; что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы; что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности; что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и беспрепятственный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек, и что сам он, чтоб спасти себя от разрушения и смерти, согласится добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своеволия и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы и что все это, стало быть, по-прежнему гадательно. Что если б они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий и слушать бы их не стал, а если идет за ними теперь и организуется в битву, то единственно потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективою разрушения и битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надобно совсем устранить, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою.

Вот европейская постановка дела. И та и другая сторона страшно не правы, и та и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас, русских, то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда

как единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, — есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там, рано ли, поздно ли, после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.

Русское решение вопроса

Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту», и если вы действительно это почувствовали и действительно так вам жаль «бедных», которых так много, то отдайте им свое имение, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всех и «получите сокровище на небеси, там, где не копят и не посягают». Пойдите, как Влас, у которого

Сила вся души великая
В дело Божие ушла³.

И если не хотите собирать, как Влас, на храм Божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, учите его. Если б и все роздали, как вы, свое имение «бедным», то, разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и об усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастьи, ему и детям его. И не говорите, что вы лишь слабая единица и что если вы один раздадите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже раздавать *непреремненно* имения, — ибо всякая *непреремность* тут, в деле любви,

похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лености. Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик». Тачка опять-таки мундир.

Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательна и не надевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать все ради деятельной любви*, все что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого «опрощения». Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «Один в поле не воин» и проч. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и проч. и проч. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда

вам — любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но ведь вы делаете дело любви, а стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не скажет вам, что вы и без любви должны были сделать все это, из собственной, так сказать, пользы, и что иначе вас бы заставили силой. Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение: «Есть деньги, стало быть, могу делать все, что угодно; есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечивать себя деньгами, а «разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить». Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени, — то он ли после того не свободен? Это уже высочайшее проявление воли! Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: «Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унижить его, истребить его». Между тем настоящее равенство говорит: «Какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня? Напротив, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека я уважаю себя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех,

по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».

Если так будут говорить все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви.

Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» — есть «царство небесное» и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стивы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал прийти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, а priori, из одних мечтаний сердца и «научных» цифр, взятых притом из прежнего строя общества, — то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществятся, а, напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающих людей, вот о которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагеря в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насильем, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу «Новь». Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! Правда, мы очень разврат-

ны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем поднимаются и в нашей среде — и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага.

[...]

М а р т

«Еврейский вопрос»

О, не думайте, что я действительно затеваю поднять «еврейский вопрос»! Я написал это заглавие в шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, — я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах. Но некоторое суждение мое я все же могу иметь, и вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали вдруг интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма¹, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них «нападаю», что я «ненавижу жида», ненавижу не за пороки его, «не как эксплуататора», а именно как племя, то есть вроде того, что: «Иуда, дескать, Христа продал». Пишут это «образованные» евреи, то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) — которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они, при своем образовании, давно уже не разделяют «предрассудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в

Бога, дескать, не веруем. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из «высших евреев», которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову и отступаться от него. И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других, весьма высокого размера причин. Да и странное дело: еврей без Бога как-то немислим; еврея без Бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставим. Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но — лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю иногда еврея «жидом?» Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово «жид», сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. Выпишу одно место из письма одного весьма образованного еврея, написавшего мне длинное и прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собою разумеется, что имя г-на NN, мне писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом.

«...но я намерен затронуть один предмет, который я решительно не могу себе объяснить. Это Ваша ненависть к «жиду», которая проявляется почти в каждом выпуске Вашего «Дневника».

Я бы хотел знать, почему Вы восстаете против жида, а не против эксплуататора вообще, я не меньше вашего терпеть не могу предрасудков моей нации, — я немало от них страдал, — но никогда не соглашусь, что в крови этой нации живет бессовестная эксплуатация.

Неужели *Вы* не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что *все* без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться *всеми* правами и выгодами его существования и что для отступников от закона, для вредных членов общества должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех?.. Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь все-таки русские подданные): немцев, англичан, греков, которых в России такая пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, которых так много расплодилось во *всей* России, лучше таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу? Чем такой-то лучше такого-то...

(Здесь почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулаков с еврейскими в том смысле, что русские не уступят. Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени соглашаемся, что и те и другие нехороши).

Таких вопросов я бы мог Вам задавать тысячами.

Между тем Вы, говоря о «жиде», включаете в это понятие всю страшно нищую массу трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона 900 000, по крайней мере, ведет отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого Вами русского народа. В это название Вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни, берите хоть...

(Тут опять несколько имен, которых я, кроме Гольдштейнова, считаю не вправе напечатать, потому что некото-

рым из них, может быть, неприятно будет прочесть, что они происходят из евреев.)

...Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею) и работающих на пользу общества и человечества? Ваша ненависть к «жиду» простирается даже на Дизраэли... который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который, уж конечно, не руководит английской консервативной политикой с точки зрения «жида» (?)..

Нет, к сожалению, Вы не знаете ни еврейского *народа*, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, потому, что Вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно честный, а наносите бессознательно вред громадной массе нищенствующего народа, — сильные же «жиды», принимая сильных мира сего в своих салонах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете! Вряд ли я Вас убежду в моем взгляде, — но мне крайне желательно было бы, чтобы Вы убедили меня».

Вот этот отрывок. Прежде чем отвечу что-нибудь (ибо не хочу нести на себе такое тяжелое обвинение), — обращаю внимание на ярость нападения и на степень обидчивости. Положительно у меня, во весь год издания «Дневника», не было таких размеров статьи против «жида», которая бы могла вызвать такой силы нападение. Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и до русского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непропленного места (словечко Щедрина), а еврею тем «простительнее»². Но во всяком случае ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это действительно человек образованный и талантливый (не думаю только, чтоб без предрассудков); чего же ждать, после того, от необразованного еврея, которых так много, каких чувств к русскому? Я не в обвинение это говорю: все это естественно; я только хочу указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем вино-

вен, может быть, и не один русский народ и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени. Отметив это, выскажу несколько слов в мое оправдание и вообще как я смотрю на это дело. И хоть вопрос этот, повторяю, мне и не по силам, но что же нибудь ведь и я могу выразить.

Pro и contra*

Положим, очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа, как евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств. Пусть благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею. Но все-таки, не будь так сильна еврейская идея в мире, и, может быть, тот же самый «славянский» (прошлогодний) вопрос давно бы уже решен был в пользу славян, а не турок. Я готов поверить, что лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем происхождении, когда-то, от испанских жидов (наверно, однако, не забыл); но что он «руководил английской консервативной политикой» за последний год *отчасти* с точки зрения жида, в этом, по-моему, нельзя сомневаться. «Отчасти-то» уж нельзя не допустить.

Но пусть все это, с моей стороны, голословие, легкий тон и легкие слова. Уступаю. Но все-таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолюдин, несет тягостей чуть ли не больше еврея. Мой корреспондент пишет мне в другом уже письме:

* За и против (*лат.*).

«Прежде всего *необходимо* предоставить им (евреям) все гражданские права (подумайте, что они лишены до сих пор самого коренного права: свободного выбора местожительства, из чего вытекает множество страшных стеснений для всей еврейской массы), как и всем другим чужим народностям в России, а потом уже требовать от них исполнения своих обязанностей к государству и к коренному населению».

Но подумайте и Вы, г-н корреспондент, который сами пишете мне, в том же письме, на другой странице, что Вы «не в пример больше любите и жалеете трудящуюся массу русского народа, чем еврейскую» (что уже слишком для еврея сильно сказано), — подумайте только о том, что когда еврей «терпел в свободном выборе местожительства», тогда двадцать три миллиона «русской трудящейся массы» терпели от крепостного состояния, что, уж конечно, было потяжелее «выбора местожительства». И что же пожалели их тогда евреи? Не думаю; в западной окраине России и на юге Вам на это ответят обстоятельно. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики и что когда им дадут больше прав, «тогда и спрашивайте с нас исполнения обязанностей к государству и коренному населению». Но вот пришел освободитель и освободил коренной народ, и что же, кто первый бросился на него как на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же заместил, где только мог и поспел, упраздненных помещиков, с тою разницею, что помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощить рабочей силы, а еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчас же закричат, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому верю всем этим глупостям, что «не знаю сорокавековой истории» этих чистых ангелов, которые несравненно «нравственно чище не только других народностей, но обоготворяемого мною русского наро-

да» (по словам корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всех народов в мире, а русского уж разумеется, а между тем я только что прочел в мартовской книжке «Вестника Европы» известие о том, что евреи в Америке, Южных Штатах, уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим «золотым промыслом» и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени³. Представьте же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще пять лет тому приходило это самое на ум, именно то, что вот ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столь много на свете. Подумал я это, и, уверяю Вас, несколько раз потом в этот срок мне впадало на мысль: «Да что же там ничего о евреях не слышно, что в газетах не пишут, ведь эти негры евреям клад, неужели пропустят?» И вот дождался, написали в газетах, прочел. А дней десять тому назад прочел в «Новом времени» (№ 371) корреспонденцию из Ковно⁴, прехарактернейшую: «Дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». Просвещенный корреспондент, правда, сильно краснеет за свое население, до сих пор верующее в ксендзов и в муки ада, но он сообщает при этом, что поднялись вслед за ксендзами и просвещенные местные экономисты, начали устраивать сельские банки, именно чтобы спасти народ от процентщика-еврея, и сельские рынки, чтобы можно было «бедной трудящейся массе» получать предметы первой потребности по настоящей цене, а не по той, которую назначает еврей. Ну, вот я это все прочел и знаю, что мне в один миг закричат, что все это ничего не доказывает, что это от того, что евреи сами угнетены, сами бедны, и что все это лишь «борьба за существование», что только глупец разобрать этого не может, и не будь евреи так сами бедны, а, напротив, разбогачей они, то мигом показали бы себя с самой гуманной

стороны, так что мир бы весь удивили. Но ведь, конечно, все эти негры и литовцы еще беднее евреев, выжимающих из них соки, а ведь те (прочтите-ка корреспонденцию) гнушаются такой торговлей, на которую так падок еврей; во-вторых, не трудно быть гуманным и нравственным, когда самому жирно и весело, а чуть «борьба за существование», так и не подходит ко мне близко. Не совсем уж это, по-моему, такая ангельская черта, а в-третьих, ведь и я, конечно, не выставляю эти два известия из «Вестника Европы» и «Нового времени» за такие уж капитальные и всерешающие факты. Если начать писать историю этого всемирного племени, то можно тотчас же найти сто тысяч таких же и еще крупнейших фактов, так что один или два факта лишних ничего особенного не прибавят, но ведь что при этом любопытно: любопытно то, что чуть лишь Вам — в споре ли или просто в минуту собственного раздумья — чуть лишь Вам понадобится справка о евреях и делах его, — то не ходите в библиотеки для чтения, не ройтесь в старых книгах или в собственных старых отметках, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя с места, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку к какой хотите первой лежащей подле Вас газете и поищите на второй или на третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях, и непременно то, что Вас интересует, непременно самое характернейшее и непременно одно и то же — то есть все одни и те же подвиги! Так ведь это, согласитесь сами, что-нибудь да значит, что-нибудь да указывает, что-нибудь открывает же Вам, хотя бы Вы были круглый невежда в сорокавековой истории этого племени. Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. Конечно, очень может случиться, что все до единого лгут, но в таком случае рождается тотчас другой вопрос: если все до единого лгут и обуреваемы такою ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, «ведь что-нибудь значит же слово все!», как восклицал некогда Белинский.

«Свободный выбор местожительства!» Но разве русский «коренной» человек уж так совершенно свободен в вы-

боре местожительства? Разве не продолжают и до сих пор еще прежние, еще от крепостных времен оставшиеся и нежелаемые стеснения в полной свободе выбора местожительства и для русского простолюдина, на которые давно обращает внимание правительство? А что до евреев, то всем видно, что права их в выборе местожительства весьма и весьма расширились в последние двадцать лет. По крайней мере, они явились по России в таких местах, где прежде их не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стеснения. Пусть я не тверд в познании еврейского быта, но одно-то я уже знаю наверно и буду спорить со всеми, именно: что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев — и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились (а евреи молятся с криком, надевая особое платье), то никто не находил этого странным, не мешал им и не смеялся над ними, чего, впрочем, именно надо бы было ждать от такого грубого, по Вашим понятиям, народа, как русские; напротив, смотря на них, говорили: «Это у них такая вера, это они так молятся», — и проходили мимо со спокойствием и почти с одобрением. И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? в остроге!) и вообще выражали гадливость и брезгливость к русскому, к «коренному» народу. То же самое и в солдатских казармах, и везде по всей России: наведайтесь, спросите, обижают ли в казармах еврея как еврея, как *жида*, за веру, за обычай? Нигде не обижают, и так во всем народе. Напротив, уверяю Вас, что и в казармах, и везде русский простолюдин слишком видит и понимает (да и не скрывают того сами евреи), что еврей с ним есть не захочет, брезгует им, сторонится и ограждается от него сколь-

ко может, и что же — вместо того, чтоб обижаться на это, русский простолюдин спокойно и ясно говорит: «Это у него вера такая, это он по вере своей не ест и сторонится» (то есть не потому, что зол), и, сознав эту высшую причину, от всей души извиняет еврея. А между тем мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов — ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как дельвали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю Вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей.

Status in statu^{*}. Сорок веков бытия

Ненависть, да еще от предрассудков — вот в чем обвиняют евреи коренное население. Но если уж зашла речь о предрассудках, то как Вы думаете: еврей менее питает предрассудков к русскому, чем русский к еврею? Не побольше ли? Вот я Вам представлял примеры того, как относится русское простолюдые к еврею; а у меня перед глазами письма евреев, да не из простолюдья, а образованных евреев, и — сколько ненависти в этих письмах к «коренному населению»! А главное, — пишут, да и не примечают этого сами.

Видите ли, чтоб существовать сорок веков на земле, то есть во весь почти исторический период человечества, да

* Государство в государстве (*лат.*).

еще в таком плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в *прежней идее*, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы и почти веру — нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без *status in statu*, который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений своих. Говоря про *status in statu*, я вовсе не обвинение какое-нибудь хочу возвести. Но в чем, однако, заключается этот *status in statu*, в чем вековечно-неизменная идея его и в чем суть этой идеи?

Излагать это было бы долго, да и невозможно в коротенькой статье, да и невозможно еще и по той даже причине, что не настали еще *все времена и сроки*, несмотря на протекавшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хотя некоторые признаки этого *status in statu*, по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчуждимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их и не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты *един у Бога*, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами — все равно, — верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай...» Вот суть идеи этого *status in statu*, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею.

Вы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что уже это-то все вздор и что «если и есть *status in statu* (то есть был, а теперь-де остались самые слабые следы), то единственно лишь гонения привели к нему, гонения породили его, религиозные, со средних веков и раньше, и явился этот *status in statu* единственно лишь из чувства самосохранения. Если же и продолжается, особенно в России, то потому, что еврей еще не сравнен в правах с коренным населением». Но вот что мне кажется: если б он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего *status in statu*. Мало того: приписывать *status in statu* одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова, как сказал я выше. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу — это-то уже несомненно. Что свой промыслитель, под именем прежнего первоначального Иеговы, со своим идеалом и со своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой — это-то уже ясно. Да и нельзя, повторю я, даже и представить себе еврея без Бога, мало того, не верю я даже и в образованных евреев безбожников: все они одной сути, и еще Бог знает чего ждет мир от евреев образованных! Еще в детстве моем я читал и слышал про евреев легенду о том, что они-де и теперь неуклонно ждут мессию, все, как самый низший жид, так и самый высший и ученый из них, философ и кабалист-раввин⁵, что они верят все, что мессия соберет их опять в Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к их подножию; что потому-то-де евреи, по крайней мере в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию — торг золотом и много что обработку его, и это все будто бы для того, что когда явится мессия, то чтоб не иметь нового Отечества, не быть прикрепленным к

земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда

Загорит, заблестит луч денницы:
И кимвал, и тимпан, и цевницы,
И серебро, и добро, и святыню
Понесем в старый дом, в Палестину⁶.

Все это, повторяю, слышал я как легенду, но я верю, что суть дела существует непременно, особенно в целой массе евреев, в виде инстинктивно-неудержимого влечения. Но чтоб сохранялась такая суть дела, уж конечно, необходимо, чтоб сохранялся самый строгий *status in statu*. Он и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гонение было и есть ему причину, а другая *идея*...

Если же существует вправду такой особый, внутренний, строгий строй у евреев, связующий их в нечто цельное и особенное, то ведь почти еще можно задуматься над вопросом о совершенном сравнении во всем их *прав* с правами коренного населения. Само собою, все что требует гуманность и справедливость, все что требует человечность и христианский закон — все это должно быть сделано для евреев. Но если они, во всеоружии своего строя и своей особености, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии своих правил и принципов, совершенно противоположных той идее, следуя которой, доселе по крайней мере, развивался весь европейский мир, потребуют совершенного уравнивания *всевозможных* прав с коренным населением, то — не получают ли они уже тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения? Тут, конечно, укажут на других инородцев: «Что вот, дескать, сравнены или почти сравнены в правах, а евреи имеют прав меньше всех инородцев, и это-де потому, что боятся нас, евреев, что мы-де будто бы вреднее всех инородцев. А между тем, чем вреден еврей? Если и есть дурные качества в еврейском народе, то единственно потому, что сам русский народ таковым способствует, по русскому

собственному невежеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей к самостоятельности, по малому экономическому развитию своему. Русский-де народ сам требует посредника, руководителя, экономического опекуна в делах, кредитора, сам зовет его, сам отдается ему. Посмотрите, напротив, в Европе: там народы сильные и самостоятельные духом, с сильным национальным развитием, с привычкой давнишней к труду и с умением труда, и вот там не боятся дать все права еврею! Слышно ли что-нибудь во Франции о вреде от status in statu тамошних евреев?»

Рассуждение, по-видимому, сильное, но, однако же, прежде всего тут мерещится одна заметка в скобках, а именно: «Стало быть, еврейству там и хорошо, где народ еще невежествен, или несвободен, или мало развит экономически, — тут-то, стало быть, ему и лафа!» И вместо того, чтоб, напротив, влиянием своим поднять этот уровень образования, усилить знание, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ, там еще больше приникало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: *безжалостность*; «двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью». И действительно, вся деятельность евреев в этих наших окраинах заключалась лишь в постановке коренного населения сколь возможно в безвыходную от себя зависимость, *пользуясь местными законами*. О, тут они всегда находили возможность пользоваться *правами и законами*. Они всегда умели водить дружбу с теми, от которых зависел народ, и уж не им бы роптать хоть тут-то на *малые свои права сравнительно с коренным населением*. Довольно они их получали у нас, этих прав, над коренным населением. Что становилось, в десятилетия и столетия, с русским народом там, где поселялись евреи, — о том свидетельствует история

наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы равняться в этом смысле с евреем? Не найдете такого; в этом смысле еврей сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а причина тому, конечно, этот *status in statu* его, дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей. И что в том за оправдание, что вот на Западе Европы не дали одолеть себя народы и что, стало быть, русский народ сам виноват? Потому что русский народ в окраинах России оказался слабее европейских народов (и единственно вследствие жестоких вековых политических своих обстоятельств), потому только и задавить его окончательно эксплуатацией, а не помочь ему?

Если же и указывают на Европу, на Францию например, то вряд ли и там безвреден был *status in statu*. Конечно, христианство и идея его там пали и падают не по вине еврея, а по своей вине, тем не менее нельзя не указать и в Европе на сильное торжество еврейства, заменившего многие прежние идеи своими. О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил материализм и склонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными из всех сил и запасенными всеми средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип, как в нашем девятнадцатом веке. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» — вот нравственный принцип большинства теперешних людей*, и даже не дурных людей, а, напротив, трудящихся, не убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, — о, конечно, все это было и прежде и всегда, но — но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же

* Основная идея буржуазии, заместившей собою в конце прошлого столетия прежний мировой строй, и ставшая главной идеей всего нынешнего столетия во всем европейском мире.

христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, недаром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, недаром они движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же властители и всей международной политики, и что будет дальше — конечно, известно и самим евреям: близится их царство, полное их царство! Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, материализм, слепая, плотоядная жажда *личного* материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей. Засмеются и скажут, что это там вовсе не от евреев. Конечно, не от одних евреев, но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала даже до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут своего влияния. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не девять десятых их — буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж⁷, ищут где бы урвать копейку на хлеб. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев (то есть огромного большинства их, по крайней мере), в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но все же это пока ничего не изменяет; зато верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Евреи все кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О Боже!

да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о *хороших* или *дурных* людях теперь говорим. И разве между теми нет тоже хороших людей? Разве покойный парижский Джеймс Ротшильд⁸ был дурной человек? Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о *жидовстве* и об *идее жидовской*, охватывающей весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...

Но да здравствует братство!

Но что же я говорю и зачем? Или и я враг евреев? Неужели правда, как пишет мне одна, безо всякого для меня сомнения (что уже видно по письму ее и по искренним, горячим чувствам письма этого), благороднейшая и образованная еврейская девушка⁹, — неужели и я, по словам ее, враг этого «несчастливого» племени, на которое я «при всяком удобном случае будто бы так жестоко нападаю». «Ваше презрение к жидовскому племени, которое «ни о чем, кроме себя, не думает» и т. д. и т. д., очевидно». — Нет, против этой очевидности я восстану, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что «все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, — все это должно быть сделано для евреев». Я написал эти слова выше, но теперь я еще прибавлю к ним, что, несмотря на все соображения, уже мною выставленные, я окончательно стою, однако же, за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением (NB, хотя, может быть, в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, *возможности ими пользоваться*, чем само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: ну что если пошатнется каким-нибудь образом и от чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бедного коренника-мужика от стольких зол, — ну что если тут же к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умеющему сдержать себя от соблазна и которого именно опе-

кала доселе община, — нахлынет всем кагалом еврей — да что тут: тут мигом конец его: все имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина.

Но несмотря на все «фантазии» и на все, что я написал выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравнивание прав — потому что это Христов закон, потому что это христианский принцип. Но если так, то для чего же я исписал столько страниц и что хотел выразить, если так *противоречу* себе? А вот именно то, что я не противоречу себе и что с русской, с коренной стороны нет и не вижу препятствий в расширении еврейских прав, но утверждаю зато, что препятствия эти лежат со стороны евреев несравненно больше, чем со стороны русских, и что если до сих пор не создается того, чего желалось бы всем сердцем, то русский человек в этом виновен несравненно менее, чем сам еврей. Подобно тому, как я выставлял еврея-простолюдина, который не хотел сообщаться и есть с русскими, а те не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротив, разом осмыслили и извинили его, говоря: «Это он потому, что у него вера такая», — подобно тому, то есть этому еврею-простолюдину, мы и в интеллигентном еврее видим весьма часто такое же безмерное и высокомерное предубеждение против русского. О, они кричат, что они любят русский народ; один так даже писал мне, что он именно скорбит о том, что русский народ не имеет религии и ничего не понимает в своем христианстве. Это уже слишком сильно сказано для еврея, и рождается лишь вопрос: понимает ли что в христианстве сам-то этот высокообразованный еврей? Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера. Кто из нас, русский или еврей, более неспособен понимать друг друга? Клянусь, я оправдаю скорее русского: у русского, по крайней мере, нет (положительно нет!) религиозной ненависти к еврею. А остальных предубеждений где, у кого больше? Вон еврей кричат, что они были столько веков угнетены и гонимы, угнетены и гонимы

и теперь, и что это, по крайней мере, надобно взять в расчет русскому при суждении о еврейском характере. Хорошо, мы и берем в расчет и доказать это можем: в интеллигентном слое русского народа не раз уже раздавались голоса за евреев. Ну, а евреи: брали ли и берут ли они в расчет, жалуясь и обвиняя русских, столько веков угнетений и гонений, которые перенес сам русский народ? Неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол «в свою историю», чем евреи где бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ и сам обращался в его гонителя? Ведь это все было же, существовало, ведь это история, исторический факт, но мы нигде не слышали, чтоб еврейский народ в этом раскаивался, а русский народ он все-таки обвиняет за то, что тот мало любит его.

Но «буди! буди!» Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав! А для этого я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя «скорбная брезгливость» евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», а *не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя*, — то да рассеется все это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и Отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства *нужно братство с обеих сторон*. Пусть еврей покажет ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтоб ободрить его. Я знаю, что в еврейском народе и теперь можно отделать довольно лиц, ищущих и жаждущих устранения недоумений, людей притом человеколюбивых, и не

я буду молчать об этом, скрывая истину. Вот для того-то, чтоб эти полезные и человеколюбивые люди не унывали и не падали духом и чтоб сколько-нибудь ослабить предубеждения их и тем облегчить им начало дела, я и желал бы полного расширения прав еврейского племени, по крайней мере по возможности, именно насколько сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению. Даже бы можно было уступить вперед, сделать с русской стороны еще больше шагов вперед... Вопрос только в том: много ли удастся сделать этим новым, хорошим людям из евреев, и насколько сами они способны к новому и прекрасному делу *настоящего* братского единения с чуждыми им по вере и по крови людьми?

[...]

А п р е л ь

Война. Мы всех сильнее

«Война! объявлена война», — восклицали у нас две недели назад. «Будет ли война?» — спрашивали тут же другие. «Объявлена, объявлена!» — отвечали им. «Да, объявлена, но будет ли?» — продолжали те спрашивать...

И, право, были такие вопросы, может быть, есть и теперь. И это не от одной только долгой дипломатической проволочки разуверились так люди, тут другое, тут инстинкт. Все чувствуют, что началось что-то окончательное, что наступает какой-то конец чего-то прежнего, долгого, длинного прежнего и делается шаг к чему-то совсем уже новому, к чему-то преломляющему прежнее надвое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шаг этот делает Россия! Вот в этом-то и неверие «премудрых» людей. Инстинктивное предчувствие

есть, а неверие продолжается: «Россия! Но как же она может, как она смеет? Готова ли она? Готова ли внутренне, нравственно, не только материально? Там Европа, легко сказать Европа! А Россия, что такое Россия? И на такой шаг?»

Но народ верит, что он готов на новый, обновляющий и великий шаг. Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все *поздравляли* друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и все это даже здесь в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: «Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!» Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по несколько тысяч, а записываются *неизвестными*. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет. О, мудрецы и эти факты отрицать будут, как и прошлогодние; мудрецы все еще, как и недавно, продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли их голоса. Почему же они смеются, откуда в них столько самоуверенности? А вот именно потому-то и продолжают они смеяться, что все еще почитают себя силой, той самой силой, без которой ничего не поделаешь. А меж тем сила-то их приходит к концу, близятся они к страшному краху, и когда разразится над ними крах, пустятся и они говорить другим языком, но все увидят, что они бормочут чужие слова и с чужого голоса, и отвернутся от них и обратят свое упование туда, где царь и народ его с ним.

Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте. Мудрецы¹ кричат и указывают, что

мы погибаем и задыхаемся от наших собственных внутренних неустройств, а потому не войны желать нам надо, а, напротив, долгого мира, чтобы мы из зверей и тупиц могли обратиться в людей, научились порядку, честности и чести: «Тогда и идите помогать вашим братьям-славянам», — заканчивают они, в один хор, свою песню. Любопытно в таком случае, в каком виде представляют они себе тот процесс, посредством которого они сделаются лучше? И каким образом сами-то они приобретут себе честь явным бесчестьем? Любопытно, наконец, как и чем оправдают они свой разрыв со всеобщим и повсеместным чувством народным? Нет, видно правда, что истина покупается лишь мученичеством. Миллионы людей движутся и страдают и отходят бесследно, как бы предназначенные никогда не понять истину. Они живут чужою мыслию, ищут готового слова и примера, схватываются за подсказанное дело. Они кричат, что за них авторитеты, что за них Европа. Они свистят на несогласных с ними, на всех презирающих лакейство мысли и верящих в свою собственную и народа своего самостоятельность. И что же на самом-то деле эти массы кричащих людей предназначены послужить собою лишь косным средством для того, чтоб разве единицы лишь из них приблизились скольконибудь к истине или по крайней мере получили бы о ней хоть предчувствие. Вот эти-то единицы и ведут потом всех за собою, овладевают движением, родят идею и оставляют ее в наследство этим мечущимся массам людей. Такие единицы уже были и у нас. Некоторые из нас уже их понимают, даже многие. Но мудрецы все еще продолжают смеяться и все еще верят в себя, что они великая сила. «Погуляют и воротятся», — говорят они теперь про наши войска, перешедшие границу, говорят даже вслух. «Не бывать войне, какая война, где уж нам воевать; просто военная прогулка и маневры, с тратой сотен миллионов, для поддержания чести». Вот их интимный взгляд на дело. Да и интимный ли?

Да, если б могло так случиться, что мы будем побиты, или хотя и побьем врага, но под давлением обстоятельств замирим пустяками, — о, тогда мудрецы, конечно, восторже-

ствуют. И какой, какой опять начнется свист и гам и цинизм на несколько лет, какая опять вакханалия самооплевания, пощечин и самодрознения, — и это не для вызова к воскресению и силе, а именно ради торжества собственного бесчестия, безличности и бессилия. И новый нигилизм начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его. А главное, приобретет столько силы и так укрепитя, что несомненно начнет даже вслух помыкать святыней России. И опять молодежь оплюет свои семейства и дома и побегит от своих стариков, твердящих в зубряжку бесконечные общие места и старые, надоевшие всем слова о европейском величии и об обязанности нашей быть как можно безличнее. А главное — старая песня, старые слова и — надолго нового ничего! Нет, нам нужна война и победа. С войной и победой придет новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня как прежде, — да что как прежде: как до сих пор, господа!

Но надо быть на все готовым, и что же: если предположить даже самый худший, самый даже невозможно худший исход для начавшейся теперь войны, то хоть и много вынесем скверного, уже надоевшего до смерти старого горя, но колосс все же не будет расшатан и рано ли, поздно ли, а возьмет все свое. Это не надежда только, это полная уверенность, и в этой невозможности расшатать колосс — вся наша сила перед Европой, где все теперь чуть не сплошь боятся, что расшатается их старое здание и обрушатся на них потолки. Колосс этот есть народ наш. И начало теперешней *народной* войны, и все недавние предшествовавшие ей обстоятельства показали лишь наглядно всем, кто смотреть умеет, всю народную целость и свежесть нашу и до какой степени не коснулось народных сил наших то растление, которое загноило мудрецов наших. И какую услугу оказали нам эти мудрецы перед Европой! Они так недавно еще кричали на весь мир, что мы бедны и ничтожны, они насмешливо уверяли всех, что духа народного нет у нас вовсе, потому что и *народа* нет вовсе, потому что и народ наш и дух его изобретены лишь фантазиями доморощенных

московских мечтателей, что восемьдесят миллионов мужиков русских суть всего только миллионы косных, пьяных податных единиц, что никакого соединения царя с народом нет, что это лишь в прописях, что все, напротив, расшатано и проедено нигилизмом, что солдаты наши бросят ружья и побегут как бараны, что у нас нет ни патронов, ни провианта и что мы, в заключение, сами видим, что расхрабрились и зарвались не в меру, и изо всех сил ждем только предлога, как бы отступить без последней степени позорных пощечин, которых «даже и нам уже нельзя выносить», и молим, чтоб предлог этот нам выдумала Европа. Вот в чем клялись мудрецы наши, и что же: на них почти и сердиться нельзя, это их взгляд и понятия, кровные взгляд и понятия. И действительно, да, мы бедны, да, мы жалки во многом; да, действительно у нас столько нехорошего, что мудрец, и особенно если он *наш* «мудрец», не мог «изменить» себе и не мог не воскликнуть: «Капут России и жалеть нечего!»² Вот эти-то родные мысли мудрецов наших и облетели Европу, и особенно через европейских корреспондентов, нахлынувших к нам накануне войны изучить нас на месте, рассмотреть нас своими европейскими взглядами и измерить наши силы своими европейскими мерками. И, само собою, они слушали одних лишь «премудрых и разумных» наших. Народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и миллионов вместе с ними жидовствующих «христиан»; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россия все перенесет, все, до самой срамной и последней пощечины, но не пойдет на войну — до того, дескать, сильно ее «миролюбие». Но Бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в гибель и в ничтожность России, а главное-то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колоссальный факт: союз царя с народом своим! Вот *только это* и проглядели они! Кроме того, не могли

они никак понять и поверить тому, что царь наш действительно миролюбив и действительно так жалеет кровь человеческую: они думали, что все это у нас из «политики». Не видят они ничего даже и теперь: они кричат, что у нас вдруг, после царского манифеста³, появился «патриотизм». Да разве это патриотизм, разве это единение царя с народом на великое дело есть *только* патриотизм? В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России, ничего не понимают в России! Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Что мы не Франция, которая вся в Париже, что мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от «спокойствия» своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час. Не понимают они и не знают, что если мы *захотим*, то нас не победят ни жида всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий, что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Беда только в том, что над словами этими засмеются не только в Европе, но и у нас, и не только наши мудрецы и разумные, а даже и настоящие русские люди интеллигентных слоев наших — до того мы еще не понимаем самих себя и всю исконную силу нашу, до сих пор еще, слава Богу, не надломившуюся. Не понимают эти хорошие люди, что у нас, в нашей необозримой и своеобразной, в высшей степени не похожей на Европу стране, даже тактика военная (столь обшая вещь!) может быть совсем не похожая на европейскую, что основы европейской тактики — деньги и ученые организации шестисоттысячных войсковых нашествий могут споткнуться о землю нашу⁴ и наткнуться у нас на новую и неведомую им силу, основы которой лежат в природе бесконечной земли русской и в природе всеединящегося духа русского. Но пусть *пока* еще не знают этого у нас столь многие и хорошие люди (не знают и робеют). Но зато знают это цари наши, и чувствует это народ наш. Александр I знал про эту своеобразную силу

нашу, когда говорил, что отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим, но не положит меча и не покорится воле Наполеона. И, уж конечно, о такую силу разбилась бы вся Европа вместе, потому что не хватит у ней на такую войну ни денег, ни единства организации. Когда у нас все наши русские люди узнают о том, что мы так сильны, тогда мы и добьемся того, что воевать уже не будем, тогда в нас уверует и впервые *откроет* нас, как когда-то Америку, Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихнего открыли сами себя и чтоб интеллигенция наша поняла, что ей нельзя уже более разъединяться и разрывать с народом своим...

Не всегда война бич, иногда и спасение

Но мудрецы наши схватились и за другую сторону дела: они проповедуют о человеколюбии, о гуманности, они скорбят о пролитой крови, о том, что мы еще больше озвереем и осквернимся в войне и тем еще более отдалимся от внутреннего преуспевания, от верной дороги, от науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но много тут и ошибки в рассуждениях этих, а главное — довольно уж нам этих буржуазных нравучений! Подвиг самопожертвования кровью своею за все то, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение. Конечно, мы можем ошибаться в том, что считаем великодушной идеей; но если то, что мы почитаем святынею, — позорно и порочно, то мы не избежим кары от самой природы: позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей и выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь,

а за ней и смерть. Так, Англия, если б стала в теперешней восточной борьбе за Турцию, забыв уже окончательно, из-за торговых выгод своих, стоны измученного человечества, — без сомнения, подняла бы сама на себя меч, который, рано ли, поздно ли, а опустился бы ей самой на голову. Наоборот: что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия? Скажут, что «ведь и Россия хоть и вправду идет лишь освобождать измученные племена и возрождать их самостоятельность, но ведь тем самым, в этих же племенах, приобретет потом себе же союзников, а стало быть, силу, — и что, стало быть, все это, разумеется, составляет тот же самый закон развития национальной личности, к которому стремится и Англия. А так как замысел «панславизма» колоссальностью своей, без сомнения, может пугать Европу, то уж по одному закону самосохранения Европа несомненно вправе остановить нас, точно так же, впрочем, как и мы вправе идти вперед, насколько не останавливаясь перед ее страхом и руководясь, в движении нашем, лишь политическою предусмотрительностью и благоразумием. Таким образом, ничего нет в этом ни святого, ни позорного, а есть лишь как бы вековечный животный инстинкт народов, которому подчиняются безразлично все, еще недостаточно и неразумно развитые племена на земле. Тем не менее накопившееся сознание, наука и гуманность, рано ли, поздно ли, непременно должны ослабить вековечный и зверский инстинкт неразумных наций и вселить, напротив, во всех народах желание мира, международного единения и человеколюбивого преуспеяния. А стало быть, надо все-таки проповедовать мир, а не кровь».

Святые слова! Но в настоящем случае они как-то не прикладываются к России, или чтоб еще лучше выразиться, — Россия составляет собою, в теперешний исторический момент всей Европы, как бы некоторое исключение, что и действительно так. В самом деле, если Россия, столь бескорыстно и правдиво ополчившаяся теперь на спасение и на возрождение угнетенных племен, впоследствии и усилится ими же, то все же, и в этом даже случае, явит собою самый исключительный

пример, которого уж никак не ожидает Европа, мерящая на свой аршин. Усилюсь, хотя бы даже чрезмерно, союзом своим с освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу с мечом, не захватит и не отнимет у ней ничего, как бы непременно сделала Европа, если б нашла возможность вновь соединиться вся против России, и как делали в Европе все нации, во всю жизнь свою, чуть только получала какая-нибудь из них возможность усилиться на счет своей соседки. (И это с самых диких первобытных времен Европы вплоть до современной нам и еще столь недавней франко-прусской войны. И куда девалась тогда вся ихняя цивилизация: бросилась самая ученая и просвещенная из всех наций на другую, столь же ученую и просвещенную, и, воспользовавшись случаем, загрызла ее как дикий зверь, выпила ее кровь, выжала из нее соки в виде миллиардов дани и отрубила у ней целый бок в виде двух, самых лучших провинций!⁵ Да, вправду, виновата ли Европа, если после этого не может понять назначения России? Им ли, гордым, ученым и сильным, понять и допустить хоть в фантазии, что Россия предназначена и создана, может быть, для их же спасения и что она только, может быть, произнесет наконец это слово спасения!) О да, да, конечно — мы не только ничего не захватим у них и не только ничего не отнимем, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не захватом и насилием), — тем самым и получим наконец возможность не обнажать меча, а, напротив, в спокойствии силы своей явить собою пример уже искреннего мира, международного всеединения и бескорыстия. Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспевания, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельном развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, участь у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым общением народов до всеобщего единства,

как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю. О, пускай смеются над этими «фантастическими» словами наши теперешние «общечеловеки» и самооплевники наши, но мы не виноваты, если верим тому, то есть идем рука в руку вместе с народом нашим, который именно верит тому. Спросите народ, спросите солдата: для чего они поднимаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне, — и все скажут вам, как один человек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить угнетенных братьев, и ни один из них не думает о захвате. Да, мы тут, именно в теперешней же войне, и докажем всю нашу идею о будущем предназначении России в Европе, именно тем докажем, что, освободив славянские земли, не приобретем из них себе ни клочка (как мечтает уже Австрия для себя⁶), а, напротив, будем надзирать за их же взаимным согласием и оборонять их свободу и самостоятельность, хотя бы от всей Европы. А если так, то идея наша свята, и война наша вовсе не «вековечный и зверский инстинкт неразумных наций», а именно первый шаг к достижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к достижению *воистину* международного единения и *воистину* человеколюбивого преуспевания! Итак, не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть.

Спасает ли пролитая кровь?

«Но кровь, но ведь все-таки кровь», — наладили мудрецы, и, право же, все эти казенные фразы о крови — все это подчас только набор самых ничтожнейших высоких слов для известных целей. Биржевики, например, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью. А между тем крови, может быть, еще больше бы пролилось без войны. Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти (кроме разве войн междоусобных), — война есть процесс, ко-

торым *именно* с наименьшим пролитием крови, с наименьшею скорбью и с наименьшею тратой сил, достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями — войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда рождает жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Налажено, что мир рождает богатство — но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болезнями богатства, сама передает заразу и остальным девяти десятым, хотя и без богатства. Заражается же она разворотом и цинизмом. От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие рождает жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души. Иной сладострастник, падающий в обморок при виде крови из обрезанного пальца, не простит бедняку и заточит его в тюрьму за ничтожнейший долг. Жестокость же рождает усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, рождает страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: «Всякий за себя и для себя»; бедняк слишком видит, что такое богач и какой он ему брат, и вот — все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушные. Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь и будит души, засыпающие в периоды долгого мира. Вот отчего и выдумали, что искусство может процветать лишь во время

долгого мира, а между тем тут огромная неверность: искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается поэтому во время долгого мира, что идет в разрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы. В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, все-таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, — словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма. Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают и даже совсем губят народы, тогда как война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи, — такая война лишь очищает зараженный воздух от скопившихся миазмов, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень, объявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой призвана та или другая нация. Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию. А главное, сознанием исполненного долга и совершенного хорошего дела: «Не совсем же мы упали и развратились, есть же и в нас человеческое!» И посмотрите, с чего начинали свою проповедь эти столь недавние наши проповедники миролюбия и гуманности: они прямо начинали с самой бесчеловечной жестокости. Они сами не хотели и других удерживали помочь мученикам, взывавшим к нам. Они, по-видимому, столь гуманные и чувствительные, хладнокровно и с насмешкой отрицали необходимость для нас самопожертвования и

духовного подвига. Они желали столкнуть Россию на самую пошлую и недостойную великой нации дорогу, не говоря уже об их презрении к народу, признавшему в славянских мучениках братьев своих, а стало быть, об их надменном разрыве с волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое «европейское» просвещение⁷. Любимым тезисом их было: «Врачу, исцелися сам». «Вы лезете исцелять и спасать других, а у самих даже школ не устроено», — выставляли они на вид. «Что ж, мы и идем исцеляться. Школы важное дело, конечно, но школам надобен дух и направление, — вот мы и идем теперь запастись духом и добывать здоровое направление. И добудем, особенно если Бог победу пошлет. Мы воротимся с сознанием совершенного нами бескорыстного дела, с сознанием того, что славно послужили человечеству кровью своей, с сознанием обновленной силы нашей и энергии нашей — и все это вместо столь недавнего позорного шатания мысли нашей, вместо мертвящего застоя нашего в заимствованном без толку европеизме. Главное же, приобщимся к народу и соединимся с ним теснее, — ибо у него и в нем одном найдем исцеление от двухвековой болезни нашей, от двухвекового непроездивительного слабосилия нашего».

Да и вообще можно сказать, что если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дело, как долгий мир, вместо пользы обществу, обращается ему же во вред. Это вообще можно применить даже и ко всей Европе. Недаром же не проходило поколения в истории европейской, с тех пор как мы ее запоем, без войны. Итак, видно, и война необходима для чего-нибудь, целительна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для зараженного организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезно оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и всегда губили их. Не мы, так дети

наши увидят, чем кончит Англия. Теперь для всех в мире уже «время близко». Да и пора.

Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе

Мне сообщили одну выписку из одного сочинения, изданного в Киеве в прошлом году⁸: «Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам архидиакона Павла Алеппского». Соч. Ив. Оболенского, Киев, 1876 г., стр. 90–91. Страница из сочинения чужого, но она столь характерна и столь любопытна в теперешнюю нашу минуту, а самое сочинение, вероятно, еще так мало известно в общей массе публики, что я решился поместить эти несколько строк в «Дневнике». Это мнение царя Алексея Михайловича о Восточном вопросе — тоже «тишайшего» царя, но жившего еще два века тому назад, и его тогдашние слезы о том, что он не может быть царем освободителем.

Говорили, что на св. пасху (1656 г.) государь, христосуясь с греческими купцами, бывшими в Москве, сказал между прочим к ним: «Хотите ли вы и ждете ли, чтобы я освободил вас из плена и выкупил?» И когда они отвечали: «Как может быть иначе? как нам не желать этого?», — он прибавил: «Так, — поэтому, когда вы возвратитесь в свою сторону, просите всех монахов и епископов молить Бога и совершать литургию за меня, чтобы их молитвами дана была мне мощь отрубить голову их врагу». И, пролив при этом обильные слезы, он сказал потом, обратившись к вельможам: «Мое сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей, которые стонут в руках врагов нашей веры; Бог призовет меня к отчету в день суда, *если, имея возможность освободить их, я пренебрегу этим.* Я не знаю, как долго будет продолжаться это дурное состояние государственных дел, но со времени моего отца и предшественников его к нам не переставали приходить постоянно с жалобой на угнетение поработителей патриархи, епископы, монахи и простые бедняки, из которых ни один не приходил иначе, как только преследуемый суровою печалью и убегая от жестокости своих господ; *и я боюсь вопросов, которые мне предложит Творец в тот день: и порешил в своем уме, если Богу угодно, что*

потрачу все свои войска и свою казну, пролью свою кровь до последней капли, но постараюсь освободить их». На все это вельможи отвечали ему: «Господи, даруй по желанию сердца твоего».

Сон смешного человека

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда

не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде *все равно*. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: о чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало *все равно*, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый

холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подалее, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили о чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучшить минуту, когда будет не так все равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет *непрерывно* уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил

особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хотя она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то умирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городского. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..» — но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос⁹ старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страха какой-то при-

падок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, — мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом, — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг

почувствовал, что мне не все равно и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас *совершенно* не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе

представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы мне *все равно* или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что *это* будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже все утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремится не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат¹⁰, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не

может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так перевозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце — в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так

и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль: «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там пуля...» А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозвожь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескаки-

ваешь через пространство и время и через законы бытия и рас-судка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидел в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. — «Нет, это та самая звезда, ко-торую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — от-вечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это су-щество, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совер-шенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое *есть*, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизнь!» — по-думал я со странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо *быть* снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то неустрани-мой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унижительного во-проса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на во-прос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчавшего спутника и как бы пронизало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных простран-ствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и мил-лионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце,

как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рожающая к себе в самых неблагоприятных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все, — ответил мой спутник, и какая-то печаль слышалась в его слове.

Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг¹¹, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди несогрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мысляю только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и

без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какую силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но

у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они общались друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проникали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью

взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, — Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стусеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!

V

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и поправился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую

веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их камнями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая, любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все вою-

ющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а о них я плакал, жалея их. Я простираю к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся.

* * *

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей

и смеются. Но как мне не верить: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я *лгу*, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в *один бы час* — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя¹², вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

* * *

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!

[..]

М а й — и ю н ь

Прежние земледельцы — будущие дипломаты

Но куда я удалился от дела? Я начал с того, что я в деревне и рад тому. Давненько-таки я не жила в русской деревне¹. Но о деревне потом, а здесь лишь вставлю, что я уже потому, между прочим, рад, что я в деревне, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся там наших русских. В самом деле, в наше, столь народное, столь единительное и патриотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русских, ждешь русских, желаешь и требуешь русских, в такое время слишком тяжело видеть за границей, куда вот уже двадцать лет ежегодно экспатрируется и где колонизируется наша интеллигенция, — претворение чисто русского, сырого и превосходного, может быть, материала в жалкую международную дрянь, обезличенную, без характера, без народности и без Отечества. Я не про отцов говорю, — отцы неисправимы и Бог с ними, — а про их несчастных детей, которых они губят за границей. Отцы же даже отъявленным нашим русским европейцам становятся наконец смешны. Г-н Буренин², отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих писем забавную встречу с одним из наших европейцев сороковых годов, «в седых почтенных кудрях», проживающим постоянно за границей, но приехавшим нарочно на войну посмотреть, на «зрелище борьбы» (разумеется, с самого почетительного расстояния) и разострившимся в вагоне над всем, над чем вот уж сорок лет острят эти господа, то есть над русским духом, над славянофилами и проч. и проч. Он потому-де живет за границей, что у нас в России «все еще нечего делать серьезному и порядочному человеку». (NB: я привожу цитаты на память.) Одна из удачнейших острот его состояла

в том, что «уже сделано распоряжение по железным дорогам привезти в особом вагоне, ввиду вступления наших войск в Болгарию и обновления славянства, — тень Хомякова». Но этому седокудруму господину можно бы было заметить, что сам он очень тоже похож на тень какого-нибудь, может быть, и весьма почтенного западно-либерального говорильщика сороковых годов, но который теперь, если б столько лет спустя и дожив до седых кудрей, повторял бы то же самое, на чем остановился в своих сороковых годах, то, уж конечно, даже будь он хоть сам Грановский, казался бы непременно точь-в-точь таким же самым шутком, как и этот господин, извещавший о распоряжении доставить по железной дороге на театр войны тень Хомякова и о том, что в нашей России все еще нечего делать порядочному человеку.

Эмигрировали из России (я удерживаю это слово) двадцать лет назад наиболее помещики, и с тех пор эмиграция продолжается с каждым годом. Конечно, в этом числе много и не помещиков, были всякие, но, в огромном большинстве, если не все, — более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, «что в России таким порядочным и умным, как они, людям нечего делать», другие уже просто ненавидя ее безо всяких убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобожденного мужика, за русскую историю, одним словом, за все, за все ненавидя. Замечу, что такая ненависть может быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатии равнодушная. А тут как раз почувствовались в руках выкупные³ и, сверх того, ужасно многих озарило убеждение, что с освобождением крестьян все погибло — и деревня, и землевладение, и дворянство, и Россия. Правда и то, что с освобождением крестьян сельский труд остался без достаточной организации и обеспечения, и личное землевладение натурально струсило и сконфузилось так, как ни в какой исторический переворот не могло бы случиться больше. Вот и пустились помещики продавать и продавать, и часть их (слишком не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себе в оправдание, но не могут же они утаить, и

перед согражданами, и перед детьми своими, что главная причина их эмиграции была тоже и приманка эгоистического «ничегонеделанья». И вот с тех пор русская личная поземельная собственность в полнейшем хаосе, продается и покупается, меняет своих владельцев поминутно, меняет даже вид свой, обезлесивается, — и во что обратится она, за кем останется она окончательно, из кого составит окончательно обновленное русское землевладельческое сословие, в какую форму преобразится оно в конце концов — все это трудно предсказать, а между тем, если хотите, в этом главнейший вопрос русской будущности. Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете: кто в стране владеют землей, те и хозяева той страны, во всех отношениях. Так бывало везде и всегда. Но у нас, скажут, сверх того община, — вот, значит, и хозяева. Но... вопрос об общине разве из решенных у нас окончательно? Разве пятнадцать лет назад он не вошел у нас тоже в новый фазис, как и все остальное? Но об этом обо всем потом, а заключу пока мою мысль голословно: если в стране владение землей *серьезное*, то и все в этой стране будет серьезно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частности. Хлопочут, например, у нас теперь о просвещении, о народных школах, а я вот верю только тому, что школы тогда только примутся у нас серьезно и основательно, когда землевладение и земледелие наше организуются у нас серьезно и основательно, и что скорее не от школы получится хорошее земледелие, а, напротив, от хорошего лишь земледелия (то есть от правильного землевладения) получится хорошая школа, но никак не раньше. Параллельно же с этим примером и все: и порядки, и законы, и нравственность, и даже самый ум нации, и все, наконец, всякое правильное отправление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, но каков характер землевладения, таков и весь характер нации.

Но теперь пока наши бывшие помещики гуляют за границей, по всем городам и водам Европы, набивая цены в ре-

сторанах, таская за собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и в английских костюмчиках, с голыми ножками, напоказ Европе. А Европа-то смотрит и дивится: «Вот ведь сколько у них там богатых людей и, главное, столь образованных, столь жаждущих европейского просвещения. Это ведь из-за деспотизма им до сих пор не выдавали заграничных паспортов⁴, и вдруг сколько у них оказалось землевладельцев и капиталистов и удалившихся от дел рантьеров⁵, — да больше, чем даже во Франции, где столько рантьеров!» И расскажите Европе, растолкуйте ей, что это чисто русское явление, что никакого тут нет рантьерства, а, напротив, пожирание основных своих фондов, сжигание свечки с обоих концов, то Европа, конечно, не поверит этому, невозможному у ней, явлению, да и не поймет его вовсе. И ведь, главное, эти сибариты, слоняющиеся по германским водам и по берегам швейцарских озер, эти Лукуллы⁶, проживающиеся в ресторанах Парижа, — ведь сами они знают и с некоторою даже болью все же предчувствуют, что ведь фонды-то они свои наконец проедят и что детям их, вот этим самым херувимчикам в английских костюмчиках, придется, может быть, просить по Европе милостыню (и будут просить милостыню!) или обратиться во французских и немецких рабочих (и обратятся в французских и немецких рабочих!). «Но, думают они, *après nous le déluge*, да и кто виноват: виноваты все те же наши русские порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному человеку до сих пор еще ничего сделать нельзя». Вот как они думают, а либеральнейшие из них, те, которые могут назваться высшими и чистейшими западниками сороковых годов, те прибавляют еще, может быть, про себя: «Ну что ж, что дети останутся без состояния, зато унаследуют идею, благородную закваску истинного священного образа мыслей. Воспитанные вдали от России, они не будут знать попов и глупое слово «отечество». Они поймут, что отечество есть предрассудок и даже самый пагубнейший из всех существующих в мире. Из них выйдут благородные общечеловеческие умы. Мы и только мы, русские, положим начало этим новым умам.

Именно тем, что проживаем за границей наши выкупные, мы полагаем основание новому, грядущему международному гражданству, которое рано ли, поздно ли, а обновит Европу, и вся честь за то нам, потому что мы начали раньше всех». Впрочем, так говорят лишь «седокудрые», то есть еще очень немногие, ибо много ли передовых-то? Более же практические, и даже из «седокудрых» *не столь благородные*, в конце концов все еще надеются на «связишки»: «Мы-то здесь проживаемся, это правда, да ведь и наживаем же что-нибудь все-таки, ну, там знакомства, связишки, которые потом, в «отечестве»-то, и пригодятся. К тому же хоть и в либеральном духе воспитываем деток, да ведь все ж джентльменами, — а в этом ведь и все главное. Будут они витать в сферах исключительных и высших, а либерализм в высших сферах всегда обозначал и сопровождал у нас джентльменство, ибо джентльменский либерализм для высшего-то, так сказать, консерватизма и полезен, это всегда у нас различать умели. И что ж, мы детей растим за границей и — как раз, значит, готовим их в дипломаты. Что за прелесть здесь все эти места при посольствах, при консульствах и какая бездна-бездна этих милейших местечек, и как восхитительно дотированных! Вот и хватит на наших детишек: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая: знай знакомься с русскими за границей, из тех, кто попорядочнее, а из тех, кто накуролесят да защитит себя консула просят, — мы тех свысока обернем, поначальственнее, и слушать-то не станем: «Не верим вам, дескать, беспорядки производите сами, все еще воображаете себя в милом отечестве, тогда как здесь место чистое. Из-за вас неприятности получай, да и стоит еще из-за такого, как вы, иноземное начальство беспокоить: вы только посмотрите на себя в зеркало, до чего вы дошли-с!» Вот и вся служба в этом! Одним словом, сумеют и наши деточки выйти в люди, да-с, были бы только связи — вот что первое всего надо родительскому сердцу наблюдности, а прочее все приложится по востребованию».

Итак, все не столь благородные из проживающихся за границей более или менее рассчитывают на связизки. Но ведь что такое связи? Ну хоть и значат что-нибудь, но ведь эта *материя* ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мешало, кроме связей, запастись себе — ну хоть немножко знания России и собственного ума, хоть на всякий случай. Теперь же именно, в эпоху реформ и новых начал, у нас как нарочно все собственным умом хотят жить, все того захотели, — идея, бесспорно, просвещенная, но то беда, что никогда еще у нас не бывало столь мало собственного ума, как теперь, при общем желании иметь его. Почему это так — решать не возьмусь, да и трудно, но одну из причин, почему херувимчики наши, бесспорно, будут дурачками, — основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на нее. А впрочем, все то же самое, о чем я говорил и в прошлом году. Причина — русский язык, то есть недостаток русского, отечественного языка от воспитания за границей, с гувернантками и боннами иностранками. Это у нас и всегда водилось, и прежде, то есть, недостаток этот, но никогда как теперь, когда столько херувимчиков вырастет за границей. Положим, они готовятся в дипломаты, а дипломатический язык, известно, французский язык; русский же язык довольно знать лишь и грамматически. Но так ли это? Вопрос этот хоть и до пошлости старей, а между тем он до того еще нерешенный, что недавно даже в печати о нем опять заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочинений г-на Тургенева на французском языке. Выражено было даже мнение, что «не все ли равно г-ну Тургеневу сочинять на французском или на русском языке и что тут такого запрещенного?». Запрещенного, конечно, нет ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русского языка, как Тургенев, и если у него такая фантазия, то почему же ему не писать на французском, да и к тому же если он французский язык почти как русский знает. И потому о Тургеневе ни слова, но... но я вижу, что я решительно повторяюсь и в прошлом году говорил решительно то же самое, на ту же самую тему, и в этих же заграничных месяцах, толкуя с загранично-русской маменькой о вреде

французского языка для ее херувимчиков. Но маменька готовит теперь херувимчиков в дипломаты, и вот собственно лишь по поводу дипломатии-то хоть и неприятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

«Но ведь дипломатический язык французский», — прерывает меня маменька на этот раз, не дав мне даже и начать. Увы, она с прошлого года приготовилась, она третирует меня свысока. «Так, сударыня, — отвечаю я, — возражение ваше сильное, и я согласен с вами бесспорно. Но, во-первых, ведь что я говорил о знании русского языка, надо приложить и к французскому, ведь не правда ли? Ведь, чтоб выразить богатства своего организма на французском языке, надо и французский язык усвоить себе богатейшим образом. Ну так знайте же, есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, которому принадлежите Вы. Вы морщитесь, я Вас обидел, Вы смотрите насмешливо. Вы махаете ручкой и уверяете меня, что слышали это еще прошлого года и что я повторяюсь. Хорошо-с, я Вам уступаю, да и тема эта не дамская. Я Вам просто-запросто уступлю и соглашусь с Вами, что можно и русскому усвоить себе французский язык в совершенстве, но с огромным условием: родиться во Франции, вырасти в ней и с самого первого часа своей жизни преобразиться во француза. О, Вы развеселились, Вы уже улыбаетесь, но заметьте, однако, сударыня, что это даже и для Вас не совсем возможно будет исполнить касательно Вашего херувимчика, несмотря даже на все удобства, то есть эмиграцию, выкупные, парижскую бонну и проч. и проч. К тому же возьмите в соображение и природные, так сказать, дары, потому что нельзя же ведь сравнивать г-на Тургенева и Вашего, например, херувимчика относительно этих даров. Много ль, скажите, родится Тургеневых-то... Ах нет, нет, что я! Я опять ошибся, сболтнул: из Вашего херувимчика выйдет наверно Тургенев, или даже три Тургенева разом, оставим это, но...» — «Но, — прерываете Вы вдруг меня, — ведь дипломаты и без того все умны, так зачем же уж так хлопотать об уме? Поверьте, были бы только

связи. Mon mari...)* — «Вы совершенно правы, сударыня, — перебиваю и я поскорее, — были бы связи, и, оставляя Вашего супруга как можно более в стороне, все-таки прибавлю, что к связям не худо бы хоть немного ума. И, во-первых, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только, что они и до дипломатии были умные люди, а поверьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатов замечательно глупых людей». — «Ах нет, вот уж извините, — прерываете Вы меня в нетерпении, — дипломаты все всегда умные, и все на превосходных местах, и это самая благородная служба!» — «Сударыня, сударыня! — восклицаю я, — Вы говорите: связи и знание языков, но ведь связи только место доставят, а там, потом... Ну представьте себе: Ваш херувимчик возрастает в ресторанах Европы, кутит с модными кокетками в товариществе заграничных виконтов и наших русских графов, но ведь потом... Вот он знает все языки, и уже по тому одному никакого. Не имея же своего языка, он естественно схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается еще смолоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения. Он дипломат, но для него история наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает того, чем живут нации и народы, какие законы в организме их и есть ли в этих законах целое, усматривается ли общий международный закон. Он готов выводить все события мира из того только, что такая-то, например, королева рассердила фаворитку такого-то короля, вот и произошла от того война двух королевств. Позвольте, я буду с Вашей точки зрения судить. Пусть связи... Но ведь для приобретения связей нужен характер, нужна, так сказать, любезность характера, мягкость, доброта и в то же время твердость, настойчивость... Дипломат ведь должен быть пленителен, так сказать, пленять, побеждать, не правда ли? Ну, так поверите ли Вы или нет, когда я Вам прямо и в высшей степени определенно скажу, что без знания натурального своего языка, без об-

* Мой муж (франц.).

ладания им нельзя даже выровнять себе и характера, особенно если херувимчик хорошо и богато одарен от природы: у него начнут же в свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будут давить, так сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себе выражения, а без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения, то есть без языка, без развития его, без утонченностей его, без обладания оттенками его — сын Ваш будет вечно недоволен собою: обрывки мыслей перестанут его удовлетворять, накапливающийся в уме и сердце материал потребует основательного уже выражения... Молодой человек станет озабочен, рассеян, беспредметно задумчив, потом брюзглив, несносен, потом расстроит свое здоровье, даже желудок, может быть, верите ли тому...»

Но вижу, вижу, Вы покатались со смеху, я опять увлекся, согласен (а ведь, Боже, какую я правду говорю!), но позвольте мне закончить, позвольте мне Вам напомнить, что я давеча Вам уступил, я с Вами согласился, для виду, что дипломаты все же умные люди, но Вы меня до того довели, сударыня, что я принужден теперь не скрывать от Вас даже самую секретнейшую подкладку взгляда моего на этот предмет. Именно, сударыня, мне как нарочно несколько уже раз в жизни приходило на мысль, что в дипломатии, то есть во всеобщей дипломатии, всех народов и всего девятнадцатого столетия, чрезвычайно даже мало было умных людей. Даже поражает. Напротив, скудоумие этого сословия в истории Европы нынешнего столетия... то есть, видите ли, все они умны, более или менее, это бесспорно, все остроумны, но умы-то это какие! Проникал ли хоть один из этих умов в сущность вещей, понимал ли, предчувствовал ли таинственные законы, ведущие к чему-то Европе, к чему-то неизвестному, странному, страшному — но теперь уже очевидному, почти воочию совершающемуся в глазах тех, которые чуть-чуть умеют предчувствовать? Нет-с, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума в этом столь почтенном и фаворизированном сословии! (Я, уж конечно, говоря так, исключаю Россию и все отечественное, потому что мы, по самой сущно-

сти нашей, в этом деле «особ-статья».) Напротив, во все столетие являлись дипломатические умы, положим, прехитрейшие, интриганы, с претензией на реальнейшее понимание вещей, а между тем дальше своего носу и текущих интересов (да еще самых поверхностных и ошибочных) никто из них ничего не усматривал! Порванные ниточки как бы там связать, заплаточку на дырочку положить, «пену подбить, вызолотить, за новое сойдет» — вот наше дело, вот наша работа! И всему тому есть причины — и главнейшая, по-моему, — разъединение начал, разъединение с народом и обособление дипломатических умов в слишком уж, так сказать, великосветской и отвлеченной от человечества сфере. Ну, возьмите, например, графа Кавура⁸ — это ль был не ум, это ль не дипломат? Я потому и беру его, что за ним уже решена гениальность, да к тому же и потому еще, что он умер. Но что ж он сделал, посмотрите: о, он достиг своего, объединил Италию, и что же вышло: 2500 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею — не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а реальную, органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объединение всего мира — сначала древнеримское, потом папское. Народы, возраставшие и переходившие в эти два с половиной тысячелетия в Италию, понимали, что они носители мировой идеи, а непонимавшие чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство — все облекалось и проникалось этим же мировым значением. О, положим, что мировая эта идея там, под конец, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя вряд ли так?), но ведь что ж наконец получилось вместо-то нее, с чем поздравить теперь-то Италию, чего достигла она лучшего-то после дипломатии графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевство, потерявшее всякое мировое поприще, променявшее его на самое изношенное буржуазное начало (тридцатое повторение этого начала со времени первой французской революции), — королевство, вседозволенное своим единством, ровно ничего не означающим, единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единством), и, сверх того, в

неоплатных долгах, и, сверх того, именно недовольное своею второстепенностью. Вот что получилось, вот создание графа Кавура! Одним словом, современный дипломат есть именно «великий зверь на малые дела»!⁹ Князь Меттерних считался одним из самых глубоких и тончайших дипломатов в мире и уж бесспорно имел всеевропейское влияние. А между тем в чем была его идея, как понял он свой век, в его время лишь начинавшийся, как предчувствовал он грядущее будущее? Увы, он со всеми основными идеями начинавшегося столетия решил справиться полицейским порядком и вполне был уверен в успехе! Посмотрим теперь на князя Бисмарка, вот этот так уж бесспорно гений, но...

— *Finissons, monsieur**, — строго прерывает меня маменька с видом глубоко и свысока оскорбленного достоинства. Я, разумеется, тотчас же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понят, конечно, с маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такие темы, и я дал страшного маху. Но с кем можно-то теперь заговаривать о дипломатии, вот ведь вопрос? А ведь какая интереснейшая тема и как раз в наше время! Но...

Дипломатия перед мировыми вопросами

И какая серьезная тема! Ибо что такое теперь наше время? Все, кто одарены мудростью, говорят, что наше время есть время по преимуществу дипломатическое, время решения всех мировых судеб одной лишь дипломатией, утверждают, например, что будто бы где-то теперь у нас идет война. И я даже слышал о том, что идет война, но мне говорят, и я читаю везде, что если и есть там что-то и где-то вроде войны, то все это наверно не так понимается. По крайней мере, решено, что эта война ничему не помешает, то есть никаким здоровым отправлениям нации, совмещающимся, по последним взглядам всего того, что называется вообще «премудростью», преимущественно и даже единственно в одной лишь дипломатии; и что самые даже

* Довольно, сударь (*франц.*).

эти военные прогулки, маневры и проч., всегда, впрочем, необходимые, — в истинном смысле вещей составляют не более, как лишь один из фазисов высшей дипломатии и ничего более. Так и надо веровать. С моей стороны, я очень склонен этому верить, ибо все это очень успокоительно, но вот, однако, что любопытно и что ужасно как выдается: у нас, например, загорелся Восточный вопрос, загорелся он и во всей Европе тотчас же, как и у нас, даже раньше, — и это ужасно понятно: все и даже не дипломаты (и даже особенно если недипломаты) — все знают давным-давно, что Восточный вопрос есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших *отделов* мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. Известно, что тут дело не только одного Востока Европы касается, не только славян, русских и турок или там специально болгар каких-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливов, входов и выходов, а гораздо глубже, основнее, стихийнее, насущнее, существеннее, первоначальнее. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатии так много дела. Но какое же, однако, дело у дипломатии? — вот мой вопрос! Чем она-то (по преимуществу теперь) в Восточном вопросе занята? Дело дипломатии (а иначе она и дипломатией бы не была), дело ее теперь — конфисковать Восточный вопрос во всех отношениях и поскорей уверить всех, кого следует и не следует, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что все это только так, маневрики и прогулочки — и даже, если только можно, то уверить, что Восточный вопрос не только не начинался, но и никогда его не бывало на свете, не существовало, а только туману лет сто назад напустили, из видов, и тоже дипломатических¹⁰, так вот и лежит этот нерастолкованный туман до сих пор. Откровенно скажу, что этому можно бы даже, и поверить, если б тут как раз не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вот беда!), ибо дипломатия никогда и ни за что не берется за такие загадки, мало того, отворачивается от них с презрением, ибо считает их недостойными высших умов фантазиями. Эту загадку можно бы формулировать в та-

ком виде: почему это всегда так происходит и особенно в последнее время, с половины то есть девятнадцатого столетия, и чем далее, тем нагляднее и осязательнее, почему — чуть лишь дело коснется в мире до чего-нибудь мирового, всеобщего, как тотчас же, рядом с одним поднявшимся где-нибудь мировым вопросом, подымаются параллельно тому и *все остальные* мировые вопросы, так что мало, например, теперь Европе одного поднявшегося мирового вопроса, Восточного, нет, она рядом с ним нежданно-негаданно вдруг поднимает во Франции вопрос, и тоже мировой, католический? И католический вопрос не потому только, что вот-де умрет скоро папа, то Франция, как представительница католичества, должна позаботиться о том, чтоб отнюдь не исчезло и не изменилось ничего в установившейся веками организации католичества, а и потому еще, что католичество принято тут видимо за общее знамя соединения всего старого порядка вещей, за все девятнадцать веков, — соединения против чего-то нового и грядущего, настоящего и рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота во всей западноевропейской жизни, или, по крайней мере, если и не совершится обновление это, то против страшного потрясения и колоссальной революции, которая несомненно грозит потрясти все царства буржуазии во всем мире, везде, где они организовались и процвели, по шаблону французскому 1789 года, грозит скovyрнуть их прочь и стать на их место. Кстати, на минутку отступлю от темы и сделаю одно необходимое *Nota bene*, ибо предчувствую как смешно покажется иным мудрецам, особенно либеральным, что я, в самом разгаре девятнадцатого столетия, называю Францию державою католической, представительницей католичества! А потому в разъяснение моей мысли и объявляю пока голословно, что Франция есть именно такая страна, которая, если б в ней не оставалось даже ни единого человека, верящего не только в папу, но даже в Бога, все-таки будет продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, так сказать, всего католического орга-

низма, знаменем его, и это пребудет в ней чрезвычайно долгое время, даже до невероятности, до того, может быть, времени, когда Франция перестанет быть Францией и обратится во что-нибудь другое. Мало того: и социализм-то самый начнется в ней по католическому шаблону, с католической организацией и закваской, не иначе, — до такой степени эта страна есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамест укажу лишь, например, на то: почему это так вдруг подтолкнуло маршала Мак-Магона возбудить и поднять, ни с того ни с сего, именно католический вопрос? Этот храбрый генерал (впрочем, почти везде побежденный, а в дипломатии отличившийся коротенькой фразой «J'y suis et j'y reste»* — этот генерал вовсе не из таких, кажется, деятелей, чтоб в состоянии был *сознательно* поднять что-либо в этом роде. А вот начал же, поднял же самый капитальный из староевропейских вопросов, и именно в том виде, в каком и должно было ему подняться, — но, главное: почему, почему именно как раз в ту минуту поднять, как на другом конце мира загорелся другой мировой вопрос, Восточный вопрос? Почему вопрос к вопросу жметя, почему один другой вызывает, тогда как, казалось бы, между ними и связи-то нет? Да и не одни эти два вопроса поднялись вместе: с Восточным поднялись и еще вопросы, поднимутся и еще и еще, если он правильно разовьется. Одним словом, все главнейшие вопросы Европы и человечества в наш век начали подниматься всегда одновременно. И вот одновременность-то эта и поражает. Условие-то это непременно всем вопросам являться вместе и составляет загадку! Но для чего я это все говорю. А вот именно ввиду того, что дипломатия на такие именно вопросы и смотрит с презрением. Она не только не признает никаких подобных совпадений, но и думать-то о них не желает. Миражи, дескать, вздоры и пустяки: «Нет этого всего ничего, а просто маршалу Мак-Магону, а пуще его супруге чего-то захотелось, вот все и вышло». А потому, несмотря на то, что сам же я провозгласил, начиная этот отдел главы, что время наше по преимуществу

* «Я так сказал, и баста» (франц.)...

дипломатическое, а прочее все мираж, — сам же я принужден этому не поверить первый. Нет, тут загадка! Нет, тут решает дело не одна дипломатия, а и еще что-то другое. И, признаюсь, я чрезвычайно смущен этим выводом; я так склонен был верить в дипломатию, а все эти новые вопросы — все это только новые хлопоты и больше ничего...

**Никогда Россия не была столь могущественною,
как теперь, — решение не дипломатическое**

В самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развил его голословно. Но всегда мне представлялся, и еще долго до этого теперешнего вопроса (то есть вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь один из них подымется), еще другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но на который, именно потому что он так прост и естествен, люди мудрости и не обращают почти никакого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть дипломатия есть и была, всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов человечества, и будет впредь; но всегда ли окончательное решение европейских вопросов от нее зависит? Не бывает ли, напротив, такого фазиса, такой точки в каждом вопросе, когда уже нельзя разрешить его всем известным успокоительным способам, дипломатическим, то есть заплаточками. И хоть и бесспорно, что все мировые вопросы, с точки зрения дипломатического, а стало быть, и здравого смысла, всегда объясняются не более как тем, что таким-то вот державам захотелось расширения границ, или лично чего-то захотелось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной даме и проч. и проч. (пусть, это бесспорно, я это уж уступлю, ибо здесь премудрость), — но все-таки не бывает ли в известный момент, даже вот и при этих-то самых реальных причинах и их объяснениях, такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда появляются вдруг какие-то странные другие силы, положим и непонятные и загадочные,

но которые овладевают вдруг всем, захватывают все разом в совокупности и влекут неотразимо, слепо, вроде как бы под гору, а пожалуй, так и в бездну? В сущности я хотел бы только узнать: всегда ли так уж надеется на себя и на средства свои дипломатия, что никаких подобных сил и точек, и фазисов не боится вовсе, а пожалуй, так и не предполагает их вовсе? Увы, кажется, что всегда, а потому: как я поверю ей и доверюсь ей и могу ли принять ее за окончательную решительницу судеб столь блажного и беспутного еще человечества!

Увы, в пространной истории Кайданова есть одна величайшая из фраз. Это именно, когда он, в «Новой истории», приступил к изложению французской революции и появлению Наполеона I. Фраза эта есть начало главы, и она осталась в моей памяти на всю жизнь, вот она: «Глубокая тишина царствовала во всей Европе, когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои; но никогда подобная тишина не предшествовала такой великой буре!» Скажите, что знаете вы выше из фраз? В самом деле, кто тогда в Европе, то есть когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои, мог бы предузнать, хотя бы самым отдаленным образом, что произойдет с людьми и с Европой в течение следующего тридцатилетия? Я не говорю про каких-нибудь там обыкновенных образованных людей или даже писателей, журналистов, профессоров. Все они, как известно, сбились тогда с толку: Шиллер написал, например, тогда дифирамб на открытие национального собрания; путешествовавший по Европе молодой Карамзин смотрел с умиленным дрожанием сердца на то же событие, а в Петербурге, у нас, еще задолго перед сим красовался мраморный бюст Вольтера. Нет, я обращаюсь прямо к самой высшей премудрости, прямо к все-решителям судеб человеческих, то есть к самим дипломатам, с вопросом: предугадывали ли они тогда хоть что-нибудь из того, что в следующее тридцатилетие произойдет?

Но ведь вот что ужасно: если б я спросил об этом дипломатов (и заметьте, все почти европейские дипломаты учились по «Кайдашке») — и если б они удостоили меня выслушать, то наверно ответили бы с высокомерным смехом, что «случай-

ностей предвидеть нельзя и что вся мудрость состоит лишь в том, чтобы ко всяким случайностям быть готовым».

Каково-с! Нет, я вам скажу: это ответ типический, и хотя я сам его выдумал, потому что ни одного дипломата не беспокоил вопросами (да и не смею), но весь ужас мой в том, что я ведь уверен, что мне именно так ответили бы, а потому я и назвал сей ответ типическим. Ибо что такое, скажите, были эти события конца прошлого века в глазах дипломатов — как не *случайности*? Были и есть. А Наполеон, например, — так уж архислучайность, и не явись Наполеон, умри он там, в Корсике, трех лет от роду от скарлатины, — и третье сословие человечества, буржуазия, не потекло бы с новым своим знаменем в руках изменять весь лик всей Европы (что продолжается и до сих пор), а так бы и осталось сидеть там у себя в Париже, да, пожалуй, и замерло бы в самом начале!

Дело в том, что мне кажется, что и нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным, то есть, может быть, чем-нибудь хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все же настолько же колоссальным, — стихийным, и страшным, и тоже с изменением лика мира сего — по крайней мере, на Западе старой Европы. И вот, если наши премудрые будут утверждать, что нельзя же предугадать *случайностей* и т. д., мало того: если им даже и в голову что-нибудь об этом финале не заходило, то...

Одним словом: заплаточки, заплаточки и заплаточки!

Ну что же, будем благоразумны, будем ждать. Заплаточки ведь, если хотите, вещь тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тем более, что заплаточками, например, обмануть врага можно. Вот у нас теперь война, и если б случилось, что Австрия повернулась бы к нам враждебно, то «заплаточкой» ее как раз можно ввести в обман, в который сама же она с удовольствием втянется, ибо что такое Австрия? Сама-то она чуть не на ладан дышит, развалиться хочет, точно такой же «больной человек», как и Турция, да, может быть, и еще того плоше. Это образец всевозможных дуализмов, всевозможных внутри себя враждебных соединений,

народностей, идей, всевозможных несогласий и противоречивых направлений; тут и венгры, тут и славяне, тут и немцы, тут и царство жидов... Ну, а теперь, благодаря ухаживанию за ней дипломатии, она и впрямь, пожалуй, может вздумать о себе, что она — могущество, которое и действительно много значит и многое может сделать в общем решении судеб. Такой обман воображения, возбужденный именно посредством ухаживаний и заплаточек для решения славянских судеб, выгоден, ибо может на время отвлечь врага, а к моменту решения, когда он вдруг увидит, что его никто не боится и что он вовсе не могущество, — может поразить его упадком духа, попросту сконфузить. Другое дело Англия: это нечто посерьезнее; к тому же теперь страшно озабоченное в самых основных своих начинаниях. Эту заплаточками и ухаживаниями не усыпишь. Что ни толкуй ей, а ведь она ни за что и никогда не поверит тому, чтоб огромная, сильнейшая теперь нация в мире, вынужденная свой могучий меч и развернувшая знамя великой идеи и уже перешедшая через Дунай¹¹, может в самом деле пожелать разрешить те задачи, за которые взялась она, себе в явный ущерб и единственно в ее, Англии, пользу. Ибо всякое улучшение судеб славянских племен есть, *во всяком случае*, явный для Англии ущерб, и заплаточками тут ни за что и никого не умалишь: не поверят! — просто ничему в Англии не поверят. Да и какими аргументами убедить ее? «Я вот, дескать, немножко *начну*, но не кончу». Но ведь в политике начало дела есть все, ибо начало, естественно, рано ли, поздно ли, приведет к концу. Что в том, что окончание завершится не сегодня, все равно завершится завтра. Одним словом, они не поверят, а потому надо бы и нам англичанам не верить или как можно меньше верить, разумеется, про себя. Хорошо бы нам тоже догадаться, что Англия в самом критическом теперь положении, в котором когда-либо находилась. Это критическое ее положение может быть сформулировано точнейшим образом в одном слове: *уединение*, ибо никогда еще, может быть, Англия не была в таком страшном уединении, как теперь. О, как бы она рада была теперь найти в Европе союз, какой-нибудь *entente*

cordiale*. Но беда ее в том, что не было еще момента в Европе, когда бы труднее было составить союз. Ибо именно теперь в Европе все поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все мировые противоречия, так что каждому народу и государству *страшно много собственного дела у себя дома*. А так как английский интерес не мировой, а давно уже от всего и всех отъединенный и единственно касающийся одной только Англии, то, на время по крайней мере, она и останется в чрезвычайном уединении. О, разумеется, ей можно бы было согласиться даже и с преследующими другую цель из взаимных выгод: «Я, дескать, тебе то доставлю, а ты мне это». Но по характеру-то теперешних забот европейских трудно в этом роде *entente cordiale* составить, по крайней мере в данную минуту, и придется долго ждать, пока потом, в будущем развитии, найдется такой момент, что можно будет и ей куда-нибудь со своим союзом примазаться. Кроме того, Англии прежде всего надобен союз выгодный, то есть такой, при котором она возьмет все, а сама отплатит по возможности *ничем*. Ну вот именно такого-то выгодного союза теперь всего более не предвидится, и Англия в уединении. О, если б этим уединением мы могли удачно воспользоваться! Но тут другое восклицание: «О, если б мы были менее скептиками и могли уверовать в то, что есть мировые вопросы и что не мираж они!» Главное то, что у нас в России очень большая часть интеллигенции нашей всегда как-то видит и принимает Европу не реально, как она есть теперь, а всегда как-то задним числом, с запаздыванием. В будущность не заглядывают, а склонны судить более по прошедшему, даже по давно прошедшему.

А между тем мировые вопросы существуют действительно, и как бы это в них-то не верить, да еще нам-то? Два из них уже поднялись и влекутся уже не человеческою премудростью, а стихийною своею силою, основною органическою своею потребностью, и не могут уже остаться без разрешения, несмотря на все расчеты дипломатии. Но есть и третий вопрос, и тоже мировой, и тоже подымается и почти уже под-

* Сердечный союз (франц.).

нялся. Вопрос этот, в частности, можно назвать германским, а в сущности, в целом, как нельзя более всеевропейским, и как нельзя сильнее слит он органически с судьбой всей Европы и всех остальных мировых вопросов. Казалось бы, однако, на вид, что ничего не может быть спокойнее и безмятежнее, как теперь Германия: в спокойствии грозной силы своей она смотрит, наблюдает и ждет. Все, более или менее, в ней нуждаются, все, более или менее, от нее зависят. И однако... все это мираж! Вот то-то и есть, что у всех теперь в Европе свое дело, у каждого объявилось по собственному своему самому важнейшему вопросу, по вопросу такой важности, как само почти существование, как вопрос о том, быть или не быть: вот такой самый вопрос нашелся и у Германии, и как раз в ту минуту, как поднялись и другие мировые вопросы, — и вот это-то состояние Европы, прибавлю, забегая вперед, как не надо более выгодно для России в данный момент! Ибо никогда она не была столь нужна Европе и могущественнее в глазах ее и между тем столь отъединеннее от поднявшихся в ней, в этой старой Европе, самых капитальных и страшных, но *своих*, ей только, старой Европе, а не России свойственных вопросов. И никогда союз России не ценился бы выше, как теперь, в Европе, никогда еще она не могла себя с большею радостью поздравить с тем, что она не старая Европа, а новая, что она сама по себе, свой особый и могучий мир, для которого именно теперь наступил момент вступить в новый и высший фазис своего могущества и более чем когда-нибудь стать независимой от прочих, *ихних*, роковых вопросов, которыми старая, дряхлая Европа связала себя!

Германский мировой вопрос. Германия — страна протестующая

Но мы заговорили про Германию, про теперешнюю задачу ее, теперешний ее роковой, а вместе с тем и мировой вопрос. Какая же эта задача? И почему эта задача лишь теперь обраща-

ется для Германии в столь хлопотливый вопрос, а не прежде, не недавно, не год назад или даже не два месяца назад?

Задача Германии одна, и прежде была, и всегда. Это ее *протестантство*, — не та единственно формула этого протестантства, которая определилась при Лютере¹², а всегдашнее ее протестантство, всегдашний *протест* ее — против римского мира, начиная с Арминия, против всего, что было Римом и римской задачей, и потом против всего, что от древнего Рима перешло к новому Риму и ко всем тем народам, которые восприняли от Рима его идею, его формулу и стихию, к наследникам Рима и ко всему, что составляет это наследство. Я убежден, что некоторые из читателей, прочтя это, вскинут плечами и засмеются: «Ну, можно ли, дескать, в девятнадцатом столетии, в век новых идей и науки, толковать о католичестве и протестантстве, как будто мы еще в средних веках! И если еще есть, пожалуй, религиозные люди и даже фанатики, то сохранились как археологическая редкость, сидят по определенным местам и углам, осужденные и всеми осмеянные, а главное, в самом малом числе, в виде ничтожной мизерной кучки отсталых людей. Итак, можно ли их считать за что-нибудь в таком высшем деле, как мировая политика?»

Но я не религиозный *протест* разумею, я не останавливаюсь на временных формулах идеи древнеримской, равно как и вековечного германского против нее протеста. Я беру лишь основную идею, начавшуюся еще две тысячи лет тому и которая с тех пор не умерла, хотя постоянно перевоплощалась в разные виды и формулы. Теперь именно весь этот крайний западноевропейский мир, — именно унаследовавший римское наследство, мучится родами нового перевоплощения этой унаследованной древней идеи, и это для тех, кто умеет смотреть, до того наглядно, что и объяснений не просит.

Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала перед христианством, — формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из нее составила его цивилиза-

ция, для нее одной лишь оно и живет. Пала лишь идея всемирной *римской* монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществимо быть не может. И вот началась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы, как владыки мира сего.

С тех пор эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась непрерывно. С развитием этой попытки самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе. Отвергнув наконец христианство духовно, наследники древнеримского мира отвергли и папство. Прогремела страшная французская революция, которая в сущности была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Был даже момент, когда для всех наций, унаследовавших древнеримское призвание, наступило почти отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с

1789 года политическое главенство, то есть буржуазия, — восторжествовала и объявила, что далее и не надо идти. Но зато все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, — все те бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французской революцией 1789 года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединения людей, уже не ввиду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а напротив: всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там не оказались. Осуществить же это решение положили *всякими* средствами, то есть отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем.

Причем же тут все это время, все эти две тысячи лет была Германия? Характернейшая, существеннейшая черта этого великого, гордого и особого народа, с самой первой минуты его появления в историческом мире, состояла в том, что он никогда не хотел соединиться, в призвании своем и в началах своих, с крайнезападным европейским миром, то есть со всеми преемниками древнеримского призвания. Он *протестовал* против этого мира все две тысячи лет, и хоть и не представил (и никогда не представлял еще) своего слова, своего строго формулированного идеала взамен древнеримской идеи, но, кажется, всегда был убежден, внутри себя, что в состоянии представить это новое слово и повести за собою человечество. Он бился с римским миром еще во времена Арминия, затем во времена римского христианства он более чем кто-нибудь бился за верховную власть с новым Римом. Наконец, протестовал самым сильным и могучим образом, выводя новую формулу протеста уже из самых духовных, стихийных основ германского мира:

он провозгласил свободу исследования и воздвиг знамя Лютера. Разрыв был страшный и мировой, формула протеста нашлась и восполнилась, — хотя все еще отрицательная, хотя все еще новое и *положительное* слово сказано еще не было.

И вот германский дух, сказав это новое слово протеста, на время как бы замер, и произошло это совершенно параллельно с таким же ослаблением прежнего строго формулированного единства сил и в его противнике. Крайнезападный мир под влиянием открытия Америки, новой науки и новых начал искал переродиться в новую истину, в новый фазис. Когда наступила первая попытка этого перевоплощения во время французской революции, германский дух был в большом смущении и на время потерял было самость свою и веру в себя. Он ничего не мог сказать против новых идей крайнезападного европейского мира. Лютерово протестантство уже отжило свое время давно, идея же свободного исследования давно уже принята была всемирной наукой. Огромный организм Германии почувствовал более чем кто-нибудь, что он не имеет, так сказать, плоти и формы для своего выражения. Вот тогда-то в нем родилась настоящая потребность хотя бы сплотиться только наружно в единый стройный организм, ввиду новых грядущих фазисов его вечной борьбы с крайнезападным миром Европы. Тут надо заметить весьма любопытное совпадение: оба всегдашние враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство в ней, в одно и то же время (или почти), схватываются и исполняют очень схожую между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайнезападного мира, то есть обновление человеческого общества на новых социальных началах, — эта формула, почти все наше столетие провозглашавшаяся лишь мечтателями, научными представителями ее, всякими идеалистами и фантазерами, вдруг в последние годы изменяет свой вид и ход своего развития и решает: оставить пока теоретическое определение и воссоздание своей задачи и приступить прямо, прежде всяких мечтаний, к практическому шагу задачи, то есть прямо начать борьбу, а для того — положить начало соединению во единую

организацию всех будущих бойцов новой идеи, то есть всему *четвертому*, обойденному в 1789 году сословию людей, всем неимущим, всем рабочим, всем нищим, и, уже устроив это соединение, поднять знамя новой и неслыханной еще всемирной революции. Явились Интернационалка¹³, международные сношения всех нищих мира сего, сходки, конгрессы, новые порядки, законы, — одним словом, положено *по всей старой Западной Европе* основание новому status in statu, грядущему поглотить собою старый, владычествующий в крайнезападной Европе порядок мира сего. И вот, в то время как это совершалось у противника, гений Германии понял, что и германская задача, прежде всякого дела и начинания, прежде всякой попытки нового слова против перевоплотившегося из старой древнекатолической идеи противника, — закончить собственное политическое единение, завершить воссоздание собственного политического организма и, воссоздав его, тогда только стать лицом к лицу с вековечным врагом своим. Так и случилось: завершив свое объединение, Германия бросилась на противника и вступила с ним в новый период борьбы, начав ее железом и кровью. Дело железом кончено, теперь предстоит его кончить духовно, существенно. И вот вдруг теперь для Германии является новая забота, новый неожиданный поворот дела, страшно усложняющий задачу. Какая же это задача и в чем этот новый поворот дела?

Один гениально-мнительный человек

Эта задача, эта новая *внезапная* забота Германии, если хотите, давно уже просилась наружу, а теперь все дело в том, что она слишком уж вдруг выскочила на вид вследствие внезапного клерикального переворота во Франции¹⁴. Сформулировать ее можно отчасти в виде такого сомнения: «Да объединился ли, полно, германский организм в одно целое, не раздроблен ли он, напротив, по-прежнему, несмотря на гениальные усилия предводителей Германии за последние двадцать пять лет, — мало

того: объединился ли он хотя бы только лишь политически, не мираж ли и это, несмотря на франко-прусскую войну и провозглашенную после нее новую неслыханную прежде германскую империю?» Вот этот мудреный вопрос.

Вся мудренность этого вопроса заключается, главное, в том, что его, почти до самого последнего времени, не предполагали даже и существующим, по крайней мере среди огромнейшего большинства германцев. Самоупоение, гордость и совершенная вера в свое необъятное могущество чуть не опьянили всех немцев поголовно после франко-германской войны. Народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до странности часто побеждаемый, — этот народ вдруг победил такого врага, который почти всех всегда побеждал! А так как ясно было, что он и не мог не победить вследствие образцового устройства своей бесчисленной армии и своеобразного пересоздания ее на совершенно новых началах, и, кроме того, имея столь гениальных предводителей во главе, то, разумеется, германец и не мог не возгордиться этим до опьянения. Тут уж нечего брать в соображение всегдашнюю самодовольную хвастливость всякого немца — исконную черту немецкого характера. С другой стороны, из так недавно еще раздробленного политического организма вдруг появилось такое стройное целое, что германец не мог и тут усомниться и вполне поверил, что объединение завершилось и что для германского организма наступил новый, блестящий и великий фазис развития. Итак, не только явилась гордость и шовинизм, но явилось почти легкомыслие; и уж какие тут могли быть вопросы — не только для какого-нибудь воинственного лавочника или сапожника, но даже для профессора или министра? Но, однако же, все-таки оставалась кучка немцев, очень скоро, почти сейчас же после франко-прусской войны, начавших сомневаться и задумываться. Во главе замечательнейших членов этой кучки, бесспорно, стоял князь Бисмарк¹⁵.

Еще не успели выйти германские войска из Франции, как он уже ясно увидел, что слишком мало было сделано «кровью и железом» и что надо было, имея перед собою таких разме-

ров цель, сделать, по крайней мере, вдвое больше, пользуясь случаем. Правда, военных выгод осталось все же безмерно больше на стороне Германии, и это еще надолго. Франция, после уступки Эльзаса и Лотарингии, стала такой маленькой по земельному объему страной для великой державы, что одно или два удачных для Германии сражения, в случае новой войны, и германские войска тотчас же будут в центре Франции, и в стратегическом отношении Франция пропала. Но, однако, верны ли победы, можно ли надеяться на эти два победоносные сражения наверно? В франко-прусскую войну немцы победили-то собственно ведь не французов, а только Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франции будут войска, столь плохо устроенные и командуемые, не всегда же будут и узурпаторы, которые, нуждаясь в своих генералах и чиновниках из династических интересов, принуждены будут допускать у себя такие плачевные упущения, при которых не может существовать правильное войско. Не всегда же будет повторяться и Седан, ибо Седан в сущности только случай и вышел лишь потому, что Наполеону нельзя уже было воротиться в Париж императором иначе, как по милости короля Прусского¹⁶. Не всегда тоже будут и столь малодаровитые генералы, как Мак-Магон¹⁷, или такие изменники, как Базен. Опьяненные столь неслыханным для них торжеством, немцы, конечно, все до единого, могли уверовать в то, что это все они сделали, одними своими талантами, но в сомневающейся кучке могли думать иное, особенно после того, когда побежденный враг, еще столь расстроенный и потрясенный, вдруг уплатил три миллиарда контрибуции разом и не поморщился¹⁸. Это, уж конечно, очень огорчило князя Бисмарка.

С другой стороны, для сомневающейся кучки предстоял и другой вопрос, может быть, еще важнейший: совсем ли завершилось политическое и гражданское объединение внутри организма? Для всех почти в Европе, и, кажется, в особенности у нас в России, в этом доселе еще никто не сомневался. Вообще мы, русские, приняли все то, что приключилось в последние десять-пятнадцать лет в Германии, за нечто уже

окончательное, в высшей степени не случайное, а натуральное, за такое, что уже и не должно измениться. Совершившиеся факты нам внушили необыкновенное почтение. А между тем в глазах столь гениальных людей, как князь Бисмарк, вряд ли все, чему следовало, приняло свою окончательную прочность. То, что может казаться теперь прочным, то, может быть, всего только еще фантазия. Трудно предположить, чтобы столь долгая привычка к политическому разъединению исчезла у немцев так вдруг, как выпитый стакан воды. Немец упорен уже по своей природе. Нынешнее поколение немцев к тому же было подкуплено успехами, опьянено гордостью и сдержано железной рукой предводителей. Но в весьма, может, недалеком будущем, когда эти предводители отойдут в другой мир и уступят место другим, поднимутся, может быть, прижатые на время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вероятно, что тогда утратится энергия первого порыва соединения, напротив, возродится вновь энергия оппозиции, которая и пошатнет то, что было сделано. Явится стремление к распадению, к обособлению, и именно тогда, когда на Западе уж совсем оправится от удара страшный враг, который и теперь уже не спит и не дремлет, и даже известно с чего начнет. А тут добавок и самый, так сказать, закон природы: Германия ведь все-таки в Европе страна *серединная*: как бы она ни была сильна — с одной стороны Франция, с другой Россия. Правда, русские пока вежливы. Но что если они вдруг догадаются, что не они нуждаются в союзе с Германией, а что Германия нуждается в союзе с Россией, мало того: *что зависимость от союза с Россией есть, по-видимому, роковое назначение Германии, с франко-прусской войны особенно*. То-то и есть, что в слишком сильную почтительность России даже и такой убежденный в своей силе человек, как князь Бисмарк, не в состоянии верить. Правда, до последнего внезапного приключения во Франции, изменившего вдруг весь вид дела, князь Бисмарк все еще надеялся, что чрезвычайная вежливость России еще надолго непоколебима, и вот вдруг это приключение! Одним словом, случилось нечто необычайное.

Необычайное для всех, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось, что гений его все это «приключение» предвидел заранее. Не гений ли его, скажите, не гениальный ли глаз его подметил главного врага столь задолго? Почему именно он так возненавидел католицизм, почему он так гнал и преследовал все, что исходило из Рима (то есть от папы), — вот уже столько лет? Почему он так дальновидно озаботился заручиться итальянским союзом¹⁹ (так можно выразиться), — как не для того, чтоб с помощью итальянского правительства раздавить папское начало в мире, когда придет срок выбирать нового папу. Не католическую веру он гнал, а римское начало этой веры. О, без сомнения, он действовал как немец, как протестант, он действовал против основной стихии крайнезападного, всегда враждебного Германии мира, но все же очень и очень многие из гениальнейших и либеральных мыслителей Европы смотрели на этот поход великого Бисмарка против столь ничтожного папы, как на борьбу слона с мухой. Иные объясняли все это даже странностью гения, капризами гениального человека. Но дело в том, что гениальный политик сумел оценить, может быть единственный в мире из политиков, как сильно еще римское начало само в себе и среди врагов Германии и каким страшным цементом может оно послужить в будущем для соединения всех этих врагов воедино. Он сумел догадаться, что, может быть, у одной лишь римской идеи может найтись такое знамя, которое в роковую (а в глазах Бисмарка и неизбежную) минуту сплотит всех уже раздавленных им врагов Германии опять в одно страшное целое. И вот гениальная догадка вдруг оправдалась: все партии в побежденной Франции, из тех, которые могли начать движение против Германии, — все эти партии были раздроблены, ни одна из них не могла восторжествовать и захватить во Франции власть. Соединиться тоже они никак не могли, имея каждая в виду противоположные цели задач своих, — и вот знамя папы и иезуитов соединяет все. Враг восстал, и враг этот уже не Франция, а сам папа. Это папа, предводительствующий всем и всеми, кому завещана римская идея, и идущий броситься на

Германию. Но чтобы яснее изложить случившееся, взглянем пристальнее в лагерь противников Германии.

[...]

И ю л ь — а в г у с т

Разговор мой с одним московским знакомым. Заметка по поводу новой книжки

Выдав в Петербурге мой запоздавший май-июньский выпуск «Дневника» и возвращаясь затем в Курскую губернию, я, проездом через Москву, поговорил кой о чем с одним из моих давних московских знакомых, с которым вижусь редко, но мнение которого глубоко ценю¹. Разговора я в целом не привожу, хотя я узнал при этом кое-что весьма любопытное из текущего, чего и не подозревал. Но, расставаясь с моим собеседником, я, между прочим, упомянул, что хочу сделать, пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтораста верст в сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества, — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц². Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но все никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями.

— Вот у Вас есть такие воспоминания и такие места, и у всех нас были. Любопытно: что у нынешней молодежи, у нынешних детей и подростков будет драгоценного в их воспоминаниях, и будет ли? Главное, что именно? Какого рода?

Что святые воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения, конечно, быть не может, иначе прекратилась бы

живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь. Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно сформируется для них этот дорогой запас — все это, конечно, и любопытный и серьезный вопрос. Если б можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него ответ, то можно бы было утолить много современных тревожных сомнений, и, может быть, многие бы радостно уверовали в русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но беда в том, что никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы данных для предчувствования и предузнания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено, как теперь. Где вы найдете теперь такие «Детства» и «Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь *не более лишь как исторические картины давно прошедшего*. О, я вовсе не желаю сказать, что они были такие прекрасные

картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их *характере*, о законченности, точности и определенности их характера — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится все более и более *случайным* семейством. Именно *случайное семейство* — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... В силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик? Иные и столь серьезные даже люди говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется, все это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, то есть высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство — разве теперь оно не вопрос тоже?

— Вот что бесспорно, — сказал мне мой собеседник, — бесспорно то, что в весьма непродолжительном времени в народе явятся новые вопросы, да и явились уже, — куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных, и все это естественно. Но кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них, и кто первый выищется, кто ждет уже и готовится? Вот вопрос, наш вопрос, да еще самой первой важности.

И, уж конечно, первой важности. Столь крутой перелом жизни, как реформа 19-го февраля, как все потом реформы, а главное, грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновение с нею), все это, бесспорно, родит и родило уже вопросы, потом, пожалуй, сформирует их, объединит, даст им устойчивость и — в самом деле, кто ответит на эти вопросы? Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кро-

ме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отдалают от себя паству несоразмерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать. На эту тему можно бы и много прибавить, но прибавим потом. Затем, одни из ближайших к народу — это сельские учителя. Но к чему годятся и к чему готовы наши сельские учителя? Что представила до сих пор эта, лишь начинающаяся, впрочем, но столь важная по значению в будущем, новая корпорация³, и на что она в состоянии ответить? На это лучше не отвечать. Остаются, стало быть, ответы случайные — по городам, на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних помещиков (о начальстве, само собою, не упоминаю). О, ответов, конечно, будет множество, пожалуй, еще больше, чем вопросов, — ответов добрых и злых, глупых и премудрых, но главный характер их, кажется, будет тот, что каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все *crescendo*⁴. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса.

— А главное, — нечего и говорить об этом. Вынесут.

Конечно, вынесут, и без нас вынесут, и без ответчиков и при ответчиках. Могуча Русь, и не то еще выносила. Да и не таково назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она все решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. «Здесь терпение и вера святых», как говорится в священной книге⁵.

* * *

В то утро я только что увидал, в первый раз, объявление в газетах о выходе отдельно восьмой и последней части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией «Русского вестника», в котором печатался весь роман, с самой первой части. Всем известно было тоже, что отвергнута эта последняя, восьмая часть за разногласие ее с направлением журнала и убеждениями редакторов, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положил купить и, прощаясь с моим собеседником, спросил его о ней, зная, что ему давно уже известно ее содержание. Он засмеялся.

— Самая невиннейшая вещь, какая только может быть! — отвечал он. — Вовсе не понимаю, зачем «Русский вестник» не поместил ее. Притом же автор предоставлял им право на какие угодно оговорки и выноски, если они с ним не согласны. А потому прямо и сделали бы выноску, что, вот, дескать, автор...

Я, впрочем, не впишу сюда содержания этой выноски, предлагавшейся моим собеседником, тем более, что и высказал он ее, все еще продолжая смеяться. Но в конце он прибавил уже серьезно:

— Автор «Анны Карениной», несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположное, так как во всяком случае они всегда строго искренни. Этот переверт может и совсем не совершиться, но может совершиться и через месяц, и тогда почтенный автор с таким же задором закричит, что и добровольцев надо посылать и корпии щипать, и будет говорить все, что мы говорим...

Книжку эту я купил и потом прочел, и нашел ее вовсе не столь «невинною». И так как я, несмотря на все мое отвращение пускаться в критику современных мне литераторов и их произведений, решил непременно поговорить о ней в «Дневнике» (даже, может быть, в этом же выпуске), то и счел не лишним вписать сюда и мой разговор о ней с моим собеседником, у которого и прошу потому извинения за мою нескромность...

[...]

Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной»

У нас очень многие теперь из интеллигентных русских повадились говорить: «Какой народ? Я сам народ». В восьмой части «Анны Карениной» Левин, излюбленный герой автора романа, говорит про себя, что он *сам народ*. Этого Левина я как-то прежде, говоря об «Анне Карениной», назвал «чистый сердцем Левин». Продолжая верить в чистоту его сердца по-прежнему, я не верю, что он народ; напротив, вижу теперь, что и он с любовью норовит в обособление. Убедился я в этом, прочитав вот ту самую восьмую часть «Анны Карениной», о которой я заговорил в начале этого июль-августовского дневника моего. Левин, как факт, есть, конечно, не действительно существующее лицо, а лишь вымысел романиста. Тем не менее этот романист — огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентною Россиею человек, — этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице частью и собственный взгляд свой на современную нашу русскую действительность, что ясно каждому, прочитавшему его замечательное произведение. Таким образом, судя о несуществующем Левине, мы будем судить и о действительном уже взгляде одного из самых значительных современных русских людей на текущую русскую действительность. А это уже предмет для суждения серьезный даже и в наше столь гре-

мучее время, столь полное огромных потрясающих и быстро сменяющихся действительных фактов. Взгляд этот столь значительного русского писателя, и именно на столь интересное для всех русских дело, как всеобщее национальное движение всех русских людей за последние два года по Восточному вопросу, выразился точно и окончательно именно в этой восьмой и последней части его произведения, отвергнутой редакцией «Русского вестника» по несходству убеждений автора с ее собственными и появившейся весьма недавно отдельной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понял, заключается, главное, в том, что, во-1-х, все это так называемое национальное движение нашим народом отнюдь не разделяется, и народ вовсе даже не понимает его, во-2-х, что все это нарочно подделано, сперва известными лицами, а потом поддержано журналистами из выгод, чтоб заставить более читать их издания, в-3-х, что все добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы, в-4-х, что весь этот так называемый подъем русского национального духа за славян был не только подделан известными лицами и поддержан продажными журналистами, но и подделан вопреки, так сказать, самых основ... И наконец, в-5-х, что все варварства и неслыханные истязания, совершенные над славянами, не могут возбуждать в нас, русских, непосредственного чувства жалости и что «такого непосредственного чувства к угнетению славян *нет и не может быть*». Последнее выражено окончательно и категорически.

Таким образом, «чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся с огромным большинством русских людей. Взгляд его, впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы пригодился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлой зимой у нас в Петербурге и людям далеко не последним по общественному положению, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала. Отчего произошло столь мрачное обособление Левина и столь угрюмое отъединение в сторону — не могу определить. Правда, это человек горячий, «беспокойный», всеанализирующий и, если строго судить, ни в чем себе не верующий. Но все-таки

человек этот «сердцем чистый», и я стою на том, хотя трудно и представить себе, какими таинственными, а подчас и смешными путями может проникнуть иной раз самое неестественное, самое выделанное и самое безобразное чувство в иное в высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочем, замечу еще, что хотя и утверждают многие, и даже я сам ясно вижу (как и сообщил выше), что в лице Левина автор во многом выражает свои собственные убеждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда при том художественностью, но лицо самого Левина, так, как изобразил его автор, я все же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю. Говорю это, находясь в некотором горьком недоумении, потому что хотя очень многое из выраженного автором, в лице Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, как художественно изображенного типа, но все же не того ожидал я от такого автора!

Признания славянофила

Да, не того. Здесь я принужден выразить некоторые чувства мои, хотя и положил было, начиная с прошлого года издавать мой «Дневник», что литературной критики у меня не будет. Но чувства не критика, хотя бы и высказал я их по поводу литературного произведения. В самом деле, я пишу мой «дневник», то есть записываю мои впечатления по поводу всего, что наиболее поражает меня в текущих событиях, — и вот я почему-то намеренно предписываю сам себе придуманную обязанность непременно скрывать и, может быть, самые сильнейшие из переживаемых мною впечатлений лишь потому только, что они касаются русской литературы. Конечно, в основе этого решения была и верная мысль, но буквенное исполнение этого решения неверно, я вижу это, уже потому только, что тут буква. Да и литературное-то произведение, о котором я умолчал до сих пор, для меня уже не просто литературное произведение, а целый *факт* уже иного значения. Я, может быть, выразусь

слишком наивно, но, однако же, решаюсь сказать вот что: этот *факт* впечатления от романа, от выдумки, от поэмы совпал в душе моей, нынешней весной, с огромным фактом объявления теперь идущей войны, и оба факта, оба впечатления нашли в уме моем действительную связь между собою и поразительную для меня точку обоюдного соприкосновения. Вместо того чтоб смеяться надо мною, выслушайте меня лучше.

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский *действительно* дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслышанное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединении всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я.

Тут трунить и смеяться опять-таки нечего: слова эти старые, вера эта давнишняя, и уже одно то, что не умирает эта вера и не умолкают эти слова, а, напротив, все больше и больше крепнут, расширяют круг свой и приобретают себе новых

адептов, новых убежденных деятелей, — уж одно это могло бы заставить наконец противников и пересмешников этого учения взглянуть на него хоть немного серьезнее и выйти из пустой, закаменевшей в себе враждебности к нему. Но об этом пока доволно. Дело в том, что весною поднялась наша великая война для великого подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на все временные неудачи, отдаляющие разрешение дела, а будет-таки доведен до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полного и вожделенного конца именно в теперешнюю войну. Подвиг этот столь велик, цель войны столь невероятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена против нашего *коварства*, должна не верить тому, о чем объявили мы ей, начиная войну, и всячески, всеми силами должна вредить нам и, соединившись с врагом нашим хотя и не явным, не формальным политическим союзом, — враждовать с нами и воевать с нами, хотя бы тайно, в ожидании явной войны. И все, конечно, от объявленных намерений и целей наших! «Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства»⁶; не покорять, не приобретать, не расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забытых, дать им новую жизнь для блага их и человечества. Ведь как ни считай, каким скептическим взглядом ни смотри на это дело, а в сущности цель ведь эта, эта самая, и вот этому-то и не хочет поверить Европа! И поверьте, что не столько пугает ее предполагаемое усиление России, как именно то, что Россия способна предпринимать такие задачи и цели. Заметьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не только как за варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной *на низость и глупость* затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века крестовых походов, но даже и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий будто бы ее великой цивилизации. Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже *друзья* наши, отъявленные, формен-

ные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что *рады нашим неудачам*. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собой употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия...

Но и об этом после. Заговорил я, главное, о впечатлении, которое должны были ощутить в себе все верующие в будущее великое, общечеловеческое значение России нынешнею весною, после объявления этой войны. Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, — эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их. Это была уже не мечта, не гадание, а действительность, *начавшая совершаться*. «Если уже начало совершаться, то дойдет и до конца, до того великого нового слова, которое Россия, во главе союза славян, скажет Европе. И даже самое слово это уже начало сказываться, хотя Европа еще далеко не понимает его и долго будет не верить ему». Вот как думали «верующие». Да, впечатление было торжественное и знаменательное, и, разумеется, вера верующих должна была еще больше закалиться и окрепнуть. Но, однако же, начиналось дело столь важное, что и для них настали тревожные вопросы: «Россия и Европа! Россия обнажает меч против турок, но кто знает, может быть, столкнется и с Европой — не рано ли это? Столкновение с Европой — не то что с турками, и должно совершиться не одним мечом» — так всегда понимали верующие. Но готовы ли мы к другому-то столкновению? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у нас-то понимают ли все его? Вот мы, верующие, пророчествуем, например, что лишь Россия заключает в себе начала разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братья, без боя и без крови, без ненависти и зла, но что скажет она это слово, когда уже Европа будет залита своею кровью, так как раньше никто не услышал бы в Европе наше слово, а и услышал бы, то не понял бы его вовсе. Да, мы, верующие, в это

верим, но, однако, что пока отвечают нам у нас же, наши же русские? Нам отвечают они, что все это лишь исступленные гадания, конвульсьонерство⁷, бешеные мечты, припадки, и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов. Что же укажем мы им, пока, для подтверждения наших *пророчеств*? Освобождение ли крестьян — факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявления русской духовной силы? Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, все яснее и яснее выходящего в наше время наружу из-под всего, что давило его веками, и несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и искажает черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; нам опять ответят, что все эти факты опять-таки наше конвульсьонерство, бешеная мечта, а не факты, и что толкуются они многообразно и сбивчиво и доказательством ничему, покамест, служить не в силах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь не понимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы — сталкиваемся с Европой! Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы — эта самая Европа, эта «страна святых чудес»! Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса»⁸ и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, нам дорога эта страна — будущая мирная победа великого христианского духа, сохранившегося на Востоке... И в опасении столкнуться с нею в текущей войне, мы всего более боимся, что Европа не поймет нас и по-прежнему, по-всегдашнему, встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, все еще как диких варваров, недостойных говорить перед нею. Да, спрашивали

мы сами себя, что же мы скажем или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, по-видимому, еще так мало чего-нибудь, что могло бы быть ей *понятно* и за что бы она нас уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося «нового слова» она долго, слишком долго еще не поймет. Ей надо фактов *теперь* понятных, понятных на ее *теперешний* взгляд. Она спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас. Где *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?»

«Анна Каренина» как факт особого значения

И вот тогда же, то есть нынешней же весною, раз вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей⁹. Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, все как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою». По крайней мере, критика, вслед за публикой, отделила их особо, перед всеми остальными беллетристами, и так это пребывает уже довольно давно, — все тот же пяток, «плеяда» не расширится. Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. В этот раз было о чем говорить, война уже начиналась. Но он тотчас же и прямо заговорил об «Анне Карениной». Я тоже только что успел прочитать седьмую часть, которою закончился роман в «Русском вестнике». Собеседник мой на вид человек не восторженный. На этот раз, однако, он поразил меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнения об «Анне Карениной».

— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто

представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?

Меня поразило, главное, то в этом приговоре, который я и сам вполне разделял, что это указание на Европу как раз пришлось к тем вопросам и недоумениям, которые столь многим представлялись тогда сами собой. Книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Разумеется, возопят смеясь, что это — всего лишь только литература, какой-то роман, что смешно так преувеличивать и с романом являться в Европу. Я знаю, что возопят и засмеются, но не беспокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я сам знаю, что это пока всего лишь только роман, что это только одна капля того, чего нужно, но главное тут дело для меня в том, что эта капля уже есть, дана, действительно существует, взаправду, а стало быть, если она уже есть, если гений русский мог родить этот *факт*, то, стало быть, он не обречен на бессилие, может творить, может давать *свое*, может начать *свое* собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки. Притом это далеко не капля только. О, я и тут не преувеличиваю: я очень знаю, что не только в одном каком-нибудь члене этой плеяды, но и во всей-то плеяде не найдете того, строго говоря, что называется гениальной, творящей силою. Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь. Вся же плеяда эта (и автор «Анны Карениной» в том числе) вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще не понятого и не растолкованного. В Пушкине две главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — *всемирность* России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не

как мечтание или пророчество, но исполнена *им на деле*, заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими. Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления («Пир во время чумы»), он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может *перевоплощаться* в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многообразие национальностей и снять все противоречия их. Другая мысль Пушкина — это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый, на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немислимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, *нового* после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем, указаны им. Да к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их. «Анна Каренина» — вещь, конечно, не новая по идее своей, не неслыханная у нас доселе. Вместо нее мы, конечно, могли бы указать Европе прямо на источник, то есть на самого Пушкина, как на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русского гения и права его на величайшее мировое, общечеловеческое и всеединящее значение в будущем. (Увы, сколько бы мы ни указывали, а наших долго еще не будут читать в Европе, а и станут читать, то долго еще не поймут и не оценят. Да и оценить еще они совсем не в силах, не по скудости способностей, а потому, что мы для них совсем другой мир, точно с луны сошли, так что им даже самое существование наше допустить трудно. Все это я знаю, и об «указании Европе» говорю лишь в смысле нашего собственного убеждения в нашем

праве перед Европой на самостоятельность нашу.) Тем не менее «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше *свое* родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слышать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Я не могу пуститься здесь в литературную критику и скажу лишь небольшое слово. В «Анне Карениной» проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взяты люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление и гибнут неотразимо: как видно, мысль на любимейшую и стариннейшую из европейских тем. Но как, однако же, решается такой вопрос в Европе? Решается он там повсеместно двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека и высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общезитии. Этому выработанному кодексу повелевается следовать слепо. Кто не последует, кто преступит его — тот платит свободой, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно. «Я знаю, — говорит сама их цивилизация, — что это и слепо, и бесчеловечно, и невозможно, так как нельзя выработать окончательную формулу человечества в середине пути его, но так как другого исхода нет, то и следует держаться того, что написано, и держаться буквально и бесчеловечно; не будь этого — будет хуже. С тем вместе, несмотря на всю ненормальность и нелепость устройства того, что называем мы нашей великой европейской цивилизацией, тем не менее пусть силы человеческого духа пребывают здоровы и невредимы, пусть общество не колеблется в вере, что оно идет к совершен-

ству, пусть не смеет думать, что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накопляющеюся ложью!» Другое решение обратное: «Так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и преступления пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и смести старый порядок как бы метлой. Затем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заключают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку». Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западноевропейский мир не представляет.

Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности. Выражено это в огромной психологической разработке души человеческой, со страшной глубиной и силою, с необычным доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение, и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна

мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, *если* сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви. А чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые сами, взаимным всепрощением, сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло, овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализует всякую силу сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемым душой вместо света, — в этой картине столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и вес¹⁰, что, конечно, он воскликнет, в страхе и недоумении: «Нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам», — и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже *сознательно* отверг его. К букве, по крайней мере, не прибегнет...

Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *впоследствии* и *своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рожда-

ется сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени. Так могли бы рассудить наши, по крайней мере, европейцы, в ожидании, пока рассудят европейские европейцы...

Помещик, добывающий веру в Бога от мужика

Теперь, когда я выразил мои чувства, может быть, поймут, как подействовало на меня отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела и парадоксальная неправда, возведенная им на народ в его несчастной восьмой части, изданной им отдельно. Он просто отнимает у народа все его драгоценнейшее, лишает его главного смысла его жизни. Ему бы несравненно приятнее было, если б народ наш не подымался повсеместно сердцем своим за терпящих за веру братии своих. В этом только смысле он и отрицает явление, несмотря на очевидность его. Конечно, все это выражено лишь в фиктивных лицах героев романа, но, повторяю это, слишком видно рядом с ними и самого автора. Правда, книжка эта искренняя, говорит автор от души. Даже самые щекотливые вещи (а там есть *щекотливые* вещи) улеглись в ней совсем как бы невзначай, так что несмотря на всю их щекотливость вы их принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малейшей кривизны. Тем не менее книжку эту я все-таки считаю вовсе не столь невинною. Теперь она, разумеется, не имеет и не может иметь никакого влияния, кроме как разве поддакнет еще раз некоторой отмежеванной кучке. Но такой факт, что такой автор так пишет, очень грустен. Это для будущего грустно. А впрочем, примусь лучше за дело: мне хочется возразить, укажу на то, что меня особенно поразило.

Прежде, впрочем, расскажу про Левина — очевидно, главного героя романа; в нем выражено положительное, как бы противоположность тех ненормальностей, от которых погибли или пострадали другие лица романа, и он, видимо, к тому

и предназначался автором, чтобы все это в нем выразить. И, однако же, Левин все еще не совершенен, все еще чего-то недостает ему, и этим надо было заняться и разрешить, чтоб уж никаких сомнений и вопросов Левин более собою не представлял. Читатель впоследствии поймет причину, почему я на этом останавливаюсь, не переходя прямо к главному делу.

Левин счастлив, роман кончился к пушей славе его, но ему недостает еще внутреннего духовного мира. Он мучается вековыми вопросами человечества: о Боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. Он мучается тем, что он не верующий и что не может успокоиться на том, на чем все успокаиваются, то есть на интересе, на обожании собственной личности или собственных идолов, на самолюбии и проч. Признак великодушия, не правда ли? Но от Левина и ожидать нельзя было меньше. Оказывается кстати, что Левин много прочитал: ему знакомы и философы, и позитивисты, и просто естественники. Но ничто не удовлетворяет его, а, напротив, еще больше запутывает, так что он, в свободное по хозяйству время, убегает в леса и рощи, сердится, даже не столь ценит свою Кити, сколько бы надо ценить. И вот вдруг он встречает мужика, который, передавая ему о двух, различных нравственною стороною своею мужиках, Митюхе и Фоканыче, выражается так:

— ...Митюхе как не выручить! Этот нажмет да свое выберет. Он крестьянина не пожалеет, а дядя Фоканыч разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где и спустит. Ан и не доберет, тоже человеком.

— Да зачем же он будет спускать?

— Да так, значит — люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, — а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.

— Известно как, по правде, по-Божью. Ведь люди разные. Вот хоть Вас взять, тоже не обидите человека.

— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому.

.....

Он, впрочем, побежал опять в лес, лег под осинами и начал думать почти в каком-то восторге. Слово было найдено, все вековые загадки разрешены, и это одним простым словом мужика: «Жить для души, Бога помнить». Мужик, разумеется, не сказал ему ничего нового, все это он давно уже сам знал; но мужик все же навел его на мысль и подсказал ему решение в самый щекотливый момент. За сим наступает ряд рассуждений Левина, весьма верных и метко выраженных. Мысль Левина та: к чему искать умом того, что уже дано самую жизнью, с чем родится каждый человек и чему (поневоле даже) должен следовать и следует каждый человек. С совестью, с понятием о добре и зле каждый человек рождается, стало быть, рождается прямо и с целью жизни; жить для добра и не любить зла. Рождается с этим и мужик и барин, и француз и русский и турок — все чтут добро (NB. хотя многие ужасно по-своему). Я же говорит Левин, хотел все это познать математикой, наукой, разумом, или ждал чуда, между тем это дано мне даром, рождено со мною. А что оно дано даром, то этому есть прямые доказательства: все на свете понимают или могут понять, что надо *любить ближнего как самого себя*. В этом знании, в сущности, и заключается весь закон человеческий, как и объявлено нам самим Христом. Между тем это знание прирожденно, стало быть, послано даром, ибо разум ни за что не мог бы дать такое знание, — почему? да потому, что «любить ближнего», если судить по разуму, выйдет неразумно.

— Откуда взял я это? (спрашивает Левин). Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я *радостно поверил*, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно.

Далее представилась Левину недавняя сцена с детьми. Дети стали жарить малину в чашках на свечах и лить себе молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, стала им внушать, что если они испортят посуду и разольют молоко, то не

будет у них ни посуды, ни молока. Но дети, очевидно, не поверили, потому что не могли себе и представить «всего объема того, чем они пользуются, а потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут».

«Это все само собой, — думали они, — интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет. И всегда все одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово; а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем не хуже, чем пить из чашек».

«Разве не то же самое делаем мы, делал я, разумом отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека?» — продолжал Левин.

«И разве не то же делают все теории философские, путем мысли странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без того и жить бы не мог. Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его, главный смысл жизни и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно».

Ну-ка, пустить одних детей, чтоб они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином Боге и Творце! Или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного».

Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь!

Мы только разрушаем, потому что духовно сыты. Именно дети!»

Одним словом, сомнения кончились, и Левин уверовал, — во что? Он еще этого строго не определил, но он уже верует. Но вера ли это? Он сам себе радостно задает этот вопрос: «Неужели это вера?» Надобно полагать, что еще нет. Мало того: вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера. Левин любит себя называть народом, но это барич, московский барич средне-высшего круга, историком которого и был по преимуществу граф Л. Толстой. Хоть мужик и не сказал Левину ничего нового, но все же он его натолкнул на идею, а с этой идеи и началась вера. Уж в этом-то одном Левин мог бы

увидать, что он не совсем народ и что нельзя ему говорить про себя: я сам народ. Но об этом после. Я хочу только сказать, что вот эти, как Левин, сколько бы ни прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются, мало того — во многих пунктах так и не поймут его никогда вовсе. Мало одного самомнения или акта воли, да еще столь причудливой, чтоб захотеть и стать народом. Пусть он помещик, и работающий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит и телегу запрячь умеет, и знает, что к сотовому меду огурцы свежие подаются. Все-таки в душе его, как он ни старайся, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайством* — тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое, как он ни крепись, а все же досталось ему по наследству и которое, уж конечно, видит во всяком барине народ, благо не нашими глазами смотрит. Но и об этом потом. А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок, и разом все рухнет. Кити пошла и споткнулась, так вот зачем она споткнулась? Если споткнулась, значит, и не могла не споткнуться; слишком ясно видно, что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно, что все тут зависело от законов, которые могут быть строжайше определены. А если так, то, значит, всюду наука. Где же промысел? Где же роль его? Где же ответственность человеческая? А если нет промысла, то как же я могу верить в Бога, и т. д. и т. д. Берите прямую линию и пустите в бесконечность. Одним словом, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе он не был бы современным русским интеллигентным барином, да еще средне-высшего дворянского круга.

Он доказывает это блистательно всего какой-нибудь час спустя по приобретении веры; он доказывает, что русский народ вовсе не чувствует того, что могут чувствовать вообще люди, он разрушает душу народа самым всевластным образом, мало того, — объявляет, что сам не чувствует никакой жалости к человеческому страданию. Он объявляет, что «непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть» — то есть не только у него, но и у всех русских не может быть: я,

дескать, сам народ. Слишком уже они дешево ценят русский народ. Старые, впрочем, оценщики. Не прошло и часу по приобретении веры, как пошла опять жариться малина на свечке.

[...]

С е н т я б р ь

Ложь ложью спасается

Однажды Дон-Кихот, столь известный рыцарь печального образа, самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей, скитаясь со своим верным оруженосцем Санчой в погоне за приключениями, вдруг был объят некоторым недоумением, которое заставило его долго думать. Дело в том, что часто великие древние рыцари, начиная с Амадиса Галльского¹, истории которых уцелели в правдивейших книгах, именуемых рыцарскими романами (для приобретения коих Дон-Кихот не пожалел продать несколько лучших акров своего маленького поместья), — часто эти рыцари, во время полезных всему миру и славных странствований своих, встречали вдруг и неожиданно целые армии, во сто даже тысяч воинов, насылаемых на них злою силою, злыми волшебниками, им завидовавшими и мешавшими им всячески достигнуть великой цели их и соединиться наконец с их прекрасными дамами. Обыкновенно происходило так, что рыцарь, встречая такую чудовищную и злоую армию, обнажал свой меч, призывал в духовную помощь себе имя своей дамы и затем врубался один в самую середину врагов, которых и уничтожал всех, до единого человека. Кажется бы, дело ясное, но Дон-Кихот вдруг задумался, и над чем же: ему показалось вдруг невозможным, чтобы один рыцарь, какой бы он силы ни был и даже если бы махал своим победоносным ме-

чом целые сутки без всякой усталости, мог зараз уложить сто тысяч врагов, и это в одном сражении. Чтобы убить каждого человека, нужно все-таки время, чтобы убить сто тысяч людей, нужно огромное время, и как ни махай мечом, а в несколько каких-нибудь часов, и зараз, одному этого не сделать. Между тем в этих правдивых книгах повествуется, что дело кончалось именно в одно сражение. Как же это могло происходить?

— Я разрешил это недоумение, друг мой Санчо, — сказал наконец Дон-Кихот. — Так как все эти великаны, все эти злые волшебники, были нечистая сила, то и армии их носили такой же волшебный и нечистый характер. Я полагаю, что эти армии состояли не совсем из таких же людей, как мы, например. Люди эти были лишь наваждение, создание волшебства, и, по всей вероятности, тела их не походили на наши, а были более похожи на тела, как, например, у слизняков, червей, пауков. Таким образом, крепкий и острый меч рыцаря, в могучей его руке, упавая на эти тела, проходил по ним мгновенно, почти без всякого сопротивления, как по воздуху. А если так, то действительно он мог одним взмахом пройти по трем или по четырем телам, и даже по десяти, если те стояли в тесной куче. Понятно после того, что дело чрезвычайно ускорялось, и рыцарь действительно мог истреблять, в несколько часов, целые армии этих злых арапов и других чудовищ...

Здесь подмечена великим поэтом и сердцеведом одна из глубочайших и таинственнейших сторон человеческого духа. О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице. Взять уже то, что этот Санчо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой середины, попал в друзья и спутники к самому сумасшедшему человеку в мире; именно он, а не кто другой! Все время он обманывает его, надувает как ребенка и в то же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован величиною сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого рыцаря и ни разу, во все время, не со-

мневается, что тот завоюет ему наконец остров! Как бы желалось, чтоб с этими великими произведениями всемирной литературы основательно знакомилось наше юношество. Чему учат теперь в классах литературы — не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно возвысило бы душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу середины, вседозвольному самомнению и пошлому благоразумию. Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара — именно: *генія*, чтоб управлять всем богатством этих даров и всем могуществом их, — управлять и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но *генія*, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества — на свист и смех и на побиение камнями, единственно за то, что те, в роковую минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их *новое слово*, это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле чистое и верующее сердце его...

Впрочем, я хотел только указать на ту любопытнейшую черту, которую, вместе с сотней других таких же глубоких на-

блюдений, подметил и указал Сервантес² в сердце человеческого. Самый фантастический из людей, до помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти колебавшее всю его веру. И любопытно, что могло поколебать: не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые о них рассказаны в «правдивейших книгах», нет, а самое, напротив, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастический человек вдруг *затосковал о реализме!* Не акт появления волшебных армий смущает его: о, это не подвержено сомнению, и как же бы могли эти великие и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если б не посылались на них все эти испытания, если б не было завистливых великанов и злых волшебников? Идеал странствующего рыцаря столь велик, столь прекрасен и полезен и так очаровал сердце благородного Дон-Кихота, что отказаться верить в него совсем уже стало для него невозможностью, стало равносильно измене идеалу, долгу, любви к Дульцинее и к человечеству. (Когда он отказался, когда он излечился от своего помешательства и поумнел, возвратясь после второго своего похода, в котором он был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком, он тотчас же умер, тихо, с грустной улыбкою, утешая плачущего Санчо, любя весь мир всею великою силой любви, заключенной в святом сердце его, и понимая, однако, что ему уже нечего более в этом мире делать.) Нет, но смутило его лишь то, самое верное, однако, и математическое соображение, что как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию во сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека. Между тем в правдивых книгах это написано. Стало быть, написана ложь. А если уж раз ложь, то и все ложь. Как же спасти *истину?* И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч наважденных людей с телами слизняков, но

зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим. *Реализм*, стало быть, удовлетворен, *правда спасена*, и верить в первую, в главную мечту, можно уже без сомнений — и все, опять-таки, единственно благодаря второй, уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения *реализма* первой.

Спросите самих себя: не случилось ли с Вами сто раз, может быть, такого же обстоятельства в жизни? Вот Вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь факт, поразивший Вас, женщину, наконец, околдовавшую Вас. Вы устремляетесь за предметом любви Вашей всеми силами Вашей души. Правда, как ни ослеплены Вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви Вашей ложь, *наваждение*, что-нибудь такое, что Вы сами преувеличили и исказили в нем Вашей страстностью, Вашим первоначальным порывом — единственно, чтоб сделать из него Вашего идола и поклониться ему, — то уж, разумеется, Вы втайне это чувствуете про себя, сомнения тяготит Вас, дразнит ум, ходит по душе Вашей и мешает жить Вам покойно с излюбленной Вашей мечтой. И что ж, не помните ли Вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чем Вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли Вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может быть, грубой, но которой Вы с любовью поспешили поверить, потому только, что она разрешала первое сомнение Ваше?

[...]

**Легкий намек на будущего интеллигентного
русского человека. Несомненный удел
будущей русской женщины**

Есть теперь странные недоумения и странные заботы. Положительно есть русские люди, *боящиеся* даже русских успехов и русских побед. Не потому боятся они, что желают зла русским,

напротив — они скорбят о всякой русской неудаче сердечно, они хорошие русские, но они боятся и удач, и побед русских, — «потому-де, что явится после победоносной войны самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой»³. Но вся ошибка этих добрых людей в том, что они всегда видели русский прогресс единственно в самооплевании. Да самонадеянность-то нам, может быть, и всего нужнее теперь! Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание. Не беспокойтесь: застоя не будет. Война осветит столько нового и заставит столько изменить старого, что вы бы никогда не добились того самооплеванием и поддразниванием, которые обратились в последнее время лишь в простую забаву. Зато обнаружится и многое такое, что прежде считалось даже умниками-обличителями нашими лишь мелочью, смешными пустяками и даже последним делом, но что, однако же, составляет главнейшую нашу сущность дела во всем. Да и не нам, не нам предаваться шовинизму и самопоению! Где и когда это случалось в русском обществе! Утверждающие это просто не знают русской истории. О нашем самопоении много говорили после Севастополя: самоуверенность-де нас тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество не было у нас менее самоуверенно и даже более в разложении, как в эпоху перед Севастополем.

Кстати замечу: из писавших о нашем самопоении и дразнивших нас им после Севастополя было несколько новых молодых писателей, обративших тогда на себя большое внимание общества и возбудивших в нем горячее сочувствие к их обличениям. И, однако, к этим истинно желавшим добра обличителям присоединилось тогда тотчас же столько нахального и грязного народу, явилось столько свистопляски, столько людей, совсем не понимавших, в чем сущность дела, а между тем воображавших себя спасителями России, мало того — явилось в их числе столько даже откровенных врагов России, что они, под конец, сами повредили тому делу, к которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имели успех, единственно потому, что чистые сердцем русские люди, действительно жаждавшие тогда повсеместно обновления и

нового слова, не разобрали в них негодяев, людей бездарных и без убеждений, и даже продажных. Напротив, думали, что они-то и за Россию, за ее интересы, за обновление, за народ и общество. Кончилось тем, что огромное большинство русских людей наконец разочаровалось и отвернулось от них, — а затем уж пришли биржевики и железнодорожники...⁴ Теперь этой ошибки, кажется, не повторится, потому что несомненно явятся новые люди, уже с новою мыслью и с новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за старым. Не побоятся и умников: они будут скромны, но будут уже многое знать, по опыту и уже на деле, из того, что и не снилось мудрецам нашим⁵. По опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ. Это-то познание они уж наверно принесут с собой, и в нем-то и будет состоять их главная точка опоры. Они не станут сваливать всех наших бед и всех *неумений* наших единственно лишь на свойства русского человека и русской природы, что обратилось уже в казенный прием у наших умников, потому что это и покойно и ума не требует. Они первые засвидетельствуют собою, что русский дух и русский человек в этих ста тысячах взваленных на них обвинений не виноваты нисколько, что там, где только есть возможность прямого доступа русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не хуже другого. О, эти новые люди поймут наконец, несмотря на всю свою скромность, как часто наши умники, даже и чистейшие сердцем и желающие истинной пользы, — садились между двух стульев, желая отыскать корень зла. К этим-то новым людям, которые несомненно явятся после войны, примкнет много живых сил из народа и русской молодежи. Они и до войны уже объявлялись, но мы все еще их не могли тогда заметить, и когда мы все здесь ожидали увидеть лишь зрелища цинизма и растреления, они там явили зрелище такого сознательного самоотвержения, такого искреннего чувства, такой полной веры в то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здесь лишь дивились: откуда взялось все это? Некоторые иностранные корреспонденты иностранных газет упрекали некоторых русских офицеров за то,

что они самолюбивы, карьеристы, рвутся к отличиям, забывая главную цель: любовь к родине и к тому делу, которому взялись служить⁶. Но если и есть у нас такие офицеры, то все же этим корреспондентам недурно было бы узнать и о той молодежи или о тех, незаметных даже по чину своему офицерах, скромных слугах Отечества и правого дела, которые умирали вместе со своими солдатами доблестно, с полным самоотвержением, вовсе уже не для награды, не для красоты и не для карьеры, а потому только, что были великие сердца, великие христиане и *незаметные* великие русские люди, которых так много, чуть не до последнего солдата, в нашей войске. Заметьте тоже, что, говоря о грядущем новом человеке, я вовсе не указываю лишь на одних наших воинов, в ожидании того, когда они воротятся. Явятся и бесчисленные другие — *все те, которые прежде так жаждали верить в русского человека*, но не могли проявиться и идти против всеобщего, царившего наружу, отрицания и пессимизма. Но теперь, созерцая, с какой *верой в свои силы* проявился русский человек *там*, они поневоле ободряются и поверят, что есть настоящие русские силы и здесь: откуда тамошние-то взялись, как не отсюда же? А ободрившись, сплотятся и скромно, но твердо примутся уже за настоящее дело, не боясь ничьих громких и звонких слов. И все таких старых, старых слов! А умные старички наши все еще до сих пор уверены, что они-то и есть самые новые и *молодые* люди и что говорят самые новые слова!

Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины. После нынешней войны, в которую так высоко, так светло, так свято проявила себя наша русская женщина⁷, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе, который несомненно ожидает ее между нами. Наконец-то падут вековые предрассудки, и «варварская» Россия покажет, какое место отведет она у себя «матушке» и «сестрице» русского солдата, самоотверженнице и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли женщине, столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать в полном равенстве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по

должностям, тогда как на нее-то мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее, в духовном обновлении и в нравственном возвышении нашего общества! Это уже будет стыдно и неразумно, тем более, что не совсем от нас это и зависеть будет теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей место, сама перешагнула те ступени, где доселе ей полагался предел. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. Впрочем, говоря так, я говорю про *русскую женщину*, а не про тех чувствительных дам, которые кормили турок конфетами. В доброте к туркам, конечно, нет худа, но все же ведь это не то, что совершили там *те женщины*. А потому *эти* всего только русские *старые* барыни, а те — *новые* русские женщины. Но и не про тех одних женщин говорю я, которые там подвизаются в деле Божиим и в служении человечеству; те своим появлением только доказали нам, что в русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение, — потому что, опять-таки, откуда же те-то взялись, как не отсюда же? Но о русской женщине и о несомненном ближайшем жребии ее в нашем обществе я хотел бы поговорить побольше и особо, а потому и возвращусь еще к этой теме в следующем, октябрьском «Дневнике» моем.

[...]

О к т я б р ь

Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?

Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор толкуют) о самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время заседания окружного суда, четверть часа спустя после

прослушания им обвинительного над ним приговора присяжных¹. А потому я думаю, что все читатели «Дневника» уже знают более или менее об этом чрезвычайном и трагическом происшествии и подробно объяснять его мне уже нечего. Общий смысл в том, что человек, в значительном чине и круга высшего, сходится с бывшим портным, а потом процентщиком и дисконтером² Занфтлебенем, и не потому только, что принужден был занимать у него деньги, а даже как бы и дружественно, принимает, например, на себя обязанность его душеприказчика, и, по-видимому, очень охотно. Затем, по смерти Занфтлебена, происходит несколько вопиющих вещей: пропадает вексельная книга неизвестно куда; векселя, бумаги и документы, с совершенным нарушением порядка, предписанного законом, отвозятся Гартунгом к себе на квартиру. Гартунг, как оказывается, вступает в соглашение с одной частью наследников в ущерб другой (хотя, может быть, и не подозревает того сам). Затем к нему врывается один из наследников, и бедному душеприказчику уже на деле приходится узнать, что он попал в такое общество, в какое и не ожидал. Затем начинаются обвинения уже прямо — в краже векселей, вексельной книги, в переписке векселей, в исчезновении документов с лишком на сто или даже на двести тысяч рублей имущества... Затем начинается суд. Прокурор даже рад суду и тому, что генерал сидит рядом с простолюдином и тем дает повод русской Фемиде произнести торжество равенства перед законом сильных и высших с малыми и ничтожными³.

Суд, однако же, идет весьма нормальным порядком (что бы ни говорили об этом), и в конце концов присяжные выносят почти неминуемое обвинение, в том числе и о Гартунге, смысл которого: «виновен и похитил». Суд удаляется составить приговор, но генерал Гартунг дожидаться его не захотел: выйдя в другую комнату, он, говорят, сел к столу и схватил обеими руками бедную свою голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собой и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце.

На нем нашли тоже заранее заготовленную записку, в которой он «клянется *всемогущим Богом*, что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает». Таким образом, он умер в сознании своей невинности и в сознании своего джентльменства.

И вот эта-то смерть и взволновала всех в Москве и все газеты во всей России. Говорят, и судьи и прокурор вышли из своих комнат совсем бледные. Присяжные, говорят, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже об «очевидно несправедливом решении», и одни из них замечали, что наши суды нельзя уже теперь обвинять за мягкие и потворствующие приговоры: «Вот, дескать, пример: пал невинный». Другие справедливо заметили, что таким торжественным и последним словам человека на земле почти невозможно не верить, а, стало быть, почти несомненно можно заключить, что произошла плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо признаться, некоторые из отзывов газет были странны: слышалась какая-то фальшь, может быть, горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тут скорее трагедия (преглубокая), фатум русской жизни, чем с которой-нибудь стороны ошибка. Или, лучше сказать, тут все виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентного общества, и характеры, в этом обществе выровнявшиеся и создавшиеся, наконец, нравы и обычаи наших заимствованных и недостаточно обрусевших молодых судов. Но ведь когда все огулом виноваты, значит, порознь нет никого виновного. Из всех газетных отзывов мне всего более понравился отзыв «Нового времени». Я накануне как раз говорил с одним из наших тонких юристов⁴ и знатоков русской жизни, и оказалось, что насчет этого дела у нас один и тот же вывод, причем мой собеседник весьма метко указал на «трагизм» этого дела и на причины трагизма. На другой день, в фельетоне Незнакомца, я прочел очень многое весьма похожее на то, о чем мы только что говорили накануне⁵. А потому, если и скажу теперь несколько слов, то лишь в частности и «по поводу».

Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменом

Дело в том, что старые характеры еще не перевелись, и, кажется, еще долго не переведутся, потому что на все надобен срок и везде природа. Я говорю о характерах нашего интеллигентного общества. Здесь, впрочем, настойчиво и с упором замечу: что и нехорошо было бы, если б мы вдруг как флюгера изменялись, потому что самая противная вещь в наших интеллигентных характерах именно это свойство легковесности и бессодержательности. Она напоминает что-то лакейское, лакея, рядящегося в барское платье. Одно из свойств, например, нашего джентльменничанья, если мы почему-нибудь раз прикоснулись к богатым и знатным, и особенно если к ним проникли, — это *представительность*, потребность обставить себя широко. Заметьте, я лично о Гартунге не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его биографии; я только хочу отметить несколько штрихов всем известного характера нашего интеллигентного человека, говоря вообще, и с которым, при известных обстоятельствах, могло бы случиться точь-в-точь то же самое, что и с генералом Гартунгом. Человек, например, ничтожный, в малом чине, без гроша в кармане, вдруг попадает в высшее общество или хоть почему-либо соприкоснется с ним. И вот у бедняка, ничего не имевшего, кроме способности профильтроваться в высшее общество, вдруг является своя карета, квартира, в которой «возможно» жить, лакеи, костюмы, перчатки. Может быть, он хочет сделать карьеру, выбиться в люди, но чаще всего бывает так, что просто подражать хочет: все, дескать, так живут, как же я-то? Тут какой-то в нем стыд, которого никак нельзя пересилить, одним словом: честь и порядочность понимаются как-то странно, собственного же достоинства не оказывается никакого. В параллель этому непониманию такой первой вещи, как чувство собственного достоинства, можно поставить, мне кажется, лишь

непонимание, чуть не всем интеллигентным европейским веком нашим, свободы, в чем состоит она, — но об этом потом. Вторая и опять-таки почти трагическая черта нашего русского интеллигентного человека — это его податливость, его готовность на соглашение. О, есть множество кулаков, биржевиков, противных, но стойких мерзавцев; есть даже и хорошие стойкие люди, но их мало ужасно, в большинстве же порядочных русских людей царит именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не от добродушия, равно как далеко не от трусости, а так, деликатность какая-то или неизвестно уж что тут. Сколько раз Вам, например, приходилось в разговоре с упорным, например, человеком, налегавшим на Вас и требовавшим Вашего отзыва, согласиться и уступить Ваше мнение или Ваш даже голос в каком-нибудь заседании, хотя Вы, может быть, внутри себя и вовсе бы того не желали. Увлекает тоже очень русского человека слово *все*: «я как и все», — «я с общим мнением согласен», — «все идем, ура!». Но есть тут и еще странность: русский человек сам себя обольстить, прельстить, увлечь и уговорить очень любит. И не хочется ему сделать то и то, пойти, например, в душеприказчики к Занфтлебену, но уговорит себя: «Что ж, дескать, такое, пойду...»

Бывают в этом слое интеллигентных русских людей типы, с некоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно с этими несчастными свойствами русского джентльменства, на которые я сейчас намекал. Иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание «дел» придает им почти нечто трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг, если, по своему мнению, потеряет честь. Может быть, их даже довольно и числом. Но вряд ли эти люди знают, например, когда-нибудь сумму своих долгов. И не то чтоб все они были кутилы, иные, напротив, прекрасные мужья и отцы, но деньги можно мотать и кутиле и прекрасному отцу. Весьма многие из них входят в жизнь со слабыми остатками прежних родовых имений, которые быстро улетучиваются в первые же дни юности.

Затем брак, затем чин и хорошее казенное местечко, которое так себе, а все же дает какой-нибудь доход и основание в жизни, нечто уже солидное, в противоположность великосветскому бродяжеству в прежнюю жизнь. Но долги идут беспрерывно, он, конечно, платит их, потому что он джентльмен, но платит новыми долгами. Положительно можно сказать, что многие из них, обдумывая в иную минуту свое положение про себя, наедине, могли бы смело и с великим благородством произнести: «Мы ничего не похищали и ничего не хотим похитить». Между тем вот какая тут мелкая черточка может даже произойти: при случае (ну очень понадобилось) он способен взять займы даже у няньки детей своих какие-нибудь накопленные ею 10 рублей. Да что же такое, помилуйте, почему же нет? Притом старушка-нянька, весьма часто, есть обжившийся близкий и интимный в доме человек. Она почти член семьи, ее ласкают, ей даже самые важные ключи на хранение передают. Добрый генерал, ее барин, давно уже обещал ей место в богадельне на старость, да вот только дела-то эти все мешают ему позаботиться, а давно бы надо там о ней словечко замолвить. А нянька так и напомнить страшится, напоминает разве один разик в год о богадельне, все трепещет досадить такому нервному и обеспокоенному всегда человеку, как ее генерал. «Добрые ведь они, сами вспомнят», — думает она подчас, укладывая в постель свои старые кости; о 10-ти же рублях и напомнить так даже стыдится, у ней своя совесть есть, у старушки. И вот вдруг умирает генерал, и — ни места у старушки, ни десяти рублей. Все это, разумеется, пустяки и мелочь страшная, но если бы вдруг на том свете напомнили генералу, что нянька-то ведь 10-ти рублей не получила, то он бы страшно покраснел: «Какие десять рублей? Неужто! Ах да, ведь в самом деле, года четыре назад! Mais comment, comment*, и как это могло случиться!» И этот долг мучил бы его сильнее, чем иной даже десятитысячный, оставленный им на земле! Ему было бы ужасно как стыдно: «О, поверьте, я не хотел того, поверьте, что я даже не думал о том, забыл думать!» Но бедного

* Но как, как (франц.).

генерала слушали бы там только ангелы (так как он наверно попал бы в рай), а нянька все-таки осталась бы без десяти рублей на земле, и жалко ей их иногда, старушке: «Ну да Бог с ними, грех поминать этим, а человек были самый драгоценный, самый как ни на есть праведный барин».

И вот что еще: если бы этот прелестный человек как-нибудь опять очутился на земле и воплотился в прежнего генерала — отдал бы он 10 рублей няньке или нет?

Но не все ведь они занимают. Вот приятель, благо-роднейший Иван Петрович, просит его выдать ему векселей тысяч на шесть: заложу, дескать, в банк, где я состою, и дисконтирую, а вот тебе, дражайший друг, встречные на шесть тысяч. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича он часто встречает потом в клубе, оба забыли, разумеется, и думать о выданных векселях, потому что оба суть самый цвет, так сказать, порядочных людей в нашем обществе, и вдруг, через шесть месяцев, все шесть тысяч падают на плечи генералу: «Извольте, дескать, платить, Ваше превосходительство». Ну вот тут и бросаются к людям как Занфтлебен и пишут документы, в сто на сто.

Поверьте опять-таки, что я, в изображении моем, ни одной чертой не претендую обличать покойного генерала Гартунга: я его совсем не знал и ничего не слышал о нем лично. Я только имел претензию чуть-чуть начертить характер одного из членов этого общества, но который, однако, если б попался в такую же передрагу, как генерал Гартунг к Занфтлебену, то с ним могло бы произойти совершенно то же самое, как и с Гартунгом, до самоубийства включительно. А потому, мне кажется, в деле Гартунга нечего ни стыдить суд, ни стыдиться суду. Тут ведь фатум, трагедия: генерал Гартунг до самой последней минуты своей считал себя не виновным и оставил записку...

— Да, но ведь вот, однако ж, эта записка, — скажут другие. — Ведь невозможно же, чтобы в такую минуту человек, да еще верующий, как оказывается, мог солгать. Значит, он ничего не похитил, коли так торжественно заявил, что не похитил. Да и сделки тут никакой не могло быть у него даже с совестью:

как бы ни был шаток и затемнен смысл человека всей этой путаницей, но уж коли он говорит «я не похитил», то он не может не знать: «похитил он или не похитил?» Это ведь просто дело рук человеческих. Тут просто вопрос: клал в карман или не клал? Как же он мог не знать, если б положил?

Это совершенно справедливо, но вот ведь что может тут быть, и даже наверно: ведь он написал только про одного себя: «Я, дескать, ничего не похитил, и не думал о похищении», — но ведь могли похитить другие.

— Совершенно невозможно, — возразят мне. — Если он дал похитить другим и, зная о том как опекун, смолчал, то, стало быть, *и он похитил* с другими! Генерал Гартунг не мог не понимать, что тут нет разницы.

Отвечу: во-первых, можно еще оспорить аргумент, что «если знал и дал похитить, то, стало быть, и он похитил», а во-вторых, тут несомненно есть разница. А в-третьих, генерал Гартунг мог именно написать в этом лишь буквальном смысле, о котором мы говорим: «То есть я, дескать, лично не брал и *не хотел* брать ровно ничего, сделали другие и против моей воли. Я виновен лишь в слабости, но не в мошенничестве, потому что сам ничего не хотел брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сделали другие...» Он именно мог написать в этом смысле свои роковые слова, но в то же время, будучи столь честен и благороден, ни за что не мог бы согласиться, что «коли попустил украсть, значит, сам украл». Он к Богу шел, и он знал, что не хотел ни украсть, ни попустить, а так само укралось. Да к тому же заметьте, он никак бы и не мог разъяснить в этой записке свои слова пошире: то есть что виновен в послаблении, а не в похищении и проч. Не мог же он, джентльмен, доносить на других, — особенно в такую торжественную минуту, в которую он «простил врагам своим».

А наконец, и это всего вероятнее, он, может быть, не мог в своем сердце сознаться даже и в послаблении, в слабости, в добродушном поущении. Тут, может быть, была такая сеть обстоятельств, которую он до самой последней минуты, включительно, осмыслить не мог, с тем и ушел на тот свет.

«Похищена-де вексельная книга» — и вот толковые люди, которым он вполне доверяется, убеждают его в самом начале, что ведь это просто пустяки, пропала сама как-нибудь, потому что ведь никому она и не нужна. Они выводят ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вред, а не к пользе самим даже наследникам. (Ведь этот самый аргумент представляла же на суде потом защита, и, кажется, он был справедлив.) В этом смысле могло быть и все остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Ведь он дел не знал, и его можно было убедить во всем. «Поверьте, дескать, мы тоже благородные люди, мы, как и вы, не хотим похитить ничего у наследников, но дела-то у Занфтлебена остались в таком щекотливом виде, что если там они (наследники) узнают теперь про вексельную книгу и все это, то могут прямо нас обвинить в мошенничестве, а потому надо скрыть от них». Эти «беспорядки Занфтлебена», разумеется, открывались не вдруг, а постепенно, так что Гартунг узнавал истину или, лучше сказать, терял истину и втягивался в ложь каждый день постепенно. И вот вдруг к нему прямо врывается один из наследников, и если не кричит, что генерал Гартунг вор, то ведь все равно что кричит: он ведь вошел с торжеством, с победоносной и злой улыбкой и уж вполне уверенный, что теперь смеет сделать в квартире генерала всякую пакость. И тут только генерал вполне узнал, в какую трущобу забился. Потом он совсем потерялся, он стал предлагать компромиссы, сделки и запутал, конечно, себя еще более, а обвиняющая сторона жадно вцепилась в новые компрометирующие его факты насчет компромиссов и сделок. Все пошло в дело. Одним словом, Гартунг умер в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки... судебной ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия: слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за пороки, столь распространенные в его обществе. Таких, как он, может быть, 10 000, но погиб один Гартунг. Невинный и высокочестный этот человек, со своей трагической развязкой, конечно, мог возбудить наибольшую симпатию, из всех этих деся-

ти тысяч, а суд над ним приобрести наибольшую огласку по России для предупреждения «порочных»; но вряд ли судьба, слепая богиня, на это именно рассчитывала, поражая его.

[...]

Н о я б р ь

Что значит слово: «стриючкие»?

В два года издания моего «Дневника» я, раза два-три, употребил малоизвестное слово «стриючкие»¹ и получил несколько запросов из Москвы и из губерний: «Что значит слово «стриючкие»? Извиняюсь, что не ответил никому до сих пор: все хотел как-нибудь между строчками, ответить в «Дневнике». Теперь, заканчивая «Дневник», отведу несколько строк и непонятному петербургскому словцу, и если начинаю с этой мелочи первую страницу ноябрьского выпуска, то именно потому, что, откладывая на последнюю страницу, как прежде делывал, почти всегда не находил свободного места для «стриючких» из-за других тем, и каждый раз приходилось откладывать объяснение опять до следующего выпуска.

Слово «стриючкий, стрючкие» есть слово простонародное, употребляющееся единственно в простом народе и, кажется, только в Петербурге. Так что это слово, кажется, и изобретено в Петербурге. Пишу: *кажется*, потому что сколько ни расспрашивал людей «компетентных», не мог ни от кого добиться: откуда оно взялось, почему так сложились звуки его, употребляется ли оно хоть где-нибудь в России кроме Петербурга и, наконец, — действительно ли в Петербурге оно изобретено? Что до меня, то мне опять-таки «кажется» (утвердительно не могу выразиться), что слово это есть слово чисто петербургское и изобретено собственно петербургским про-

стонародьем, но кем, когда, давно ли? — не знаю. Означает же оно, по неоднократным расспросам моим у народа и сколько я понял, следующее:

«Стрюцкий» — есть человек пустой, дрянной и ничтожный. В большинстве случаев, а может быть и всегда, — пьяница-пропойца, потерянный человек. Кажется, впрочем, стрюцкий мог бы быть назван, в иных случаях, и не пьяница. Но главные свойства этого пустого и дрянного пьянчужки, заслужившие ему особое наименование, выдумку целого нового слова, — это, во-первых, пустоголовость, особого рода вздорность, безмозглость, неосновательность. Это крикливая ничтожность. Кричат вечером в праздник на улице пьяные; слышен спор, исступленный зов городского; в сбившейся в кучу толпе ясно отличается чей-то протестующий, вызывающий, жалующийся и угрожающий голос. Много напускного гнева. Вы подходите, осведомляетесь, что такое? В ответ смеются, махают рукой и отходят: «Пустяки, стрюцкие!» Слово «стрюцкие» произносится при этом с пренебрежением, с презрением. Всегда с презрением, и если б действительно этот кричащий человек был прибит или обижен, то и тут, кажется, не нашел бы сочувствия, а только презрение, потому что он лишь «стрюцкий», то есть все в нем вздор, и что кричит он — и то все вздор, и что прибили его — и то вздор, самый «нестоящий человек», какой есть. Прибавлю, что стрюцкие большею частью в худом платье, одеты не по сезону, в прорванных сапогах. Прибавлю тоже, что, «кажется», стрюцким обзывается только тот, кто в немецком платье. Впрочем, не ручаюсь, но, кажется, это так.

Второй существенный признак пьяницы-пропойцы, называемого «стрюцким», кроме вздорности и неосновательности его, — есть недостаточно определенное положение его в обществе. Мне думается, что человек, имеющий деньги, дом или какое-нибудь имение, мало того, имеющий чуть-чуть твердое и определенное место, хотя бы и рабочим на фабрике, не мог бы быть назван «стрюцким». Но если у него есть и заведение, лавка, лавочка или что-нибудь, но ведет он все это неосновательно, как-нибудь, без расчета, то он может попасть

в стрючкие. Итак, «стриюцкий» — это ничего не стоящий, не могущий нигде ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающий человек, в пьяном виде часто рисующийся фанфарон, крикун, часто обиженный и всего чаще потому, что сам любит быть обиженным, призыватель городского, караула, властей — и все вместе пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий презрительный смех: «Э, пустое, стрюцкий».

Повторяю, мне кажется, это слово есть исключительно петербургское. Но употребляется ли в других местах России — не знаю. В простонародье в Петербурге оно очень распространено. В Петербурге очень много наплывного народа из губерний, а потому довольно вероятно, что словцо может перейти и в другие губернии, если еще не перешло. Войдет, может быть, и в литературу; кажется, и другие писатели, кроме меня, его употребляли. В этом слове для литератора привлекательна сила того оттенка презрения, с которым народ обзывает этим словом именно только вздорных, пустоголовых, кричащих, неосновательных, рисующихся в дрянном гневе своем дрянных людишек. Таких людишек много ведь и в интеллигентных кругах, и в высших кругах — не правда ли? — только не всегда пьяниц и не в прорванных сапогах, но в этом часто все и различие. Как удержаться и не обозвать иногда и этих высших «стриючками», благо слово готово и соблазнительно тем оттенком презрения, с которым выговаривает его народ?

История глагола «стушеваться»

Кстати, по поводу происхождения и употребления новых слов. В литературе нашей есть одно слово: «стушеваться», всеми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее; при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось никем. Теперь же его можно найти не только у литераторов, у беллетристов, во всех смыслах, с самого шутливого и до серьезнейшего, но можно найти и в научных трактатах, в диссертации-

ях, в философских книгах; мало того, можно найти в деловых департаментских бумагах, в рапортах, в отчетах, в приказах даже: всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И однако, во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз — я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 года, в «Отечественных записках», в повести моей «Двойник, приключения господина Голядкина»².

Первая повесть моя «Бедные люди» была начата мною в 1844 году, была окончена, стала известна Белинскому и была принята Некрасовым для его альманаха «Петербургский сборник» в 1845 году. Вышел этот альманах в конце 45-го года. Но в этом же 1845 году я и начал летом, уже после знакомства с Белинским, эту вторую мою повесть «Двойник, приключения господина Голядкина». Белинский, с самого начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой. Он повестил о ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту новую повесть «Двойник» я, по окончании, дам ему в «Отечественные записки» для первых месяцев наступающего 46-го года³. Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет пятнадцать спустя, для тогдашнего «Общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что эта вещь совсем неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил.

Тем не менее, кажется, в начале декабря 45-го года, Белинский настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких⁴. На вечере, помню, был

Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей». Ну вот тут-то, на этом чтении, и употреблено было мною, в первый раз, слово «стусhevаться», столь потом распространившееся. Повесть все забыли, она и стоит того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили в литературе.

Слово «стусhevаться» значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, *на нет*. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю, с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и наконец совсем на белое, *на нет*. Должно быть, в «Двойнике» это словцо было мною употреблено удачно в тех первых же трех главах, которые я прочел у Белинского, при изображении того, как умел кстати исчезнуть со сцены один досадный и хитренький человек (или вроде того, я забыл). Потому так говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумения в слушателях, напротив, всеми было вдруг понято и отмечено. Белинский прервал меня именно с тем, чтоб похвалить выражение. Все слушавшие тогда (все и теперь живы) тоже похвалили. Очень помню, что похвалил и Иван Сергеевич Тургенев (он, верно, теперь позабыл). Хвалил потом очень и Андрей Александрович Краевский. Кроме этих существуют и еще лица, которые, я думаю, могут припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новым словцом. Но принялось оно и вошло в литературу не сейчас, а весьма постепенно и неприметно. Помню, что выйдя, в 1854 году, в Сибири из острога⁵, я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу («Записки охотника», едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом, и вынес упоительное впечатление⁶. Правда, тогда надо мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги,

свобода!), — итак, начав перечитывать, я был даже удивлен, как часто стало мне встречаться слово «стушеваться». Потом, в шестидесятых годах, оно уже совершенно освоилось в литературе, а теперь, повторяю, я даже в деловых бумагах, публикуемых в газетах, его встречаю, и даже в ученых диссертациях. И употребляется оно именно в том смысле, в котором я в первый раз его употребил.

Впрочем, если я и употребил его в первый раз в литературе, то изобрел его все же не я. Слово это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками⁷. Может быть, и я участвовал в изобретении, не помню. Оно само как-то выдумалось и само вошло. Во всех шести классах Училища мы должны были чертить разные планы, фортификационные, строительные, военно-архитектурные. Умение хорошо начертить план самому, своими руками, требовалось строго от каждого из нас, так что и не имевшие охоты к рисованию поневоле должны были стараться во что бы то ни стало достигнуть известного в этом искусства. Баллы, выставляемые за рисунки планов, шли в общий счет и влияли на величину среднего балла. Вы могли выходить из верхнего офицерского класса на службу превосходным математиком, фортификатором, инженером, но если представленные вами рисунки были плоховаты, то выставляемый за них балл, идя в общий расчет, до того мог уменьшить вам средний балл, что вы могли лишиться весьма значительных льгот при выпуске, например, следующего чина, а потому все старались научиться рисовать хорошо. Все планы чертились и оттушевывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо стушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое, и на нет; хорошая стушевка придавала рисунку щеголеватость. И вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушеввался!» — Или, например, разговаривают двое товарищей, одному надо заниматься: «Ну, — говорит один садящийся за книги другому, — ты теперь стушуйся». Или говорит, например, верхнеклассник новопоступившему из низшего класса:

«Я Вас давеча звал, куда Вы изволили стушеваться?» Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно со стушевывания, то есть с уничтожения, с перехода с темного *на нет*. Очень помню, что слово это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил Училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть.

Написал я столь серьезно такое пространное изложение истории такого неважного словца — хотя бы для будущего ученого собирателя русского словаря, для какого-нибудь будущего Даля, и если я читателям теперь надоел, то зато будущий Даль⁸ меня поблагодарит. Ну так пусть для него одного и написано. Если же хотите, то, *для ясности*, покаюсь вполне: мне, в продолжение всей моей литературной деятельности, *всего более* нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и когда я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное впечатление; ну, теперь, стало быть, вы поймете, почему я нашел возможным описать такие пустяки даже в особой статейке.

Лакейство или деликатность?

Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа, — хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе. О, дома, про себя и между собою, мы свое возьмем, дома весь европеизм по боку — взять лишь, походя, наши отношения семейные, гражданские, чести, долга, в самом огромном большинстве случаев. Да и кто из проповедующих «европейские» идеи серьезно у нас в них верит? Конечно, лишь люди честные и при этом непременно добрые (так что и верят-то лишь по доброту души), но ведь много ль у нас таких-то? Если уж все говорить, так ведь у нас, может быть, нет ни одного европей-

ца, потому что мы и неспособны быть европейцами. Умы же передовые, биржевые и всячески руководящие берут у нас с европейских идей лишь оброк, и я думаю, что это у нас так и есть, повсеместно. Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят в европейские идеи, потому что и верить-то не во что, ибо никогда и ничто на свете не отличалось такою неясностью, туманностью, неопределенностью и неопределимостью, как тот «цикл идей», который мы нажили себе в двухсотлетний период нашего европейничания, — а в сущности не цикл, а хаос обрывков чувств, чужих недопонятых мыслей, чужих выводов и чужих привычек, но особенно слов, слов и слов — самых европейских и либеральных, конечно, но для нас все же слов, и только слов.

Объяснить все это прямо попугайством нельзя. Тоже и лакейством мысли нельзя, русским лакейством мысли перед Европой. Лакейства мысли у нас много и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорее наша русская, врожденная нам деликатность перед Европой. Скажут, что ведь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во многих случаях — да, но нельзя сказать, чтоб всегда. (Я, разумеется, о руководящих плутах, о которых заметил выше, и не говорю: этим европейцам до Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в мутной воде рыбу ловят, все два века ловили).

Вот как говорит, например, англичанин Гладстон⁹ о теперешней русской войне с Турцией:

«Что бы ни говорили о некоторых других главах русской истории, освобождением многих миллионов поработанных народов от жестокого и унижительного ига Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история, услугу, которая никогда не изгладится из благодарной памяти народов».

Как вы думаете, откровенно спрашивая, мог ли бы произнести такие слова русский европеец? Да никогда в жизни! Он проглотил бы язык свой прежде, чем это произнести; он от деликатности не то что перед Европой, а перед самим со-

бой покраснеет, если только услышит это или прочтет по-русски и у русского. Помилуйте, да как мы смеем... В калашный ряд!¹⁰... И «для всего человечества» — это мы-то, русские! Да мы еще рылом не вышли для этого, у нас еще рожа крива, чтоб «освободить человечество». И при этом все нелиберальные такие мысли: «Россия освобождает народы» — какая нелиберальная мысль!

Вот искреннее мнение русского европейца чистого типа, и он отрубит себе сначала пальцы, чем напишет то же, что и Гладстон. «Гладстону-де можно, пожалуй, так сочинять; он или не понимает ничего в России, или себе на уме сочиняет, для дальнейших целей» — вот что думает европейец. А иные из них, подороже и погорячее, тут же, пожалуй, прибавят про себя не без гордости: «А ведь мы, русские европейцы, пожалуй что и либеральнее европейских-то европейцев, дальше пошли: кто у нас из трезвых умов заикнется теперь о каком-то «освобождении народов»? Вот ретроградство-то! И Гладстон такие вещи говорит не стыдясь!»

Как это все назвать, господа? Лакейством или деликатностью перед Европой?

Я все стою на том, что в европейском периоде нашей истории огромную роль играла деликатность. Ведь из этих европейцев наших так много людей честнейших, смелых, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и не понимаемой, может быть, самим-то рыцарем, потому что все же это европейская для него тарабарщина, но все же чести, — людей, которые лично себе на ногу наступить не позволят. Ну как же прямо так-таки и назвать их лакеями? Нет, деликатность заела нас, а не лакейство. Опять-таки, разумеется, перед Европой деликатность: у себя дома мы свое наворачстаем.

Дамы, восторженно подносявшие туркам конфеты и сигары, разумеется, делали это тоже из деликатности: «Как, дескать, мы мило, нежно, мягко, гуманно, европейски просвещены!» Теперь этих дам вразумили отчасти некоторые грубые люди¹¹, но прежде, до вразумления, — ну, положим, на другой день после того поезда турок, в который бросали букетами и

конфетами, — что если б прибыл другой поезд с турками же, а в нем тот самый башибузук, о котором писали, что особенно отличается умением разрывать с одного маху, схватив за обе ножки, грудного ребенка на две части, а у матери тут же выкроить из спины ремень? Да, я думаю, эти дамы встретили бы его визгом восторга, готовы были бы отдать ему не только конфеты, но что-нибудь и получше конфет, а потом, пожалуй, завели бы речь в дамском своем комитете о стипендии имени его в местной гимназии. О, поверьте, что деликатность до всего может у нас дойти, и предположение это вовсе не фантастическое. Смотря на себя в зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюблялись в себя: «Какие мы гуманные, какие мы либеральные милочки!» И неужели вы думаете, что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тот высокомерный взгляд, который бросает иной европеец теперь на народ наш и на движение его, отрицая во всем народе нашем всякую мысль и движение, «кроме глупо-кликушечьих выходов из тысячей простонародья какого-нибудь одного дурака», неужели такой взгляд, возможность такого взгляда, обратившаяся в действительность, не стоит изображенной выше фантастической картинкой?

Деликатность перед Европой с нами повсеместно. Турецкие пленные потребовали белого хлеба, и им явился белый хлеб. Турецкие пленные отказались работать. Князь Мещерский¹², очевидец, повествует в своем «Дневнике» с Кавказа, что —

«Пленные наши выехали из Тифлиса. Их хотели везти на перекладных, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поедут, ибо не привыкли к русским телегам. Вследствие этого им поданы были почтовые кареты и рессорные экипажи, с шестернями лошадей к каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствие, и, вследствие огромного числа забранных под них лошадей, бедные проезжающие по Военно-Грузинской дороге будут сидеть трое суток без лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему их, назначено 50 коп. суточных, и посадили его не в карету, а как сажают прислугу в омнибус! Все это гуманность!» («Моск. ведом.» № 273).

То есть не гуманность, а именно вот та самая деликатность перед европейским мнением о нас, чуткость, чувствительность: «Европа, дескать, на нас глядит, надо, стало быть, в полном мундире быть и пашам кареты подать».

«Московские ведомости» далее, в другом своем, 282 номере передают о целом вопле голосов в Москве, когда увидели москвичи все те неслыханные удобства, с которыми перевозят у нас пленных турок:

«Все пленные рядовые были удобно размещены в вагонах третьего, офицеры второго класса, а паша занял купе первого класса вагона. Зачем для них такие удобства? — слышалось в публике. — Наших-то гренадер, небось, вывезли из Москвы в лошадиных вагонах, а для них отпускают особый пассажирский поезд.

— Что гренадеры, — замечает в толпе какой-то купчик, — вот даже раненых солдатиков возили в товарных вагонах и соломки под них не успели подкладывать. А паша-то какой откормленный, что твой боров, в товарный бы его, пусть бы с него жиру немного посбавилось.

— Там-то раненых наших прирезывали, жилы из них тянули, медленным огнем жгли, а теперь их холят за то...

Такие голоса (замечают далее «М. вед.») были не единичными, а ими выражалось общее в народе мнение о том, что больно видеть, как башибузуки и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуется такими большими удобствами сравнительно с нашими воинами...»

То есть мы, собственно, ничего тут особого не видим: деликатность или, так сказать, мундир деликатности перед европейским мнением — вот и все тут; но ведь это, так сказать, два века у нас продолжается, так уж пора попривыкнуть.

Дошло до анекдотов, то вот и еще анекдот. Отметил я его в «Петербургской газете», а та взяла из письма господина В. Крестовского, писанного с театра военных действий, но куда, не знаю. Откуда заимствовано «Петербургской газетой», тоже не ведаю. Говорится так:

«В письме г-на Крестовского приводится один комический факт: «Около свиты появился какой-то англичанин в пробковом шлеме и

статском пальто горохового цвета. Говорят, что он член парламента, пользующийся вакационным временем для составления корреспонденции «с места военных действий» в одну из больших лондонских газет («Times»); другие же уверяют, что он просто любитель, а третьи, что он друг России. Пускай все это так, но нельзя не заметить, что этот «друг России» ведет себя несколько эксцентрично: сидит, например, в присутствии великого князя в то время, когда стоят все, не исключая даже и его высочества; за обедом встает, когда ему вздумается, из-за стола, где сидит великий князь, и в этот день обратился даже к одному знакомому офицеру с предложением затянуть на него в рукава гороховое пальто. Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог одеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Англичанин в ответ слегка приложился рукою к своему пробковому шлему»».

«Петербургская газета» назвала этот факт комическим. К сожалению, я ровно ничего в нем не вижу комического, а, напротив, очень много досадного и портящего кровь. К тому же в нас как бы укрепилась с детства вера (из романов и из французских водевилей, я думаю), что всякий англичанин чудак и эксцентрик. Но что такое: чудак? Не всегда же дурак или такой уж наивный человек, который и догадаться не может, что на свете не все же ведь одни и те же порядки, как где-то там у него в углу. Англичане народ очень, напротив, умный и весьма широкого взгляда. Как мореплаватели, да еще просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядков во всех странах мира. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они открыли юмор, обозначили его особым словом и растолковали его человечеству¹³. Такому ли человеку, да еще члену парламента, не знать, где вставать, где сидеть? Да нет страны, в которой этикет имел бы большее приложение, как в Англии. Придворный, например, английский этикет есть самый сложный и утонченный этикет в мире. Если этот англичанин член парламента, то, конечно, слишком мог научиться этикету из одного того уже, как один парламента — нижний сносится с другим — высшим¹⁴. И именно

в том смысле: кто перед кем может сидеть, а кто перед кем обязан вставать. Если он при этом и член высшего общества, то опять-таки нигде нет такого этикета, как на приемах, обедах, балах английской аристократии во время ихнего лондонского сезона. Нет, тут совсем другое, если судить по тому, как изложен анекдот. Тут английская гордость, но не просто гордость, а с *заносчивым вызовом*. Этот «друг России» не может быть большим ее другом. Он сидит, смотрит на русских офицеров и думает: «Господа, я знаю, что вы львы сердцем, вы предпринимаете невозможное и исполняете его. Страх перед врагом в вас нет, вы герои, вы Баярды¹⁵ все до единого, и чувство чести вам знакомо вполне. Не могу же я не согласиться с тем, что своими глазами вижу. Тем не менее я англичанин, а вы только русские, я европеец, а перед Европой вы обязаны «деликатностью». Какие бы вы львиные сердца ни носили в себе, а я все-таки высшего типа человек, чем вы. И мне это очень приятно, особенно приятно изучать «деликатность» вашу передо мной, *врожденную и неотразимую*, без которой русский не может смотреть на иностранца, тем более на такого иностранца, как я. Вы думаете, что это все мелочи; да мелочи-то и утешают меня, весьма забавляют, я поехал прогуляться, я слышал, что вы герои, и приехал посмотреть на вас, но ворочусь все-таки с убеждением, что, как сын Старой Англии (тут у него дрожит от гордости сердце), я все-таки на свете первый человек, а вы всего лишь второстепенные...»

Всего любопытнее в вышеприведенном факте последние строки:

«Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог одеть пальто. *Конечно, более ничего и не оставалось сделать*».

Как так: «конечно»? Почему более *ничего* не оставалось сделать? Напротив, именно можно было сделать совершенно другое, обратное противоположное: можно было «окинуть его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыб-

нуться слегка, пожать плечами» и — отойти мимо, так-таки и не дотронувшись до пальто, — вот что можно было сделать. Неужели нельзя было заметить, что просвещенный мореплаватель фокусничает, что тончайший знаток этикета ловит минуту удовлетворения мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было, может быть, спохватиться в тот миг, а помешала именно наша просвещенная «деликатность» — не перед англичанином этим деликатность, не перед членом этим парламента в каком-то пробковом шлеме (какой такой пробковый шлем?), — а перед Европой деликатность, перед долгом европейского просвещения «деликатность», в которой мы выросли, погрязли до потери самостоятельной личности и из которой долго нам не выкарабкаться.

Подвоз патронов в турецкую армию из Англии и Америки колоссальный; достоверно теперь вполне, что турецкий солдат в Плевно тратит в день иной раз по 500 патронов; ни средств, ни денег не могло быть у турок, чтобы так вооружить армию. Присутствие англичан и их денег в теперешней войне несомненно. Ихние пароходы доставляют оружие и все необходимое. А у нас иные газеты наши кричат из «деликатности»: «Ах, не говорите этого, ах, не подымайте вы только этого, пусть мы не видим, пусть мы не слышим, а то просвещенные мореплаватели рассердятся и тогда...».

Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему о «деликатности».

Даже если есть какие-нибудь там вексельки и векселечки, выданные нами Европе, в виде разных обещаний, еще перед тем как перешли мы Барбошский мост, то несомненно и это должно было произойти из «деликатности» нашей, из деликатности перед Европой и перед обаянием ее. Но о «деликатности» пока оставим. Я лишь припомню, что в начале главы, начав о деликатности, я прибавил: «Что ведь это всего только перед Европой, а у себя-то мы всегда свое наверстаем»...

[...]

Д е к а б р ь

Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле

Умер Некрасов. Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами¹. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все еще не верил в возможность близкой смерти. За неделю до смерти с ним был паралич правой стороны тела, и вот 28 утром я узнал, что Некрасов умер накануне, 27-го, в 8 часов вечера. В тот же день я пошел к нему. Страшно изможденное страданием и искаженное лицо его как-то особенно поражало. Уходя, я слышал, как псалтирщик четко и протяжно прочел над покойным: «Несть человек, иже не согрешит». Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу; взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова². Эти первые четыре стихотворения, которыми начинается первый том его стихов, появились в «Петербургском сборнике», в котором явилась и моя первая повесть³. Затем, по мере чтения (а я читал сподряд), передо мной пронеслась как бы вся моя жизнь. Я узнал и припомнил и те из стихов его, которые первыми прочел в Сибири, когда, выйдя из моего четырехлетнего заключения в остроге, добился наконец до права взять в руки книгу⁴. Припомнил и впечатление тогдашнее. Короче, в эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни! Как поэт, конечно. Лично мы сходились мало и редко и лишь однажды вполне с беззаветным, горячим чувством, именно в

самом начале нашего знакомства, в сорок пятом году, в эпоху «Бедных людей». Но я уже рассказывал об этом. Тогда было между нами несколько мгновений, в которые, раз навсегда, обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которою он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то, уж конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, с существом, столь любившим его. Я думаю, что ни одна потом привязанность в жизни его не могла бы так же, как эта, повлиять и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь⁵. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потом, помню, мы как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не долее нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. Затем, много лет спустя, когда я уже воротился из Сибири⁶, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу в убеждениях⁷, уже тогда начинавшуюся, встречаясь, говорили иногда друг другу даже странные вещи — точно как будто в самом деле что-то продолжалось в нашей жизни, начатое еще в юности, еще в сорок пятом году, и как бы не хотело и не могло прерваться, хотя бы мы и по годам не встречались друг с другом. Так однажды в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно

стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут о Вас думал, когда писал это» (то есть о моей жизни в Сибири), «это о Вас написано». И наконец, тоже в последнее время, мы стали опять иногда видеть друг друга, когда я печатал в его журнале мой роман «Подросток»⁸...

На похороны Некрасова собралось несколько тысяч его почитателей⁹. Много было учащейся молодежи. Процессия выноса началась в 9 часов утра, а разошлись с кладбища уже в сумерки. Много говорилось на его гробе речей, из литераторов говорили мало¹⁰. Между прочим, прочтены были чьи-то прекрасные стихи¹¹. Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». В самом деле (устраняя всякий вопрос о художественной силе его поэзии и о размерах ее), — Некрасов, действительно, был в высшей степени своеобразен и, действительно, приходил с «новым словом». Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно останется за Некрасовым. В этом смысле он, в ряду поэтов (то есть приходивших с «новым словом»), должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был *выше* Пушкина и Лермонтова и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «Да, выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал

высказываться¹². Но вот что вышло потом: в «Биржевых ведомостях» г-н Скабичевский¹³, в послании своем к молодежи по поводу значения Некрасова, рассказывая, что будто бы когда кто-то (то есть я), на могиле Некрасова, «вздумал сравнивать его имя с именами Пушкина и Лермонтова, вы все (то есть вся учащаяся молодежь) в *один голос, хором* прокричали: «Он был выше, выше их». Смею уверить г-на Скабичевского, что ему не так передали¹⁴ и что мне твердо помнится (надеюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнул всего один голос: «Выше, выше их», и тут же прибавил, что Пушкин и Лермонтов были «байронисты», — прибавка, которая гораздо свойственнее и естественнее одному голосу и мнению, чем *всем*, в один и тот же момент, то есть тысячному хору, — так что факт этот свидетельствует, конечно, скорее в пользу моего показания о том, как было это дело. И затем уже, сейчас после первого голоса, крикнуло еще несколько голосов, но всего только несколько, тысячного же хора я не слышал, повторяю это и надеюсь, что в этом не ошибаюсь.

Я потому так на этом настаиваю, что мне все же было бы чувствительно видеть, что вся наша молодежь впадает в такую ошибку. Благодарность к великим отшедшим именам должна быть присуща молодому сердцу. Без сомнения, иронический крик о байронистах и возгласы: «Выше, выше», — произошли вовсе не от желания затеять над раскрытой могилой дорогого покойника литературный спор, что было бы неуместно, а что тут просто был горячий порыв заявить как можно сильнее все накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга к великому и столь сильно волновавшему нас поэту, и который, хотя и в гробе, но все еще к нам так близок (ну, а те-то великие прежние старики уже так далеко!). Но весь этот эпизод¹⁵, тогда же, на месте, зажег во мне намерение объяснить мою мысль яснее в будущем № «Дневника» и выразить подробнее, как смотрю я на такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и в нашей поэзии, каким был Некрасов, и в чем именно заключается, по-моему, суть и смысл этого явления.

Пушкин, Лермонтов и Некрасов

И во-первых, словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хоть был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После иступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый исход еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему. Это именно было как бы отворенный клапан; по крайней мере, среди всеобщих и глухих стонов, даже большею частью бессознательных, это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и стоны человечества¹⁶. Как было не откликнуться на него и у нас, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму, как Пушкин? Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствию к Европе и к

европейскому человечеству издали, а потому, что и у нас, и в России, как раз к тому времени, обозначилось слишком много новых, неразрешенных и мучительных тоже вопросов, и слишком много старых разочарований... Но величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, *нашел великий и возжеланный исход для нас, русских, и указал на него*. Этот исход был — народность, *преклонение перед правдой народа русского*. «Пушкин был явление великое, чрезвычайное». Пушкин был «не только русский человек, но и первым русским человеком». Не понимать русскому Пушкина — значит не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто. Не говорю уже о том, что он, всечеловечностью гения своего и способностью откликаться на все многообразные духовные стороны европейского человечества и почти перевоплощаться в гении чужих народов и национальностей, засвидетельствовал о всечеловечности и о всеобъемлемости русского духа и тем как бы провозвестил и о будущем предназначении гения России во всем человечестве, как всеединящего, всепримиряющего и все возрождающего в нем начала. Не скажу и о том даже, что Пушкин первый у нас, в тоске своей и в пророческом предвидении своем, воскликнул:

Увижу ли народ освобожденный
И рабство, павшее по манию царя!¹⁷

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина к народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывал до него. «Не люби ты меня, а полюби ты *мое*» — вот что вам скажет всегда народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему.

Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных. Но народу *надо*, чтоб его не

за одни страдания его любили, а чтоб полюбили и *его самого*. Что же значит *полюбить его самого*? «А люби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вот что значит и вот как Вам ответит народ, а иначе он никогда Вас за своего не признает, сколько бы Вы там о нем ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядит, какими бы жалкими словами Вы ни соблазняли его. Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал, как надо любить народ, не приготавливался, не учился: он сам вдруг оказался народом. Он преклонился перед правдой народной, он признал народную правду как свою правду. Несмотря на все пороки народа и многие смердящие привычки его, он сумел различить великую суть его духа тогда, когда никто почти так не смотрел на народ, и принял эту суть народную в свою душу как свой идеал. И это тогда, когда самые наиболее гуманные и европейски развитые любители народа русского сожалели откровенно, что народ наш столь низок, что никак не может подняться до парижской уличной толпы. В сущности эти любители всегда презирали народ. Они верили, главное, что он раб. Рабством же извиняли падение его, но раба не могли ведь любить, раб все-таки был отвратителен. Пушкин первый объявил, что русский человек *не раб* и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов (в целом, конечно, в общем, не в частных исключениях) — вот тезис Пушкина. Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом (хотя и состоит в рабстве)¹⁸, — черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу. Он признал и высокое чувство собственного достоинства в народе нашем (опять-таки в целом, мимо всегдашних и неотразимых исключений), он предвидел то спокойное достоинство, с которым народ наш примет и освобождение свое от крепостного состояния, — чего не понимали, например, замечательнейшие образованные русские европейцы уже гораздо позднее Пушкина и ожидали совсем другого от народа нашего. О, они любили народ искренно и горячо, но по-своему, то есть

по-европейски. Они кричали о зверином состоянии народа, о зверином положении его в крепостном рабстве, но и верили всем сердцем своим, что народ наш действительно зверь. И вдруг этот народ очутился свободным с таким мужественным достоинством, без малейшего позыва на оскорбление бывших владетелей своих: «Ты сам по себе, а я сам по себе, если хочешь, иди ко мне, за твое хорошее всегда тебе от меня честь». Да, для многих наш крестьянин по освобождении своем явился странным недоумением. Многие даже решили, что это в нем от неразвитости и тупости, остатков прежнего рабства. И это теперь, что же было во времена Пушкина? Не я ли слышал сам, в юности моей, от людей передовых и «компетентных», что образ пушкинского Савельича в «Капитанской дочке», раба помещиков Гриневых, упавшего в ноги Пугачеву и просившего его пощадить барчонка, а «для примера и страха ради повесить уж лучше его, старика»¹⁹, — что этот образ не только есть образ раба, но и апофеоз русского рабства!

Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с презрением. Пушкин любил все, что любил этот народ, чтил все, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его. Умаление Пушкина как поэта, более исторически, более архаически преданного народу, чем на деле, — ошибочно и не имеет даже смысла. В этих исторических и архаических мотивах звучит такая любовь и такая *оценка народа*, которая принадлежит народу *вековечно*, всегда, и теперь и в будущем, а не в одном только каком-нибудь давнопрошедшем историческом народе. Народ наш любит свою историю главное за то, что в ней встречает незыблемую ту же самую святыню, в которую сохранил он свою веру и теперь, несмотря на все страдания и мытарства свои. Начиная с величавой, огромной фигуры летописца в «Борисе Годунове», до изображения спутников Пугачева, —

все это у Пушкина — народ в его глубочайших проявлениях, и все это понятно народу, как собственная суть его. Да это ли одно? Русский дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде. В великих, неподражаемых, несравненных песнях будто бы западных славян, но которые суть явно порождение русского великого духа, вылилось все воззрение русского на братьев славян, вылилось все сердце русское, объявилось все мировоззрение народа, сохраняющееся и доселе в его песнях, былинах, преданиях, сказаниях, высказалось все, что любит и чтит народ, выразились его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы. А такие прелестные шутки Пушкина, как, например, болтовня двух пьяных мужиков, или Сказание о медведе, у которого убили медведицу, — это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное в его созерцании народа. Если б Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие художественные сокровища для понимания народного, которые, влиянием своим, наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма, — к народной правде, к народной силе и к сознанию народного назначения. Вот это-то поклонение перед правдой народа вижу я отчасти (увы, может быть, один я из всех его почитателей) — и в Некрасове, в сильнейших произведениях его. Мне дорого, очень дорого, что он «печальник народного горя» и что он так много и страстно говорил о горе народном, но еще дороже для меня в нем то, что в великие, мучительные и восторженные моменты своей жизни он, несмотря на все противоположные влияния и даже на собственные убеждения свои, преклонялся перед народной правдой всем существом своим, о чем и засвидетельствовал в своих лучших созданиях. Вот в этом-то смысле я и поставил его как пришедшего после Пушкина и Лермонтова с тем же самым отчасти новым словом, как и те (потому что «слово» Пушкина до сих пор еще для нас новое слово. Да и не только новое, а еще и неузнанное, неразобранное, за самый старый хлам считающееся).

Прежде чем перейду к Некрасову, скажу два слова и о Лермонтове, чтоб оправдать то, почему я тоже поставил и его как уверовавшего в правду народную. Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно не верующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если б он перестал возиться с большою личностью русско-го интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ. И вот он раз пишет бессмертную песню о том, как молодой купец Калашников, убив за бесчестье свое государева опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном пред грозные его очи, отвечает ему, что убил он государева слугу Кирибеевича «вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Раб Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта XVI столетия, писавшего все к тому же царю Ивану²⁰ свои оппозиционные и почти ругательные письма из-за границы, где он безопасно приютился. Написав одно письмо, он призвал раба своего Шибанова и велел ему письмо снести в Москву и отдать царю лично. Так и сделал раб Шибанов. На Кремлевской площади он остановил выходившего из собора царя, окруженного своими приспешниками, и подал ему послание своего господина, князя Курбского. Царь поднял жезл свой с острым наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, оперся на жезл и стал читать послание. Шибанов с проколотой ногою не шевельнулся. А царь, когда стал потом отвечать письмом князю Курбскому, написал, между прочим: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что он сам устыдился раба Шибанова. Этот образ русского «раба», долж-

но быть, поразил душу Лермонтова. Его Калашников говорит царю без укора, без попрека за Кирибеевича, говорит он, зная про верную казнь, его ожидающую, говорит царю «всю правду истинную», что убил его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного *«печальника горя народного»*. Но это имя досталось Некрасову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже, за Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное, и я уже сказал почему — за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тем замечательнее в Некрасове, что он всю жизнь свою был под влиянием людей хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нем, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды и всегда ставивших европейское просвещение свое несравненно выше истины духа народного. Не вникнув в русскую душу и не зная, чего ждет и просит она, им часто случалось желать нашему народу, со всею любовью к нему, того, что прямо могло бы послужить к его бедствию. Не они ли в русском народном движении, за последние два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народного, которую он, может быть, в первый раз еще выказывает в такой полноте и силе и тем свидетельствует о своем здоровом, могучем и неколебимом доселе живом единении в одной и той же великой мысли и почти предугадывает сам будущее предназначение свое. И мало того, что не признают правды движения народного, но

и считают его почти ретроградством, чем-то свидетельствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. Некрасов же, несмотря на замечательный, чрезвычайно сильный ум свой, был лишен, однако, серьезного образования, по крайней мере, образование его было небольшое²¹. Из известных влияний он не выходил во всю жизнь, да и не имел сил выйти²². Но у него была своя, своеобразная сила в душе, не оставлявшая его никогда, — это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, звериное подобие, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его и даже частью уверовать и в будущее предназначение его. О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться. Он мог воскликнуть в недавно напечатанном в первый раз экспромте его, с тревожным укором созерцая освобожденный уже от крепостного состояния народ:

...Но счастлив ли народ?²³

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если б его спросили, «чего же пожелать народу и как это сделать?», то он, может быть, дал бы и весьма ошибочный, даже пагубный ответ. И, уж конечно, его нельзя винить: политического смысла у нас еще до редкости мало, а Некрасов, повторяю, был всю жизнь под чужими влияниями. Но сердцем своим, но великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт. Всякий, выходящий из народа, при самом малом даже образовании, поймет уже много у Некрасова. Но лишь при образовании. Вопрос о том, поймет ли Некрасова теперь прямо весь народ русский, — без сомнения, вопрос явно немислимый. Что поймет «простой народ» в шедеврах его: «Рыцарь на час», «Тишина», «Русские женщины»? Даже в ве-

ликом «Власе»²⁴ его, который может быть понятен народу (но не вдохновит нисколько народ, ибо все это поэзия, давно уже вышедшая из непосредственной жизни), народ отличит дватри фальшивые штриха наверно. Что разберет народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. Не говорю в будущем, — в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучше и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходиться в очень тяжкие минуты свои к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать свое измученное сердце, — ибо любовь к народу у Некрасова была лишь *исходом его собственной скорби по себе самом...*

Но прежде чем разъясню, как понимаю я эту «собственную скорбь» дорогого нам усопшего поэта по себе самом, — не могу не обратить внимание на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессе сейчас после смерти Некрасова, почти во всех статьях, говоривших о нем.

Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке

Все газеты, чуть только заговаривали о Некрасове, по поводу смерти и похорон его, чуть только начинали определять его значение, как тотчас же и прибавляли, все без изъятия, некоторые соображения о какой-то «практичности» Некрасова, о каких-то недостатках его, пороках даже, о какой-то двойственности в том образе, который он нам оставил о себе²⁵. Иные газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, в каких-нибудь двух строках, но важно то, что все-таки намекали, видимо по

какой-то даже необходимости, которой избежать не могли. В других же изданиях, говоривших о Некрасове обширнее, выходило и еще страннее. В самом деле: не формулируя обвинений в подробности и как бы избегая того, от глубокой и искренней почтительности к покойному, они все-таки пускались... оправдывать его, так что выходило еще непонятнее. «Да в чем же вы оправдываете? — срывался невольно вопрос; — если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотим знать, нуждается ли еще он в оправданиях ваших?» Вот какой зажегся вопрос. Но формулировать не хотели, а с оправданиями и с оговорками спешили, как будто желая поскорее предупредить кого-то, и, главное, опять-таки, — как будто и не могли никак избежать этого, хотя бы, может быть, и хотели того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть в него, то и вы, и всякий, кто бы вы ни были, несомненно придете к заключению, чуть лишь размыслите, что случай этот совершенно нормальный, что, заговорив о Некрасове как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем как и о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин — до того связаны, до того оба необъяснимы один без другого и до того взятые вместе объясняют друг друга, что, заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете.

Но что же мы можем сказать и что именно мы видим? Произносится слово «практичность», то есть умение обделывать свои дела, но и только, а затем спешат с оправданиями: «Он-де страдал, он с детства был заеден средой», он вытерпел еще юношей в Петербурге, бесприютным, брошенным, много горя, а следственно, и сделался «практичным» (то есть как будто и не мог уж не сделаться). Другие идут даже дальше и намекают, что без этой-то ведь «практичности» Некрасов, пожалуй, и не совершил бы столь явно полезных дел на общую пользу, например, совладал с изданием журнала и проч. и проч. Что же, для хороших целей оправдывать, стало быть, дурные средства? И это говоря о Некрасове-то, человеке, который потрясал сердца, вызывал восторг и умиление к доброму и прекрасному

стихами своими. Конечно, все это говорится, чтоб извинить, но, мне кажется, Некрасов не нуждается в таком извинении. В извинениях на подобную тему всегда заключается как бы нечто принизительное, и как бы затемняется и умаляется образ извиняемого чуть не до пошлых размеров. В самом деле, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тем как бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при известных обстоятельствах, чуть не необходима. А если так, то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: «Я упал, я упал». И это в бессмертной красоты стихах, которые он в ту же ночь запишет, а назавтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого — и необходима. Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства, не более, и даже в самом пошлом его значении, потому что он эти стихи сам похваливает, сам на них любит, ими совершенно доволен, их печатает, на них рассчитывает: придадут, дескать, блеск изданию, взволнуют молодые сердца. Нет, если все это оправдывать, да не разъяснив, то мы рискуем впасть в большую ошибку и порождаем недоумение, и на вопрос: «Кого вы хороните?» — мы, проводившие гроб его, принуждены бы были ответить, что хороним «самого яркого представителя искусства для искусства, какой только может быть». Ну, а было ли это так? Нет, *воистину это не было так*, а хоронили мы воистину «печальника народного горя» и вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя, и сам с отвращением и самобичеванием отвергал дешевое примирение.

Нужно выяснить дело, выяснить искренно и беспристрастно, и что выяснится, то принять как оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни на какие дальнейшие соображения. Тут надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы как можно точнее добыть из выяснений фигуру покойного, лицо его; так наши сердца требуют, для того чтоб не оставалось у нас о нем ни малейшего такого недоумения, которое

невольно чернит память, оставляет нередко и на высоком образе недостойную тень.

Сам я знал «практическую жизнь» покойника мало, а потому приступить к анекдотической части этого дела не могу, но если б и мог, то не хочу, потому что прямо окунуть в то, что сам признаю сплетню. Ибо я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного, по крайней мере половина, а может быть и все три четверти, — чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, — не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случилось, — то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое? Нечто мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что — что же означают тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что «он упал», эта страстная исповедь перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь? Опять-таки в анекдотическую сторону дела вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта как бы предсказана им же самим, еще на заре дней его, в одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных, кажется, еще до знакомства с Белинским (и потом уж позднее обделанных и получивших ту форму, в которой явились они в печати). Вот эти стихи:

Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.
 В руках была палка предлинная,
 Котомка пустая на ней,
 На плечах шубенка овчинная,
 В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени, —
В кармане моем миллион²⁶.

Миллион — вот демон Некрасова! Что ж, он любил так золото, роскошь, наслаждения и, чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и унижительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпою людей не желала. Не то чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они не так страшны, как о них говорят (наверно думалось ему), но они, все, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет до их интереса. Вот тогда-то и начались, может быть, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: «В кармане моем миллион».

Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним. По крайней мере мне так казалось всю потом жизнь. Но этот демон все же был низкий демон. Такого ли самообеспечения могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная так отзываться на все святое и не покидавшая веры в него. Разве таким самообеспечением ограждают себя столь одаренные души? Такие люди пускаются в путь босы и с пустыми руками, и на сердце их ясно и светло. Самообеспечение их не в золоте. Золото — грубость, насилие, деспотизм! Золото может казаться обеспечением именно той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал. Неужели картины насилия и потом жажда сластолюбия и разврата могли ужиться в таком сердце, в сердце человека, который сам бы мог воззвать к иному: «Брось все, возьми посох свой и иди за мной».

Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви²⁷.

Но демон осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел.

За то и заплатил страданием, страданием всей жизни своей. В самом деле, мы знаем лишь стихи, но что мы знаем о внутренней борьбе его со своим демоном, борьбе несомненно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрых делах Некрасова: он о них не публиковал, но они несомненно были, люди уже начинают свидетельствовать о гуманности, нежности этой «практичной» души. Г-н Суворин уже публиковал нечто²⁸, я уверен, что обнаружится много и еще добрых свидетельств, не может быть иначе. «О, скажут мне, Вы тоже ведь оправдываете, да еще дешевле нашего». Нет, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопрос, — вопрос окончательный и всеразрешающий.

Свидетель в пользу Некрасова

Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой-то Гекубе. «Что ему Гекуба?» — спрашивал Гамлет. Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, то есть способный искренно заплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь) в бессмертной красоте стихах и назавтра же способный действительно утешиться... этой красотой стихов. Красотой стихов, и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стихов как на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь в этом смысле? Или, напротив того, скорбь поэта не проходила и после стихов, не удовлетворялась ими; красота их, сила, в них выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, будучи не в силах совладать со своим вечным демоном, со страстями, победившими его на

всю жизнь, он и опять падал, то спокойно ли примирялся со своим падением, не возобновлялись ли его стоны и крики еще сильнее в тайные святые минуты покаяния, — повторялись ли, усиливались ли в сердце его с каждым разом так, что сам он, наконец, мог видеть ясно, чего стоит ему его демон и как дорого заплатил он за те блага, которые получил от него. Одним словом, если он и мог примиряться моментально с демоном своим и даже сам мог пускаться оправдывать «практичность» свою в разговорах с людьми, то оставалось ли такое примирение и успокоение навечно или, напротив, улетало мгновенно из сердца, оставляя по себе еще жгуче боль, стыд и угрызения? Тогда, — если б только можно было решить этот вопрос, — тогда нам что ж бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что, будучи не в силах совладать с соблазнами своими, он не покончил с собой, например, как тот древний печерский многострадалец²⁹, который, тоже будучи не в силах совладать со змием страсти, его мучившей, закопал себя по пояс в землю и умер, если не изгнав своего демона, то, уж конечно, победив его. В таком случае, мы сами, то есть каждый из нас, очутились бы в унижительном и комическом положении, если б осмелились брать на себя роль судей, произносящих такие приговоры. Тем не менее поэт, который сам написал о себе:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан³⁰,

тем самым как бы и признал над собой суд людей как «граждан». Как лицам нам бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то из нас? Мы только не говорим лишь о себе вслух и прячем нашу мерзость, с которою вполне миримся, внутри себя. Поэт плакал, может быть, о таких делах своих, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их. Ведь мы знаем о падениях его, о демоне его из его же стихов. Не было бы этих стихов, которые он в покаянной искренности своей не убоился огласить, то и все, что говорилось о нем как о человеке, о «практичности» его и о прочем, — все

это умерло бы само собою и стерлось бы из памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни, так что всякое оправдание его оказалось бы вовсе и не нужным ему. Замечу кстати, что для практического и столь умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем. Тем не менее, повторяю, на суд граждан он должен идти, ибо сам признал этот суд. Таким образом, если б тот вопрос, который поставился у нас выше: удовлетворялся ли поэт стихами своими, в которые облекал свои слезы, и примирялся ли с собою до того спокойствия, которое опять позволяло ему пускаться с легким сердцем в «практичность», или же, напротив того, — примирения бывали лишь моментальные, так что он сам презирал себя, может быть, за позор их, потом мучился еще горше и больше, и так во всю жизнь, — если б этот вопрос, повторяю, мог бы быть разрешен в пользу второго предположения, то, уж конечно, тогда мы бы тотчас могли примириться и с «гражданином» Некрасовым, ибо собственные страдания его очистили бы перед нами вполне нашу память о нем. Разумеется, тут сейчас является возражение: если Вы не в силах разрешить такой вопрос (а кто может его разрешить?), то и ставить его не надо было. Но в том-то и дело, что его можно разрешить. Есть свидетель, который может его разрешить. Этот свидетель — народ.

То есть любовь его к народу! И, во-первых, для чего бы «практическому» человеку так увлекаться любовью к народу. Всякий занят своим делом: один практичностью, другой печалью о народе. Ну, положим, прихоть, так ведь поиграл и отстал. А Некрасов не отставал во всю жизнь. Скажут: народ для него — это та же «Гекуба», предмет слез, облеченных в стихи и дающих доход. Но я уже не говорю о том, что трудно до того подделать такую искренность любви, какая слышится в стихах Некрасова (об этом спор может быть бесконечный), но я о том только скажу, что мне ясно, почему Некрасов так любил народ, почему его так тянуло к нему в тяжелые минуты жизни, почему он шел к нему и что находил у него. Потому, как сказал я выше,

что любовь к народу была у Некрасова как бы *исходом его собственной скорби по себе самом*. Поставьте это, примите это — и вам ясен весь Некрасов, и как поэт и как гражданин. В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил все свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное — это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и перед чем они преклоняются. Он отрывался, напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шел и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление. Не избрал бы он себе такой исход, *если б не верил в него*. В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего святее, незыблее, истиннее, перед чем преклониться. Не мог же он полагать все самооправдание лишь в стихах о народе. А коли так, то, стало быть, и он преклонялся перед *правдой народною*. Если не нашел ничего в своей жизни более достойного любви, как народ, то, стало быть, признал и *истину народную*, и *истину в народе*, и что истина есть и сохраняется лишь в народе. Если не вполне сознательно, не в убеждениях признавал он это, то сердцем признавал, неудержимо, неотразимо. В этом порочном мужике, униженный и унижительный образ которого так его мучил, он находил, стало быть, и что-то истинное и святое, что не мог не почитать, на что не мог не отзываться всем сердцем своим. В этом смысле я и поставил его, говоря выше о его литературном значении, тоже в разряд тех, которые признавали правду народную. Вечное же искание этой правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том, что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свиде-

тельствовать и о внутренней, всегдашной, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями. А если так, то он, стало быть, страдал всю свою жизнь... И какие же мы судьи его после того? Если и судьи, то не обвинители.

Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу и страданием о нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...

[..]

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1880

А в г у с т

Глава первая

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ПОВОДУ ПЕЧАТАЕМОЙ НИЖЕ РЕЧИ О ПУШКИНЕ

Речь моя о Пушкине и о значении его, помещаемая ниже и составляющая основу содержания настоящего выпуска «Дневника писателя» (единственного выпуска за 1880 год*), была произнесена 8 июня сего года в торжественном заседании Общества любителей российской словесности, при многочисленной публике, и произвела значительное впечатление. Иван Сергеевич Аксаков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы предводителем славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь «составляет событие»¹. Не для похвалы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вот что: если моя речь составляет событие, то только с одной и единственной точки зрения, которую обозначу ниже. Для сего и пишу это предисловие. Собственно же в речи моей

* Издание «Дневника писателя» надеюсь возобновить в будущем 1881 году, если позволит мое здоровье.

я хотел обозначить лишь следующие четыре пункта в значении Пушкина для России.

1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, выжившего над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские (в «Войне и мире» Льва Толстого) и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую большую язву составившего у нас после великой петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознаванием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной, ибо

2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пугачевского бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть, — это то,

что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа. Тут уже надобно говорить всю правду: не в нынешней нашей цивилизации, не в «европейском» так называемом образовании (которого у нас, к слову сказать, никогда и не было), не в уродливостях внешне усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и *только в нем*. Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду: «Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены». Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно.

Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения — способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного. Я сказал в моей речи, что в Европе были величайшие художественные мировые гении: Шекспир, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого из них не видим этой способности, а видим ее только у Пушкина. Не в отзывчивости одной тут дело, а именно в изумляющей полноте перевоплощения. Эту способность, понятно, я не мог не отметить в оценке Пушкина, именно как характернейшую особенность его гения, принадлежащую из всех всемирных художников ему только одному, чем и отличается он от них от всех. Но не для умаления такой величины европейских гениев, как Шекспир и Шиллер, сказал я это; такой глупенький вывод из моих слов мог бы сделать только дурак. Всемирность, *всепонятность* и неисследимая глубина мировых типов человека арийского племени, данных Шекспиром на веки веков, не подвергается мною ни малейшему сомнению. И если б Шекспир создал Отелло действительно *венецианским* мавром, а не англичанином, то только придал бы ему ореол местной национальной характеристики, мировое же значение этого типа осталось бы по-прежнему то же самое, ибо и в итальянце он выразил бы то же самое, что хотел сказать, с такую же силою. Повторяю, не на мировое значение Шекспи-

ров и Шиллеров хотел я посягнуть, обозначая гениальнейшую способность Пушкина перевоплощаться в гении чужих наций, а желая лишь в самой этой способности и в полноте ее отметить великое и пророческое для нас указание, ибо

4) Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало вполне со стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей я, конечно, не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется, ясно. И не надо, не надо возмущаться сказанным мною, «что нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру». Смешно тоже и уверять, что прежде чем сказать новое слово миру, «надобно нам самим развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о «новых словах» таким совершенным (будто бы) организмам, как народы Европы». Я именно напирал в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая

черта и не какая другая, это лишь *нравственная* черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная лишь служить *экономически* преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное. Повторяю, я, конечно, не мог доказать «этой фантазии моей», как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций — все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство»². Между тем на этот, именно на этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете, как

теперь. Ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева³ или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим духом народным была спасена Россия. И наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для того чтоб иметь право любить человечество и носить в себе всеединящую душу, для того чтоб заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они непохожи на нас; для того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтоб ей только одной все досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать (а народы такого духа ведь есть в Европе!), — если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? А еще толкуют о естественных науках! «Этого народ не позволит», — сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции⁴. Анекдот этот верен.

Четырьмя этими пунктами я обозначил значение для нас Пушкина, и речь моя, повторяю, произвела впечатление. Не слугами своими произвела она это впечатление (я напираю на это), не талантливостью изложения (соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ее и, осмелюсь сказать это, — некоторою неотразимостью выставленных мною фактов, несмотря на всю краткость и неполноту моей речи. Но в чем же, однако, заключалось «событие»-то, как выразился Иван Сергеевич Аксаков? А вот именно в том, что славянофилами, или так называемой русской партией (Боже,

у нас есть «русская партия!»), сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали — историческою необходимостью, историческим фатумом, так что в конце концов и в итоге, если когда-нибудь будет он подведен, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренно любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений «русских иноземцев». Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы стать, пожалуй, «событием», ибо представители славянофильства тут же, сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь — да и заявил это в самой речи моей, — что честь этого нового шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что заслуга этого нового, если хотите, слова вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению «партии» нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз если не высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь вовремя уловить минуту. Теперь вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, так что «западникам и славянофилам не о чем будет и спорить, как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как все отныне разъяснено»⁵. С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы «событием». Но увы, слово «событие» произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом

со славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь⁶. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениальной, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно: не в первых ли «попыхах» увлечения произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна, я ведь и сам знаю, что она не гениальна, и несколько не был оболещен похвалами, так что от всего сердца прощу им их разочарование в моей гениальности, — но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав (*Nota bene*, я не о тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напирал): «А, — скажут, может быть, западники (слышите: только «может быть», не более), — а, вы согласились-таки наконец после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей стороне тоже была правда, и склонили ваши знамена, — что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно: обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали, за исключением разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем, — но... тут, видите ли, является опять некоторая новая запятая, и это надобно как можно скорее разъяснить. Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях наших совпадали будто бы с народным духом и таинственно направлялись им, ваше-то это положение — все-таки остается для нас более чем сомнительным, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути, на-

против — оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества, — ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, — если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор черт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ, как наш, — не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами.

Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его, о, конечно, нет! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы оснуем и начнем, с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой, ну хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — сло-

вом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколь бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы, многочисленнейшими и всякими средствами, подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ — наш. Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количеством же миллионов нас не испугаете. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уж во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как *le Pravoslavié* и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что Вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не идти за Европой.

А потому ту половину произнесенной речи, в которой Вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями, так и быть, сделаем вам эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится к Вам и ко всем этим Вашим «началам» — уж извините, мы не можем принять...» Вот какой может быть грустный вывод. Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, Но и в уста многих, очень многих, просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских

граждан. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, — все эти смерды-то «направления» (а их как песку морского), о, там непременно насажут в этом роде и, может быть, даже уж и насажали⁷. (Nota bene. Насчет веры, например, уже было заявлено в одном издании, со всем свойственным ему остроумием, что цель славянофилов — это перекрестить всю Европу в православие⁸). Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представителей нашего европеизма. И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то честь им и слава и за это, и мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то есть признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединящее его стремление, то и тогда уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере из основного, из главного. Тогда действительно моя речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю в последний раз, была бы событием (она не достойна такого наименования), а великое Пушкинское торжество, послужившее событием нашего единения — единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели.

Глава вторая

ПУШКИН (Очерк)

*Произнесено 8 июня в заседании
Общества любителей российской словесности*

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь⁹. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается

для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, воспринял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам. Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону¹⁰. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» — поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В типе Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле,

того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции — и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому придан некоторый благодушный русский характер, — но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу

смирненного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «избранных», довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать через них покоя. Алеко, конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей: у него все это как-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо¹¹. В чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних; да так и быть должно: «Правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образованное русское общество¹². Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно! Ну и что же в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству и, даже весьма вероятно, обладая крепостными людьми, он позволил себе, по вольности своего дворянства, маленькую фантазийку прельститься людьми, живущими «без закона», и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта¹³, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленною, но страстною верой бросается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где, может быть, мое счастье здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов!» И что же оказывается: при

первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обагрывает свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его — без отмщения, без злобы, величаво и простодушно:

Оставь нас, гордый человек;
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним¹⁴.

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по нем, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и это), к закону, терзающему и казнящему, и призывает его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме уже

не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй.

Онегин приезжает из Петербурга — непременно из Петербурга, это несомненно необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом, когда он восклицает в тоске:

Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?¹⁵

Но теперь, в начале поэмы он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить

Бес благородный скуки тайной¹⁶.

В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слышал и о родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, — и тогда, как и теперь, многих, — смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и

в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева¹⁷. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей перед ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». Это она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно¹⁸. Да и совсем не мог он узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом, в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства»¹⁹. Но это только слова: она прошла в его жизни мимо него неузнанная и неоцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мирною тоскою своею и с пролитой в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее, и, кипя здоровьем и силою, восклицать с проклятиями:

Я молод, жизнь во мне крепка,
Чего мне ждать, тоска, тоска!²⁰

Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившею дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недостижимой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбрион» останавливается наконец в раздумье, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:

Уж не пародия ли он?²¹

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась ее души и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротив, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину:

Но я другому отдана
И буду век ему верна²².

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака — нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я Вас люблю», потому ли, что она, «как русская женщина»

(а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием чести, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она «другому отдана и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклиний молила мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что Вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести Ваше здание! Согласитесь ли Вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли Вы допустить хоть

на минуту идею, что люди, для которых Вы строили это здание, согласились бы сами принять от Вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столь пострадавшим? Нет; чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастен же и Онегин; одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в поэме. Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению. Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера! Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину, которою прежде пренебрег, в новой блестящей недосыгаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет — свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, — вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье было так возможно, так близко!». И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нем Татьяна, да

разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, — это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни». О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого немало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть и кто он такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему прирзак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.

Итак, в «Онегине», в этой бессмертной и недостижимой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою

судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел перед нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные. Еще раз напомним: говорю не как литературной критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инока-летописца, например, можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного перед нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека,

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни²³, —

сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков

народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе, а между тем если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь «господа», о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом *взаправду*, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. Возьмите «Сказание о медведе»²⁴ и о том, как убил мужик его боярыню-медведицу, или припомните стихи:

Сват Иван, как пить мы станем²⁵,

и вы поймете, что я хочу сказать.

Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такою ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни. Но не в поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимой силой (в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности.

* * *

Еще и еще раз повторю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли, например, явиться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено в глубине души его. Но организм этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспир, Сервантес, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает

свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из «Фауста»²⁶, вот «Скупой рыцарь» и баллада «Жил на свете Рыцарь бедный». Перечтите «Дон-Жуана»²⁷, и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме «Пир во время чумы»²⁸! Но в этих фантастических образах слышен гений Англии; эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери со стихами:

Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,

это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой...

Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектанта²⁹, — но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреодолимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, Вам как бы слышится дух веков реформации, Вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью только, а как будто Вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее³⁰? А вот и древний мир, вот «Египетские

ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца³¹. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так

точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю послепетровской реформы, Вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, ко-

нечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю³². Главное, все это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос³³. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие обра-

зы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Глава третья

ПРИДИРКА К СЛУЧАЮ. ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦИИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННОЙ МНЕ Г-НОМ А. ГРАДОВСКИМ. С ОБРАЩЕНИЕМ К Г-НУ ГРАДОВСКОМУ

Об одном самом основном деле

Я уже было заключил мой «Дневник», ограничив его моей речью, произнесенною 8-го июня в Москве, и предисловием к ней, которое я написал, предчувствуя гам, действительно поднявшийся потом в нашей прессе после появления моей речи в «Московских ведомостях». Но, прочтя Вашу критику, г-н Градовский, я приостановил печатание «Дневника», чтобы прибавить к нему и ответ на Ваши нападки. О, предчувствия мои оправдались, гам поднялся страшный. И гордец-то я, и трус-то я, и Манилов, и поэт, и полицию надо бы привести, чтоб сдерживать порывы публики, — полицию моральную, полицию либеральную, конечно. Но почему же бы и не настоящую? И настоящая полиция ведь у нас теперь либе-

ральна, отнюдь не менее возопивших на меня либералов. Воистину немного недоставало до настоящей! Но оставим это пока, перейду прямо к ответу Вам на Ваши пункты. Прямо признаюсь с самого начала, что лично нечего бы мне с Вами ни делить, ни толковать. Мне с Вами столкнуться нельзя; убеждать или разубеждать Вас, стало быть, я вовсе не имею в виду. Читая и прежде иные Ваши статьи, я, конечно, всегда удивлялся течению мыслей. Итак, почему же я Вам теперь отвечаю? Единственно имея в виду других, которые нас рассудят, то есть читателей. Для этих других и пишу. Я слышу, я предчувствую, вижу даже, что возникают и идут новые элементы, жаждущие нового слова, истосковавшиеся от старого либерального подхихикивания над всяким словом надежды на Россию, от старого прежнего, либерально-беззубого скептицизма, от старых мертвецов, которых забыли похоронить и которые все еще считают себя за молодое поколение, от старого либерала — руководителя и спасителя России, который за все двадцатипятилетие своего пребывания у нас обозначился наконец как «без толку кричащий на базаре человек», по выражению народному. Одним словом, захотелось мне *многое* высказать уже кроме ответа на замечания Ваши, так что я, отвечая теперь, как бы придрался лишь к случаю.

Вы прежде всего задаетесь вопросом и даже упрекаете меня, почему я не вывел яснее: откуда взялись наши «скитальцы», о которых говорил в моей речи? Ну, это история длинная, нужно начинать слишком издалека. К тому же, что бы я Вам на этот счет ни ответил, Вы все-таки не согласитесь, потому что у Вас уже предвзято и подготовлено Ваше собственное решение о том, откуда они завелись и как завелись: «От тоски, дескать, жить со Сквозниками-Дмухановскими и от гражданской скорби по не освобожденным еще тогда крестьянам». Вывод, достойный современного либерального человека, вообще говоря, у которого все, что касается до России, давно уже решено и подписано, с необычайною, русскому либералу лишь свойственную легкостью. Тем не менее вопрос этот сложнее, чем Вы думаете, гораздо, несмотря на

столь окончательное решение Ваше. О «Сквозниках и о скорби» скажу в своем месте, но прежде всего позвольте поднять одно прехарактерное Ваше словцо, высказанное опять-таки с легкостью, уже доходящею почти до резвости, и которое я не могу обойти. Вы говорите:

«Так или иначе, но уже два столетия мы находимся под влиянием европейского просвещения, действующего на нас чрезвычайно сильно, благодаря «всемирной отзывчивости» русского человека, признанной г-ном Достоевским за нашу национальную черту. Уйти от этого просвещения нам некуда, да и незачем. Это факт, против которого нам ничего нельзя сделать, по той простой причине, что всякий русский человек, пожелавший сделаться просвещенным, *непрерывно* получит это просвещение из западноевропейского источника, за полнейшим отсутствием источников русских».

Сказано, конечно, игриво; но Вы произнесли и важное слово: «Просвещение». Позвольте же спросить, что Вы под ним понимаете: науки Запада, полезные знания, ремесла или просвещение духовное? Первое, то есть науки и ремесла, действительно не должны нас миновать, и уходить нам от них действительно некуда, да и незачем. Согласен тоже вполне, что неоткуда и получить их, кроме как из западноевропейских источников, за что хвала Европе и благодарность наша ей вечная. Но ведь под просвещением я разумею (думаю, что и никто не может разумать иначе) — то, что буквально уже выражается в самом слове «просвещение», то есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни. Если так, то позвольте Вам заметить, что такое просвещение нам нечего черпать из западноевропейских источников за полнейшим присутствием (а не отсутствием) источников русских. Вы удивляетесь? Видите ли: в спорах я люблю начинать с самой сути дела, с самого спорного пункта разом.

Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его. Мне скажут: он учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, — но

это возражение пустое: все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть пел: «Господи сил, с нами буди!»³⁴ — и тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что, кроме Христа, у него тогда ничего не оставалось, а в нем, в этом гимне, уже в одном вся правда Христова. И что в том, что народу мало читают проповедей, а дьячки бормочут неразборчиво, — самое колоссальное обвинение на нашу церковь, придуманное либералами, вместе с неудобством церковнославянского языка, будто бы непонятного простолюдину (а старообрядцы-то?³⁵ Господи!). Зато выйдет поп и прочтет: «Господи, владыко живота моего»³⁶ — а в этой молитве *вся суть христианства*, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает тоже он наизусть многие из житий святых, пересказывает и слушает их с умилением. Главная же школа христианства, которую прошел он, это — века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, попраный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки и который за то спас от отчаяния его душу! Впрочем, что же я Вам это все говорю? Неужто я Вас убедить хочу? Слова мои покажутся Вам, конечно, младенческими, почти неприличными. Но повторяю в третий раз: не для Вас пишу. Да и тема эта важная, о ней надо особо и много еще сказать, и буду говорить, пока держу перо в руках, а теперь выражу мою мысль лишь в основном положении: если наш народ просвещен уже давно, приняв в свою суть Христа и его учение, то вместе с ним, с Христом, уж конечно, принял и *истинное* просвещение. При таком основном запасе просвещения науки Запада, конечно, обратятся для него лишь в истинное благодеяние. Христос не померкнет от них у нас, как на Западе, где, впрочем, не от наук он померк, как утверждают либералы же, а еще прежде наук, когда сама

церковь западная исказила образ Христов, преобразившись из церкви в Римское государство³⁷ и воплотив его вновь в виде папства. Да, на Западе воистину уже нет христианства и церкви, хотя и много еще есть христиан, да и никогда не исчезнут. Католичество воистину уже не христианство и переходит в идолопоклонство, а протестантизм исполинскими шагами переходит в атеизм и в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение.

О, конечно, Вы тотчас же возразите мне, что христианство и поклонение Христу вовсе не заключает в себе и собою весь цикл просвещения, что это только лишь одна ступень, что нужны, напротив, науки, гражданские идеи, развитие и проч. и проч. На это мне нечего Вам отвечать, да и неприлично, ибо хотя Вы и правы отчасти, насчет наук например, но зато никогда не согласитесь, что христианство народа нашего есть, *и должно остаться навсегда*, самую главную и жизненную основу просвещения его! Я вот в моей речи сказал, что Татьяна, отказавшись идти за Онегиным, поступила по-русски, по русской народной правде, а один из критиков моих, оскорбившись, что у русского народа есть правда, вдруг возразил мне вопросом: «А свальный грех?» Таким критикам разве можно отвечать? Главное, оскорблены тем, что русский народ может иметь свою правду, а стало быть, действительно просвещен. Да разве свальный грех существует в целом народе нашем и существует *как правда!* Принимает ли его весь народ за правду? Да, народ наш груб, хотя и далеко не весь, о, не весь, в этом я клянусь уже как свидетель, потому что я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам к «злодеям причтен был», работал с ним настоящей мозольной работой, в то время когда другие, «умывавшие руки в крови»³⁸, либеральничая и подхихикивая над народом, решали на лекциях и в отделении журнальных фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его». Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда

преобразился в свою очередь в «европейского либерала»³⁹. Но пусть, пусть народ наш грешен и груб, пусть зверин еще его образ: «Сын на матери ехал, молода жена на пристяжке»⁴⁰ — с чего-нибудь да взялась эта песня? Все русские песни взяты с какой-нибудь были — заметили Вы это? Но будьте же и справедливы хоть раз, либеральные люди: вспомните, что народ вытерпел во столько веков! Вспомните, кто в зверином образе его виноват наиболее, и не осуждайте! Ведь смешно осуждать мужика за то, что он не причесан у французского парикмахера из Большой Морской⁴¹, а ведь почти до этих именно обвинений и доходит, когда подымутся на русский народ наши европейские либералы и примутся *отрицать* его: и личности-то он себе не выработал, и национальности-то у него нет! Боже мой, а на Западе, где хотите и в каком угодно народе, — разве меньше пьянства и воровства, не такое же разве зверство, и при этом ожесточение (чего нет в нашем народе) и уже истинное, заправское невежество, настоящее непросвещение, потому что иной раз соединено с таким беззаконием, которое уже не считается там грехом, а именно стало считаться правдой, а не грехом. Но пусть, все-таки пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем есть неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли, поздно ли: «Я сделал неправду». Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. То именно и важно, во что народ верит как в свою правду, в чем ее полагает, как ее представляет себе, что ставит своим лучшим желанием, что возлюбил, чего просит у Бога, о чем молитвенно плачет. А идеал народа — Христос. А с Христом, конечно, и просвещение, и в высшие, роковые минуты свои народ наш всегда

решает и решал всякое общее, всенародное дело свое всегда по-христиански. Вы скажете с насмешкой: «Плакать — это мало, воздыхать тоже, надо и делать, надо и быть». А у вас-то у самих, господа русские просвещенные европейцы, много праведников? Укажите мне ваших праведников, которых вы вместо Христа ставите? Но знайте, что в народе есть и праведники. Есть положительные характеры невообразимой красоты и силы, до которых не коснулось еще наблюдение ваше. Есть эти праведники и страдальцы за правду, — видим мы их или не видим? Не знаю; кому дано видеть, тот, конечно, увидит их и осмыслит, кто же видит лишь образ звериный, тот, конечно, ничего не увидит. Но народ, по крайней мере, знает, что они есть у него, верит, что они есть, крепок этою мыслью и уповает, что они всегда в нужную всеобщую минуту спасут его. И сколько раз наш народ спасал отечество? И еще недавно, засмердев в грехе, в пьянстве и в бесправии, он обрадовался духовно, весь в своей целокупности, последней войне за Христову веру, попорченную у славян мусульманами⁴². Он принял ее, он схватился за нее как за жертву очищения своего за грех и бесправие, он посылал сыновей своих умирать за святое дело и не кричал, что падает рубль и что цена на говядину стала дороже. Он жадно слушал, жадно расспрашивал и сам читал о войне, и мы тому все свидетели, много нас есть тому свидетелей. Я знаю: подъем духа народа нашего в последнюю войну, а тем более причины этого подъема, не признаются либералами, смеются они над этой идеей: «У этих, дескать, смердов собирательная идея, у них гражданское чувство, политическая мысль — разве можно это позволить?» И почему, почему наш европейский либерал так часто враг народа русского? Почему в Европе называющие себя демократами всегда стоят за народ, по крайней мере на него опираются, а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит в руку всему тому, что подавляет народную силу, и кончает господчиной. О, я ведь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но в бессознательности-то и трагедия. Вы будете в негодовании от этих вопросов? Пусть. Для меня

это все аксиомы, и, уж конечно, я не перестану их разъяснять и доказывать, пока только буду писать и говорить.

Итак, кончим: науки это так, а «просвещения» нечего нам черпать из западноевропейских источников. А то, пожалуй, зачерпнем такие общественные формулы, как, например: «Chacun pour soi et Dieu pour tous»* или «Après moi le déluge»** О, сейчас же закричат: «А у нас нет таких поговорок, не говорят у нас что ли: «Старая хлеб-соль не помнится» и сотни других афоризмов в этом же роде?» Да, поговорок в народе много всяких: ум народа широк, юмор тоже, развивающееся сознание всегда подсказывает отрицание — но это все только *поговорки*, в нравственную правду их народ наш не верит, над ними сам шутит и смеется, в целом своем, по крайней мере, их отрицает. А осмелитесь ли Вы утверждать, что «Chacun pour soi et Dieu pour tous» есть только поговорка, а не общественная уже формула, всеми принятая на Западе и которой *все* там служат и в нее верят? По крайней мере, все те, которые стоят над народом, которые держат его в узде, которые обладают землей и пролетариатом и стоят на страже «европейского просвещения». Зачем же нам такое просвещение? Поищем у себя иного. Наука дело одно, а просвещение иное. С надеждой на народ и на силы его, может, и разовьем когда-нибудь уже в полноте, в полном сиянии и блеске это Христово просвещение наше. Вы скажете мне, разумеется, что все это длинное разглагольствование не ответ, однако же, на Вашу критику. Пусть. Я считаю сам это лишь предисловием, но только необходимым. Как и Вы у меня, то есть в моей речи, отмечаете и находите такие пункты разногласия с Вами, которые сами считаете самыми важными и важнейшими, так и я прежде всего отметил и выставил такой пункт у Вас, который считаю самым основным разногласием нашим, наиболее препятствующим нам прийти к соглашению. Но предисловие кончено, приступим к Вашей критике и теперь уже без отступлений.

* «Каждый за себя, а Бог за всех» (франц.).

** «После меня хоть потоп» (франц.).

Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. Анекдоты

Вы пишете, критикуя мою речь:

«Но Пушкин, выводя Алеко и Онегина с их отрицанием, не показал, что именно «отрицали» они, и было бы в высшей степени рискованно утверждать, что они отрицали именно «народную правду», коренные начала русского мирозерцания. Этого не видно нигде».

Ну, видно или не видно, рискованно или нет утверждать, — мы к этому возвратимся сейчас, а прежде вот то, что Вы говорите о Дмухановских, от которых будто бы бежал Алеко к цыганам:

«Но действительно, мир тогдашних скитальцев, — пишете Вы, — был миром, отрицавшим другой мир. Для объяснения этих типов необходимы другие типы, которых Пушкин не воспроизвел, хотя и обращался к ним по временам с жгучим негодованием. Природа его таланта мешала ему спуститься в этот мрак и возвести в «перл создания» сов, сычей и летучих мышей, наполнявших подвальные этажи русского жилища (*не верхние ли?*). Это сделал Гоголь — великая оборотная сторона Пушкина. Он поведал миру, отчего бежал к цыганам Алеко, отчего скучал Онегин, отчего народились на свет «лишние люди», увековеченные Тургеневым. Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановские, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины — вот теневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многих иных. Это фон, без которого непонятны фигуры последних. А ведь эти гоголевские герои были русскими — ух, какими русскими людьми! У Коробочки не было мировой скорби, Сквозник-Дмухановский превосходно умел объясняться с купцами, Собакевич насквозь видел своих крестьян, и они насквозь видели его. Конечно, Алеко и Рудины всего этого вполне не видали и не понимали; они просто бежали, куда кто мог: Алеко к цыганам, Рудин в Париж, умирать за дело, для него совершенно постороннее».

Они *просто*, видите ли, бежали. О, фельетонная легкость решения! И как просто все это у Вас выходит, как все у Вас го-

тово и предрешено! Подлинно готовые слова говорите. Кстати, к чему Вы завели речь о том, что все эти гоголевские герои были русскими, — «ух какими русскими людьми!» К спору нашему это вовсе и не подходит. Да и кто не знает, что они были русские люди? Да и Алеко и Онегин были русские, да и мы с Вами русские люди; да, русским же, вполне русским был и Рудин, убежавший в Париж умирать за дело, для него совершенно, будто бы, постороннее, как Вы утверждаете. Да ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь посторонним, как было бы англичанину или немцу, ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое — давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была, собственно, в том, что он на своей ниве работы не нашел и умер на другой ниве, но вовсе не столь чуждой ему, как Вы утверждаете. Но вот в чем, однако же, дело: все эти Сквозники и Собакевичи хоть и русские люди, но русские люди испорченные, от почвы оторванные и хоть знающие народный быт с одной стороны, но ничего не знающие с другой, даже не подозревающие, что она существует, другая-то эта сторона, — в этом все и дело. Души народной, того, чего народ жаждет, чего молитвенно просит, они и не подозревали, потому что страшно презирали народ. Да и душу-то они в нем отрицали даже, кроме разве ревизской. «Собакевич насквозь видел своих крестьян», — утверждаете Вы. Это невозможно. Собакевич видел в своем Прощке только силищу, которую можно продать Чичикову. Вы утверждаете, что Сквозник-Дмухановский превосходно умел объясняться с купцами. Помилосердуйте! Да перечтите сами монолог городничего к купцам в пятом акте: так говорят разве только с собаками, а не с людьми, это ли значит «превосходно» говорить с русским человеком? Неужто Вы хвалите? Да лучше бы прямо по зубам или за волосы. В детстве моем я видел раз на большой дороге фельдъегеря, в мундире с фалдочками, в трехуголке с пером, страшно тузившего в загорбок ямщика кулаком на всем лету, а тот исступленно стегал свою запаренную, скачущую

во весь опор тройку. Этот фельдгегерь был, разумеется, по рождению русский, но до того ослепший и оторвавшийся от народа, что не мог иначе и объясняться с русским человеком, как своим огромным кулачищем вместо всякого разговора. А, между тем, ведь он всю жизнь свою провел с ямщиками и с разным русским народом. Но фалдочки его мундира, шляпа с пером, его офицерский чин, его вычищенные петербургские сапоги ему были дороже, душевно и духовно, не только русского мужика, но, может быть, и всей России, которую он искрестил всю взад и вперед и в которой он, по всей вероятности, ровно ничего не нашей примечательного и достойного чего-нибудь иного, кроме как его кулака или пинка вычищенным его сапогом. Ему вся Россия представлялась лишь в его начальстве, а все, что кроме начальства, почти недостойно было существовать. Как такой может понимать суть народа и душу его! Это был хоть и русский, но уже и «европейский» русский, только начавший свой европеизм не с просвещения, а с разврата, как и многие, чрезвычайно многие начинали. Да-с, этот разврат не раз принимался у нас за самый верный способ переделать русских людей в европейцев. Ведь сын такого фельдгегеря будет, может быть, профессором, то есть патентованным уж европейцем. Итак, не говорите о понимании ими сути народной. Нужно было Пушкина, Хомяковых, Самариных, Аксаковых, чтоб начать толковать о настоящей сути народной. (До них хоть и толковали о ней, но как-то классически и театрально.) И когда они начали толковать о «народной правде», все смотрели на них как на эпилептиков и идиотов, имеющих в идеале — «есть редьку и писать донесения». Да, донесения! Они до того всех удивили на первых порах своим появлением и своими мнениями, что либералы начали даже сомневаться: не хотят ли де они писать на них донесения? Решите сами: далеко или нет от этого глупенького взгляда на славянофилов ушли многие современные либералы?

Но к делу. Вы утверждаете, что Алеко убежал к цыганам от Держиморды. Положим, что это правда. Но хуже всего то, что Вы-то сами, г-н Градовский, вполне убежденно признаете

права Алеко на всю таковую брезгливость его: «Не мог, дескать, не убежать к цыганам, ибо уж слишком гадок был Держиморда». А я утверждаю, что Алеко и Онегин были тоже в своем роде Держиморды, и даже в ином отношении и похуже. Только с тою разницею, что я не обвиняю их за это вовсе, вполне признавая трагичность судьбы их, а Вы их хвалите за то, что они убежали: «Дескать, такие великие и интересные люди могли ли ужиться с такими уродами?» Вы ужасно ошибаетесь. Вы вот сами выводите, что Алеко и Онегин вовсе не отрывались от почвы и вовсе не отрицали народную правду. Мало того: «Вовсе-де они и не горды были» — вот что Вы даже утверждаете. Да тут гордость прямое, логическое и неминуемое последствие их отвлеченности и оторванности от почвы. Ведь не можете же Вы отрицать, что они почвы не знали, росли и воспитывались по-институтски, Россию узнавали в Петербурге на службе, с народом были в отношениях барина к крепостному. Пусть они даже и жили в деревне с мужиком. Мой фельдъегерь всю жизнь с ямщиками знался и ничего другого не признал в них, кроме достойного своего кулачища. Алеко и Онегин к России были высокомерны и нетерпеливы, как все люди, живущие от народа отдельной кучкой, на всем на готовом, то есть на мужичьем труде и на европейском просвещении, тоже им даром доставшемся. Именно тем, что все интеллигентные люди наши, известной исторической подготовкой, чуть не во все века нашей истории, обратились лишь в праздных белоручек, — тем и объясняется их отвлеченность и оторванность от родной почвы. Не Держимордой он погиб, а тем, что не умел объяснить себе Держиморду и происхождение его. Слишком для этого горд был. Не умев же объяснить, не нашел возможности и работать на родной ниве. Тех же, которые верили в эту возможность, считал за глупцов или тоже за Держиморд. И не только перед Держимордой был горд наш скиталец, но и перед всей Россией, ибо Россия, по его окончательному выводу, содержала в себе только рабов да Держиморд. Если же заключала что-нибудь в себе поблагороднее, то это их, Алек и Онегиных, а более ничего. После этого гордость приходит уже сама собой:

пребывая в отвлечении, они естественно начинали удивляться своему благородству и высоте своей над гадкими Держимордами, в которых не умели ничего объяснить. Если б не были они горды, то увидали бы, что и сами они Держиморды, и, прозрев это, может быть, нашли бы тогда именно в этом прозрении и исход к примирению. К народу же чувствовали уже не столько гордость, сколько омерзение, и это сплошь. Вы всему этому не поверите, Вы, напротив, говоря, что иные черты Алек и Онегинных действительно неприглядны, высокомерно начинаете журить меня за узость взгляда, за то, что «лечить симптомы и оставлять корень болезни едва ли рассудительно». Вы утверждаете, что я, говоря: «Смирись, гордый человек», — обвиняю Алеко лишь в личных его качествах, упуская корень дела, «как будто, дескать, вся суть дела лишь в личных качествах горящихся и не желающих смириться». «Не решен вопрос, — говорите Вы, — перед чем гордились скитальцы; остается без ответа и другой — перед чем следует смириться». Все это с Вашей стороны очень уж высокомерно: я, кажется, прямо ведь вывел, что «скитальцы» продукт исторического хода нашего общества, стало быть, не сваливаю же всю вину на них только одних *лично* и на их *личные* качества. Вы это у меня читали, это написано, напечатано, стало быть, зачем же Вы искажаете? Выписывая у меня тираду: «Смирись», Вы пишете:

«В этих словах г-н Достоевский выразил «святая святых» своих убеждений, то, что составляет одновременно силу и слабость автора «Братьев Карамазовых». В этих словах заключен великий *религиозный* идеал, мощная проповедь *личной* нравственности, но нет и намека на идеалы *общественные*».

А затем, после сих слов, тотчас же начинаете критиковать идею «личного совершенствования в духе христианской любви». К Вашему мнению о «личном самосовершенствовании» я перейду сейчас, но прежде выверну перед Вами всю Вашу подкладку, которую Вы, кажется, хотели бы скрыть, именно: Вы не за то только, что я обвиняю «скитальца», на меня уж так рассердились, а за то, что я, напротив, не при-

знаю его за идеал нравственного совершенства, за русского здорового человека, каким только он может и должен быть! Признавая, что в Алеко и Онегине есть «неприглядные черты», Вы только хитрите. На Ваш внутренний взгляд, который Вы почему-то не хотите обнаружить вполне, «скитальцы» — нормальны и прекрасны, прекрасны уже тем, что убежали от Держиморд. Вы с негодованием смотрите, если осмелятся в них признать хоть даже какой-нибудь недостаток. Вы говорите уже прямо: «Было бы нелепо утверждать, что они погибали от своей гордости и не хотели смириться перед народной правдой». Вы, наконец, с жаром утверждаете и настаиваете, что это они освобождали крестьян. Вы пишете:

«Скажем больше: если в душе лучших из этих «скитальцев» первой половины нашего столетия и сохранялся какой-нибудь помысел, то это именно был помысел о народе, самая жгучая из их ненавистей была обращена именно к рабству, тяготевшему над народом. Пусть они любили народ и ненавидели крепостное право по-своему, по-«европейски» что ли. Но кто же, как не они, подготовили общество наше к упразднению крепостного права? Чем могли, и они послужили «родной ниве», сначала в качестве проповедников освобождения, а потом в качестве мировых посредников первой очереди».

То-то вот и есть, что «скитальцы» ненавидели крепостное право «по-своему, по-европейски», в том-то и вся суть. То-то вот и есть, что ненавидели они крепостное право не ради русского мужика, на них работавшего, их питавшего, а стало быть, ими же в числе других и угнетенного. Кто мешал им, если уж до того их одолевала гражданская скорбь, что к цыганам приходилось бежать али на баррикады в Париж, — кто мешал им просто-запросто освободить хоть своих крестьян с землей и снять таким образом гражданскую скорбь, по крайней мере, хотя со своей-то личной ответственности? Но о таких освобождениях что-то мало у нас было слышно, а гражданских воплей раздавалось довольно. «Среда, дескать, заедала, и как же де ему своего капиталу лишиться?» Да почему же не лишиться, когда уж до такой степени дело доходило от скорби

по крестьянам, что на баррикады бежать приходилось? То-то вот и есть, что в «местечке Парижè-с» все-таки надобны деньги, хотя бы и на баррикадах участвуя, так вот крепостные-то и присылали оброк. Делали и еще проще: закладывали, продавали или обменивали (не все ли равно?) крестьян и, осуществив денежки, уезжали в Париж способствовать изданию французских радикальных газет и журналов для спасения уже всего человечества, не только русского мужика. Вы и уверяете, что их всех заедала скорбь о крепостном мужике? Не то чтоб о крепостном мужике, а вообще отвлеченная скорбь о рабстве в человечестве: «Не надо-де ему быть, это непросвещенно, *liberté*, дескать, *egalité et fraternité*»*. Что же до русского мужика лично, то, может быть, скорбь о нем даже и вовсе не томила этих великих сердец так ужасно. Я знаю и запомнил множество интимных изречений даже весьма и весьма «просвещенных» людей прежнего доброго старого времени. «Рабство, без сомнения, ужасное зло, — соглашались они интимно между собой, — но если уже все взять, то наш народ — разве это народ? Ну, похож он на парижский народ девяносто третьего года? Да он уж свыкся с рабством, его лицо, его фигура уже изображает собою раба, и, если хотите, розга, например, конечно, ужасная мерзость, говоря вообще, но для русского человека, ей-Богу, розочка еще необходима: «Русского мужичка надо посечь, русский мужичок стоскуется, если его не посечь, уж такая-де нация», — вот что я слыхивал в свое время, клянусь, от весьма даже просвещенных людей. Это «трезвая правда-с». Онегин, может быть, и не сек своих дворовых, хотя, право, трудно это решить, ну, а Алеко, я уверен, что посекал — и не от жестокости ведь сердца, а почти даже из жалости, почти для доброй цели: «Ведь это-де для него необходимо, ведь без розочки он не проживет, сам ведь он приходит и просит: «Посеки меня, барин, сделай человеком, сбаловался совсем!» Что ж делать с такою природою, скажите пожалуйста, ну и удовлетворишь его, посечешь!» Повторяю, чувство к мужику в них доходило зачастую до гадливости. А сколько презрительных анек-

* Свобода, равенство и братство (*франц.*).

дотов ходило между них о русском мужике, презрительных и похабных, о его рабской душе, о его «идолопоклонстве», о его попе, о его бабе, и говорили все это с самым легким сердцем такие иногда люди, у которых их собственная семейная жизнь изображала собою нередко почти дом терпимости, — о, разумеется, не всегда от худого чего-нибудь, а иногда именно лишь от излишнего жару к восприятию последних европейских идей, à la Лукреция Флориани, например, по-нашему понятых и усвоенных со всею русской стремительностью. Русские люди были во всем-с! О, русские скорбящие скитальцы бывали иногда большими плутами, г-н Градовский, и вот именно эти самые анекдотики о русском мужике и презрительное мнение о нем почти всегда утоляли в сердцах их остроту гражданской их скорби по крепостному праву, придавая ей таким образом лишь отвлеченно-мировой характер. А ведь с отвлеченно-мировым характером скорби весьма и весьма можно ужитья, питаюсь духовно созерцанием своей нравственной красоты и полета своей гражданской мысли, ну, а телесно все-таки питаюсь оброком с тех же крестьян, да еще как питаюсь-то! Да чего, вот недавно еще один старожил, наблюдатель того времени, привел анекдот в журнале об одной встрече самых сильнейших русских тогдашних либеральных и мировых умов с русской бабой. Тут уже были отъявленные скитальцы, так сказать, уже патентованные, заявившие в этом смысле себя исторически. Летом, видите ли, именно в сорок пятом году, на прекрасную подмосковную дачу, где давались «колоссальные обеды», по замечанию самого старожилы, съехалось раз множество гостей: гуманнейшие профессора, удивительнейшие любители и знатоки изящных искусств и кой-чего прочего, славнейшие демократы, а впоследствии знатные политические деятели уже мирового даже значения, критики, писатели, прелестнейшие по развитию дамы. И вдруг вся компания, вероятно после обеда с шампанским, с кулебяками и с птичьим молоком (с чего женибудь да названы же обеды «колоссальными») направилась погулять в поле. В глуши, во ржи, встречают жницу. Летняя страда известна: встают му-

жики и бабы в четыре часа и идут хлеб убирать, работают до ночи. Жать очень трудно, все двенадцать часов нагнувшись, солнце жжет. Жница как заберется обыкновенно в рожь, то ее и не видно. И вот тут-то, во ржи, и находит наша компания жницу, — представьте себе, в «примитивном костюме» (в рубашке?!). Это ужасно! мировое, гуманное чувство возбуждено, тотчас раздался оскорбленный голос: «Одна только русская женщина из всех женщин ни перед кем не стыдится!» Ну, разумеется, тотчас и вывод: «Одна русская женщина из всех такая, перед которой никто и ни за что не стыдится» (то есть так и не должно стыдиться, что ли?). Завязался спор. Явились и защитники бабы, но какие защитники, и с какими возражениями им пришлось бороться! И вот такие-то мнения и решения могли раздаваться в толпе скитальцев-помещиков, упившихся шампанским, наглотававшихся устриц, — а на чьи деньги? Да ведь на ее же работу! Ведь на вас же она, мировые страдальцы, работает, ведь на ее же труд вы наелись. Что во ржи, где ее не видно, мучимая солнцем и потом, сняла паневу и осталась в одной рубашке — так она и бесстыдна, так уж и оскорбила ваше стыдливое чувство: «Из всех, дескать, женщин всех бесстыднее», — ах вы, целомудренники! А «парижские-то увеселения» ваши, а резвости в «местечке Парижé-с», а канканчик в Баль-Мабиле⁴³, от которого русские люди таяли, даже когда только рассказывали о нем, а миленькая песенка:

Ma commère quand je danse
Comment va mon cotillon? *—

с грациозным приподнятием юбочки и с подергиванием задком — это наших русских целомудренников не возмущает, напротив прельщает? «Помилуйте, да ведь это у них так грациозно, этот канканчик, эти подергивания, — это ведь изящнейший *article de Paris*** в своем роде, а ведь тут что, тут баба, русская баба, обрубок, колода!» Нет-с, тут уж даже не убеж-

* Подружка, когда я танцую, нравится ли тебе моя юбочка? (*франц.*)

** Парижский шик (*франц.*)

дение в мерзости нашего мужика и народа, тут уж в чувство перешло, тут уж личное чувство гадливости к мужику сказалось, — о, конечно, невольное, почти бессознательное, совсем даже не замеченное с их стороны. Признаюсь, совсем даже не могу согласиться со столь капитальным положением Вашим, г-н Градовский: «Кто ж, как не они, подготовили общество наше к упразднению крепостного права?» Отвлеченной болтовней разве послужили, источая гражданскую скорбь по всем правилам, — о, конечно, все в общую экономию пошло и к делу пригодилось. Но способствовали освобождению крестьян и помогали трудящимся по освобождению скорее такого склада люди, как, например, Самарин⁴⁴, а не Ваши скитальцы. Такого типа людей, как Самарин, типа уже совершенно не похожего на скитальцев, явилось на великую тогдашнюю работу ведь очень немало, г-н Градовский, а о них Вы, конечно, ни слова. Скитальцам же это дело, по всем признакам, очень скоро наскучило, и они опять стали брезгливо будировать. Не скитальцы бы они были, если бы поступили иначе. Получив выкупные, стали остальные земли и леса свои продавать купцам и кулакам на сруб и на истребление и, выселяясь за границу, завели абсентеизм... Вы, конечно, с моим мнением не согласитесь, г-н профессор, но ведь что же и мне-то делать: никак не могу ведь и я согласиться признать этот образ столь дорогого Вам русского высшего и либерального человека за идеал настоящего нормального русского человека, каким будто бы он был в самом деле, есть теперь и должен быть даже в будущем. Немного путного сделали эти люди в последние десятилетия на родной ниве. Это будет повернее, чем Ваш дифирамб во славу этих прошлых господ.

Две половинки

А теперь перейду к Вашим взглядам на «личное самосовершенствование в духе христианской любви» и на совершенную, будто бы, недостаточность его сравнительно с

«идеалами общественными» и, главное, с «общественными учреждениями». О, Вы сами начинаете с того, что это самый важный пункт в нашем разномыслии. Вы пишете:

«Теперь мы дошли до самого важного пункта в нашем разномыслии с г-ном Достоевским. Требуя смирения перед народною правдой, перед народными идеалами, он принимает эту «правду» и эти идеалы как нечто готовое, незыблемое и вековечное. Мы позволим себе сказать ему — нет! *Общественные* идеалы нашего народа находятся еще в процессе *образования, развития*. Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа».

Я уже отвечал Вам отчасти насчет «правды» и идеалов народных в начале статьи, в первом отделении ее. Эту правду и эти идеалы народные Вы находите прямо недостаточными для развития общественных идеалов России. Религия, дескать, одно, а общественное дело другое. Живой, целокупный организм режете Вашим ученым ножом на две отдельные половинки и утверждаете, что эти две половинки должны быть совершенно независимы одна от другой. Посмотрим же ближе, разберем эти обе половинки отдельно каждую, и, может быть, что-нибудь выведем. Разберем сначала половинку о «самосовершенствовании в духе христианской любви». Вы пишете:

«Г-н Достоевский призывает работать над собою и смирить себя. Личное самосовершенствование в духе христианской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой деятельности, большой или малой. Но из этого не следует, чтоб люди, *лично совершенные в христианском смысле*, непременно образовали совершенное общество (?!). Позволим себе привести пример.

Апостол Павел поучал рабов и господ в их взаимных отношениях. И те, и другие могли послушать и обыкновенно слушали слово апостола, они *лично* были хорошими христианами, но *рабство* через то не освящалось и оставалось учреждением безнравственным. Точно так же г-н Достоевский, а равно и каждый из нас, знал превосходных христиан-помещиков и таковых же крестьян. Но *крепостное право* оставалось мерзостью перед Господом, и русский

царь-освободитель явился выразителем требований не только *личной*, но и *общественной* нравственности, о которой в старое время не было надлежащих понятий, несмотря на то, что «хороших людей» было, может быть, не меньше, чем теперь.

Личная и общественная нравственность не одно и то же. Отсюда следует, что никакое *общественное* совершенствование не может быть достигнуто *только* через улучшение личных качеств людей, его составляющих. Приведем опять пример. Предположим, что начиная с 1800 года ряд проповедников христианской любви и смирения принялся бы улучшать нравственность Коробочек и Собакевичей. Можно ли предположить, чтоб они достигли отмены крепостного права, чтоб не нужно было *властного* слова для устранения этого «явления»? Напротив, Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христианка и настоящая «мать» своих крестьян, и пребыла бы в этом убеждении, несмотря на все доводы проповедника...

Улучшение людей в смысле *общественном* не может быть произведено только работой «над собою» и «смирением себя». Работать над собой и смирять свои страсти можно и в пустыне и на необитаемом острове. Но, как существа *общественные*, люди развиваются и улучшаются в работе *друг подле друга, друг для друга и друг с другом*. Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства *общественных учреждений*, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести.

Видите, сколько я из Вас выписал! Все это ужасно высокомерно и страшно досталось «личному самосовершенствованию в духе христианской любви»: в гражданских, дескать, делах почти ни к чему непригодно. Курьезно Вы, однако же, понимаете христианство! Представить только, что Коробочка и Собакевич стали настоящими христианами, уже *совершенными* (вы сами говорите о совершенстве) — можно ли де их убедить тогда отказаться от крепостного права? Вот коварный вопрос, который Вы задаете и, разумеется, отвечаете на него: «Нет, нельзя убедить Коробочку даже и совершенную христианку». На это прямо отвечу: если б только Коробочка стала и могла стать *настоящей*, совершенной уже христианкой, то крепостного права в ее поместье уже не существовало бы вовсе, так что и хлопотать бы не о

чем было, несмотря на то, что все крепостные акты и купчие оставались бы у ней по-прежнему в сундуке. Позвольте еще: ведь Коробочка и прежде была христианкой, и родилась таковою? Стало быть, говоря о новых проповедниках христианства, Вы разумеете хоть и прежнее по сути своей христианство, но усиленное, *совершенное*, так сказать, уже дошедшее до своего идеала? Ну какие же тогда рабы и какие же господа, помилуйте! Надо же понимать хоть сколько-нибудь христианство! И какое дело тогда Коробочке, *совершенной* уже христианке, крепостные или некрепостные ее крестьяне? Она им «мать», настоящая уже мать, и «мать» тотчас же бы упразднила прежнюю «барыню». Это само собою бы случилось. Превжняя барыня и превжний раб исчезли бы как туман от солнца, и явились бы совсем новые люди, совсем в новых между собою отношениях, превже несслыханных. Да и дело-то совершилось бы несслыханное: явились бы *повсеместно* совершенные христиане, которых и в единицах-то превже было так мало, что и разглядеть трудно было. Ведь Вы сами же сделали такое фантастическое предположение, г-н Градовский, ведь Вы сами же въехали в такую удивительную фантазию, а въехали — так и принимайте последствия. Уверяю Вас, г-н Градовский, что крестьяне Коробочки сами бы тогда не пошли от нее, по той простой причине, что всяк ищет, где ему лучше. В учреждениях, что ли, Ваших было бы ему лучше, чем у любящей их, родной уже матери помещицы? Смею уверить Вас тоже, что если при апостоле Павле сохранялось рабство, то это именно потому, что возникавшие тогдашние церкви еще не были *совершенны* (что видим и из посланий апостола). Те же члены церквей, которые лично достигали тогда совершенства, уже не имели и не могли иметь рабов, потому что таковые обращались в братьев, а брат, воистину брат, не может иметь своего брата у себя рабом. По-вашему же как бы выходит, что проповедь христианства была бессильна. Вы вот по крайней мере пишете, что проповедью апостола рабство не освящалось, а ведь другие ученые, особенно историки европейские, во

множестве укоряли христианство за то, что оно, будто бы, освящает рабство. Это значит не понимать сути дела. Предположить только, что у Марии Египетской есть крепостные крестьяне и что она не хочет их отпустить на волю. Что за абсурд! В христианстве, в настоящем христианстве, есть и будут господа и слуги, но раба невозможно и помыслить. Я говорю про настоящее, совершенное христианство. Слуги же не рабы. Ученик Тимофей прислуживал Павлу, когда они ходили вместе, но прочтите послания Павла к Тимофею: к рабу ли он пишет, даже к слуге ли, помилуйте! Да это именно «чадо Тимофее», возлюбленный сын его. Вот, вот именно такие будут отношения господ к своим слугам, если те и другие станут уже совершенными христианами! Слуги и господа будут, но господа уже будут не господами, а слуги не рабами. Представьте, что в будущем обществе есть Кеплер⁴⁵, Кант⁴⁶ и Шекспир: они работают великую работу для всех, и все сознают и чтут их. Но некогда Шекспиру отрываться от работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И поверьте, непременно придет к нему служить другой гражданин, сам пожелает, своей волей придет и будет выносить у Шекспира ненужное. Что ж он будет унижен, раб? Отнюдь нет. Он знает, что Шекспир полезнее его бесконечно: «Честь тебе и слава, — скажет он ему, — и я рад послужить тебе; хоть каплей и я послужу тем на общую пользу, ибо сохраню тебе часы для великого твоего дела, но я не раб. Именно сознавшись в том, что ты, Шекспир, выше меня своим гением, и придя к тебе служить, я именно этим сознанием моим и доказал, что по нравственному достоинству человеческому я не ниже тебя нисколько и, *как человек*, тебе равен». Да он и не скажет этого тогда, уже по тому одному, что и вопросов таких тогда не возникнет вовсе, да и немыслимы они будут. Ибо все будут воистину новые люди, Христовы дети, а прежнее животное будет побеждено. Вы скажете, конечно, что это опять-таки фантазия. Но ведь не я же начал фантазировать первый, а Вы сами: ведь Вы же предположили Коробочку, уже *совершенную* христианку с

«крепостными *детьми*», которых она не хочет отпустить на волю; это почище моей фантазии.

Умные люди тут рассмеются и скажут: «Хорошо же, после того хлопотать о самосовершенствовании в духе христианской любви, когда настоящего христианства, стало быть, нет совсем на земле, или так мало, что и разглядеть трудно, иначе (по моим же, то есть, словам) мигом все бы уладилось, всякое рабство уничтожилось. Коробочки переродились бы в светлых гениев, и всем бы оставалось только запеть Богу гимн?» Да, конечно, господа насмешники, настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почему вы знаете, сколько именно надо их, чтоб не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его? Примените к светским понятиям: сколько надо настоящих граждан, чтоб не умирала в обществе гражданская доблесть? И на это тоже вы не ответите. Тут своя политическая экономия, совсем особого рода, и нам неизвестная, даже Вам неизвестная, г-н Градовский. Скажут опять: «Если так мало исповедников великой идеи, то какая в ней польза?» А Вы почему знаете, к какой это пользе в конце концов приведет? До сих пор, по-видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль. Вот другое дело теперь, когда что-то новое надвигается в мире повсеместно и надо быть готовым... Да и дело-то тут вовсе не в пользе, а в истине. Ведь если я верю, что истина тут, вот именно в том, во что я верую, то какое мне дело, если б даже весь мир не поверил моей истине, насмеялся надо мной и пошел иною дорогой? Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их в будущее, к целям вековым, к радости абсолютной. Чем соедините Вы людей для достижения Ваших гражданских целей, если нет у Вас основы в первоначальной великой идее нравственной? А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе все, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все Ваши гражданские

идеалы. Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»? Ничего не получите, кроме нравственной формулы: «Chacun pour soi et Dieu pour tous»*. С такой формулой никакое гражданское учреждение долго не проживет, г-н Градовский.

* * *

Но я пойду далее, я намерен Вас удивить: узнайте, ученый профессор, что общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого Вашим ученым ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место с успехом, в виде отдельного «учреждения», таких идеалов, говорю я, — нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать! Да и что такое общественный идеал, как понимать это слово? Конечно, суть его в стремлении людей отыскать себе формулу общественного устройства, по возможности безошибочную и всех удовлетворяющую — ведь так? Но формулы этой люди не знают, люди ищут ее все шесть тысяч лет своего исторического периода и не могут найти. Муравей знает формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья (хоть не знают по-человечески, так знают по-своему, им больше не надо), но человек не знает своей формулы. Откуда же, коли так, взяться идеалу гражданского устройства в обществе человеческом? А следите исторически, и тотчас увидите, из чего он берется. Увидите, что он есть единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков. При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, *ибо она же и создавала ее*. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен,

* «Каждый за себя, а Бог за всех» (франц.).

что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность. Взгляните на евреев и мусульман: национальность у евреев сложилась только после закона Моисеева, хотя и началась еще из закона Авраамова, а национальности мусульманские явились только после Корана⁴⁷. Чтоб сохранить полученную духовную драгоценность, тотчас же и влекутся друг к другу люди, и тогда только, ревностно и тревожно, «работою друг подле друга, друг для друга и друг с другом» (как Вы красноречиво написали), — тогда только и начинают отыскивать люди: как бы им так устроиться, чтоб сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую *гражданскую* формулу совместного жития, которая именно помогла бы им выдвинуть на весь мир, в самой полной ее славе, ту нравственную драгоценность, которую они получили. И заметьте, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят. *Сами же по себе* никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось. А стало быть, «самосовершенствование в духе религиозном» в жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и *есть исповедание полученной религии*, а «гражданские идеалы» сами, без этого стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят,

да и зародиться не могут. Вы скажете, может быть, что Вы и сами говорили, что «личное самосовершенствование есть начало всему» и что вовсе ничего не делили ножом. То-то и есть, что делили, что разрезывали живой организм на две половинки. Не «начало только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно. Для него и живет гражданская формула нации, ибо и создавалась для того только, чтоб сохранять его как первоначально полученную драгоценность. Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в *том духе, который зародил ее*, тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять. Таким образом, никак нельзя сказать то, что Вы сказали в следующей Вашей фразе:

«Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства *общественных учреждений*, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести».

«Если не христианские, то гражданские доблести!» Разве не виден тут ученый нож, делящий неделимое, разрезающий целокупный живой организм на две отдельные мертвые половинки — нравственную и гражданскую? Вы скажете, что и «в общественных учреждениях» и в сани «гражданина» может заключаться величайшая нравственная идея, что «гражданская идея» в нациях уже зрелых, развившихся, всегда заменяет первоначальную идею религиозную, которая в нее и вы рождается и которой она по праву наследует. Да, так многие утверждают, но мы такой фантазии еще не видали в осуществлении. Когда изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения, с единственной целью «спасти животишки» — других целей гражданского единения тогда не бывает. Вот теперь французская буржуазия единится именно с этою целью «спасения животишек» от четвертого ломящего-

ся в ее дверь сословия. Но «спасение животишек» есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца. Единятся, а сами уже наострили глаза, как бы при первой опасности поскорее рассыпаться врознь. И что тут может спасти «учреждение» как таковое, как взятое само по себе? Были бы братья, будет и братство. Если же нет братьев, то никаким «учреждением» не получите братства. Что толку поставить «учреждение» и написать на нем: «Liberté, égalité, fraternité»? Ровно никакого толку не добьетесь тут «учреждением», так что придется — необходимо, неминуемо придется — присовокупить к трем «учредительным» словечкам четвертое: «ou la mort», «fraternité ou la mort»*, — и пойдут братья откалывать головы братьям, чтоб получить через «гражданское учреждение» братство. Это только пример, но хороший. Вы, г-н Градовский, как и Алеко, ищите спасения в вещах и в явлениях внешних: пусть-де у нас в России поминутно глупцы и мошенники (на иной взгляд, может, и так), но стоит лишь пересадить к нам из Европы какое-нибудь «учреждение» и, по-вашему, все спасено. Механическое перенесение к нам европейских форм (которые там завтра же рухнут), народу нашему чуждых и воле его не пригожих, есть, как известно, самое важное слово русского европеизма. Кстати, вот Вы, г-н Градовский, осуждая наше неустройство, стыдя тем Россию и указывая ей на Европу, изволите говорить:

«А пока что мы не можем справиться даже с такими несогласиями и противоречиями, с которыми Европа справилась давным-давно...»

Это Европа-то справилась? Да кто только мог Вам это сказать? Да она накануне падения, Ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа (ибо церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в

* «Или смерть», «братство или смерть» (франц.).

государство), с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все, все общее и все абсолютное, — этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь и, если ему не отворят, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жида — все это рухнет в один миг и бесследно — кроме разве жидов, которые и тогда найдутся как поступить, так что им даже в руку будет работа. Все это «близко, при дверях». Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай Бог Вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мне, смеясь: «Хорошо же Вы любите Европу, коли так ей пророчите». А я разве радуюсь? Я только предчувствую, что подведен итог. Окончательный же расчет, уплата по итогу может произойти даже гораздо скорее, чем самая сильная фантазия могла бы предположить. Симптомы ужасны. Уж одно только стародавнее-неестественное политическое положение европейских государств может послужить началом всему. Да и как бы оно могло быть естественным, когда неестественность заложена в основании их и накоплялась веками? Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственно цели и слагались до сих пор *все* гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой. Эта неестественность и эти «неразрешимые» политические вопросы (всем известные, впрочем) непременно должны привести к огромной, окончательной, разделочной политической войне, в которой все будут замешаны и которая разразится в нынешнем еще столетии, может, даже в наступающем десятилетии. Как Вы думаете: выдержит там *теперь* длинную политическую войну общество? Фабрикант труслив и пуглив, жид тоже, фабрики и банки за-

кроются все, чуть-чуть лишь война затянется или погрозит затянуться, и миллионы голодных ртов, отверженных пролетариев, брошены будут на улицу. Уж не надеетесь ли Вы на благоразумие политических мужей и на то, что они не затеют войну? Да когда же на это благоразумие можно было надеяться? Уж не надеетесь ли Вы на палаты, что они не дадут денег на войну, предвидя последствия? Да когда же там палаты предвидели последствия и отказывали в деньгах чуть-чуть настойчивому руководящему человеку? И вот пролетарий на улице. Как Вы думаете, будет он теперь по-прежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Это после политического-то социализма, после интернационалки, социальных конгрессов и Парижской коммуны? Нет, теперь уже не по-прежнему будет: они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки. Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только, въявь и воочию, обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского. Тогда и вы, г-да доктринеры, может быть, схватитесь и начнете искать у нас «народных начал», над которыми теперь только смеетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут, как изживший свой век абсурд, и в которые и там уже многие умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции. Да и кто, кроме отвлеченного доктринера, мог принимать комедию буржуазного единения, которую видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле? Они-де у себя давно справились: это после двадцати-то конституций менее чем в столетие и без малого после десятка революций? О, может быть, только тогда, освобожденные на миг от Европы, мы займемся уж сами, без европейской опеки, нашими общественными идеалами, и непременно исходящими из Христа и личного само-совершенствования, г-н Градовский. Вы спросите: какие же могут быть у нас свои общественные и гражданские идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданские, и наши об-

щественные идеалы — лучше ваших европейских, крепче ваших и даже — о ужас! — либеральнее ваших! Да, либеральнее, потому что исходят прямо из организма народа нашего, а не лакейски безличная пересадка с Запада. Теперь я, конечно, не могу об этом распространиться, ну хоть по тому одному, что и без того статья длинна вышла. Кстати, вспомните: что такое и чем таким стремилась быть древняя христианская церковь? Началась она сейчас же после Христа, всего с нескольких человек, и тотчас, чуть не в первые дни после Христа, устремилась отыскивать свою «гражданскую формулу», всю основанную на нравственной надежде утоления духа по началам личного самосовершенствования. Начались христианские общины — церкви, затем быстро начала создаваться новая, неслыханная дотоле национальность — всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. Но она была гонима, идеал созидался под землю, а над ним, поверх земли тоже созидалось огромное здание, громадный муравейник — древняя Римская империя, тоже являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственных стремлений всего древнего мира: являлся человекобог, империя сама воплощалась как религиозная идея, дающая в себе и собою исход всем нравственным стремлениям древнего мира. Но муравейник не заключился, он был подкопан церковью. Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: человекобог встретил богочеловека, Аполлон Бельведерский Христа. Явился компромисс: империя приняла христианство, а церковь — римское право и государство. Малая часть церкви ушла в пустыню и стала продолжать прежнюю работу: явились опять христианские общины, потом монастыри — все только лишь пробы, даже до наших дней. Оставшаяся же огромная часть церкви разделась впоследствии, как известно, на две половины. В западной половине государство одолело наконец церковь совершенно. Церковь уничтожилась и перевоплотилась уже окончательно в государство. Явилось папство — продолжение древней Римской империи в новом

воплощении. В восточной же половине государство было покорено и разрушено мечом Магомета, и остался лишь Христос, уже отделенный от государства. А то государство, которое приняло и вновь вознесло Христа, претерпело такие страшные вековые страдания от врагов, от татарщины, от неустройства, от крепостного права, от Европы и европеизма и столько их до сих пор выносит, что настоящей общественной формулы, в смысле духа любви и христианского самосовершенствования действительно еще в нем не выработалось. Но не Вам бы только укорять его за это, г-н Градовский. Пока народ наш хоть только носитель Христа, на него одного и надеется. Он назвал себя крестьянином, то есть христианином, и тут не одно только слово, тут идея на все его будущее. Вы, г-н Градовский, безжалостно укоряете Россию за ее неустройство. А кто мешал до сих пор ей устроиться во все эти два последние века и особенно в последнее пятидесятилетие? А вот все подобные Вам, русские европейцы, г-н Градовский, которые у нас все два века не переводились, а теперь особенно на нас надели. Кто враг органическому и самостоятельному развитию России на собственных ее народных началах? Кто насмешливо не признает даже существование этих начал и не хочет их замечать? Кто хотел переделать народ наш, фантастически «возвышая его до себя», — попросту наделать все таких же, как сами, либеральных европейских человек, отрывая, от времени до времени, от народной массы по человечку и развращая его в европейца даже хоть фалдочками мундира? Этим я не говорю, что европеец развратен; я говорю только, что переделывать русского в европейца так, как либералы его переделывают, — есть сущий разврат зачастую. А ведь в этом-то состоит весь идеал ихней программы деятельности: именно в отлупливании по человечку от общей массы — экой абсурд! Это они так хотели все восемьдесят миллионов народа нашего отколупать и переделать? Да неужели же Вы серьезно думаете, что наш народ весь, всей массой своей, согласится стать такою же безличностью, как эти господа русские европейцы?

Одному смирись, а другому гордись. Буря в стаканчике

До сих пор я только препирался с Вами, г-н Градовский, теперь же хочу Вас и упрекнуть за намеренное искажение моей мысли, главного пункта в моей речи.

Вы пишете:

«Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем (то есть в народе нашем), чтоб он мог *требовать себе поклонения* и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г-н Достоевский. Странное дело! Человек, казнящий гордость в лице отдельных скитальцев, призывает к гордости целый народ, в котором он видит какого-то всемирного апостола. Одним он говорит: «Смирись!» Другому говорит: «Возвышайся!»»

И далее:

«А тут, не сделавшись как следует народностью, вдруг мечтать о всечеловеческой роли! Не рано ли? Г-н Достоевский гордится тем, что мы два века служили Европе. Признаемся, это «служение» вызывает в нас не радостное чувство. Время ли Венского конгресса и вообще эпохи конгрессов может быть предметом нашей «гордости»? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли национальное движение в Италии и Германии и косились даже на единоверных греков? И какую ненависть нажили мы в Европе именно за это «служение»!»»

Остановлюсь сначала на этой последней, маленькой, почти невинной передержке: да разве я, сказав, что «мы в последние два века служили Европе, может быть, даже более, чем себе», — разве я хвалил то, как мы служили? Я только хотел отметить факт служения, и факт этот истинен. Но факт служения и то, как мы служили, — два дела совсем разные. Мы могли наделать очень много политических ошибок, да и европейцы их делают во множестве поминутно, но не промахи

наши я хвалил, я только факт нашего служения (почти всегда бескорыстного) обозначил. Неужели Вы не понимаете, что это две вещи разные? «Г-н Достоевский гордится тем, что мы служили Европе», — говорите Вы. Да вовсе и не гордясь я это сказал, я только обозначал черту нашего народного духа, черту многознаменующую. Так отыскать прекрасную, здоровую черту в духе национальном — значит уж непременно гордиться? А что Вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это Вы-то меня будете в этом учить? Да я еще, когда Вы были студентом, про служение Меттерниху⁴⁸ говорил, да еще посильнее Вашего, и именно за слова о неудачном служении Меттерниху (между другими словами, конечно) — тридцать лет тому назад известным образом и ответил. Для чего же Вы это исказили? А вот, чтоб показать: «Видите ли, какой я либерал, а вот поэт, восторженный-то любитель народа, слышите, какие ретроградные вещи мелет, гордясь нашим служением Меттерниху». Самолюбие, г-н Градовский.

Но это, конечно, пустяки, а вот следующее не пустяки.

Итак, сказав народу: «Возвышайся духом» — значит сказать ему: «Гордись», значит склонять его к гордости, учить его гордости? Вообразите, г-н Градовский, что Вы Вашим родным детям говорите: «Дети, возвышайте дух ваш, дети, будьте благородны!», — неужели же это значит, что Вы их гордости учите или что Вы сами, уча их, гордитесь? А я что сказал? Я говорил о надежде «стать братом всех людей в конце концов», прося подчеркнуть слово: «в конце концов». Неужели же светлая надежда, что хоть когда-нибудь в нашем страдающем мире осуществится братство и что и нам, может быть, *позволят стать братьями* всех людей, — неужели эта надежда есть уже гордость и призыв к гордости? Да ведь я прямо, прямо сказал в конце речи: «Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча иль науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено...» Вот мои слова. И неужто в них призыв к гордости? Сейчас после

приведенных слов моей речи я прибавил: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его?» Это слово-то Христово значит призыв к гордости, а надежда вместить это слово есть гордость? Вы в негодовании пишете, «что нам слишком рано требовать себе поклонения». Да какое же тут требование поклонения — помилуйте? Это желание-то всеслужения, стать всем слугами и братьями и служить им своею любовью — значит требовать от всех поклонения? Да если тут требование поклонения, то святое, бескорыстное желание всеслужения становится тотчас абсурдом. Слугам не кланяются, а брат не коленопреклонений пожелает от брата.

Представьте, г-н Градовский, что Вы сделали какое-нибудь доброе дело или идете только сделать его, и вот Вы, дорогою, в добром умилении Вашем думаете и воображаете: «Как обрадуется этот несчастный неожиданной помощи, которую я ему несу, как воспрянет духом, как воскреснет, пойдет расскажет о своей радости своим домашним, своим детям, заплачет с ними...» — думая и воображая это, Вы, конечно, сами почувствуете умиление, иногда даже слезы (неужели этого с Вами никогда не случалось?), и вот подле Вас умный голос Вам в ухо: «Это ты гордишься, воображая все это себе! Это ты от гордости проливаешь слезы!» Помилуйте, да одна уже надежда на то, что и мы, русские, можем хоть что-нибудь значить в человечестве и хотя бы в конце концов удостоимся братски послужить ему, — одна уж эта надежда вызвала восторг и слезы восторга в тысячной массе слушателей. Я ведь не для похвальбы, не из гордости это припоминаю, я только обозначаю серьезность момента. Дана была только светлая надежда, что и мы можем быть чем-нибудь в человечестве, хотя бы *только* братьями другим людям, и вот один только горячий намек соединяет всех в одну мысль и в одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись друг другу впредь быть лучшими. Ко мне подошли два старика и сказали мне: «Мы двадцать лет были врагами друг другу и вредили друг

другу, а по Вашему слову мы помирились». В одной газете поспешили заметить, что весь этот восторг ничего не выражает, что было-де такое уж настроение «с целованием рук» и что напрасно ораторы всходили и говорили и доканчивали свои речи... «Что бы они ни сказали, все тот же де был бы восторг, ибо такое уж благодушное настроение в Москве объявилось»⁴⁹. А вот поехал бы этот журналист сам туда и сказал бы что-нибудь от себя: кинулись ли бы к нему так, как ко мне, или нет? Отчего же три дня перед тем говорили речи и были огромные овации говорящим, но того, что случилось после моей речи, ни с кем там не было? Это был единственный момент на празднике Пушкина и не повторялся. Видит Бог, не для восхваления своего говорю, но момент этот был слишком серьезен, и я не могу о нем умолчать. Серьезность его состояла именно в том, что в обществе ярко и ясно объявились новые элементы, объявились люди, которые жаждут подвига, утешающей мысли, обетования дела. Значит, не хочет уже общество удовлетворяться одним только нашим либеральным хихиканием над Россией, значит, мерзит уже учение о вековечном бессилии России! Одна только надежда, один намек, и сердца зажглись святою жаждою всечеловеческого дела, всебратского служения и подвига. Это от гордости они зажглись? Это от гордости пролились слезы? Это к гордости я их призывал? Ах, Вы!

Видите ли, г-н Градовский: серьезность этого момента вдруг многих испугала в нашем либеральном стаканчике, тем более, что это было так неожиданно. «Как? До сих пор мы так приятно и себе полезно хихикали и все оплевывали, а тут вдруг... да это ведь бунт? Полицию!» Выскочило несколько перепуганных разных господ: «Как же с нами-то теперь? Ведь и мы тоже писали... куда же нас теперь денут? Затереть, затереть это все поскорее и чтоб не осталось и следа, разъяснить скорее на всю Россию, что это только такое благодушное настроение в хлебосольной Москве случилось, миленький моментик после ряда обедов, а более ничего, ну, а бунт укротить полицией!» И принялись: и трус-то я, и поэт-то я, и

ничтожен-то я, и нулевое-то значение имеет моя речь, — одним словом, сгоряча поступили даже неосторожно: публика могла и не поверить. Надо было, напротив, это дело сделать умеючи, подойти хладнокровнее, даже хоть что-нибудь и похвалить в моей речи: «Дескать, все-таки есть течение мыслей», а затем, мало-помалу, мало-помалу, все и заплевать, и затереть, к общему удовлетворению. Одним словом, поступили не столь искусно. Явился пробел, его надо было поскорее восполнить, и вот немедленно отыскался солидный, опытный уже критик, соединяющий безотчетность нападений с надлежащею комильфотностью. Этот критик были Вы, г-н Градовский: Вы написали, Вас прочли, и все успокоились. Вы послужили общему и прекрасному делу, по крайней мере Вас везде перепечатали: «Не выдерживает, дескать, строгой критики речь поэта; поэты поэтами, а вот умные-то люди стоят на страже и всегда вовремя обкатят холодной водой мечтателя». В самом конце Вашей статьи Вы просите меня извинить Вам выражения, которые я, в статье Вашей, мог бы счесть резкими. Я, кончая мою статью, не прошу у Вас извинения за резкости, г-н Градовский, буде таковые в статье моей есть. Я отвечал не лично А. Д. Градовскому, а публицисту А. Градовскому. Лично я не имею ни малейших причин не уважать Вас. Если же не уважаю Ваши мнения и остаюсь при том, то чем смягчу, прося извинений? Но мне тяжело было видеть, что весьма серьезная и знаменательная минута в жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена ошибочно. Тяжело было видеть, что идею, которой служу я, волокут по улице. Вот Вы-то ее и поволокли.

Я знаю, мне скажут со всех сторон, что не стоило и смешно было писать такой длинный ответ на Вашу довольно короткую, сравнительно с моей, статью. Но, повторяю, Ваша статья послужила только предлогом: мне хотелось кое-что вообще высказать. Я намерен с будущего года «Дневник писателя» возобновить. Так вот этот теперешний номер «Дневника» пусть послужит моим *profession de foi** на будущее,

* Программным (франц.).

«пробным», так сказать, номером. Скажут еще, пожалуй, что я моим Вам ответом уничтожил весь смысл моей речи, произнесенной в Москве, где сам призывал обе партии русские к единению и примирению и признавал законность той и другой. Нет, совсем нет, смысл речи не уничтожен, а, напротив, — еще более закреплён, ибо именно я обозначаю в моем Вам ответе, что обе партии, в отчуждении одна от другой, во вражде одна с другой, сами ставят себя и свою деятельность в ненормальное положение, тогда как в единении и в соглашении друг с другом могли бы, может быть, все вознести, все спасти, возбудить бесконечные силы и воззвать Россию к новой, здоровой, великой жизни, доселе еще невиданной!

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1881

Январь

Глава первая

**Финансы. Гражданин, оскорбленный в Ферсите.
Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны**

Господи, неужели и я, после трех лет молчания, выступлю, в возобновленном «Дневнике» моем, со статьей экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю со статьей экономической. А что теперь поветрие на экономизм — в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как не быть экономистом, кто может теперь не быть экономистом: падение рубля, дефицит! Этот всеобщий экономический вид появился у нас наиболее в последние годы, после нашей турецкой кампании. О, и прежде у нас рассуждали много о финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по преимуществу, — и опять-таки, конечно, все это произошло естественно: рубль упал, займы на военные расходы и проч. Но тут, кроме соб-

ственно рубля, была и отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: «Мы, дескать, говорили, мы предрекали». Особенно пустились в экономизм те, которые говорили тогда, в семьдесят шестом и седьмом годах, что денежки лучше великодушия, что Восточный вопрос одно баловство и фикция, что не только подъема духа народного нет, не только война не народна и не национальна, но, в сущности, и народа-то нет, а есть и пребывает по-прежнему все та же косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все русские Ферситы¹ (а их много развелось в интеллигенции нашей) были тогда страшно оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин в Ферсите был оскорблен. Вот и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-помалу примкнули к ним уже и не Ферситы, даже бывшие «герои» примкнули. Все понемногу надулись, некоторые, впрочем, очень. Правда, и мир невыгодный поспособствовал, берлинская конференция. (NB. Кстати об этой берлинской конференции: меня тогда одна баба в глуши, в захоlustье, на проселочной дороге, хозяйка постоялого двора, вдруг спрашивает: «Батюшка, скажи ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили, не слыхать ли чего?») Подивился я тогда на эту бабу. Но об этом, то есть о тогдашнем подъеме духа народного, потом.) Я только хочу теперь сказать, что о рубле и о дефиците все теперь пишут, и, уж конечно, тут отчасти и стадность: все пишут, все тревожатся, так как же и мне не тревожиться, подумают, что не гражданин, не интересуюсь. Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская тревога, есть боль, есть болезненные сомнения за будущее, — не хочу душой кривить. Но, однако же, хоть и истинные гражданские боли, а почти везде все на тему: зачем-де у нас все это не так, как в Европе? «В Европе-де везде хорош талер, а у нас рубль дурен. Так как же это мы не Европа, так зачем же это мы не Европа?» Умные люди разрешили наконец вопрос, почему мы не Европа и почему у нас не так, как в Европе: «Потому-

де, что не увенчано здание»². Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то еще никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего, что вместо здания всего только несколько белых жилетов³, вообразивших, что они уже здание, и что увенчание, если уж и начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета. Тут сделаем необходимую оговорку: увенчание снизу на первый взгляд, конечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, и противоречит всему, что было и есть в этом роде в Европе. Но так как у нас все своеобразно, все не так, как в Европе, а иногда так совсем наоборот, то и в таком важном деле, как увенчание здания, дело это может произойти наоборот Европе, к удивлению и негодованию наших русских европейских умов. Ибо, к удивлению Европы, наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своем роде уже здание, — не фундамент только, а именно здание, — хотя и незавершенное, но твердое и незыблемое, веками выведенное, и действительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя еще и не вполне развитую, нашего будущего уже архитектурно законченного здания в себе одном предчувствующее. Впрочем, все эти возгласы европейцев наших об увенчании, если уж всю правду сказать, имеют характер, именно как и сказали мы выше, более стадный и механически-успокоительный, чем рассудочный и действительно гражданский, нравственно-гражданский. И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно механически-успокоительные утешения всегда легки и приятны и чрезвычайно сподручны: «Нужна-де только европейская формула, и все как раз спасено; приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль талером». Главное, что приятно в этих механических успокоениях — это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я праведников не трогаю. Праведники везде есть, даже и из европейцев русских, и я их чту. Но согласитесь, что у нас, в большинстве случаев, все это как-то танцует происходит.

Чего думать, чего голову ломать, еще заболит; взять готовое у чужих — и тотчас начнется музыка, согласный концерт —

Мы верно уж поладим,
Коль рядом сядем⁴.

Ну, а что коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? То есть их бы и можно пустить и должно, потому что все ж они русские люди (а многие так и люди хорошие), если б только они, со всей землей, захотели смиренно, в ином общем великом деле, свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор, целых два столетия, были особо, а тут вдруг и соединятся! Это ведь не водевиль, это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека и притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру, посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного мирозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном и лаптем, — чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле русской уже невольно. «Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, — скажут они, — а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ его правам и обязанно-

стям». (Это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, — обязанностям! Ах, шалуны!) «Русское общество не может-де пребывать в уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти»⁵. Так ведь, выходя с таким настроением, можно (и даже неминуемо) дойти опять до закрепощения народного, зипуна-то и лаптя, хотя и не прежним крепостным путем, так интеллигентной опекой и ее политическими последствиями, —

А народ опять скуем!⁶

Ну и, разумеется, кончат тем, что заведут для них у себя говорильню. Заведут, да и сами себя и друг друга, с первого же шагу, не поймут и не узнают, — и это наверно случится так. Будут лишь в темноте друг о друга стучаться лбами. Не обижайтесь, господа: это и не с таким обществом, целых два века оторванным от всякого дела и не имеющим никакой самобытной культуры, как ваше, случалось, когда доходила до него очередь в первый раз свой совет сказать, это и с культурнейшими народами случалось. Но так как те все-таки за собой имели вековую культуру и, что прежде всего, всегда более или менее на народ опирались, то и оправлялись скоро, и выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не без предварительных шишек на лбу. Ну, а вы, наши европейцы, на что обопретесь, чем сладитесь? — тем только, что рядом сядете. А сколько, сколько расплодилось у нас теперь говорунов? Точно в самом деле готовятся. Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? — и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего-то не разберешь. Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, — ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман.

Это тип новый, недавно народившийся; художественная литература его еще не затрагивала. Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала. Все больше типами сороковых годов пробиваются, много что пятидесятих. Даже и в исторический-то роман, может, потому ударились, что смысл текущего потеряла.

Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?

А что же финансы? Что ж финансовая-то статья? — скажут мне. Но опять-таки: какой я экономист, какой финансист? Да и не смею я вовсе писать о финансах. Почему же осмелился-то и собираюсь писать? А вот именно потому, что уверен, что, начав о финансах, перееду совсем на другое, и выйдет у меня не финансовая, а совсем иная какая-нибудь статья. Вот этим только я и ободрен. Ибо и недостойн я вовсе писать о финансах, так как сам знаю, что смотрю на наши финансы совсем не с европейской точки и не верую даже, что ее можно к нам приложить — и именно потому, что мы вовсе не Европа и что все у нас до того особливо что мы, в сравнении с Европой, почти как на луне сидим. В Европе, например, рабское, феодальное отношение низших сословий к высшим уничтожалось веками и, наконец-то, раздалась революция; все, одним словом, совершилось культурно и исторически. У нас же крепостное право рушилось в один миг со всеми последствиями, и, слава Богу, без малейшей революции. И вот, казалось бы, откудава быть потрясению, то есть капитальному, очень большому? Правда и то: все, что вдруг падает, падает всегда очень опасно, то есть с большим потрясением. Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что весь этот мерзостный исторический грех наш упразднился разом по великому слову освободителя. Тем не менее закон природы нельзя миновать, и потрясение вышло большое. Пусть бы большое, но почему

столь великое? Разумеется, на все законы истории, и уж, без сомнения, есть весьма многие, которые и теперь ясно различают, почему все так вышло. Но, не развивая эту тему дальше — (велика она и огромна, историку будущего века разве только по силам) — не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на иные частности, что прежде всего бросаются в глаза и смущают. Вот, например, посмотрите: рухнуло крепостное право, мешавшее всему, даже правильному развитию земледелия, — и вот тут-то бы, кажется, и зацвести мужику, тут-то бы, кажется, и разбогатеть ему. Ничуть не бывало: в земледелии мужик съехал прямо на минимум того, что может ему дать земля. И, главное, в том беда, что еще неизвестно: найдется ли даже и впредь такая сила (и в чем именно она заключается), чтоб мужик решился возвыситься над минимумом, который дает ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажут умники: вопрос пустой и уже всем понятный, но я твердо уверен, что еще далеко не разрешенный и несравненно огромнейший, несравненно более захватывающий в себе содержания, чем предполагают его. Затем посмотрите опять: все прежнее барское землевладение упало и понизилось до жалкого уровня, а вместе с тем видимо началось перерождение всего бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ — ибо во что же, казалось бы, переродиться ему? Вот бы и прекрасно и уж лучше, кажется, нельзя бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенция, проводящая его, сам он жаждет и ищет ее. Но, к сожалению, и это у нас пока еще в идеале и представляется лишь прелестным журавлем, летающим в небе; в действительности же далеко не так. Захочет ли сословие и прежний помещик стать интеллигентным *народом*? — вот вопрос, и, знаете ли: самый важный, самый капитальный, какой только есть у нас теперь и от которого зависит, может быть, все наше будущее! А между тем вопрос этот далеко еще не решен, и даже представить нельзя, каким путем разрешатся. Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом властью силы, уж конечно, не прежним крепостным путем, но не захочет ли,

например, оно, вместо единения с народом, из самого образования своего создать новую властную и разъединительную силу и стать над народом аристократией интеллигенции, его опекающей. Захочет ли оно искренно признать народ своим братом по крови и духу, впредь навсегда, почтит ли оно то, что чтит народ наш, согласится ли возлюбить то, что возлюбил народ даже более самого себя. А ведь без этого никогда и никто не сойдется с нашим народом, ибо то, что он чтит и любит, у него крепко, и он не поступится им ни для какой интеллигенции, как бы ни жаждал ее сам. Все это у нас страшно насущно и страшно не решено. И вообще у нас все теперь в вопросах. И, что главное, все ведь это требует времени, истории, культуры, поколений, а у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того неожиданным предписанием начальства. Конечно, все произошло и идет не по вине чьей-нибудь, и, уж если хотите, так даже и исторически, но согласитесь и с тем, что такой истории не знала Европа. Как же спрашивать с нас Европы, да еще с европейской системой финансов? Я, например, верю как в экономическую аксиому, что не железнодорожники, не промышленники, не миллионеры, не банки, не жида *обладают* землю, а прежде всех лишь одни земледельцы; что кто обрабатывает землю, тот и ведет все за собою, и что земледельцы и суть государство, ядро его, сердцевина. А так ли у нас, не навыворот ли в настоящую минуту, где наше ядро и в ком? Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими? Вот у нас строятся железные дороги и, опять факт, как ни у кого: Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных дорог, да еще при своем-то богатстве. А у нас последние пятнадцать-шестнадцать тысяч верст железных дорог в десять лет выстроились, да еще при нашей-то нищете и в такое потрясенное экономически время, сейчас после уничтожения крепостного права! И, уже конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее.

На разрушенное землевладение и создались железные дороги. А разрешен ли у нас до сих пор вопрос о единичном, частном землевладении? Уживется ли впредь оно рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетарьяте и кабаке основанной? А ведь без здорового разрешения такого вопроса что же здорового выйдет? Нам именно здоровые решения необходимы, — до тех пор не будет спокойствия, а ведь только спокойствие есть источник всякой великой силы. Как же спрашивать у нас теперь европейских бюджетов и правильных финансов? Тут уж не в том вопрос, почему у нас нет европейской экономии и хороших финансов, а вопрос лишь в том: как еще мы устояли? Опять-таки крепкой, единительной, всенародной силой устояли.

А спокойствия у нас мало, спокойствия духовного особенно, то есть самого главного, ибо без духовного спокойствия никакого не будет. На это особенно не обращают внимания, а добиваются только временной, материальной глади. Спокойствия в умах нет, и это во всех слоях, спокойствия в убеждениях наших, во взглядах наших, в нервах наших, в аппетитах наших. Труда и сознания, что лишь трудом «спасен будешь», — нет даже вовсе. Чувства долга нет, да и откуда ему завестись: культуры полтора века не было правильной, пожалуй, что и никакой. «К чему я стану трудиться, коли я самой культурой моей доведен до того, что все, что кругом меня, отрицаю? А если и есть колпаки, которые думают спасти здание какими-то европейскими измышлениями, — то я и колпаков отрицаю, а верю лишь в то, что чем хуже, тем лучше, и вот вся моя философия». Уверяю вас, что у нас теперь это очень многие говорят, про себя по крайней мере, а иные так и вслух. И, однако, говорящий такие афоризмы человек сам-то ведь из костей и плоти. «Чем хуже, тем лучше, — говорит он, — но это ведь только для других, для всех, а самому-то мне пусть будет как можно лучше», — вот ведь как он разумеет свою философию. Аппетит же у него волчий. Мужчина с медведя, а нервы у него женские, расстроены, избалованные; жесток и сластолюбив, ничего перенести не может, «да и к чему-де утруждать

себя и переносить?». Пресеклись обеды в ресторане, пресеклись кокотки, так для чего же и жить, — бац и пулю в лоб. Еще хорошо, если себе пулю в лоб, а то ведь пойдет да другого обокрадет, законно-юридическим образом. А ход-то дела не ждет, бедность нарастает всеобщая. Вон купцы повсеместно жалуются, что никто ничего не покупает. Фабрики сокращают производство до минимума. Войдите в магазин и спросите, как дело идет: «Прежде, — скажут вам, — к празднику человек по крайней мере полдюжины рубах себе купит, а теперь все по одной берет». Спросите даже в ресторанах модных — так как это последнее место, где бедность появляется. «Нет, — скажут вам, — уж теперь не кутят по-прежнему, все прижались, много что придет и обыкновенный обед спросит» — и это ведь прежний шеголь, бонбансник⁷. Выкупные прожили. Теперь еще все-таки валят последние леса, а повалят — и ничего уж не будет. А какие уж теперь леса? Поедете по железной дороге, заметьте у станций дрова: прежде все-таки бревна рубили, а теперь совсем не редкость встретить какие-то тоненькие палочки вместо дров, — не дерево, а кусты уж рубят, подросточки. Вам, конечно, наблюдение это покажется мелочью ввиду прочих громадных вопросов нашего времени. Но ведь про леса наши финансисты решительно игнорируют, точно и не хотят знать, как будто даже по какому-то принципу. А без лесов ведь и финансы понизятся в страшном размере, если все-то сообразить и в самую глубь войти. Но в лесном вопросе все как будто слово дали себе лишь скользить по поверхности, пока не пришла беда. Она придет вдруг, ибо все пока успокоены тем, что цена лесу на рынке все еще стоит подходящая, и знать не хотят, что она, так сказать, искусственная, от усиленного предложения тех, которые валят леса и кусты даже, потому что уже все прожили. Повалят, и вдруг ничего не окажется, нечего будет предложить. Но об этом потом. Я ведь начал речь о повсеместной нищете и, обратном ей, развитии appetitов.

Я хочу только, между прочим, заметить, что страшно развелось много капитанов Копейкиных⁸, в бесчисленных видоизменениях, начиная с настоящих, до великосветских и

раздушенных. И все-то на казну и на общественное достояние зубы точат. Разумеется, все они быстро превратятся у нас если не в разбойников на больших дорогах, как было с настоящим Копейкиным, то в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные так и прикрывать себя юридически не станут. Иной даже гордо скажет: «Я потому таков, что все отрицаю и отрицанию способствую». О, разве нет Копейкиных-либералов? Они слишком поняли, что в моде либерализм и что на нем можно выехать. Кто их не видывал: либерал всеветный, атеист дешевый, над народом величается своим просвещением в пятак цены! Он самое пошлое из всех пошлых проявлений нашего лжелиберализма, но все-таки у него неутолимо развит аппетит, а потому он опасен. Вот такие-то первые и примыкают прежде всего ко всякой идее о пересадках извне для механического врачевания, группируются и составляют толпу, которую ведут весьма часто весьма честные люди, в сущности не виноватые в том, что у них такой контингент: «Пусть всякая перемена, только чтоб без труда и готовая, — говорит либеральный Копейкин, — все-таки лучше мне будет с внешней-то переменной, с какой бы там ни было, чем теперь, потому что наверно найду, чем поживиться на первых порах», — так ведь с этой стороны он очень опасен, хотя всего только Копейкин. Но оставим Копейкина. Все сказанное теперь еще только самый малый краешек на тему о том, что у нас нет спокойствия. Сам вижу, что предисловие мое вышло слишком уж длинно. Но к финансам, к финансам!

Забывать текущее ради оздоровления корней.

По неумению впадаю в нечто духовное

По свойству природы моей начну с конца, а не с начала, разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер пре-

пятствовал, чем я, конечно, вредил себе, потому что иной окончательный вывод, высказанный прямо, без подготовлений, без предварительных доказательств, способен иногда просто удивить и смутить, а пожалуй, так вызвать и смех, а у меня — я уже предчувствую — именно такой вывод, что над ним можно сразу рассмеяться, если не подготовить к нему читателя предварительно. Мысль моя, формула моя — следующая: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы».

Ну разумеется, тотчас же раздается смех: «Это-де все знают — скажут мне, — в вашей формуле нет ровно ничего неизвестного; кто ж не знает, что не надо истощать корней, что, засушив корни, плодов не получишь»⁹ и т. д. и т. д. Но, однако же, дайте оговориться, я еще не всю мою мысль сказал, и, увы, в том-то и беда моя, что если б я даже целую книгу написал, развивая эту мысль мою, то и тогда (о, опять-таки предчувствую это) не сумел бы разъяснить ее настолько, чтоб ее можно было понять *во всей полноте*. Ибо в этой мысли заключается некий своего рода фатум.

Видите ли: об оздоровлении корней, конечно, все знают, и какой же наш министр финансов более или менее о них не заботился, а уж особенно министр нынешний: он прямо приступил к корням, и вот уже соляной налог уничтожен. Ожидаются и еще реформы, и чрезвычайные, капитальные, именно «корневые». Кроме того, всегда, и прежде, и десять лет тому, употреблялись многие средства на оздоровление корней: назначались ревизии, устраивались комиссии для исследования благосостояния русского мужика, его промышленности, его судов, его самоуправления, его болезней, его нравов и обычаев, и проч., и проч. Комиссии выделяли из себя подкомиссии на собрание статистических сведений, и дело шло как по маслу, то есть самым лучшим административным путем, какой только может быть. Но я вовсе, вовсе не про то говорить теперь на-

чал. Мало того, не только подкомиссии, но даже и такие капитальные реформы, как отмена соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы, — по-моему, суть лишь одни пальятивы, нечто внешнее и не с самого корня начатое, — вот что я хочу выставить. С самого корня будет то, когда мы, если не совсем, то хоть наполовину забудем о текущем, о злобе дня сего, о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, о дефиците, о рубле, о банкротстве даже, которого, впрочем, никогда у нас и не будет, как ни пророчат его нам злорадно заграничные друзья наши. Одним словом, когда обо всем, обо всем текущем позабудем и обратим внимание лишь на одно оздоровление корней, и это до тех пор, пока получим действительно обильный и здоровый плод. Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (то есть современное, теперешнее наше текущее) изменится все радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем. И что же: я, разумеется, понимаю, что все, что я сказал сейчас, покажется диким, что не думать о рубле, о платежах по займам, о банкротстве, о войне нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять и, по-видимому, прежде всего. Но уверяю же вас, что и я понимаю это. Видите, я вам признаюсь: я нарочно поставил мою мысль ребром и желания мои довел до идеала почти невозможного. Я думал, что именно начав с абсурда и стану понятнее. Я и сказал: «Что если б мы хоть *наполовину* только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше внимание на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности?» Но я сейчас же готов смягчить мою формулу, и вот что вместо нее предложу: *не наполовину* забыть о текущем — от половины я отказываюсь, — а всего бы только на одну двадцатую долю, но с тем (непрерывно с тем), чтобы, начав с двадцатой доли забвения текущего, в каждый следующий год прибавлять к прежней доле еще по одной двадцатой и дойти — ну, дойти, например, таким образом, до трех четвертей забвения. Важна

тут не доля, а *важен тут принцип*, который взять, поставить перед собой и затем уже следовать ему неуклонно. О, на это все тот же вопрос: куда ж девать текущее-то, — не похерить же его как несуществующее? Я и не говорю: похерить; знаю сам, что существующее, нельзя сделать несуществующим, — но знаете, господа, иногда и можно. Ведь если только перестать лишь на одну двадцатую долю ежегодно удостоивать его столь болезненно тревожного внимания, как теперь, а обратить это болезненно тревожное внимание, в размере тоже одной двадцатой доли ежегодно, на нечто другое, то дело-то представится почти что и не фантастическим, а совсем даже возможным к начатию, тем более что о текущем (повторяю это), пренебрегаемом на одну двадцатую долю ежегодно, уже по тому одному нечего беспокоиться, что оно все не утратится, вовсе не похерится, а, повторяю это, оно само собою преобразится в нечто совсем иное, чем теперь, само подчинится новому принципу и войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему, к самому даже лучшему. Мне скажут, что я говорю загадками, и, однако же, это ничуть. Для примера и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное словцо на тему о том, каким образом можно сразу начать переход от текущего к «оздоровлению корней».

Ну что, если б, например, Петербург согласился вдруг, каким-нибудь чудом, сбавить своего высокомерия во взгляде своем на Россию, — о, каким бы славным и здоровым первым шагом послужило бы это к «оздоровлению корней»! Ибо что же Петербург, — он ведь дошел до того, что решительно считает себя всей Россией, и это от поколения к поколению идет нарастая. В этом смысле Петербург как бы следует примеру Парижа, несмотря на то, что на Париж совсем не похож! Париж уж так сам собою устроился исторически, что поглотил всю Францию, все значение ее политической и социальной жизни, весь смысл ее, и отнимите Париж у Франции — что при ней останется: одно географическое определение ее. И вот у нас воображают иные почти так же, как в Париже, что в Петербурге слилась вся Россия. Но Петербург совсем не Рос-

сия. Для огромного большинства русского народа Петербург имеет значение лишь тем, что в нем его царь живет. Между тем, и это мы знаем, петербургская интеллигенция наша, от поколения к поколению, все менее и менее начинает понимать Россию, именно потому, что, замкнувшись от нее в своем чухонском болоте, все более и более изменяет свой взгляд на нее, который у иных сузился, наконец, до размеров микроскопических, до размеров какого-нибудь Карлсруэ¹⁰. Но выгляните из Петербурга, и вам предстанет море-океан земли русской, море необъятное и глубочайшее. И вот сын петербургских отцов самым спокойным образом отрицает море народа русского и принимает его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. «Велика-де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному». Танцую и лоца паркету, создаются в Петербурге будущие сыны отечества, а «чернорабочие крысы», как называл их Иван Александрович Хлестаков, изучают отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают. А между тем море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга. И не говорите, что живет он хотя мощною жизнью, но еще бессознательною, как уверены до сих пор не только петербуржцы, но даже и понимающие Россию иные немногие русские люди. О, если б знали, как это неверно, и уже сколько сознания накопилось в народе русском, например, хотя бы только в теперешнее царствование! Да, сознание уже растет, растет, и уже столь многое народом понято и осмыслено, что петербургские люди и не поверили бы. Это видится тем, которые видеть умеют, это предчувствуется и только еще не обнаруживается в целом, хотя сильно обнаруживается по местам, по углам, по домам и по избам. Где же обнаружиться еще в целом — ведь это океан, океан! Но если когда обнаружится или только начнет обнаруживаться, то в какое внезапное удивление повергнет оно петербургского

интеллигентного человека! Правда, долго он будет отрицать и не верить своим пяти чувствам, долго не сдастся европейский человек, — иные так и умрут, не сдавшись. Но, чтобы избежать великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, повторяю это, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию! Проникновения бы капельку больше, понимания, смирения перед великой землей русской, перед морем-океаном, — вот бы чего надо. И каким бы верным первым шагом послужило это к «оздоровлению корней»...

— Но позвольте, — прервут меня, — все это пока лишь только старые, истрепанные славянофильские бредни, совсем даже не реальное, а какое-то даже духовное; но что такое «оздоровление корней», — вы еще это не разъяснили. И что за корни? Какие корни? Что вы под этим разумеете?

— Вы правы, господа, правы, — начнем об самих «корнях».

Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно и как можно оздоровить — это, без сомнения, все тот же русский народ, все тот же море-океан, о котором я сейчас мою речь завел. Я про простой наш народ теперь говорю, про простолюдина и мужика, про платежную силу, про мозольные рабочие руки, про море-океан. О, как не знать мне, что сделало и делает для него беспрерывно наше правительство в нынешнее царствование, начиная с освобождения его от крепостной зависимости? Да, оно заботится о его нуждах, о его просвещении, лечении, прощает ему даже недомимки при случае, — одним словом, делает и заботится много, кто ж про это не знает. Но я не про это хочу начать речь: я разу-

мею лишь духовное оздоровление этого великого корня, который есть начало всему. Да, он духовно болен, о, не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Какая же она, как она называется? Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как сказать: «Жажда правды, но неутоленная». Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит. Хотелось бы мне ограничиться тут лишь финансовой точкой взгляда на эту болезнь, но придется прибавить и несколько старых слов. С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, *уже* не прежнего, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после великого освобождения его. Затребовалось новое слово, стали закипать новые чувства, стало глубоко вериться в новый порядок. После первого периода посредников первого призыва наступило вдруг нечто иное, чем ожидал народ. Наступил порядок, в который народ и рад был уверовать, но мало что в нем понимал. Не понимал он его, терялся, а потому и не мог уверовать. Являлось что-то внешнее, что-то как бы ему чужое и не его собственное. Пережевывать эту тему, столь давно пережеванную, нечего: другие расскажут про это лучше моего, — прочтите хоть в журнале «Русь»¹¹. Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды, новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство; народ теперь именно «обеспокоен» нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей «в народ», то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к народу. А то, при самой малой умелости, и они бы проникли, как проникла и штунда. О, надо беречь

народ. Сказано: «Будут времена, скажут вам: се здесь Христос, или там, не верьте». Вот и теперь как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас наверху. Ну, разве не волнуется народ разными необычными слухами о переделе, например, наделов, о новых золотых грамотах¹²? Недавно им читали по церквам, чтоб не верили, что ничего не будет, и вот, верите ли: именно после этого чтения и утвердилась, по местам, еще более мысль, что «будет»: «Даром бы читать не стали, а коли уж зачали читать, значит будет». Вот что они заговорили тотчас же после чтения, по крайней мере по местам. Я именно знаю случай: покупали крестьяне у соседнего помещика землю и сошлись было в цене, а после этого чтения отступились: «И без денег возьмем». Посмеиваются и ждут. Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно о нравственном беспокойстве народа. И вот что главное: народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно «начальство». Есть суд, но и то «начальство»; есть община, наконец, мир, но и то как будто бы уж теперь тянет к чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаниями, как народ выбирает своих выборных, — в присутствии «начальства», непременно члена какого-нибудь, и что из этого происходит. Но анекдотов этих тысячи, пересчитывать не буду. Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному-де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану-де и я кулаком, — и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум. Ведь уж, кажется, дано управление, начальство, тут-то бы и успокоиться, — ан вышло почему-то наоборот. Вон высчитали, что у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как

у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движения. А главное, народ один, без советников. Есть у него только Бог и царь, — вот этими двумя силами и двумя великими надеждами он и держится. А другие советники все проходят мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенция, например, сплошь проходит мимо народа, ибо хотя и много в интеллигенции нашей толковых людей, но зато о народе русском мало кто имеет понятия. У нас только отрицают да беспрерывно жалуются: «Зачем-де не «оживляется» общество, и почему-де никак нельзя оживить его, и что же это за задача такая?» А потому нельзя оживить, что вы на народ не опираетесь и что народ не с вами духовно и вам чужой. Вы как бы составляете верхнюю зону над народом, обернувшую землю русскую, и для вас-то собственно, по крайней мере, как говорят и пишут у вас же, преобразователь и оставил народ крепостным, чтобы он, служа вам трудом своим, дал вам средство к европейскому просвещению примкнуть. Вы и просветились в два-то столетия, а народ-то от вас отделился, а вы от него. «Да не мы ли, — скажете вы, — о народе болеем, не мы ли о нем столь много пишем, не мы ли его и к нему призываем?» Так, вы все это делаете, но русский народ убежден почему-то, что вы не о нем болеете, а о каком-то ином народе, в вашу голову засевшем и на русский народ не похожем, а его так даже и презираете. Это презрительное отношение к народу, в некоторых из нас даже совсем бессознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остаток крепостного права. Началось же оно с тех пор, как был умерщвлен граждански народ для нашего европейского просвещения, и пребывает в нас несомненно доселе, когда и воскрес народ, и, знаете, нам даже и невозможно уже теперь сойтись с народом, если только не совершится какого чуда в земле русской. Тут повторю весьма старые мои же слова: народ русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно. В *сущности* в народе нашем кроме этой

«идеи» и нет никакой, и все из нее одной и исходит, по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтоб все, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это не смотря на то, что многое у самого же народа является и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного. Но и самые преступник и варвар хоть и грешат, а все-таки молят Бога, в высшие минуты духовной жизни своей, чтоб пресекался грех их и смрад и все бы выходило опять из той излюбленной «идеи» их. Я знаю, надо мною смеялись наши интеллигентные люди: «той идеи» даже и признавать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад его (которым сами же они виной были, два века угнетая его), указывают на предрассудки, на индифферентность будто бы народа к религии, а иные даже воображают, что русский народ просто-напросто атеист. Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши. О, есть много и других «идей» в народе, с которыми вы никогда

не сойдется и признаете их прямо татарскими в европейском мирозерцании вашем. О них, об этих остальных идеях, я теперь и упоминать не буду, хотя это чрезвычайно важные идеи, которых правды вы вовсе не понимаете. Но теперь я об этой лишь главной идее народа нашего говорю, о чаянии им грядущей и зиждущейся в нем, судьбами Божьими, его церкви вселенской. И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского (а у многих ведь из них, из европейцев-то наших, сердце чистое, справедливости и любви жаждущее), а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть и каким себе напредставит его. А так как народ никогда таким не делается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение. Ибо вышесказанная формула имеет и обратное значение, то есть никогда народ не примет такого русского европейца за своего человека: «Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таков как я, мой брат, несмотря на то, что ты одет не так, что ты барин, что ты начальство и что даже и по-русскому-то иной раз сказать хорошо не умеешь», — вот что вам скажет народ, ибо народ наш широк и умен. Он и не верующего в его святыню, хорошего человека иной раз почитит и полюбит, выслушает его, если тот умен, за совет поблагодарит и советом воспользуется. Ужиться народ русский со всяким может, ибо много видал видов, многое заметил и запомнил в долгую, тяжелую жизнь свою двух последних веков. (А вот вы даже и с этим не соглашаетесь, что он многое запомнил и заметил, стало быть, и сознал, и что, стало быть, не совсем же он только косная масса и платежная сила, какими вы его определили.) Но ужиться, и даже любовно ужиться с человеком — дело одно, а *своим* человеком признать его — это совсем уже другое. А без этого признания не будет и единения.

Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющие нас с народом, чрезвычайно велики и что народ остался один,

в великом уединении своем, и кроме царя своего, в которого верует нерушимо, ни в ком и нигде опоры теперь уже не чает и не видит. И рад бы увидеть, да трудно ему разглядеть. А между тем — о, какая бы страшная, зиждительная и благословенная сила, новая, совсем уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом! Единение духовное то есть. О, господа министры финансов, не такие бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какие составляете ныне! Молочные реки потекли бы в царстве, все идеалы ваши были бы достигнуты разом! «— Да, но как это сделать, и неужели же виною тому европейское просвещение наше?» О, совсем не просвещение, да, по правде, его у нас и нет вовсе даже доселе, а разъединение-то все-таки пребывает и действительно вышло как бы во имя европейского просвещения, которого нет у нас. Но настоящее просвещение тут не виновато. Я даже так думаю: будь у нас настоящее, заправское просвещение, то и разъединения бы никакого не произошло у нас вовсе, потому что и народ просвещения жаждет. Но улетели мы от народа нашего, просветясь, на луну, и всякую дорогу к нему потеряли. Как же нам, таким отлетевшим людям, брать на себя заботу оздоровить народ? Как сделать, чтоб дух народа, тоскующий и обеспокоенный повсеместно, ободрился и успокоился? Ведь даже самые капиталы и движение их *нравственного* спокойствия ищут, а без нравственного спокойствия или прячутся, или непроизводительны. Как сделать, чтоб дух народа успокоился в правде и видя правду? Может быть, правда-то есть и теперь, но надо, чтоб он ей поверил. Как внедрить в его душу, что правда есть в русской земле и что высоко стоит ее знамя. Как сделать, например, чтоб он в свой суд уверовал, в свое представительство и признал его за плоть от плоти своей и за кость от костей своих? О, я не пускаюсь в подробности, где мне, и если даже начать все разьяснять и описывать, то, думаю, и «всему миру не вместить бы книг сих». Но если бы только хоть обеспечена была правда народу в будущем, так чтобы он вполне уверовал, что придет она непременно, если б только хоть капельку выбралась муха из тарелки с патокой, то

и тогда бы совершилось дело великое и неисчислимое. Прямо скажу: вся беда от давнего разъединения высшего интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. Как же помирить верхний пояс с море-океаном и как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения?

**Пусть первые скажут, а мы пока постоим
в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться**

На это есть одно магическое словцо, именно: «Оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов; народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь все то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. И разъединенный един и сообща един, ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою местную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужик, один только заправский мужик. Правда, с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят и правдивое слово скажут, — такова уж наша народная особенность. Как же это сделать? О, люди, власть имеющие, это могут лучше решить, чем я, — я же только верю в одно, что формул особенных совсем не потребуется. Народ наш за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которых ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на уме, и не только никогда не бывало, но никогда и не будет, потому что у него другой взгляд на это дело, особый, совсем его собственный. Да, в сем случае, народ наш, — такой народ, как наш, — может быть вполне удостоен доверия. Ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети царевы, дети

заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что «царь им отец»? Кто думает так, тот ничего не понимает в России! Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного со своим царем воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам еще два века назад крепостной кабалой и крестным страданием народа русского, нам служившего. Вот и ждал народ освободителя своего и дождался, — ну так как же они не настоящие, не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя (как было, например, с династиями прежних королей во Франции), а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта¹³. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились, — так как же народу отречься от дальнейших надежд? Как же, напротив, не усилиться им, не утвердиться, ибо царь после крестьянской реформы не в идее только, не в надежде лишь, а на деле ему стал отцом. Да ведь это отношение народа к царю, как к отцу, и есть у нас то настоящее, алмазовое основание¹⁴, на котором всякая реформа у нас может зиждиться и созиждется. Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая, живая связь народа с царем своим, и из нее у нас все и исходит. Кто же бы и помыслить мог, например, хотя бы о той же крестьянской реформе, если б заранее не знал и не верил, что царь народу отец и что именно вера народа в царя, как в отца своего, все спасет, все уберезет, удалит беду? Увы, плох тот экономист-реформатор, который обходит настоящие и действительно живые силы народные из какого-нибудь предубеждения и чуждого верования. Да: мы уже по тому одному не с

народом и не можем понять его, что хоть и знаем и понимаем его отношения к царю, но вместить не можем в себя во всей полноте самого главного и необходимого пункта в судьбах наших: что отношение это русского народа к царю своему есть самый особый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира; что это не временное только дело у нас, не переходящее, не признак лишь детства народно-го, например, его роста и проч., как заключил бы иной умник, но вековое, всегдашнее и никогда, по крайней мере еще долго, очень долго оно не изменится. Так как же после этого (уже по этому только одному) народ наш не особый ото всех народов и не заключает в себе особой идеи? Не ясно ли, напротив, что народ наш носит в себе органический зачаток идеи, от всего света особый. Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу, а так как она совсем особая и как ни у кого, то и история наша *не может быть похожею на историю других европейских народов*, тем более ее рабской копией. Вот чего не понимают у нас умники, верующие, что все у нас переделается в Европу безо всякой особенности, и ненавидящие особенности, от чего, конечно, дело может кончиться даже бедой. А что у нас все основное как нигде в Европе, то вот вам тому первый пример: у нас свобода (в будущем нашем, когда мы переживем период лжеевропеизма нашего, это наверно так будет) — у нас гражданская свобода может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке, и именно на этом же алмазном основании она и созиждется. Не письменным листом утвердится, а созиждется лишь на детской любви народа к царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и немисливо у других, у договорных народов, детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не бывало видно, ибо не изменят дети отцу своему и, как дети, с любовью примут от него всякую поправку всякой ошибки и всякого заблуждения их.

Итак, этакому ли народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную о них правду. Но, повто-

рю это, пусть скажет сначала один; мы же, «интеллигенция народная», пусть станем пока смиренно в сторонке и сперва только поглядим на него, как он будет говорить, и послушаем. О, не из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время нашу интеллигенцию, — не приписывайте мне их, пожалуйста, — но предложил бы я это (уж извините, пожалуйста) — из целей лишь чисто педагогических. Да, пускай в сторонке пока постоим и послушаем, как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать, совсем без нашей помощи, и о деле, именно о заправском деле в самую точку попадет, да и нас не обидит, коли о нас речь зайдет. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете: «Сами же Вы говорили, как податлив народ на нелепые слухи, — какой же мудрости ожидать от него?» Так, но одно дело слухи, а другое — единение в общем деле. Явится целое, а целое повлияет само на себя и вызовет разум. Да, это будет воистину школою для всех нас и самую плодотворнейшею школою. Увидав от народа столько деловитости и серьезности, мы будем озадачены, и, уж конечно, явятся из нас, что не поверят глазам своим, но таких будет слишком мало, ибо все действительно искренние, все воистину жаждущие правды, а главное, дела, заправского дела и общей пользы, — такие все присоединятся к премудрому слову народному; все же неискренние разом обнаружат все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не уверуют, — то это какие-нибудь староверы и доктринеры сороковых и пятидесятих годов, старые, неисправимые дети, и они будут только смешны и безвредны. Все же, кроме них, в первый раз прочистят глаза свои и очистят пониманье свое. Действие может быть чрезвычайно важное по последствиям, ибо... ибо тут-то, в этой-то форме, может быть, и возможно начало и первый шаг духовного слияния всего интеллигентного сословия нашего, столь гордого перед народом, с народом нашим. Я про духовное лишь слияние говорю, — его только нам

и надо, ибо оно страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст. Светлая, свежая молодежь наша, думаю я, тотчас же и прежде всех отдаст свое сердце народу и поймет его духовно впервые. Я потому так, и прежде всех, на молодежь надеюсь, что она у нас тоже страдает «исканием правды» и тоской по ней, а стало быть, она народу сродни наиболее и сразу поймет, что и народ ищет правды. А познавоясь столь близко с душою народа, бросит те крайние бредни, которые увлекли было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях. О, я верю, что не фантазирую и не преувеличиваю тех благих последствий, которые могли бы из столь хорошего дела выйти. Пало бы высокомерие, и родилось бы уважение к земле. Совсем новая идея вошла бы вдруг в нашу душу и осветила бы в ней все что пребывало до сих пор во мраке, светом своим обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знает, может быть, это было бы началом такой реформы, которая по значению своему даже могла бы быть выше крестьянской: тут произошло бы тоже «освобождение» — освобождение умов и сердец наших от некоей крепостной зависимости, в которой и мы тоже пробыли целых два века у Европы, подобно как крестьянин, недавний раб наш, у нас. И если б только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то уж конечно была бы лишь последствием великой первой реформы в начале царствования. Ибо тогда матерьяльно пала двухвековая стена, отделявшая народ от интеллигенции, а ныне стена эта уже духовно падет. Что же выше, что же может быть плодотворнее для России, как не это духовное слияние сословий? Свои в первый раз узнают своих. Стыдившиеся доселе народа нашего, как варварского и задерживающего развитие, устыдятся прежнего стыда своего и перед многим смирятся и многое почтут, чего прежде не чтили и что презирали. И когда ответит народ, когда доложит все о себе и замолкнет его смиренное слово, — спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцию нашу, — ну хоть лишь мнения ее о том, что сказал народ, и вы сейчас же увидите последствия. О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо

они все же ведь интеллигенты, и последнее слово за ними. Но пример народа, сказавшего прежде их свое слово во всяком случае, избавил бы нас от многих промахов и дурачеств, если б нам самим пришлось прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажет тогда наша интеллигенция народу противоречиво, а лишь облечет его истину в научное слово и разовьет его во всю ширину своего образования, ибо все же ведь у ней наука или начала ее, а наука народу страшно нужна. Да если б и захотел кто из них противоречить, если б и явились какие-нибудь несогласия с основными началами народа нашего, то все-таки не осмелились бы так сильно встать против духа народного, то есть против взгляда его на дело, — вот что важно, и даже очень.

Да, весьма может быть, что духовное спокойствие началось бы у нас именно с этого шага. Явилась бы надежда и уже общая, не разделенная, стали бы ярко сознаваться и выясняться перед нами и цели наши. А это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь наш интеллигент совсем не знает или весьма нетвердо и сбивчиво знает о том, какие суть и могут быть впредь наши цели, то есть национальные, государственные. В этом у нас очень слабо, именно теперь, в данную минуту. А эта сбивчивость, это незнание есть, без сомнения, источник великого беспокойства и неурюстройства, и не только теперь, а и несравненно горшего в будущем. Все это могло бы быть разъяснено, освещено или дало бы хоть первоначальное указание к тому, чем осветить и как разъяснить, навело бы на мысль... А, впрочем, на эту тему довольно; я сказал, как умел. Пусть не поймут всего, если не сумел высказаться, — беру вину на себя, — но то, что поймут, пусть примут в безобидном и мирном смысле. Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, — как в святыню верую, главное, в спасительное их назначение, в великий народный охранительный и зиждительный дух, и жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное.

И почему бы все это мечта? Я ведь не про всю обширность дела говорю. Я ведь говорю лишь о мужике, о его собственных первоначальных делах, лишь до него относящихся. Разве нет у него таких дел, особых и единственно ихних, о которых бы надо было узнать, в виде, так сказать, почина и предисловия ко всякой дальнейшей, хотя бы даже и гораздо обширнейшей реформе? А между тем получатся выгоды чрезвычайные: получатся факты, узнается правда о многом, добудется драгоценный материал, который уберезит многих из нас от фантастических надежд, от перековерканий на западный лад, от преувеличений. А главное, — это еще раз повторю, — получится тон и смысл, получится тот самый дух, в котором только и может совершиться все что-нибудь дальнейшее и обширнейшее. На это дело как бы печать ляжет, печать национальная и глубоко консервативная. И печати этой и впоследствии никто не избегнет, даже самые фантастические умы, и те соблазняются и добровольно примут ее.

Глава вторая

Остроумный бюрократ.

Его мнение о наших либералах и европейцах

Но, кончив эту первую мою главу, прерву пока и статью о финансах, ибо чувствую, что пишу очень скучно. Но прерву лишь на время. Мне еще хотелось бы поговорить и о других корнях, о других началах, которые, представляется мне, можно бы оздоровить. Потому еще прерываю, что на двух листах моего «Дневника» и без того не уписал бы всей статьи, так что и поневоле пришлось бы отложить до следующих, грядущих номеров...

— Напрасно, не надо и в следующих номерах, — безглаголиво прервут меня голоса (я уж предчувствую эти голоса), — все это не финансы, а... баловство. Все это не реально (хотя не понимаю, почему бы так?), все это мистического

какого-то содержания, а не насущного, не текущего! В следующих номерах дайте повесть.

Странные голоса! Да ведь я именно и стою на том, чтоб нам отвернуться от многого в теперешнем нашем насущном и текущем и создать себе иное насущное и текущее, и несравненно даже реальнейшее, чем теперешнее, в которое мы въехали и в котором сидим, — извините, пожалуйста, тоже как муха в патоке, — в этом вся моя мысль. То есть именно в повороте голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор, — вот моя мысль. Власть имеющие могли бы начать такое дело, и с этой стороны мои мечты становятся даже вовсе не столь фантастическими, ибо если начнет власть, то многое могло бы даже сейчас же осуществиться. Принципы, принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и освободить. Не популярна, кажется, эта мысль: без движения мы давно уже привыкли быть, а в патоке-то даже и сладко стало сидеть. Правда, я опять увлекся, и мне тут же сейчас же могут напомнить, что ведь я и доселе, столько уж написав, все еще не собрался разъяснить: какое именно теперешнее текущее я подразумеваю и какое именно будущее текущее ему предпочитаю. Вот это-то именно я и хочу разъяснять неустанно в будущих моих номерах «Дневника». Но чтоб кончить теперь, приведу одну встречу, которую я имел с одним довольно даже остроумным бюрократам, и который мне изрек одну довольно любопытную вещь, вот именно насчет некоторых принципов, касающихся изменения нашего теперешнего «текущего». Разговор зашел в одном обществе как раз о финансах и об экономии, но специально в смысле бережливости финансовых средств наших, прикопления их, употребления в дело так, чтобы ни одна копейка не терялась, не пошла в расход фантастический. Про экономию в этом смысле у нас говорят теперь поминутно, да и правительство занимается этим же неустанно. У нас контроль, ежегодное сокращение в штатах. Заговорили в последнее время даже о сокращении армии, предлагали в газетах и цифру, именно на пятьдесят тысяч солдат, а другие так уверяли, что и напо-

ловину сократить можно армию нашу: ничего-де от того не будет. Все это и прекрасно бы, но вот что, однако, невольно лезет в соображение: армию-то мы сократим, на первый случай, хоть тысяч на пятьдесят, а денежки-то у нас и промелькнут опять между пальцами, туда да сюда, уж конечно, на государственные потребности, но на такие, которые, может быть, и не стоят такой радикальной жертвы. Сокращенные же пятьдесят тысяч войска уж мы никогда опять не заведем, или с большой потугой, потому что, раз уничтожив, трудно это опять восстанавливать, а войско-то нам уж как нужно, особенно теперь, когда все-то там держат против нас камень пазухой. На эту дорогу вступать опасно, но только *теперь*, при теперешнем, то есть текущем, на которое пойдут денежки. Только тогда и будем уверены, что святые эти денежки действительно на настоящее дело пошли, когда вступим, например, на окончательную, на суровую, на угрюмую экономию, на экономию в духе и силе Петра, если б тот положил экономить. А способны ли мы на это при «вопиющих»-то нуждах нашего текущего, которыми мы столь связали себя? Замечу, что если б мы сделали или начали так, то это и было бы одним из первых шагов на повороте с прежнего фантастического текущего на новое, реальное и надлежащее. Мы вот довольно часто сокращаем штаты, персонал чиновников, а между тем в результатах выходит, что и штаты и персонал как бы все увеличиваются. А способны ли мы вот к такому, например, сокращению: чтобы с сорока чиновников сразу съехать на четырех? Что четыре чиновника сплошь и рядом исполнят то, что делают сорок, — в этом сомнения, конечно, никто не может иметь, особенно при сокращении бумажного делопроизводства и вообще при радикальном преобразовании теперешних формул ведения дел. Вот на эту-то тему и зашла речь в нашей компании. Заметили, что это большая ломка во всяком случае. Другие возражали, что ведь у нас и гораздо капитальнейшие реформы происходили, чем эта. Третьи прибавляли, что новым чиновникам, то есть вот этим четверым, заместившим сорок, можно бы жалованье даже утратить — и слишком

охотно будут работать, вовсе без ропота. Но если и утроить, и на четырех, стало быть, пошло бы столько же, чего стоят теперешние двенадцать, то и тогда мы сократим расходы чуть не на три четверти против теперешнего.

Тут-то меня и остановил мой бюрократ. Замечу прежде всего, что, к величайшему моему удивлению, даже и он нисколько не возразил против возможности четырьмя заменить сорок: «И при четырех, дескать, дело будет идти», стало быть, не счел же этого невозможным. Но он возразил на иное, именно на принцип, на ошибочность и преступность провозглашаемого принципа. Привожу возражения его не дословно, даже слишком в моей редакции. Повторяю, привожу именно потому, что мысли его показались мне любопытными в своем роде и заключающими в себе некоторую почти пикантную даже идею. Он, конечно, не удостоил пускаться со мною в подробности, так как я в таком деле не специалист, «понимаю мало» (в чем, уж конечно, спешу и сам сознаться), — но принцип-то, он надеялся, я пойму.

— Сокращение чиновников с сорока на четырех, — начал он строго и с проникновением, — не только не полезно для дела, но даже и вредно уже по самому существу своему, несмотря на то, что действительно государственный расход уменьшился бы значительно. Но не только с сорока на четырех нельзя сокращать и вредно, но и с сорока на тридцать восемь, и вот почему: потому что вы зловредно посягнули бы тем на основной принцип. Ибо вот уже почти двести лет, с самого Петра, мы, бюрократия, составляем в государстве *все*; в сущности, мы-то и есть государство и *все* — а прочее лишь привесок. По крайней мере, до недавнего времени, до освобождения крестьян так было. Все выборные прежние должности, ну там дворянские например, сами собою силою тяготения, так сказать, принимали наш дух и смысл. И мы, созерцая это, вовсе не беспокоились, потому что принцип, указанный двести лет тому, нисколько не нарушался. Вот после крестьянской реформы действительно потянуло было чем-то новым: явилось самоуправление, ну там земство и прочее... Оказалось теперь

ясно, что и все это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик, нашу же душу тело, в нас перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашим давлением (это ошибочная мысль), — а именно само собою, ибо от вековых привычек отучаться трудно, а если хотите, то и не надо, особенно в таком основном и великом национальном деле. Вы можете мне не поверить, но если способны вникнуть, то, конечно, поймете. Ибо что мы такое? Мы *все, все* и до сих пор и продолжаем быть всем, — и опять-таки вовсе не очень стараясь о том сами, не нутужась, так сказать, нимало, а именно невольно, естественным ходом дела. Кричат давно, что у нас дело канцелярское, не живое, а мертвое, бумажное, и что Россия из этого выросла. Может быть, выросла, но пока все еще мы одни ее держим, зиждем и сохраняем, чтобы не рассыпалась! Ибо то, что вы называете канцелярской мертвечиной, то есть мы-то сами, как установление, а затем и вся наша деятельность, — все это составляет, если прибегнуть к сравнению, как бы, так сказать, скелет в живом организме. Рассыпьте скелет, рассыпьте кости, погибнет и живое тело. Пусть, пусть дело делается по-мертвому, зато по системе, по принципу, по великому принципу, позвольте вам это сказать. Пусть дело канцелярски делается, пусть даже плохо, не полно, но ведь как-нибудь делается же, и, главное, все стоит и не падает, — именно то-то и главное, что пока не падает. Я согласен и готов уступить вам, что мы на самом-то деле, пожалуй, что и не *все*, — о, мы достаточно умны, чтобы понять, что мы не восполняем всего в России, а особенно теперь; но пусть не все, зато все-таки *нечто*, то есть нечто уже реальное, действительно существующее, хотя, конечно, может быть, отчасти и бестелесное. Ну, а что там у вас, чем вы-то бы нас заместили, так, чтоб мы уже могли с уверенностью отстраниться, ввиду того, что и у вас явилось бы тоже *нечто*, способное нас заместить так, чтобы ничего не упало? Но ведь у вас все эти самоуправления и земства, — ведь это все еще пока журавль в небе, журавль до сих пор прекрасный и в небе летающий, но на землю еще не слетавший. Стало быть, он все-таки нуль, хоть и прекрасен,

а мы хоть и не прекрасны и надоели, но зато мы *нечто* и уже вовсе не нуль. Вы вот нас все сплошь обвиняете за журавля: зачем-де он до сих пор не слетел, что в этом-де мы виноваты, что это будто мы стараемся преобразить прекрасного журавля в наш образ и дух. Это, конечно, очень бы хорошо было с нашей стороны, если б действительно тут только наша вина была, ибо мы доказали бы тем, что стоим за вековой, основной и благороднейший принцип и бесполезный нуль обращаем в полезное нечто. Но поверьте, что мы тут вовсе не виноваты, то есть слишком мало, и что прекрасный журавль сам в нерешимости, сам не знает, чем ему стать окончательно, то есть нами ли или вправду чем-то самостоятельным, сам колеблется, сам не верит себе, даже почти потерялся. Уверяю вас, что полез он к нам своею собственною доброю волею, а вовсе без нашего давления. Выходит, что мы, так сказать, как естественный какой-то магнит, к которому все тянется даже доселе и долго еще будет тянуться. Вы опять не верите, вам смешно? А я так пари готов держать в чем угодно: попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птичке вполне, разрешите ей все возможности, предпишите, например, вашему земству даже формально за номером и со строгостью: «Отселе-де быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлем», и поверьте, что все они там, все какие есть журавли, сами собою, еще пуше запросятся к нам и кончат тем, что станут чиновниками уже вполне, дух наш и образ примут, все у нас скопируют. Даже выборный мужик к нам запросится, польстит ему это очень. Недаром же два столетия развивались вкусы. И вот вы хотите, чтобы мы, то есть нечто твердое и на ногах стоящее, променяли бы самих себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекрасного журавля? Нет, уж мы лучше свою синицу в руках попридержим. Мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее, ну там станем как-нибудь добродетельнее или что, — а на призрак, на внезапно приснившийся сон мы не променяем наше действительное, реальное *нечто*, ибо нечем и некем нас

заместить, это верно! Мы сопротивляемся уничтожению, так сказать, по инерции. Инерция-то эта в нас и дорога, потому что, по правде-то, ею лишь одною все и держится в наше время. А потому и сокращаться даже на тридцать восемь с сорока (а не то что с сорока на четырех) было бы делом глубоко вредным и даже безнравственным. Гроши получите, а разрушите принцип. Уничтожьте-ка, измените-ка теперь нашу формулу, если только у вас хватит совести посягнуть на такое дело: да ведь это будет изменой всему нашему русскому европеизму и просвещению, — знаете ли вы это? Это будет отрицанием того, что и мы государство, что и мы европейцы, это измена Петру! И знаете, ваши либералы (впрочем, и наши тоже), стоящие столь рьяно в газетах за земство против чиновничества, в сущности противоречат сами себе. Да ведь земство, да ведь все эти новости и «народности» — ведь это и есть те самые «народные начала», или начинающаяся формула тех «начал», о которых кричит столь ненавистная европейцам нашим «Русская партия» (может, слышали, их так в Берлине обозвали) — те самые «начала», которые так неистово отрицает наш русский либерализм и европеизм, над которыми он смеется и не хочет их признавать даже существующими! О, он их очень боится: ну, что-де коли они в самом деле есть и осуществляются, так ведь тогда в некотором роде сюрприз-с! Значит, все ваши европейцы по-настоящему с нами, а мы с ними, и это бы они давно должны бы были понять и себе зарубить. Если хотите, то мы не только заодно с ними, а мы и совсем одно и то же: в них, в них самих наш дух заключен и даже наш образ в европейцах-то ваших, и это так! Да я вам вот что прибавлю: Европа, то есть русская Европа, Европа в России — это мы-то лишь одни и есть. Это мы, мы воплощение всей формулы русского европеизма и всю ее заключаем в себе. Мы одни и ее толкователи. И не понимаю, почему бы не давать им за их европеизм установленных знаков отличия, если уж мы с ними так безгрешно сливаемся? С удовольствием станут носить, и этим даже можно бы было привлечь. Но у нас не умеют. А они-то нас бранят — подлинно своя своих не познаша! А чтоб кон-

чить о ваших земствах и всех этих новшествах, то я вам скажу раз навсегда: нет-с! Ибо дело это длинное, а не столь короткое. На то нужна своя предварительная культура, своя история и, может быть, тоже двухвековая. Ну вековая, ну хоть даже полвековая, так как ныне век телеграфов и железных дорог, и все отношения сокращены и облегчены. Так ведь все же полвековая, все же ведь не сейчас. «Сейчас или тотчас» — это все русские мерзостные словечки. Сейчас ничего не народится, кроме нам же подобных. И долго еще так будет.

Тут мой бюрократ гордо и осанисто замолчал, и, знаете, я и не возражал ему, потому что в его словах было именно как бы «нечто», какая-то грустная правда, действительно существующая. Разумеется, я с ним не согласился в душе. И притом таким тоном говорят лишь люди отходящие. А все-таки в его словах было «нечто»...

Старая басня Крылова об одной свинье

А чтобы обо всем этом наконец совсем уже кончить, приведу одну маленькую, очень хорошенькую басенку Крылова, должно быть, всеми теперь забытую, ибо до Крылова ли в наш теперешний деловой и мятущийся век? Эта басенка невольно припомнилась мне, еще когда я начал собираться писать мою статью о финансах и об оздоровлении корней. У Крылова она имеет прекрасное нравоучение, но на другую тему, на тему о других корнях. Но это все равно, она и к нам подходящая. Вот эта басня:

Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выпалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит, —
Ей с Дубу Ворон говорит, —
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». —

«Пусть сохнет, — говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит:
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». —
«Неблагодарная! — примолвил Дуб ей тут:
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».

Хороша басенка?¹⁵ И неужели мы согласимся походить на такой портрет?

Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?

Геок-Тепе взят, текинцы разбиты и хотя еще вполне не усмирены, но наша победа несомненна. В обществе и в печати возликовали. А давно ли еще в обществе, да и в печати отчасти, к этому делу относились чрезвычайно равнодушно. Особенно после неудачи генерала Ломакина и в начале приготовлений к вторичному наступлению¹⁶. «И зачем нам туда, и чего нам далась эта Азия, сколько денег истрачено, тогда как у нас голод, дифтерит, нет школ, и проч., и проч.». Да, эти мнения раздавались, и мы их слышали¹⁷. Не все вообще были этого мнения, — о, нет, — но все же надо сознаться, что к нашей наступательной политике в Азии в последнее время весьма многие стали было относиться неприязненно. Правда, помогла тут и неизвестность о предпринятой экспедиции. В самое последнее только время стали проскакивать у нас известия из иностранных газет, и только под самый конец раздалась по всей России телеграмма Скобелева. Тем не менее и во всяком случае трудно сказать, чтобы общество наше было проникнуто ясным сознанием нашей миссии в Азии и того, что собственно для нас значит и могла бы значить впредь Азия. Да и вообще вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России все еще как будто существуют в виде какого-то привеска, которым как бы во-

все даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться. «Мы, дескать, Европа, что нам делать в Азии?» Бывали даже и очень резкие голоса: «Уж эта наша Азия, мы и в Европе-то не можем себе порядка добыть и устроиться, а тут еще суют нам и Азию. Лишняя вовсе нам эта Азия, хоть бы ее куда-нибудь деть!» Эти суждения иногда и теперь раздаются у умников наших, от очень их большого ума, конечно.

С победой Скобелева пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее: «Вот, дескать, и еще один свирепый и гордый правоверный народ белому царю поклонился». И пусть пронесется гул. Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости белого царя¹⁸ и в несокрушимости меча его. А ведь после неудачи генерала Ломакина непременно, должно быть, пронеслось по всей Азии сомнение в несокрушимости меча нашего — и русский престиж наверно был поколеблен. Вот почему мы и не можем остановиться на этой дороге. У этих народов могут быть свои ханы и эмиры, в уме и в воображении их может стоять грозой Англия, силе которой они удивляются, — но имя белого царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индейской императрицы, превыше даже самого калифова имени. Пусть калиф, но белый царь есть царь и калифу. Вот какое убеждение надо чтоб утвердилось! И оно утверждается и нарастает ежегодно, и оно нам необходимо, ибо оно их приучает к грядущему.

— Для чего и к какому грядущему? Какая необходимость в грядущем захвате Азии? Что нам в ней делать?

Потому необходимость, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!

Я предчувствую негодование, с которым прочтут иные это ретроградное предположение мое (а оно для меня аксиома). Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо про-

гнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть же два века. Но особенно этот стыд усилился в нас в нынешнем девятнадцатом веке и дошел почти до чего-то панического, дошел до «металла и жупела» московских купчих. Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), — этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых Бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты. Но толчок Петра, вдвинувшего нас в Европу, необходимый и спасительный вначале, был все-таки слишком силен, и тут отчасти уже не мы виноваты. И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за *своих*, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии «спасать царей»¹⁹, то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою. В двенадцатом году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, как советовали и желали тогда некоторые немногие прозорливые русские люди²⁰. А двинулись всей стеной осчастливить Европу, освободив ее от похитителя. Конечно, вышла картина яркая: с одной стороны шел деспот и похититель²¹, с другой — миротворец и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не в картине, а в том, что этот похититель был именно тогда в таком положении, в первый раз во всю свою карьеру, что помирился бы с нами крепко-накрепко и искренно, и надолго, может быть, навсегда. За условие, что мы не будем ему мешать в Европе, он отдал бы нам Восток, и теперешний Восточный вопрос наш — гроза и беда нашего текущего и нашего будущего — был бы уже теперь

давно разрешен. Похититель это сам говорил потом, и наверно не лгал, говоря, ибо ничего-то бы он не мог лучше сделать, как впредь быть с нами в союзе, с тем, чтоб у нас был Восток, а у него Запад. С европейскими народами он бы наверно справился и тогда. Они же были слишком еще слабы тогда, чтоб нам помешать на Востоке, даже Англия. Наполеон, может быть, и пал бы потом, или после его смерти династия его, а Восток остался бы все-таки за нами. (У нас тогда было бы море, и мы могли бы даже и на море Англию встретить.) Но мы все отдали за картинку. И что же: все эти освобожденные нами народы тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах²² они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе все, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, несмотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы столетия и даже доньше? Не мы ли способствовали укреплению германских держав, не мы ли создали им силу до того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да, сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно выйдет. Не мы ли, по их зову, ходили укрощать их междоусобие, не мы ли оберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот — не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда? Кончилось тем, что теперь всякий-то в Европе, всякий там образ и язык держит у себя за пазухой давно уже припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть! Мы сыграли там роль Репетилова, который, гоняясь за фортуной,

Приданого взял шиш, по службе ничего²³.

Но почему эта ее ненависть к нам, почему они все не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвред-

ность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначение наше — это служить Европе и ее благоденствию. (Потому что разве не так, не то же ли самое делали мы во все столетие, разве сделали мы что для себя, разве добились чего себе? Все на Европу пошло!) Нет, они не могут увериться в нас! Главная причина именно в том состоит, что они не могут никак нас *своими* признать.

Они ни за что и никогда не поверят, что мы воистину можем участвовать вместе с ними и наравне с ними в дальнейших судьбах их цивилизации. Они признали нас чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся. Турки, семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина: идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество — вот причина! И это несмотря на то, что наши «русские европейцы» изо всех сил уверяют Европу, что у нас нет никакой идеи, да и впредь быть не может, что Россия и не способна иметь идею, а способна лишь подражать, что дело тем и кончится, что мы все будем подражать и что мы вовсе не азиаты, не варвары, а совсем, совсем как они, европейцы. Но Европа нашим русским европейцам на этот раз, по крайней мере, не поверила. Напротив, в этом случае она, так сказать, совпала в заключениях своих со славянофилами нашими, хотя их не знает вовсе и только разве слышала о них кое-что. Совпадение же именно в том, что и Европа верит, как и славянофилы, что у нас есть «идея», своя, особенная и не европейская, что Россия может и способна иметь идею. Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ничего не знает, — ибо если б знала, так тотчас же бы успокоилась, даже обрадовалась. Но узнает непременно когда-нибудь, и именно когда наступит самая критическая минута в судьбах ее. Но теперь она не верит; признавая за нами идею, она боится ее. И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя там и бывают иногда с нами вежливы. Они, например, охотно сознаются, что русская наука может выставить уже несколько замечательных деятелей, представить несколько хо-

роших работ, даже послуживших уже их европейской науке в пользу. Но ни за что, однако же, не поверит теперь Европа, что у нас в России могут родиться не одни только работники в науке (хотя бы и очень талантливые), а и гении, руководители человечества вроде Бэкона²⁴, Канта и Аристотеля²⁵. Этому они никогда не поверят, ибо в цивилизацию нашу не верят, а нашей грядущей идеи еще не знают. По-настоящему, они и правы: ибо и впрямь не будет у нас ни Бэкона, ни Ньютона²⁶, ни Аристотеля, доколе мы не станем сами на дорогу и не будем духовно самостоятельными. Во всем остальном то же, в наших искусствах, в промышленности: Европа нас готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями.

Но от окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум. А между тем Азия — да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем, — опять восклицаю это! И если бы совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи — о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, — ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело — вот что необходимо!

Вопросы и ответы

— Да зачем, зачем? — послышатся голоса уже раздраженные, — азиатские наши дела и теперь требуют от нас беспрерывно войска и затрат непроизводительных. И какая там промышленность? Где их товары, где найдете вы там потребителей наших товаров? И вот вы приглашаете нас, неизвестно зачем, отвернуться от Европы навеки!

— Не навеки (продолжаю я стоять на своем), а — временно, и опять-таки не совсем, не совершенно ведь оторвемся,

как бы ни отрывались. Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не надо. Это «страна святых чудес», и изрек это самый рьяный славянофил²⁷. Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными. Я про будущее великое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, — и меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои, — точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово.

Но, может быть, не забудется это слово мое. Об этом, впрочем, теперь довольно. Но все же мы вправе о перевоспитании нашем и об исходе нашем из Египта позаботиться. Ибо мы сами из Европы сделали для себя как бы какой-то духовный Египет.

— Позвольте, — прервут меня, — да чем же нам Азия придаст самостоятельности? Заснем там по-азиатски, а не станем самостоятельными!

— Видите ли, — продолжаю я, — с поворотом в Азию, с новым на нее взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая еще нами тогдашняя Америка. Со стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, — тотчас найдем что нам делать, а с Европой, в два века, мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями.

— Ну так как же Вы подымаете нас в Азию, коль у нас лентяи? Да и кто у нас подымется первый, если б даже и доказать всем, как дважды два, что там наше счастье?

— В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Постройте только две железные дороги, нач-

ните с того, — одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия.

— Мало захотели! — засмеются мне, — где средства, и что получим: себе убыток и только.

— Во-первых, если б мы, в последние двадцать пять лет, всего только по три миллиона в год на эти дороги откладывали (а три-то миллиона у нас просто сквозь пальцы иной раз мелькнут), то было бы уже теперь выстроено на семьдесят пять миллионов азиатских дорог, то есть слишком тысячу верст, как ни считать. Затем, вы толкуете про убыток. О, если б вместо нас жили в России англичане или американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки? И знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля, — все бы нашли, все бы разыскали, и материал, и как его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить им сам-пятьдесят, — ту самую землю, про которую мы все еще думаем здесь, что это лишь голая, как ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу к ним, изыскали бы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги бы новые к ним провели!

— Ну, так как же Вы восклицаете про науку, и сами склоняете нас к измене науке и просвещению, приглашая нас стать азиатами.

— Да науки-то там еще больше потребуется! — (восклицаю и я), ибо что мы теперь в науке: недоучки и дилетанты. А там станем деятелями, сама необходимость прижмет и заставит, чуть лишь подымется самостоятельный предприимчивый дух — тотчас же и в науке явимся господами, а не прихвостнями, как сплошь и рядом ныне. А главное — цивилизаторская миссия наша в Азии, с самых первых шагов (и это несомненно), поймется и усвоится нами. Она возвысит наш

дух, она придаст нам достоинства и самосознания — а этого сплошь у нас теперь нет или очень мало. Стремление в Азию, если б только оно зародилось меж нами, послужило бы, сверх того, исходом многочисленным беспокойным умам, всем стосковавшимся, всем обленившимся, всем без дела уставшим. Устройте исток воде — и исчезнет плесень и вонь. А раз затянувшись в дело — уже не будут скучать, все переродятся. Даже иная бездарность, с израненным, ноющим самолюбием, нашла бы там свой исход. Ибо часто в одном месте бездарность воскресает в другом — чуть не гением. Это часто и в европейских колониях происходит. И не опустеет Россия, не бойтесь: начнется постепенно, пойдут сначала немногие, но скоро о них придут слухи и увлекут других. И все-таки для моря русского это будет даже и незаметно. Освободите муху из патоки, расправьте ей даже как можно крылья, и все-таки потянется туда самый ничтожный процент населения, будет даже и неприметно. А там — ух как там будет приметно! Где в Азии поселится «Урус», там сейчас становится земля русской. Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем и ей же пути ее разъяснила. Но для всего этого нужен новый принцип и поворот. И всех менее потребовал бы он ломки и потрясений. Пусть только хоть немного проникнутся (но проникнутся), что в будущем Азия наш исход, что там наши богатства, что там у нас океан; что, когда в Европе, уже от одной тесноты только, заведется неизбежный и претящий им самим унижительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага и, мало-помалу, пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами; когда детей будут растить в воспитательных домах (на три четверти подкидышами), тогда — тогда у нас все еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши будут расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собою чистое небо. Да, много там наших надежд заключено и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не можем во

всем объеме! Не одно только золото там в почве спрятано. Но нужен новый принцип. Новый принцип и потребные на дело деньги родит. Ибо к чему нам, если уж все говорить, — к чему нам (и особенно в теперешнюю минуту) содержать там, в Европе, хотя бы столько посольств с таким столь дорого стоящим блеском, с их тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом. И что нам там (и именно теперь) до каких-то Гамбетт²⁸, до папы и его дальнейшей участи, хотя бы и угнетал его Бисмарк²⁹? Не лучше ли, напротив, на время, в глазах Европы, прибедниться, сесть на дорожку, шапочку перед собой положить, грошики собирать: дескать, «la Russie опять se gescueille»*. А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем временем созидаться! Скажут: к чему ж унижаться. Да и не унизимся вовсе! Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не то что не унизимся, а разом повысимся, вот как будет! Европа хитра и умна, сейчас догадается и, поверьте, начнет нас тотчас же уважать! О, конечно, самостоятельность наша ее, на первых порах, озадачит, но отчасти ей и понравится. Коль увидит, что мы в «угрюмую экономию» вступили и решились по одежке протягивать ножки, увидит, что и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережем и ценим, а не делаем его из бумажки, то и они тоже тотчас же наш рубль на своих рынках, ценить начнут. Да чего, — увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам денег предлагать, — и предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому как надо каждое дело делать...

— Пойдите, — слышится голос, — вот мы, однако же, про Гамбетту, но нам нельзя там бросать. Хоть бы тот же Восточный вопрос на первый случай: ведь он остается; как же мы уйдем от него?

Насчет Восточного вопроса я бы вот что сказал в эту минуту: ведь в эту минуту у нас, в политических сферах, не найдется, может быть, ни единого политического ума, который бы

* «Россия опять собирается с мыслями» (франц.)³⁰.

признавал за здоровое, что Константинополь должен быть наш (кроме разве как в отдаленном, загадочном еще нашем грядущем). А коли так, так чего же нам больше ждать? Вся суть Восточного вопроса в эту минуту заключается в союзе Германии с Австрией³¹, да еще в австрийских захватах в Турции, поощряемых князем Бисмарком³². Мы можем и будем, конечно, протестовать, в крайних уж каких-нибудь случаях, но пока эти обе нации вкупе — что же мы можем сделать теперь без огромных для нас потрясений? Заметьте, что союзникам, может, только того и надо, чтоб мы наконец рассердились. Славянские же народы мы можем по-прежнему поощрять и любить, даже помогать им чем можно при случае. К тому же очень-то они не погибнут в какой-нибудь срок. А срок может даже очень скоро кончиться. Ведь только бы мы вид показали, что в Европу столь вмешиваться, как прежде, мы уже не желаем, то они там, без нас-то оставшись, может, еще скорее перессорятся. Ведь никогда-то не поверит Австрия, что Германия ее столь возлюбила единственно за ее прекрасные глаза. Ведь она слишком знает, напротив, что Германии все-таки надо, в конце концов, ее австрийских немцев к германскому единству присоединить. А своих немцев Австрия ни за что не уступит, даже если б давали Константинополь за них — до того их дорого ценит! Матерьял-то для распрей, стало быть, там уже есть. А тут еще под боком у Германии все тот же неразрешенный французский вопрос, теперь для нее уже вечный. А тут, сверх того, даже самое объединение Германии, вдруг оказывается, не только не завершено, а даже грозит колебанием. А тут, оказывается, и социализм европейский не только не умер, а даже очень и очень продолжает грозить. Одним словом, нам стоит только дожждаться и не вмешиваться, даже когда звать начнут, и чуть только грянет там у них распря, и затрещит их «политическое равновесие», — разом покончить и Восточный вопрос, выбрав мгновение как и во франко-прусскую бойню, вдруг заявить, как тогда насчет Черного моря мы заявили: «Не желаем-де австрийских захватов в Турции признавать»³³, и разом исчезнут захваты, может быть, и с Австрией вместе.

Вот и наверстаем все, что на время как будто бы упустили...

— Ну, а Англия? Вы упускаете Англию. Увидав наше стремление в Азию, она тотчас взволнуется.

— «Англии бояться — никуда не ходить», — возражаю я переделанною на новый лад пословицей. Да и ничем новым она не взволнуется, ибо все тем же волнуется и теперь. Напротив, теперь-то мы и держим ее в смущении и неведении насчет будущего, и она ждет от нас всего худшего. Когда же поймет настоящий характер всех наших движений в Азии, то, может быть, сбавит многое из своих опасений... Впрочем, я согласен, что не сбавит и что до этого еще ей далеко. Но, повторяю: Англии бояться — никуда не ходить! А потому и опять-таки: да здравствует победа у Геок-Тепе! Да здравствует Скобелев и его солдатики, и вечная память «выбывшим из списков» богатырям³⁴! Мы в наши списки их занесем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первый набросок в записной тетради плана издания единого журнала «Записная книга» относится к 1865 г. Решившись осуществить вынашивавшийся годами замысел «Записной книги», Ф. М. Достоевский в 1873 г., будучи редактором «Гражданина», смог сделать это в неполном виде. Во «Вступлении» к «Дневнику писателя», «задумываясь» над сущностью явлений русской жизни и обращаясь к читателям, он определил задачи издания, наметил его принципы и охарактеризовал необычную форму нового жанра не только для самого себя, но и для всей мировой литературы.

В 1876 г., закончив работу над романом «Бесы», писатель вернулся к изданию ежемесячного «Дневника писателя», в котором темы «злобы дня» текущей идейной жизни русского общества переплетались с очерками биографического характера. Его равно волновали крупные события политической жизни, научная борьба со спиритуализмом, нашумевшие судебные процессы 70-х годов, железнодорожные катастрофы, небольшие заметки и хроники, за сухими строчками которых он угадывал скрытую житейскую драму. Ф. М. Достоевский в форме свободного диалога с читателями обсуждал факты русской и западноевропейской общественно-политической жизни, свои личные переживания о прошлом и настоящем, показывал их внутренние пересечения и вскрывал связующий их общий смысл, т. е. стремился дать «отчет о виденном, слышанном и прочитанном». Помещаемые в «Дневнике писателя» небольшие по объему художественные произведения — «Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Столетняя», «Кроткая», «Сон смешного человека» — органично вписывались в его структуру и

поражали «реализмом, доходящим до фантастического», сочетая в себе монументальность художественных обобщений, глубину и точность социального видения мира с особой внутренней напряженностью и обаятельным лиризмом повышенного внимания художника к анализу «тайн души человеческой».

Выходил «Дневник писателя» в последнее число каждого месяца в объеме от полутора до двух печатных листов (по шестнадцати страниц в листе). Присылать оригиналы текстов в типографию Федор Михайлович начинал 17—18 числа каждого месяца, а заканчивал очередной выпуск за три дня до его выхода в свет: надо было иметь время на набор, корректуру типографии, корректуру автора, прочтение материалов цензором, верстку и опять корректуру автора и корректуру типографии и, наконец, печатание. Однако в действительности творческая работа над очередным номером весьма часто затягивалась. Поэтому последние главы, посылаемые вдогонку, нередко печатались в последнюю ночь перед рассылкой готовых экземпляров. Первый выпуск «Дневника писателя» вышел в количестве 2000 экземпляров. В последующем его тираж увеличился до 6000 экземпляров и расходился не только в Петербурге и Москве, но и в провинции — в Киеве, Одессе, Харькове и Казани.

Работа над очередным номером начиналась с чтения текущих столичных и местных газет. Извлекая из центральной и провинциальной печати факты и сообщения, Ф. М. Достоевский сопровождал их своими пояснениями и комментариями, подчиняя их развертыванию того комплекса политических, философских, литературно-эстетических взглядов, которые он проводил на страницах «Дневника писателя». Наблюдения, почерпнутые из повседневной жизни, постепенно обрастали психологической «кровью и плотью», обогащались различными ассоциациями и аналогиями, приводили писателя к широким выводам и обобщениям. Накопив необходимый материал, Ф. М. Достоевский составлял план очередного выпуска, к которому не раз возвращался, многократно уточняя и изменяя название и содержание главок и состав всего выпуска «Дневника писателя». Подчиняясь требованиям сжатости изложения и срочности написания статей, обрабатывая свои черновики по несколько раз самым тщательным и добросовестным образом, Ф. М. Достоевский вывел для себя неотразимое заключение, что

настоящий писатель обязан знать изображаемую действительность до мельчайшей точности (исторической и текущей). «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского разнообразен по содержанию и от начала до конца сцеплен единым авторским «голосом», единым дыханием и интонацией: обращаясь к отдельным, внешне разрозненным фактам русской и западной жизни, автор стремился раскрыть их общие «концы» и «начала», обнаружить связующие внутренние нити, общий глубинный философский смысл.

Обличение старой русской аристократии и поместного дворянства, гневное изображение процесса превращения в пореформенные годы русского купца в биржевика и хищника-спекулянта новой европейской волны основывалось у Ф. М. Достоевского на признании факта расслоения пореформенной деревни, бесправной и отданной на откуп и разграбление кабатчику, спекулянту и «жиду». Русский писатель выступал против дальнейшего развития России по «западному» образцу. Он был убежден, что хотя русское «образованное общество» и наше крестьянство в результате двухсотлетнего разъединения в России верхов и низов и отделились от нравственного идеала, а жизнь обоих классов потеряла внешнее «благообразие», но в душе русского крестьянина и «лучших людей» образованного общества живет еще идеал стремлений к нравственному обновлению. Эти стремления — залог возможности объединения народа с удалившейся от него интеллигенцией для общего труда по пересозданию существующей общественной жизни России. Возможность такого объединения писатель чувствовал в проявляющемся всенародном подъеме, в подвиге самопожертвования русского народа, вступившего в русско-турецкую войну за дело освобождения братьев-славян («Дневник писателя» за 1877 г.). Подъем духа нации ради идеи освобождения угнетенных — это толчок вперед, к светлому будущему. «Великая наша Россия во главе объединенных славян, — был убежден Ф. М. Достоевский, — скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное слово».

«Дневник писателя» — яркий образец страстного патриотизма Ф. М. Достоевского, его любви к родному Отечеству, к прошлому и настоящему русского народа. Статьи, очерки и рассказы наполнены горячей верой Ф. М. Достоевского в великое будущее России, в при-

звание России к решению всех мучительных «мировых вопросов» и «мировых противоречий».

Августовский выпуск за 1880 г., содержащий знаменитую пушкинскую речь о всемирной отзывчивости русского сердца, и январский выпуск за 1881 г. «Дневника писателя», возобновленного Ф. М. Достоевским после завершения работы над романом «Братья Карамазовы», стали последними книгами, которые автор успел подготовить к печати и которые читатели получили уже после его смерти.

Благодаря напряженному интеллектуализму размышлений Ф. М. Достоевского, восприятию им любого социального явления прошлого и настоящего — политического события, литературного образа, сообщения газетной хроники из мира повседневности — в широком, философско-историческом контексте и сегодня страницы «Дневника писателя» актуальны для каждого русского человека, кто неравнодушен к судьбе Отечества.

Основным источником текстов философско-исторических и публицистических работ Ф. М. Достоевского является академическое издание полного собрания его сочинений в тридцати томах (Л.: «Наука», 1972—1987), в котором «Дневник писателя» публиковался с подробными комментариями, вариантами, рукописной редакцией и подготовительными материалами в 21—27-х томах. Кроме того, для широкого круга читателей были изданы однотомники: Достоевский Ф. М. «Дневник писателя. Избранные страницы» (М., «Современник», 1989); Достоевский Ф. М. «Дневник писателя. [1873—1881]» (СПб., «Лениздат», 1999); Федор Достоевский. «Post Scriptum» (М., «Эксмо», 2007); Достоевский Ф. М. «Дневник писателя». Т. 1—2. (М., «Айрис-пресс», 2008) и др.

Составление, подготовка текста и примечаний предлагаемой книги выполнены А. В. Беловым. В основу примечаний положены материалы полного собрания сочинений в тридцати томах. Сноски в тексте, помеченные звездочкой (*), принадлежат перу Федора Михайловича Достоевского. К сожалению, объем выпускаемой книги не позволил включить весь текст «Дневника писателя» великого русского мыслителя, и нам пришлось прибегнуть к сокращениям. Некоторые главы, не вошедшие в настоящее издание, представляются нам менее актуальными в современных условиях или требуют специальных и обширных комментариев. Подобного

рода сокращения в тексте помечены квадратными [...] скобками. Орфография и пунктуация текстов «Дневника писателя» по возможности приближены к современным требованиям.

Предисловие к настоящему изданию составлено из статей: Б. Бразоля (Речи. Т. 1. Нью-Йорк, 1943); В. Зеньковского (История русской философии. Париж, 1950); П. Новгородцева (Сочинения. М., 1995).

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1873

¹ 20 декабря 1872 г. Главное управление по делам печати известило цензурный комитет, что по ходатайству князя В. П. Мещерского (1839—1914) Федор Михайлович Достоевский утвержден редактором «Гражданина», о чем он и получил свидетельство 31 декабря, а уже с 1 января 1873 г. вступил в должность.

² В «Московских ведомостях» от 13 декабря 1872 г. публиковалась статья о церемонии бракосочетания китайского императора Тун-чжи, которая, как, впрочем, и все события, происходящие вокруг него от рождения и до смерти, строго определена в двухсоттомной книге церемоний.

³ Шутливое опасение о неизбежности столкновений в будущем с цензурой.

⁴ Роман В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков» печатался в «Гражданине» в 1872 г. и продолжал публиковаться в 1873 г., а в 1874 г. его выдавали годовым подписчикам «Гражданина» по удешевленной цене.

⁵ Редактор-издатель М. Н. Катков (1818—1887).

⁶ Цитата из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя (1809—1852).

⁷ Ф. М. Достоевский виделся с А. И. Герценом (1812—1870) в июле 1862 г. В Лондоне. М. П. Погодин (1800—1875) опубликовал в журнале «Заря» (1870, № 2) статью «А. И. Герцен», в состав которой вошли и его воспоминания о встрече с Герценом в Мontre.

⁸ Статья В. Г. Белинского (1811—1848) «Русская литература в 1841 году» написана в форме разговора между двумя лицами, А. и Б., и впервые была напечатана в «Отечественных записках» (1842, № 1).

⁹ Познакомившись с В. Г. Белинским в середине 1845 г. вскоре после завершения романа «Бедные люди», Ф. М. Достоевский вошел в круг литераторов «натуральной школы» и был в курсе философских, социальных и эстетических проблем, волновавших представителей этого литературного направления.

¹⁰ По инициативе В. Г. Белинского каждую субботу в кругу друзей И. И. Панаев (1812—1862) оглашал результаты своих изысканий из истории революционного движения во Франции. В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. В. Г. Белинский делился впечатлением от чтения «Истории французской революции» Тьера: «Новый мир открылся предо мною. Я все думал, что понимаю революцию — вздор — только начинаю понимать». Он отмечал историческую необходимость актов якобинского Конвента, когда, по его восторженным словам, «рубил на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам Бога, разума и человечности». По мнению А. И. Герцена, события 1793 г. были подготовлены французскими просветителями конца XVIII в., якобинский Конвент же положил начало социалистическому движению XIX столетия.

¹¹ А. И. Герцен принимал участие в издании газеты Прудона «La Voix du Peuple» («Голос народа»), выходящей с 1 октября 1849 г. по 14 мая 1850 г.

¹² См. об этом одну из «Западных арабесок» («В грозу»), включенную в пятую часть герценовских «Былое и думы».

¹³ В воззвании издателей «Колокола» «Русским офицерам в Польше» (1862 г.) утверждалось, что союз революционно настроенных офицеров с восставшими в Польше должен способствовать подъему русского освободительного движения. Однако народного движения в России за польским восстанием не последовало и Герцен в статье «М. Бакунин и польское дело» (1865) признавался, что им было «что-то ошибочное сделано».

¹⁴ Брак отца А. И. Герцена, русского помещика, с его матерью немкой Луизой Гагг не был оформлен.

¹⁵ Виссарион Белинский родился 30 мая 1811 г. в семье военного лекаря Григория Никифоровича Белинского и его жены Марии Ивановны Ивановой, дочери шкипера. Семья проживала в Пензенской губернии.

¹⁶ «Интернационалкой» в русской печати того времени называли Международное товарищество рабочих.

¹⁷ В своей книге Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892) утверждал, что Иисус — самая высокая личность... Каковы бы ни были неожиданности, которые готовит нам будущее, Иисуса никто не превзойдет во все времена. Среди сынов человеческих никогда не рождалось более великого, нежели Иисус.

¹⁸ Речь, видимо, идет о Василии Петровиче Боткине (1811—1869), писателе, критике, искусствоведе, с которым В. Г. Белинского с 1836 г. и практически до самой смерти связывали узы дружбы и общность интересов.

¹⁹ Скорее всего, речь идет об Иване Сергеевиче Тургеневе (1818—1883). «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет» — так характеризовал Ф. М. Достоевский И. С. Тургенева в письме к брату — М. М. Достоевскому (1820—1864) от 16 ноября 1845 г.

²⁰ Жорж Занд (Санд) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876).

²¹ Этьен Кабе (1788—1856) — французский коммунист-утопист.

²² Пьер Леру (1797—1871) — французский философ, один из основателей христианского утопического социализма.

²³ Пьер Жозеф Прудон (1809—1865) — французский публицист, теоретик анархизма.

²⁴ Шарль Фурье (1772—1837) — французский социалист-утопист.

²⁵ Людвиг Фейербах (1804—1872) — немецкий философ-материалист.

²⁶ Давид Фридрих Штраус (1803—1874) — немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835—1836).

²⁷ Ф. М. Достоевский не разделял мнения своего друга Ап. А. Григорьева (1822—1864), автора «Парадоксов органической критики», в которых он со всей категоричностью заявлял, что «для меня лично — равно как, вероятно, и для тебя — нет ни малейшего сомнения в том, что, проживи еще несколько лет великий критик, и... увлечение Белинского западничеством, нет сомнения, смени-

лось бы иным и столь же пламенным увлечением» (См.: Ап. Григорьев. Апология почвенничества. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 157—158. В письме к А. Н. Майкову (1821—1897) от 11 декабря 1868 г. Ф. М. Достоевский утверждал: «...никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством».

²⁸ Церковь Знамения пресвятой Богородицы находилась на Знаменской площади у Московского вокзала.

²⁹ Николаевская железная дорога строилась в 1843—1851 гг. и предназначалась для связывания Петербурга с Москвой.

³⁰ В 1848 г.

³¹ Ф. М. Достоевский характеризовал жен декабристов не иначе как «чудные души, испытанные двадцатипятилетним горем и самоотвержением». Известны письма Ф. М. Достоевского к женам декабристов: Наталье Дмитриевне Фонвизиной (февраль 1854 г.) и Прасковье Егоровне Анненковой (18 октября 1855 г.).

³² Человек высшего сословия, nobleman — дворянин, пэр (англ.).

³³ Суд присяжных был введен в Англии в XII в. Во время подготовки судебной реформы в России противники суда присяжных апеллировали к русской исторической традиции, не находя в ней оснований для введения такого суда. Пришлось обратиться к нравственным свойствам русского народа — опереться на веру в его способности и в духовные силы своей страны.

³⁴ Так, в аксаковском «Дне» автор статьи «По поводу будущего суда присяжных» писал: «Не отличая преступлений юридических от нравственных... русский человек считает себя в глубине души таким же виновником или даже еще больше, чем тот, кого приходится судить... При таких воззрениях, естественно, не поворачивается язык произнести слово осуждения, а тем менее положить наказание» («День», 1862, 17 ноября, № 46).

³⁵ Ф. М. Достоевский был осужден по «делу петрашевцев» к четырехлетним каторжным работам 22 декабря 1849 г.; срок его пребывания на каторге в Омской крепости истек 15 февраля 1854 г.

³⁶ Преследуемый кредиторами, Ф. М. Достоевский по настоянию жены уехал за границу 15 апреля 1867 г. и вернулся в Петербург лишь 8 июля 1871 г.

³⁷ Абсентеистами Ф. М. Достоевский называл русских людей, живущих за границей; *absentia* — отсутствие (*лат.*).

³⁸ Подробности слушавшегося 30 сентября 1872 г. на сессии тамбовского окружного суда дела крестьянина Н. А. Саянина об истязании своей жены Аграфены Ф. М. Достоевский заимствовал из корреспонденции в «Московских ведомостях» от 30 октября 1872 г.

³⁹ Юлия (Джюльетта) — героиня трагедии В. Шекспира (1564—1616) «Ромео и Джульетта»; Беатриче шекспировской комедии «Много шума из ничего», Гретхен — героиня из «Фауста» И. Гете (1749—1832).

⁴⁰ Егор Петрович Ковалевский (1811—1868) — писатель и государственный деятель, первый председатель Литературного фонда.

⁴¹ Один из них — Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826—1911) — журналист и общественный деятель, с 1866 г. издававший ежемесячный журнал либерально-буржуазного направления «Вестник Европы», а другой — Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878), издававший литературный и общественно-политический журнал «Современник», который был основан еще в 1836 г. Александром Сергеевичем Пушкиным (1799—1837) и закрыт правительством после покушения 4 апреля 1866 г. Д. В. Каракозова (1840—1866) на русского императора Александра II (1818—1881).

⁴² Ф. М. Достоевский познакомился о Н. А. Некрасовым в мае 1845 г.

⁴³ В «Современнике» (1866, № 2—3) появился острополюемический разбор первых глав «Преступления и наказания» Г. З. Елисеева (1821—1891), который упрекал Ф. М. Достоевского в нападках и клевете на передовую студенческую молодежь.

⁴⁴ «Сплетню» о том, что будто бы в повести Ф. М. Достоевского «Крокодил» («Эпоха», 1865, № 2) высмеян Н. Г. Чернышевский (1828—1889), в 1865 г. «выпустила» газета «Голос». Имя писателя Фаддея Венедиктовича Булгарина (1789—1859) Ф. М. Достоевский упоминает здесь в связи с характеристикой его общественной позиции, как человека, писавшего доносы в III Отделение на русских писателей.

⁴⁵ Н. Г. Чернышевского арестовали 7 июля 1862 г. и заключили в Петропавловскую крепость, где он пробыл около двух лет.

В мае 1864 г. Чернышевского отправили на каторгу в Сибирь, откуда он вернулся в Астрахань только в 1883 г., когда Ф. М. Достоевский уже умер. В июне 1862 г. Достоевский впервые уехал за границу, а не в Москву, и пробыл там до конца сентября 1862 г., вернувшись в Петербург. А в 1863 г. действительно по обстоятельствам, вызванным болезнью жены, Достоевские уехали в Москву.

⁴⁶ «Фантастической сказкой» была неоконченная повесть Ф. М. Достоевского «Крокодил», опубликованная в «Эпохе».

⁴⁷ Мать.

⁴⁸ А. А. Краевский (1810—1889).

⁴⁹ «Записки сумасшедшего» (1835) — повесть Н. В. Гоголя. Автор оды «Бог» (1784) — Г. Р. Державин (1743—1816). «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) — роман М. Н. Заголкина (1789—1852), сборники стихов А. А. Фета (1820—1892) были изданы в 1856 и 1863 гг.

⁵⁰ Война 1870—1871 гг.

⁵¹ Актер, рассказчик и писатель Иван Федорович Горбунов (1831—1895).

⁵² Николай Николаевич Страхов (1828—1896) в те годы дважды высказывался о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Первая статья — «О женском труде» («Эпоха», 1864, № 4); вторая — «Счастливые люди» («Библиотека для чтения», 1865, № 7—8).

⁵³ Ф. М. Достоевский, обращаясь к анализу стихотворения Н. А. Некрасова «Влас», использовал его для выражения своих любимых идей о национальных идеалах и о русском характере, стремящемся во всем «дойти до черты», о потребности страдания, свойственной русскому народу, об идеале Христа, который народ носит в сердце своем, и о том, что спасение России — в народе. Эти любимые идеи в данной статье высказаны резко и наиболее публицистически заострены.

⁵⁴ Речь идет о стихотворении Н. А. Некрасова «На Волге» (1860) («Современник», 1861, № 1).

⁵⁵ Причастие — освященный хлеб («просфора») — символ тела Христа.

⁵⁶ Христос.

⁵⁷ Мари-Жанна Дюбарри (1743—1793) — фаворитка французского короля Людовика XV (1710—1774).

⁵⁸ Выражение А. С. Пушкина «Птенцы гнезда Петрова» из поэмы «Полтава» (1828) употреблялись Ф. М. Достоевским для обозначения образованного русского дворянства — плода петровских преобразований в России.

⁵⁹ Ф. М. Достоевский был убежден, что отмена крепостного права давала России возможность вернуться на самобытный, утраченный в результате петровских реформ путь развития, ибо стена, которая разделяла русских людей на народ и культурный слой, теперь разрушена.

⁶⁰ Утонченного остроумия, высоко ценившегося в античности.

⁶¹ Острые слова.

⁶² Политехническая выставка в Москве в честь 200-летия со дня рождения Петра I (1672—1725) действовала с 30 мая по 30 августа 1872 г.

⁶³ «Русский календарь на 1872 год» А. С. Суворина (1834—1912), в одном из разделов которого говорилось о народных приметах, обычаях и поверьях на Руси.

⁶⁴ Такую эпитафию братья Достоевские нашли на могиле русского историка Н. М. Карамзина (1766—1826) и по их желанию эта эпитафия была высечена в 1837 г. на памятнике их покоящейся матери.

⁶⁵ Плакса.

⁶⁶ Необходимый элемент похоронного обряда: смесь вареного зерна с медом и изюмом.

⁶⁷ Долина названа в честь иудейского царя Иосафата. Это место находится вблизи Иерусалима и является пророческим символом, ибо, согласно библейскому преданию, здесь будет происходить «страшный суд».

⁶⁸ Полисон (polissoa — *франц.*) — шалун, повеса.

⁶⁹ Воспитанником Петербургского пажеского корпуса.

⁷⁰ Повесть Н. С. Лескова (1831—1895) «Запечатленный ангел» («Русский вестник», 1873, № 1).

⁷¹ Ф. М. Достоевский читал журнал «Отечественные записки» (1873, № 1), а в нем — часть поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины», а именно — «Княгиня М. Н. Волконская», второй очерк из цикла «Благонамеренные речи» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889), статью «Драма в Европе и у нас» А. М. Скабичевского (1838—1910) и «Литературные и журнальные заметки» Н. К. Михайловского.

⁷² Еще до раскола в Православной церкви.

⁷³ Однако Н. С. Лесков признавался, что все происшествие, переданное в рассказе, вымышленное.

⁷⁴ Прибалтийскому.

⁷⁵ Секта штундистов сложилась в конце 1860-х гг. на юге России под влиянием немецких колонистов.

⁷⁶ Несколько неточно цитирована Библия (Откровение Иоанна Богослова, гл. 3). Так, в Библии сказано: «несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

⁷⁷ Н. К. Михайловский (1842—1904) и В. П. Буренин (1841—1926).

⁷⁸ Баснописец Иван Андреевич Крылов (1769—1844).

⁷⁹ Виктория (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 по 1901 гг.

⁸⁰ Владельца трактира на Невском в Петербурге.

⁸¹ Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Из Гафиза» (1829).

⁸² В театре Берга показывались в основном французские интермедии развлекательного характера.

⁸³ Рассказ И. С. Тургенева «Певцы» (1850).

⁸⁴ Ресторан в центре Петербурга.

⁸⁵ Картины русских художников выставлялись на всемирных выставках в Лондоне (1862 г.), в Париже (1867 г.), в Мюнхене (1869 г.).

⁸⁶ В книгу «Nouvelles russes. Traduction française par Louis Viardot» (Париж, 1845) вошли гоголевские произведения «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики», «Вий».

⁸⁷ Творчество Ч. Диккенса (1812—1870) было популярно в России с 30-40-х гг. XIX в.; оно оказало влияние и на молодого Ф. М. Достоевского, и на писателей «натуральной школы».

⁸⁸ Адольф де Кюстин (1790—1857). «La Russie en 1839». Paris, 1840; Август фон Гакстгаузен (1792—1866). «Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die landlichen Einrichtungen Russlands», Bd. I—III, Berlin, 1847—1852.

⁸⁹ Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева (1803—1873) «Эти бедные селенья» (1855).

⁹⁰ Картина «Любители соловьиного пения» (1872—1873) В. Е. Маковского (1846—1920).

⁹¹ Речь идет о картинах «Трефовый туз в аландской каюте» финского художника Янсена и «Девятка пик» польского художника Шульца.

⁹² Картина В. Г. Перова (1832—1882) «Охотники на привале» (1871).

⁹³ Картина В. Е. Маковского «Придворные псаломщики на клиросе» (1870).

⁹⁴ В стихотворении «Песня о рубашке» (1843) английского поэта Т. Гуда (1793—1845) изображается тяжелое положение женщины-швеи.

⁹⁵ Речь идет о поэме Н. А. Некрасова «Княгиня М. Н. Волконская».

⁹⁶ Картина И. Е. Репина (1844—1930) «Бурлаки на Волге».

⁹⁷ Картина Ф. А. Бронникова (1827—1902) «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) написана на античный сюжет.

⁹⁸ Картина Н. Н. Ге (1831—1894) «Тайная вечеря» (1863).

⁹⁹ Картина Тициана (1477—1576) «Кесарев динарий».

¹⁰⁰ Ф. М. Достоевский в статье «Смятенный вид» упрекнул Н. С. Лескова за «неправдоподобность» его рассказа «Запечатленный ангел». Лесков, в свою очередь, опубликовал в апреле 1873 г. в газете «Русский мир» под псевдонимами «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский» две заметки, где обвинил автора «Дневника писателя» в недостаточном знакомстве с историко-церковными вопросами и бытом русского духовенства.

¹⁰¹ Повесть «Записки причетника» Марка Вовчка (настоящее имя Мария Александровна Маркович) (1833—1907) публиковалась в «Отечественных записках» в 1869 г.; роман Н. С. Лескова «Соборяне» — в «Русском вестнике» в 1872 г.

¹⁰² Великий князь московский Дмитрий Донской (1350—1389); великий князь киевский Ярослав Мудрый (978—1054).

¹⁰³ М. А. Недолин — автор повестей и рассказов, публиковавшихся в журналах «Нива», «Семейные вечера», «Кругозор» (1872—1877 гг.).

¹⁰⁴ Намек на главу 36 «Где Лара?» пятой части романа Н. С. Лескова «На ножах» (1870—1871), действие которой происходит в Молдавии», в молдо-валахском замке.

¹⁰⁵ Цитируется эпиграмма А. С. Пушкина «Сапожник (притча)». (1829).

¹⁰⁶ В своих «Исторических очерках», публикуемых в «Вестнике Европы» (1872, № 11), историк литературы Александр Николаевич Пыпин (1833—1904), давая «Характеристики литературных мнений...», полемизировал со славянофилами.

¹⁰⁷ Если бюджет России на 1873 г. был 517 млн руб., то «питейный» доход 1872 г. составлял 166,5 млн руб. («Неделя», 1873, 14 января, № 2).

¹⁰⁸ В статье «Общество для противодействия чрезмерному распространению пьянства» («Гражданин», 1873, 15 января, № 3) давал подробную статистику «кабака».

¹⁰⁹ В Костроме в июле 1872 г. у памятника Ивану Сусанину — герою борьбы против польских интервентов 1613 г. — отпилили бронзовую руку и снесли в кабак, а там ее приняли.

¹¹⁰ В статье «Что может спасти Россию от повального пьянства?» газета «Гражданин» писала об обществах трезвости (1873, 14 мая, № 20).

¹¹¹ Автор работ по международному и уголовному праву русский адвокат Владимир Данилович Спасович (1829—1906) был известен своими оправдательными речами.

¹¹² Статья посвящена разбору драмы публициста Дмитрия Дмитриевича Кишенского «Пить до дна — не видать добра». Статья была опубликована в «Гражданине» (1873, № 23—25) и посвящена проблемам пореформенной деревни, ее нравственному распаду, росту пьянства и разврата в народной жизни. Другая тема анализируемой драмы — изображение разлагающейся крестьянской общины, обнаружение, что крестьянский «мир» фактически потерял нравственный авторитет и утратил реальную власть.

¹¹³ Согласно рекрутскому уставу 1862 г. крестьян сдавали в рекруты, учитывая рабочую силу семейств. Семьи делились на три разряда: многорабочие, имевшие четырех работников (в рекруты призывали юношей, прежде всего, из этого разряда семей), «тройниковые», имевшие трех работников, и «двойниковые». Единственных работников в семье (таких, как, например, герой драмы Ваня) и вовсе освобождали от военной службы.

¹¹⁴ Данное выражение прижилось в русском языке после перевода в 1833 г. романа Ф. Купера (1789—1851) «Последний из моги-кан».

¹¹⁵ В середине 1850-х гг. в России гастролировала французская актриса Э. Рашель (1821—1858).

¹¹⁶ Мировой посредник — лицо, назначенное после отмены крепостного права в 1861 г. для урегулирования отношений между помещиками и бывшими крепостными.

¹¹⁷ Мост через реку Мойку на Невском проспекте.

¹¹⁸ В своих постройках 1830—1850-х гг. русский архитектор Константин Андреевич Тон (1794—1881) широко использовал формы византийского и древнерусского зодчества.

¹¹⁹ В архитектуре во времена Наполеона Бонапарта (1769—1821) во Франции господствовал стиль ампир (от *франц.* empire — империя). Порфирой называлась составная часть торжественного императорского наряда: верхняя одежда из бархата или атласа с отделкой.

¹²⁰ В архитектуре времен, предшествовавших Французской революции 1789—1793 гг., господствующим стилем была смесь классицизма и рококо.

¹²¹ Итальянец по происхождению Франческо Бартоломео Растрелли (1700—1771) — крупнейший представитель архитектуры русского барокко.

¹²² Рококо (от *франц.* gossaille — похожий на раковину).

¹²³ Балконы по образцу балконов Дворца дождей в Венеции.

¹²⁴ Оль-де-беф (от *франц.* ceil de bœuf — буквально: бычий глаз) — круглое (или овальное) окно.

¹²⁵ Дочь писателя Любовь Федоровна Достоевская родилась в 1869 г.

¹²⁶ Сорт жгучего красного стручкового перца, завезенного из Южной Америки.

¹²⁷ Фельетон Незнакомца (псевдоним А. С. Суворина) «Недельные очерки и картинки» («Санкт-Петербургские ведомости», 1873, 15 июля, № 192).

¹²⁸ С писателем Дмитрием Васильевичем Григоровичем (1822—1899), автором повестей «Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847), Ф. М. Достоевский подружился еще в молодости.

¹²⁹ Перефразировка французского «Более монархист, чем монарх, более католик, чем папа». Жанен Жюль Габриель (1804—1874) — французский фельетонист и театральный критик.

¹³⁰ Андрей Александрович Краевский — редактор и издатель.

¹³¹ Сорт острого с сильным запахом сыра, изготавливаемого в провинции Лимбург (Бельгия).

¹³² Автор «Московских заметок» в очередном фельетоне «Голоса» (1873, 14 августа, № 223) отвечал: «Пахнет неприличием».

¹³³ Сергей Петрович Боткин (1832—1889) — известнейший врач-терапевт.

¹³⁴ Иоганн Гете — великий немецкий поэт и естествоиспытатель; Юстус Либих (1803—1873) — известный немецкий химик; Отто Эдуард Леопольд Бисмарк (1815—1898) — государственный и политический деятель Пруссии и Германии.

¹³⁵ В. Г. Авсеенко (1842—1913) в рецензии «Общественная психология в романе «Бесы» Ф. Достоевского. В 3 ч. СПб., 1873» отмечал, что фабула романа «Бесы» отчасти как будто заимствована из пресловутого нечаевского дела. Однако это обстоятельство не имеет никакого значения, ибо автор воспользовался своим материалом совершенно художественно, взяв из него то, что подходило к его литературной задаче, и обработал эти крупные детали сообразно идее и плану своего произведения («Русский вестник», 1873, № 8).

¹³⁶ Министр народного просвещения Д. А. Толстой (1823—1889) 21 октября 1873 г. в Киеве на обеде в зале Дворянского собрания произнес речь, заявив, что он «осмотрел 7 учебных округов; объехал почти всю Россию, за исключением северных губерний; видел массу учебных заведений» и пришел к выводу, «что в последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает, что, без сомнения, могут подтвердить все присутствующие здесь педагоги и профессора университета» («Русский мир», 1873, 1 ноября, № 289).

¹³⁷ Ф. М. Достоевский в 1840-х гг. полагал, что «фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу свою изящностью, обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей».

¹³⁸ 15 мая 1848 г. к зданию Национального собрания подошла огромная манифестация рабочих. Предотвращая вторжение рабочих в зал заседаний, члены собрания настояли, чтобы Луи Блан (1811—1882) выступил с речью. По окончании его выступления народ поднял его на руки и ворвался в зал заседаний, требуя учреждения Министерства труда, роспуска Национального собрания и создания нового правительства. Вспоминая о событиях, случившихся 15 мая 1848 г., Луи Блан писал: «Узнав дома, что Национальное собрание снова открыло свое заседание, я поспешил туда, чтобы вернуться на свое место. Достигнув преддверия дворца, я был признан несколькими национальными гвардейцами. Они бросились на меня в невероятном припадке бешенства, «Под суд его, под суд!» — кричали одни. «Нужно его убить! Так будет проще!» — кричали другие. К счастью, другие национальные гвардейцы, — с удовольствием констатирую это здесь, — стали меня защищать с таким же пылом, с каким другие напали на меня...»

¹³⁹ Спас Луи Блана верный традициям долголетней дружбы французский политический деятель Доминик Франсуа Араго (1786—1853).

¹⁴⁰ Виктор Консидеран (1808-1893) — французский социалист-утопист, ученик Фурье, редактор журнала «La Phalange» («Фаланга») в 1836—1849 гг.

¹⁴¹ «Что такое собственность?» (1840), «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (1846) и «Право на труд и право собственности» (1848) и др. — статьи и брошюры французского социалиста-анархиста Пьера Прудона.

¹⁴² Буржуазно-демократические революции во Франции (1848), Германии (1848—1849), Италии (1848—1849), Австрии (1848—1849).

¹⁴³ На процессе «нечаевцев» (Петербург, 1871) один из участников убийства, подсудимый Успенский, доказывал «теоретическую» необходимость смерти И. И. Иванова ради «достижения общего блага», ради «общего дела» («Петербургский вестник», 1871, 10 июля, № 163).

¹⁴⁴ Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ-позитивист, логик и экономист. Чарльз Роберт Дарвин (1809—1882) — основоположник теории естественного отбора путем

борьбы за существование. Давид Фридрих Штраус — немецкий историк-богослов и философ.

¹⁴⁵ Василий Иванович Кельсиев (1835—1872) писал о выпускнике Петербургского Константиновского военного училища драгунском офицере Буровине, бежавшем в 1861 г. пешком без денег и документов через Финляндию и Швецию в Лондон («Заря», 1869, № 3).

¹⁴⁶ Рассказ А. И. Герцена в «Былое и думах» (ч. VII, гл. III) о саратовском помещике Павле Александровиче Бахметеве, уехавшем в 1857 г. в Новую Зеландию с 30 000 франков с целью основания там колонии на социалистических началах и пропавшем без вести. Перед отъездом Бахметев отдал Герцену «на пропаганду» 20 000 франков.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1876

Январь

¹ Неточно цитируемые слова дона Карлоса из пьесы Ф. Шиллера (1759—1805) «Дон Карлос, инфант Испанский». У Шиллера: «Двадцать третий год — и ничего не сделать для потомства!»

² Полемическое замечание против некоторых идей рассказа «Непочтительный Коронат» М. Е. Салтыкова-Щедрина («Отечественные записки», 1875, № 11).

³ Цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет».

⁴ «Страстная вера» Дидро и Вольтера — та горячность, с которой французские философы Дидро (1713—1784) и Вольтер (1694—1778) отстаивали свои просветительские убеждения. «*Tabula rasa*» — выражение английского философа Дж. Локка (1632—1704), в переводе с латинского означающее «чистая доска».

⁵ Строки из предсмертного письма героя произведения молодого И. Гете «Страдания юного Вертера» (1774).

⁶ Фельетон А. С. Суворина «Недельные очерки и картинки» («Биржевые ведомости», 1876, 4 января, № 3).

⁷ Успокоенное, пассивно-созерцательное отношение к жизни.

⁸ Авдотья Ивановна Перова была убита своим сожителем Гаврилой Константиновичем Щербаковым, мастером типографии,

в Петербурге, в ночь на 14 января 1876 г. («Петербургские ведомости», 1876, 15 января, № 15).

⁹ Неточно цитируемое стихотворение А. С. Пушкина «Демон» (1823). У Пушкина:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия...

¹⁰ Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

¹¹ Изречение Ф. Ларошфуко (1613—1680) из книги «Размышления или нравоучительные изречения и максимы».

¹² *Saccade* (франц.) — рывок, толчок.

¹³ Финский политик Алкивиад (451—404 до н. э.) обладал искусством завоевывать любовь окружающих людей. Лукреция — добродетельная жена римлянина Коллатина, обесчещенная сыном царя Секстом Тарквинием, она рассказала о своем позоре мужу при родственниках и друзьях и на их глазах закололась кинжалом. Джульетта — героиня трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Беатриче — жизнерадостная и остроумная героиня комедии Шекспира «Много шума из ничего».

¹⁴ А. Пирон (1689—1773) — французский поэт, автор едких, остроумных эпиграмм.

¹⁵ Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Отрывок» (1844. 2 ред.). У Некрасова:

От матери украдкою
Меня к себе сажал
И в рот мне водку гадкую
По капле наливал:
«Ну, заправляйся смолоду,
Дурашка, подрастешь,
Не околеешь с голоду,
Рубашку не пропьешь!» —
Так говорил — и бешено
С друзьями хохотал,
Когда я, как помешанный,
И падал, и кричал...

¹⁶ В приютах для подкидышей и беспризорных младенцев.

¹⁷ Голод в Самарской губернии 1871—1873 гг.

¹⁸ Сообщение о смраде в вагоне на станции Воронеж, от которого некоторые люди (в т. ч. и дети) задохнулись («Московские ведомости», 1876, 6 января, № 5).

¹⁹ «Семейная» организация колонии была введена по образцу уже существовавших на Западе аналогичных учреждений.

²⁰ Павел Аполлонович Ровинский (1831—1916) — этнограф, славяновед, публицист, директор колонии (1875—1877).

²¹ Литовский тюремный замок для малолетних преступников в Петербурге (с 1871 г.), преобразованный в 1875 г. в самостоятельное исправительное учреждение.

²² Рецидивисты составляли 18% от общего числа (45 человек) выпущенных из колонии.

²³ Петропавловская крепость в Петербурге.

²⁴ Нотабене (*nota bene*) — заметить, обратить внимание.

²⁵ Общество покровительства животным основано 4 октября 1865 г. Бессменным его председателем был генерал, князь А. А. Суворов (1804—1882), внук известного полководца. О юбилейном заседании этого общества, состоявшемся 28 декабря 1875 г., сообщалось в отчете газеты «Голос» (1875, 30 декабря, № 359).

²⁶ Пьянство.

²⁷ Под Одессой 24 декабря 1875 г. потерпел крушение поезд, в котором везли свыше 400 новобранцев, по вине дорожного мастера, когда сняли рельсы для замены на новые, а машиниста не предупредили. Поезд упал с насыпи, множество новобранцев пострадало («Голос», 1876, 1 января, № 1).

²⁸ Пропагандист, распространитель.

²⁹ Речь идет о реакции Ф. М. Достоевского на столкновение в 1873 г. между фельетонистом «Петербургских ведомостей» А. С. Сувориным и управляющим Орловско-Витебской железной дорогой В. Ф. Голубевым.

³⁰ «Голос», 1876, 7 января, № 7.

³¹ Евдоким Емельянович Лачинов (1799—1875).

³² И. А. Анненков (1802—1878) — член Южного общества; по истечении срока каторги жил на поселении сначала в Иркутском

округе, а затем в Тобольской губернии, где с 1841 г. служил в губернском правлении.

³³ М. И. Муравьев-Апостол (1793—1886) — член Союза спасения, Союза благоденствия Южного общества.

³⁴ Петр Николаевич Свистунов (1803—1889) — член Северного общества.

³⁵ Михаил Александрович Назимов (1801—1888) — член Северного общества.

³⁶ Атака спиритизма на науку в России вновь стала распространяться с начала 1870-х гг. Пропагандистами этой идеи были А. М. Бутлеров (1828—1886), Н. П. Вагнер (1829—1907), А. Н. Аксаков (1832—1903) и др. Они организовали в 1874 г. в Петербурге выступления медиума Бредифа. На заседании Физического общества Петербургского университета 6 мая 1875 г. Д. И. Менделеев заявил о необходимости научной проверки спиритических явлений с целью их разоблачения и противодействия спиритическим взглядам.

³⁷ Братья Горацио и Вильям Эдди из американской (штат Вермонт) фермерской семьи, приобрели в 70-е гг. широкую известность во всем мире, выступая в качестве медиумов.

³⁸ Сообщения петербургских газет об одном московском спирите, которому дух Гоголя диктовал второй том «Мертвых душ» по сожженной рукописи («Голос», 1876, 6 января, № 6; «Биржевые ведомости», 1876, 17 января, № 16).

³⁹ «Слово» от 12 января 1876 г., произнесенное в церкви Московского университета профессором богословия, протоиереем Н. А. Сергиевским («Московские ведомости», 1876, 14 января, № 12).

⁴⁰ Об этом писал А. С. Суворин, высмеивая «чертей», в фельетоне «Недельные очерки и картинки». Подпись «Незнакомец» — псевдоним А. С. Суворина. («Биржевые ведомости», 1875, 28 декабря, № 357).

⁴¹ Изобретен Павлом Львовичем Шиллингом (1786—1837) в 1828 г.

⁴² Большие надежды связывались в 1870-е гг. с достижениями в области агрохимии, которой занимался немецкий ученый Ю. Либих; труды этого естествоиспытателя были переведены и на русский язык.

⁴³ Цитата из Откровения св. Иоанна Богослова.

⁴⁴ Цитата из Евангелия от Матфея, гл. 4.

⁴⁵ Суд над парижским фотографом Жаном Бюге, занимавшимся «фотографированием» духов (июнь 1875 г.).

⁴⁶ Английский химик Вильям Крукс (1832—1919), скептически относившийся к спиритизму, провел серию опытов, но не сумел уличить медиумов в мошенничестве, и сам, в конце концов, пришел к убеждению о существовании особой «психической силы». Американский журналист Генри Олкотт (1832—1907) вел длительные наблюдения за братьями Эдди и публиковал свои отчеты в газетах, позже издал их отдельной книгой.

⁴⁷ Два имени предводителей хлыстовской секты (Иван Тимофеевич Суслов — «Христос» и Данила Филиппович — «Саваоф») соединены в одно.

⁴⁸ В ходе боев между коммунарами и версальцами дворец Тюильри в Париже сначала был сожжен, а затем и взорван в мае 1871 г.

⁴⁹ Ссылка на стихотворение Я. П. Полонского «Старые и новые духи» («Неделя», 1875, 26 декабря, № 52).

⁵⁰ Владимир Рафаилович Зотов (1821—1896).

⁵¹ Эту поговорку Ф. М. Достоевский услышал, очевидно, от В. В. Григорьева в той же беседе, когда последний высказал свое мнение об отмене телесных наказаний в школе.

Февраль

¹ Маршал Мари Эдм Патрис Морис де Мак-Магон, герцог Маджентский (1808-1893) руководил в 1871 г. подавлением Парижской коммуны, с 1873 г. — президент Франции, монархист.

² Статья славянофила К. С. Аксакова (1817—1860) «О современном человеке» посмертно опубликована в сборнике «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины» (Спб., 1876. С. 241—288).

³ Сергей Радонежский (1315—1392) — основатель Троице-Сергиева монастыря, святой русской православной церкви.

⁴ Феодосий Печерский (умер в 1074 г.) — основатель Киево-Печерского монастыря.

⁵ Тихон Задонский (1724—1783) — святой русской православной церкви.

⁶ Сборники духовно-учительной литературы, где материал для чтения распределен по месяцам и числам.

⁷ Мнение К. С. Аксакова, разделяемое и Ф. М. Достоевским.

⁸ Этот рассказ внутренне соотносен с основной темой февральского выпуска «Дневника» («О любви к народу...»). В нем соединены два эпизода из воспоминаний писателя: 1) встреча с Мареем (1831 г.), человеком из крестьянской среды, навсегда поразившим его силой и величием духа, и 2) разговор в 1850 г. со ссыльным польским революционером А. Мирецким.

⁹ На воровском жаргоне майдан — карточная игра.

Март

¹ Псевдоним Г. К. Градовского.

² Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты» (1808).

³ П. П. Червинский «Отчего безжизненна наша литература?» («Неделя», 1875, 2 ноября, № 44).

⁴ Рассказ «Столетняя» основан на реальном случае и относится к жанру согретого теплым юмором «физиологического» очерка из столичной жизни, по своей манере он близок к «Маленьким картинкам» из «Дневника писателя».

⁵ «Обособление» для Ф. М. Достоевского — это отсутствие в обществе духовно-нравственного единства, распад его на разномыслящие группы.

⁶ Эта выдержка из статьи Николая Павловича Петерсона (1844—1919), которую автор, живший в то время в г. Керенске Пензенской губернии, послал Ф. М. Достоевскому письмом.

⁷ Например: «Голос», 1876, 2 марта, № 62; 16 марта, № 76; 19 марта, № 79; 29 марта, № 89.

⁸ Республиканское, монархическое и бонапартистское.

⁹ Династия Бурбонов, свергнутая июльской революцией 1830 г.

¹⁰ Орлеанская династия в лице Луи-Филиппа находилась у власти с июльской революции 1830 г. до февральской революции 1848 г.

¹¹ Цитируется фраза О. Бисмарка, произнесенная им в прусском парламенте 30 сентября 1862 г.: «Не речами и постановлениями большинства решаются великие современные вопросы... А железом и кровью».

¹² Папа Пий IX (1792—1878).

¹³ Папа владел самостоятельным государством в Средней Италии (с 756 по 1870 г.); после включения Рима в состав Итальянского королевства (с 1870 г.) под властью папы остался лишь Ватиканский дворец.

¹⁴ Флавий Клавдий Юлиан — римский император в 361—363 гг., исповедовавший веротерпимость, пытавшийся вернуть язычеству его прежнее значение.

¹⁵ Согласно Евангелию, Иисус Христос вручил апостолу Петру ключи от царства небесного, наделив его неограниченной властью (Евангелие от Матфея, гл. 16).

¹⁶ Упоминание о словах Петра Верховенского в «Бесах»: «...я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: «Вот, дескать, до чего меня довели!» — и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internationale согласилась; так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему выхода и нет...».

¹⁷ В марте в газетах сообщалось, что приглашенная из Англии спиритом А. Н. Аксаковым медиум г-жа Клайр потерпела на сеансах, проводимых под наблюдением комиссии, неудачу и внезапно уехала на родину. Комиссия ученых высказалась большинством голосов за прекращение дальнейших исследований спиритических явлений («Молва», 1876, 7 марта, № 10; «Новое время», 1876, 8 марта, № 9; «Голос», 1876, 10 марта, № 70). Отчет о работе комиссии за подписью Д. И. Менделеева был опубликован в «Голосе» под заглавием «От комиссии для исследования медиумических явлений» (1876, 25 марта, № 85). Немедленно А. Н. Аксаков, А. М. Бутлеров, Н. П. Вагнер выступили с заявлениями в обвинении в предубежденном отношении комиссии к спиритизму, и опубликовали протокол якобы успешного сеанса, проведенного с применением приборов в отсутствие членов комиссии («Голос», 1876, 29 марта, № 89; 12 апреля, № 101). Появились сообщения о намерении создать но-

вую комиссию из членов одного из медицинских обществ («Новое время», 1876, 11 апреля, № 41).

¹⁸ Славянофил, публицист, общественный деятель, принимавший активное участие в разработке и проведении крестьянской реформы, Юрий Федорович Самарин (1819—1876) умер 19 марта 1876 г.

¹⁹ Князь Виктор Илларионович Васильчиков (1820—1878) — участник Кавказской (1842—1844) и Крымской (1853—1856) войн, генерал-адъютант, управляющий военным министерством (1858—1860), автор работ по сельскому хозяйству.

Апрель

¹ Василий Григорьевич Авсеенко — писатель-беллетрист и критик.

² Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья» (1811).

³ Отставной генерал Ростислав Андреевич Фадеев (1824—1883) издал книгу «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)» (СПб., 1874), в которой полагал дворянство единственной общественной ценностью нашего общественного развития на полтора века. Он считал, что только в дворянстве «вся умственная сила России» и что «современное положение России объясняется все, без остатка, внутренним содержанием, степенью зрелости нашего культурного слоя». Он предлагал сосредоточить в руках дворянства органы власти в стране — земское самоуправление, административные посты, суд и офицерский корпус армии. Ф. М. Достоевский полемизировал с Р. А. Фадеевым в «Подростке».

⁴ Купцы, торговавшие в Апраксиной дворе на Садовой улице в Петербурге.

⁵ Назначенный помещиком управляющий из крепостных крестьян.

⁶ Младший чин церковного причта, например, дьячок, псаломщик.

⁷ Крестьянин, ухודивший на заработки в Петербург и работавший там в течение некоторого времени.

⁸ Жанр бытовой драматургии.

⁹ Михайловский театр был открыт 2 ноября 1833 г.

¹⁰ Персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853).

¹¹ Роман В. Г. Авсеенко «Млечный путь» печатался в журнале «Русский вестник» в октябре-декабре 1875 г. и в апреле-июле 1876 г.

¹² Цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Физиология «Нового поэта». Фельетон в стихах» (1853):

С той поры чернил излишек
Он для правды расточал,
Коленкоровых манишек
Беспощадный Ювенал.

«Новый поэт» — псевдоним И. И. Панаева, который в ряде своих произведений подверг критике и сатирически изобразил аристократическое общество.

¹³ В Ливонской войне (1558—1583).

¹⁴ Этот эпизод содержится в «Воспоминаниях» Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), в главе «Гимназия. Период первый», а не в книге «Семейная хроника».

¹⁵ Швейцарец.

¹⁶ Повесть Д. В. Григоровича («Современник», 1847, № 11), поразившая современников изображением тяжелой участи крепостного крестьянина.

¹⁷ Освобождение крестьян в Остзейском (Прибалтийский) крае было осуществлено в 1816—1819 гг. Крестьянам была предоставлена личная свобода; земля оставалась во владении помещиков, у которых крестьяне брали ее в аренду или работали по найму.

¹⁸ Франсуа Гизо (1787—1874) — французский историк и политический деятель, министр иностранных дел и фактический глава правительства (1840—1847).

¹⁹ См. заключительные строки стихотворения А. С. Пушкина «Деревня» (1819).

²⁰ С конца марта 1876 г. оценки международного положения становятся в русской прессе все более мрачными.

²¹ Крымская война 1853—1856 гг., закончившаяся поражением России, против которой в союзе выступали Турция, Англия, Франция и Сардиния.

²² Вокруг польского освободительного восстания 1863—1864 г. правительства Франции и Англии вели сложную дипломатическую игру, преследуя свои интересы и стремясь ослабить международные позиции России.

²³ Пруссия заключила союз с Россией 28 февраля 1813 г., к антинаполеоновской коалиции примкнула Австрия, объявив Франции войну 12 августа 1813 г.

²⁴ Герой трагедии «Гораций» (1639) французского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684).

²⁵ Статуя изображает Аполлона в тот момент, когда он нагнал и поразил из лука стрелой дракона Пифона.

²⁶ Паллиативное (*франц.* palliatif) — временно облегчающее, но не излечивающее болезнь.

²⁷ Константин Петрович Победоносцев (1827—1907).

²⁸ Лекция Д. И. Менделеева о спиритизме состоялась 24 апреля 1876 г. в Большой аудитории Русского технического общества в Соляном городке.

²⁹ Материал, озаглавленный «Ответ на приговор спиритической комиссии университетского физического общества», за подписью «Н. Вагнер» был помещен в газете «Голос». («Голос», 1876, 12 апреля).

³⁰ Н. Летанин. Первая лекция г-на Менделеева о спиритизме («Новое время», 1876, 26 апреля, № 56).

³¹ Сергей Александрович Рачинский (1833—1902) — ученый-ботаник, деятель народного образования.

³² Вторая лекция Д. И. Менделеева состоялась также в Соляном городке 25 апреля 1876 г.

³³ Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921) — сотрудник газеты «Петербургские ведомости».

³⁴ Некролог А. П. Шапова был написан С. С. Шашковым и напечатан в журнале «Дело» (1876, № 4), а затем перепечатан в «Новом времени» (1876, 25 апреля, № 55).

³⁵ Афанасий Прокофьевич Шапов (1830—1876) — публицист-демократ, профессор русской истории в Казанском университете (1860—1861). В 1861 г. он был арестован за произнесенную речь на панихиде по крестьянам, убитым во время волнений в с. Бездна Спасского уезда Казанской губернии. В декабре 1862 г. он также

был привлечен по обвинению в сношениях с Герценом, Огаревым и Бакуниным и в 1864 г. «как человек неблагонамеренный» выслан в Сибирь, где и проживал в Иркутске до дня своей смерти (27 февраля 1876 г.).

³⁶ Статья А. П. Щапова «Земство и раскол. Бегуны» («Время», 1862, октябрь—ноябрь) — продолжение его же статьи «Земство и раскол», напечатанной в журнале «Отечественные записки» (1861, № 12), издание которого в июне 1862 г. было приостановлено. Тогда он отнес свою статью в быстро поднимавшийся журнал «Время» М. М. Достоевскому.

³⁷ Такой оборот речи Ф. М. Достоевский называл «*слово-ерсами*» (прибавление к концу слов звука «с», а в дореволюционной орфографии «съ»); но они, по его утверждению были совершенно не характерны брату. Михаил Михайлович так никогда не выражался.

³⁸ Согласно приходно-расходной книге, которую вел М. М. Достоевский, у журнала в 1861 г. было приблизительно 1600 подписчиков, в 1862 г. — свыше 4000, за четыре месяца 1863 г. — около 3500. Гонорарная книга журнала подтверждает слова Ф. М. Достоевского о выдаче писателям авансов. Среди лиц, их получавших, был и А. П. Щапов.

³⁹ Получив эти деньги, Алексей Егорович Разин (1823—1875) действительно переменял место жительства. Не присылал он ни статей, ни денег. Уже после смерти брата Ф. М. Достоевский смог получить долг от Разина через мирового судью.

⁴⁰ М. М. Достоевский был арестован 6 мая 1849 г. Кружок С. Ф. Дурова (1816—1869), бывший одним из ответвлений общества «петрашевцев», М. М. Достоевский посещал в марте 1849 г., пока собрания на первых порах носили характер литературно-музыкальных вечеров. Он перестал их посещать, когда обнаружилось их политическое направление. При обсуждении вопроса об устройстве литографии для печатания нелегальных сочинений М. М. Достоевский высказался против этого предприятия. Следственная комиссия установила невиновность М. М. Достоевского и он был выпущен на свободу 25 июня 1849 г.

⁴¹ Павел Павлович Гагарин (1789—1872) — сенатор, член Государственного совета, член Следственной комиссии по делу петрашевцев.

Май

¹ Предсмертное письмо двадцатипятилетней Надежды Писаревой было опубликовано в фельетоне L. W. «Из жизни и судебной практики» («Новое время», 1876, 26 мая, № 85).

² О. И. Щапова, урожденная Жемчужникова, познакомилась с публицистом-демократом, профессором русской истории Казанского университета Афанасием Прокофьевичем Щаповым, арестованным в 1861 г. за произнесенную речь на панихиде по крестьянам, убитым во время волнений в с. Бездна Спасского уезда Казанской губернии, и увлеклась им. Узнав, что Щапов сильно болен, лежит одинокий в клинике и высылается в Иркутск, она сделала ему предложение соединить свою судьбу с его судьбой. Напрасно родные и знакомые отклоняли ее от этого шага. В течение десяти лет жизни с ним ей пришлось перенести много физических лишений и болезней, перестрадать нравственно, но она твердо донесла свой крест до конца и умерла со словами любви на устах к своему мужу: «Ты один для меня ближе, роднее всех для меня!» — говорила она в своих предсмертных муках Щапову. Ольга Ивановна Щапова умерла 13 марта 1874 года.

Июнь

¹ В 452 г. гунны вторглись в Италию. Угрозу, нависшую над Римом, предотвратил, по преданию, папа Лев I, которому якобы удалось уговорить вождя гуннов Атиллу пощадить город. Гунны ушли, не взяв Рим.

² Луи Адольф Тьер (1797—1877) — французский государственный деятель, автор «Истории Французской революции», глава исполнительной власти (с февраля 1871 г.), президент Франции (с сентября 1871 г. по 1873 г.). После провозглашения Парижской Коммуны 1871 г. возглавил версальцев, с жестокостью подавивших Коммуну.

³ Тема грандиозного истребления лесов в пореформенной России — постоянная тема русской публицистики 60—70-х гг. Говоря о «двух противоположных идеях», Ф. М. Достоевский имел в виду полемику вокруг доклада Н. П. Заломанова в Петербург-

ском собрании сельских хозяев 13 февраля 1876 г. («Голос», 1876, 23 февраля, № 54).

⁴ В июне 1876 г. в газете «Новое время» сообщалось о разработке ограничительных правил приобретения евреями поместий («Новое время», 1876, 20 июня). А месяцем раньше («Новое время» (1876, 14 мая, № 74) внимание Ф. М. Достоевского привлек отчет о заседании 12 мая 1876 г. Общества для содействия русской торговле и промышленности, на котором М. И. Гриневич, автор книги «О тлетворном влиянии евреев на экономический быт России и о системе еврейской эксплуатации» (СПб., 1876), сделал доклад о «действительных» причинах упадка сельского хозяйства и внутренней торговли.

⁵ Государство в государстве (*лат.*).

⁶ Иван Сергеевич Гагарин (1814—1882) — русский дипломат, друг публициста П. Я. Чаадаева (1794—1856), ученик немецкого философа Ф. Шеллинга (1775—1854), в 1842 г. принял католичество, а в 1843 г. вступил в орден иезуитов — стал сторонником подчинения православной церкви Ватикану.

⁷ Об этом факте рассказывается в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «Иоанн в ласковом письме именовал Стефана *братом*; жаловался, что литовцы не перестают тревожить России нападениями; молил его не собирать войска к лету, не истощать тем казны государственной — и немедленно послал к нему думных дворян, Пушкина и Писемского, велел им не только быть смиренными, кроткими в переговорах, но даже (неслыханное уничижение!) терпеть и побои!». Стефан Баторий (1533—1586) — польский король.

⁸ Милан Сербский (1854—1901), князь Сербии (1868—1882), позже король Сербии (1882—1889) Милан I, и князь Черногории Николай Черногорский (1841—1921) объявили войну Турции, и 2 июля их войска, перейдя границу, открыли боевые действия.

⁹ В совещания «трех канцлеров» был принят «Берлинский меморандум», согласно которому Европа требовала от Турции прекращения на два месяца военных действий против восставших и проведения умиротворения восстания. Франция и Италия присоединились к этому меморандуму, а Англия, противодействовавшая русской политике и поддерживавшая Турцию, отказалась его подписать. Русская пресса оживленно обсуждала возможные последствия Берлинского совещания.

¹⁰ Башибузуки — солдаты нерегулярной турецкой армии, которых вербовали среди самых отсталых, диких и воинственных племен, проживавших на территории Турецкой империи.

¹¹ «Большим человеком» в 1853 г. российский император Николай I (1796—1855) назвал Турцию в беседе с английским послом Джорджем Гамильтоном Сеймуром (1797—1880).

¹² Премьер-министр Англии Б. Дизраэли (1804—1881) на заседании Палаты общин в июне 1876 г., отвечая на запрос одного из членов парламента о массовой расправе турок над болгарами, наотрез отрицал зверства башибузуков в Болгарии и приписывал все бесчеловечные истязания и убийства «славянским выходцам» («Новое время», 1876, 22 июня, № 112).

¹³ Фиктивное «Завещание Петра Великого», инспирированное Наполеоном I в целях антирусской пропаганды накануне войны 1812 г., было впервые изложено в «пересказе» чиновником министерства иностранных дел Франции Ш.-Л. Лезюром (1770—1849) в книге «О развитии русского государства с основания до начала XIX века» (Paris, 1812).

¹⁴ В истории общественно-политической мысли XIX в. не раз выдвигались различные проекты федерации славянских государств, в том числе со столицей в Константинополе. Здесь Ф. М. Достоевский имел в виду идею славянской федерации во главе с Россией, которую развивал Н. Я. Данилевский в серии статей, печатавшихся в 1869 г. в журнале «Заря». Все эти статьи впоследствии были объединены в широко известную книгу «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому».

¹⁵ После образования сильного централизованного Московского государства возникли новые атрибуты верховной власти, которые были призваны подчеркнуть величие и мощь Руси как наследницы Византии. В царствование Ивана III на печатях появляется изображение двуглавого орла (впервые в 1497 г.), ставшее затем гербом России.

¹⁶ Пьемонт — главная область королевства Сардинии, вокруг которой произошло объединение Италии. Название «Пьемонта Балкан» Сербия получила еще в 60-е гг. XIX в. вследствие того, что в своей внешней политике она преследовала объединительные

цели, претендуя на роль ядра, вокруг которого должны были, по ее замыслу, объединиться христианские славянские государства по мере сбрасывания ига Турции.

¹⁷ Михаил Григорьевич Черняев (1829—1898) — отставной русский генерал, добровольно отправившийся на Балканы — с июня 1876 г. возглавил сербскую армию.

¹⁸ Московский Славянский благотворительный комитет был основан в 1858 г. с целью оказания помощи школам, библиотекам, церквям в славянских землях и славянам, учившимся в России. Объединяя людей славянофильских и панславистских убеждений, Славянский комитет стремился играть активную политическую роль в славянском мире. В частности, в 1876 г. Славянский комитет стал в России центром движения в поддержку национально-освободительной борьбы народов Балканского полуострова.

¹⁹ Сербское церковное представительство в Москве при храме св. Кира и Иоанна, открытое в 1874 г. по инициативе Московского Славянского комитета и по ходатайству сербского митрополита Михаила. Доходы от домов Сербского подворья отсылались на нужды сербской церкви.

²⁰ Софья Ефимовна Лурье (1858—1890), дочь банкира, приехавшая в Петербург из Минска. Между Ф. М. Достоевским и Софьей Лурье завязалась переписка, которая поддерживалась и впоследствии. Были и личные встречи.

Июль — август

¹ Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

² Весною 1875 г. Бисмарк пытался спровоцировать военный конфликт с Францией, желая, разгромив ее, не дать ей оправиться от поражения в войне 1870—1871 гг. и подготовиться к реваншу. В конфликт вмешались русское и английское правительства. В результате этого Бисмарк вынужден был отказаться от своих планов. Александр II в мае 1875 г. посетил Берлин. И только после его переговоров прекратилась немыслимая антифранцузская журналистская пропаганда, проводимая немецкой прессой. Именно Россия предотвратила назревавшее военное немецко-французское столкновение и спасла Францию.

³ В результате порабощения коренного славянского населения на землях, захваченных в ходе германской экспансии на восток в IX—X вв., в западноевропейских языках слово «славянин» (*esclave* — *франц.*, *sklave* — *нем.*) приобрело значение «раб».

⁴ Министра иностранных дел Англии посещала депутация, выразившая протест против поддержки Турции. О митинге, организованном в Лондоне Лигой помощи христианам в Турции, сообщалось в прессе.

⁵ Долгое время Т. Н. Грановскому (1813—1855) приписывалась анонимная статья «Восточный вопрос с русской точки зрения 1815 года», которая во время Крымской войны распространялась в рукописном виде. Позже статья была напечатана за границей (журнал «Благонамеренный», 1861, № 12 за подписью «Т. Н. Грановский», отдельной анонимной брошюрой (Лейпциг, 1861) и в «Собрании материалов для истории возрождения России» (Лейпциг, 1874, т. 3). Поэтому Ф. М. Достоевский ссылался на авторство Т. Н. Грановского, как на вполне установленный факт. Однако автором статьи был Б. Н. Чичерин (1828—1904). В противовес официальной пропаганде Б. Н. Чичерин писал, что самодержавие, ведя Крымскую войну, стремилось к укреплению и расширению власти на Востоке. Он подверг резкой критике все действия правительства, представив их как сплошную цепь дипломатических и военных просчетов и провалов, которые привели страну на грань катастрофы. Причину этой катастрофы он усматривал в том, что политика Николая I была направлена на поддержание «монархического начала» и существовавшего порядка в Европе. По мнению Б. Н. Чичерина, России необходимо было «обновиться с головы до ног», осуществить широкую программу социальных и политических преобразований, включая отмену крепостного права.

⁶ 5 июля 1876 г. Ф. М. Достоевский выехал для лечения на водах из Петербурга в немецкий курортный городок Эмс по железной дороге через Берлин.

⁷ Спором австрийцев с венграми Ф. М. Достоевский называет здесь Венгерскую революцию 1848—1849 гг. Оценивая политику Австрии в 1855 г., автор статьи (Б. Н. Чичерин. — *Сост.*) полагал, что помощь ей Николая I в 1848—1849 гг. не была бескорыстным

актом, но была продиктована боязнью распространения революционного движения в Европе. Более того, Австрия боялась движения западных славян за свое собственное освобождение. Поэтому, по его мнению, Австрия «не могла не действовать против нас, и упрек неблагодарности здесь неуместен».

⁸ В. Меттерних (1773—1859) — министр иностранных дел и фактически глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер в 1821—1848 гг. — был противником объединения Германии, стремился помешать укреплению позиций России в Европе.

⁹ Автор брошюры утверждал: «В начале войны, за исключением немногих мыслящих людей, все мы слепо, без рассуждений, хотя и без патриотического одушевления, последовали за правительством... в России голос имеет одно правительство, глупые или наемные патриоты, говорящие в его смысле. Масса в последнее время не имела никакого мнения, а образованным людям запрещено было говорить».

¹⁰ Храм в палестинском городе Вифлееме, построенный над пещерой, в которой, по евангельскому преданию, родился Иисус Христос. Спор о «святых местах», послуживший непосредственным поводом к Крымской войне, касался, в частности, вопроса о том, кому владеть ключами от Вифлеемского храма. Показательно, что даже высшее русское духовенство оставалось равнодушным к распре относительно «святых мест» до тех пор, пока ее не начали раздувать в международный конфликт по указке Николая I и Наполеона III, каждый из которых искал предлога для осуществления своих политических целей на Ближнем Востоке.

¹¹ О политике самодержавия в отношении славян, находившихся под владычеством Турции, Б. Н. Чичерин писал: «Вся наша цель в сношениях с Портою состояла в распространении нашего владычества и нашего влияния, и лучшим орудием служит для этого религиозное единство с подданными Турции... Бескорыстная выходка служит личиною других замыслов... Цель войны есть, следственно, чисто политическая...»

¹² «Общество московских старообрядцев пожертвовало значительную сумму денег на устройство походного лазарета во 100 коек для отправки в Сербию» («Московские ведомости», 1876, 15 июля, № 179).

¹³ Николай Алексеевич Киреев (1841—1876) — отставной штаб-ротмистр лейб-гвардии конного полка, один из самых деятельных членов славянского комитета в Петербурге. С началом военных действий в Сербии его отряд, в который влились и сербские подразделения, принял участие в боях с турками. 6 июля Н. А. Киреев геройски погиб в сражении.

¹⁴ Эмс — курортный город в Германии в центре земли Рейнланд-Пфальц — славился горячими минеральными источниками.

¹⁵ Немецкая знахарка по фамилии Гогенэстер.

¹⁶ Слянки с мочой.

¹⁷ Река, на которой расположен городок Эмс.

¹⁸ Garçon (*франц.*) — мальчик; здесь: мальчик на побегушках.

¹⁹ В романе «Дым».

²⁰ Парижское кафе.

²¹ Писатель Д. В. Григорович воспитывался в частном французском пансионе. Мать и бабушка будущего писателя были француженками. Русскому языку он учился у дворовых и крестьян.

²² С И. С. Тургеневым.

²³ Протопоп Аввакум (1621—1682) — основатель русского старообрядчества, возглавлявший церковный раскол. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (между 1672—1675 гг.) было издано в 1861 г. Д. Е. Кожевниковым под ред. Н. С. Тихонова. Язык «Жития» отличается живой образностью, обилием поговорок и пословиц, меткими и живописными, нередко грубоватыми оборотами речи.

²⁴ Реформа среднего образования проведена в 1871—1872 гг.

²⁵ Bon mot (*франц.*) — острота; бонмотист — остряк.

²⁶ Boutonnière (*франц.*) — петлица или маленький сосуд для букетика или цветка, прикалываемых к платью.

²⁷ Ganter (*франц.*) — надевать перчатки, ходить в перчатках.

²⁸ Ouvrage (*франц.*) — сочинение, литературное произведение.

²⁹ Ténèbres (*франц.*) — тьма, мрак, невежество.

³⁰ Argent (*франц.*) — деньги.

³¹ Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

Сентябрь

¹ Автор статьи — Л. А. Полонский («Вестник Европы», 1876, № 9).

² Вымершее племя североамериканских индейцев.

³ Персонаж гоголевских «Мертвых душ» Кифа Мокиевич — лицо, чье «существование... было обращено более в умозрительную сторону». Выражение «кифомокиевщина» используется Ф. М. Достоевским как олицетворение бесплодного умствования над нелепыми, не имеющими практической ценности вопросами.

⁴ Система религиозных ценностей и юридических норм мусульманства.

⁵ Титул верховного правителя мусульман, совмещавшего духовную и светскую власть.

⁶ В 1870-х гг. русская пресса часто писала о секте штундистов, печатала сообщения о распространении их идей на юге России, взятые из местных газет («Киевской телеграф», «Одесский телеграф», «Одесский вестник» и др.).

⁷ В июле 1866 г. в Петербург прибыла эскадра военных судов США во главе с броненосцем «Миантоном». Это «чрезвычайное посольство» находилось в России в течение месяца и побывало в Москве, Нижнем Новгороде и Костроме.

⁸ В 1866 г. греческое население острова Кипр (в то время — Кандии) подняло восстание против оттоманского владычества, проходившее под лозунгом воссоединения с Грецией. Упорство и героизм повстанцев нашли горячее сочувствие в России. Русское правительство разрешило сбор средств в пользу кандиотов.

⁹ В мае 1867 г. в Москве состоялся Славянский съезд, созданный по инициативе Славянского комитета, который вызвал огромный и неподдельный интерес к славянам и охватил широкие круги не только не только Москвы и Петербурга, но и всего русского общества.

Октябрь

¹ Петр I утвердил в 1722 г. «Табель о рангах», согласно которой устанавливались строгая иерархия должностей и чинов гражд-

данского, военного и придворного ведомств и принцип продвижения чиновников по служебной лестнице в зависимости от личной выслуги, образования, способностей. Все чины разделялись на четырнадцать классов, получение каждого из которых зависело от занимаемой должности. Лица «низкого» происхождения приобретали дворянство (низшие чины давали право на личное дворянство, высшие — на потомственное). Такая система открывала выходцам из социальных низов путь к дворянству, а ее важным социальным последствием было увеличение численности и изменение состава правящего класса. Постепенно отрываясь от прежней социальной среды, чиновники превращались в особую категорию общества — в бюрократию.

² Петербургский купец-миллионер, торговец мукой С. Т. Овсянников был признан виновным в умышленном поджоге арендованной мельницы, совершенном для получения большой прибыли («Биржа», 1876, 21 сентября, № 259).

³ Речь идет о судебном процессе, проходившем в октябре 1876 г. в Москве и связанном с крахом Московского коммерческого ссудного банка. Главной фигурой среди подсудимых был немец Б. Г. Струсберг, возглавлявший строительство железной дороги Брест — Гараево и получивший с помощью подкупа ссуду в 7 млн руб. под обеспечение ничего не стоивших бумаг.

⁴ Один из подкупленных Струсбергом директоров банка.

⁵ Бывший московский городской голова и член совета банка Данила Данилович Шумахер обвинялся в том, что воспользовался должностью и полностью получил свой вклад после утраты банком значительной части капитала.

Ноябрь

¹ Столы для игры в карты.

² Gros de Naples — плотная шелковая ткань (*франц.*).

³ Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон» (1823). У Пушкина:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия...

⁴ Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова (1814—1841) «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой...» (1839). У Лермонтова:

То кровь кипит, то сил избыток!

⁵ «Погоня за счастьем» — драма П. И. Юркевича; «Птицы певчие» — оперетта Ж. Оффенбаха.

⁶ Цитата из книги «Подчиненность женщины» английского философа-позитивиста Дж. Ст. Милля (1806—1873); русский перевод 1869 г.

⁷ Этот дом — «рассадник и вместилище всевозможных безобразий, до каких только может дойти человек, угнетенный нищетою и невежеством».

⁸ Об этом говорит В. Гюго (1802—1885) в повести «Последний день приговоренного к смерти».

⁹ *Frappet* (*франц.*); фраппировать — поразить.

¹⁰ Булонь — французский курорт.

¹¹ Сцена из плутовского романа «История Жиль Блаза из Сан-тильяны» А.-Р. Лесажа (1668—1747).

¹² В «Апокалипсисе» солнце из «источника жизни» превращается в символ смерти.

Декабрь

¹ Этот случай произошел в действительности с дочерью г-жи Хохряковой, служившей телеграфисткой на телеграфной станции за Невской заставой.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1877

Январь

¹ Захваченному в плен кипчаками унтер-офицеру Фоме Данилову (ноябрь 1875 г.) Абдул-Мумын дважды предлагал перейти в мусульманство, обещая богатство и хорошую должность. С него-

дованием отвергнув это предложение, Данилов заявил: «В какой вере родился, в такой и умру...» и был за это расстрелян («Русский инвалид», 1876, 27 апреля, № 90).

² Сухой газетной информации.

³ Цитируется Евангелие от Луки (гл. IV).

⁴ Англичане и голландцы.

⁵ Подлые, дрянные, презренные люди.

⁶ Скорее всего речь идет о князе В. В. Голицыне (1643—1714), фаворите Софьи Алексеевны.

⁷ Жан Жак Руссо (1712—1778) и Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778) — французские философы.

⁸ Великой французской буржуазной революции 1789—1793 гг.

⁹ А. И. Герцен.

¹⁰ Обращение к библейским образам легенды, которая рассказана в «Первой книге Моисеевой» («Бытие»).

¹¹ О суде над участниками революционной демонстрации (Казань, декабрь, 1876 г.) сообщала газета «Правительственный вестник» от 18 января 1877 г., а затем материалы данного судебного процесса были опубликованы во всех крупных петербургских и московских газетах.

¹² Передовая статья «По поводу политического процесса» («Петербургская газета». 1877, 23 января, № 16).

¹³ Социолог А. И. Стронин (1827—1889).

¹⁴ Арест и суд в 1873 г. над членами кружка А. В. Долгушина, которые печатали прокламации и занимались революционной пропагандой среди рабочих.

¹⁵ Петрашевцы А. П. Баласогло, В. А. Головинский, Н. П. Григорьев и Н. Я. Данилевский — генеральские дети; Владимир Иванович и Николай Иванович Кайдановы — сыновья профессора-историка; у братьев Евгения Ивановича и Порфирия Ивановича Ламанских отец был директором особой канцелярии по кредитной части; Н. А. Мордвинов — сын сенатора; Н. А. Спешнев — сын крупного помещика; братья Тимковские — Алексей Иванович и Константин Иванович — сыновья цензора.

¹⁶ К весне 1849 г. на военной службе состояли петрашевцы: Н. П. Григорьев, И. А. Кузьмин, Ф. Н. Львов, Н. А. Момбелли, А. И. Пальм, А. И. Тимковский.

¹⁷ А. И. Берестов, будучи родом из мещан, окончил Академию художеств со званием свободного художника-портретиста; П. Н. Латкин, сын купца, к 1849 г. был кандидатом Петербургского университета; А. П. Милюков, сын мещанина, окончив Петербургский университет, стал литератором и историком литературы; Б. И. Утин, сын купца, по окончании Дерптского университета стал профессором Петербургского университета по кафедре истории положительных законодательств.

¹⁸ П. И. Белецкий — преподаватель всеобщей истории во 2-м кадетском корпусе; Б. Е. Вернадский — учитель рисования; А. П. Милюков преподавал русскую словесность во 2-й Петербургской гимназии; Ф. Г. Толль преподавал русскую словесность в Главном инженерном училище»; И.-Ф. Л. Ястржембский — политическую экономию в Технологическом институте.

¹⁹ Д. Д. Ахшарумов, окончив (1862) Медико-хирургическую академию, работал за границей в лаборатории Дюбуа-Реймона, а по возвращении в Россию написал ценные исследования санитарно-общественного характера; Н. Я. Данилевский — выдающийся естествоиспытатель и автор всемирно-известной теории культурно-исторических типов; Е. И. Ламанский — исследователь истории денежного обращения и кредитных учреждений в России; Ф. Н. Львов — секретарь Русского технического общества, редактор «Записок» этого общества и т. д.

²⁰ Сам Ф. М. Достоевский, а также С. Ф. Дуров, А. Н. Майков, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. И. Пальм, А. Н. Плещеев, А. П. Милюков, Ф. Г. Толь и др.

²¹ Статья А. Стенбока-Фермора «Отовсюду».

²² Статья А. М. Скабичевского «Беседы о русской словесности. Критические письма» («Отечественные записки», 1876, № 11).

²³ Стихи Н. А. Некрасова: «Вступление», «Сеятелям», «Отрывок», «Молебен», «Дни идут... все так же воздух душен...»; «Скоро стану добычею тленья», «Друзьям» («Отечественные записки», 1877, № 1).

²⁴ Хотя Ф. М. Достоевский и не дружил с Н. А. Некрасовым, но начиная с 1875 г., с публикации романа «Подросток» в «Отечественных записках», они стали видеться чаще. Так, только в 1877 г. Ф. М. Достоевский дважды посещал умирающего Н. А. Некрасова.

²⁵ Произведение Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики» опубликовано в сборнике «Физиология Петербурга» (СПб., 1845).

²⁶ Первое печатное стихотворение шестнадцатилетнего Н. А. Некрасова «Мысль» («Сын Отечества», 1838, № 5).

²⁷ На углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки.

²⁸ В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский.

²⁹ Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Скоро стану добычею тленья» из цикла «Последние песни» («Отечественные записки», 1877, № 1).

³⁰ Николенька Иртенъев — главный герой «Детства. Отрочества. Юности» Л. Н. Толстого («Современник», 1852, № 9; 1854, № 10; 1857, № 1).

³¹ Письмо из Кишинева от помощника инспектора Кишиневской духовной академии Михаила Андреевича Юркевича.

Февраль

¹ Участники кружка М. В. Петрашевского.

² Огюст Конт (1798—1857) — основоположник философии позитивизма.

³ Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».

Март

¹ Цитируются письма (от 26 января и от начала февраля 1877 г.), адресованные Ф. М. Достоевскому А. Г. Ковнером (1842—1909) — литератором, автором книг «Памфлеты» (1865) и «Связка цветов» (1868), направленных против «старых устоев еврейского быта в национальной ограниченности».

² Ссылка на первую главу «Современной идиллии» М. Е. Салтыкова-Щедрина («Отечественные записки», 1877, февраль).

³ Статья Ю. А. Росселя «Южные штаты североамериканской республики и их настоящее» («Вестник Европы», 1877, № 3).

⁴ Корреспонденция «Начало реакции против евреев в Ковенской губернии» подписана буквами А. Л. («Новое время», 1877, 15 (27) марта).

⁵ Проповедник и хранитель учения иудаизма.

⁶ Строки из песни Рахили в драме Н. В. Кукольника (1809—1868) «Князь Даниил Васильевич Холмский».

⁷ Вознаграждение маклеру за посредничество при совершении той или иной сделки.

⁸ Французский банкир барон Джеймс Ротшильд (1792—1868).

⁹ Софья Ефимовна Лурье.

Апрель

¹ «Мудрецы» из журналов «Отечественные записки», «Вестник Европы» и газеты «Голос».

² Мнения иностранных обозревателей и корреспондентов, «нахлынувших к нам накануне войны», чтобы «изучить нас на месте».

³ Манифест о войне России с Турцией был объявлен Александром II в Кишиневе 12 (24) апреля 1877 г.

⁴ Нашествие Наполеона на Россию в 1812 г.

⁵ Франция заплатила Германии контрибуцию в пять миллиардов франков золотом; французские провинции Эльзас и Лотарингия отошли после франко-прусской войны к Германии.

⁶ Австро-Венгрия «мечтала» о присоединении к своей территории славянских земель Боснии и Герцеговины.

⁷ Либералы из «Вестника Европы».

⁸ Эту выписку сообщил Ф. М. Достоевскому в письме от 12 апреля 1877 г. архимандрит Леонид (Лев Александрович Кавелин; 1822—1891) — настоятель Воскресенского монастыря Новый Иерусалим.

⁹ Карточная игра.

¹⁰ Брат Михаил Михайлович Достоевский часто являлся во сне Федору Михайловичу Достоевскому, о чем он не раз вспоминал.

¹¹ Острова в Эгейском море.

¹² Завет Иисуса Христа (Евангелие от Марка, гл. 12, ст. 31).

Май — июнь

¹ Ироническая перелицовка первой строки стихотворения «Сон» из романа И. С. Тургенева «Новь»:

Давненько не бывал
Я в стороне родной...

² Статьи В. П. Буренина (1841—1926) («Дневник корреспондента, 28-го мая». «Новое время», 1877, 7 (19) июня, № 456).

³ Освобождаемые от крепостной зависимости крестьяне обязаны были уплатить своим прежним владельцам определенную сумму, так называемые «выкупные» за землю, отходившую к ним в качестве личной собственности.

⁴ В 1851 г. при Николае I было введено ограничение срока пребывания дворян за границей до двух лет. С каждого лица, упоминаемого в заграничном паспорте, взималась пошлина (250 рублей) за каждое полугодие, проведенное вне России. В царствование Александра II (1818—1881) по закону от 26 августа 1856 г. эти ограничения были сняты.

⁵ Рантье — лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала, на доходы с акций и т. п.

⁶ Римский полководец Люций Люциний Лукулл (106—57 до н. э.) прославился своей необычайной роскошью, пирами и пр. излишествами.

⁷ Doter (*франц.*) — обеспечивать финансовыми средствами.

⁸ Итальянский либеральный политик граф Камилл Бенсо ди Кавур (1810—1861) пользовался непререкаемым авторитетом среди русских либералов.

⁹ Цитата из басни И. А. Крылова «Воспитание льва» (1811).

¹⁰ Речь идет о дипломатии после русско-турецкой войны 1768—1774 гг., закончившейся Кючук-Кайнарджийским мирным договором (10 июля 1774 г.), согласно которому Турция признала покровительство России над Молдавией и Валахией.

¹¹ Русские войска перешли через Дунай 15 июня 1877 г.

¹² Мартин Лютер (1483—1546) — деятель Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма.

¹³ Международное товарищество рабочих, основанное в 1864 г. в Лондоне под руководством К. Маркса (1818—1883).

¹⁴ Уход в отставку (16 мая 1877 г.) республиканского министерства Жюля Симона (1814—1896).

¹⁵ Будучи первым рейхсканцлером Германской империи в 1871—1890 гг., Отто Бисмарк осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе, постоянно укреплял господство в стране юнкерско-буржуазного блока, вел борьбу против клерикально-партикуляристской оппозиции и пр.

¹⁶ Наполеон III сдал крепость Седан и находящуюся в нем армию, тем самым был унижен перед прусским королем Вильгельмом, который вскоре был провозглашен императором Германии.

¹⁷ Главнокомандующий французской армией Мак-Магон во время битвы за Седан как раз находился в этой крепости. 100 000 французов (в т. ч. и Мак-Магон) попали в плен.

¹⁸ Для выплаты контрибуции Франция провела заем, который был значительно перекрыт.

¹⁹ Причем этим союзом Бисмарк «заручился» как раз накануне войны с Австрией, начавшейся 17 июня 1866 г.

Июль — август

¹ Со славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823—1886).

² Поездка в деревню Даровое 18 или 19 июля 1877 г.

³ Основание действительно новой «корпорации» сельских учителей относится лишь к середине 1860-х годов, когда вступило в силу положение о начальных народных училищах (14 июля 1864 г.).

⁴ Крещендо — возрастание, усиление звучности.

⁵ Цитата из Откровения Иоанна Богослова.

⁶ Цитата из «Предсказания» Иоанна Лихтенбергера, содержащего астрологический прогноз на будущее и впервые напечатанного в 1488 г. в Страсбурге, а затем многократно переиздававшегося на разных языках Европы.

⁷ Иступленное состояние.

⁸ Западная философия, наука, искусство, идеи гуманизма, свободы, равенства и братства, вера в счастливое будущее человечества и т.п.

⁹ Русский писатель Иван Александрович Гончаров (1812—1891).

¹⁰ Цитата из Откровения Иоанна Богослова.

Сентябрь

¹ Амадис Галльский — любимый Дон-Кихотом герой рыцарских романов.

² Мигель Сааведра Сервантес (1547—1616) — испанский писатель, автор знаменитого романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

³ Корреспонденты газеты «Голос».

⁴ Учредителями Главного общества российских железных дорог (образовалось в январе 1857 г.) были иностранцы: петербургский банкир Штиглиц, варшавский банкир Френкель, лондонские банкиры братья Беринг, парижские банкиры Готтингер и Фульд-Оппенгейм, амстердамский банкир Тонне, французские железнодорожники братья Перейра.

⁵ Строка из шекспировского «Гамлета»:

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

⁶ Корреспонденты газеты, статья которых перепечатана газетой «Новое время» (1877, 2 (14) июля).

⁷ Тысячи молодых девушек и женщин служили медсестрами в госпиталях и санитарных поездах.

Октябрь

¹ В последний день заседания московского окружного суда по обвинению генерал-майора Леонида Николаевича Гартунга, мужа дочери А. С. Пушкина Марии (1834—1877) и других лиц в похищении денежных векселей, Гартунг, не будучи лично виновным в похищении денег, застрелился 13 октября 1877 г.

² Человек, занимающийся учетом векселей (от *англ.* *discounter*).

³ На скамье подсудимых вместе с генералом Гартунгом и сыном министра графом Степаном Сергеевичем Ланским оказался и слуга ростовщика и «дисконтера» В. К. Занфтлебена (1811—1876) крестьянин Егор Мышаков.

⁴ Со знаменитым юристом А. Ф. Кони (1844—1927).

⁵ Этот Незнакомец писал: «Мне кажется, что Гартунг говорил правду; он не мог признать себя виновным в том преступлении, в каком его обвинили. Но прав ли он? Это другой вопрос. Можно сказать только, что в этом процессе и его исходе виноваты все — и никто не ви-

новат... Только на скамье подсудимых он понял о грозящей ему опасности. Спасаясь от бесчестья, от клейма вора и мошенника, он лишил себя жизни и пал жертвой разногласия строгого закона с распущенностью нашей жизни» («Новое время», 1877, 16 (28) октября, № 587).

Ноябрь

¹ В частности, слово «стриюцкие» было вынесено Ф. М. Достоевским даже в название одной главы «Дневника писателя» за 1877 г. «Мы в Европе лишь “стриюцкие”». Употребляется оно и в «Сне смешного человека» (см. настоящее издание).

² Повесть «Двойник, приключения господина Голядкина» Ф. М. Достоевского вышла в свет в «Отечественных записках» 1 февраля 1846 г., где г-ну Голядкину «...пришло было на мысль, как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять да и стушеваться...». Это слово под воздействием писателя быстро распространилось и укоренилось в литературном языке. Например, у Н. А. Некрасова в «Медвежьей охоте» (1867) читаем:

Зато с каким зловещим тактом
Мы неудачу сторожим!
Заметив облачко над фактом,
Как стушеваться мы спешим!

³ Издателем «Отечественных записок», в которых и был опубликован «Двойник...», являлся А. А. Краевский.

⁴ Ф. М. Достоевский на вечере у В. Г. Белинского читал первые четыре главы «Двойника».

⁵ Осужденный по делу М. В. Буташевича-Петрашевского (1821—1866) Ф. М. Достоевский четыре года провел на каторге в Омском остроге, а по окончании срока каторжных работ (начало 1854 г.) был зачислен рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон. Военная служба в Семипалатинске сначала рядовым, затем офицером продолжалась до весны 1859 г.

⁶ Особенно с большим одобрением Ф. М. Достоевский относился к произведениям И. С. Тургенева, а в частности, к его «Запискам охотника».

⁷ Обучался Ф. М. Достоевский в Главном инженерном училище в Петербурге с 1838 г. по 1843 г. и по его окончании был зачислен в инженерный корпус.

⁸ Русский писатель, лексикограф, этнограф Владимир Иванович Даль (1801—1872) работал над «Толковым словарем живого великорусского языка» (т. I—IV, 1863—1866) более пятидесяти лет. За этот труд В. И. Даль в 1863 г. был награжден Ломоносовской премией и удостоен звания почетного академика Петербургской АН. Слово «штушеваться» отмечено им в четвертом томе словаря со ссылкой на Ф. М. Достоевского.

⁹ Уильям Юарт Гладстон (1809—1898) — английский государственный деятель; вождь либеральной оппозиции консервативному правительству Дизраэли.

¹⁰ Фразеологизм: «С кувшинным рылом, да в калашный ряд!».

¹¹ В корреспонденции Вс. Крестовского (1840—1895) после сообщения об очередных турецких зверствах, говорилось: «И как подумаешь, что в России находятся женщины, подносящие этим самым башибузукам нежные букеты и конфетки, ухаживающие за этими самыми зверями! Сердце обливается кровью у каждого солдата, когда им приходится читать или слышать о подобных выходках». Сюда бы привести этих сердобольных, да показать им этих израненных детей, этих обесчещенных женщин...» («Петербургские ведомости», 1877, 30 октября, № 240).

¹² Князь Владимир Петрович Мещерский издавал с 1872 г. газету-журнал «Гражданин».

¹³ Английское значение слова «юмор» — изображение лиц и явлений в комическом, смешном виде — вытеснило французское значение (*франц.* *humeur* — настроение, нрав) и русское («Юмор — веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев; удаль, разгул иронии». См.: «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля).

¹⁴ Все процедуры английского парламента, состоящего из двух палат: нижней (палата общин) и верхней (палата лордов) подчиняются давно установленным правилам и традиции.

¹⁵ «Львы сердцем» — от прозвища английского короля Ричарда I Львиное Сердце (1157—1199); смелый и благородный

Баярд (Пьер дю Террайль Баярд) (1476—1524) — «Рыцарь без страха и упрека».

Декабрь

¹ Узнав, что Н. А. Некрасов опасно болен, Ф. М. Достоевский стал часто заходить к нему. Эти последние свидания с Н. А. Некрасовым оставили у писателя тяжелые впечатления, а в день его кончины — 27 декабря 1877 г. Федор Михайлович был огорчен до глубины души. Ф. М. Достоевский был на панихидах и на погребении поэта.

² Всю ночь Ф. М. Достоевский читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренно восхищаясь многими из них и признавая их настоящими шедеврами русской поэзии.

³ В «Петербургском сборнике» (1846), открывавшемся романом Ф. М. Достоевского «Бедные люди», были напечатаны стихотворения Н. А. Некрасова: «В дороге» (1846), «Пьяница» (1845), «Отрадно видеть, что находит...» (1845) и «Колыбельная песня» (1846).

⁴ Стихотворения Н. А. Некрасова 1850-х гг. печатались, в основном, в журнале «Современник».

⁵

...И если я легко стряхнул с годами
С души моей тлетворные следы,
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невежеством среды,
И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты —
О, мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!

Некрасов Н. А. «Мать. Отрывки из поэмы».

⁶ В марте 1859 г. прапорщик 7-го Сибирского линейного батальона Ф. М. Достоевский был уволен в отставку с награждением следующим чином (подпоручиком). Писателю было разрешено по-

селиться в Твери (август 1859 г.), а после хлопот стало возможным жить и работать в Петербурге (декабрь 1859 г.).

⁷ Различие убеждений редакторов двух журналов — «Современника» и «Времени», полемика и борьба журналов не могли не сказаться на личных отношениях Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова.

⁸ Достоевский Ф. М. «Подросток» («Отечественные записки», 1875, № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12).

⁹ См. статью «Похороны Некрасова» П. В. Засодимского (1843—1912) в «Петербургских ведомостях», 1877, 31 декабря (12 января), № 360.

¹⁰ Из литераторов на могиле выступили В. А. Панаев (1822—1899), Ф. М. Достоевский, Л. К. Панютин (1829—1882) и П. В. Засодимский.

¹¹ П. В. Засодимский вспоминает, что «особенно глубокое впечатление произвело стихотворение — неизвестного мне автора:

Замолкла муза мести и печали,
Угас могучий наш поэт, —
Его словам с восторгом мы внимали,
Его мы чтили с юных лет.
Могильный сон, глубокий, непробудный,
Навек сковал уста певца,
Иссяк родник живительный и чудный
В груди холодной мертвеца».

¹² Этот эпизод на похоронах Н. А. Некрасова описывал и Владимир Галактионович Короленко (1853—1921): «Когда он (Ф. М. Достоевский. — *Сост.*) поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, кое-кому из присутствующих это показалось умалением Некрасова. «Он выше их, — крикнул кто-то, и два-три голоса поддержали его: — Да, выше... Они только байронисты». В воспоминаниях Георгия Валентиновича Плеханова (1856—1918), выступавшего на похоронах поэта от лица революционного общества «Земля и воля», говорится, что Ф. М. Достоевский поставил Н. А. Некрасова по его таланту вслед за А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым. «Это показалось нам вопиющей

несправедливостью. — Он был выше Пушкина! — закричали мы дружно и громко. Бедный Достоевский этого не ожидал. На мгновение он растерялся. Но его любовь к Пушкину была слишком велика, чтобы он мог согласиться с нами».

¹³ Скабичевский А. М. «Мысли по поводу текущей литературы. Николай Алексеевич Некрасов как человек, поэт и редактор» («Биржевые ведомости», 1878, 6 января, № 6).

¹⁴ А самого А. М. Скабичевского, несмотря на всю его любовь к Н. А. Некрасову, на похоронах поэта вообще и не было.

¹⁵ «Дело действительно происходило так, как рассказывает г-н Достоевский, — писал вскоре после похорон Н. А. Некрасова В. П. Буренин. — Я могу подтвердить это, так как был в числе присутствовавших у могилы и стоял рядом с г-ном Достоевским: стало быть то, что слышал он, слышал и я. Прибавлю одну подробность: в числе нескольких голосов один крикнул: «Пушкин был салонный поэт, а Некрасов народный». Вероятно, г-н Скабичевский не расслышал этого возгласа, а то он бы разошелся, конечно, и о салонности поэзии Пушкина...» («Новое время», 1878, 20 января, № 681). В. Г. Короленко подчеркивал, что на слушателей «произвело впечатление гораздо более сильное, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим, как мне казалось, голосом назвал Некрасова последним великим поэтом из «господ»».

¹⁶ Творчество Дж. Байрона (1788—1824) имело важное значение для всей европейской культуры, ибо влияние его воззрений, его поэзии и при жизни поэта, и позже (не только в Англии, но и за ее пределами) было более сильным, чем влияние любого из поэтов-романтиков.

¹⁷ Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня» (1819). У А. С. Пушкина:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

¹⁸ В главе «Русская изба» (1833—1835) своего «Путешествия из Москвы в Петербург» А. С. Пушкин писал: «Взгляните на русского

крестьянина: есть ли и тень рабского уничтожения в его поступи и речи! О его смелости и смысленности и говорить нечего...»

¹⁹ Сцена из пушкинской «Капитанской дочки».

²⁰ Князь Андрей Михайлович Курбский (1528—1583), бежавший от гнева Ивана Грозного (1530—1584) в Литву после проигранного сражения, вступил с ним в переписку, а для передачи писем посылал в Москву своих рабов, в частности Василия Шибанова.

²¹ В 1832—1837 гг. Н. А. Некрасов учился в Ярославской гимназии. В 1839 и 1840 гг., переселившись в Петербург, он пытался поступить в университет, но не выдержал экзаменов и оказался в положении вольнослушателя. Университет он посещал нерегулярно: тяжелое материальное положение и литературные заботы отвлекали его от занятий:

...Я отроком покинул отчий дом.

(За славой я в столицу торопился.)

В шестнадцать лет я жил своим трудом

И между тем урывками учился.

Некрасов Н. А. «Мать. Отрывки из поэмы», 1877.

²² Он испытывал на себе влияние В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

²³ Цитата из стихотворения «Элегия» Н. А. Некрасова («Пускай нам говорит изменчивая мода...») (1874).

²⁴ Произведения Н. А. Некрасова «Влас» (1854), «Тишина» (1857), «Рыцарь на час» (1862), «Русские женщины» (1871—1872) Ф. М. Достоевский считал «шедеврами» русской поэзии.

²⁵ Особенно ярко тема так называемых практичности и двойственности Н. А. Некрасова выражена в статьях А. С. Суворина («Новое время» от 1 (13) января 1878 г.) и А. М. Скабичевского («Биржевые ведомости» от 6 (18) января 1878 г.).

²⁶ Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет (опыт современной баллады)».

²⁷ Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».

²⁸ А. С. Суворин вспоминал: «Участие его, совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, простиралось до того, что в конце 1873 г. он предложил мне значительную для

меня сумму на поездку за границу, чтоб оправиться там от постигшего меня несчастья. Я... не могу не вспомнить об этом с глубокою благодарностью» («Новое время», 1878, 1 (13) января, № 662).

²⁹ Иоанн-затворник.

³⁰ Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1880

¹ Сам И. С. Аксаков выступал 8 июня после Ф. М. Достоевского во втором отделении юбилейного заседания. Вбежав на эстраду, И. С. Аксаков заявил: «Все, что я готовился прочесть, потеряло всякое значение. Моя речь упраздняется речью Достоевского». Он объявил, что речь предыдущего оратора — *«есть не просто речь, а историческое событие»*. И далее: «Если я и могу прочесть что-нибудь, то разве это отрывок из приготовленной речи» («Гражданин», 1880, 9 июня, № 159).

² В Откровениях Иоанна Богослова (гл. 18) утверждается: «... ибо в один час погибло также богатство».

³ Батый (1208—1255) — монгольский хан, внук Чингисхана, в 1237—1243 гг. возглавлявший поход монголов на Русь, сопровождавшийся жестоким истреблением коренного населения и уничтожением городов.

⁴ Согласно предположению современного исследователя И. Л. Волгина, у Достоевского здесь речь идет о Г. З. и Б. П. Елисеевых («Новый мир», 1981, № 10, с. 125—127).

⁵ Выступавший после Ф. М. Достоевского И. С. Аксаков заявил: «С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я например, и представители западничества, как Тургенев» (См.: «Гражданин», 1880, 9 июня, № 159; «Молва», 14 июня, № 162).

⁶ И. С. Тургенев и П. В. Анненков (1813—1887).

⁷ Рядовые приверженцы либерально-западнических идей.

⁸ В статье «Польский вопрос в русской литературе» А. Н. Пыпин, характеризуя стихотворения о Польше и польском вопросе А. С. Пушкина, П. А. Вяземского (1792—1878), В. А. Жуковского

(1783—1852) и Ф. И. Тютчева и анализируя статью славянофила Ю. Ф. Самарина «Современный объем польского вопроса» («День», 1863, 21 сентября), выделил «идею об исконной противоположности греко-славянского и романо-германского мира и о полной несовместимости славянства с латинством» и утверждал, что разрешение польского вопроса немислимо «без коренного, духовного *возрождения* поляков, другими словами — без обращения их в православие» («Вестник Европы», 1880, № 2 и 4).

⁹ Н. В. Гоголь. «Несколько слов о Пушкине» (1832).

¹⁰ Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону.

¹¹ Французский философ Жан-Жак Руссо (1712—1778).

¹² Разделение это утверждено Петром I в 1722 г. В «Табели о рангах...».

¹³ Слова Я. П. Полонского (1819—1898) из его статьи «По поводу последней повести графа Л. Н. Толстого «Казачи» (письмо редактору «Времени»)».

¹⁴ Слова старика, обращенные к Алеко, из поэмы «Цыганы» (1824) А. С. Пушкина.

¹⁵ Цитата из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

¹⁶ Цитата из стихотворения «Отрадно видеть, что находит...» (1845) Н. А. Некрасова.

¹⁷ На полях наборной рукописи речи о Пушкине фраза Ф. М. Достоевского об «образе Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева» имела продолжение: «...и Наташи в «Войне и мире» Льва Толстого». Затем это продолжение не вошло в печатный текст. Однако вся эта фраза была полностью произнесена Ф. М. Достоевским в речи со сцены 8 июня 1880 г., о чем свидетельствовал, в частности, Н. Н. Страхов, вспоминая, что фраза о Лизе из «Дворянского гнезда» была прервана овациями, и зал практически не услышал (Страхов же слышал отчетливо) имени Наташи Ростовою («Биография», отд. I; Достоевский в воспоминаниях, т. II). Да и И. С. Аксаков указывал, что «это сопоставление было покрыто рукоплесканиями».

¹⁸ Термин «нравственный эмбрион» принадлежит В. Г. Белинскому. В статье «Пушкин и Белинский» (1865) Д. И. Писарев (1840—1868) также писал: «Наконец, отвращение Онегина к упорному труду... составляет симптом очень печальный, по которому

мы уже заранее имели право предугадывать, что Онегин навсегда останется эмбрионом».

¹⁹ У А. С. Пушкина в «Письме Онегина к Татьяне» романа «Евгений Онегин»:

Внимать вам долго, понимать
Душой все Ваше совершенство.

²⁰ См.: «Отрывки из путешествия Онегина» А. С. Пушкина.

²¹ Цитата из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

²² Цитата из романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

²³ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

²⁴ Речь идет о пушкинской «Сказке о медведихе» (1830).

²⁵ Начальные строки стихотворения (1833) А. С. Пушкина, не имеющего названия.

²⁶ «Сцена из Фауста» (1825) А. С. Пушкина.

²⁷ «Каменный гость» (1830) А. С. Пушкина.

²⁸ «Пир во время чумы» (1830) из пушкинских «Маленьких трагедий» навеян драмой английского поэта Дж. Вильсона (1755—1854) «Чумный город» (1816).

²⁹ Эти строки из стихотворения А. С. Пушкина «Странник» (1835) являются переложением отрывка из книги «Путь паломника» (1678—1684) английского поэта и пуританского проповедника Дж. Беньяна (1628—1688).

³⁰ Цикл пушкинских стихов «Подражания Корану» (1824).

³¹ Здесь дано краткое изложение понимания Ф. М. Достоевским поэмы о Клеопатре из повести Пушкина «Египетские ночи» (1835). Подробно писатель об этом говорил в статье «Ответ “Русскому вестнику”» («Время», 1861, № 3).

³² Журнал «Время», вышедший (1861—1863) под редакцией братьев Достоевских, стал особым явлением в отечественной журналистике, положил начало более широкому, нежели славянофильство, направлению — *почвенничеству*. Журналу требовался литературный критик. Н. Н. Страхов настойчиво указывал Ф. М. Достоевскому на Ап. Григорьева, которого они и привлекли к сотрудничеству. Любимым русским поэтом Ап. Григорьева был А. С. Пушкин. Он даже был убежден, что «Пушкин — наше всё: Пушкин — предста-

витель всего нашего *душевного, особенного*. А. С. Пушкин — пока единственный полный и цельный самородок, принимавший в себя, при столкновениях с другими типами культуры, с другими народными «организмами», — все, что следует принять, отбрасывавший все, что следует отбросить. В его натуру вошли ломоносовские, державинские, новиковские, карамзинские сочувствия старой русской жизни и стремления к новой жизни в той стройной мере, в какой «бытие послепотопное является сравнительно с бытием допотопным, в той мере, которая определяется русской душою». Говоря о сущности русской души, Ап. Григорьев отмечал, что именно в творчестве А. С. Пушкина впервые полно и цельно обозначилась «душевная физиономия» русского народа, ясно выделившаяся «из круга других народных, *типовых физиономий*», и сознательно зафиксировала «наш самобытный тип», в котором причудливым образом сочетаются наши тщетные усилия насильственно создать и утвердить в своей душе обаятельные идеалы чужой жизни и столь же тщетные усилия борьбы с этими идеалами и желание оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами. В А. С. Пушкине надолго, если не навсегда, завершился наш душевный процесс. Наше коренное и типовое славянское, кроме того полагал Ап. Григорьев, «наиболее удобная подкладка для истинно человеческого», и таковою подкладкой является оно вследствие своих отрицательных качеств, страдательных, с одной стороны, критических, с другой. Благодаря этим качествам мы не можем долго поддерживать в себе поклонения чужому типу, а вместе с тем во всяком типе культуры мы видим и слабые его стороны — и тотчас же относимся к ним комически, как бы дорог нам этот тип не был. Ап. Григорьев считал, что все *истинно-правдивые* стремления нашей литературы находятся в духовном родстве с пушкинскими стремлениями. В натуре А. С. Пушкина, ничего не исключаящей (ни тревожно-романтического начала, ни юмора здравого рассудка, ни страстности, ни северной рефлексии) и на все отозвавшейся в меру русской души, заключается оправдание и примирение наших враждебно раздвоившихся сочувствий. Ап. Григорьев считал, что великая натура А. С. Пушкина мерила свои силы со всем великим в мире, равномерно подвергаясь влиянию и светлых и темных его сторон. И оказалось, что 1) на все доброе и злое у нее есть удивительная отзывчивость; 2) эта отзывчивость не может

остановиться посередине, а ведет всякое сочувствие до крайних его пределов и все-таки 3) не может она перестать любить своего типового, не может забыть своей почвы. Спустя три десятка лет в своей знаменитой «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевский развил и довел до логического конца эти григорьевские идеи.

³³ Перефразированные строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855):

³⁴ Православная молитва, которую читают в первую неделю Великого поста.

³⁵ Старообрядцы, выступая за сохранность «древлего благочестия», не признавали исправленных официальной церковью икон и книг. При некоторых старообрядческих общинах даже создавались школы, где обучали чтению древних церковнославянских текстов.

³⁶ Молитва, сочиненная Ефремом Сириным на рубеже IV—V вв.

³⁷ В IV в. христианство стало государственной религией Римской империи.

³⁸ Неточно цитируется стихотворение Н. А. Некрасова: «Рыцарь на час» (1862). У Н. А. Некрасова:

Обагрющих руки в крови.

³⁹ Увлёкся идеями французских социалистов-утопистов, участвуя в кружках петрашевцев в 1847—1849 гг.

⁴⁰ Припев русской народной песни «Как по улице идет молодец...», в которой говорится о том, «как сын на матери снопы возил, а молодая жена во пристяжи была».

⁴¹ На Большой Морской в Петербурге располагались парикмахерские, магазины, рестораны, которые посещали аристократы.

⁴² Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

⁴³ Место, где устраивались платные балы с канканом.

⁴⁴ Славянофил Юрий Федорович Самарин активно участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы 1861 г., член редакционных комиссий.

⁴⁵ Иоганн Кеплер (1571—1630) — немецкий астроном.

⁴⁶ Иммануил Кант (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии.

⁴⁷ Согласно Библии Авраам — мифический родоначальник иудеев. Согласно Корану Авраам — общий родоначальник евреев и арабов, предшественник Мухаммеда, основателя мусульманской религии — ислама (VII в.).

⁴⁸ Клемент Венцель Лотар фон Меттерних (1773—1859) — глава австрийского правительства (1821—1848 гг.), требовавший вмешательства во внутренние дела других государств в целях подавления революционных, либеральных и национально-освободительных движений.

⁴⁹ «Петербургская газета» писала: «Речь г-на Достоевского в чтении производит впечатление, но только на чувство, а не на рассудок — откуда и причина бросания в воздух дамских чепчиков» («Петербургская газета», 1880, 17 июня, № 116). Другая петербургская газета «Молва» поместила (10, 13—15 июня 1880 г.) ряд заметок, в которых отмечала атмосферу всеобщего восторга на Пушкинском празднике в Москве, а успех речи Ф. М. Достоевского объясняла одной лишь ее эмоциональностью.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1881

¹ Ферсит (Терсит) — злоязычный и трусливый персонаж «Илиады» Гомера, выступавший против Агамемнона, обвинявший его в своекорыстии и призывавший отказаться от завоевания Трои, возвратиться домой.

² «Couronner l'édifice» (*франц.*) — в переносном смысле «не предоставлены широкие демократические права и политические свободы».

³ Либералы.

⁴ Цитата из басни И. А. Крылова «Квартет» (1811).

⁵ Цитата из передовицы, принадлежащей Г. К. Градовскому («Молва», 1880, 19 декабря, № 350), которую И. С. Аксаков охарактеризовал как свидетельство «тайного презрения к нашему простому народу, скрытого высокомерного аристократизма западника-либерала» («Русь», 1881, 3 января, № 8).

⁶ Строка из стихотворения неизвестного автора, появившегося в печати в конце 1870-х гг.

⁷ Кутила.

⁸ Герой «Повести о капитане Копейкине» (Н. В. Гоголь «Мертвые души»).

⁹ Из басни И. А. Крылова «Листы и корни» (1811), в которой «корни дерева» напоминают «листам»:

А если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас».

¹⁰ Столица Великого герцогства Баденского.

¹¹ Передовицы И. С. Аксакова в еженедельной газете «Русь».

¹² В народном сознании золото всегда выступало атрибутом царской власти (например, царские «золотые грамоты» или «указы с золотой строкой»).

¹³ То есть ждал освобождения от рабства.

¹⁴ Крепкое, несокрушимое, как алмаз.

¹⁵ Окончание басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом» (1825) таково:

Невежда также в ослепленье
Бранит науки и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

¹⁶ В 1879 г. в Туркмению была снаряжена экспедиция русских войск. Командовал экспедиционным отрядом генерал Н. П. Ломакин, который встретил упорное сопротивление со стороны текинцев. Штурм крепости Геок-Тепе, предпринятый 28 августа 1879 г., не имел успеха, и отряд вынужден был отступить. Следующая Ахал-Текинская экспедиция (в 1880 г.), во главе которой стоял М. Д. Скобелев, удалась. 12 января 1881 г. русские войска захватили Геок-Тепе.

¹⁷ Об этом писали «Санкт-Петербургские ведомости», газета «Голос», газета «Молва» и другие издания.

¹⁸ Русский царь.

¹⁹ По просьбе австрийского двора российский император Павел I (1754—1801) в 1798 г. направил в Северную Италию русские

войска для оказания помощи австрийской армии, терпевшей поражения от французов. Блестящие победы, одержанные графом Александром Васильевичем Суворовым (1730—1800), обеспокоили Австрию и Англию, и они настояли на тяжелом и опасном походе суворовской армии в Швейцарию, где французы теснили австрийские войска и русский корпус А. М. Римского-Корсакова. В 1813—1814 гг. русская армия вела боевые действия в составе антинаполеоновской коалиции, которой удалось добиться полной победы над Францией; одним из следствий этого явилось восстановление царствующих династии во Франции, Испании, Сицилии. В 1849 г. Николай I силами 140-тысячной армии приказал осуществить интервенцию в восставшую против Габсбургского режима Венгрию, подавив венгерскую революцию.

²⁰ В правящих кругах российской империи была группа противников продолжения войны — к ней принадлежали государственный статс-секретарь А. С. Шишков, московский генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин, министр иностранных дел граф Н. П. Румянцев и др.

²¹ «Похитителем», захватчиком престола, принадлежавшего династии Бурбонов, называли легитимисты Наполеона I.

²² Так, например, на Венском конгрессе (1814—1815 гг.) было заключено тайное соглашение Австрии, Франции и Англии против России и Пруссии; на конгрессе в Троппау и Лайбахе (1820—1821 гг.) министр иностранных дел Австрии Меттерних смог удержать Александра I от помощи восставшей Греции, боровшейся против турецкого владычества, что подрывало престиж России на Балканах).

²³ Цитата из «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1790—1829).

²⁴ Фр. Бэкон (1561—1626) — английский философ.

²⁵ Аристотель (384 до н. э.—322 до н. э.) — древнегреческий философ.

²⁶ Исаак Ньютон (1643—1727) — английский ученый, создатель классической механики.

²⁷ Цитата из стихотворения «Мечта» (1835) А. С. Хомякова (1804—1860).

²⁸ Русская пресса систематически сообщала читателю о деятельности Л.-М. Гамбетты (1838—1882), занявшего в 1879 г. пост председателя палаты депутатов, излагала его выступления, его

стремления к «политике реванша», направленной на возвращение территории, утраченной во время франко-прусской войны 1870—1871 гг., и т. д.

²⁹ Ставшего папой в 1878 г. Льва XIII Бисмарк поддерживал не столь значительно, как хотелось бы того самому папе.

³⁰ Слова министра иностранных дел А. М. Горчакова (1798—1883) дипломатическим представителям России за границей от 21 августа (2 сентября) 1856 г.: «Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Она собирается с силами», т. е. она *сосредотачивается*.

³¹ В октябре 1879 г. в Вене вновь был подписан австро-германский договор, который был направлен против России. Согласно этому договору предусматривалась обоюдная военная помощь Австрии и Германии в случае войны с Россией.

³² На Берлинском конгрессе (1878 г.) Германия поддерживала Австро-Венгрию, добившуюся оккупации Боснии и Герцеговины, принадлежавших в то время Турции.

³³ В октябре 1870 г. в разгар франко-прусской войны А. М. Горчаков обратился к странам — участницам Парижского конгресса 1856 г. (к Франции, Англии, Австро-Венгрии, Пруссии, Турции и Италии) с заявлением об отказе от дальнейшего соблюдения Россией «нейтрализации Черного моря» (т. е. запрещения России, по условиям Парижского мира 18 (30) марта 1856 г., держать военный флот на Черном море) из-за неоднократных нарушений Парижского договора другими державами. Лондонская конференция (1871 г.) вынуждена была согласиться с требованиями России.

³⁴ «Новое время» сообщало, что при кровопролитной осаде Геок-Тепе с 28 декабря по 12 января в отряде генерала Скобелева: нижних чинов убито 228; ранено 585. Офицеров убито 13, ранено 48 («Новое время», 1881, 20 января, № 1759).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
--------------------------	---

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1873

Вступление	39
Старые люди	43
Среда	49
Нечто личное	64
Влас	74
Бобок	88
«Смятенный вид»	106
Полписьма «одного лица»	115
По поводу выставки	125
Ряженный	138
Мечты и грезы	156
По поводу новой драмы	163
Маленькие картинки	176
Учителю	187
Нечто о вранье	193
Одна из современных фальшей	204

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1876

Январь	220
Вместо предисловия. О Большой и Малой медведицах, о молитве великого Гете и вообще о дурных привычках....	220

Будущий роман. Опять «случайное семейство».....	223
Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан.....	225
Золотой век в кармане	229
Мальчик с ручкой	231
Мальчик у Христа на елке	232
Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества.....	236
Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала?.....	248
Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти	256
Одно слово по поводу моей биографии.....	263
Одна турецкая пословица	264
Февраль	265
О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном.....	265
О любви к народу. Необходимый контракт с народом.....	269
Мужик Марей.....	274
Март	279
Верна ли мысль, что «пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»?.....	279
Столетняя.....	281
«Обособление»	287
Мечты о Европе.....	293
Сила мертвая и силы грядущие	298
Словцо об отчете ученой комиссии о спиритических явлениях	303
Единичные явления.....	305
О Юрие Самарине	307
Апрель	308
Идеалы растительной стоячей жизни. Кулаки и мироеды. Высшие господа, подгоняющие Россию	308
Культурные типики. Повредившиеся люди	311

Сбивчивость и неточность спорных пунктов	317
Благотельный швейцар, освобождающий русского мужика	323
Нечто о политических вопросах	331
Парадоксалист	335
Опять только одно слово о спиритизме	341
За умершего	349
Май	353
Одна несоответственная идея	353
Несомненный демократизм. Женщины	357
Июнь	360
Мой парадокс	360
Вывод из парадокса	367
Восточный вопрос	369
Утопическое понимание истории	371
Опять о женщинах	378
Июль — август	382
Самое последнее слово цивилизации	382
Идеалисты-циники	385
Постыдно ли быть идеалистом?	391
Русский или французский язык?	395
На каком языке говорить отцу Отчествa?	399
Post scriptum	405
Сентябрь	410
Застарелые люди	410
Кифомокиевщина	414
Продолжение предыдущего	418
Страхи и опасения	424
Post scriptum	428
Октябрь	429
Лучшие люди	429
О том же	433
Ноябрь	442
<i>Глава первая.</i> Кроткая. Фантастический рассказ	442
От автора	442
Кто был я и кто была она	443
Брачное предложение	449

Благороднейший из людей, но сам же и не верю.....	452
Все планы и планы.....	455
Кроткая бунтует.....	458
Страшное воспоминание.....	463
<i>Глава вторая</i>	466
Сон гордости.....	466
Пелена вдруг упала.....	471
Слишком понимаю.....	475
Всего только пять минут опоздал.....	479
Декабрь	482
Анекдот из детской жизни.....	482

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1877

Январь	489
Фома Данилов, замученный русский герой.....	489
Примирительная мечта вне науки.....	495
Мы в Европе лишь стрюцкие.....	500
Старина о «петрашевцах».....	504
Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания.....	508
Именинник.....	515
Февраль	520
Один из главнейших современных вопросов.....	520
«Злоба дня».....	525
Злоба дня в Европе.....	530
Русское решение вопроса.....	533
Март	537
«Еврейский вопрос».....	537
Pro и contra.....	541
Status in statu. Сорок веков бытия.....	546
Но да здравствует братство!.....	553
Апрель	556
Война. Мы всех сильнее.....	556
Не всегда война бич, иногда и спасение.....	562
Спасает ли пролитая кровь?.....	565
Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе.....	569

Сон смешного человека. Фантастический рассказ.....	570
Май — июнь	591
Прежние земледельцы — будущие дипломаты.....	591
Дипломатия перед мировыми вопросами	601
Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, — решение не дипломатическое	605
Германский мировой вопрос. Германия — страна протестующая	610
Один гениально-мнительный человек	615
Июль — август	620
Разговор мой с одним московским знакомым. Заметка по поводу новой книжки	620
Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной».....	625
Признания славянофила.....	627
«Анна Каренина» как факт особого значения	632
Помещик, добывающий веру в Бога от мужика	638
Сентябрь	643
Ложь ложью спасается	643
Легкий намек на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины	647
Октябрь	651
Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?	651
Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменом	654
Ноябрь	660
Что значит слово: «стряпчие»?	660
История глагола «стусеваться»	662
Лакейство или деликатность?	666
Декабрь	674
Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле.....	674
Пушкин, Лермонтов и Некрасов	678
Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке	686
Свидетель в пользу Некрасова	691

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1880

Август	696
<i>Глава первая.</i> Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине	696
<i>Глава вторая.</i> Пушкин (Очерк).....	706
<i>Глава третья.</i> Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по поводу одной лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С обращением к г-ну Градовскому	724
Об одном самом основном деле.....	724
Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. Анекдоты.....	732
Две половинки.....	741
Одному смириись, а другому гордиись. Буря в стаканчике	755

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1881

Январь	761
<i>Глава первая</i>	761
Финансы. Гражданин, оскорбленный в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны	761
Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?	766
Забуть текущее ради оздоровления корней. По неумению впадаю в нечто духовное	771
Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов	776
Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться.....	783
<i>Глава вторая</i>	789
Остроумный бюрократ. Его мнение о наших либералах и европейцах	789
Старая басня Крылова об одной свинье.....	796
Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?	797
Вопросы и ответы	802

ПРИМЕЧАНИЯ	809
-------------------------	-----

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор Н. Н. Самойлова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 17.12.2009 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 42,2 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

- Русская цивилизация (*вышел*)
- Русское Православие в трех томах (*вышли*)
- Русское государство (*вышел*)
- Русский патриотизм (*вышел*)
- Русское мировоззрение (*вышел*)
- Русский образ жизни (*вышел*)
- Русская география
- Русское хозяйство (*вышел*)
- Международные отношения
- Национальные отношения
- Русская литература (*вышел*)
- Русское искусство
- Русский театр
- Русская музыка
- Русская наука
- Русская школа
- Русское воинство
- Памятники Отечества
- Русские за рубежом
- Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

- Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

- Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

- Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.
Платонов О. История царевубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор царевубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул., 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)

**В 2010 ГОДУ ИНСТИТУТ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСТИТ В СВЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:**

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Достоевский Ф. М. Дневник писателя.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма.
Фадеев Р. А. Государственный порядок.
Черкасский В. А. Национальная реформа.
Лешков В. Н. Русский народ и государство.
Солоневич И. Л. Народная монархия.
Хомяков Д. А. Православие, Самодержавие, Народность.
Победоносцев К. П. Православие и государство.
Леонтьев К. Империя духа.
Валуев Д. А. Начала славянофильства.
Астафьев П. Е. Национальное самосознание.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности.
За русскую народность. Идеология Галицкой Руси.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Фотий Спасский. Борьба за веру. Против масонства.
Булацель В. Ф. Борьба за правду.
Святые черносотенцы. За Веру, Царя и Отечество.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Государственно-правовой идеал славянофилов.
Русская цивилизация. История и идеология Святой Руси.
Русская цивилизация. Философия и литература.
Святая Русь – высший этап развития мировой цивилизации.